АБИШ КЕКИЛЬБАЕВ

Л 2010
23804к



МАРТОВСКИЙ СНЕГ



АБИШ КЕКИЛЬБАЕВ

•

МАРТОВСКИЙ СНЕГ

ПОВЕСТИ

РОМАН

ПЕРЕВОД С КАЗАХСКОГО

•

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1988

ББК 84 Каз 7
К 33



К 4702250201 — 337 / 083(02) — 88 308—88

ISBN 5 265 — 00124 — 7

© *Состав и оформление. Издательство «Советский писатель», 1988*



ПОВЕСТИ

МАРТОВСКИЙ СНЕГ

Старуха домовничала. Темнолицая, в длинном платье, в просторном белом жаулыке[1], она неуклюже швыркала веником, прибирала в закоулках комнат, в узком, длинном коридоре, и казалось, уборке нет конца.

— Э, будь оно неладно, это городское жилье! Всех углов-закутков не перечтешь...

Время от времени она мельком косилась на дверь. И чего дрыхнуть до обеда, когда кругом раскардаш?!.

Жила бы, как прежде, в своей немудреной четырехстворчатой юртешке, давно прибралась бы, что языком вылизала. Чего там? Четыре домотканых паласа-алаша — два в полоску, два в узорах, выцветшая холщовая сума для постели да замызганный, закопченный куль для утвари — считай, все убранство. Взял в охапку, вынес на ветер, тряхнул раз-другой — и уборке конец. А уж рассохшийся деревянный поставец для тюков и кое-как сбитый деверем-кузнецом ларь сдвигают с места лишь при кочевках. Вот оно и все богатство. И это-то нынче пылится вперемешку с дровами в летней кухне-шошале замужней дочери.

Разбирали юртчонку — горькими слезами обливалась. И теперь еще все перед глазами: три связки унин швырнули в угол за железную бочку из-под солярки; четыре ветхие боковые стенки — кереге затолкали под кучу хлама — сопревшие кошмы, войлочные подстилки и прочую ветошь; потолочному кругу из тальника не досталось места в тесном закутке, и потому забросили его на крышу шошалы. Вот так рассовывая по углам дочкиного подворья свой привычный скарб, прямо-таки захлебывалась от слез. А попробуй удержи их, если посреди белого дня рушат твое родное гнездовье! Рушат юртешку, только чужому глазу убогую, а сердцу теплую, кровную. Ее ведь когда-то сам свекор-свет ставил, а хлопотунья свекровушка своими руками ладила гнутые жердины — унины. Сколько воды с тех пор утекло, сколько всего пережито, а стояла юртешка, надежно и верно стояла

[1] Жаулык — головной убор замужней женщины.

на земле, не покачнулась, не рассыпалась даже в лихую годину, а теперь, когда кругом мир да благодать, разобрали-разнесли по щепкам и бросили за ненадобностью.

Суму для постели и куль для утвари, уезжая, двум приятельницам на добрую память подарила. Ларь и деревянный поставец двум невесткам передала. Другим аульным бабам, пришедшим провожать ее, раздала резной половник и все чаши. Только остов юрты да закопченный казан просила не трогать. Перед дорогой отвела дочь в сторонку, строго наказала:

— Летом поставь юртешку возле дома. Не гнушайся ею, сама в ней выросла. Потом... кто знает... может, еще не ужившусь в большом-то городе... Назад притащусь. Тогда хоть крыша над головой будет...

Из привычных с юных лет вещей забрала с собой только верную забаву — прялку-юлу со свинцом в основании. Под потолком юрты висел узел с верблюжьей шерстью. Его она тоже на всякий случай прихватила. Скатала и связала такие два узорчатых войлочных паласа: не сидеть же в городе на голых деревяшках, а в пути под изголовье сгодится.

Когда в ауле пополз слух, что сын заберет ее в город, бабы обсуждали эту весть на все лады. «Ну-у... теперь-то будешь жить-поживать в сказочном тереме. Сверху блестит, снизу сверкает, а посередке ханша обитает. Вот этой ханшей ты и станешь! Пай-пай! Сложишь вчетверо пуховое одеяло и будешь восседать, как на троне, на почетном месте. А что? Вода — в дому, дрова — в дому, а в казане сладко булькает. Городская жизнь — рай. Ни забот тебе, ни горюшка... Счастливая!..»

А она, бывало, с тревогой рассуждала: «Апыр-ай, разве усидишь с утра до вечера на мягких подстилках? От скуки свихнусь».

Бабы смеялись, не в лад галдели:

«Э, милая, не беспокойся! Уж сидеть сложа руки тебе не придется».

«Не успеешь и оглянуться, как твой кучерявый приведет в дом тонконогую крашеную кралю...»

«А им нынче палец в рот не клади. Перестарками ведь замуж выходят. Такой не возрадуешься».

«А как выйдет — так сразу пузо арбузом».

«Вот и сиди тогда с внучонком, пока молодые по кинам да по театрам этим слоняться будут».

«Тут и заладишь колыбельную...»

«А то и волчицей взвоешь».

«Ай, такая уж наша бабья доля! До самой смертушки покоя не будет. Все едино: что в городе, что в степи».

Вслушиваясь в бабьи пересуды, она подумала про себя: «Что ж... может, так оно все и случится. Нынче ведь бабы не бабы, а провидицы. Все наперед знают. Только, пока сын приведет невестку, а та еще понесет да разродится, должна же я хоть как-то убить время. Вот и скрасит мое одиночество прялка-юла».

И сунула ее в дорожную сумку.

Однако надолго ли хватит искусной пряхе клока шерсти, привезенного из дальней дали? Он давно уже превратился в клубок пряжи и наверняка где-нибудь валяется, если его не закатила куда-либо игрунья кошка. Чем же еще заняться одинокой старухе? Принялась было забавы ради за уборку, да в городской квартире сам черт ногу сломит, и все валится из рук. Тогда она с досадой отшвырнула веник и прилегла на мягко пружинящую деревянную кровать. Приняв удобную позу, погрузилась тотчас в думы. Только о чем думы-то? Отпала ведь надобность думать ей, городской старухе, о верблюдице на выпасе или о верблюжонке, печально ревущем на привязи за юртой. Об одном нынче все думы — о сыне и невестке...

Перебралась она в большой город осенью, а уже к лету следующего года местная власть — да будь она трижды благословенна! — как на ладони преподнесла им прямо в центре столицы квартиру, о какой и во сне не мечталось. Как уж это получилось — не ее ума дело: то ли пожалели старуху, приехавшую за тридевять земель, то ли сын того заслуживал, а может, просто посочувствовали их одиночеству — кто знает... Как бы там ни было, но сбылось все, что предсказывали аульные бабы, сами не нюхавшие и не видевшие ничего, кроме керосинного чада и кизячного дыма. Повернешь один краник — вода течет; повернешь другой — огонь горит. Хочешь помыться-постираться — милости просим: вот тебе банька. Да что там банька? Приспичило нужду справлять — не спешишь в овражек за аулом, накинув на голову чапан, как бывало прежде. Достаточно юркнуть в закуток возле кухни. Вначале — теперь-то и вспомнить смешно — страсть как смущалась заходить в этот теплый нужник. О аллах, разве усидишь на ослепительно белом каменном сиденье, когда за тонкой перегородкой священная пища варится в казане? Но верно сказывали предки: человек на третий день даже к аду привыкает. Теперь, слава всевышнему, и к этому приноровилась. Приедет в гости какой-

нибудь степняк, не больно искушенный в городских порядках, она мигом ему все растолкует: «Почтенный, если вам нужно руки помыть, будьте добры в эту дверь, а появится другая надобность — не стесняйтесь, зайдите вот сюда...»

А вообще, что там говорить, город для женщины действительно истинный рай. На расстоянии брошенной палки гудит-бурлит базар, где бойкие тюбетейки перед тобой подстилкой стелются: «Бери да бери!»; на расстоянии взмаха камчи блестит-сверкает магазин, где с утра до вечера смазливые молодки в белых наколках учтиво тараторят: «Пажалста да пажалста!» Бывает, иной аульной бабе не терпится поделиться с кем-нибудь новостью, и она, бедняжка, волочит подол через всю улицу, поневоле бросая тысячу домашних дел, а городской сплетнице и спешить никуда не надо: поднесет ко рту железку, развалится поудобней в кресле и чешет себе языком сколько душе угодно.

Всю жизнь, сколько себя помнит, в пыли и грязи копошилась, спину в ауле гнула, а теперь вот, на старости лет, благодаря своему сыну ненаглядному, зрачку своих очей, верблюжонку черноглазому, ягненку кучерявому, жеребенку легконогому, солнышку своему на небе, месяцу ясному, утесу несокрушимому, озеру гладкому, повелителю грозному, вороненку беспомощному, негоднику озорному, нечестивцу чернолицему, из-за которого ночей не спала, сердцем извелась-изболелась все эти годы, она вдруг нежданно-негаданно, будто в сказке, очутилась в раю. Когда переезжали сюда — а до того мыкались некоторое время на краю города в боковушке зловредного морщинистого старичка — обладателя завалюхи-мазанки за шатким забором, злого кобеля, маленьких, подозрительных глаз и редкой бороденки, — друзья сына играючи забросили два-три узла в багажник такси. Так же играючи внесли их в новую квартиру. С чемоданом и с одним узорчатым паласом сын расположился в передней комнате. С другим чемоданом и второй узорчатой алашой скрылась в боковой комнате она. Пять-шесть тарелок и вместительная полосатая кастрюля обосновались на кухне.

Друзья-приятели сына, с восторгом разглядывая голые стены новой квартиры, наперебой колготали:

— Ну, брат, берлогу отхватил что надо! Привалило счастье той, что тебя обротает.

— Ты, главное, не позволяй ей садиться на голову. Пусть помнит, куда ее привел.

— Да, да... на все готовенькое...

— Не то что наши бедняжки: сколько лет с дровами входили, с золой выходили. В чужом углу ютились.

— Что и говорить, крупно повезло!..

Опустошили шумные джигиты парочку белоголовок, противопоказанных истинно правоверной душе, еще раз потискали-пожали руки счастливым новоселам и разбежались кто куда. В просторной пустой квартире, каждый в своей комнате, остались вдвоем мать и сын.

С самого приезда из аула ни разу, кажется, слезинки не уронила, а тут вдруг отчего-то сердце сжалось и в глазах защипало. Пришлось то и дело кончик жаулыка к ним прикладывать.

Вспомнился муж-покойник, которого она, как благочестивая степнячка, называла про себя хозяином, а то и мужчиной этого дома. Так вот он, мужчина этого дома, когда родился сын, на радостях подарил единственную телку повивальной бабке. А она, богом данная супруга, помнится, посетовала тогда: «Ты что делаешь? Ведь телка завтра обеспечила бы ребенка белой пищей!..» «Ничего, женщина,— ответил он,— не волнуйся. С сумой по домам-аулам пойду, милостыню буду просить, а чтоб единственный сынишка голодал — не позволю». Верно, не позволил... Только и двух годиков не исполнилось сыну, как ушел на войну. Всего лишь два письмишка-треугольничка и успел прислать. И те были написаны чужой рукой в госпиталях. В первом сообщал, что ранен в бок, а в последнем — в голову. Ну, раз ранен в голову, какой из него вояка, решили в ауле, значит, скоро вернется домой. Но не оправдалась надежда. Очухался, видно, и снова ринулся в пекло. И больше ни слуху ни духу. «Черная бумага» пришла еще в войну, но несколько лет пылилась в конторе аулсовета, и вручили ее вдове, когда уже сын погибшего смертью храбрых закончил четвертый класс. Да будет ему земля пухом, одно утешенье, что отросток все же оставил после себя, память и след на земле...

А сынишка рос странноватым, совсем непохожим на аульных шалопаев. Попросишь ягнят пригнать или теленка-сосунка придержать во время дойки, а он убежит на край аула и смотрит, разинув рот, на багровый закат. Час глядит вдаль, не шелохнется.

Старший деверь-чабан, бывало, из себя выходил:

— Не-ет, помяни мое слово, человека из него не выйдет. Да где и когда видано, чтобы казах от скотины рожу воротил?! Отдала бы ты его мне на лето, я бы мигом из него дурь

выбил, заставил бы ягнят пасти, за отарой брести. А ты все дрожишь над ним, надеешься, вырастет — облагодетельствует. Черта с два! Этот мямля сам себя не прокормит. Вот увидишь!..

Вечером, когда укладывались спать, сын тревожно зашептал на ухо:

— Апа... а, апа... Если я не стану человеком, то кем же стану?

— Как это «кем»? Человеком и станешь! Через десяток лет вот таким джигитом будешь!

Но слова старого чабана, видно, крепко запали в душу мальчонки. Уверенность матери, казалось, его не убеждала. Он молча и задумчиво разглядывал сквозь прорехи ветхой юрты зыбкие звезды, мерцавшие на бездонном небе. И мать с опаской косилась на сына. В самом деле, со странностями парнишка. Бабки-асыки не собирает. В лянгу не играет. За ягнятами не бегает. А увидит клочок бумаги, гонимый ветром, бежит за ним опрометью. Снимет с колючего кустарника, развернет, разгладит и читает на ходу, аж спотыкается. А то задумается — слов вокруг не слышит. Или сядет перед юртой и с утра до вечера любуется причудливой игрой степного миража. Может, неспроста все это? Может, с головой у бедняги не все в порядке? Не на это ли намекал хромец кладовщик, что обрил недавно мальцу голову? «Ну и черепок у сорванца, а! Лобная часть кругла, точно спелая дынька-канделяшка, а затылочная — вся в буграх, будто недозрелая тыква. На висках же вмятина, словно кто-то полоснул плетью. Такой шишковатой башки я еще не видел!» Так молол языком нечестивец кладовщик, пока не спохватился: «Что это я сегодня разболтался?! Не дай бог еще сглажу. Как-никак я ведь племянник баксы Кураша. Тьфу-тьфу!» И доморощенный брадобрей смачно сплюнул на синеватый бугристый череп мальца, боявшегося шелохнуться в страхе от сверкающего лезвия опаски и цепких, узловатых пальцев, клещами зажавших виски. «Ай, ай! — продолжал восхищаться кладовщик, чтоб ему было пусто.— Вот это казанок! Попомни мои слова, тетушка: сын твой или птицу счастья за хвост поймает, или станет растяпой, не способным сладить даже с паршивой овечкой. Да, да!»

Она тогда только усмехнулась над словами пустомели кладовщика. А про себя решила, что, к сожалению, больше на правду смахивает вторая часть его предсказания. В самом деле, пошлет, скажем, сына сосед за конем, а он, бедняга, походит-походит вокруг табуна да и притащится домой

ни с чем, волоча по земле уздечку. С горем пополам взберется на опущенного на колени верблюда и тут же плюхается на землю, точно куль с мукой. И отчего такой неумеха? В кого уродился таким недотепой? Говорят: уродился удалец в материнскую родню. Ну так, слава аллаху, мужчины в ее роду были сплошь забияки-задиры. Как говорится, с походного коня не слезали, с камчой не разлучались, на недругов страх наводили. Род их никак хилым не назовешь, но мужчины становились жертвами своего буйного нрава и раньше времени покидали белый свет. Вот и осталось-то сородичей на земле семей сорок. Да и те разбрелись — одни в верховьях Арки, другие — в низовьях Хорезма. Пошел бы сын в них, был бы забиякой и задирой, каких свет не видывал. А вот отец его, аллах свидетель, малахольный был, по силе-сноровке уступал даже жене. Да и к хозяйству интереса не питал. Все у него как-то получалось не по уму-разуму. В старину, во время кочевок, верблюдов вьючила она со старшим деверем, а он, мужчина этого дома, и жена деверя только зазря суетились и путались под ногами. Вдвоем, бывало, средней величины тюк не осиливали. Зато веселье-сборища муж любил — страсть. Все мог отдать ради скакуна и домбры. Был такой случай. Приехали, как водится, сваты с ее стороны и то ли в шутку, то ли всерьез затеяли разговор: «Овец у нас тьма-тьмущая. Под копытами табунов земля дрожит. Нам за невесту не калым нужен, а памятный подарок. Подарком же нам приглянулась чалая скаковая лошадь нашего зятя. Ее мы и хотели бы получить». Мужчина этого дома сидел незаметно у порога и, услышав эти слова, тихонько выскользнул вслед за тетушкой, хлопотавшей у самовара. Гости продолжали колготать за дастарханом. Вот уже два-три самовара опрожнили. Потом мяса до отвала наелись. Потом белой пищи — кваше́ного верблюжьего и кобыльего молочка — отведали. Потом сотворили благодарственную молитву и, разморенные, отяжелевшие, вышли на свежий воздух поразмяться. «Оу, а где призовая лошадь, стоявшая на привязи!» — «Вот те раз! Недавно ведь еще была».— «Земля, что ли, поглотила? В небо, что ли, взмыла?!» Тут свекор-свет по сторонам тревожно огляделся: «Куда же наш сынок-женишок подевался?» И сваты спохватились, переглянулись: «В самом деле, не видать что-то нашего зятя».— «Ну, ясно. Ускакал, значит, на призовой кобылке. Разыскать стервеца!» Пятеро джигитов сели на коней, умчались в погоню. На другой день к обеду настигли в безлюдной степи незадачливого жениха,

пригнали в аул, как нашкодившего мальца. А он потупился, одно долдонит: «Пусть забирают свою дочь, но чалую лошадку оставят». Не вышло по нему, отдали-таки легконогую чалую сватам. А она там, на чужой сторонушке, затосковала, захирела. Едва очутилась за родным аулом — кровью стала мочиться. За весь год так и не вошла в тело. Задумалась родня: «Нет, не станет кобылка скотиной. Видно, верно сказано: обида племянника и зятя обернется бедой». Вернули лошадь, да не на радость, и родные луга уже не помогли: через месяц и вовсе обезножела. Ох, и переживал тогда мужчина этого дома. Долго хмурился, на жену глядя. «Все беды-напасти от твоей родни»,— буркнул однажды в сердцах. И потом уже, спустя годы, скорбно вздыхал, едва речь заходила о чалой призовой кобылке. Такой был страстный лошадник. Так, выходит, сын и не в отца пошел. Иначе бы с коня не слезал. Ну а дед по отцу крепкий был старик, багроволицый, посатый, грудь нараспашку, вечно исходил потом, и все на свете было ему нипочем. Свекровь была из богатых, однако прижимистая, расчетливая. Из тех, что не расщедрится, пока не расхвалишь, не вознесешь до небес. Зная ее повадки, старик свекор, случалось, пускался на безобидную хитрость. Заметит, бывало, что заварка поблекла, подождет, пока старуха отвернется по делу, ловко выхватит из ларя пачку фамильного чая и разом высыплет все в заварник, а обертку швырнет в огонь под таганом. Потом, с наслаждением потягивая темно-коричневый чай из пиалы, покрякивает да жену похваливает: «Ну что, ребятки, признайтесь, где еще удается вам пить такой чай, а? Э, никто, кроме моей старухи, не умеет так заваривать. Одна ее заварка стоит жирной ярки». У свекрови от таких слов румянцем вспыхивает морщинистое личико, редкие реснички вздрагивают-трепещут, сама она начинает ерзать, то и дело откидывает за плечо кончик жаулыка и, наконец, не выдержав, достает из заветного ларца еще одну пачку и тоже опрокидывает в пузатый заварник.

Да, широкой натуры был свекор, она это помнит, и жил открыто, щедро. И другие предки, сказывают, были гордецы, этакие простодушные увальни, любили прихвастнуть, но ухарей или смутьянов среди них отродясь не было. В лихую годину, когда стычки и набеги случались нередко, аул этот так и не прославился храбрыми и дерзкими воителями, хотя и снабжал народных мстителей и заступников добрыми конями. Когда бесстрашный батыр Конай обрушился на калмыков Сарайшика, говорят, под ним был боевой конь именно

из этого аула. Выходит, здешние мужчины издревле не испытывали тяги к пике и дубине и никогда не отличались воинственностью. Потому не только чужаки, но и отчаянные забияки и задиры из сородичей нередко совершали набеги на мирный аул и беспрепятственно угоняли табуны лошадей. Видно, исконно здесь было так: трезвые речи в почете, а ратная доблесть — никогда. Так чего же тут гадать-рядить: не в дерзкий материнский род, значит, пошло дитя, а в отцову родню — любомудрых и благодушных созерцателей...

Астанырал ла! Чего только не лезет порой в голову! Вывел ее бред болтливого кладовщика из душевного равновесия. Едва-едва не взяла грех на душу, недобрым словом помянув священных предков, да будь они трижды благословенны. Что этот словоблуд может знать! Мелет что попало, а ты потом сиди, ломай голову. Как-то не удержалась, поделилась своей тревогой с хмуролицым, косматым учителем. Тот — как всегда, неулыбчивый, суровый — только усмехнулся: «Бросьте, вы, женгей, горевать раньше времени. Казахов, понимающих толк в скотине, и без вашего сына хватает. Пусть любуется себе закатом, пусть смотрит на луну сколько хочет, главное — он первый ученик в школе». Вот тебе и рохля! Уж больно легко дается ему учение. Из класса в класс переходит с похвальной грамотой. Эдак скоро обвешает ими все стенки четырехстворчатой юрты.

И опять неспокойно материнское сердце, и опять поневоле начинает она тревожить дух незабвенной памяти предков. Ведь не доводилось еще слышать, чтобы из этого аула вышли какие-то особенные грамотеи или красноречивые мудрецы. А между тем они, жители аула, весьма гордятся тем, что приходятся сватами знаменитого байбактинца Шолака. Того самого Шолака, от которого родился Дат — отец батыра Срыма[1]. Сам Срым, сказывают, почитал этот род, называл племянниками. И поныне еще стоит только встретиться двум старичкам из этого аула, как начинаются бесконечные разговоры про то, как на поминки славного батыра их предки пригнали сорок голов жертвенного скота и привезли сорок бурдюков хмельного кумыса. И еще особенно охотно жители этого аула любят рассказывать про свою родовитость, считая, что по материнской линии они происходят от славного батыра Есена, сына Есенкула, под предводительством кото-

[1] Срым Датов (? — 1802) — руководитель восстания крестьян и части патриархально-родовой знати в Казахстане против гнета царизма, хана и султанов Младшего жуза (1783 — 1797).

рого обосновались некогда в этих краях. При этом они с каким-то снисхождением отзывались о том племени, из которого брали жен, называя его то родом краснобаев, то аулом пустомель. Как бы там ни было, в излишней скромности аул этот не обвинишь. И к ней, своей невестке, относятся по-разному. Наиболее суровые, сдержанные так и называют ее «келин» — невесткой, подчеркивая, что она пришлая, а добряки кличут ласково — «племянница». Словом, со странностями оказался род: сам ничем выдающимся не отличался, зато с древних времен окружал себя говорунами, певцами, весельчаками и забияками. Получается все-таки, что кучерявый, большеголовый ее малец пошел именно по стопам материнского рода. Ну конечно, как же иначе?! Не о том ли, бывало, благодушно мурлыкал себе под нос незатейливую песенку и ее отец, самолично помешивая мутовкой терпкий кумыс в бурдюке: «Поселились по соседству два племени, два рода, мы — батыры, судьи — вы, ах, славная порода...»? Значит, предки по материнской линии наградили своими достоинствами и дальнего потомка...

И когда она думает обо всем этом, душа ее, сумрачная, как заброшенный колодец в пустыне, вновь наполняется тихой радостью и надеждой. Прав, конечно, бровастый аульный учитель. Казахов-скотоводов и без ее сына вполне хватает, а таких, кто с книгой и бумагой дружит, должно быть, не больно густо. И, решив так, она не принуждала единственного сына бегать за отарой да загорать на сенокосе. И без него как-нибудь управятся. Найдется небось, кому пастуший посох держать и вилами орудовать. У мальца, должно быть, другая судьба.

Один из родственников, бригадирствовавший в колхозе, все шумел:

— Колхозу рабочих рук не хватает, а ты такого бугая взаперти держишь. Чем изводить бумагу и малевать разных шайтанов, лучше бы граблями помахал, сено убирал!

«Болтун! — думала она о родственнике в сердцах, опираясь на вилы.— Ради чего я запрягу сынишку, единственную память павшего смертью храбрых, в работу? Почему я должна лишать его сладкого здорового сна? Ради двух-трех горстей проса, что потом выделят на трудодень? А мальчишка не такой сноровистый и прыткий, как другие. Разинет рот да засмотрится на что-нибудь — и свалится с телеги или угодит под косилку. Как тогда посмотрю людям в глаза? Что отвечу духу усопшего?»

Подумать-то подумала, а слова родственничка все же за

живое задели. Что значит — изводит бумагу? И с чего это он взял, что сын малюет чертей-шайтанов?

После обеда косари возвращаются домой. Переступила она порожек юрты... Помилуй аллах!.. Что она видит? Что за чертовщина?! Чего это бесстыдник буравит ее в упор? Почему не здоровается? Даже не моргнет, нечестивец.

Вгляделась попристальней — сам свекор-свет живехонек восседает на почетном месте. В руке держит пиалу. Рядом стоит пузатый, ярко расписанный фарфоровый заварник. С наслаждением потягивает свекор густой чай, и пот катит с него градом. Поднес кусочек сахару ко рту и застыл на мгновение, глядя на сноху, оробевшую у порога. А в зрачках лукавые искорки. Видно, только что удачно подшутил над простодушной старухой. На кончике уса повисла прозрачная капелька пота — вот-вот сорвется. Подглазье в испарине. Ворот рубахи по обыкновению распахнут. Один край прилип к влажной груди, другой воровато высунулся из-за уха, точно мышонок, выскользнувший из лап кошки. А на голове круглая плоская тюбетейка из плюша, которую она когда-то расшивала по краям.

Она застыла у порога, разинув рот. Неужели померещилось? Немудрено, если за день, подгибаясь под тяжестью, сотню ворохов сена вилами перекидаешь. Иначе с какой бы стати привиделся ей свекор, давно уже истлевший на краю старого кладбища в чужом городе? Мыслимо ли, что именно сегодня, в августе сорок девятого, он восседает в ее юрте и как ни в чем не бывало попивает чай?..

Она протерла глаза, посмотрела вновь. Оказалось, свекор-свет сидел не на земле, а на небе, точнее сказать, в вышине, на стене юрты, между двумя раздвинутыми упинами. Раньше на этом месте висел какой-то усатый полководец, выпятив грудь сплошь в ослепительно-ярких наградах. Теперь его вытеснил свекор-покойник.

Все стало ясно. Вот, оказывается, что имел в виду родич-бригадир. Какой же это дикий-шайтан? Выходит, бедняга своего близкого родственника на рисунке не узнал!

Но каким образом этот сорванец намалевал так похоже своего дедушку, которого отродясь не видел. Должно быть, наскучило ему с самим собой разговаривать, собственной тенью забавляться да указательным пальцем тыкать в небо, вот и полез от скуки в сундук. Там среди всякой всячины в заветном уголочке хранился паспорт м у ж ч и н ы э т о г о д о м а, полученный им еще в то время, когда нанимался на Карабугазе возить тачкой сульфат. А в паспорте лежала

давным-давно пожелтевшая одна-единственная фотография свекра.

Однажды в аул, где в продымленных юртешках жили вперемежку казахи и туркмены,— на берегу быстроводного пролива, соединяющего море и залив с устрашающим названием Черная пасть,— заглянул бог весть откуда долговязый, дочерна загорелый детина в широкополой войлочной шляпе. В то время в аулах понятия не имели об инопланетянах, а то бы непременно решили, что их навестил космический пришелец. Объявился он в чем мать родила. Лишь потом разглядели, что стыд «пришельца» едва-едва прикрывал полотняный — тоже выцветший — лоскуток. Могучая грудь обросла свалявшейся шерстью. В шерсти были и плечи, и спина. Толстые, как у верблюда-самца, ноги тоже были покрыты рыжеватой, кудрявившейся волосней. Прокалился он на солнце так, что, казалось, тело его было заковано в непробиваемую темно-бронзовую броню. Огромный, мосластый, он шлепал босыми ступнями по раскаленному пухляку, брел по аулу и заглядывал то в одну юрту, то в другую — того и гляди утащит на воловьей своей шее чей-нибудь дверной косяк. Заглянет, кудлатой башкой туда-сюда повертит и шагает себе дальше. И вот приближался он к их четырехстворчатой кошомной лачужке на краю аула. На привязи за юртой томился серый ишачок, на котором — после того как обезлошадел — ездил верхом свекор-отец. Увидев ишака, пришелец отчего-то обрадовался, возликовал, будто родного отца встретил. Даже по крутым ляжкам от восторга себя похлопал. Подбежал к ишаку, обнял его за шею и давай целовать кончики длинных ушей. Свекровь слыла тихоней, но иногда жалила исподтишка, будто оса:

— До чего же неприхотливы и неразборчивы, однако, эти нечестивцы в своей любви!

В юрте затихли. Никто не осмелился рассмеяться. Пришелец, вдосталь обласкав ишака, разжал, наконец, объятия и протиснулся в юрту. Шел он напролом, едва не наступив на дастархан — скатерку — и не отрывая взгляда от свекра.

— Упаси аллах! — поневоле вырвалось у женщин.

Мужчина этого дома возлежал спокойно, словно ни в чем не бывало. Скатал, подоткнул под грудь яркое цветастое одеяло и попивал чаек, не отнимая пиалу от рта.

Свекор растерянно заерзал — никак не мог решить, следует подать руку этому верзиле, протянувшему ему обе кисти-лопаты, или не стоит. А тут еще старуха шпыняла-жалила сбоку.

— Не такой уж ты святой, чтобы к твоей руке прикладывались. Да и этот безбожник вряд ли о благочестии печется.

— Бросьте вы,— спокойно проронил мужчина этого дома, получивший некоторое представление о чужих правах, пока возил сульфат на тачке.— Подай руку. Так у них принято: сначала обнимут тебя, а потом уже знакомятся.

Свекор, быстро-быстро помаргивая, метнул взгляд на сноху, как бы спрашивая: «Что же ты, голубушка, посоветуешь?», а она поспешно потупила взор, как бы отвечая: «Что же я могу знать, свекор-отец? Решайте уж сами».

Старик вяло подал руку. Гость осклабился в добродушной улыбке и плюхнулся на мешок кизяка у порога.

— О, раздери его нечистая сила, весь кизяк мой искрошит. Вылез бы сейчас тарантул из мешка да ужалил бы бесстыдника в мягкое место — поделом бы ему! — заверещала свекровь, видя, как гость своей тушей раздавил топку, собранную ею рано утром по прохладе.

— Тс-с-с... дьявольское отродье! — Свекор незаметно ущипнул старуху в бедро, встревоженно косясь на пришельца.

Гость, казалось, никуда не торопился. Посмотрел на ведро, что-то пророкотал.

— Воды просит,— с важностью пояснил мужчина этого дома.

— Э, чего воду хлестать, пусть чай пьет,— тотчас вскинулась свекровь.— Или он думает, что вода Карабугаза так же сладка, как родниковая в предгорьях Каратау? Как бы не так! Черпак выдуешь — мигом брюхо скрутит...

Свекор раздосадованно прицыкнул на старуху.

— Чего мелешь? Он ведь твою болтовню все равно не понимает. Прикуси лучше язык и подай, что просит.

Свекровь гневно вытаращилась на старика, но перечить не осмелилась. Гость опростал черпак одним духом. Обильный пот мгновенно выступил на облысевшем лбу. Он стащил с головы войлочную шляпу, вытер ею лицо, шею, волосатую грудь и снова пришлепнул на макушку. Потом, обращаясь к свекру, залопотал. Насколько помнит она, тот сказал вроде: «Бабай карошший. Маладес! Бота ай, жакеы! Маскуа байдош. Казит байдош!» Она, молодая сноха, сгорая от смущения, сидела неподалеку от почти голого верзилы, но каждое слово его впитывала в себя, как откровение корана. Странно звучит в устах этого черта слово «бота»! Неужели он имеет

в виду единственную скотину этого дома — годовалого верблюжонка! К чему этому голяку скотина?! Даже с какой стороны подойти к ней, не знает. Наверно, он говорит о чем-то другом... Тем более при чем тут газета? Что общего может быть между газетой и верблюжонком! Наверно, она ослышалась.

Мужчина этого дома как-никак вращался некоторое время среди пришлых, пил их кислый «куаз», научился малость калякать по-ихнему, потому не преминул высказать свою осведомленность:

— Он говорит, у тебя, старик, чудесный верблюжонок. Ты, говорит, отдай его мне, я увезу его в Москву. Дашь верблюжонка — я тебя в газете пропечатаю, распишу, хороший, дескать, старик.

У свекра-отца и свекровушки глаза выпучились от ужаса. И она, сноха, немало удивилась таким словам. Все на некоторое время растерялись. Когда они всей семьей перебрались сюда из Мангышлака, от былого поголовья осталась лишь одногорбая черная верблюдица. В прошлом году она, напившись по неразумению нефти, сдохла. Остался от нее верблюжонок. Здесь люди день-деньской добывали и возили сульфат, копошились в едкой пыли, и никто не грозился взять так называемый единоличный скот на учет. Выходит, этот долговязый о том пронюхал. Конечно, уж коли новая власть — дай ей аллах тысячу лет жизни! — безошибочно видит то, что скрыто под землей, почему бы ей в самом деле не знать, что таит в своей душе чернолицый старикашка казах в потрепанном треухе? В этом он имел возможность убедиться еще несколько лет назад, когда однажды нагрянул из района кривоногий уполномоченный и, развернув перед ним сплошь испещренную каракулями бумагу, будто ясновидец, точно перечислил, каким состоянием обладали его предки едва ли не до седьмого колена. От удивления он тогда, как говорится, за ворот схватился. Однако сварливая старуха жена взяла на душу грех, обвинив во всех их бедах неуемного горе-активиста — сыночка Досан. «Это он, он, твой непутевый четвероюродный племянник,— разорялась она,— на нас донес. Это он, дурень, никак не уймется, все баев-кулаков вынюхивает. И невдомек ему, что мы, голые и босые, кое-как дотащились сюда из Желтау». Зря старуха распалялась. Совсем ни при чем тут родственник-активист. Власть нынче сама все насквозь видит. И этому волосатому верзиле вряд ли тот мокрогубый недоумок с войлочной сумкой на боку нашептал о верблюжонке.

— Э, забирайте, такеыр, уж коли приглянулось. Все равно с одним паршивым верблюжонком мне не разбогатеть. Дай аллах здоровья сыну и снохе — как-нибудь прокоротаю оставшийся свой век. Мое состояние — то, что детки зарабатывают своим горбом. А от скотины нынче толку нет. Раз уж мои предки ничего не нажали, то мне и подавно богатства не нюхать. Бери, дорогой. Задарма бери. Ничего не жалко. Хочешь — сейчас уведи, хочешь — завтра на ишаке сам пригоню, куда прикажешь.

Смирение и отчаяние звучало в голосе бедного свекра. Старуха и сноха поневоле прослезились. А верзила-гость вскочил с мешка из-под кизяка, начал похлопывать хозяев по спинам да утешать-приговаривать. И опять из его мохнатой пасти вывалились те же нелепые слова: «Нешауа! Нешауа! Бабай кароший, бота кароший. Все красибай будет». И бросил перед свекром небольшой бумажный сверток, пожал-потискал руку и выбрался из юрты.

Вся семья с недоумением глядела вслед странному гостю, удалявшемуся по направлению к броду вскипавшего волнами залива. Незнакомец то и дело оборачивался, махал им руками, а горстка степняков, стоявшая у входа в юрту, озадаченно переглядывалась.

Вернувшись на свое место, свекор-отец развернул бумагу и извлек фотографию. Посреди поселка возвышался чугунный памятник вождю, возле него напряженно улыбался, сидя на ишаке, старик.

Свекор покачал головой: в старике он узнал себя. Еще более удивившейся старухе начал, смущаясь, объяснять, как все это было. Оказывается, он недавно ездил на тот берег в лавку за хлебом. Ишак безмятежно потрухивал под ним. Возле памятника вождю стояли и разговаривали между собой трое незнакомых в белых войлочных шляпах. Заметили его, жестом подозвали к себе и уговорили встать возле памятника. Один из них поднес болтавшуюся на груди железную штучку к глазам и нацелился на старика. Старик перепугался, ткнул ишака в круп, но остальные двое, расхохотавшись, ухватились за узду и вновь отвели к памятнику. И тогда он решил про себя: «Ладно, будь что будет. На ишаке далеко не ускачешь. Если эти решили стрельнуть в меня из той железной штуки, они могут это сделать и вдогонку». Долго целился тот из блестящего глазка, почему-то вскинул руку, и в этот самый момент что-то щелкнуло. У серого ишака вздрогнули кончики ушей, а у его хозяина — сердце.

Компания у памятника еще больше развеселилась, глядя на то, как перепуганный старик на ишаке давал деру.

Теперь свекор с недоумением разглядывал свое изображение на фотографии. Мужчина этого дома от растерянности тоже почесывал затылок. У снохи тревожно забилось сердце, и только свекровь по обыкновению пилила старика.

— Говорила-долбила: зачем тебе, старому, возле магазина околачиваться?! Нет, не слушал. Все несет тебя куда-то. А я-то чуяла: добром это не кончится. Только вроде избавились от напастей и лиха. А ты сам растревожил свернувшуюся в клубок змею. Теперь тебя, косоглазого дурня, на бумагу пришпилили. Попробуй-ка вырвись. На небо взлетишь — за ноги ухватят, в землю зароешься — за уши вытянут. Считай: не дадут нам спокойно умереть.

Целый месяц после этого прожили в тревоге и страхе. И вот однажды, разрывая газету на закрутки, мужчина этого дома застыл, будто колом по темени хватили. Взгляд его споткнулся на снимке на последней странице: на сером ишаке, щуря глаза, восседал отец. Он не знал даже, что сказать. Взял газету с собой на работу, чтобы узнать у других: «Что бы это означало?» Приятели, друзья утешили: «Вот это да! Теперь твоего старикашку знает вся страна. Ничего не скажешь, красивое фото!» Только тогда он усек, что в тот раз гость-верзила вел речь вовсе не об их скотине, а именно об этом снимке. Когда он обо всем этом рассказал дома, старый отец возликовал, будто взобрался вдруг нечаянно на ханский трон. Теперь уж настал его черед позлорадничать над сварливой старухой.

— Вот видишь? Говорил же тебе, что у того верзилы доброе лицо, что не может он сделать худа. А тебе всюду и всегда мерещится конец света. И не только ты — все твои предки до седьмого колена были такими паникерами и трусами. Собственной тени боялись. От шороха камыша дрожали.

И в таких случаях свекровь, вообще-то не имевшая привычки лезть за словом в карман, смущенно и благоразумно молчала, с еще большим усердием прихлебывая из пиалы чай.

Вот на ту фотографию дедушки и наткнулся сегодня ее сынок. И рассказы о том случае он слышал не один раз. И, видать, все до мелочей запомнил.

А тот волосатый верзила оказался поистине ангелом-хранителем, добрым духом семьи. За три года до начала

войны семья перебралась из-за моря на родной берег. Через залив плыли на барже. По дороге остановились в Баку, походили по городу, послонялись по базарам и едва не отстали от парохода, что тащил их баржу. Их уже не хотели пустить на судно. Вконец растерянный мужчина этого дома достал из-за пазухи памятную фотографию, сунул под нос контролерам, и они и так и сяк повертели карточку, долго разглядывали старика, потом ишака, покачали головами и, наконец, решив, что человек, запечатленный возле памятника великому вождю, не может быть простым смертным, пропустили-таки их на отчаливавшийся пароход. И тогда они все так обрадовались, что в простоте души воздали хвалу не всевышнему и не славным духам предков, как это искони принято в мире правоверных, а в один голос помянули благодарным словом того самого иноверца в белой войлочной шляпе, который некогда расцеловал в ухо серого ишака.

Нет, что ни говори, а в душе ее сорванца теплится какая-то искорка. Как он оживил смутные очертания старой, потускневшей фотографии! Как в жизни, предстал перед взором давно умерший свекор-отец. Откуда такой дар у аульного парнишки? По тому, как у него неплохо подвешен язык, видно, он отнюдь не пошел по стопам материнской родни. Что касается мужчин этого аула, то те, кто обладают конями,— разъезжают по гостям и забавляются охотой, бесскотные же занимаются ремеслами: кто молотком по наковальне потюкивает, кто фуганком орудует, кто кожу мнет. Неужели из ее мальца вырастет такой же копуша? Нет, должно быть, страсть к рисованию — одна из детских забав. И все же надо отдать должное: редко кто в аулах малюет так ловок, как он. Не о том ли думает и ее свекор на рисунке, лукаво прищуривший глаз? Кажется, сейчас он вскинет бровь и спросит: «Ну как, милая сношенька, жива-здорова ли? В добром ли расположении пребываешь?..» И хочется ей открыть-выпотрошить перед ним всю душу. «Слава всевышнему, незабвенный свекор-отец. Живется-можется нам помаленьку. Правда, мы уже не такие, как при твоей памяти. Ведь сколько бед-горестей за эти годы пережито? Тебе, дорогой свекор, не суждено было лежать в родной земле, покоятся твои останки в краю туркмен. Помнишь своего другаровесника — жаумита[1] Жумагельды, с которым ты вечерами, расположившись в тени, так бурно спорил о шарпате? Так это он сотворил по тебе поминальную молитву. И ему

[1] Жаумит — представитель одного из туркменских родов.

моя свекровушка за старания и память подарила твой пояс, отделанный серебряными пластинами,— тот самый, в котором ты впервые ездил сватать невесту. В придачу еще отдали твой молитвенный коврик-жайнамаз и четки. А на поминки зарезали черного верблюжонка, который всегда норовил забрести подальше в степь.

После того, как ты, почтенный ата, покинул нас навсегда, свекровь совсем приуныла и стала еще более раздражительной и суетливой. Часто уходила из дома и часами глядела в безмолвную и таинственную степь, беседуя с причудливыми миражами. С того дня не давала она нам покоя. «Уедем, уедем,— все твердила она.— Хочу, чтобы тело мое предали родной земле». Вот мы, твой сын и я, уволились с работы, и на пароходе, отходившем с того берега раз в несколько месяцев, подались в отчий край. На том месте, куда я прибыла снохой, к тому времени образовался колхоз, в который мы по приезде сразу вступили. Утром, когда мы уходили на работу в поле, бедная свекровь оставалась дома одна в слезах, а вечером, когда мы возвращались, она опять плакалась. «Сколько уж лет обзавелась я снохой,— приговаривала скорбно она,— а бог не дает мне внучонка. Дом мой — что могила. Услышу ли когда в нем детский голосочек?..» От этих ее слов я каждый раз немела и бывала готова провалиться сквозь землю. О всевышний, всеблагий, убивалась я про себя, чем я тебя прогневила, отчего ты лишаешь меня единственного женского счастья? Неужели бесплодна моя утроба, неужели не суждено набухать молоком моим грудям?! Очень тогда боялась, что я, выросшая на степном приволье, надорвалась на непосильной работе на соляных копях, наглоталась едкой сульфатной пыли и обречена на бесплодие — самая страшная кара аллаха для женщины. И в часы отчаяния я только к тебе, к одному тебе, атажан, обращалась с мольбою. Я ведь никогда не переступала, атажан, тебе дорогу, никогда ни в чем не возражала, не перечила, а всегда старалась, как положено учтивой снохе, угодить тебе. И, может быть, потому ты относился ко мне всегда ласково, называл неизменно «келинжан» — «милая сноха». И вот в моей памяти ты остался не едва заметным в безлюдной степи бурым холмиком, а всегда живым, улыбчивым и щедродушным. Хотя и не было тебя с нами, но добрый дух твой незримо присутствовал в убогом нашем жилье, вселяя надежду. После возвращения в родной край, через два года, я родила первого ребенка. Думала, бедная свекровушка, так долго ждавшая внука, начнет сердиться-гневаться из-за

того, что разродилась я низкородной девочкой, но нет, обрадовалась, засуетились, сама нагревала воду, сама стирала пеленки, готовила для меня варево, пока я не окрепла. Раньше, бывало, она хмурилась, дулась, осуждала, что бы я ни делала, а теперь подобрела, хлопотала по хозяйству больше меня. Внучку свою назвала Инкар — Желанная. Иногда ночь напролет не спит, сидит, сгорбившись, возле крохотной люльки, мурлычет что-то тихое, нежное у изголовья внучки, и, глядя на обычно суровую свекровь, я от непзъяснимого чувства, усугубляющего мою грусть, то плачу, то смеюсь. А твой сын в таких случаях толкает меня в бок и ворчит спросонья: «Что делается с женщиной этого дома? С ума, что ли, сходит?!» Ну почему же мне с ума-то сходить? Если и сходила, то от счастья, от благодарности к благосклонной судьбе. Разве может быть у долгополой бабы большее счастье, чем видеть, как ее долгожданное дитя, рожденное в муках, всеми любимо, всем желанно и над ним трясутся, в нем души не чают больше, чем она сама? И в те радостные дни, дорогой атажан, я часто вспоминала тебя и благодарила твой дух за доброту и щедрость, ибо в душе своей всегда сознавала, что это ты воздал мне безмерным счастьем за мою скромность, внимание и учтивость. И оттого, должно быть, что душа моя тогда просветлилась и возликовала, я вскоре, едва отняла девочку от груди, снова понесла. На этот раз, дорогой ата, я родила сына, такого же посатого крепыша, как ты.

Удивительно легкими были мои роды. Летовали мы в песках. А приближалась зима. Повадки своего сына вы сами хорошо знаете. Домашние хлопоты и заботы его не интересовали. Как только наступал вечер, собирал он аульную молодежь и затевал веселье: песни распевал, на домбре играл. Он, по-моему, еще в пеленках с домброй сдружился и искусно тренькал на ней с малых лет; не расставался с ней и позже, когда оброс кудлатой бородой. Сидит, бывало, матерый мужчина в кругу юных плясуний в ярких шапочках, украшенных перьями филина, и, не стыдясь бороды, наяривает вдохновенный кюй.

Скажу тебе, свекор-отец, когда твой сын в последний раз вышел из этой юрты, было ему ровно тридцать лет и три года. Нынче многие в его возрасте еще в холостяках ходят.

Где пир, где веселье,— там и ваш сын. Как же? Разве без него обойдутся? Уедет и неделями, бывает, и не показывается. А свекровушка и по дому конопшится, и от внучки

ни на шаг не отходит. А я уже на сносях, того и гляди рассыплюсь, но — делать нечего — брожу по барханам, собираю кизяк и хворост и волоку-тащу домой тяжеленные мешки. Однажды — день уже клонился к вечеру — я еле-еле добралась до дому и только опустилась, обессиленная, возле стога, как сын ваш разворчался, недовольный тем, что я не успела состирнуть ему белую рубаху, в которой он обычно красовался на вечеринках. Я до того не имела привычки возражать ему, а в тот раз черт дернул меня за язык. Взяла и ляпнула: «Другие гуляют — куда ни шло, а ты-то... Посмотрел бы на себя в зеркало?!» Буркнула, а сама дыхание затаила. И тут боль огнем обожгла мое правое плечо. Сын ваш хлестнул меня раз камчой и вышел, как ни в чем не бывало. «Вот пес, что он делает, а?!» — только и промолвила растерявшаяся свекровь.

Разве можно было в то время от унижения и обиды реветь и рвать волосы на глазах свекра или свекрови? Эка невидаль, богом данный муж стеганул тебя разок плетью!.. Я вся сжалась и точно окаменела. Ни слезинки не проронила. Поздно вечером, после ужина, я молча постелила для свекрови постель, уложила дочку в люльку, погасила лампу, опустила тундук — потолочный войлок, потом вышла из юрты и укрыла топку старой кошмой, чтобы не отсырела от росы. И только потом тихо пробралась к своей постели, прилегла и дала волю слезам. И то лишь молча, без единого всхлипывания и стона. Остановиться не могу. Только никому нет дела до моих слез: родной супруг уехал в верховье с Красной юртой и веселится в свое удовольствие. Утром я сготовила для свекрови чай и снова отправилась в степь собирать хворост.

Как мне повезло в тот день! Наткнулась я неожиданно на густые заросли сухого жузгена. О такой топке в пустынной степи только мечтать. От радости обо всем забыла на свете. Только и делала, что вязала вязанку за вязанкой. А когда взвалила все на спину — подогнулась вся, зашаталась, будто нечистая сила меня оседлала. А я ведь, атажан, крепкая баба: огромный казан, полный мяса, запросто одна с треноги снимаю. А тут вдруг ноги подкашиваются. Да и песок — будь не ладен! — зыбучий такой, прямо уплывает из-под ног. Вся тяжесть тянущей болью отозвалась внутри живота, а ноги стали будто ватными. Кусая губы, обливаясь потом, я двинулась в обратный путь чуть ли не ползком. Кое-как, с бесконечными остановками, дотащилась до крайней юрты крохотного аула среди барханов. Тут я

не выдержала — шлепнулась на песок вместе с вязанкой за спиной. В глазах потемнело. Вдруг услышала странный, душераздирающий крик и не разобрала, то ли я сама вскрикнула от боли, то ли кто завопил дурным голосом.

На крик этот выбежала из юрты свекровка. Присеменила, спотыкаясь о длинный подол, засуетилась вокруг меня:

— О аллах всемилостивый!.. Разродилась бедняжка... опросталась...

Вот так, добрый атажан, появился на свет ваш единственный внук, нарисовавший вас сегодня как живого и повесивший ваше изображение на почетное место нашей невзрачной лачуги...

С того дня мою свекровку будто подменили. Сами ведь, атажан, знаете: тороватостью она никогда не отличалась. Все, что попадало ей в руки, она тотчас складывала во вместительный сосновый сундук, сколоченный проезжим мастером-армянином, а ключ от него хранила при себе, на шее, точно драгоценный амулет. Когда же родился внучек, она враз охладела ко всяким тряпкам. С утра до вечера только и крутится между двумя люльками, забыв обо всем на свете, точно завороженный воробышек. А ваш сын, ушедший накануне разгневанным из дома, едва услышав, что у него родился сын, тотчас примчался, развевая полы чапана. Смешно вспомнить: гусаком носился по юрте.

Теперь уже я надула губы. Заважничала. Ведь искони веков степняк покорно сносил капризы снохи-молодки, если она рожала сыновей на великую радость мужа и всего рода. Щедрый закатили пир в честь рождения сына. Не одного барашка на радости порешили. Пусть малыш растет здоровым и крепким. Пусть не оставят его всемогущие духи! Тому, кто перерезал пуповину, подарили телку. Тот, кто сотворил благодарственную молитву и нарек новорожденного, получил дорогое инкрустированное седло. Тому же, кто обрил младенцу головку, досталась суягная овца. Вот так, ошалев от радости, сын ваш налево и направо транжирил свое скудное состояние, а я, глупая баба, целый год на него дулась, не в силах забыть то, что он однажды поднял на меня руку, и выказывала свой норов, точно строптивая кляча. Теперь, когда я думаю об этом, у меня, атажан, щеки горят от стыда. Когда, в какие времена бывало, чтобы низкородная баба могла по достоинству оценить свое счастье? Ведь — если подумать — все у меня тогда было: и муж, и дочка с сыном; над головой — надежная крыша, и, как говорится, постель тепла, и казан не пуст, и можно жить да поживать,

довольствуясь тем, что есть, и не гневить всевышнего. Так нет, я как ослепла от обиды. Целый год хмурь сводила брови. Теперь же, атажан, я поняла: счастье, когда оно есть, никогда не ценишь, как не ценишь верного пса у порога, которого, случается, походя пинаешь в морду и вспоминаешь лишь тогда, когда на твоих овец нападают волки. Мужчин же так уж создал бог, что они иногда разбушуются, точно гроза в знойный день, но потом сразу же отходят, а мы, долгополые дурехи, из-за случайной вспышки и себе душу травим, и мужей изводим. А бабье счастье не в том, что муж ее не дубасит. Вот уже сколько лет ни один мужчина пальцем меня не тронул... Сколько нас, вдов, тоской исходят от вольной волюшки, будто яловые кобылицы, без узды-повода пущенные в дикую степь. А где оно, счастье-то? Какой бабе по душе такая воля? И теперь, дорогой атажан, когда я думаю о том времени, у меня не только щемит-плачет сердце, но и та хлесткая боль, обжегшая мое правое плечо, чудится мне сладкой. Сын ваш горемычный никогда не был бездушным упрямцем, у него было чуткое, доброе сердце. Он, конечно, давным-давно простил столь долгий гнев неразумной бабы, не затаил же он досаду в сердце, не унес с собой обиду на тот свет. Так я думаю, так я надеюсь, дорогой, незабвенный атажан. А я как могла лелеяла его хрупкую веточку, его кровинушку, отросток его рода, ночей недосыпала, все мытарства-беды перенесла и вот уже почти довела до ума-разума. Вырос, атажан, ваш внучек. И тянет его к странному искусству-ремеслу, о котором никто в его роду — во всех семи поколениях — и не слыхивал...»

Все это она рассказала то ли вслух, то ли про себя, глядя на разительно похожий, живой портрет доброй памяти свекра, и очнулась от дум лишь тогда, когда зашипел, яростно клокоча, черный, густо закопченный чайник на треноге.

В тот день после обеденного перерыва она шла к косарям легко, бодро, будто летела на быстроногом скакуне. После смерти свекрови она никому не раскрывала душу, многое накопилось, наслоилось в закоулках сердца, а тут вдруг почувствовала небывалое облегчение.

Чернявый мальчишка увлекся рисованием всерьез. И она поначалу думала, что это просто одна из многочисленных ученических забав. И вот однажды, спустя многие годы, когда сын уже учился в городе-столице, завернул как-то к ней старший деверь-чабан:

— Невестушка, ты хоть знаешь, на кого наш шишкоголовый учится? По тому, как он укатил на край земли, я-то

полагал, он учится на секретаря райкома или председателя райисполкома. Думал: и из нашего рода кто-то в люди пробьется, нас облагодетельствует. А он, негодник, шантрапа, говорят, какой-то чепухой занимается. Недостойным мужчины делом. И виновата в этом ты, только ты. И сама все молчишь, и другим рот затыкаешь. Получается как в страшном проклятье: сам ничего не ведай, а ведающего не слушай. Вот и проглядела мальца. Вырос бестолочью!

И в праведном своем гневе деверь отхлестал куцехвостую гнедуху и ускакал прочь.

Как она тогда плакала от обиды и унижения! Окончив школу, ее шишкоголовый упрямец полез однажды в сундучок, достал из заветного узелочка пачку приятно шелестящих пестрых бумажек, сунул их в карман и в кузове попутной машины, вертя во все стороны курчавой головой, умчался в район. От горя и тоски она была готова реветь в голос, но крепилась изо всех сил, чтобы не накликать беды. Только прижала на прощание сына к груди, поцеловала по обычаю в лоб и осталась как вкопанная стоять одна-одинешенька...

Она даже не спросила, куда сын поступает, на кого намерен выучиться. Только получив от него долгожданную телеграмму, зарезала на радостях жирную ярку и пригласила аульных старцев, чтобы они дали ее единственному благословение — бата́.

С того времени на душе ее стало спокойно и умиротворенно. Она уже не утомлялась, как прежде, и не тяготилась одиночеством. Как бы ни уставала на бесконечной колхозной работе, придя домой и напившись крепкого чая, предавалась сладким мечтам о будущей благодатной жизни, ожидающей ее после возвращения сына с учебы, и тяжесть повседневных забот мгновенно улетучивалась. Подумаешь, осталось ждать каких-нибудь пять лет. За такой срок родившееся нынче дитя едва научится оправляться без посторонней помощи. А потом она, мать новоиспеченного специалиста, всю жизнь привыкшая жить на задворках захудалого аула сакманщиц, чабанов или косарей, разом переберется на центральную усадьбу. Так повелось: с учебы из больших городов аульные парни возвращаются или ветеринарами, или врачами, или — на худой конец — учителями. Всем им в аулах — почет и уважение. Вот и ее ненаглядный сынок вернется из столицы достойным человеком и будет жить в новом просторном доме. Нынешним молодым людям при желании нетрудно достичь состояния и положения. Дай только аллах здоровья и немного удачи-везения. Так и ее сын: проработает

годика два-три, встанет на ноги, накопит деньжат и вместо этой ветхой, полуистлевшей лачужки поставит шестистворчатую белую нарядную юрту всем на радость. Уже теперь подруги поговаривают о том, что непременно подкинут каждая пару мешков шерсти и по куску кошмы, когда — после окончания сыном учебы — надумает она ставить новую юрту. Ничего, живы будем — и до этого доживем. А какая это будет юрта — и представить несложно: верхние боковые кошмы белые-белые, как неснятое молоко; по ним идет широкая опояска, обшитая по краям красной тесьмой и украшенная белой аппликацией в форме крутых архаровых рогов; сама юрта, ослепительно белая, как яичко, издали манит-притягивает взор; ее верхний остов — потолочное отверстие-дымоход — отделан вырезным орнаментом и отливает синевой; потолочные кривые жердины — унины — окрашены хной; нижние решетки — кереге — толщиной в руку; весь каркас юрты крепок и высок; изнутри юрта отделана тонким красочным войлоком с яркими лентами из разноцветной пряжи с кистями; все стенки увешаны домоткаными коврами; пол устлан плотными самоткаными паласами-алаша; на почетном месте постоянно восседают уважаемые гости. А дальше?.. А дальше, если к ним будут приезжать гости из города, утверждая, что во всей округе нет другой такой опрятной и уютной юрты и столь щедрого дастархана; а со всех сторон стекаться по-аульному бесцеремонные и шумные степняки, похваливая улыбчивую невестку за густой, душистый чай; а сын учтиво спрашивать у матери позволения зарезать ярочку в честь заезжей знаменитости; а невестка советоваться о том, какое платье подарить супруге уезжающего почтенного гостя; а баловень-внук, кулачком вытирая несуществующие слезы, канючить возле уха: «Бабушка, а бабушка, отлугай мою апашку, она мне конфеты не дает»; а сама она горделивой ханшей сидеть на мягких подстилках и подушках, благодаря всевышнего за все благодеяния, то, признайтесь, люди добрые, может ли быть у простого смертного на этом свете еще большее счастье талана?!

И вот теперь почудилось, что вечно недовольный, сварливый старший деверь-чабан той самой своей короткой плетью, которой ни за что ни про что отхлестал покорную изможденную клячу, вдруг в одночасье разбил в пух и прах ее так старательно взлелеянное в мечтах видение. Что он мелет, несчастный? Как мог ее сын, первый ученик школы, так сплоховать и учиться там, где ему не разрешат стать

даже скотным лекарем?! Что же он натворил, бедолага?! Никому ни слова не говорила о своих сомнениях и смятении, однако саднящая боль все эти долгие годы таилась клубком, свернувшись в уголке души, пока не пришло однажды от сына коротенькое письмо с ликующей вестью: «Ана, нам с тобой дают квартиру!» Когда уезжала из родного аула, состарившийся деверь-чабан вдруг прослезился на прощание:

— Доброй и верной невесткой нам была, к сердцу приросла. Теперь наш грамотей-племянник... пес этакий... выучился и тебя от нас за тридевять земель забирае . Кто знает... увидимся ли еще когда-нибудь?..

Она ответила:

— Не убивайтесь, старший деверь. И не осуждайте меня. Я ведь, когда мой единственный сынок дорос до того, что сам мог удержаться за гриву коня, поклялась святым духам, что не стану ему мешать ни в чем. Куда поедет, кого возьмет, чем займется — его воля. Я же только буду при нем, постараюсь быть ему поддержкой и подмогой. И умру там, где настигнет меня смерть. Слово свое сдержу. Не обижайтесь, что уезжаю от вас. С кем же мне еще быть, как не с сыном? Пожелайте нам удачи. И да минуют нас всех беды-горести!

Аулчане, собравшиеся, на проводы, были растроганы.

— Ах, милая,— сказали старейшины,— хоть и долгополая баба, а мудро рассудила. Да сопутствует ей счастье-удача!

«Ия, аллах... сберегла я чадо кровное от хищника крылатого, от зверя клыкастого... дай мне и остаток жизни прожить при нем. Ни о чем больше не молю тебя. На окраине чужого города, на чужом кладбище покоится прах его дедушки. Неизвестно, где и под каким кустом захоронены бренные останки его отца. Так чем я их лучше? Душой? Судьбой? Или телом? Мне ли выбирать, где прожить остаток своих дней и где, в какой земле лежать после кончины?! Если в роковой час постоит у моего изголовья родной сын, а потом бросит в мою могилу горсть земли — я благодарна судьбе...» Так рассуждала она про себя, трясясь в кабине разболтанного колхозного грузовика, грозившего развалиться на ухабистых дорогах родного края, который она покидала, быть может, навсегда.

Слева и справа мелькали, раскаленными угольями обжигая глаза и душу, сызмальства знакомые холмы и песчаные увалы. Вдалеке, за барханами, плавящиеся в причу-

дливом мираже, смутно темнели могилы предков. Из-за угла испуганно выскакивала стайка чутких косуль, разбегалась врассыпную и через несколько мгновений, снова сбиваясь в косяк, сторожко смотрела вслед. Впереди машины, со свистом прорезая воздух, ошалело носились белогрудые ласточки с острыми раздвоенными хвостами.

Все родное и близкое вокруг провожало ее с грустью, жгло сердце, тянулось к ней, точно оплакивая разлуку.

А уже в поезде, на монотонно качавшейся полке, ей приснился сон. В верховом, чей треух смешно вздрагивал в такт рыси, она узнала свекра. Узнала и всерьез испугалась. А что, если свекор вдруг гневно закричит: «Куда вы улепетываете, разворошив родное гнездо, а?!» Что она, сноха, тогда ответит? Но свекор ни слова не сказал, только издали помахал рукой. А сам заспешил-погнался за пышнохвостой красной лисицей... «Что за наваждение? Свекор ведь никогда не увлекался охотой...» — подумала она во сне и проснулась.

И вот, добравшись из такой дали в столичный город, кое-как приютилась в чужом доме. Всю жизнь сама собой распоряжалась в собственной юрте, а тут вдруг, когда уже, казалось, птица счастья уселась на плечо, надо было угождать чужим людям, у которых сын снимал угол. Она пригорюнилась было и все чаще вспоминала предостережения старшего деверя-чабана.

А потом, когда вошли в новую квартиру, глазам своим не поверила — растерянно озиралась то на потолок, то на пол, и сын, покосившись на нее, усмехнулся. Оказывается, не забыл, сердешный, тот давнишний разговор.

— Ну что, апа? — заулыбался он.— Вышел из меня человек?

— Вышел, вышел, мой жеребенок! Да еще какой!

Нет, не забыла она, как бушевал, бывало, старший деверь-чабан, недовольный тем, что племянник день-деньской малюет что-то на бумаге. «Почему не запрягаешь его в работу?! — шумел он на невестку.— Думаешь, из его мазни выйдет толк?!» Какой с бедняги чабана спрос, если он привык видеть смысл жизни и богатство лишь в той отаре, которая послушно трусит перед ним? Откуда ему знать, что «мазня» племянника хотя и не может обернуться достоянием, но вполне может обеспечить теми разноцветными бумажками, на которые обретают всевозможные житейские блага?..

И потекла жизнь своим чередом, и, похоже, сбываются не предсказания старшего деверя, у которого, по поговорке,

волос короток, да ум долог, а досужий трен аульных баб, у которых долог волос, да короток ум. В самом деле, разве эта квартира — не тот самый сказочный терем, где сверху блестит, снизу сверкает, а посередке ханша обитает? И разве не она, степнячка, восседает в этом тереме ханшей на вчетверо сложенных белых подстилках? Все получилось так, как говорили аульные невестки-подружки. Только где она, та крашеная тонконогая краля, которую однажды, ни слова не сказав матери, приведет в дом ее ненаглядный сын? Неужели тут аульные вещуньи допустили промах?

Каждую женщину, которой судьбой уготовано стать матерью, неминуемо ждет день великой тревоги и день великой радости. Так вот, день великой тревоги она благополучно пережила: дочку посчастливилось выдать замуж за человека из достойного, состоятельного и самостоятельного рода. Можно сказать, повезло, и от сердца сразу отлегло: отныне уже не надо матери беспокоиться о судьбе дочери и ее детях — настоящих и будущих. Она, как говорится, в надежных руках и за каменной стеной. А день великой радости, когда сын наконец-то приведет в новый дом желанную невестку, что-то явно запаздывает и заставляет темноликую старуху в высоком белом тюрбане целыми днями томиться-горевать в одиночестве у широкого — во всю стенку — окна.

Каждый день сын рано уходит из дому. А возвращается поздно. Иногда приходит веселый, сияющий, а случается, притащится как в воду опущенный, усталый. Правда, на все расспросы матери отвечает подробно, как прилежный ученик у доски. Пока он говорит, вроде все ясно, а умолкнет — бедная мать и не сообразит, что к чему. В последнее время, догадавшись о непонятливости матери, сын все реже пускается в обстоятельные объяснения и лишь бросает на ходу:

— Не беспокойся, ана, ничего страшного.

Для человека, изнывающего от тоски и одиночества изо дня в день, эти слова не могут послужить утешением. Еще вчера она, казалось, знала все о своем дитяти, знала, что его тревожит, где болит, отчего печален, чему радуется, а теперь собственный сын, плоть от плоти ее, вроде стал чужим: у него, оказывается, есть свое дело, своя жизнь, свои тайны, свои радости и горести. И у родной матери уже нет права лезть ему в душу. Просто неприлично донимать взрослого мужчину назойливыми вопросами: отчего невесел, почему пропал аппетит, какая забота омрачает душу. Вот и

молчишь поневоле. Варишь-готовишь, стол накрываешь, самый лакомый кусочек подкладываешь, каждое движение ловишь, в рот смотришь. А приляжет — на цыпочках по дому ходишь, следишь, ладно ли спит, приоткрыта ли форточка, высока ли подушка, тепло ли одеяло. И уже ласковые слова, как прежде, вслух не скажешь. Сон его потревожишь, да и телячьи нежности сыну не очень-то по душе. Вот и говоришь про себя или бормочешь чуть слышно, уйдя в свою комнату, усевшись на свою постель, сама с собой, точно тронутая, разговариваешь.

Что ни говори, а невеселая это штука — одиночество. В одной комнате, не зная, кому излить свою тоску, изнывает старая мать; в другой, скрывая от посторонних свою душевную сумятицу и маету, томится сын. И для того, чтобы помочь обоим, избавить их от иссушающего душу одиночества, толково и понятно объяснить матери, что за напасть такая грызет исподволь сына, а сыну поведать о тревогах матери, нужен некий посредник, некий чуткий толмач — все знающий и все понимающий. И даже не посредник — а посредница, долговолосая особа, рожденная от другой матери. Без ее содействия, без ее щебетания обитающие под одной крышей мать и сын, самые близкие и родные, готовые жертвовать жизнью один ради другого, кажется, уже не способны на сердечное, задушевное общение. Без нее, пока что таинственной посредницы, не избавиться им от тягостной тишины, гложущей сердце незаметно, исподволь, изо дня в день.

Иногда, чтобы хоть немного проразвеяться, она выходит во двор. Там на шаткой деревянной скамейке греется на солнышке совоглазая старушка соседка. Они давно уже улыбаются друг дружке и неизменно обмениваются приветливым «здрясти», а вот дальше беседа не идет, потому что с помощью двух слов — «кякой» и «карошший» — не больно поговоришь. Совоглазая соседка, пощупав краешек высокого белого тюрбана, удивленно разводит руками. Означает это недоумение: сколько же метров ткани ушло на такой головной убор? Она, мотнув головой, растопыривает пять пальцев. Собеседница еще больше поражается: неужели от такой тяжести шея не болит? Нет, нет, усердно качает она головой, не болит. На этом, к обоюдному сожалению, разговор иссякает. Ну а что, если б они даже понимали друг друга? Едва знакомой старухе, знать не знающей ни твоего рода-племени, ни твоих близких, что поведаешь: историю своего сватовства и замужества или воспоминания о короткой

твоей супружеской жизни?! В таких случаях с тоской начинаешь думать об аульных товарках, с которыми можно было запросто чесать языками, и про печальный рев верблюжонка, и про закопченное дно старого казана. А только подумаешь о них — тотчас всплывает перед глазами родной аул. И нет потом уже никаких сил избавиться от этого наваждения. Мгновенно чудится неистребимый терпкий запах степной кудрявистой полыни. Мерещится сладковатый дух нежного мясца молоденького барашка, сваренного в сыворотке от квашеного молока. И звучит в ушах протяжный, томный рев верблюдицы, спешащей из степи на дойку, ибо поют ее набрякшие от молока сосцы. И от одних этих воспоминаний начинает пощипывать кончики пальцев у исконной степнячки. Эх, накинуть бы сейчас на руку подойник, подойти бы, нежно приговаривая ласковые слова, к верблюдице, истомленной от любви к своему верблюжонку, услышать бы, как цвиркают из-под пальцев о дно подойника тугие струйки молока... Или устроиться бы в затишке возле юрты и накладывать заплаты на истлевшую кошму, или вить аркан, или катать войлок, или придумывать затейливые узоры. Все аульные девки-молодки, называя ее учтиво «женеше», спешили, бывало, к ней на выучку. Ведь на все руки мастерицей слыла — всем бабам на зависть. К ней неизменно обращались за помощью все и всегда в ауле: то новорожденного искупать и запеленать, то приучить ягненка к строптивой матери, отказывавшейся подпустить его к своим сосцам, то вдуть воздух в легкие только что появившегося на белый свет верблюжонка. И она никогда никому ни в чем не отказывала и не набивала себе цену. Но к одному аульному свойству — к шушуканью по углам, к бабьим сплетням — так и не смогла приноровиться. Говорила всегда напрямик, без обиняков то, что думала. И невестки-товарки, если хотели ее похвалить, конечно же находили в этом ее достоинство, но когда им хотелось ее осудить, ставили ей в вину именно этот ее «изъян»: «Да ну ее! Лянает в глаза что попало, и хоть ты тресни».

Кому до всего этого есть дело в грохочущем городе, по улицам которого с утра до вечера шастают взад-вперед толпы разноликих и озабоченных людей? Никому из них твои аульные россказни неинтересны. И знать о том не знают, и слушать не желают. А то и скажут: пустой треп...

Вот если бы сын привел невестку, ей можно б было кое-что порассказать. Потому что так уж создан женский род, что ни одна бабонька от досужего разговора не увильнет, не

скажет, махнув рукой: «Да ну вас!», а, наоборот, навострит ушко, прислушается хоть к какому бреду, даже если ничего не поймет. Кто знает, думает ли вообще ее сыночек о тонконогой, пышноволосой крале, о которой в ауле бабы все уши прожужжали, а вот ее эти думы в последнее время денно и нощно не оставляют в покое, словно болезнь какая-то. Иногда она начинает даже обижаться на сына. Что за мужчины такие в городе?! Только и знают что слоняться по комнатам. В аулах парню едва стукнет восемнадцать лет, как он девкам проходу не дает. Бедные родители, у которых подрастает дочка, сна лишаются. Потрется о юрту невзначай верблюжонок, как уже вскакивают с постели: а вдруг ухажер какой под покровом ночи девку из дому выманивает? Или — не приведи аллах — надумал ее умыкнуть? Ведь не погонишься за ней на лошадях, не затеешь потасовку-сечу с насильниками, как в старину. Нынче все делается по-другому. Один того и гляди умыкнет девушку на легковой машине, другой, менее прыткий да ухватистый,— на водовозе, бензовозе, грузовике, а уж третий, совсем нерасторопный, растяпистый, приползет за зазнобушкой на тракторе с волокушей. За ними разве угонишься? К таким разве подступишься? Целый год родителям девушки и белый свет не мил. Бушуют, всех и все на свете проклинают. Но что толку? Через год, когда беглянка разродится первенцем, сами к ней на поклон едут, чтобы поглазеть на внука или внучку. Так было. И так будет, наверное, еще долго. И только непонятно, о чем думает и что делает родной сын. Десять долгих лет учился в школе, пять лет протирал штаны в институте, и еще два года проваландался холостяком, и еще вот эта, нынешняя, зима на исходе, а он, сердешный, все один мается, все один болтается, как берцовая кость-ботало на шее бродяги-верблюда. А между тем ему, как говорится, пора не только усы отпускать, но и бороду отрастить. И так уже в иной день по два раза бреется. Аллах знает, что у него на уме! Может, рассчитывает, что мать, приехав из аула, по стародавнему обычаю соберет почтенных родичей, у которых хорошо подвешен язык, и отправит их высватать для сына смазливую дочку какого-нибудь городского баскармы? А откуда бы она взяла таких родичей, которым позволено запросто ввалиться с таким деликатным делом в дом почтенного начальства? Ну, допустим, наберется она храбрости, вырядится в свой лучший чапан, затянется нарядным поясом с серебряными пластинами и постучится в дверь высокочтимых людей, но разве они догадаются, что она пришла их

дочку сватать, скорей всего, просто подумают, что заблудилась аульная бабка, и в лучшем случае выведут ее под руку за порог. Ну, ладно... скажем, сын ее — растяпа, мямля. Но куда смотрят сами девушки? Разве не о них, городских, говорят, будто они сами джигитам на шею вешаются? Правда, женскому племени искони положено быть скромными и стыдливыми, всегда и всюду блюсти свою гордость. Должно быть, и городской не так-то просто первой навязаться джигиту. Но он-то, он-то каков?.. Неужели не встрепенется? Так и будет брести в одиночку? Странно... И рост что надо, и голова не мякиной набита. Те времена, когда за невесту требовали калым — косяк лошадей и отару овец, слава всевышнему, канули в небытие. Ныне достаточно, чтобы у жениха имелась крыша над головой да работенка подходящая. По этой части у сына все благополучно. Не хуже других. Да и собой недурен: лобастый, курчавый, носатый, смуглый, ясноглазый, стройный. Вон, гляди, тоненькая, хрупкая девчонка-картинка повисла на лохматом, обросшем, как бродяга, узкоглазом, плосконосом, кривоногом верзиле и счастлива. Чем хуже ее сын? Почему девчонка-картинка не с ее сыном под руку ходит? Э-э... выходит, вся причина в нем самом. Не умеет за себя постоять. Не способен себя показать. Слоняется только и ждет, когда яблочко, созрев, в рот ему упадет. Эх, дуралей, губошлеп... яблочко-то, конечно, поспеет, да только в твой ли рот угодит, когда к нему столько рук вокруг тянется. Вот учили, учили их, а в ином деле у этих грамотеев ума меньше, чем у аульной бабы, не ведавшей ничего, кроме своего очага. Иначе как объяснить, что из несметного табуна ярко-пестрых девок, шныряющих по улицам города, точно косули по вольной степи, ни одна тебя не приголубит, не осчастливит?

Так и стояла одинокая старуха у большого, во всю стену, окна, томясь немудреными и неторопливыми думами. Долго стояла, даже резкую трель звонка не расслышала. Очнулась только, когда за дверью нетерпеливый зов услышала:

— Апа! Апа!

Открыла, спохватившись, дверь. Сын стоит у порога. Смущенно так, глуповато улыбается. А рядом — светло-смуглая, худенькая девчонка застыла. Взор потупила, уголки губ чуть-чуть вздрагивают. Сын, подхватив два чемодана, первым вошел в дом. За ним, дробно постукивая каблучками, прошмыгнула незнакомка.

Сын, деловито отдуваясь, поставил чемоданы в коридоре. Робкая его спутница жалась к стенке, кончиком блескучего

платка прикрыла рот, носком туфли засверлила пол. Сын взял ее за руку, отвел в комнату матери. Незнакомка присела на краешек стула у двери.

— Апа, это Роза,— сообщил сын и куда-то заспешил.— Я сейчас... мигом...

— Здравствуй, милая!

— Здравствуйте-е...— учтиво отозвалась девушка.

— Учиться приехала, да?

Незнакомка не ответила, но зарделась вся, облилась румянцем.

О чем с ней говорить дальше, старуха не представляла. Про себя только решила: не иначе как в институт поступать надумала. Сейчас самая пора: девчонки, окончившие школы, табунами едут-стекаются из аулов. И это только поначалу они такие стыдливые да послушные, словечка из них не вытащишь. Зато потом, едва минует годик, мать родная не узнает: косы обрежут, платьица обкорнают, а то еще в брючишки влезут, до бесстыдства обтянув тощие зады, глазки подведут, бровки повыщипывают, всем телом подтянутся, подберутся, точно вышколенная гончая. А эта-то, видать, и впрямь скромница. Ну ничего, голубушка, дай срок, и ты такой же станешь. Будешь еще глазищами шнырять-зыркать по сторонам да нам, старухам, рты затыкать. Да, да... небось слова вымолвить никому не дашь... Эх, наивные аульные сородичи! Им все чудится, что если уж кто в Алма-Ату перебрался, так непременно головой небо подпирает. Какое там! Неужели этот недотепа способен кого-то еще в институт устраивать? Откуда такая прыть? Нет уж, милая, придется тебе лишь на счастье-удачу свою уповать. Может, и повезет. Повезло же ей, бедной вдове: единственный сын взял да и поступил без чьей-либо подмоги-подпорки. Да, но чья это все-таки пташка? Старшего деверя-чабана? Но та, помнится, была рыжеватая, жидковатая, вся в мать. Дочки младшего деверя-кузнеца, должно быть, еще подлетки. Да и навряд ли он со своей чумазой бабенкой додумается до того, чтобы дочку свою Розой назвать. А-а... видно, это дочка начальника районной милиции, дальнего родственника покойного мужа.

— Ну, как... отец-мать живы-здоровы?

— Вроде в здравии-благополучии.

«Что она лепечет? Что значит «вроде»? Вчера только выехала из дома и не знает, как живется отцу-матери? Или я что-то путаю? Со мной бывает. У кого еще в нашем роду могут быть такие чистенькие, ухоженные детки?»

Старуха поневоле поискала глазами сына. А он, оказывается, прирос к телефонной трубке.

— Да... так вот получилось.

«О чем он?»

— Нет, ничего не знает.

«Кто не знает? Чего не знает?»

— Пока, видно, не догадалась. Должно быть, обрадуется.

«Что за тайны? Не о гибели же отца, чьи кости давно истлели, оповещать собирается...»

— Да, да... сами соберемся, и ладно. А я сбегаю пока в магазин.

Сын тотчас подхватил рыжую хозяйственную сумку и хлопнул входной дверью.

«Ладно... довольно догадки строить. Кто бы ни была, чувствуется, гостья смущена и растеряна. Видно, издалека приехала, устала, проголодалась. Пойду чай поставлю...»

Старуха прошаркала на кухню, поднесла спичку к газу, поставила чайник на огонь. Вернулась, а гостья все так же сидит на стуле, только еще больше сжалась, сгорбилась. Да и личико вроде осунулось, побледнело. И глазки оплыли слезами. Э-э... Хоть и школу кончает и о равноправии верещит-стрекочет, а девчонка, девчонка и есть. Не успела из дома выехать, а уж глаза на мокром месте. По маме, оставшейся в ауле, небось тоскует. Потерпи, милая... Все еще утрясется, образуется. Не дитя ведь неразумное...

— Не горюй, дочка. Устала с дороги, да? Иди помойся.

Девушка благодарно кивнула, вскочила, впорхнула в ванную комнату, заперлась. И тут же ошалело залился звонок над дверью.

— Ну, апа, поздравляем! С радостью вас!

— Да сбудутся ваши пожелания, детки. Спасибо!

С шумом, грохотом ввалились пятеро джигитов. У каждого в руке по громоздкому свертку. Вот этот кривоносый, тонконогий, длинноволосый тощий парень помогал им при переезде. А этот гладколицый, щербатый, чернявый, кажется, взвалил тогда на себя всю посуду да еще пошучивал, дескать, ему сподручнее с казанами-кастрюлями возиться. Странно: с чего они вдруг все всполошились? И по какому случаю поздравления? Вроде недавно только поздравляли и с приездом, и с переездом, и еще с чем-то. Вольные ребятки, ведут себя будто в отцовском доме. Бесцеремонно прошлись по всем комнатам, заглянули во все углы, недоуменно развели руками:

— Эй, а этот кудлатый дьявол не гулять ли отправился со своей зазнобушкой, а?

И опять задзинькало над дверью. И снова: «С радостью вас, апа!», «Поздравляем!» Ну, и она знай одно долдонит: «Спасибо, детки! Да сбудутся ваши слова!»

На этот раз нахлынула ватага побольше. Среди них и несколько молодок. Они пронесли огромную раздувшуюся сумку на кухню. В сумке что-то позванивало, позвякивало.

Старуха вконец растерялась. Что за суматоха воцарилась в ее тихом доме? И куда ее сын, негодник этакий, исчез? А-а, вот он, легок на помине. Все разом загалдели, обступили его, давай тискать, обнимать. Молодки жеманно расцеловали его; а из парней кто-то дал подзатыльник, кто-то ткнул в грудь. Тоже мне игры-ласки: так резвятся разве что годовалые верблюжата по весне. Этак они невзначай еще оторвут сыну кудлатую башку на тощей шее...

— А ну, ответь: куда спрятал невестку нашей апы?

Щербатый с грозным видом схватил ее сына за грудки.

— А это ты спроси у самой апы!

О чем он? Какая невестка? О аллах всемилостивый, выходит, эта девчушка, пришедшая к ним нежданно-негаданно,— ее долгожданная невестка? Как же так? Почему этот нечестивец, да сбудутся все его желания, не предупредил ее? Она хотя бы осыпала невестушку горстью-другой конфет, как велит обычай.

Теперь все гости на нее уставились.

— Что этот лохматый пес мелет? Разве это невестка? Тогда она заперлась в ванной...

Все весело расхохотались и разом направились к двери ванной. Оттуда, смущенно улыбаясь и поблескивая глазами, вышла им навстречу юная невеста...

Что тут началось! Гвалт, смех, колготня. Все попеременно бросились обнимать и лобызать вконец растерявшуюся девушку. Последней подошла она и степенно поцеловала невестку в лоб, по-матерински приветствуя и благословляя ее.

В самой просторной комнате — комнате матери — прямо на полу расстелили праздничный дастархан — чистое полотенце, клеенку с кухонного стола, а где не хватило — просто газеты и расселись вокруг. У стенки, на почетном месте, усадили ее, мать. Молодки, пришедшие с друзьями сына, близко не подпускали ее сегодня к кухонным делам. А тот, щербатый, чернолицый, засучил рукава и, без умолку тараторя, начал закладывать мясо в большую синюю кастрюлю. Кто-то мыл посуду, кто-то протирал рюмки, еще кто-то резал

колбасу. Шумно и суетно стало, как в многодетном доме легендарного Шурмена.

Она сидела как во сне. Головой в недоумении покачивала. Разве свадебные пиры так проводятся? Разве аул жениха не готовится неделями, а то и месяцами к встрече невестки? Разве не ставятся родичами заблаговременно нарядные юрты, не пригоняется убойная скотина, не запасаются впрок кумысом, не собирают посуду со всей округи? Разве не бьются учащенно сердца у всех аулчан в предвкушении радостей пира? Разве не ждут с нетерпением того вожделенного часа, когда мальчишки-вестники на караульных холмах, завидя у горизонта клубящуюся пыль, с ликующим воплем «суюнши-и-и!» опрометью мчатся в аул, оповещая всех о приближении свадебного кочевья и прося подарки за радостную весть? А потом... О, потом первыми въезжают в аул жених с дружками. Им навстречу выходят, разбрасывая горстями белые пончики — баурсаки, почтенные бабушки. Потом нарядная, разноцветная толпа девушек и молодок отправляется встречать невесту с ее свитой и уже все вместе, шумно и весело, вступают в аул. Тут уже со всех сторон сбегаются и стар и млад, чтобы собирать шашу — печенье, конфеты и прочие сладости, которыми щедро осыпают жениха и невесту. Несколько дней длится всеобщее веселье, но наступает конец и свадебному пиру, и тогда невесту вводят в отведенную для молодых юрту — отау. У порога расстилают только что содранную овечью шкуру мехом вниз. Невеста должна переступить порог с правой ноги, и если она не поскользнется на шкуре, не споткнется, то ждут ее удача и счастье в семейной жизни. После этого зычноголосый певец во все горло, будто раскалывая небесный свод, заладит искрометную песню — напутственное слово невесте. Потом начинается чаепитие, и всем собравшимся хочется получить чашку чаю непременно из рук юной невестки. Вдоль стенок в тесные ряды усаживаются бойкие, языкастые бабы, требующие с гостей подарки за смотрины. И еще полгода во всех соседних аулах на летовке будут без устали вновь и вновь вспоминать все подробности памятного свадебного тоя. А сами те события западут в души молодых на всю жизнь, согревая и утешая их в часы радости и горести, которых выпадет конечно же немало на долгом пути супружества.

Думала-гадала ли бедная мать, когда, опершись о край тальниковой люльки, предавалась сладостным грезам, что свадьба ее единственного сыночка обрушится столь неожи-

данно и промелькнет так быстро, будто скачки стригунков? Вот эти ребятки, собравшиеся со всех углов казахской степи, выросшие в тяжкие годы в нужде и лишениях, изо всех сил стараются поддержать и утешить друг друга, взаимной участливостью и сочувствием скрашивая свою сиротскую долю. А доля у всех конечно же была сиротская, ибо, едва успев появиться на белый свет, чуть не каждый из них лишился отца. Все они, собравшиеся на кущую свадьбу ее сына,— безотцовщина, вдовьи дети, бог весть как пробивающиеся в люди. И какое счастье, что они нашли друг друга и вместе, сообща кинулись в безбрежное житейское море на утлых лодчонках дерзких стремлений, отчаянно гребя веслом надежды! Правда, маловато еще силенок у гребцов, и лодки их нещадно швыряют крутые волны. Но это их, кажется, не особенно заботит, они уверены в себе, говорят вдохновенно, хохочут громко, от души. Особенно вон тот — кривоносый, длинноволосый, тощий как жердь парень, с трудом смыкая тонкие лиловые губы, разглагольствует обо всем на свете, причудливо сплетая прошлое и настоящее, ведомое и неведомое, мыслимое и немыслимое. Время от времени он умолкает лишь на мгновение, резко встряхивает космами до плеч, и тогда поток слов извергается из него с новой неудержимой силой. Откуда они у него только берутся! Сидящие за дастарханом благоговейно внимают ему, восторженно качают головами, цокают языками. Пай-пай, какой златоуст, какой краснобай! Мать от изумления, забывшись, губами чмокает. Гости, должно быть, все понимают, о чем говорит кривоносый, и поражаются, она же ровным счетом ничего не понимает и тоже поражается. Просто диву даешься, как можно так ладно и складно плести слова и ни разу не оговориться, не споткнуться. «Ну, конечно, конечно,— думает она про себя,— зачем же им надо было тогда столько лет болтаться в чужом городе, вдали от родных мест, и корпеть над мудрыми книжками, если бы мы, темные аульные бабы, были бы в состоянии их понять?» Зато все, что говорит щербатый, чернолицый, понятно до единого слова. Слушаешь его — и поневоле вспоминаются аульные подруги-приятельницы. Они тоже говорят так горячо и убежденно, будто им одним ведомо все на свете. Вон, слушай... Он говорит, пуча глаза и что-то упорно вдалбливая в головку застывшей в безмолвии невесты. А говорит, между прочим, дельно. «Да, да... братцы-родичи мои! То, что я вам скажу — не треп. Вдумайтесь! Вон сидит на почетном месте наша апа — наша общая мать. Что она хорошего видела в жизни?

Ничего! Горя хлебнула вдосталь, а радостей — никаких. И эту радость она ждет теперь от вас, почтенные молодожены. Ты, милая невеста, с сегодняшнего дня приходишься нашей апе и невесткой и подругой. Невесткой — потому что ты жена ее единственного сына. Подругой — потому что, покинув родной край, лишившись приятельниц, оказавшись в непривычных условиях города, она обрела тебя, нашла тебя. Значит, ты обязана восполнить то, что наша апа безвозвратно оставила в степном ауле. Благо и радость этого очага отныне зависят от тебя. А это, братцы-родичи, скажу я вам — штука непростая...» Ай, айналайынай, как он это хорошо и просто сказал. Будто в самую ее душу проник. И откуда он все это только знает?! У самого давно ли губы от материнского молока обсохли... Ах, детки мои, роднепькие... Еще недавно вроде босыми ногами шлепали по пыли, и коленки ваши были исцарапаны верблюжьей колючкой, а губы растрескапы от ветра и зноя. А теперь уверенно ступаете по каменным улицам большого города. И тогда головы ваши охвачены одним желанием — исправить все оплошности, допущенные предками: научиться тому, чему они не научились, узнать, увидеть и совершить то, чего они не узнали, не увидели и не совершили. Это вы без сожаления, будто колесо старой ненужной арбы, оставили и выбросили в барханы древний тальниковый остов юрты, служившей тьму тем веков — с самого сотворения тверди и воды — вашему роду-племени надежным кровом. И отныне от вас пойдут потомки, о которых, видно, скажут: не в горца уродился и не в степняка, а в неведомого чужака. И не мудрено, если уже ваши внуки, пальцем тыча на овечку, с недоумением спросят: «А это что?» Но все это со временем забудется и все можно будет простить, если эти любомудрые юнцы, сменившие раздолье степи на удушливый асфальт, а юрты — на каменные коробки, и безмятежно галдящие сейчас за скромным дастарханом из газет и облысевшей клеенки, достигнут потом, вопреки голодному и холодному детству и отрочеству, вершин взлелеянной в душе мечты. И как будет жалко и досадно, если разбредутся впоследствии по увалам-перевалам, лощинам-оврагам многотрудной жизни и отстанут от всеобщего великого кочевья, тащась где-то посередке, ни там ни тут, никому не нужные, неприкаянные. Избавь вас всеблагий от такой ничтожной доли...

Всю ночь напролет пировала молодежь. Лишь на рассвете разошлись по домам. Невестка и сын вышли провожать друзей. Мать прилегла тут же, с краешка дастархана, и

тотчас забылась в коротком сне. И явился ей мужчина этого дома. Он сидел на корточках за порогом. И был на нем тот самый коричневый бархатный бешмет, в котором он уехал навсегда из аула. Голову укрывала белая войлочная шляпа, прошитая крепкими нитками по краям. Смотрел он на жену кротко и печально. Давным-давно, еще в девичестве, когда по поводу какого-то торжества аульная молодежь собралась у качелей, ей запомнился этот взгляд. Другие джигиты пялили глаза на девушек бесцеремонно, жадно и хищно, и только он, ее суженый, глядел по-другому. Сейчас он чуть заметнее загорел, что ли? И вроде печать усталости на лице... Вроде осунулся. Она протянула к нему руки: «Ты что, мужчина этого дома, на пороге стоишь? Проходи же в дом!» Он испуганно вскочил и отступил на шаг-другой. Казалось, он не узнал ее, состарившуюся, морщинистую. А он ведь такой молодой, красивый. Ей даже неловко стало от своего порыва. Она быстро отдернула руки и ощутила что-то теплое, влажное. Стряхнула сон, открыла глаза — оказалось, опрокинула бокал с вином. На клетчатой клеенке расплылась коричневая лужа.

Она быстро посмотрела на порог. Порог как порог: низкий, привычный. Ни за ним, ни на нем ни души. Значит, смекнула она, дошла до бедняги, царствие ему небесное, весть о женитьбе сына, и дух его обрадовался. Если во сне явится усопший, проходит на почетное место и отведает с дастархана пищи, это к беде, сказывают. А этот мытарь так и не переступил порога, ушел восвояси. Выходит, и на том свете печется о желанном наследнике, в котором и при жизни души не чаял.

Узнав о том, что мужчину этого дома отправят на фронт, она, положив сына-малютку в сундучок, как в люльку, верхом на верблюдице поздней студеной осенью отправилась в близлежащий город, где расположился военкомат.

На белопенных беснующихся волнах качался, вздрагивал всем корпусом большой пароход. По деревянному трапу поднималась на палубу длинная цепь хмурых бритоголовых мужчин. В конце цепи шел он — мужчина этого дома. Он на мгновение подбежал к ней, жадно приник губами к крохотным кулачкам безмятежно посапывающего во сне малыша и сказал дрогнувшим голосом:

— Слушай, женщина... Береги сыночка. Что бы ни случилось, как бы тяжело ни было, а его сбереги!

И, сказав это, отвернулся. И, сутулясь сильнее прежнего,

пошел, пошел по трапу, а потом на палубе еще раз повернулся, блеснул забами и махнул рукой.

Как бы отзываясь на многоголосый плач женщин на берегу, провожавших своих мужей на войну, белый пароход тягуче-скорбно гуднул напоследок и медленно отплыл. Море, потемнев волнами, бурлило, тужилось, взбухало — точь-в-точь печень варилась в огромном котле. И по этим крутобоким черным волнам сиротливо плыл-пробирался, все более уменьшаясь, белый пароход. Почти у голубеющего горизонта он издал прощальный гудок и скрылся из глаз. Ревела бурая верблюдица, тоскуя по оставшемуся в ауле верблюжонку. Беззвучно плакала, сидя на ней, безутешная молодая степнячка. В ушах ее звучали томительно густой гуд белого парохода, растворившегося в зыбком морском мареве, и несколько слов, сказанных на прощание м у ж ч и н о й э т о г о д о м а. В сундучке, точно в люльке, не ведая ни о чем на свете, спал, укачанный монотонной верблюжьей рысью, крохотный сын...

Теперь он, единственный, желанный, встал на ноги, возмужал. Исполнилась сокровенная мечта его отца, не дожившего даже до половины человеческого века. Должно быть, и в предсмертный миг, захлебываясь в собственной крови, думал бедный о своем побеге-отростке в далеком ауле — о продолжателе рода. Да исполнятся все его желания, да осуществится все, что не успел осуществить простодушный степняк, сложивший голову за всех, кто ныне жив!..

И в священный час зарождения нового дня, когда первые розовые лучи проникали в окно, одинокая черная старуха, сидя у скромного п е р в о г о совместного дастархана сына и невестки, обливалась чистыми, облегчающими душу слезами и, благоговейно раскрыв перед своим лицом ладони, сотворила от всей души благодарственную молитву.

В первый день она свою невестку даже не разглядела толком. Оказывается, ничуть не ошибешься, если ее — как предсказывали аульные бабы — назовешь хоть длинноволосой, хоть копноголовой. Распустит обильные волосы по плечам — вот тебе и длинноволосая. Начешет на лоб, накрутит на макушку — мигом становится копноголовой. И так, и сяк ей хорошо. Причешет волосы гладко, сложит узлом на затылке — становится похожей на тщедушного верблюжонка-сироту. Соорудит себе копну на голове — степенная взрослая женщина. Брови вразлет. Нос прямой, аккуратный. Глаза открытые, с блеском. Все на месте — придраться не к чему. Однако щупловата, в кости мелка. От таких дети рождаются

чаще всего хилыми, болезненными. Такая месячишко-другой покормит ребенка грудью — и конец: начнет потом возиться с кашкой да бутылочкой с соской. Брови близки в переносице, подбородок узкий, продолговатый, шейка тонка, аж просвечивается. Должно быть, мнительна и вспыльчива. Но губки пухлые, и брови не жидкие, как у капризных, лоб широкий, ясный, глаза добрые, светящиеся. Хоть и вспыльчива, да отходчива. Не из тех, кто, раз прогневившись, дуются потом неделями-месяцами, срывая на всех злобу и навевая тоску-уныние. В груди, пожалуй, узковата, но станом стройна, подтянута, тонка в талии. Если уж внимательно приглядеться, то можно заметить и огрехи в фигурке: вроде таз плосковат, посадка низкая да ноги коротки. Хорошо, когда молодуха поджара, легка и порывиста, точно призовой скакун. Нынешние молодые люди мало что смыслят в скотине, в земле, в человеке. Тогда что они вообще понимают? И разве старики в древние времена глупцами были? Разве напрасными были их старания? Как бы не так! Раньше, бывало, когда мальчик становится взрослым, все почтенные мужчины из его рода седлали коней и отправлялись в дальнюю поездку по степи. Вернувшись, делились впечатлениями — у кого какая дочка на выданье: хороша ли собой или дурнушка, худа или туготела, расторопна или ленива, как стоит, как ходит, как говорит, как чай подает. Иногда эти разговоры возмущали: «О чем они? Ведь не гончую собаку, не ловчую птицу выбирают...» А оказывается, не зряшный это разговор, не пустой. Выбирая сватов и взвешивая их богатство-состояние, обсуждая манеры, воспитание, красоту и характер будущей невестки, они, старики, заботились прежде всего о здоровье потомства, о благополучии семьи, о мире и согласии будущих супругов. Все-все взвешивалось и учитывалось. Слава богу, нынешние молодые люди избавились от необходимости считаться с имущественным состоянием родителей понравившейся девушки. Но это ведь не значит, что можно также не обращать внимания и на ее внешность. Вместо того, чтобы месяцами бродить под ручку, любоваться ночью на звезды, а днем считать листья на деревьях, не лучше ли хорошенько присмотреться друг к другу? Шутка ли: пятнадцать лет учили их уму-разуму. В их возрасте прежние мужчины не только семьями обзаводились, а целыми родами верховодили. А эти, нынешние джигиты, только и умеют что зариться на смазливых девиц, а тех, что позволяют себя разок обнять, тотчас покорно ведут в загс. Такие вот пошли растяпы. Зато как рассуждают! Только и слышно:

«любовь», «возвышенная страсть», «семейное счастье», «супружеское согласие», «забота о потомстве». Иные слова и произносить-то неловко. Иногда кажется, что нынешние молодые намерены прожить жизнь порхая, танцуя, целуясь, наслаждаясь. Будто не существует забот о детях, о старых родителях, и нет необходимости обзаводиться кровом, очагом и разным житейским скарбом. Словно никогда не надо думать о чьем-то горе и страдании, о радостях и боли, о добре и зле, о чести и низости, благородстве и подлости. Точно вся жизнь — сплошной праздник.

Как-то свекор-отец, спешно сняв их со становища, повез на промысел в Карабугаз. Когда они, отъехав далеко, поднялись на пестро-бурый холм, сердешный повернулся лицом к северу, где вдали осталась окутанная миражем родная сторонушка, и сказал:

— Родной край, надежный кров и теплый очаг издревле святыней почитались степняками. Ради крова и очага мы покидаем отчую землю. Да не лишит нас создатель блага и единства, что сулят нам кров и очаг!..

Прослезился тогда старик, однако смысл его слов не сразу дошел до сознания. А оказывается, без надежного крова и теплого очага жизнь двуногих ничем не отличается от существования четвероногих. Выходит, человек и живет-то благодаря тому, что горит огонь в очаге, да сладко булькает в казане, да добрый смех звучит под кровом. А ведь, если подумать, ключ от всего этого извечно находится в руках женщины. Она самая верная, испытанная хранительница очага. Так неужели нынешние многомудрые мужья не в состоянии понять эту простую истину?!

Думы черной старухи разбредаются, как дрофы в степи. А потом начинают вновь и вновь кружиться вокруг ее родного аула. Вспоминает она аульных девушек-невест. Э, что и говорить, никто в ауле не отказался бы выдать дочь за ее сына. Разве мало было женщин, говоривших: «Пусть только подрастет моя козочка, я ее сама отведу в твой дом!» Разве мало было красоток, вспыхивавших от смущения и опускавших голову, но радостно сиявших глазами, когда, бывало, их матери полушутя-полусерьезно говорили: «Вот кончит моя учебу, и я породнюсь с тобой»?! Особенно часто приходит на память дочка ее многолетней соседки. Единственная дочка-шалунья, выросшая среди трех старших и двух младших братьев. Всем, чертовка, взяла: и лицом пригожа, и повадками мила, а уж об осанке-стати и говорить нечего. Такую невесту сыскать! И родители — приятные, уважаемые люди.

И родовиты, и богаты. Не кичливы, не спесивы. Да и по летам ей ровня. Вот уж кто мог стать утешением одиноким джигиту и старухе! Заболит голова, заноет душа — поговори со сватом; хочешь поделиться тайной — посплетничай со сватьей; томишься одиночеством — развеселят тебя пятеро братьев невестки. Но главное — дочка. Нет ей равных во всей округе. Такая общительная, открытая — вся душа без утайки. Глянет на тебя, улыбнется — будто солнышко обласкает. Рослая, гибкая, нежно-смуглая. Чего стоят одни только косы — тяжелые, длинные, до пят! Ослепительно-белые ровные зубки, влажные черные глаза, пухлые розовые губки, маленький точеный носик, высокий чистый лоб, обрамленный милыми завитушками, овальное личико, мягкий, чуть вытянутый подбородок, гладкая шейка — о аллах, вся-вся, как живая, до сих пор стоит перед глазами. И выросла в дружной, крепкой семье. Мать и отец отменно здоровы. Нетрудно себе вообразить, какие хорошенькие и здоровые детки родились бы от нее.

Помнится, как-то раз соседка с дочкой зашли помочь катать кошму. Поглядывая на девочку, она сказала:

— Придет время — заберу твою дочку к себе невесткой.

Девочка смутилась и как ошпаренная понеслась домой. А они, две матери, весело рассмеялись над ее забавной выходкой. Однако со временем девчонка привыкла к подобным шуткам. По нескольку раз на дню заглядывала к ней. Без лишних слов, охотно помогала по хозяйству: то потолочную кошму приподнимет, то войлочный полог опустит, то за верблюжонком присмотрит, то воду принесет, огонь разведет, чай сготовит, письмо от сына вслух прочтет — все она, голубушка ненаглядная. Нередко даже ночевала с ней, спали на кошме рядышком. Сердцем приросла к девчонке, как к родной дочери. И поныне, случается, во сне видит.

Маленькая была — бывало, на сына обижалась, плакала: «Он мне бумаги не дает... красок-карандашей не дает...» Потом, когда он приезжал на каникулы, отчего-то избегала его. Близко к юрте не подходила, на глаза старалась не попадаться, пока он не уезжал вновь на учебу. Мать понимающе улыбалась, иногда затевала при сыне разговор о дочке соседей, похваливала ее. Сын вяло откликался: «Да-а? Неужели? Вот как!» И продолжал заниматься своим делом. Ни разу, негодник, не посмотрел в сторону соседней юрты. Не прислушался к легким шагам-шорохам. Ночью дрыхнет, раскинув руки-ноги, у стенки юрты, а днем с этюдником на плече

бродит как неприкаянный по барханам или часами малюет вершины меловых гор.

После отъезда сына соседская дочка вновь наведывалась к ней, однако как-то робко переступала порог и ходила подавленная, понурая. И мать чувствовала себя виноватой перед ней. И от растерянности начинала хулить родного сына:

— Такая уж он бестолочь. Примется за что-нибудь — за уши не оттянешь. А тут еще учителя наказали сделать за лето какие-то зарисовки. Вот он и проторчал все каникулы у холста. Провались оно, такое занятие! Я-то думала, картину намалевать — раз плюнуть. А это, оказывается, труднее, чем отремонтировать трактор. Кое-как закончил. Даже к тебе не мог заглянуть, кесушку чая из твоих рук принять. Однако раза два заметил: «Да чего же моя сестренка-соседка похорошела! И как подросла! Настоящая невеста!»

Мать осторожно косилась на девушку и успокаивалась, видя, как сквозь смуглоту проступал на ее личике стыдливый румянец.

И опять, как прежде, часто приходила к ней девушка. И через порог переступала уже без недавней робости.

В год отъезда из аула мать напрямик спросила у сына:

— Ты о чем хоть думаешь?

Он, по обыкновению озабоченный, отрешенный, не поддержал разговора, не открылся. Только нахмурился и буркнул:

— Ладно, апа... Может, оставим это... до поры до времени?

Теперь-то ясно, почему он тогда не пожелал об этом говорить. Выходит, напрасны были мечтанья матери. Должно быть, и соседская дочка о том догадалась.

— Не тратьте зря слов, апа,— сказала она как-то.— Не может же быть, чтобы какая-нибудь городская не закрутила до сих пор голову вашему сыну.

Она сказала это с улыбкой, однако с затаенной грустью и обидой в голосе.

Значит, все, все видела и понимала, сердешная. Так и не сложилась у бедняжки судьба. Недавно гостил у них молодой председатель колхоза, приехавший в столицу на двухмесячные курсы. Так вот он сказал: до сих пор девушка дома сидит, желающих взять ее в жены достаточно, но ни к кому из них не лежит у нее душа, всем, говорит, решительно отказывает. Выходит, при ее-то красе однолюбкой оказалась. Какая досада! Вот до чего довела невинная шутка! Не молола

бы тогда языком смеха ради, может, у девчонки и не возникли напрасные надежды... А теперь как бы виновата в ее незадавшейся жизни...

И когда вдруг нахлынут эти непрошеные думы, крупная старуха, восседающая на почетном месте, сразу вся сжимается в комок. И тогда она пристальней и строже начинает следить за каждым шагом, за каждым движением молодки, озабоченно снующей между двумя комнатами и кухней. Видно, и невестка это замечает. Уже несколько раз старуха ловила ее настороженные взгляды. Однако ни та, ни другая не позволяли себе малейшего укора. И все же в иные дни невестка ходила по утрам с красными глазами. Может, плачет, жалуется мужу, дескать, не любит меня твоя мать, нехорошо на меня смотрит?

Это, конечно, зря. Ничего ровным счетом против невестки она не имеет. Однако с того самого момента, как возник разговор о будущей женитьбе сына, в ее душе сложился совсем иной образ — девушка, то ли похожая на дочку соседки, то ли еще на кого-то, но явно с другой статью, в другом обличье. И вот сын как-то сразу и неожиданно разрушил то укрепившееся за все эти годы представление, когда привел в дом свою возлюбленную. И мать порой помимо воли смотрела на нее с каким-то удивлением и даже отчуждением, не находя соответствия между подлинной невесткой и тем воображаемым образом, к которому успела привыкнуть в своих одиноких думах.

Да и нынешняя молодежь, что ни говори, со странностями. Зачем ей, невестке, придавать всему этому какое-то значение? К чему тревожить сон мужа и смущать его душу своими подозрениями? Если она хороша, о том скажут завтра сами люди. А если плоха, то оттого, что свекровь смотрит на нее восхищенными глазами, она лучше не станет. Неужели им, молодым, невдомек, что и у других есть свое мнение, своя приязнь или неприязнь, с чем тоже надобно как-то считаться?..

И сын будто на глазах переменился. Не вваливается, как прежде, в комнату матери, а входит робко, словно стыдясь чего-то. Раньше, придя с работы, шутливо спрашивал: «Ну как, ана, живется-можется?» И она, растроганная, отвечала: «Хорошо, сынок, хорошо». И, приговаривая ласковые слова, ставила для сына чай. И, приговаривая нежные слова, готовила ужин. И, приговаривая сладкие слова, кормила его. Стелила ему постель. Копошилась по дому до глубокой ночи, прислушивалась к каждому шороху из соседней комнаты и называла сыночка, как в детстве, умилительными

и смешными прозвищами. И так, сама с собой тихо разговаривая, удовлетворенная и счастливая, уходила ко сну.

А теперь?.. Теперь она, считай, только дважды на дню и видит сына: утром шмыг через дверь — и он помчался на работу, вечером шмыг в дверь — и скрылся в своей комнате. Все остальное время он сам по себе, она сама по себе.

Сейчас в нем появилось что-то новое — придя с работы, каждый раз спрашивает: «А где апа? Дома?» Странно, где же еще ей быть? Или, думает, пошла верблюдицу пригонять с выпаса? Или кизяк собирать в степи? Или гуляет где-нибудь на пирушке, которых так много случается среди родичей? Ничего подобного! Как сидела утром одна-одинешенька в своей комнате, так и сейчас сидит. Точь-в-точь как в детской сказочке: сверху блестит, снизу сверкает, а посередке ханша обитает. Куда еще ей деваться? Родственник, что ли, ее ждет, раскинув объятия? Или подруги-приятельницы толпами вваливаются к ней в дом? Сидит-посиживает ханша то ли в дивном тереме, то ли в каменной пещере...

Недавно от тоски и скуки отправилась в тихий садик в центре шумного города. Там старухи водили детей, а молодки прогуливали собак. На скамейку рядом с ней присела светлолицая старушонка в вышитом головном уборе — кимешеке. Старушонка оказалась разговорчивой: видно, тоже по живой собеседнице истомилась, бедняжка. Мигом расспросила: откуда родом, давно ли в городе, где работает сын, хороша ли невестка, просторна ли квартира. А потом, разузнав все, щедро поделилась своими новостями. На севере уже больше недели льют дожди. На юге стоит несусветная жара. В горах сильно тает снег и возникла опасность селевого потока. На стадионе во время футбольной игры вспыхнула грандиозная драка. Правда, все эти новости она и сама слышала вчера по телевизору. Но вот о том, что какой-то крупный деятель за взяточничество лишился поста, она услышала впервые. Когда вечером поведала о том сыну, тот пояснил, что случилось это в чужом царстве-государстве за синим морем-океаном. Ну и слава аллаху! Она и сама недоумевала: разве у нас может такое быть? Что это, нашему начальству спокойная жизнь, что ли, надоела? Путает что-то говорунья старушонка... Потом выяснилось: все, что слышала светлолицая бабка в кимешеке по радио и телевизору, она на свой лад пересказывала другим. Что же еще остается городским бабушкам? Своих-то новостей нет. Друзья-приятели, с кем она в состоянии отвести душу, — лишь радио да телевизор. С ними, быть может, даже интересней, чем с сыном и невест-

кой. Хоть утешат иногда да отвлекут от назойливых и бесплодных дум.

А молодые — что? Они заняты собой. Утром под ручку уходят на работу. Вечером под ручку приходят домой. Лишь дважды в день собираются всей семьей за кухонным столом. При этом утреннее чаепитие проходит в страшной спешке, да и за ужином большей частью только и слышно позвякивание ложек. Тихая пошла какая-то жизнь. Все молчком да на цыпочках. Шур-шур — и в спальню. Звяк-звяк — и на кухню. Шмыг-шмыг — и в коридор. Даже разговаривают приглушенно, чуть ли не шепотом. И о чем — непонятно. Все как-то отрывисто, бессвязно: шу-шу-шу... А до матери и дела нет. Сидит себе или слоняется из угла в угол в своей комнате. Иногда ночь напролет глаз не смыкает. В молодые годы, оказывается, думаешь главным образом о себе да о том, с кем делишь постель, и еще, конечно, о малых детках. А вот в пожилые годы все прошлое-пережитое самым непостижимым, причудливым образом мерещится в глазах. Особенно когда ты подавлен и печален, тебя со всех сторон обступают, всплывая в услужливой памяти, лица близких и знакомых, с которыми некогда делился всем — радостью, бедой, тайной и пищей.

Много-много лет назад кто-то из родственников, несомненно желая добра, посоветовал: «Ты, голубушка, еще молода. С того света никто еще не возвращался, а живому — жить. Не раздумывай: иди замуж за кого-нибудь из сородичей мужа. И тебе негоже куковать одной, и сыну нельзя жить сиротой». Как она тогда негодовала! Несколько дней ходила сама не своя от обиды. «Как так можно?!» — возмущалось-кричало все ее существо, и в мыслях ее вновь и вновь оживала одна и та же картина: грохочущее, вздымающееся волнами море, потерянно качающийся белый пароход, бритоголовые хмурые мужчины, поднимающиеся по трапу, м у ж ч и н а э т о г о д о м а, шепчущий прощальные слова-наставления, и подрастающий сын, боязливо и коротко взглядывающий на чужого мужчину в ее доме. «Нет, нет... Пропади оно пропадом,— решила она про себя твердо.— Уж коли суждено мне было пережить лихую годину вместе со всеми, то не стану обманывать вдовью судьбу и искать утешения для себя одной».

А немало в те годы безутешных вдов-молодок искали себе радость и наживали детишек на стороне. Одни от позора глаза прятали, от людской молвы тщетно скрывались, другие, наоборот, точно гордились нежданным обретением, при-

людно укачивая на коленях разномастных сосунков и напевая бог весть что. Иные из забубенных матерей-одиночек подтрунивали над ней: «А ты-то, дуреха, кого ждешь? Ради кого честь блюдешь? Или не надоело спать в холодной постели, кусая подушку? Подыщи себе, пока не поздно, хахаля, сообрази ребеночка, чтобы и тебе утешение было, и сыну не обидно. Государство тебя в беде не оставит, пособие подкинет. Глядишь, и чаем-сахаром себя обеспечишь до самой старости. Не то засохнешь, как одинокий куст в степи...»

От таких наставлений-советов тошно становилось, и душа, бывало, ныла. Бедная старушка свекровь ревниво следила за ней, точно пигалица-птица вокруг увивалась. Стоило чуть задержаться на работе, как ходила по дому мрачнее тучи и даже не садилась за вечерний дастархан пить чай. Если же невестку отправляли на сенокос или на отдаленное чабанское становище, старуха не находила себе места в родном доме. А когда — не приведи аллах! — какой-нибудь случайный путник привязывал лошадь у ближней коновязи, свекровь сжималась и бледнела, будто кто-то собирался сватать ее невестку. Она даже ополчалась на мужчин-родственников, приезжавших иногда, чтобы расспросить про ее же житье-бытье. «И чего все шляются тут, оморок их возьми! — ворчала.— За чем к нам едут? За деньгами или за советом, а?!»

Долго болела сердешная, сильно мучилась. Каким-то уж очень хлопотливым выдался тот год: невестка почти дома не живала. Узнав о том, что хворь приковала свекровь к постели, она отправилась от становища, где строили овчарню, пешком в аул. Еле добрела тогда, а когда пришла — увидела: лежит старушка — ни жива ни мертва — почти у порога, на своем привычном месте перед ларем для продуктов. Высохла вся. На морщинистом личике чуть-чуть светятся глаза. Лежит — не шевелится. Смотрит в одну точку, на дверь. Видно, не день, не два ждала-дожидалась невестку. Увидела ее — мелко-мелко задрожала подбородком, однако вымолвить ничего не смогла. Только схватила огрубевшую натруженную руку невестки, подсевшей к ней в изголовье, и чуть-чуть погладила. Потом отвернулась к стенке, вздохнула и испустила дух. Что она хотела сказать в предсмертный час? Может, одолевали ее тяжкие сомнения: «Ну вот, невестушка... сторожила-берегла я очаг единственного сына от чужого глаза и недобрых слов, точно дряхлая орлица свое гнездовье, а теперь и сама ухожу туда, откуда нет возврата. И что с тобою станет, когда не будет меня?» А может, это было ее завеща-

нием-наказом: «При жизни моей ты не осрамила чести нашего рода. Так уж постарайся не тревожить мой дух, когда я умру...» Кто знает, о чем подумалось тогда старухе, но тот сумрачный вечер в ту ненастную зиму и поныне стоит перед глазами. И помнила она его всегда. Приняв однажды решение, на том стояла. Решительно отмела прочь лукавые желания и соблазны. Так и состарилась. Мальчишка, над которым тряслась всю жизнь, сберегала от дурного глаза и досужих сплетен, вырос и вышел в люди. А послушалась бы тогда жалостливых баб да ухватилась бы за полы какого-нибудь старичка, кто знает, дожила бы до такой жизни или нет. Скорей всего тот старичок, отчим ее сына, подобно старшему деверю-чабану, сказал бы однажды: «Нечего тебе, паршивцу, учиться. Все равно секретарем райкома тебе не стать» — и погнал бы парнишку с посохом в руке брести за отарой овец...

Слава всевышнему, все вынесла, сдюжила, вырастила-таки и поставила на ноги единственного сыночка. Чего только не вытерпела ради него! Разве что не умерла. А так не один раз душой мертвела, сердцем каменела. В заботе о нем, однако, каждый раз вновь воскресала и забывала о холоде, о голоде, об усталости и смертельной тоске. В ненастную пору через горы, через долы неслась, как дурная, в школу. Как-то глухой осенью три дня и три ночи беспрерывно лил черный ливень. Все речки-ручейки вспучились. Залило, казалось, всю степь. Со всех концов мчались гонцы с недоброй вестью: там чью-то отару половодьем унесло, там чье-то становище затопило, беда, беда... Узнав об этом, она сорвалась и побежала в школу за пять верст от аула. Прибежала, запыхавшись, а в школе и детей-то не осталось. У кого были отцы, дядья или братья, давно уже верхом на лошадях по домам разъехались. И лишь ее мальчишка-сиротинка сидел, пригорюнившись, возле древней старухи — школьной уборщицы.

— Это я удержала мальца,— прошамкала старуха.— Боялась, водой унесет.

Ах, горе мое, горе!.. Между школой и аулом находилась широкая впадина. Стекаясь с верховья, дождевая вода мигом превратила ее в раздольное море. Попробуй одолей его, когда грязные потоки с грохотом и ревом, беснуясь и закручиваясь воронками, не дают и шагу ступить. Того и гляди — унесет неуклюжего мальца, вырвет из рук. Тянула-волокла его за собой, пока не выбилась вконец из сил. Тогда взвалила увальня на спину и, спотыкаясь, падая, еле-еле дотащила

до дома. А там, не успев отдышаться, выжала разок одежду на себе и понеслась в степь спасать колхозные отары.

И сейчас еще, когда, бывает, расстроится, видит она себя во сне бредущей по тому бескрайнему грязному половодью. Крутобокие, как скалы, мутные волны, сметая все на своем пути, обрушиваются на нее из бурлящего за аулом оврага, и там, в той кипени, безнадежно барахтается, задыхаясь, ее курчавый ягненок-сынок, и она спешит к нему, отчаянно протягивает обе руки, но никак не может, не может, не может до него дотянуться. Сердце ее замирает от страха. Руки-ноги немеют. Жадные пенистые потоки захлестывают ее. И тут она, к счастью, просыпается, убеждаясь, что то страшное половодье давным-давно прошло и сын живехонек и здоров, спит-похрапывает себе в соседней комнате, и губы ее шепчут благодарственную молитву. Будто вчера все это было. А теперь тот беспомощный мальчишка стал мужчиной, побрел послушным бычком на поводу долгополой своей зазнобы и уже родную мать не видит, не замечает. Покажется на миг по утрам и вечерам, и больше нет его. Раньше, бывало, что — он уже на пороге материной комнаты. Потопчется с ноги на ногу, растерянно спросит: «Апа, как тут быть?!» И вот отпала нужда в матери. Зачем она ему? Сорочку теперь и молодая жена состирнет. И пуговички, если надо, пришьет. И обед сготовит, и стол накроет. И еще приласкает, приголубит. Оставил сынок родную мать одну на терзание изнуряющих дум и воспоминаний о лихих годах, а сам безмятежно дрыхнет в объятиях чужеродной молодки. Какое им, молодым, дело до терема, где сверху блестит, снизу сверкает, а посередке ханша обитает? И невдомек им, что терем этот для старой матери обернулся каменной темницей. И что сама она, никому не нужная мать, не ханша сказочная вовсе, а затворница, на одиночество осужденная. И пусть даже обрушится блестящий потолок или провалится сверкающий пол ее сказочного терема — двое счастливцев за стенкой, пожалуй, и не шелохнутся. Они только и видят, как по утрам, охая и кряхтя, поднимается с постели неуклюжая старуха, которую почему-то надо терпеть, и как вечером она, так же постанывая и вздыхая, укладывается в ту же постель. Вот и все. И не приходит им в голову спросить, почему она такая хмурая и молчаливая, что ее гнетет и заботит. Нет... скользнут по ней разок равнодушным взглядом и молча скрываются за дверью спальни. Еще раз взглянут искоса, как бы удостоверясь, что она еще есть, не улетучилась, не испарилась, и юрк-вьюрк на работу.

Ну, бог с ней, с невесткой, с рожденной чужой матерью какой спрос? Но что случилось с родным сыночком?..

Слезы невольно наворачиваются на глаза. Она зарывается лицом в подушку и дает им волю. Плачет долго, безутешно, вздрагивая плечами. Жалостливые объятия одиноких, скорбных дум притягивают ее к себе все крепче, и чудится, будто ее неумолчно засасывает гиблая топь. От глухих рыданий точно раскалывается голова. Густой мрак зыбится-дрожит перед глазами, наваливается на нее. Боль, оглушенная, онемевшая, словно вытекает из ее бесчувственного тела. Спасительный сон одолевает ее. Бесчисленные затейливые видения, на миг отступившие куда-то, тотчас вновь наплывают из мрака. И уже снится ей, будто леденеют руки-ноги. Будто кто-то тихонько подошел к ее постели. Она решила, что это сын, и уже приготовилась высказать ему все обиды, дескать, ты что, неблагодарный, жестокосердый, от вспоившей-вскормившей тебя матери отворачиваешься, но тут явственно увидела подле себя тщедушную, мелко-мелко трясущуюся свекровку-покойницу. Свекровь осторожно укрыла ее, подоткнула со всех сторон одеяло. «Ах, сердешная!.. Выходит, и на том свете до сих пор печется о своей невестке, жалеет ее. Ведь она никогда ни в чем ей не перечила, была всегда послушна и услужлива, вот, видно, и тоскует свекровушка о ней, чует ее одиночество и горе, сочувствует... С этими думами и проснулась. Оказывается, давно уже рассвело. Невестка привычно хлопочет на кухне, гремит посудой, ставит на стол. Она, мать, чувствует себя неловко: с каких это пор она позволяет себе валяться в постели, когда уже в доме встали, да отродясь такого не бывало, стыд-то, боже, стыд-то какой... Она быстро поднимается и поправляет сбившийся во сне набок белый жаулык.

И начинается новый день. И пошло-потекло все по одному и тому же кругу. Торопливый завтрак за маленьким кухонным столом. Лихорадочное поглядывание на часы. Короткий обмен незначительными словечками. Все то же: «Ну, пошли-побежали!» И еще: «Ну, апа, затвори за нами дверь...»

Когда солнышко начинает припекать, она выходит во двор. Устраивается на лавочке. И сидит долго, опять одна-одинешенька. На огромном дворе ни души. Даже ребятишек, резвящихся обычно на детской площадке, не видать. Они, пострелята, завидев черную старуху в высоком белом тюрбане, мигом слетелись бы к ней, как воробьи. Полюбовались бы прялкой-юлой. Пощипали бы клок верблюжьей шерсти. Потрогали бы ее браслеты, перстни. Щебетали бы на все

лады. И от их веселой возни сладко замирала бы душа, томилось сердце. Особенно привязался к ней соседский рыжий мальчонка с пушистыми, как метелка ковыля, волосами. Он откровенно ревнует ее к другим сверстникам, не допускает никого: «Это моя бабушка!» Такой потешный, дьяволенок: запросто подходит к ней и начинает шарить по карманам камзола. И чтобы доставить мальцу удовольствие, она каждый раз кладет в карманы несколько конфеток. Сегодня и его что-то не видно. Должно быть, чуть свет отвели в детский сад.

Встала, заложила руки за спину, прошлась вокруг дома. Раньше она охотно разглядывала нарядных девушек, бойко сновавших мимо, стуча каблучками по асфальту. Ныне она потеряла к ним всякий интерес. Теперь ее больше привлекают играющие дети. Вот уже за год перевалило, как сын привел невестку, а никаких намеков на прибавление семейства незаметно. Все безошибочно предугадали всезнающие аульные бабы, а по этой части дали промашку. С некоторых пор она особенно придирчиво приглядывается к невестке, но никаких перемен в ней не подмечает: по-прежнему тонка, поджара, точно гончая. И все что-то помалкивает, даже расспросить о чем-либо не решаешься. Чует мать: не все гладко в последнее время между невесткой и сыном, не то нелады какие пошли, не то тяготит некая тайна, бог знает... Запрутся в своей комнате и о чем-то бормочут, шушукаются часами. Пес поймет, что в доме происходит. Говорят, ученая невестка редко когда со свекровью ладит. Может, в самом деле о ней говорят, ее осуждают? Или, может, уж больно скудное житье бедной старухи вдовы и сына-сироты не по душе молодой невестке? Как бы там ни было, молчит все, хмурит брови, и личико такое скучное-скучное, будто все виноваты перед ней. Лишь когда по телевизору показывают что-то смешное, случается, чуть-чуть дрогнет губами. Родители ее, судя по всему, тоже из образованных. Выходит, и сватов бог не дал, с которыми можно б было при встрече вдосталь наговориться обо всем на свете, выложить все, что накопилось в душе, до самого донышка, без утайки. А ученому человеку разве есть дело до темных закоулков ее души? Ему и недосуг выслушивать бабий бред. Не дай бог сделает он изумленные глаза и начнет от тебя шарахаться, как от прокаженной,— лучше уж провалиться сквозь землю, чем пережить такой позор. И так до сих пор никак не удосужатся пригласить в свой дом, чтобы оказать, как заведено предками, честь-уважение. Сын пока все тянет-оттягивает. «Как их

позовем в пустой, будто ограбленный дом? — говорит.— Вот очухаемся малость, сведем концы с концами...» В последнее время жилье их заметно преобразилось. Сначала купили матери деревянную кровать. Потом и сами обзавелись множеством сверкающих деревяшек: и не поймешь сразу, что для какой надобности. И только невестка ходила, как прежде, сумрачная, будто осенняя наледь никак не оттаивала в ее душе. Какая боль ее тревожит — не догадаться. Одно хорошо, что хоть не жалуется, не бушует, ни на ком не срывает зла. А что бы делала старая мать, если б невестка затевала каждый божий день скандалы? Но нет... учтива невестка и вежлива. Словечка грубого или резкого не скажет.

Теперь мать все чаще печалится о сыне. Баба — она и есть баба, молодая ли, в годах ли, образованная или нет — все едино. Это она, невестка-то, с ней, со свекровью своей, не говорит, а муженька, должно быть, ночи напролет пилит. А разве позавидуешь мужчине, который мечется меж двух огней, стараясь угодить двум бабам — жене и матери?! Ах, несчастный ты мой, бесталанный!.. А я, старая, еще обижаюсь на тебя, что не открываешь перед матерью, как прежде, душу. Знаю, сердцем своим чую, как несладко тебе, верблюжонок мой, сиротинушка. Ведь не могу я тебя прямо спросить: «Как живется-то тебе с молодой женой?», не могу, да и ни к чему это. Получится, будто свекровь не жалеет невестку, подозревает в чем-то, преследует. Стыд-то какой: жизнь прожившей старухе не доверять начинающей жить невестке! Хоть и родные они, мать и сын, как говорится, плоть от плоти, кровь от крови, а душа и сердце у каждого свои, а потому и существует между ними некая черта, которую не переступишь. Потому и изводит себя мать, мучается, не в силах понять, что происходит в душе сына. А каково невестке, пришлой, чужеродной, в новой семье? Видно, и ее тяготит что-то необъяснимое. Но ведь молода, неопытна, могла бы и поделиться своей болью-тревогой, поговорить с матерью-свекровью. Небось зла не пожелает, дурного не посоветует. Легко ли — все при себе держать, непосильный груз одной носить? Можно и надорваться! Но молчит невестка. Видно, что-то неладно на душе. Видно, и тайна такая, что никому не скажешь, ни с кем не поделишься. От этой страшной догадки становится не по себе, будто какой-то жучок-паучок покусывает-жалит материнское сердце. Даже на еду смотреть не может. К столу-то, конечно, подходит. И вместе с сыном и невесткой за одним дастарханом сидит. И кусушку с чаем ко рту подносит. Но до еды дотрагиваться

не может: печаль горьким комком подкатывает каждый раз к горлу.

И тогда она, согбенная от дум, проходит в свою комнату, ложится в постель и подолгу глядит в потолок. Жила бы в юрте — считала бы звезды через потолочный круг. А в этом каменном дому, где сверху блестит, снизу сверкает, а посередке ханша обитает, не увидишь ни неба, ни земли, будто висишь посередине. Ворочается и так, и сяк, и, наконец, погружается в удушливое забытье. И вновь снится ей м у ж ч и н а э т о г о д о м а. Обросший, осунувшийся. Усы повисшие, борода свалявшаяся. Примостился на краешек порога. Надулся, насупился. «Ты что, болезный, как сирота, у двери жмешься? — говорит она.— Проходи же!» Но покойник молча встает и уходит, растворяясь во мраке. Она только разводит руками и смотрит вслед. Очнувшись, опять начинает думать-гадать. Что это значит? Почему он преследует ее? В тот раз он приснился довольный, умиротворенный. А сегодня — сердит и мрачен. Может, покойнику тоскливо там, на том свете? Может, он хочет, чтобы они, живые, помянули его? Чтобы давняя спутница-супружница испекла в его честь поминальные лепешки? В самом деле, живут семьей, домом, а усопших давно не поминали. Ладно, пусть только наступит утро...

За утренним чаем она впервые за долгое время внимательно посмотрела на невестку и обомлела. Что стало с бедняжкой? Исхудала — все косточки видно. И личико осунулось, поблекло. А раньше розовое было, просто румянилась, видно, невестка. Мать незаметно, поверх кесушки покосилась на сына. И он, о боже! — отощал. Глаза ввалились. Скулы обострились. Только волосы по-прежнему буйно курчавились, как подгрудная шерсть у озорующего верблюда-самца.

Сын подхватил под мышку потрепанную папку и вышел. Невестка на мгновение задержалась у зеркала, что-то сделала со своим лицом и тоже выскочила.

Убрав со стола и помыв посуду, и она покинула кухню. Долго слонялась по квартире, не зная, чем себя занять. Потом схватила веник, оглянулась. Везде и всюду чисто, будто языком вылизано. И когда только успела прибрать все?! Даже не похоже на дом, в котором люди живут. Ни соринки, ни пылинки. Залетит невзначай муха — так с голодухи околеет. Такой чистюли, как ее невестка, и свет не видывал. А это, если верить предкам, совсем не к добру. Чистюле-невестке, говорят, бог детей не дает. Неспроста, видно, как щепка худа, хоть и замужем больше года.

Походила-походила — делать нечего: все разложено по полочкам. Только на столе сына вроде не на месте лежит свернутый трубкой плотный лист бумаги. И дома сын без дела не сидит. Что-то все черкает, малюет — сам себя изводит. Развернула лист, пригляделась: красивая молодка с длинными, ниже талии, косами несет на коромысле воду. Должно быть, кому-то учтиво уступала дорогу: застыла напряженно, чуть прикусив нижнюю губу.

— Воспитанная, совестливая девушка,— заметила вслух.

Приятно видеть совестливые лица! Особенно девичьи. Ну конечно... это же та самая аульная девушка, дочка ее бывшей соседки. Даже взгляд ее — робкий, доверчивый — сын уловил и изобразил точь-в-точь. Да, но почему он ее нарисовал? Или о прошлом подумалось? Сокровенное вспомнилось? А-а, милый друг, то-то же... Не однажды еще вспоминать будешь. «Апа, может, оставим это... до поры до времени?» Попробуй, голубок, если сможешь... Как бы не так! Ты-то, может, и повременишь, да жизнь ждать не станет. У прошлого, сказывают, нет следа. Напрасно говорят так. След остается, но это след досады, след печали. Вот и будешь, бедняга, всю жизнь изливать на бумаге свои мечты неосуществленные да утешать себя миражами прошлого...

Грустно стало на сердце, и в глазах защипало, затуманилось. Она вновь свернула твердый лист бумаги и ушла к себе в комнату. Жалко стало сына, хоть плачь. Ох, напрасно я сетую на него, зря извожу его своими горестями-капризами. Он, мой бедненький, и так надломлен, опечален. И ему, видно, кусок в рот не лезет, когда родная мать не в духе. Э, провались все на свете, пусть хоть горы на меня обрушатся, пусть небо обвалится, ноо отныне ни за что, ничем не омрачу сердца моего ненаглядного, единственного...

И тут ей вспомнился приснившийся ночью сон. Ах, вон оно что! Выходит, и впрямь неспокойно покойнику, чует, значит, на том свете, как маетно на душе сына-наследника. Чует и сочувствует, переживает, ничем помочь не может, бедный, бедный... Был бы жив да жили бы вместе, разве сидели бы вот, каждый в своем углу? Он ведь был нетерпелив и решителен. Заметил бы хмурь на лице снохи, тотчас обрушился бы на жену: «Это ты, что ли, ее обидела? Ты что-то сказала, да?!» Только напрасно он так: ни одного слова она не сказала. Да и с какой стати? Но, видно, редко так бывает, чтобы две женщины под одной крышей сами по себе нашли общий язык и ладили-дружили между собой. Они терпят друг друга, а то и взаимно внимательны и учтивы лишь

тогда, когда рядом находится строгий и справедливый мужчина, способный одним лишь взглядом гасить все обиды-недоразумения домашнего очага. Но разве способен на это сирота-мальчишка, воспитанный матерью-вдовой? Что он может, кроме того как бросать жалостливо-тревожные взгляды на двух мрачно насупившихся с двух сторон женщин?..

Она вытерла краешком платка слезы и отправилась на кухню. Достала из мешка муки, замесила тесто. Надо помянуть усопших — настряпать семь жертвенных лепешек. Вспомнила, что нет в доме нутряного бараньего сала. Взяла сетку и пошла в магазин. Не спеша походила по рядам, изучала витрины, пока не высмотрела комковатый нежно-белый нутряной жир.

Сначала она тонко раскатала небольшие поминальные лепешки. Должно быть, отвыкла за последнее время от кухонной работы: не рассчитала и замесила теста больше, чем надо было. Постояла немного, соображая, как быть. И сала еще оставалось много — отливавшего янтарной желтизной, рассыпчатого. В теле, видно, была ярочка, справная. Раньше, еще в ауле, когда, бывало, резали овцу, сын каждый раз просил: «Апа, состряпай пирог, а?..» Почему сын из оставшегося теста не сладить пирог и сейчас? Небось сын детство вспомнит, обрадуется... Она раскатала большую лепеху. Расстелила тонким слоем пленчатое сало. Потом сверху посыпала репчатый лучок, нарезанный кружочками, корицу, красный перец, положила несколько лавровых листьев. Потом завернула все в тесто и поставила в духовку.

Первой пришла с работы невестка. Едва открыв дверь, принюхалась, затрепетала крылышками ноздрей. «А-а... голубушка, то-то же... Думаешь, длиннополая старуха из аула только и умеет, что мясо закладывать в котел. Э, не-ет... она еще на кое-что способна».

Невестка прошмыгнула в спальню, переоделась в халатик и вышла на кухню. Застыла в недоумении, никак не беря в толк, откуда сочится приятный дух.

Тут резко задзинькал звонок — вернулся сын.

— Оу, откуда этот запах? — воскликнул он, еще не успев снять ботинки.— Вку-ус-сно-о!

Только сейчас мать поднялась с места. Колыхаясь крупным телом, медленно расстелила дастархан. Так же молча и торжественно выставила на стол плоскую чашу с семью тонкими лепешками.

— Бисмилля-а,— благоговейно прошептала она, отломив кусочек от верхней лепешки. Невестка и сын тоже

потянулись к редкому яству. Жила бы в ауле — разносила бы, как того требует обычай, жертвенные лепешки по домам. И все обрадовались бы и благодарили стряпуху. А здесь, в городе, сунься-ка с одной тонюсенькой лепешкой в чью-либо квартиру — тебя наверняка за сумасшедшую примут.

После того как все отведали поминальной стряпни, старуха, сложив ладони, прошептала молитву из корана. Потом встала и степенно направилась на кухню. За нею последовала невестка. На белоснежной газовой плите недовольно шипел, клокотал чайник. Над заварником витал запах настоявшегося чая. И еще откуда-то струился устойчивый сытный дух. Обычно строго-унылая кухня сегодня празднично преобразилась.

Старуха открыла духовку, с таинственной торжественностью извлекла из нее румяный и пышный пирог.

В этот день у всех троих радостно сияли лица. Хмурь растаяла-разгладилась меж бровей. Молчунья невестка, поблескивая глазами, не один раз восторженно заметила:

— Ай, хорошо! Ах, вкусно!

И при этом незаметно косилась на мужа, довольная, оживленная. Личико ее раскраснелось. Лоб покрылся испариной.

В эту ночь старуха уснула сразу и спала безмятежно, крепко. Только на рассвете на мгновение очнулась оттого, что кто-то будто прикоснулся к ней. Она приоткрыла глаз и увидела, как невестка поправила сползшее одеяло, укрыла ее грудь. Тут-то она и смекнула, когда невестка успевала по утрам прибирать квартиру.

Привычные дни текли-проходили обычной чередой. Только сын что-то кашлял в последние дни натужно и тяжко. Жаловался, что холодно и сыро в мастерской. Вот бухал-бухал, хрипел надсадно, маялся и, наконец, слег. Невестка натащила гору лекарств и каждый раз, уходя на работу, оставляла новые. Сын хворал тяжело, метался в жару. Мать ни на шаг не отходила от него. Держала за руку, щупала лоб, давала лекарства, отпаивала горячим молоком с топленым маслом и красным перцем. Целыми днями сновала между кухней и комнатой больного. Как могла изгоняла из его тела злую простуду.

Вечерами, когда сын забывался в коротком сне, женщины — свекровь и невестка — вдвоем на кухне пили чай. Старуха пристально взглядывала на молодку. Та, кажется, еще заметнее осунулась. Скулы выпирали. Под глазами легли

тени, а возле носа и на щеках выступила коричневая сыпь, будто зернышки проса.

Больше недели маялся сын, с постели не поднимался. И невестка вся извелась: ночами не спала, на обед с работы прибегала. Испуг и тревога застыли в ее больших и влажных глазах. Вот этот взгляд, глубокий и с сокровенной печалью, видно, и околдовал, зачаровал сына...

А больной был плох. Таял на глазах. Сегодня, как только невестка ушла на работу, он, кажется, уснул. Но щеки его пылали, и на просторном лбу выступили крупные капли пота. И дышал он неровно, с хрипом. Мать, глядя на него, всплакнула украдкой. Мелькнула ужасная мысль: не приведи аллах, случится что — как быть ей, одинокой старухе вдове, в чужой сторонушке... Подкрадется беда — немного найдется людей, на которых можно б было опереться. Вся надежда, единственная опора — маленькая, хрупкая женщина, вскормленная грудью другой матери. Раньше старуха почти не замечала — ушла ли, пришла ли невестка. Теперь прислушивалась к каждому шороху и, едва услышав ее шаги, радостно спешила открывать дверь.

Вечером, придя с работы, невестка сразу кинулась к мужу. Проверила пульс, измерила температуру, дала лекарство. На другой день и на работу не пошла. Дважды вызывала врача, сбегала в аптеку. Больному сделали укол.

А потом свекровь и невестка до глубокой ночи вдвоем сидели у постели больного. Наконец невестка уговорила старуху лечь спать: «Хватит тебе, апа. Отдохни малость. Я уж побуду с ним до утра».

Старуха неохотно ушла в свою комнату. При тусклом свете ночника сын казался особенно бледным и изможденным. Ворочалась — ворочалась на новой деревянной кровати и лишь на рассвете смежила веки.

Проснулась от непривычного холода в груди. Удивилась, что лежит раскрытой: одеяло наполовину сползло. Встала и еще больше поразилась: в квартире не убрано, полный тарарам. И не слышно было, чтобы по обыкновению бесшумно хлопотала ни свет ни заря невестка.

Умывшись, старуха сама взяла в руки веник. Однако даже коридор подмести оказалось делом непростым, и она время от времени с недоумением бросала взгляд на дверь спальни: что это сегодня стряслось с хлопотуньей невесткой...

Любопытство взяло верх: с веником в руке она толкнулась в комнату молодых. На высокой подушке белело лицо сына. Она сразу заметила, что оно спокойно. Лоб гладок и чист.

И дышал сын ровно, легко, невестка, скрючившись, спала у изножья. Видно, сон сморил-таки сиделку на рассвете. Была она в одном легком халатике; должно быть, продрогла и теперь вся съежилась, по-девчоночьи подтянув острые плечи к голове. А худенькая какая — страсть: все ребрышки на виду. Только стан заметно округлился, выпячивал животик да на личике коричневых пятен стало больше. Вон оно что, подумала про себя старуха, задохнувшись от жалости и тихой радости, теперь-то мне ясна твоя худоба...

Старуха сняла с себя плюшевую безрукавку с подкладкой из верблюжьей шерсти и осторожно накинула ее на свернувшуюся у ног сына невестку. Потом прошлась веником по дорожкам по обе стороны широкой кровати, прибрала разбросанные по стульям одежки. Проходя мимо книжного шкафа, неожиданно обратила внимание на две картины за стеклом. Этот курчавоголовый, толстогубый — ее родной сын. Таким он был в год окончания школы. А вот эту ясноглазую трепетную девочку с двумя толстыми косами на груди она, кажется, видит впервые. Неужели это та самая, которую недавно изобразил сын с двумя ведрами на коромысле? Глаза большие, доверчивые, как у верблюжонка. Очень смахивает на дочку ее аульной соседки. Впрочем, нет... Эта более тонкая, хрупкая... Подожди... так это ведь... ну и ну!.. ее невестка. Надо же! Пригоженькая была, оказывается... хорошенькая. Ишь, хитрец, как он ее только высмотрел!..

Старуха провела длинным рукавом платья по стеклу и, что-то шепча, тихо выбралась в коридор. У порога споткнулась о край паласа и едва не грохнулась. Путаясь в длинном подоле, прошла на кухню. Выглянула в окно. Еще с вечера кудлатые тучи затянули небо. Теперь они грузно ползли, едва не волоча клубящийся хвост по земле. Мелкий снежок лениво сыпал из них. И не снежок вовсе — невесомые хлопья, кружась, будто птичий пух, падали с сумрачной вышины, неслышно опускались на голые ветви тополей, на крыши домов, на асфальт улиц, на деловито снующих взад-вперед прохожих, на машины и тотчас таяли, будто гасли. Как всегда, с утра очень оживленно на стоянках автобусов. Вместе с теми, кто спешил на работу, толкались у дверей и древние старухи с посохами в руках. Бог мой, им-то что не сидится в такую рань?! Ах, да-а... сегодня ведь пятница — молебный день правоверных, и эти старушонки едут в мечеть отмаливать грехи.

В такой день положено поминать усопших. Пожалуй, неплохо бы испечь горку поминальных лепешек. Может,

опять получится тихий и уютный семейный праздник в честь выздоровления сына? Она сунула руку в кармашек камзола, извлекла несколько синих хрустящих бумажек. Вспомнила: вчера девчонка-почтальонка занесла пенсию. Вот и доставит детям неожиданную радость: сходит в магазин, купит нежное баранье сало и настрянает лепешек.

Она тотчас облачилась в нарядный выходной чапан — подарок замужней дочери. Заново замотала на голове белоснежный тюрбан. Схватила вместительную хозяйственную сумку и, сказав по привычке «бисмилля», вышла из дому.

День занялся по-весеннему свежий и бодрый. Белые хлопья все кружились, кружились в небе и, казалось, ластились к крупнотелой старухе в непривычном одеянии. Прохожие радовались последнему снегу затяжной зимы, ловили пушистые хлопья на ладони и улыбались. Плосконосый карапуз семенил позади сухонькой старухи, деловито постукивавшей клюкой об асфальт, забегал то слева, то справа и беспрестанно сыпал вопросами:

— Бабушка, а бабушка... когда же наступит весна?

— Завтра, внучек, завтра.

— Скажешь тоже, бабушка! Почему же тогда сегодня валит снег?

— А это, внучек, теплый снег. Его еще называют крыльями вешней птицы. После него зимней стуже наступает конец.

— Бабушка, а бабушка... а он и вправду теплый!..

Нечаянно подслушанный разговор вызывал улыбку. Какой пострел! А ведь так и есть: в народе последний снег зимы издавна называется крылом птицы — вестницы весны. После него просыпается природа, очищаются людские души, обновляется жизнь. А валит-то как: густо и умиротворенно. Видно, доброе, благодатное выпадет лето.

Нетрудно представить, как провожают нынче зиму в аулах. Все жители с утра высыпали на улицу. Ходят из дома в дом, говорят друг другу добрые пожелания. Даже отъявленные скупердяйки достают из потайных сусеков последние запасы пищи — вяленые или копченые куски мяса — и закладывают в казан. Иначе отвернется счастье-удача. Весна — начало года и надежд. И с прошлым следует расставаться достойно. В этот день черный котел на треноге не должен пустовать, даже если он, на худой конец, будет наполнен просто водой. В каждом доме гостей угощают чашей традиционной жидкой похлебки — науруз-коже. Только тогда сытный дух не покинет очаг.

Сейчас она придет домой, поднесет спичку ко всем конфоркам газовой плиты, наполнит чем-либо всю посуду, имеющуюся в доме, поставит на огонь. Пусть счастливым будет год! Да обоснуется прочно благо в их новом обиталище!

Сухонькая старушка с разговорчивым карапузом-внуком скрылись в толпе. Ничего-о... Если судьба проявит милосердие и щуплая невестка-молчунья побережет себя, будет и у нее, чернолицей старухи в белом тюрбане, желанный внук. Придет время, и будет он так же, как тот плосконосый малец, бойко семенить за бабушкой и донимать ее бесконечными расспросами. Бог даст, и тот день уже не за горами.

Как многолюдно сегодня на улицах! Вся детвора, казалось, высыпала из домов. Чистое пышное покрывало укрыло газоны, и дети, весело гомоня, играют в снежки. Из тяжелых низких туч, клубящихся над городом, бесконечно сыплются белые хлопья, кружатся, резвятся в воздухе, забавляя ошалевшую от радости малышню. Тьфу-тьфу... только бы не сглазить, в хороший, удачливый год должен родиться ее внук. И старуха, расчувствовавшись, неслышно шептала молитвенные слова, благословляя теплый весенний день, обильный пушистый снег — последний снег зимы и добрых прохожих, улыбавшихся ей...

Снег повалил еще гуще.

В причудливом хороводе кружились невесомые хлопья.

Небо медленно прояснялось.

По многолюдной пестрой улице большого города, радостная и просветленная, шла-спешила домой темноликая старуха в высоком белом тюрбане.

ДОМ НА ОКРАИНЕ

Будто вчера только все это было, будто вчера...

— Ах, как летит, однако... времечко!— случалось, вздыхала она, вспоминая ту пору. Произнести слово «жизнь», висевшее на кончике языка, она почему-то не решалась. И каждый раз его заменяла словом «времечко».

Да, славными были те денечки... А произошло бы в самом деле чудо да вернулись бы они вновь. Тогда... о, тогда это юное очаровательное создание, запечатленное во всей своей неотразимой красе вон на той фотографии на стене, разве не сидело бы разнаряженное в пух и прах за отполированным до зеркальной глади столиком, томно закатив большие влажные глаза и опершись нежным круглым подбородком на изящную белую кисть руки?! Разве яркий сноп лучей, струящихся из широкого окна, чуть порезвившись в пышных волнистых волосах молодой женщины, не заиграл бы, словно завороженный, со своим многоцветным отражением на крупной, с палец, фамильной бриллиантовой брошке между двумя тугими холмиками грудей, трепетных, как два живых голубя за пазухой?! И разве тогда наиболее смелые и дерзкие мужчины, из тех, кто покорно дожидался приема к высокому начальству, не затевали бы с ней игривый разговор, а скромники и тихони не глазели бы на нее молча и потрясенно?! И в тот момент, когда эти бедняги, и без того не очень-то везучие в жизни, растерянно вскакивали с места и суетливо направлялись к двери начальника, разве она не смеялась бы откровенно и дразняще им вслед?! Если же кто-то из этих бедолаг выходил из кабинета, скажем, в добром расположении духа, то, проходя мимо, он разве не бросал бы на нее напоследок явно заинтригованный взгляд? А она в это время разве не опускала б, чуть хмурясь, глаза долу, будто ничего не замечала? А тот незадачливый, вконец растерявшись, разве не удалялся бы со смутной тревогой на душе?

Ах, было все это, было... Только кто теперь это знает, кто о том догадывается, кроме этой белой как мышь иссохшей старухи, попеременно смотрящей сейчас то на улыбчивую

красотку в рамке на стене, то в старый, потрепанный альбом, обтянутый коричневым бархатом?

— Да-а... умчались, ушли невозвратные дни...

С шумом захлопнув увесистый альбом, она откидывается на спинку заметно потертого кресла и погружается в бездонные, как пучина, думы.

Да, будто вчера только все это было, будто вчера... Будто вчера ходили у всех на устах слова ее матери, этой юркой, востроносой, со впалыми глазками на морщинистом личике старухи Черного Махмута, которого одинаково почитали русские и казахи, уйгуры и татары, дунгане и киргизы небольшого городка у подножия снежных вершин. Будто вчера направо и налево рассказывали, что она, ее мать, не однажды говорила своим соседкам: «И-и, алла, дай только здравия моему чернявому старику да трем моим дочкам... уж восседать мне тогда на почетном месте не в одном знатном доме!» Как в воду глядела покойница, эта юркая и востроносая, как сорока, маленькая, как мышь, со впалыми глазками на морщинистом лице, разговорчивая старуха Черного Махмута из небольшого городка, где тогда самым людным, самым видным местом была Торговая улица. Все обернулось, как она и предполагала. Старшая дочь, Зубаржат, досталась татарам — родичам по материнской линии. Средняя, Зулкия, стала снохой уйгурам — родичам бабушки по отцовской линии, ну, а горластым и простодушным казахам, располагавшимся в просторных хоромах Черного Махмута как у себя дома, приглянулась младшая — вот эта самая Зухра. А выросли дочки в сытости и холе одна другой краше — белым ликом в мать, крупной статью — в отца.

Был Черный Махмут правой рукой богатого хозяина — владельца большого магазина на главной Торговой улице. И поэтому не только дом его кишмя кишел гостями, но, как говорится, и двор. Если к парадному крыльцу чинно подъезжали в мягко пружинящих фаэтонах почтенные господа, в цилиндрах да фесках, то с другой стороны через высокие железные ворота деловито въезжали на ревущих верблюдах, на орущих ишаках степные казахи и кишлачные уйгуры в замасленных лисьих треухах, мерлушковых шапках, войлочных шляпах, вышитых тюбетейках.

В двухэтажном сосновом особняке с утра до вечера, во все времена года толпились бесчисленные гости — все сплошь родственники, все сплошь уважаемые и достопочтенные аган и анан, ани и абзи, амашки и энешки. Если в одной комнате оглушительно стреляли пробки шампанского и перелив-

чато звенели бокалы, то в другой благочестивые мусульмане клали поклоны на молитвенных ковриках — жайнамазах — или отрешенно перебирали четки.

Вообще-то, глядя на дастархан, можно было подумать, что дом принадлежит богачу уйгуру; судя, однако, по бойкой беседе за дастарханом, хозяин его казался из не менее состоятельных татар. И лишь по кучке верблюжьих кругляшков в углу безмерно огромного двора да еще по тому, как Черный Махмут после обильной трапезы имел обыкновение распахнуть на улицу окно и рыгать на всю округу, можно было предполагать, что дом этот определенно имеет также некоторое отношение и к казахам.

В пользу того, что Черный Махмут относился все же к казахскому роду, свидетельствовало еще одно немаловажное обстоятельство: он обожал многолюдье не только в своем магазине, но и в своем доме. И совершенно бесспорно, что всевышний вполне преуспел в своем благодетельстве по этой части, хотя и трудно сказать, исполнил ли он в той же мере остальные его желания или нет. Если учесть, что к разномастному люду, падкому до ярко-пестрого товара в магазине Черного Махмута, присоединялись еще добрые джигиты-молодцы, жадно искавшие благосклонности трех его красоток дочек, то и без прочих объяснений понятно, почему в его просторном доме зимой и летом, с утра до вечера бывало так колготно и шумно, будто на реке в половодье.

Особенно когда к обеду в мягком новеньком фаэтоне выезжала на прогулку по городу прелестная дочка Черного Махмута в дорогой широкополой шляпке, от местных хлыщей прямо-таки проходу не было. Видя, как женихов толпами притягивало в дом, маленькая сухолицая старушка ликовала: «И-и-и, алла-а... Красота разве кого равнодушным оставит? Не-ет, та не женщина, за которой не волочится косяк мужчин. Да, да!» И при этом сморщенное личико ее розовело, в глубоких глазах мерцали искорки, а губы змеились в улыбке.

Вечерами, случалось, обучала она дочерей уму-разуму:

— Не гляди, что мужик не пригож, гляди, на что он гож. Если хват, то и богат. А в богатстве — честь и достоинство. Пригожей пристало быть женщине. И-и-и, откуда вам, дурехам, знать? Но запомните: у мужчин бывает два невидимых и три видимых достоинства. Одно из невидимых достоинств мужчин — ум. Второе — вы пока слишком молоды — объяснить вам не могу. А три видимые достоинства: внушительность на лице, сила в руке да тугой карман. Если бы ошибе-

тесь, не разглядев невидимых достоинств,— не беда. Главное: не допустить промаха в достоинствах видимых. А это ох как нередко случается с нашей несчастной сестрой! Да спаси вас создатель от такой позорной слепоты!

И крохотная старушонка, как бы испугавшись своих слов, мелко озиралась по сторонам.

Оправдала ли Зухра надежды матери или нет — судить ей трудно, но что отцу угодила — это, кажется, точно.

Горбоносый, усатый (не усы — мочалка), Черный Махмут отличался нравом суровым и крутым. Властный торговец, привыкший не потакать покупателю, а навязывать ему свою волю, держал и домочадцев в узде, даже если и пропадал целыми днями в своем магазине. Когда наступили новые времена и не одного прохиндея с Торговой улицы сослали в края, где, по слухам, ездили на собаках, он и тут вывернулся, уцелел каким-то образом. И даже более того — стал одним из небольших начальников, руководивших немногочисленными торговыми точками в городе. Как это ему удалось, о том не то что посторонние, но и родные дочери не догадывались. Правда, всегда все знающая прислуга мусолила по углам слушок, будто кто-то из тех, кому Черный Махмут помог в свое время выучиться, ходил ныне в больших чинах.

Иногда, в отсутствие посторонних, Черный Махмут, хмуро поглядывая на дочку, сетовал на судьбу:

— Эх, дал бы бог вместо тебя сыночка, держал бы сейчас вот в этих руках какой-нибудь поводок новой власти.

— Аллах с тобой, Махмут... ты что?! Неужто невдомек тебе, что иной зятек лучше родного сына, а? — отчего-то всполошившись, отвечала в таких случаях маленькая старушка.— Сын ведь может и против твоей воли пойти, а зять такое себе не позволит...

Махмут, не зная, как возразить своей старухе, лишь вперялся в нее строгим взглядом и молчал.

А еще как-то, искоса метнув на дочку взгляд, он неожиданно для нее сказал:

— Нынче, замечаю, комсомол силу набирает. Каждый божий день собрания проводит, до хрипоты горланит. А ты-то почему в сторонке отсиживаешься? Пошла бы тоже...

В самом деле, в тех местах, где раньше, бывало, собиралась городская молодежь, вместо прежних танцев пошли сплошные собрания с бесконечными ожесточенными спорами. Ничего в них не понимала Зухра, но, послушная родительской воле, исправно посещала.

Боже, какие то были собрания! Выходишь, бывало, после них, словно из бани: пар от разгоряченной головы валит. Выступали азартно, вдохновенно; рубили сплеча, не щадя друг друга. Зухре иногда чудилось, что от возбужденных голосов качался потолок: того и гляди рухнет. Невозможно было уследить, кто о чем говорит. Молодые хриплые голоса оглушали ее, и тогда она, не вникая в суть спора, принималась разглядывать лица выступавших. Они дышали юным задором, бесшабашностью и какой-то грозной, неуемной силой, отчего у Зухры замирало сердце. Так и казалось, что кто-то из этих спорщиков накинется сейчас на нее, дескать, чего выставилась, что высматриваешь, и от этой мысли становилось не по себе, и Зухра поспешно опускала глаза, смотрела в пол, но вскоре, чувствуя, как от шума кружится голова, вновь начинала обозревать зал.

Однажды цепкий взгляд ее выхватил из толпы светлолицего джигита — лопоухого, с жидкими, как ковыль, волосами, внимательно, опершись подбородком на руку, вслушивавшегося в речи. Он тоже изредка устремлял на нее робкий взгляд карих глаз. И при этом близоруко щурился. Если же невзначай встречался с ней взглядом, мгновенно вспыхивал лицом и торопливо отворачивался. Среди сплошь задиристых и отчаянных юнцов в зале этот лопоухий казался Зухре единственным покладистым и добросердечным человеком. Она ни разу не видела его на трибуне. Он — когда бы она ни смотрела — сидел себе тихонько с пылающими ушами и все слушал, слушал других. Лишь изредка, когда какой-нибудь очередной крикун уж больно распалялся на трибуне, лопоухий что-то буркал под нос. И этого бывало достаточно, чтобы распаленный оратор на трибуне тотчас сбивался с речи и с ожесточением набрасывался на него. Тогда лопоухий мгновенно умолкал и начинал ерзать, будто готовый провалиться сквозь землю. Но тут каждый раз порывисто вскакивал с места его сосед — смуглый, кучерявый, прямоносый, остроглазый малый — и направлялся к трибуне. Ох и доставалось же от него тем, кто осмеливался задеть лопоухого! Когда кучерявый, размахивая руками, сверкая ястребиными глазами, громыхал на трибуне, зал охватывало неистовство.

Раскаленные слова, исторгавшиеся из молодых глоток, не задевали сознания Зухры. Все ее помыслы занимал светлолицый молчаливый джигит, который как бы еще больше сжимался от бурных рукоплесканий в честь его кучерявого друга.

И с Жанибеком-то она познакомилась благодаря все тому

же светлолицему молчуну. Как-то, спускаясь с тр буны, взбудораженный спором кучерявый вдруг заметил прелестную девушку, которая издали украдкой поглядывала на его друга. И с того дня его как подменили. Отныне он, до того настороженно ловивший каждое слово ораторов, прямотаки когтил ее своими ястребиными глазами, повернувшись к ней, всегда устраивающейся с краешка, будто у него ни с того ни с сего искривилась шея. Зухре теперь даже украдкой не удавалось посмотреть в сторону робкого лопоухого, потому что каждый раз натыкалась на горящий взор его смуглого приятеля.

В то время было небезопасно ходить по темным улицам, по обе стороны которых, точно ночные разбойники, тесными рядами смыкались сумрачные тополя. И потому так уж случилось, что после собраний, нередко кончавшихся за полночь, двое приятелей провожали ее домой. Рядом с ней широко шагал, разлохматив буйные волосы, смуглый джигит, а чуть позади враскачку следовал лопоухий. Тогда-то и заметила впервые, что он слегка припадает на одну ногу.

О, славная была пора! «Как летит, однако... времечко!» — вздыхала она, вспоминая те годы и не решаясь опять-таки произнести слово «жизнь»...

Черный Махмут, от природы сдержанный и даже скупой на какие-либо похвалы, испытывал неподдельное удовольствие, когда речь заходила о его зяте. Тут он, отойдя душой, начинал ковыряться в зубах или вздыблпвать густые жесткие усы. Просматривая за утренним чаем газеты, он неизменно искал глазами фамилию зятя. В то время было совершенно исключено, чтобы в какой-то день не состоялось какое-либо собрание и чтобы на нем не выступал Жанибек. Где Жанибек? Ну, разумеется, на собрании. Где Жанибек? В Москве на совещании. Где Жанибек? На активе в области.

Узнавая об этом, Черный Махмут чувствовал себя так, будто подпирает своей макушкой небо. И, должно быть, потому в дочке своей души не чаял.

Жанибеку достался на окраине города справный бревенчатый дом со всеми необходимыми хозяйственными пристройками. Гости приезжали толпами. И толпами уезжали. Кого только не было среди них! Степные казахи. Почтенные горожане. Студенты, обучавшиеся в далеких городах. Просто знакомые. Приятели. Товарищи. Друзья. Среди этого многолюдья, громоздясь, толкался и Черный Махмут. И только почему-то не видать было того молчаливого рыжего с редкими, как ковыль, волосами. Как-то мимоходом спросил было

о нем у зятя, тот коротко ответил: «В области». Ну и бог с ним! Со временем Черный Махмут и вовсе забыл о нем.

Когда разразилась война, Жанибек в составе воинской части, сформированной в Казахстане, отправился на фронт. Черный Махмут сильно приуныл. Правда, и в это лихое время состояние его не особенно пошатнулось, благодаря чему Зухра не испытала ни тягот, ни лишений. Сыночка Алибека взяли к себе дедушка с бабушкой. Сама Зухра, как прежде, всегда ходила нарядная. И лицом была, как прежде, пригожая. И почему-то чудилось ей, что ничего страшного в мире не происходит, что Жанибек просто уехал — хотя и в далекую, но все равно в обычную, безопасную командировку. Или, как всегда, выступает где-то перед воинами, идущими в бой. И еще казалось, что вот-вот кончится эта война и Жанибек, по обыкновению радостный и шумный, ввалится в родной дом.

На улице, в толпе подавленных, осунувшихся людей, она чувствовала себя неуютно и потому поневоле спешила домой. А дома, как всегда, все было тщательно прибрано, чисто, будто вылизано. И слово «война», которое не сходило с уст людей, Зухре упорно мерещилось отнюдь не бедой, а всего лишь одним из многочисленных сборов в каком-нибудь другом городе, которые временно вырвали из ее объятий неугомонного мужа.

Только на этот раз «сбор» уж слишком затянулся. Задержался что-то Жанибек. И, думая о нем, Зухра все чаще проводила бессонные ночи. Ворочалась в постели в изнурительном томлении. И мерещилось бог весть что. Прямо-таки неотступным наваждением преследовали сладостные видения счастливой супружеской жизни. И, случалось, лишь к утру, почувствовав тяжесть скомканного одеяла на груди, забывалась в коротком, тревожном сне.

Она внушила себе: сон — забвение и чем дольше и крепче она будет спать, тем, быть может, скорее кончится война. И в долгих снах своих она каждый раз видела Жанибека возвращающимся из командировки. Он привозил ей подарки — изящные безделушки. Подойдя к ней, наклонялся к ее лицу, губами нежно и щекотно касался ее ушка. И душа ее замирала, растворялась в невыносимом предчувствии счастья.

И в тот раз чьи-то жесткие, сухие губы, будто клещ, впились в ее висок. Горячее дыхание обожгло ее. Неожиданная приятная истома захлестнула ее разом, лишила воли, и не было сил даже разлепить отяжелевшие веки. Знако-

мый и столь желанный греховный жар, огнем обдав правый бок и разливаясь все шире, подбирался к груди, и тело ее покорно подчинялось неодолимому зову плоти, испытывая блаженство от властной тяжести, грубо навалившейся вдруг на нее. То не было привычной и бездушной тяжестью скомканного одеяла. Точно так же и Жанибек когда-то... да, да, так же нетерпеливо тыкался лицом в ее подбородок, в шею, и жесткие волосы тоже так же щекотали ее лицо. И он так же в каком-то мужском неистовстве резко отшвыривал одеяло, словно надоевшую помеху, и во всех его движениях чувствовались нетерпение и необузданность.

И вдруг эта тяжесть, которая, казалось, хотела ее раздавить, разом отпустила ее, исчезла, и недавний жар мгновенно истаял, улетучился. Истомленному телу стало зябко. Она пошарила вокруг рукой, потом, все еще в полусне, потянулась к одеялу на полу, и в это время где-то рядом что-то резко чиркнуло. И вслед за этим из кухни потянулся удушливый запах махорки. Потом донесся чей-то приглушенный кашель. И тут только она стряхнула удушливый сон, заметила, что ночная рубашка ее непристойно задралась, и тотчас ощутила озноб в отяжелевшем, разбитом теле.

Городской госпиталь был переполнен ранеными. Подлечившихся перед отправкой на фронт обычно на несколько дней устраивали на постой в ближние дома. Вот и к ней накануне утром работник военного комиссариата привел одного офицера, расположившегося в боковой комнате рядом с кухней.

После работы она не решилась пойти домой и отправилась к родителям. Засиделась там до ночи. И все время ощущала в себе какую-то смутную тревогу, места себе не находила. Отчего-то учащенно билось сердце, жар подкатывал к лицу и даже вроде как подташнивало. Поняв, что здесь, у родителей, ей не уснуть, она отправилась домой. Долго стояла на остановке в ожидании автобуса. Вскоре продрогла на промозглом ночном морозе, и стынь эта, казалось, окончательно вытравила из нее и все недавние сомнения, и нерешительность, и назойливые, преследовавшие весь день думы о губастом, чернявом, поджаром офицере с жестким ежиком волос. Когда уже начала колотить ее знобкая дрожь, показался, наконец, дежурный автобус, редко курсировавший в сторону гор. Все чудилось ей как в дурмане. Она только помнила, как села в промерзший автобус. Помнила, как вышла на знакомой остановке. Помнила, как своим ключом отперла дверь. Помнила, как, не включая свет, разулась в прихожей, как на цыпоч-

ках, неслышно прошла в свою комнату. И еще помнила, как тотчас бросилась в постель и никак не могла согреться под привычным пуховым одеялом. Тогда она, сдерживая озноб, встала, достала еще одно одеяло и укрылась им. Лишь после этого ледяные иголки, впившиеся в ее тело, смягчились, отпустили ее или сломались под спасительной тяжестью тепла. Согревшись, тотчас провалилась в сон.

А теперь она лежала в полной растерянности, не понимая, померещилось ей все это или нет. И не могла даже сообразить, сама ли сбросила во сне одеяла или их решительно скинули, содрали с нее чьи-то нахрапистые, бесстыжие руки. Она напрасно силилась вспомнить, закрыла ли ночью за собой дверь на крючок. Надо было сейчас встать, проверить, но что-то сдерживало ее, может быть, боязнь ступить босыми ступнями на холодный пол. Она плотнее укрылась, подоткнула одеяло и настороженней прислушалась к звукам из боковой комнатки. И когда до нее донесся скрип стальных пружин, она вся вздрогнула, сжалась, а сердце заколотилось, забухало неровно и тяжело. Так она лежала в смятении и понемногу привыкала к тишине, смиряясь с одиночеством, но в это время снова донесся до ее слуха смущающий покой скрип кровати. И, сдерживая дыхание, словно боясь, что ее может услышать незнакомый мужчина в соседней комнате, она осторожно повернулась на другой бок. И опять обрушилась выморочная тишина. И опять коротко застонали пружины в боковушке. Так и промаялась, лишь временами забываясь, до самого утра.

Утром, при сумерках, она, встав, сразу же кинулась к двери. Дверь оказалась на крючке. Зухра холодно усмехнулась. Испытывая тяжкую опустошенность, с усилием выпила чашку чая. На столе оставила заварник, укрыла его полотенцем, чтобы не остыл. Проснется гость, попьет, может... Выходя, покосилась на застекленную дверь боковушки: незнакомец спал, отвернувшись лицом к стенке. Крупный, жилистый мужчина. Боясь, что под ее взглядом он невзначай проснется, она отвела глаза, торопливо вышла.

На работе она никак не могла отвлечься от призраков прошлой ночи, то и дело вздыхала и отчего-то вся вспыхивала. В тот день она не зашла к родителям, а сразу отправилась домой. Всю дорогу не могла унять дрожь в сердце. Схватившись за ручку двери, застыла то ли в страхе, то ли в бессилии. Она никак не могла сосредоточиться и решить, как поступит, что скажет сейчас при виде чернявого, поджарого, губастого постояльца. Но ловила себя на мысли, что хочет его увидеть, желает обмолвиться с ним хотя бы словечком,

А тут еще чудилось, что кто-то следит за ней, подглядывает за изгородью...

Она перевела дыхание, рванула дверь. На столе лежала записка. «Простите. Спасибо». Два слова... Всего два оглушительных слова. И больше ничего. Все... Все...

В глазах зарябило. Слабость ударила в ноги. Как подбитая, опустилась на стул. На краешек листа, вырванного из тетради в клеточку, с шорохом упало несколько слезинок. Вдруг показалось, что кто-то, наклонившись, пристально глядит на нее из-за ее плеча. Уж не постоялец ли? Может, ему вздумалось над ней пошутить? Вызнать, как она поступит? Схватив со стола и судорожно скомкав записку, она вскочила, оглянулась и столкнулась с взглядом Жанибека на портрете. Сердце захолонуло. Смуглый остроглазый мужчина смотрел на нее строго и грустно. Она, растерянная, застыла, все еще держа в ладони смятую записку.

Тогда-то, кажется, и поняла впервые Зухра, что такое война.

А потом... чего только не было потом в ее жизни! «Как летит, однако... (сказать «жизнь» было выше ее сил) времечко»,— вздыхала она, вспоминая прошлое.

С того памятного дня ей часто мерещилось, что эти строгие и печальные глаза неотступно следили за каждым ее шагом. Идет она на кухню — глаза эти, затаившись, следят из гостиной. Пройдет в гостиную — они выслеживают из кухни. И не было от них спасения во всех четырех комнатах особняка. И даже в постели чудилось, будто кто-то, подкравшись, всматривается в ее лицо. Она стала спать, укрывшись с головой одеялом.

Отныне Жанибек на портрете не улыбался, как прежде, добродушно, а как бы ухмылялся, не сводя с нее цепкого взгляда. И она, находясь дома, не решалась поднимать глаза, будто боялась, что кто-то выйдет вдруг из-за угла и без утайки выложит все, все, что было или показалось ей в ту ночь.

С того дня по пятам преследовали ее подозрения. Выйдет во двор — будто некий соглядатай прочь бежит от ограды. И на улице случайные прохожие почему-то оглядываются на нее. В автобусе совершенно незнакомые люди смотрят на нее так, словно у нее что-то не в порядке. Особенно мужчины, как сговорившись, прилипчиво и бесцеремонно ощупывают ее взглядом с головы до ног. И все будто знают о ней что-то неприличное, нехорошее, будто догадываются или слышали о ее позоре и будто осуждают ее за ту постыдную слабость.

Да-а... Видно, не случайно сказывают, что земля слухом полнится. Должно быть, существуют все же некое недреманное око, все слышащее ухо, болтливый язык, которые видят малейший твой проступок, слышат и ловят каждое твое неуместное словцо, тотчас рассказывают о каждом твоем опрометчивом шаге, и нет от них спасу нигде, никогда. Должно быть, они успели о том поведать всему городу. Конечно... Иначе с какой стати все вокруг пялили на нее глаза? И разве такой гадкий слух останется в пределах одного города? Как бы не так! Наверняка дополз он и до фронта, дошел до Жанибека. Потому-то и перестали вдруг приходить от него письма. Ну, Жанибека можно понять. Однако как объяснить ее теперешнее спокойствие, даже равнодушие какое-то, когда еще недавно она не находила себе места, если от мужа не было вестей более одной недели? И разве не желает она в душе, чтобы сейчас эти письма еще немножко задерживались в пути? Как бы она поступила, получив в эти дни от мужа письмо? Нашла бы в себе силы и решимости тотчас взяться за перо и написать ответ? Вряд ли... И потому, может быть, лучше сейчас и для нее, и для Жанибека вот такая неопределенность. Только сколько она может длиться? Ведь если она сейчас испытывает стыд, робость всего лишь перед письмом мужа, то как ей быть завтра, когда он сам предстанет перед ней? Как посмотрит ему в глаза? А не хочется ли ей в душе, чтобы не только его письма, но и сам Жанибек задержался еще на некоторое время там, на фронте? Но ей было неприятно сознаваться себе в этом, и даже сами эти думы были противны. Да и зачем понапрасну ломать себе голову и изводить себя думами о том, что еще когда-то будет или не будет? Ей достаточно теперешних ее забот. Теперь ее забота — как входить в собственный дом и как выходить из него. Теперь для нее забота — как отделаться от навязчивых взглядов уличной толпы. Теперь уже забота — какими глазами смотреть на родного сыночка, на маленького Алибека, воспитывающегося у бабушки и дедушки.

Раньше, хотя и редко, но, случалось, забирала она Алибека к себе. Теперь она на это не решалась. Ей упорно казалось, что в просторном четырехкомнатном особняке нет ни одного уголочка, где бы можно было скрыть ее тот ночной срам от невинного детского взора. И раз так, то уж лучше оставаться одной со своими душевными муками.

Видно, замечала маленькая старушка: что-то неладное творится с дочерью. «Чего такая бледная ходишь? — спросила ее при последнем посещении.— Или тяготит что-то?»

Только сыночек никаких перемен в матери не замечал. Чернявый гладкий мальчонка, завидев мать, издалека бежал, смешно перебирая ножками, навстречу и бросался ей на шею. И чем сильнее он обвивал ее своими ручонками, тем ощутимей сковывал ее душу непостижимый холод. Ее охватывал страх. Раньше, лаская своего ребенка, она испытывала ни с чем не сравнимое блаженство. Что же теперь с ней стало? Откуда эта умерщвляющая душу стужа, эта черствость? Будто некая черная сила или таинственное, как возмездие, зло неодолимой преградой встали между нею и другими людьми — близкими, знакомыми, родными, отцом, матерью, более того, кровным дитятею, вышедшим из ее лона, и раз и навсегда провели резкую, как пропасть, грань между нею, несчастной, отторгнутой, и всем остальным, бесконечно многообразным миром. Отныне даже думы о Жанибеке вселяли необъяснимый страх. И, казалось, нечего ей ждать в этой жизни, кроме бессилия и опустошенности. Все вокруг нее как-то сразу лишилось всякого значения и смысла. По утрам, как неживая, брела на работу. Вечерами так же тащилась домой. Даже не помнила, во что одевалась. Лишь приходя на работу, бросала мимоходом рассеянный взгляд на большое зеркало у входа и тотчас успокаивалась. Лоб был по-прежнему чист и гладок. Брови — вразлет. Ресницы — густы и длинны, даже с загибом. Большие, как блюдца, глаза полны огня и света. Губы, как в лучшие годы, сочны, ярки и полуоткрыты в ожидании желанной сладости. И вся она чистенькая, ухоженная. Одета с иголочки. Ну надо же... Как же так?! Разве не чувствовала она себя только что подбитой, опустошенной, будто чья-то жестокая рука вынула из нее сердце и швырнула его собаке на съедение? Или зеркало лжет? Разве эта цветущая красивая молодая женщина не она? Каким же образом ее душевная маета, ее глухая тоска, сковавшая душу холодом, никак не отразилась ни на ее лице, ни в глазах? Видно, какая бы гора горя ни обрушивалась на нее, эта женщина не может следить за своей внешностью. Видно, какая бы гора неприятностей ни наваливалась на нее, эта женщина не потерпит ни одной пушинки, ни одной лишней складки на себе. Видно, какая бы гора неудач ни обрушивалась на нее, эта женщина просто по своей природе, по своей изначальной сути не может не быть красивой. Видно, какая бы гора лишений ни придавливала ее, эта женщина не может задохнуться, захлебнуться от боли и тоски... Впрочем, нет, нет... спаси ее аллах от всех напастей! Она содрогнулась от одних только этих мыслей.

Но гора горестей все-таки обрушилась на нее. Зашла как-то после работы к родителям, увидела их поникшими в безутешной скорби и сразу обо всем догадалась. Так и застыла у порога, привалилась к косяку, в растерянности не соображая, как ей быть, как поступить. Лишь через некоторое время как бы очнулась и бросилась к отцу, обвила его за шею. Черный Махмут зашелся-затрясся в плаче. И из ее глаз хлынули слезы. Она еще не знала, отчего эти слезы, кого оплакивает — то ли сложившего свою кучерявую голову Жанибека, то ли себя, неутешную вдову, то ли сиротинушку Алибека, то ли старых родителей, убитых бесталанностью своей любимой дочери, нет, не знала она еще, не знала, а только все плакала, исходила слезами, крепко прижав к груди белую пышно, будто мукой посыпанную голову своего отца — Черного Махмута.

Недолго пожил Черный Махмут после той черной вести. Отправился однажды на базу, схлестнулся отчего-то со строптивым кладовщиком, да и рухнул вдруг, закатив глаза, на тюк тканей. Эти две смерти, два больших горя, казалось, начисто смыли грех с души, будто вытравили из памяти ту злосчастную ночь. Теперь, чудилось, люди глядели на нее не осуждающе, а сочувствуя, сожалея. Во взглядах, сопровождавших ее на улице, в автобусах, на работе она видела лишь человеческое сострадание и жалость.

Это она впервые отчетливо осознала... да, да... именно тогда, когда пришла на прием к тому... давнему знакомому молчуну с редкими, как ковыль, волосами. Она и раньше не раз слышала эту фамилию — Кузембаев. Знала, что он один из немногих облеченных большой властью в этом городе. Но разве могла она предположить, что Кузембаев — тот самый лопоухий молчун, который некогда робко взглядывал на нее?!

А направила ее к нему старая мать. Еле-еле уговорила. Востроносая старушка сильно сдала после смерти мужа, согнулась чуть ли не пополам. Однако когда распалялась, в бесцветных старческих глазах, как и прежде, вспыхивали колючие искорки:

— Смерть кого угодно подкосит. Лишилась старика своего, и вот видишь — к земле меня пригнуло. Что и говорить, горе не красит. Но я стара и свой век отжила. А тебе-то, молодой-горячей, зачем горю-унынию предаваться? Бедный Жанибек погиб в кровавой битве. Никто не сможет тебя упрекнуть, что не ждала его. У женщины, сказывают, сорок свечей в душе. Одна угаснет, другие светят. Еще не поздно:

ожешь еще свою жизнь наладить. Но не думай, что одинокой бабе и заскорузлую шкуру обнять — утешение. Такая доля не для тебя. Уцепись за полы достойного и удачливого мужчины. И не гляди, что есть у него жена, дети. Красота женщины — украшение удачливого мужчины. А состояние избранника судьбы должно служить женской красоте. Так уж повелось нестари. Тебя всевышний щедро наделил красотой. И не устоять перед тобой ни одному, кто родился мужчиной. Поверь мне. Только сама не будь раззявой, не прохлопай свое счастье, не упускай своей доли. На твоего отца тоже зарились пять-шесть казахских красоток и столько же татарских вертихвосток, а я его у них из-под носа увела. Вот так-то! Своим благом надо воспользоваться умеючи и вовремя. Не то останешься ни с чем. И никто тебя не пожалеет... От меня, дочка, уже проку нет. От сына, воспитанного вдовой, толку тоже не выйдет. Так что не мучайся понапрасну, отдай Алибека туда, где учат детей погибших командиров. Иначе будет только путаться под ногами и мешать. Этот Кузембаев — слышала? — большой начальник, давнишний приятель Жанибека. Об этом мне не раз говорил твой покойный отец. Так сходи к Кузембаеву, поговори, он — увидишь! — в два счета все решит. Ты слушай, слушай: это мой тебе совет. Не сделаешь так — локти потом кусать будешь. Ох и пожалеешь! А узнав, что ты тут, как задрипанная, зачуханная баба, нюни распустила, я тебя на том свете прокляну: «У, безмозглая тварь!.. Сучка бестолковая!» Да, да... так и скажу. Учти!

И впилась колючим взглядом в дочь, как бы спрашивая: «Ну, как? Все поняла?» Видно, допекло старуху: решила и дочку приструнить. Позвав нежно-смуглого мальчонку, игравшего во дворе, настояла, чтобы пошел вместе с матерью.

Да, он был все такой же, светлолицый молчун. Когда она вошла в дверь, явно растерялся, вскочил с кресла. Провел ладонью по редким своим волосам, заблестел карими глазами, кинулся навстречу. Сначала учтиво и долго жал руку, потом, предупредительно подхватив под локоток, подвел к широкому, обитому сафьяном дивану, усадил ее, а сам, стоя рядом, как и тогда, бросал на нее робкие взгляды. Смотрел долго и молча, будто пересохло в горле или будто от неожиданности не знал, что говорить.

Наконец все же заговорил. Несмело, точно через силу. Выразил свои соболезнования. Да, да... как же... сразу две смерти... жестока судьба... Потом опять умолк. И после долгой паузы поинтересовался: как жизнь, как работа...

Зухра про себя уже пожалела, что пришла сюда, и была

готова уйти восвояси. На что она надеется? Вряд ли этот мямля, робеющий перед собственной тенью, способен чем-либо помочь ей...

Должно быть, Кузембаев догадался, о чем она подумала. Спросил вдруг:

— Я слушаю, Зухра. Говорите: какая забота привела вас сюда?

Она выпрямилась, подняла глаза. Огромный, сверкающий гладкой поверхностью стол, ряд разноцветных телефонов на отдельном столике сбоку, тяжелые, необъятные кресла, обшитые сафьяном, как бы свидетельствовали о том, что хотя сам хозяин и не производит впечатления грозного и властного начальника, но место, которое он занимает, достаточно внушительно. Зухре на мгновение почудилось, что там, за разноцветными телефонами, притаилась согбенная морщинистая старуха мать и жутковато ухмыляется, как бы выжидая, заговорит ли нерешительная дочь о своем деле или промолчит. Ей стало вдруг страшно. Запинаясь, словно чужим голосом, заговорила сбивчиво, торопливо. Кузембаев внимательно слушал. Маленькие карие глазки еще больше сузились, льдисто поблескивали. Под тонкой кожей на шее пульсировала голубоватая жилка. Рука стиснула пучок карандашей, будто боясь рассыпать их невзначай. Голова чуть склонилась, и макушка сквозь редкие, как ковыль, волосы медленно наливалась краской. «Что с ним? Уж не злится ли он на меня?» — подумалось невольно Зухре. Однако, опасаясь грозной и нетерпимой морщинистой старухи, притаившейся за телефонами, она тотчас задавила в себе все сомнения и решила довести свой невеселый рассказ до конца.

Светлолицый тихоня не перебивал ее, а дослушав, обескураженно молчал некоторое время. Потом прокашлялся, как бы приняв решение, и, ничего не говоря, потянулся к крайнему черному телефону.

— Алло... Это военный комиссариат?

И потом, как прилежный ученик, точь-в-точь повторяющий слова учителя, он связно и вразумительно пересказал все, что только что поведала ему Зухра.

Черный телефон молчал. Молчал. Молчал. Молчал мучительно долго. Наконец трубка прошипела что-то односложное и, послушная воле светлолицего тихони, описала медленно дугу и покорно легла на рычажок.

— Товарищи из военного комиссариата сделают все как надо. Ну, что еще у вас?

— Спасибо. Других дел у меня нет.

Она встала. Поднялся тотчас и Кузембаев. Провел до двери.

— Может, перейдете на работу сюда? Как-никак ближе... под присмотром, так сказать... Может, помощь какая...

— Спасибо.

Дойдя до порога, Кузембаев левой рукой схватился за медную ручку массивной двери, а правую подал на прощание. Зухра лишь на мгновение глянула ему в глаза и оробела: столько было в них молчаливого сочувствия, невыразимой жалости, покорности. Казалось, еще одно мгновение — и из этих карих преданных глаз польются слезы. Никогда, ни в чьих глазах она еще не видела такого выражения. Она торопливо простилась и бросилась на улицу. Только там перевела дыхание и чуть-чуть, лишь краешком губ, улыбнулась.

Позже, спустя годы, вспоминая то мгновение, Зухра вздыхала: «Ах, как летит, однако... (сказать «жизнь» она не решалась) времечко...»

После того случая она и в автобусе, и в магазинах, и на работе постоянно ловила в глазах мужчин тихую жалость и сочувствие. Она с трудом удерживалась от улыбки, когда это же выражение печали и нежности замечала в глазах мужчин внушительных и строгих, которые и ступали-то по земле так, будто для них не существовало никаких преград.

Вскоре маленького Алибека направили в далекий город в нахимовское училище. Боже, все на нем было неправдоподобно крошечным, игрушечным. И брючишки. И рубашонка. И курточка. И пальтишко. И блестящие пуговички на нем. И ботиночки. И черный чемоданчик. И сам он, боже милостивый, точно гномик из сказки, стоял, застыв, возле этого чемоданчика. Беспомощно торчали крохотные ушки; невинно поблескивали маленькие глазки. Она с жалостью и умилением глядела на этого мальчика с пальчик, на игрушечного мужичонку, на своего кровного дитятю. Неужели это ее плоть, ее кровинушка? Да у какой матери на белом свете есть еще такое милое дитя?! Она не могла наглядеться на него. А подтянутая красивая девушка в военной форме, наоборот, не спускала своих глаз с нее.

Долго стояли так на вокзале. Наконец девушка в военном сухо сказала:

— Время вышло. Прощайтесь.

Она обхватила, обняла крохотного сыночка, всего-всего обцеловала — и крохотное личико, и крохотный носик, и крохотные ушки, и крохотные преданные глазки — всего, всего...

Маленький Алибек, оставив на перроне одну ха-а-рошень-

ную тетеньку, нехотя побрел-потопал за другой ха-а-рошень кой тетенькой. Он всегда смущался, робел перед той ха-а-ро шенькой тетенькой, оставшейся сейчас на перроне, и то же смущение, ту же робость испытывал и перед этой совсем чужой ха-а-рошенькой тетенькой, которая решительно вела его за ручку куда-то. Если бы сейчас... ну, хотя бы на мгновение показалась согбенная светлоликая старушка... он бы вырвался от обеих ха-а-рошеньких тетенек и опрометью бросился бы к ней... обхватил бы ее за шею крепко-крепко, так, чтобы никто не мог его оторвать, отнять, зарылся бы лицом в ее грудь, вдыхая столь знакомые, родные запахи... и, избавляясь от непосильной тяжести тоски и обиды в своей маленькой груди, долго-долго плакал бы, плакал, плакал... И не успокоился бы, пока не получил из маленьких морщи нистых рук или горячий пирожок, или конфетку в яркой обертке. При входе в вагон он оглянулся в последний раз. Бабушки не было видно. А его ха-а-рошенькая тетенька все еще стояла на перроне и глядела на него...

Беспомощный, жалобный взгляд Алибека в то мгновение почему-то напомнил Зухре светлолицего тихоню в огромном кабинете.

Четырехкомнатный особняк встретил ее привычной, опостылевшей тишиной. В какую бы комнату ни входила — ни единого шороха, кроме скрипа двери. В комнате, где прошлую ночь спал маленький Алибек, чуть-чуть высовывались из-под широкой железной кровати с никелированными шарами на боковинах аккуратно поставленные домашние тапочки. Боже, до чего же малюсенькие, малюсенькие!..

В глазах Зухры опять всплыл чистенький мальчик-крохотуля с печальными глазками. Вот он стоит, надувшись, у вагона... Она сама себе улыбнулась.

Гладкий, до блеска отполированный стол. Гладкое, начи щенное зеркало. Гладкий, лаком покрытый паркетный пол. Гладкий сверкающий телефон. На гладком столе гладкая лощеная бумага. Перо скользит по ней точно конькобежец по катку. Даже футляр из-под пишущей машинки на низеньком журнальном столике и тот сверкает чистотой.

Сквозь гладкие прозрачные оконные стекла льются сочные солнечные лучи и, отражаясь в слепяще-гладком зеркале, играючи скользят по глади стола и паркета. И когда эти игривые зыбкие лучи, густея, начинают накаляться, стеклянные часы в блестящей коробке на выкрашенной до

блеска гладкой стене издают хрустально-чистый перезвон. И в то же мгновение ярко накрашенная, выхоленная молодая женщина, дробно постукивая каблучками, подходит к гладкому, будто вылизанному, столу у тщательно вымытого окна и легко и изящно опускается на стул. И так она сидит, сидит, сидит до тех пор, пока стеклянные часы в блестящей коробке на выкрашенной до блеска гладкой стене не зайдутся снова в хрустальном перезвоне. Как только раздается этот бьющий отбой перезвон, так холеная молодая женщина вспархивает со своего места.

В этом гладком, старательно отполированном мире, оказывается, и глазу твоему не за что уцепиться.

В этом гладком, старательно отполированном мире, оказывается, и желания твои бесконечно скользят, скользят по поверхности.

В этом гладком, старательно отполированном мире, оказывается, и дни твоей жизни скользят неведомо куда, не оставляя следа.

И теперь сама Зухра уже не припомнит, когда, после скольких лет службы в этом гладко-паркетном учреждении случилось то памятное ей событие. Но когда оно вспоминается, перед взором ее тотчас встает прорезиненный брезентовый плащ в грязных глинистых разводьях...

Да, самый обыкновенный, грубый брезентовый плащ, от малейшего прикосновения шуршащий, точно камыш в огне. Плащ-палатка, надежно укрывающая тебя с головы до пят. Без рукавов. Вместо них по бокам полуаршинные прорези, через которые при необходимости можно просунуть руки. К вороту наглухо пришит просторный башлык. Не плащ — непробиваемая, непроницаемая броня. Как это здорово — улиткой вобраться под необъятную накидку, накрыться башлыком и долго любоваться неистовым ливнем! Крупные прозрачные капли дробно стучат по башлыку, словно норовя пробить его, и, обессиленные, струйками стекают по шершавой плащевой ткани, бесследно исчезая в вязкой глине под твоими ногами. Но небо точно разверзлось и бесконечно сыплет прозрачными бусинками. Будто нанизанные на невидимую нить, они струятся и струятся с поднебесной выси и час, и два, а то и день, и ночь. Часами могла наслаждаться Зухра, испытывая в душе ликующую радость, при виде этого чуда природы. Небо лохматое, всклокоченное, в темно-бурых клубах, чумазое какое-то, как подол неряшливой бабы. И земля такая же — исхлестанная потоками, в неприглядных лужах — замызганная, сальная. А в пространстве между гряз-

ным небом и землей ошалело резвятся невинно-чистые дождинки. Особенно шалеют они, когда начинают прыгать по поверхности непроницаемого плаща, под которым надежно укрылась Зухра. Казалось, эти прозрачные бусинки зарождались не где-то там, в небе, а в ней самой. Или, точнее, будто она сама превращалась в тысячи, миллионы, миллиарды серебристых дождинок. Дивное диво — этот мир! Сколько в нем неистребимой радости, девственной чистоты, бесшабашной удали! Все грязное, пыльное, сальное, гадкое — отвратительные запахи, выхлопные газы, копоть, сажа, угольная пыль, бензинная гарь — все-все отбросы и жалкие останки человеческого бытия — разом исчезло, испарилось, будто и не было никогда. Только чистый, без единой пылинки, воздух да прозрачные серебристые дождинки в этом беспредельном ликующем мире:

— Может, сестренка, свежим воздухом подышим, а?

— ...

— Вы когда-нибудь живых фазанов видели?

— ...

— Нет ничего красивее на этом свете!

— ...

— Не видели — так я вам с удовольствием покажу.

— ...

И вот теперь она дышала этим чистым свежим воздухом. Да что там дышала — сама вся растворилась в нем, вся-вся, без остатка, разом очистившись от всевозможной скверны. Будто после долгой разлуки вновь свиделась с природой, или, точнее, сама превратилась в нее, слилась с ней, отрешенная от себя, от всего житейского и низменного. Подобное состояние она испытала, пожалуй, один-единственный раз в своей жизни — в первую брачную ночь. Тогда, помнится, так же кружилась голова, замирало сердце и чуть-чуть вроде как подташнивало. И этому своему состоянию она лишь недавно нашла объяснение: оказывается, и счастье пьянит. И тогда она была пьяна от счастья. Но сейчас... что же с ней происходит сейчас... Отчего она сейчас-то опьянела? От вселенской чистоты? От свежего, дождем очищенного воздуха? Может быть... Может быть... Иначе почему же у нее, как тогда, приятно кружится голова и замирает сердце? Мириады дождевых капель, сливаясь, вдруг обернулись перед ее отуманенным взором безбрежным морем. Упругие струи, сбиваясь, хлестали ее слева и справа, снизу и сверху и мерещились неотвратимо надвигающимся потопом. Сейчас, через мгновение, неукротимый поток подхватит и ее, как щепку, как высох-

шую камышинку, как беспомощно сучащего лапками черного жучка, как яичную скорлупу, как разбухший окурок, как пустую спичечную коробку, и понесет, закружив в воронках, неведомо куда. Разве удержишься перед неистовым напором этого грохочущего, ревущего, гудящего, хлыскающего, плескающего, все сокрушающего и сметающего на своем пути водопада? Нет, не удержится, не устоит на своих ногах. Через миг-другой и ее щепкой затянет в этот дикий круговорот и понесет вместе со всем многоликим мелким мусором. Кто ее спасет от грязно-мутного потока, свирепо скачущего по исхлестанной ливнем земле? Во всем ее теле медленно нарастала дрожь. Прозрачные дождинки, резко скакавшие по поверхности брезентового плаща, вдруг тоже чего-то испугались и торопливо отскакивали прочь, тотчас исчезая в стремительных ручьях у ног. И ей хотелось, как эти дождинки, бежать, бежать куда-нибудь без оглядки — но не могла; и ей хотелось изо всех сил сопротивляться, противостоять этой дикой необузданной стихии — и тоже не смогла. И когда уже, смирившись со своим бессилием, она... Тут кто-то крепко схватил ее под локоть. В следующее мгновение грубо и властно сграбастал сзади. Кто это? Что это? Человек или селевой поток? Она не могла этого сразу понять и лишь покорно подчинилась неведомой силе. А она, властная сила, внесла, втолкнула ее в теплое нутро черной «Волги», сверкавшей зеркально гладкими боками под упругими струями ливня. Опрокинув ее навзничь на разложенные мягкие сиденья, все та же неведомая сила все увереннее подчиняла ее, подминала, обдавая жаром, от которого растекалась по телу истома, сами по себе закрывались глаза и мутилось сознание. Чтобы избавиться от головокружения и накатывающейся тошноты, она сильнее зарывалась лицом в теплые объятия. Где-то снизу, сбоку толчками обжег ее жар, хлынул к груди, обдавал, захватывал ее всю. И она вдруг поняла каждой клеточкой своего разомлевшего тела, что именно этого жаждала ее истосковавшаяся душа... что плоть ее с восторгом откликнулась на этот горячий зов, на этот все сильнее распаляющийся жар... и ничего не надо, ничего, ничего, ничего ей больше не надо... лишь бы не угас этот жар, не лишился он своей испепеляющей силы, не оставил ее одну, наедине с опостылевшим зябким ознобом в теле. И поэтому она помимо воли, уже совсем не помня себя, страстно потянулась навстречу этому желанному огню. И вдруг в этой сладостной беспросветной тьме что-то ослепительно блеснуло и вслед за этим обрушился страшный грохот, от которого вздрогнула машина.

защищавшая их от обвального черного ливня. Она на мгновение открыла глаза и увидела чью-то мокрую распаленную грудь, еще сильнее придавившую ее, будто норовила задушить ее в своем неистовстве. Хотя ей и трудно было дышать, но она еще с большим упоением уткнулась в эту сильную, самовластную грудь. И тут опять блеснуло, высветит гигантской вспышкой серую безотрадную мглу, и от жуткого грохота небо будто раскололось. И в это мгновение подчинившая ее всецело своей воле неотвратимая сила завладела ею грубо и решительно, будто разрывая ее онемевшую от сладкой боли плоть. И она словно сквозь завесу услышала странный звук — то ли плач, то ли задушенный смех, и самым странным было то, что это был ее голос. Она крепко-крепко зажмурила глаза и поплыла куда-то на мерных волнах невыносимого упоения. В ней погасло ощущение времени, будто провалилась в забытье. И когда снова, с усилием, открыла глаза, то с удивлением заметила: дождь перестал, сумерки сгустились, веяло сыростью и прохладой. Она вся сжалась и вновь прильнула к той спасительной, горячей груди, ища забвения. Через некоторое время, придя в себя, она опять приоткрыла отяжелевшие веки и еще больше удивилась. На небе роились, перемигивались омытые дождем звезды. Откуда-то слабыми толчками налетел бодрящий ветерок. Откуда-то струились дурманящие запахи. Где-то упоенно щебетала, выпевала что-то горная птаха. Еще где-то, должно быть в низине, непристойно раскваканись лягушки. Звезды в вышине на мгновение настороженно застывали, вслушивались, силясь понять, откуда доносился этот неуемный лягушачий хор. Ночь насупилась. Чуть поодаль призрачно темнела машина. То ли от жутковатого мрака вокруг, то ли от ночной прохлады Зухра вздрогнула, съежилась. Осторожно заворочалась, ища надежной защиты и тепла. И, словно отзываясь на ее безмолвный зов, все та же горячая, мускулистая грудь тотчас склонилась над ней, затмевая мерцавшие звезды на небе. В эту ночь она безропотно покорилась желаниям этой горячей, неутомимой груди.

Утро выдалось ясным, пышным. Проснулись они, когда уже солнце поднялось над горизонтом на длину лошадиных пут. Обильная роса на траве успела высохнуть. Когда он поднял с земли брезентовый плащ и набросил его на плечи, Зухра, увидев мокрые грязные разводья под лопатками, вспыхнула. Да-а... что было — то было. «Ах, как летит, однако... (сказать «жизнь» было выше ее сил) времечко...» — вздыхала она, спустя годы вспоминая ту славную пору.

Как она только раньше не замечала такого чуда! Все вокруг казалось ей сейчас чистым-чистым, без единого пятнышка, и белым-бело, будто выпал пушистый снежок. И посредине этого белого царства находилась она. Теплая, приятная волна словно окатывала, лаская, все ее успокоившееся, удовлетворенное тело. Мелкие, невидимые твари, еще недавно ползавшие по ней, покусывавшие, покалывающие тысячью иголок, наконец присмирели, утихомирились. Но как только она увидела измазанный глиной грубый брезентовый плащ, на спине, между лопатками, тотчас начинало зудеть, будто притаился там большой рыжий мураш.

Потом они сели в машину. И долго кружили, петляли по тропинкам, по бездорожью, по оврагам-холмам, пока выбирались на широкое шоссе. Тут уж машина понеслась во всю свою прыть. Зухра, устало откинувшись на спинку переднего сиденья, молчала, а жжение между лопатками так и не отпускало ее: рыжий мураш копошился там всласть, чувствуя полную свою безопасность.

Тугой ветер бил в открытое окно. Густая шерстка на крупных, сильных руках, стиснувших руль, колыхалась. Время от времени тяжелая, обнаженная по локоть правая рука уверенно обхватывала шею Зухры, притягивала к крепкой, горячей груди, и каждый раз чудилось, будто еще один крохотный холодный мурашик, переползая по волосатой руке к ней через вырез платья, быстро-быстро перебирался, присоединялся к тому, что затаился на спине между лопатками.

Серая лента асфальта разматывалась бесконечно. И, казалось, не будет ей конца: она тянулась от перевала к перевалу. Машина скользила по ней как одержимая, и ветер, врываясь в открытое окно, гудел монотонно и заунывно на одной предельной ноте. И еще он беспрестанно шевелил шерсть на мускулистых руках, как бы подчеркивая их грозную и властную силу, а правая рука всю дорогу то и дело обвивала ее белую нежную шею. И назойливых, голодных, бесцеремонных муравьев становилось все больше и больше, и расползались они по всему телу, причиняя нестерпимый зуд.

Ехали долго. Город будто упрямо удалялся от них. Наконец-то показались дома на окраине. Рыжие мураши обжигали, покусывали ее все нещадней, иногда они жалили, словно овод. Свербило так, что не было спасу. Особенно рьяно закопошились мураши, когда машина сбавила скорость, начала плутать по кривым окраинным улочкам и прохожие, мерещилось, с любопытством косились на них.

Еще через некоторое время машина вывернула на проспект, упирающийся в горы. Наконец резко тормознула у особняка за оградой. Мохнатая рука в который раз обвила ее шею, сжала, как в тисках голову, и мясистые упругие губы, истомившие ее за ночь неутоляемой страстью, жадно впились в ее распухшие, изболевшие губы, обжигая ее сладким и гибельным огнем.

Ух, наконец-то отпустил...

И только теперь она отчетливо осознала вдруг, что переступила невзначай ту, казавшуюся ей столь страшной, будто черная пропасть, грань, одни только думы о которой еще недавно ввергали ее в ужас и смятение. И до чего все это оказалось просто! Странно: чего она столько времени боялась? Ну да ладно, о том она успеет подумать спокойно потом, когда уляжется в свою привычную, чистую постель. А пока у нее одна забота — как можно скорее избавиться от невидимых мурашей, причиняющих ей невыносимый зуд во всем теле. Надо же, даже в глазах затуманилось и зачесалось.

А вот тебе и сюрприз! На лавочке у ворот сидел неуклюжий с виду крупный лысый мужчина с черными усами. Увидев ее, поднес большой палец к ноздрям и гулко, будто в бочку, чихнул несколько раз кряду. Потом неторопливо сунул пузырек из-под пенициллина, в котором хранил нюхательный табак, в задний кармашек просторных брюк. Когда вскочил, едва не запутался в полах длинного чапана. Чуть поодаль стояла невзрачная серолицая женщина в длинном, до пят, нестром платье, поверх которого надела длинный, явно не по росту, мешковатый серый пиджак. Вся грудь женщины была увешана бусами. Судя по всему, многодетная...

— А-а... если не ошибаюсь, ты, наверное, Зухра? — сказал мужчина, по-аульному простодушно и многословно здороваясь.

— Здравствуйте...— едва пошевелила губами женщина.

Зухра ответила сдержанно и вяло. Отперла дверь. Черноусый, крякнув, взвалил что-то на плечи. Зухра прошла — каблучками цок-цок; те незнакомые последовали за ней — шлеп-шлеп. Зухра замешкалась в прихожей, сняла обувь. Те двое остановились, войдя лишь в гостевую комнату. Лысый вертела, раздумывая, куда бы скинуть с плеч громоздкий полосатый мешок, постоял немного в растерянности, потом неуклюже прислонил его к полированному шифоньеру в углу. После этого, шумно передохнув, отряхнул ладони и плюхнулся на венский стул возле сверкающего,

как зеркало, стола. К счастью, стул хоть и затрещал, но выдержал, не развалился. Серолицая женщина скромно опустилась на краешек табуретки возле двери. Черноусый развалился вольно, будто зашел в отчий дом, а серолицая вся сжалась, согнулась, словно не терпелось ей скорее уйти отсюда.

Молчали все трое. Спросить, кто они, гости, и откуда, Зухра не решилась. Отвечать, когда ни о чем не спрашивают, гости не решались. Вот и продолжалась, неизвестно сколько, эта тяжкая молчанка. Первой все же не выдержала хозяйка. Схватив медный самовар, вышла во двор. И снова вошла в дом лишь тогда, когда самовар начал высвистывать свою немудрену песенку, как бы вопрошая: «Вы что, милые люди, языки проглотили или обет молчания друг другу дали?»

Принялись так же молча пить чай. Верзила сопел, отдувался и шумно водил кадыком. Женщина, сжавшись в комок, точно напуганная птица, осторожно касалась губами краешка чашки и причмокивала. Оба сразу же обильно вспотели. Женщина без конца потягивала-пошмыгивала плоским носом и прикладывала ко лбу широченные рукава ярко-пестрого платья. А мужчина, словно не представляя, каким образом можно остановить два темных ручейка, струившихся по скуластому лицу, время от времени искоса взглядывал на смазливую молодку, учтиво разливавшую и подававшую чай. Если степняк искони привык обходиться без носового платка, то горожанке невдомек подать полотенце гостю, обливавшемуся потом. Однако усатого детину, широко и вольно расположившегося за столом, это обстоятельство не особенно обескуражило: он схватил со спинки свободного стула чистое накрахмаленное полотенце, с яростью провел им раза два по взопревшим, как после бани, лицу и голове и, смятое, потемневшее, будто тряпку, швырнул рядом.

Выхлебав самовар, супруги уединились в затишье за домом и о чем-то тихо переговаривались.

Зухра не находила себе места от невыносимого зуда — казалось, вся кожа горела. А тут еще приковал внимание и раздражал ее пыльный полосатый мешок, прислоненный к полированному темно-коричневому шифоньеру. Как неуместен был этот мешок в чистой, будто вылизанной, гостевой комнате! И что это за люди, так некстати и бесцеремонно ввалившиеся к ней?!

Весь день гости и хозяйка настороженно поглядывали

друг на друга. А день, как нарочно, не убывал. Еле-еле дождались вечера. Еле доспело, наконец, и мясо в котле. Так же, сопя и отдуваясь, управились и с вечерней трапезой. Усатый верзила, сыто рыгнув, принялся ковыряться в зубах. Его маленькая серолицая жена поминутно взглядывала на мужа, будто боялась, что ее могут в любое мгновенье невесть куда уволочь. Но и это еще ничего. Зухра предоставила гостям спальню, где по стенкам стояли две кровати. Мужчина сразу же плюхнулся на ту, что стояла у правой стенки, а женщина, словно стесняясь собственной тени, что-то конопшилась и конопшилась, пока не угас свет во всем доме, а потом, не замечая пустующей кровати у противоположной стенки, тоже шмякнулась рядом с мужем, помянув раза два всевышнего. Бедная кровать застонала, едва не касаясь податливой сеткой пола. Если гостья понятия не имела о привычке замужних горожанок спать на отдельной кровати, то хозяйка не имела представления о том, что истая степнячка считает предосудительным не то что спать отдельно от живого мужа, но даже класть под голову отдельную подушку. Зухре, наоборот, показалось неприличным, что серолицая долгополая баба развалилась в гостях рядом с мужем, будто боясь, что кто-то, воспользовавшись темнотой, завладеет им. А особенно раздражало то, что супруги, едва коснувшись головами подушки, опять принялись шептаться. И опять серолицая зашлепала, зачмокала губами так же, как и во время чаепития. Что за отвратительная манера! Наконец-то чмоканье прекратилось. Но тут почти без паузы раздался могучий храп усатого верзилы — со стонами, с замиранием, с дрожью и перепадами. Время от времени храп ослабевал, куда-то проваливался, а то и вовсе исчезал, обрывался, но вслед за недолгим напряженным затишьем взрывался вдруг такой натужной силой, что, казалось, сотрясался, вздрагивал дом, срубленный из сосновых бревен. Можно было подумать, что из предгорных зарослей выбралась стая диких кабанов и в неистовом рвении подкапывает особняк. Перед глазами Зухры неотвязчиво замельтешили уродливые видения. Она подоткнула со всех сторон одеяло, укрылась с головой, но тщетно: от могутного храпа не было никакого спасу. А серолицей хоть бы что: лежит себе посапывает и, кажется, даже во сне губами причмокивает. Правда, изредка и она принималась яростно скрипеть зубами, и тогда Зухре мерещилось, будто дом кишмя кишит бог весть какими тварями. Раздражал и стойкий затхлый запах, шедший от громоздких растоптанных саног, небрежно брошенных у порога. Время от времени

вспарывали ночную тишь, сотрясая небо, и самолеты, пролетавшие над крышей. Дескать, ладно уж, какая разница, все равно тебе уж нынче не уснуть...

Да-а, сон не шел. До чего же мнителен и привередлив человек! Скотина или зверь в таких случаях спят себе безмятежно и в тесноте, не обращая внимания на звуки и запахи. А человеку подавай отдельную келью, свою постель, тишину и прочие удобства. Это разве жизнь — в тесноте и в грязи?!

Так и промаялась Зухра всю ночь не смыкая глаз.

За утренним чаем не засиживались, как вчера: пили в спешке. И потому, должно быть, пот с лица гостей не струился так обильно, как накануне. Едва убрали со стола, как супруги встали. Сначала несколько растерянно переглянулись, потом оба разом уставились на громоздкий полосатый мешок, с каменной неподвижностью прислонившийся к боку сверкающего шифоньера. Наконец, еще немного потоптавшись, гости вышли — чем-то явно смущенные. Зухра выглянула в окно: серолицая, поблескивая стальным зубом, что-то быстро-быстро выговаривала мужу, а он, такой долговязый, громадный, еще вчера точно подпиравший головой потолок, вдруг отчего-то страшно сник, согнулся весь и ступал неуверенно, заплетаясь ногами.

«Кто же они такие? Что от меня хотели?» — впервые всерьез задумалась Зухра. Среди ее близких и знакомых, насколько ей известно, таких простодыр вроде не было. Может, это были какие-нибудь родичи покойного Жанибека, которых она и в глаза не видела? Вполне может быть... Однако строить догадки и раздумывать об этом у нее сейчас не было ни желания, ни сил: невидимые мураши копошились, бегали в ванную, лихорадочно сбросила с себя все и встала под горячую упругую струю душа. И тут только — боже! — нестерпимый зуд отпустил ее, будто все эти гадкие твари, терзавшие ее со вчерашнего дня, разом разбежались в страхе. Что-то сразу улеглось в душе, успокоилось, и вновь вернулось желанное облегчение. А она все яростнее скребла себя, все свое обмякшее вдруг тело, вновь и вновь намыливаясь душистым розовым мылом. И вместе с хлопьями пены, казалось, с нее сходила, смывалась некая липкая нечисть. Ух, как хорошо принадлежать самой себе! Какое наслаждение — быть иногда одной, совсем-совсем одной. Зоркоглазое лихо по имени стыд, смущавшее ее со вчерашнего дня, упорно навевавшее сомнения и ощущение какой-то вины, вдруг

оставило ее, куда-то ушло, упряталось, и сразу же с ее души свалился неимоверный груз.

Обернувшись широким пушистым полотенцем, она вышла из ванной. Задернула плотные оконные шторы. Плюхнулась в постель. Разморенное, распаренное тело смутно белело в сумраке, испытывая блаженство оттого, что избавилось наконец от ненасытных невидимых тварей, терзавших ее плоть со вчерашнего дня. И все же неясная тревога не покидала ее. Что это? Какая тревога? Она и сама не могла понять. Одно было очевидным: нет большего удовольствия, чем оставаться наедине с самой собой. В присутствии посторонних человек — что ни говори — не чувствует себя свободным: начинает смущаться, зажимать себя. Даже самим собой, собственным телом не распоряжается.

Зухра всегда чувствовала, что хороша собой. Чувствовала по долгим взглядам, всюду преследовавшим ее. А теперь воочию убеждалась сама в том, что не просто хороша, а поистине красавица. Какие у нее, оказывается, стройные ноги! Щиколотки тонкие, стопа маленькая, пальцы ног будто выточены. Икры полные, упругие, покрыты ровным смугломатовым загаром. В этих юных гибких мышцах, играющих под нежной чистой кожей, ощущается задорная сила и неуемная жажда движения. И груди у нее тугие, полные, неутомимо вздымаются и опускаются, дышат трепетно, радостно. Надо же... еще недавно испытывала такую разбитость, усталость во всем теле, что думала: провалится в забытье, едва коснется головой подушки. А теперь тело ее будто ожило, наполнялось смутным, но сладостным желанием, и жаждало оно не покоя, не тишины, нет, нет... а некой силы, решимости, воодушевляющей, одухотворяющей эту красоту. Да, да, эти круглые горячие бедра, эти упругие трепетные груди, тонкий сильный стан, гладкая мягкая шея, покатые плечи, по которым рассыпались волнистые черные волосы, испытывали сейчас неодолимую тоску по жарким, нетерпеливым ласкам, по грубоватым, причиняющим сладостную боль движениям, таким, как в прошлую ночь, как на рассвете под открытым небом. Этому здоровому, налитому молодой силой телу нужны не сонная тишь, не разморенная благость, а яростная сила, бурная страсть, живая тяжесть, от которых вспыхивает в жилах кровь и немеет в самозабвении истомленная плоть. Ей будто только сейчас открылось то неведомое, что столько времени ее тяготило.

Ей вдруг померещилось, что кто-то в сумеречной комнате подслушал ее затаенные мысли и ядовито хмыкнул.

Точно пламя полыхнуло по ее обнаженному телу. Она вскочила с постели. Отшвырнула мохатое полотенце. В круглом зеркале напротив мелькнуло отражение. Она с удивлением застыла перед ним. Впервые она видела себя такой. И почувствовала тотчас, как вспыхнули ее щеки. Она смущенно отвернулась. В раме за стеклом краешком губ желчно ухмылялся Жанибек. Она сама не заметила, как сорвала со стены портрет и сунула его под ворох белья в шкаф. Неясная тревога, преследовавшая ее все это время, тут же развеялась, словно потухла сразу. Зухра, успокоенная, вновь бросилась в постель и тотчас уснула. И проспала как убитая до утра.

Все-таки мудреная штука — жизнь... Вдруг подхватит, закружит, понесет тебя бог весть куда. И не успеешь сообразить толком, что к чему... С некоторых пор после обеда на Зухру ни с того ни с сего наползала непъяснимая скука. В неприемные дни ее начальник во вторую половину дня или отправлялся в вышестоящие инстанции, или, собрав своих подчиненных, проводил у себя же бесконечные совещания. В эти часы Зухра не находила себе места. Должно быть, оттого, что в ее услугах никто не нуждался, а в обычно оживленной приемной не оказывалось ни одной живой души, на нее нападало вдруг сонливое состояние, и она только потягивалась и без конца зевала. И чтобы только, не дай бог, не задремать за своим столиком, она нехотя подходила к широкому, во всю стену, окну и глазела на улицу. Глядела на то, как и во что одеты женщины. Потом любовалась легкими, сверкающими машинами, то и дело подкатывавшими к парадному подъезду импозантного здания, где располагалось ее учреждение. Едва машины с легким шуршанием шин останавливались у входа, из них стремительно выныривали озабоченные деловые мужчины и тотчас исчезали за дверью. А те, что, уже закончив дела, выходили из здания, ступали важно, степенно и застывали на нижней гранитной ступеньке, словно боясь замочить штанину, и продолжали стоять до тех пор, пока машина не подруливала к ним вплотную. И когда шофер почтительно распахивал дверцу, они, эти деловые мужчины, с подчеркнутым достоинством усаживали себя на сиденье, успевая при этом обязательно оглянуться на ряд окон. Вон подкатила, сверкая начищенными боками, еще одна черная «Волга». Сейчас из нее выскочит, как заполошный, тщательно отутюженный мужчина с ягнячьим брюшком и, энергично стуча каблуками по гранитным ступенькам, юркнет в дверь... Нет... вот тебе раз! Смотри-ка... совсем не так. Видный, представительный мужчина с седыми висками

распахнул дверцу черной «Волги» и не выскочил, как все, а повременил, посидел, как бы раздумывая, выйти или нет. Потом все же вышел, да так медленно, потягиваясь, будто делал кому-то одолжение. Потом с явным небрежением повел взглядом вдоль окон на всех этажах, как бы желая удостовериться, глазеет ли кто на него. И только после этого направился к входу. Да не суетливой побежкой, как другие, а вразвалку, вальяжно, четко и крепко ступая по ступенькам. Казалось, каждый шаг его отзывался эхом. Вот он идет по коридору. Вот остановился за дверью. Потом рванул ее резко, переступил порог, зыркнул на нее и расплылся в улыбке, обе руки раскинул, не скрывая, как иные, своего восхищения.

— Уах, истинная пери!

И при этом звучно щелкнул языком.

«Вот это мужчина!» — восторженно подумала она, невольно улыбаясь в ответ.

Он уверенно вступил в приемную, развалился в кресле напротив. Из кармана дорогого, с иголочки, костюма достал изящную, с золотым ободком, роговую шакшу — табакерку. Медленно насыпал на ладонь щепоть кудрявистого темно-зеленого насыбая, заложил привычным движением за губу. Потом, вращая зрачками больших, как плошки, глаз, принялся ее бесцеремонно разглядывать. Взгляд этот завораживал, пронизывал насквозь. И нос был крупный, с горбинкой, с нервными ноздрями. Волосы густые, жесткие, тщательно приглаженные на висках, с заметной проседью. Казалось, попробуй только перечить ему — эти жесткие волосы тотчас ощетинятся, точно иголки ежа. Она смутилась, опустила глаза. Но чувствовала, как дерзкий взгляд мужчины властно ощупывал ее, медленно скользя по ее лицу, по шее, по приоткрытой груди, по обнаженным рукам, по талии. После этого он вновь вперил цепкий взгляд в ее полные губы и круглый подбородок.

Выждав долгую паузу, он мягко спросил:

— Доченька, Кузембаев у себя?

— У себя.

— Тогда доложи ему, милая, мол, профессор Себепбаев просит принять его.

Она вышла из-за стола, привычно и стремительно направилась к двери кабинета, ощущая на себе тот опытный, пытливый взгляд, заскользивший теперь от талии ниже, ниже.

Выходя от Кузембаева, Себепбаев не стал задерживаться.

Только еще раз оглядел ее, как бы разом вобрав ее в орбиту своих больших круглых глаз, и бросил на прощание:

— Спасибо!

Спустя неделю Себенбаев заехал вновь. На этот раз он сразу прошел в кабинет начальника, а когда вскоре вышел от него, то как бы в раздумье остановился возле ее столика. Остановился, молча уставился на нее, с чувством сострадания покачал головой. В тот раз в уголках его чутких, выразительных губ играла явная усмешка, теперь они выражали искреннее сочувствие, жалость. В большие, блестящие, чуть-чуть насмешливые глаза она не осмелилась заглянуть. И сама не знала почему. Будто опасалась чего-то.

Густой, но мягкий, проникновенный голос точно обволакивал ее:

— Видно, слишком мало бываете на свежем воздухе. Вон какая бледная! Эдак не мудрено лишиться драгоценного здоровья. Шутка ли: целыми днями томиться в затхлом помещении, дышать отравленным воздухом. И дома небось сидите как взаперти. Нет, нет, так не годится. Решительно не годится! Я думаю, вы и фазанов-то живых в жизни не видели. Не так ли? Ну, вот... я так и знал. Живя, можно сказать, в фазаньем царстве, вы до сих пор не видели райской птицы, и после этого как вы сможете утверждать на том свете, что вы тоже некогда жили на земле?! Плохо, голубушка, совсем плохо. Признайтесь: хотите видеть фазанов? Да? Значит, завтра же пришлю машину. Пожертвуйте одним днем, полюбуйтесь на фазанов, подышите горным воздухом.

Пока она решала, что сказать, пока осмелилась поднять взор, Себенбаев уже успел выйти. И когда тяжелая дубовая дверь глухо стукнула о косяк, Зухра будто очнулась, почувствовав странное головокружение и тесненье в груди, а перед глазами замелькали-замельтешили алые, синие, зеленые отблески — причудливое соцветие пышных фазаньих перьев...

На следующий день к концу работы под окно ее учреждения бесшумно подкатила все та же блестящая «Волга». Зухра, сдерживая волнение, пошла навстречу. За рулем сидел сам Себенбаев.

В тот день, ясное дело, Зухра не то что живого фазана — даже тени его так и не увидела.

Однако именно с этого дня она словно разом избавилась от проклятой робости и отныне уже не стала, как прежде, прятать от людей глаза. Наоборот, искоса пытливо вглядывалась в чужие лица. Особенное удовольствие доставляло ей

оценивающе разглядывать мужчин. А они действительно почти все без исключения жадно пялили на нее глаза, словно выпытывали что-то. Вон стоит один грамотей у киоска, уткнулся чуть свет в газету, но стоило Зухре чуть покоситься в его сторону, как тотчас уставился на нее, словно истукан. Казалось, напрочь забыл о газете в руках. Даже если там будет извещение о смерти родного отца, и то, пожалуй, сейчас не заметит. Еще один лопоухий на стоянке так и застыл с разинутым ртом. Она слегка улыбнулась было ему — лопоухий весь залился краской смущения. А тот сероглазый издалека на нее нацелился. Она, обернувшись, полоснула по нему взглядом — бедняга тотчас побагровел шеей и поспешно отвернулся.

Оказывается, красивой женщине совсем не трудно определять истинную суть мужчин. Для этого вовсе не обязательно прилагать какие-то усилия: достаточно чуть поиграть глазами да разок-другой улыбнуться лишь краешком губ. И уже с помощью этих примитивных, ничего не стоящих уловок можно безошибочно узнать, что за душой у того или иного представителя петушиного рода. Если он от твоей улыбки вспыхивает, как красная девица, и опускает глаза долу — значит, робкий. Такой тебя преследовать не станет, пока сама его за ручку не поведешь. Если в ответ на твою улыбку у мужчины расплываются губищи до ушей и он тотчас приударит за тобой, а когда чуть нахмуришься, сразу кинется в кусты — значит, трус. От такого проку не будет. Если же твою безобидную улыбку расценит как некий намек и не отстанет даже когда начинаешь хмуриться — значит, нахал, воображала. От такого хлопот не оберешься. Если же сразу клюнет на твою улыбку и потом неотступно путается под ногами, несмотря ни на что,— значит, зануда, прилипала. У таких и чувства липкие, как рыбья слизь, а любовь — как у пиявок: присосется — не оторвешь. Если же от твоей улыбки весь расцветет, а когда хмуришься — виновато заглядывает тебе в глаза и готов расшибиться в лепешку, когда ты снизойдешь до благосклонности,— значит, тюфяк, рохля, которого можно держать на длинном поводке и помыкать им, как душе твоей заблагорассудится. Такие любят преданно, без оглядки, покорно трусят на поводу и способны ради обожаемой женщины жертвовать чем угодно, даже собственной головой.

Зухра вскоре наловчилась точно определять любого мужчину, едва взглянув на него. Пылкий, вспыхивающий от первого взгляда... шумный, азартный, но бестолковый, как

ветер-пустодуй... скользкий, но занудливый и прилипчивый, как репей... сутяга, преследующий во всем гадкую корысть... пройдоха, готовый улизнуть при первой же опасности... сластена, падкий на дармовщинку... щеголь, безнадежно влюбленный в одного себя... размазня, способный лишь наводить смертную скуку... О аллах, до чего же разновиден этот самый так называемый сильный пол!

И только двоих из знакомых ей мужчин Зухра никак не могла отнести ни к одной из этих многочисленных разновидностей — Себенбаева и Кузембаева. Они стояли особняком. Не подходили ни под какую классификацию. При одном только виде Себенбаева Зухра тотчас лишалась дара распознавать мужчин. Более того, она будто лишалась воли и не всегда даже решалась смотреть ему в лицо. Он как бы подавлял ее, и неизвестно, что тому было причиной — то ли большая разница в возрасте, то ли еще бóльшая, как небо и земля, разница в служебном положении, то ли то, что при первом же свидании повела себя слишком послушно, покорно, безотказно исполняя все его желания. Она только и умела что удивляться каждой его выходке, каждому его поступку. Он вел себя совершенно раскованно, никогда, нигде не смущался посторонних взглядов. Случалось, на многолюдных собраниях он вдруг обращал на нее внимание и во всеуслышание подзывал к себе:

— А-а, дочка... подойди-ка ко мне.

А потом откровенно любовался ею и при этом загадочно ухмылялся. И когда он смотрел так долго и цепко, ей чудилось, что неприступная скала женской гордости в ней безнадежно рушилась, рассыпалась на обломки.

— Ну что, сестренка,— спрашивал он то и дело,— не разболелась твоя головка от нашего шума, а?

А в первый же перерыв, бывало, говорил:

— Милая Зухражан, у меня срочное дело. Будь любезна, проводи меня.

И таким образом посреди белого дня на глазах у всех увозил ее на своей машине. То, что разговор, начинавшийся с невинного обращения «дочка», кончался упоминанием ее имени вслух, означало, что Себенбаев и на этот раз непременно добьется своей цели.

И к ней домой он наведывался открыто, без оглядки, в любое время дня. При этом и машину свою не загонял во двор, а оставлял на улице, прямо под окнами особняка.

Себенбаев был своеобычен во всем, даже в ласках. На людях он обращался с ней как с малым ребенком, го-

ворил нежно, ласково, неизменно называя ее дочкой, сестричкой, душенькой, а наедине выражался грубовато, двусмысленно, никак нельзя было понять, то ли превозносит ее, то ли насмехается над ней. И разговоры затевал такие, что у Зухры от смущения и неожиданности невольно вспыхивали уши.

Слушая его, она настолько забывалась, что не помнила, как и что делает. Свидания проходили как во сне. Она приходила в себя лишь тогда, когда звякала щеколда наружной двери и удалялись знакомые неторопливые и твердые шаги. А потом вдруг замечала, что черная сверкающая «Волга» под окном исчезла. И еще с досадой чувствовала, что вместо блаженной тяжести, дарующей ей упоение, остался в ее объятиях бесплотный воздух. И тогда она сжималась вся, и грудь ее пронзала острая боль, будто, проникнув внутрь, царапала ее там дикая голодная кошка. Глаза тотчас становились влажными от слез. И она понимала, что обида, замешенная на соленых слезах, оборачивается горькой досадой, гневом и яростью. И про себя принимала она тогда твердое решение не обращать на него отныне никакого внимания, не слушать его вкрадчивых речей, не отзываться на его самоуверенные ласки. Но проходил день-другой, и при первой же встрече она сама не замечала, какой послушной и покорной становилась в его объятиях.

И самое любопытное: никто ее не осуждал за связь с Себепбаевым, наоборот, может, только завидовали. Мужчины из его окружения были с ней предупредительны и приветливы. При встрече спрашивали про ее здоровье и настроение. Женщины уже в летах, но из тех, что в молодости слыли красавицами, случалось, при Зухре томно закатывали глаза и вздыхали: «Ах, Себепбаев — джигит из джигитов! Султан!» От этих слов сердце Зухры почему-то неприятно покалывало, однако, заметив на себе колючие взгляды бывших красоток, ударившихся ныне в науку, она испытывала нечто похожее на мстительное снисхождение. А Себепбаев в подобных случаях делал вид, что ничего не знает и не замечает. Он был неистощим на выдумки, которыми всегда и всюду поражал воображение Зухры.

Кузембаев же ничуть не менялся. При виде Зухры по-прежнему краснел, вспыхивал до корней все заметнее редеющих волос. И, казалось, становился еще более лопоухим. Маленькие, как пуговки, серые глазки тотчас будто превращались в две прозрачные капли, которые вот-вот выкатятся из глазниц. Утром, направляясь в свой кабинет,

он робко взглядывал на нее и застывал на мгновенье у двери. Вечером, к концу работы, он, выходя из кабинета, так же смущенно взглядывал на нее и так же на мгновение застывал у ее стола. Когда же она в течение дня входила к нему, чтобы доложить, кто просится на прием, он по обыкновению каждый раз заливался краской и отчего-то вскакивал с места. И говорил всегда тихо, монотонно, чуточку растягивая слова, словно постоянно посасывал леденец.

Каждый раз при виде своего начальника Зухра испытывала нечто похожее на жалость. А за глаза, изредка вспоминая его, откровенно смеялась. Однако в своей классификации мужчин не могла его отнести ни к одному разряду, так же, как и Себепбаева. А возможно, все та же неосознанная женская жалость не позволяла обнаруживать в нем ни особых достоинств, ни особых изъянов.

И все же однажды этот недотепистый Кузембаев ее сильно удивил. Было это в воскресный день. Около одиннадцати утра под окном ее особняка почти бесшумно остановилась такая же черная и блестящая, как у Себепбаева, «Волга». Зухра насторожилась, прильнула к окну. И вот тебе раз! Распахнулась передняя дверь, и из машины вылез не Себепбаев, а Кузембаев. Он открыл заднюю дверцу, с усилием выволок огромный, из грубой кожи, шершавый чемодан; набросил на согнутую в локте руку серый брезентовый плащ, потом что-то сказал шоферу, и «Волга» тотчас отъехала.

А Кузембаев решительно направился к ее дому. Ступал он уверенно, твердо. Редкие, как ковыль, волосы едва прикрывали одну сторону лба.

Скрипнули ворота. Послышался стук в наружную дверь. У Зухры пересохло в горле. Она не представляла, как ей быть. Кузембаев, не дожидаясь ответа, рванул дверь, вошел. Едва переступив порог гостевой комнаты, поставил возле двери чемодан, бросил на него плащ, поверх плаща кинул шляпу. Потом опустился на крайний стул в длинном ряду вдоль стенки. Откинул со лба жидкую бесцветную прядь. Поправил галстук, привычным движением провел пальцами по вороту сорочки. Стряхнул с рукава невидимую пылинку. Он всегда был опрятен, аккуратен. И ей, Зухре, нравилась эта черта в мужчинах. Может, именно эта трогательная и наивная аккуратность Кузембаева была причиной тому, что разбиравший ее при его виде смех тотчас оборачивался состраданием к нему.

Кузембаев посмотрел ей прямо в глаза. На висках его от смущения выступили пятна. Он откашлялся. Голос прозвучал ровно, сдержанно.

— Зухра... я сегодня принял твердое решение, к которому готовился давно. Ты знаешь, что нравилась мне всегда. Но так уж получилось, что вышла ты за Жанибека. Я смирился, не встал на вашем пути. Думаю, покойник меня простит. Я пришел к тебе навсегда. И готов понести любое наказание за этот свой поступок. Для меня важно сейчас лишь одно: твое согласие.

И, выпалив все это разом, умолк выжидающе. Зухра все расслышала. Она впервые в жизни слышала из уст тихони Кузембаева столь длинную речь и удивилась про себя. Однако мало что поняла. Сначала казалось странным, что Кузембаев так долго и связно говорит, а теперь казалось странным, что он вдруг запнулся, точно воды в рот набрал, и застыл в ожидании ее ответа. Что означает его неожиданный визит? С какой стати приволок с собой этот громоздкий чемодан? При чем тут плащ, шляпа?

Смешон все-таки этот Кузембаев. Все время какие-то загадки загадывает. С какой стати, живя с ней в одном городе, он заявился нежданно-негаданно со своим чемоданом, будто из командировки приехал в родной дом? Или — точнее — выбрался в командировку. Ох и чудак... чудак! Каким был, таким и остался. Вон сидит, точно обиженный ребенок, глаз с нее не спускает. А что она ему скажет? Крохотные глазки-пуговки еще более сузились. Ей вспомнилось вдруг выражение глаз Алибека, когда он стоял у вагона и точно так же беззащитно-обиженно глядел на нее. Она через силу, вымученно улыбнулась. Почему-то ее всегда смешил преданно-беспомощный взгляд мужчин.

В сумрачной гостевой комнате, отражаясь в оконном стекле, ярко блеснул свет. Тут же резко тормознула машина. Послышались знакомые шаги. Она невольно вскочила. Кинулась к окну. И громко рассмеялась. Смеялась долго, вздрагивая плечами. Себенбаев, как всегда, был неподражаем. Из машины вышел, точно важный заморский гость. Разодетый, ухоженный, холеный. Небрежно хлопнул дверцей. Не оглядываясь, пошел, широко ступая длинными ногами, будто журавль на отмели. Открывая ворота, выплюнул насыбай, обмахнул губы платочком. Смех распирал Зухру. Она никак не могла остановиться. По лицу потекли слезы. Глаза словно застилал туман, голова кружилась. Когда рослый и уверенный в себе мужчина, по-рысьи подкрав-

шись, обнял ее сзади, она в испуге покосилась на крайний стул, на котором только что сидел, покорно дожидаясь ее ответа, тихий Кузембаев. Однако через крутое плечо властно склонявшегося над ней верзилы она, кроме недавно выбеленного потолка, ничего не увидела.

А Кузембаев с того памятного дня надолго исчез, будто в воду канул. Уже на следующий день, придя на работу, Зухра не застала своего начальника на месте. Сослуживцы, понятно, только диву давались, она — нет. О том, что Кузембаев, ни с того ни с сего оставив большой пост в столице, подался по собственному желанию к черту на кулички — на новый производственный объект в пустынной степи, люди судили-рядили по-разному. И только Зухре не было дела до этих кривотолков. Спустя месяц появился новый начальник. И опять в учреждении судачили о нем на все лады. И опять одна лишь Зухра ничему не удивилась. Так уж созданы людишки — всему удивляются, всем косточки перемывают. Ушел прежний начальник — по всем углам шу-шу-шу.. «Ах, зачем ушел Кузембаев?» Пришел новый начальник — опять повсюду гу-гу-гу: «Ах, как это ему удалось?» Будто во всем есть какая-то подоплека. Будто не существует ничего естественного, закономерного. А лично ее, Зухру, ровным счетом ничего не удивляет на этом свете, разве только выходки неуемного Себепбаева. Новый начальник с первого же дня воззрился на нее томно-сладко, точно кот на кусочек сала. Однако, наткнувшись на, должно быть, неожиданную для него неприступность смазливой секретарши, он некоторое время ходил надутый, грозно вздыбливая кустистые брови. Кто знает, сколько бы это продолжалось и чем бы вообще это кончилось, если бы однажды не заглянул к нему Себепбаев. После этого сурово топорщившиеся брови нового начальника смиренно улеглись, стали прилизанными, точь-в-точь приглаженная нежной рукой шерстка у котенка.

Отныне Зухра никого не замечала, не жаловала, кроме одного Себепбаева. Он продолжал изумлять ее изо дня в день. И изумлял до самой своей нелепой смерти. Даже мертвый и то удивлял ее. Находясь в дальней командировке, Себепбаев на многолюдной улице умудрился попасть под машину. Когда эта весть дошла до Зухры, она не поверила. Даже усмехнулась про себя: блажит Себепбаев, очередную потеху устраивает. Она была настолько уверена в этом, что и в аэропорт, куда должны были якобы доставить гроб с его телом, ехала с легким сердцем. Могучий лайнер, прилетевший из столицы, с натужным ревом, тяжело колыхаясь, вырулил к зданию

аэропорта. Долго не подавали трап, и ожидание становилось тягостным. Народу собралось немало, и все не отрываясь глядели на громадину самолет, будто чем-то подавленные. И Зухра молча смотрела в толпе, все еще не сознавая, что вокруг происходит. Наконец нескончаемой вереницей спустились пассажиры, потянулись к аэровокзалу. Встречавшие хлынули навстречу. Началась обычная толкотня. Радостные возгласы. Объятия. Поцелуи. Зухра все еще смотрела на самолет, на трап. Все уже вышли. Зияли чернотой открытые люки. И почему-то казалось, что там, в зияющей пустоте, притаился Себепбаев. Что следит он за собравшейся толпой, довольный своим розыгрышем. Что еще немного, и он выскочит оттуда, сияя победным своим видом, и кинется к ней, сграбастает в свои медвежьи объятия, не смущаясь, на глазах у всех крепко расцелует ее. Да, да, с него станется! Но вон... Люки задраили. Оба трапа одновременно медленно откатили. На бетонном поле, заставленном большими и малыми самолетами, ошалело заметался тугой ветер, цепко впиваясь в лоб, в щеки, в губы Зухры, беззастенчиво норовя залезть за пазуху. Она поежилась, торопливо подняла воротник. И тут увидела, как пять-шесть легковых машин стремительно направились к гиганту самолету. Вслед за ними подкатила черная закрытая грузовая машина. Она подрулила к брюху самолета с другой стороны и застыла. Горстка людей, выскочив из легковых машин, деловито бросилась к ней, обступила ее. Через минуту-другую грузовая машина снова тронулась, и за ней гуськом потянулись легковые. Скорбный кортеж направился через все огромное бетонное поле к крайнему его углу. Ничего не понимая, то и дело спотыкаясь, добрела Зухра до стоянки такси. Холодный ветер, проникший все же за пазуху, обжигал грудь, будто застыл там ледяным комочком.

На другой день, увидев — как ей почудилось — незнакомого человека, смиренно лежавшего в красном, окаймленном черными лентами гробу, выставленном в просторном торжественном зале, она от испуга вздрогнула. Этот странно вытянувшийся мужчина в строгом, наглухо застегнутом черном костюме и с туго завязанным галстуком ничуть не походил на Себепбаева. Тот никогда не застегивался на все пуговицы. Он никогда не одевался в черный костюм. У него и сорочка-то была всегда распахнута на груди. И вообще он питал слабость к яркой, броской одежде. Да и где это было видано, чтобы Себепбаев так напряженно, в струнку вытягивался? Он был по натуре свободен и раскован. Нет, нет, это не он. Дурит Себепбаев, опять что-то подстраивает.

Уложил кого-то вместо себя в гроб, а сам притаился где-то, прикидывается никому не известным человеком. Он просто сгинул, исчез для этой толпы, с опущенными головами бесконечной вереницей проходящей мимо гроба. Исчез он навсегда и для тех, кто в траурных одеяниях застыл на стульях рядом с покойником. И для нее, Зухры, его больше нет. Всех он, балагур и гаер, обвел вокруг пальца. Над всеми всласть потешился. Ну, в самом деле, неужели этого никто не видит? Разве Себепбаев был таким длинноголовым, как этот? Разве того осмеливался кто-нибудь ударить по лбу, как этого? Да в лицо Себепбаева и дышать никто не решался. На собраниях против него выступал всего один-единственный чудила старичок, которого никто никогда и всерьез не принимал. Наоборот, над ним всегда от души смеялись. А у этого, в гробу, виден на лбу синяк от страшного удара. Разве с Себепбаевым могло такое случиться?!

Ах, Себепбаев, Себепбаев! Как ты мог так учудить? Как ты решился покинуть свою милую душеньку Зухру? Как ей теперь быть в этом опустевшем мире? Без тебя, уверенного и властного, нетерпеливого и решительного в любви и ласках, суждено теперь ей забиться в уголок, словно зайке-сиротинушке, и обмирать от страха и одиночества. Ах ты пройдошливый, изворотливый бабий баловень! Наверняка подцепил где-то молоденькую кралю. Завел себе другую зазнобушку. Боже, отчего в толпе так много женщин в черном? Неужели они все сегодня хоронят мужей? Все в безутешной скорби смотрят, смотрят на покойника. И все они, чувствуется, были в свое время одна другой краше. Зухра ловила на себе их недобрые взгляды. Видела, как у них при этом змеились губы, а в глазах вспыхивали мстительные искорки. Ах, вон оно что! Выходит, все они ее былые соперницы. Выходит, они осуждают ее за то, что она не вырядилась в траур. Им не нравится, что она пришла на панихиду ярко разнаряженной, будто на пир. Ну и пусть! Пусть осуждают! Пусть хоть лопнут от зависти! Она ведь не верит в то, что Себепбаев умер. Не верит! А потому и не могла надеть траур Ах Себепбаев, горюшко ты мое! Пока ты был рядом, казалось, нет никого роднее, никого ближе твоей бедной Зухры А теперь вот эта толпа, тесно обступившая твой ложный гроб, даже не намерена подпустить меня к тебе. Сколько их, близких и родных, безутешно рыдающих у этого гроба! Только нет среди них твоей верной душеньки, нет среди них, нет, и тебя самого нет... Вот подняли, понесли куда-то гроб. Толпа, колыхаясь, побрела за ним. Взвился разноголосый женский плач. Вон

все расселись по машинам. И скорбная процессия направилась на кладбище за городом. У свежевырытой могилы все встали в круг. Один за другим выходили к ее изголовью степенные мужчины, с дрожью в голосе произносили гладкие, прочувствованные речи, внимая которым толпа сдавленно всхлипывала и громко сморкалась. Вот и гроб, покачиваясь, медленно уплывал в зияющую яму... Вот вслед за ним все разом побросали по горсти земли и тотчас отошли в сторону. Женщины в черном особенно усердствовали, старались изо всех сил не подпускать Зухру к могиле. То и дело обжигали ее ненавидящими, злорадствующими взглядами, как бы говоря: «Вот так-то, дорогуша! Поделом тебе!» Казалось, для них было высшей радостью то, что изменивший им всем в свое время Себепбаев не достался и ей, молодой смазливой сопернице.

Э, наивные бабы... глупое куриное племя! Сколько раз облапошивал вас ухарь Себепбаев, а вы до сих пор еще верите ему. Да он, хитрец, и сегодня над вами от души потешается. Пока вы тут надрываете свои души и льете слезы, он наверняка окрутил очередную юную простодыру и где-то забавляется ею. Конечно, так — тут и сомневаться нечего. Только посмотреть бы хоть краешком глаза на эту искусительницу, так ловко заманившую в свои сети прожженного сердцееда. Однако вряд ли найдется такая долгополая, способная заарканить его. Скорее он какую хочешь строптивицу запросто взнуздает и оседлает. Но разве эти дурехи, вырядившиеся в траур и принародно оплакивающие теперь свою былую страсть, в состоянии понять это? Им-то, должно быть, мерещится, что она его играючи окрутила. Невдомек им, что это он ее в два счета обротал, как в свое время всех их. А теперь наступил ее черед, теперь и она разделила ту же участь — участь брошенки. А может быть, и нет? Разве ради нее Себепбаев ничем не жертвовал, ничем не поступался? Сколько раз, бывало, он покидал престижные застолья, чтобы ее заключить в свои объятия! Со скольких ответственных собраний он уходил, чтобы только прилечь рядом с ней! Так кто же может утверждать, что и на этот раз он не выкинул подобную шутку — согнал народ на свои мнимые похороны, а сам на своей черной «Волге» подался к ней. Почему бы и нет? Себепбаев и не на такое способен...

Он всегда оживлялся, входил в азарт, когда видел самоуверенного сановного мужчину или смазливую горделивую женщину. Тогда в него точно вселялся неукротимый бес. Он позволял себе дерзкие выходки и вытворял бог знает

что. И все сходило ему с рук. Может, и сегодня этот неутомимый ёрник надумал что-то такое, отчего все только ахнут?

Догадка эта вселяла надежду. Боль в груди, обжигавшая льдом, сразу отпустила. Отчего-то горели пятки. Нетерпение охватило ее. Хоть бы скорее кончился этот скорбный балаган... И домой она спешила как никогда. И добиралась как никогда долго. А добравшись — остолбенела: ворота были открыты. О боже! Неужто, как она и предполагала, Себепбаев сидит дома и преспокойно дожидается ее? Жар тотчас подкатил к груди, к шее. В голове помутилось. Сейчас он выйдет навстречу, по обыкновению сграбастает в свои объятия, прижмет крепко-крепко... Щеки ее вспыхнули, а в ноги ударила такая слабость, что она с трудом переступила порог.

Вот тебе и чудеса! На приступке возле двери стоит совершенно новый кожаный чемодан. Вокруг никого. Зухра застыла в недоумении. В глубине сада кто-то свистнул. Еще и еще раз. Да так звонко, заливисто. Точь-в-точь Себепбаев. Когда они выезжали в горы, охотились на фазанов, разводили костер, он вдруг ни с того ни с сего принимался свистеть на все лады. У него это получалось так ловко, что Зухра внимала ему с открытым ртом, будто завороженная. Посвистев так, с озорным упоением, Себепбаев вдруг резко умолкал, прислушивался. И вскоре ему отзывался издалека соловей, сначала робко, как бы пробуя голос, а потом все звонче и бойчее, самозабвенно. Озорная усмешка на губах Себепбаева мгновенно исчезала, он почему-то бледнел, становился задумчивым.

— Зухражан! — тихо окликал ее.— Ты знаешь, отчего так красиво поет соловей?

Она, улыбаясь, качала головой.

— А потому, что он только для себя поет. Он забывает обо всем на свете. Ему нет дела до того, что его кто-то еще слушает. Иначе он стал бы смущаться, робеть, оглядываться по сторонам. И тогда он не впадал бы в экстаз, не мог бы выделывать такие коленца. Так и человек. Чтобы быть счастливым, он должен быть или абсолютно свободным, сам по себе, или ровным счетом чихать на все людские пересуды. В противном случае будешь оглядчивым и никогда не расправишь своих крыльев. А тот, кто скован, прижат к земле, счастья не ведает. Вот так-то, милая Зухражан!

Ай, Себепбаев, Себепбаев... Там, где ты, жизнь обретает особый смысл. Ты неповторим — не чета другим.

Вот и сейчас кто может с уверенностью сказать, что не ты притаился там, в укромном уголочке сада? И кто знает,

какие мысли роятся в твоей седеющей, но по-молодецки буйной голове? Может, усмехаешься над той простодушной толпой, что давеча собралась у мнимой твоей могилы? И веселится-то Себепбаев, по-особому. Не хохочет, не расцветает лицом, а, наоборот, суровеет, хмуро сдвигает брови. И только возле глаз собираются в веселые лучики морщинки. А когда сердится, то вопреки ожиданиям становится ниже травы тише воды. Голос мягчает, будто шелк. Речь льется нежно, ласково. И весь он до приторности вежливый, корректный. Так разве можно себе представить, чтобы Себепбаев, не похожий ни на кого ни в радости, ни в печали, вдруг взял да умер, как заурядный грешник?! О нет... его смерть никак не обернется такой банальной возней. Не из таких он, Себепбаев!..

А ликующий свист за яблонями постепенно приближался. Зухра нарочно отвернулась. И тут же свист прекратился. Значит, ее заметили. Вот он на цыпочках осторожно подкрадывается к ней. Сейчас подойдет, резко обнимет ее сзади. Потом звучно поцелует в шею, в затылок. Или приподнимет, поставит, точно столб, на обочину дорожки, а сам пройдет мимо как ни в чем не бывало. И не оглянется, пока она не взмолится, не окликнет, не остановит его. Конечно, он и сейчас что-то задумал. Наверняка ошарашит неожиданной выходкой. Она сделала вид, что ничего не замечает, и чуть наклонилась, косясь в сторону сада...

Неподалеку кто-то в черной нарядной форме, в золотистых погонах выжидающе глядел на нее. Зухра вздрогнула. Лицо это ей почудилось знакомым.

— Мама...

Незнакомец густо покраснел.

Боже, что он говорит? Кто это может называть ее мамой? Может, обознался? Однако всем своим видом он напоминает кого-то знакомого. Особенно этот преданный, робкий, нежный взгляд. Мужчины с таким взглядом всегда вызывали у нее смех. Если бы не смуглый цвет лица, можно бы было принять его за сына Кузембаева. Она улыбнулась ему, и тогда он сделал два-три шага навстречу. Походка тоже напоминала кого-то. Не-ет, только не Кузембаева: тот ведь и ступал-то робко, неуверенно. Себепбаева — тоже: этот ходил гордо, вызывающе, будто напролом. А молодой незнакомец ступает легко, бодро, у кого же она видела такую же пружинистую, танцующую походку?.. Когда?.. Где?.. А-а-а... да, да... Жанибек. Верно: он! Его манеры. Его походка. Жанибек даже в дом входил стремительно, резко — не входил, а влетал, будто выбегал на трибуну. Даже верхнюю одежду не снимал. Ка-

залось, сейчас начнет размахивать рукой и говорить политическую речь. Но... у Жанибека был острый взгляд. А этот... самое удивительное, что он назвал ее мамой!

— Вы меня не узнали, да?

Что верно, то верно: не узнала.

— Я ведь... Алибек.

Что он говорит?! Неужто сын? Как он успел вымахать в эдакого детину? О-о-о... сколько, выходит, прошло времени! Как она тосковала вначале по нему! Его робкий, обиженный взгляд преследовал ее долго, даже во сне. Извелась вся тогда, измучилась... Потом как бы смирилась, привыкла. И все равно сынишка часто снился ей. Почему-то он останавливался у порога, словно не решаясь пройти к ней в комнату, с мольбою в глазах смотрел на нее и тихо говорил: «Ха-а-арошая тетенька, я пришел...» Снился он всегда крошечным. И говорил по-казахски. А этот называет ее мамой и говорит на безукоризненном русском. В последние годы она даже во сне стеснялась встречаться с ним, а он взял да примчался в такой день, словно с луны свалился. У нее подкашивались ноги. Не решилась даже с места сдвинуться. Молодой человек, назвавший себя Алибеком, подбежал к ней, схватил под локоть. Какая сильная у него рука! И горячая — кровь волной обожгла ее.

Едва переступив порог, гость скинул ботинки. По уютной, всегда сумеречной комнате поплыл чужой, неприятный запах. Зухру замутило. Сердце мелко-мелко забилось. Она уселась с края стола. Напротив сел гость. Явно растерянные, попеременно поглядывали друг на друга. Оба испытывали странную неловкость. И так продолжалось все время, пока гость не покинул отчий дом.

Утром, как всегда, она уходила на работу, а молодой гость тоже принимался за дело. Подладил сначала дувал, потом подправил крышу, побелил стены, покрасил полы. С утра до вечера пребывал в хлопотах, ходил весь чумазый, заляпанный и в таком виде казался Зухре более родным, и она глядела на него с затаенной нежностью и сочувствием. А когда он, помывшись и переодевшись, садился с ней за стол, она чувствовала себя скованной и растерянной, как при чужом человеке, прямо-таки не находила себе места и норовила скорее выйти из-за стола. Возможно, гость замечал это, наверняка замечал, потому что тоже ел в спешке, не поднимая головы, а поев, тотчас спешил во двор, ссылаясь на такие-то недоделки. Он даже ходил по дому тихо, осторожно, на цыпочках, стараясь не издать ни звука. Даже не осмеливался

откашляться. И все равно — стыдно признаться — был он Зухре в тягость, мешал быть самой собой, и она поневоле както вся сжималась и ежеминутно оглядывалась по сторонам. Даже ночью спала неспокойно, ворочалась, прислушивалась. Временами будто задыхалась. И постоянно чувствовала этот неприятный, затхлый запах, шедший от ботинок в передней. Что за неистребимый дух? Точь-в-точь такой уже преследовал ее однажды... когда же это было? Ах, да-а... в тот раз, когда приножаловали те двое, муж и жена, с пыльным мешком...

Ладный и крепкий молодой морской офицер погостил около двух недель и отправился на место службы. Сказал на прощание: «У вас, мама, есть невестка и двое внуков». И еще сказал: «Буду отныне писать, весточку слать». Сказал: «Мы ведь месяцами, а то и год находимся в плавании». Еще сказал: «Если будет в чем нужда — напишите». Так он говорил и при этом каждый раз краснел. Лишь поднимаясь по трапу, у самого входа в самолет, еще раз оглянулся на нее, и было в его глазах что-то безнадежно печальное, щемящее. И только в это мгновение этот рослый, крепкий молодой мужчина напомнил ей тогдашнего маленького ее Алибека. Когда большой, вытянувшийся в струнку самолет, легко оттолкнувшись, взмыл в небо, она почувствовала вдруг такое облегчение в груди, будто вытолкнула из горла затруднявший дыхание горький комок.

Вернувшись домой и нырнув в уютную прохладу комнат, она скинула с ног туфли так, что они полетели в разные стороны, и с размаху бросилась ничком на кровать. Хотелось ей заплакать, неистово, горячо, но не было слез. Опять она осталась одна-одинешенька, наедине с вожделенной тишиной. И вокруг простирался огромный мир. И подумалось ей восторженно: «Ах, как все-таки хорошо быть одной!» И вспомнилось тут же, как впервые воскликнула она так же тогда, когда вернулась домой после первого и столь памятного свидания с Себепбаевым... Опять Себепбаев. Выходит, в этом беспредельном мире ей не о ком больше думать? Перед глазами тотчас встал Себепбаев с улыбкой на лице. «Ты что, дорогуша, теперь-то уверовала в то, что меня нет?» — почудилось, спрашивал он.

Она вдруг поняла, что не усидеть ей дома. Мигом собралась и отправилась на кладбище.

День был солнечный, теплый. Безмятежно перекликались неведомые ей птахи. Но самих их, птичек, не было видно. И потому чудилось, что перекликались, мелко-мелко трепеща, листья на молодых березках, грустивших между могилками.

Над головой высились заснеженные вершины, ярко поблескивали в лучах солнца. Внизу тесно громоздились дома большого города, близко подступавшего к горам, и над ним плотно висел бурый дым. Сплошная грязная завеса окутала улицы, высотные здания, и все виделось смутно, зыбко, в неприглядном удушливом мареве. Зухра даже удивилась про себя: как только умудряются люди жить под этим чадным гигантским колпаком? По сравнению с тем сумрачным обиталищем живых кладбище — царство мертвых под чистым небом в горах — кажется райским уголком. «Ну конечно...— подумалось Зухре.— Уж кто-кто, а Себепбаев себе на уме. Знает, дьявол, где лучше». Однако тут же спохватилась, сообразив, что подобные мысли — сущий грех, растерянно раскрыла сумочку, достала платочек, обмахнула рот.

Могилу Себепбаева она нашла легко. Здесь все еще громоздились горы венков. Лишь золотые буквы на черных лентах заметно потускнели: то ли выгорели на солнце, то ли смыли их дожди. Одинокая пожилая женщина в черном, неуклюже двигаясь, прибирала могилку. На портрете в черной рамке, прикрепленном к глыбе черного мрамора, глядел куда-то поверх сваленных грудой венков непривычно серьезный, печально-задумчивый Себепбаев. Было странно оттого, что на губах его не играла столь знакомая язвительная усмешка. Еще более странным казалось это тоскующее выражение в глазах под густыми бровями. Зухра даже растерялась на мгновение: Себепбаев ли это? Подошла поближе, наклонилась, чтобы прочесть надпись на шлифованной мраморной глыбе, и тут вдруг заметила, что женщина в черном резко отвернулась и пошла прочь. Да так быстро, стремительно, будто напугали ее. Себепбаев за скорбной рамкой, чуть повернув голову, грустно глядел ей вслед.

Сердце кольнуло так, словно кто-то невзначай ущипнул его. Неужели все-таки правда, что Себепбаев удалился в мир иной? Иначе откуда такая жалость в глазах? Откуда эта неутешная печаль?

Она заспешила уйти отсюда, подальше, подальше от свежей могилы, заваленной венками. Она смутно чувствовала, что сегодня навсегда прощается с не похожим ни на одного мужчину Себепбаевым, щеголем, ухарем, бесшабашным до отчаянности бабьим баловнем. И не только с ним — с его скорбным аруахом, его духом, бесплотной тенью. Навсегда... навсегда... Ноги сами уносили ее отсюда. Казалось, раскаленный уголек жег ее между лопатками, и хотелось скорее юркнуть в укромное местечко.

В глазах рябило от камней-стояков, и с каждого жалостливо глядели ей вслед покойники — молодые и старые, мужчины и женщины. Поразительно, в жизни все они совершенно не походили друг на друга. Все были разными: один умный, другой глупый, кто-то счастливый, кто-то несчастный; один везучий, другой не очень; красивый и безобразный, приятный и несносный — всех видов и типов. А теперь здесь, на кладбище, на стылом камне, на железной пластинке, под тускло отливающим небольшим, величиной с ладонь, стеклом, они все были удивительно похожими, все глядели покорно-жалостливо, словно вымаливали у живых сострадание и милосердие.

В этот день впервые в жизни защемило-заныло в неосознанной тревоге сердце Зухры. Выйдя за кладбищенскую ограду, садясь в пыльный автобус-коробку, она незаметно покосилась на окружавших ее людей и отметила про себя, что и они все глядели печально и отрешенно, точь-в-точь как покойники с фотографий на могильных памятниках. Ей как никогда захотелось быть одной, и она забилась в уголок на заднем сиденье. Автобус уже собрался тронуться с места, как вошла та самая женщина в трауре. Вошла и, словно не видя пустых сидений впереди, направилась прямо к Зухре. Походка ее была неуклюжей, будто приволакивала ногу, однако на лице застыло властное и непреклонное выражение. Открытый лоб, редкие тонкие брови, аккуратный прямой нос. В глазах под длинными и густыми ресницами затаился холодный, угрюмо-угрожающий блеск. То ли блеск вызывающей гордыни, привыкшей властвовать над людьми, то ли отсвет бессильного гнева, непреходящей глубокой обиды, тщетно взывающей к мести. Неприступно холодная и суровая, женщина в черном уселась рядом с Зухрой и, выпрямившись, точно окаменела. Непонятная дрожь охватила Зухру: дрожь безмерного стыда и раскаяния, дрожь непостижимого страха или гадкая, туманящая рассудок дрожь ревности и ненависти — она понять сейчас не могла. Она обеими руками вцепилась в холодные поручни переднего сиденья да так и не шелохнулась всю дорогу.

Автобус некоторое время кружил, мотаясь из стороны в сторону, по извилистой дорожке ущелья, наконец выбрался на большак, и тогда женщина в черном неожиданно спросила:

— У вас тоже умер муж?

У Зухры жарко вспыхнули щеки. На глаза мгновенно навернулись слезы. Грозный взгляд женщины, пронзивший ее

сбоку, тотчас смягчился. Соседка отвернулась и вздохнула. И в Зухре будто что-то сразу оборвалось, отпустило. Она сникла вся, как подбитая, почувствовав головокружение и тошноту. Временами ее познабливало, и она мелко-мелко вздрагивала помимо воли. На женщину в черном она старалась не смотреть. Лишь при выходе из автобуса скосила на нее мельком взгляд, заметив, как в глазах неподвижной, будто заледеневшей женщины стыло безутешное горе.

«Да-а... что было — сплыло,— думала она позже, спустя годы вспоминая ту пору.— Ах, как летит времечко... (сказать «жизнь» было выше ее сил)»

С того дня овладело Зухрой полное безразличие ко всему на свете. Отныне она редко смотрелась в зеркало. Перестала следить за своим лицом. Забыла про всякие мази, пудру, лосьоны, духи. Перестала замечать людей на улице, остановках, в автобусах. Все как-то разом лишилось смысла. Утром по привычке отправлялась на работу. Вечером возвращалась домой. И больше никуда не ходила, нигде не показывалась. И спала тревожно, просыпалась не как бывало прежде, лишь после отчаянного звонка будильника. Блеклые лучи рассвета, робко проникая сквозь щели ставней, казалось, прежде всего опускались на ее ресницы. Она мгновенно просыпалась и потом какой-то шорох неотступно преследовал ее, как наваждение. Чудилось, что идет дождь, но потом, когда выходила из дому, убеждалась, что кругом сухо. Казалось, будто под полом резвятся мышки, однако тогда было непонятно, почему они в остальное время суток не дают о себе знать. И так каждое утро, изо дня в день. Будто кому-то невидимому доставляет удовольствие играть ей на нервах. Скрип-скрип, шоршор, шу-шу... И лишь с восходом солнца наконец все стихало. Но тут уже и ей вставать пора. Она пила чай, уходила на работу.

Зухра махнула на себя рукой, решив, что превратилась в заурядную бабу, изживающую свою заурядную жизнь. Но однажды утром, придя на работу, мимоходом оглянулась на огромное зеркало в углу приемной. Оглянулась и опешила. Одета опрятно, со вкусом. Лицом пригожая, гладкая. Тонкие брови круто изогнуты. Легкая, стройная, как и прежде. Только глаза стали вроде чуть больше. И в черных влажных зрачках прочно обосновалась грусть. Но она, эта затаенная грустинка, делала ее гордое, ухоженное лицо еще более привлекательным. И эта ее горькая краса с примесью чуть горчащей грустинки еще более воодушевляет, привлекает разномастных мужчин. Оказывается, и на улице, и в автобу-

сах, и на работе этих самых, кто пялит на нее глаза,— хоть пруд пруди.

Зухра снова занялась собой. Опять, как прежде, едва поднявшись с постели, бросалась к зеркалу. Э, не-ет... какое бы грозное горе ни обрушилось на нее, а краса ее ничуть не поблекла, есть еще чем привораживать падкое до всего смазливого мужское племя! На этот раз Зухра не расстроилась от своего открытия, как тогда, когда узнала о гибели Жанибека, а, наоборот, торжествовала, испытывая гордость за свою неувядающую красоту.

Высокие тонкие каблучки ее туфель отныне опять выстукивали такую бодрую, бойкую дробь, что прохожие невольно оборачивались. Ну, а там, где женщина проявляет смелость, разве мужчина празднует труса?.. Чем краше и ярче становилась Зухра, тем гуще увивались вокруг нее те, кого еще не покинула вожделенная надежда, точно мотыльки вокруг огня. И некоторые не довольствовались восторженным лицезрением, а проявляли активность, выискивали любой повод для более тесного сближения.

И первым решился на натиск — о боже, каких только превратностей не случается на свете!— шкодливый старик ученый, неизменный и последовательный соперник удачливого Себенбаева. Глядя на то, как этот взбалмошный старик в неизменной феске с кисточкой, с которой не расставался зимой и летом, по обыкновению суетливо несся куда-то, точно ошалелая курица, гонимая собакой, покойный Себенбаев каждый раз начинал громко хохотать. И каждый раз чудаковатый старик в благородном негодовании выпячивал грудь, задирал голову так, что того и гляди свалится с темени феска с кисточкой, и вызывающе гордо проходил мимо. Видно было, как его всего передергивает от одного только отрывистого, язвительного смеха давнего соперника. И потому всячески избегал его, старался не попадаться ему на глаза. А теперь, куда ни придешь, куда ни посмотришь, обязательно натыкаешься на его феску с дергающейся кисточкой. Только заметит кого-нибудь из знакомых — спешит, заплетаясь ногами, навстречу. Если мужчина — ухватится за правый отворот пиджака, если женщина — норовит взять под локоток. Упрется редкими рыжеватыми щетинками под носом едва ли не в шею собеседника и начнет балабонить без умолку. Рта не закроет. На каком-то совещании подошел к Зухре, схватил ее за локоть, засвистел-зашепелявил:

— Ззздравссствуй, Зззухражжжан... Как ззздоровье?

И задрожал было голосом, тщился выдавить слезинку,

чтобы выразить соболезнование, даже платок к глазам под нес, но тут выкатил им навстречу рыжий брюхан с тройным подбородком, и смятый платок замелькал сразу под птичьим носом старика. Только прошел рыжий брюхан, и старик снова заплепал было губами, как вынырнул сбоку тощий серолицый со змеиными глазками. Не успевший обрести проникновенную дрожь голос взвился, как стальная пружина:

— Иди, иди! К благодетелю своему сначала на поклон иди! Ко мне потом подойдешь!

А сам между тем с досадой и раздражением оттискивал Зухру в сторонку. Раньше она была не в состоянии более минуты слушать болтливого старика, а в тот день он ее почему-то забавлял. Ни одно его слово не застревало в сознании, и все же она его слушала, слушала. И чем больше слушала, тем сильнее презирала. И чем сильнее презирала, тем больше разбирало ее любопытство. А старик ляскал языком без роздыху. Он разглагольствовал на улице. И в такси жужжал ей в ухо. И в тихом ресторанчике на окраине города, за одиноким столиком, все ткал и ткал паутину словес. И темой бесконечного словоизлияния был один Себепбаев, только Себепбаев. Сначала, как подобает, старик выразил соболезнование. Потом принялся расхваливать покойника до небес. Восхищенно покачал несколько раз головой: «Ой, что и говорить, редкой пробы был человек! Баловень судьбы! Орел!» Потом обрушился на безмозглых дураков, принимавших принципиальное научное разногласие между ним и Себепбаевым за заурядную банальную зависть. Разгорячившись, даже поклялся в том, что между ними не было ни малейшего намека на взаимную неприязнь, ни тени недоброжелательства. Правда, у покойника были кое-какие недостатки. У кого их, впрочем, не бывает? Один создатель, пожалуй, безгрешен. Но если бы он обитал не в небесах, а жил, как все грешники, на земле, да к тому же занимался наукой, да еще разок-другой участвовал в выборах в Академию наук, то еще неизвестно, что бы осталось от его добродетелей, наверняка свихнулся бы вконец. И, довольный своей остротой, старик длинно захихикал.

Говорил он упоенно, самозабвенно, вышли из ресторана — а он все говорил и говорил. Добрались до особняка на окраине города — а он все говорил и говорил. Долго прощались-расставались — а он все говорил и говорил. Потом, забыв о прощании, он поплелся за ней в дом и опять все говорил и говорил. И когда сидели за бутылкой легкого вина, не умолкал, не запинаясь, не спотыкаясь ни на одном слове.

Даже посреди ночи, когда, сомлевшая от выпитого вина, оглушенная неистощимым потоком слов, Зухра вдруг задремала прямо на стуле, она очнулась оттого, что толстые, лоснящиеся губы на мгновение вцепились, как пиявки, в ее губы и тотчас, как бы спохватившись, снова зашлепали. Странно: дерзкая выходка болтливого старика ничуть ее не возмутила. Только вяло, как сквозь дрему, подумалось: неужели она так захмелела...

Все же на рассвете болтливый старик воровато улизнул, должно быть боясь попасться кому-либо на глаза. Зухра даже не проснулась, когда он убрался, но, повернувшись на другой бок, всем телом ощутила еще не остывшее чужое тепло и с удивлением почувствовала, что оно было приятным. Тягучая истома вмиг охватила ее, и тут только она поняла, отчего тогда замутился у нее рассудок, когда на заре под проливным дождем находилась в жарких объятиях неутомимого Себенбаева. Поняла она и то, по какой причине не оттолкнула прошлой ночью дрожащие и влажные от немощи руки болтливого старика.

«Да-а... чего только не случается в жизни! Как быстро, однако, летит времечко (сказать «жизнь» она не решалась)»,— думала она позже, вспоминая былые дни.

Что ни говори, а странный народец все-таки мужчины! Поначалу и так и сяк обхаживают тебя, воркуют-приговаривают приторно-сладко: «сестреночка», «душенька», «Зухражан», «милая женеше», а на уме, по сути дела, всегда одно и то же. И, едва удовлетворив свое желаньице, каждый норовит поскорее убраться восвояси. Зухра притерпелась к этим повадкам, не осуждала мужчин и сама не особенно расстраивалась. Ну, что же с них взять-то, в самом деле?.. Это лишь до поры до времени они внимательны и обходительны, точно рыцари, а потом чуть что — сразу хвост торчком. А до чего же падки до всего сладкого! Верно, видать, сказывают: кто легко соблазняется — тот ревнив и завистлив. Среди двуногих, бог свидетель, самые увлекающиеся — мужчины. Следовательно, и самые завистливые — они.

Как-то поселился у нее служака-офицер, переведенный откуда-то с юга. Носатая орясина, приводил во двор солдат, заставлял их чинить то одно, то другое. Потом повадился до ночи засиживаться в ее комнате, подолгу гонять чаи. А кончилось тем, что однажды его офицерские брюки с красным кантом перекочевали на спинку стула возле ее кровати.

Вначале она испытывала явное смущение. Потом стало любопытно. Себенбаев имел обыкновение заявляться неожи-

данно и ненадолго. Редко когда он оставался на ночь, после чего длительное время вообще не показывался. Всегда неожиданная, но яркая радость сменялась долгим, тоскливым ожиданием. А этот, новый ее поклонник, каждый вечер, уже после одиннадцати, занудливо настаивал, чтобы она стелила постель. И как только постель была готова, он с размаху швырял к порогу скрипучие сапоги и нырял под одеяло. Утром вставал с видом исполненного долга. С тем же важным видом уходил на службу. Так же важно возвращался. Такой же важный раздевался. И так же важно забирался к ней в постель. Так это что? Обязанность? Зависимость? Или это и есть как раз то, что называется супружеской жизнью, семейным счастьем, о чем везде и всюду так увлекательно говорят и пишут!

Носатый дубина, должно быть, привык командовать своими солдатами, вскоре и на нее начал грозно коситься, словно на подчиненную. Особенно выходил из себя, когда заставал ее у зеркала. Видно, был убежден, что пудра, духи, мази нужны лишь для того, чтобы совращать других мужчин. В такие минуты в его голосе вместо еще недавней смиренной мольбы все явственнее звучала начальственная командирская сталь. Уходя из дому, строго оглядывался по сторонам, приходя со службы, подозрительно заглядывал во все углы. Мало того, еще через несколько дней приволок с собой громадного пса с аршинными клыками, с торчащими ушами. Сам он, служивый, оказывается, заведовал оружейным складом. Но чудилось, пуще военного склада охранял ее, Зухру.

Так уж вышло, что все мужчины, которых она знавала, легко и охотно подчинялись ее прихотям. Один Себепбаев, пожалуй, навязывал ей свою волю. Он и в жизнь ее ворвался как буря. И держался всегда вольно и раскованно. Потому, видно, и бывало с ним легко, просто. Те недолгие годы, которые она провела с ним, казались забавным действием веселого спектакля. И лишь теперь Зухра столкнулась лицом к лицу с гадкой и скучной обыденностью, которая именовалась реальной жизнью. Вот этот хмурый, ревнивый глазастый мужлан, подозрительно выслеживающий каждый ее шаг, и есть прозаический быт. Вон та псина, настороженно вслушивающаяся в каждый шорох, грозно клацающя клыками, и есть повседневная жизнь. Зухре быстро опостылело это грубое и монотонное супружеское сосуществование. Такая жизнь оказалась ей в тягость. Душа рвалась к столь привычной вольной жизни, когда она могла всецело распоряжаться

самой собой. И вскоре ее желание осуществилось. Начальника военного склада перевели в другой гарнизон.

И опять Зухра осталась одна-одинешенька. Никто ей не был указ. Вольному воля: что хочешь, то и делай. И она снова убедилась в том, что мир по-прежнему огромен и беспределен, что воздух свободы по-прежнему пьянит и она вольна ложиться и вставать когда хочет, потому что нет у нее ни забот, ни хлопот. Так она и жила сама по себе, в свое удовольствие. А время шло, шло. Собака, которую оставил на память начальник военного склада, превратилась в матерого пса, в эдакое страшилище с львиным рыком. Когда пес взлаивал гулко и раскатисто да еще выкатывал свирепые глаза, не только все собаки в округе пугливо поджимали хвосты, но даже Зухре становилось не по себе. Но к ней он ластился как щенок; едва завидев ее, радостно рычал и тяжело рысил навстречу. Утром, когда она уходила на работу, пес от тоски когтями вспахивал землю, надрывно скулил.

Теперь, после отъезда майора, Зухра уже не стеснялась подолгу просиживать у зеркала. Тем более в этом появилась неотложная надобность: белое лицо ее вдруг усеяли паутинки морщин, будто трещинки на гладкой поверхности мрамора. И она тщательно замазывала их по сорок раз на дню. Мужчины, конечно, видели эти роковые признаки, но в пылу своих желаний делали вид, что не замечают их. Однако уже не испытывали потребности задерживаться, как прежде, подолгу. В последний раз едва неделю прожил у нее заметно потрепанный жизнью и творческими муками тонкоусый поэт. Он, как говорится, почти не просыхал, однако подозрительным образом держался всегда опрятно, а одевался даже изысканно. По непролазной грязи на окраине города он умудрялся пройти будто посуху, ни единым пятнышком не замарав штанин. Другим его отличительным свойством была молчаливость. Казалось, он придерживался убеждения, что там, где за слова не платят гонорар, нечего их понапрасну тратить. Даже здороваясь, он лишь еле-еле шевелил губами или ограничивался кивком. Одно лишь слово — «спасибо» — срывалось с его молчаливых уст, и то он произносил его глубокой ночью один раз в сутки. От этого «спасибо» у Зухры каждый раз горели щеки.

От одного только вида поэта-молчуна грозный пес приходил в неистовство. Он его решительно не переносил. Учуяв издали, уже утробно урчал. Мелькнет тень в окне — впадал в глухую ярость, рвал тяжелую цепь, захлебывался в клокочущем рыке. Тонкоусый поэт с недоумением взирал на безум-

ствующего пса. День терпел, два терпел, три терпел... На седьмой день поэт вопреки своей привычке поднялся спозаранок. Собрал свои бумаги. Отутюжил брюки, выгладил сорочку (свою одежду молчаливый поэт имел обыкновение стирать и гладить сам). Вышел на веранду и под оглушительный лай ошалевшего от ненависти пса почистил щеткой пиджак, до блеска надраил туфли. Потом зашел в комнату, тщательно оделся, взял в руку пузатый, с блестящими замками, черный портфель.

— Что ж... пора проявить человеческое сочувствие к этому кобелюге. Не желаю его больше терзать своим присутствием,— сказал на прощание тонкоусый поэт и, картинно приложив правую руку к левой части груди, поклонился и с независимым видом вышел.

Ушел и как в воду канул. И не только тонкоусого поэта, но и других бывших воздыхателей будто ветром сдуло. И на работе те мужчины, которые еще недавно считали своим долгом устремлять на нее свой тягучий взгляд, отныне все чаще с полным равнодушием проходили мимо. И, должно быть, это обстоятельство и побудило ее, вынудив руководство поистратиться на букет цветов и бутылку шампанского, уйти на так называемый заслуженный отдых.

Стала Зухра жить в просторном сосновом доме на окраине города одна со своим свирепым псом. В первое время она по давней привычке поднималась рано и подолгу смотрела в окно. Там, на улице, люди толпами спешили на работу, вид у всех был озабоченный, и, глядя на них, Зухра молча вздыхала. Потом она просыпалась все позднее и вскоре наловчилась оставаться в постели до обеда.

Никто ее не беспокоил. Раньше, бывало, в надежде, что кто-нибудь заглянет, она на всякий случай приводила себя в порядок, наряжалась, но вскоре убедилась в бесплодности своих хлопот. И дом она запустила. Тонкие ноздри, всегда неприязненно вздрагивавшие от малейшего неприятного запаха, теперь словно лишились чуткости. Вспоминая, с какой гадливостью еще недавно стирала зловонные портянки начальника военного склада, она тихо посмеивалась над собой и со вздохом думала: «Ах, как летит, однако, времечко» (сказать даже про себя «жизнь» она не решалась).

А время и в самом деле летело без остановки. Безалостное, оно отбило у нее всякую охоту любоваться собой в зеркале. А посмотрит невзначай — увидит свое поблекшее лицо, неприглядно испещренное морщинками, которые навевали грустные думы. Эти тонкие бороздки, вдоль и поперек изре-

завшие некогда холеное, прекрасное лицо, мерещились суровым приговором, написанным на неведомом языке. Хоть и не понимаешь, а содрогаешься. Чуткое сердце будто предугадывало неотвратимую беду. Потому Зухра теперь предпочитала зеркалу пухлый бархатный альбом, бережно сберегший молчаливую тень промелькнувшей молодости. Однако и он не был большим утешением. Застывшие на фотографиях изображения навевали тоску на и без того опустошенную душу. Ранее всегда стремившаяся к тишине и покою Зухра теперь изнывала от их избытка, не находила себе места в четырех столь привычных пустующих комнатах. Одевшись потеплее (ни один сквозняк ныне ее не минует!), с собакой на поводке она выходила на улицу. Жухлые осенние листья шуршали под ногами. Она медленно прогуливалась вдоль обочины дороги, замечая, как любопытные глаза прохожих, некогда пожиравшие ее, теперь восхищенно пожирали ее пса. Все только любовались его свирепой мордой, могучими высокими ногами да толстым длинным хвостом. Одни еще издалека боязливо уступали ему дорогу, другие, застывая, восторженно цокали языками. А пес, явно польщенный людским вниманием к себе, вышагивал, спесиво задрав голову и добродушно-брезгливо оглядываясь по сторонам. «Ладно, черт с вами!.. Смотрите на меня, любуйтесь. Так уж и быть!» — было написано на его чванливой, самодовольной морде. И люди глядели. И, казалось, не пса вели на поводке, а пес прогуливал свою хозяйку, которую никто и не замечал.

Но и эти прогулки ее не бодрили. Наоборот, она возвращалась вся разбитая и усталая, еле волоча ноги. Холодные стены комнат, хмуро подступавшие к ней со всех сторон, ее пугали, и она прислонялась лбом к камину и так, в молчании, сидела долго-долго, всем телом ощущая нарастающую в себе пустоту и густеющий по углам мрак.

В камне все ярче разгорались угли, и зыбкий отсвет пламени усугублял тревогу. Черные тени подкрадывались к Зухре сзади, словно норовя накрыть и проглотить ее, и тогда, уже цепенея от страха, она с усилием заставляла себя вскочить и щелкнуть выключателем возле дверного косяка. Комната мгновенно заливалась светом, и вокруг ненадолго становилось вроде веселей, но вскоре опять унынье вползало в душу. Мрачно зияли черные проемы других дверей, будто гигантская пасть неведомых чудовищ, подстерегавших одинокую женщину у камина. Зухра поневоле поднималась, на непослушных ногах отправлялась в прихожую, приводила оттуда пса в гостиную. Грозный пес, с вечно

вываленным из пасти розовым языком, тотчас изгонял из громадной гостиной и кошмарные видения, и вымороченную тишину. Он послушно устривался у ног своей хозяйки с гордым сознанием своей необходимости и собачьего достоинства. Он тяжело водил запавшими боками, с языка капала слюна. В гостиной струился удушливо-кисловатый псиный дух, который она некогда совершенно не переносила, но сейчас он успокаивал ее смятенное стареющее сердце и расшатанные нервы. Ей было приятно ощущать тепло покорного существа, гладким телом прижимавшегося к ее ногам.

Опять ее стали беспокоить и преследовать таинственные шорохи в предрассветную сутемень. Казалось, кто-то с дьявольской настойчивостью вгрызался в черную землю под полом или царапал стальными когтями подгнившие балки. Однако теперь эти звуки уже не пугали ее, как прежде: все-таки рядом находилась живая душа, хотя и в облике грубого пса. «Ах, как летит, однако, времечко!» — вздыхала она позже, вспоминая с тоской и эти малорадостные дни и не решаясь по-прежнему произнести слово «жизнь».

Но и эти мало или совсем не радостные дни длились недолго. Все же собачий род склонен стариться скорее, чем род людской. Пес вскоре одряхлел, начал выживать из ума. Даже во двор перестал выходить. С плошкой, со своим ошейником он полностью перебрался в гостевую комнату. Целыми днями неподвижно лежал он возле кровати то ли в дреме, то ли в беспамятстве. Взгляд его бессмысленно блуждал в пустом пространстве. Отныне уход за медленно умирающим псом стал основной заботой Зухры. Она кормила его, как беспомощного ребенка, по нескольку раз в день, убирала под ним, на руках относила в ванную, мыла его с мылом, вытирала насухо, стелила на деревянные нары возле кровати чистую кошму и половички и укладывала на них впавшего в прострацию пса. А ночь напролет тревожно прислушивалась к его дыханию. Казалось, стоит ей только смежить веки, как хлипкая душа покинет иссохшее тело любимой собаки.

Однажды ночью пес встрепенулся и завыл по-дурному. Выл он отрывисто, беспомощно, потому что ослаб и не мог задрать голову и вытянуть морду. Выл так тоскливо, что у Зухры замирало сердце. Казалось, пес жаловался на свою судьбу, проклинал в предсмертном ужасе дни, проведенные на цепи. Он не выл, а плакал навзрыд, захлебываясь в старческих слезах, содрогаясь в конвульсиях. Судорожно царапая подстилку под собой, озирался вокруг, искал утешение перед вечным забвением. Зухра подсела к нему, обняла

тоскующего пса за шею, положила его голову к себе на колени. Пес перестал выть, затих. Успокоенный лаской хозяйки, он тихо-тихо засвистел ноздрями. И вдруг дыхание его оборвалось, длинные ноги дернулись и тотчас застыли, будто закоченев.

Пожалуй, впервые в своей жизни так безутешно проплакала Зухра всю ночь. Жуткая тишина вновь обрушилась на нее, изнуряя, выматывая ее душу. Лишь на рассвете, услышав привычные шуршанье, хлясканье, скрип, она как бы очнулась от сковавшего ее страха. Выбежала на улицу. Увидела на перекрестке долговязого сумрачного дворника, сосредоточенно и туно помахивающего длинноющей метлой. Он был весь в белесой пыли. Казалось, он сам был создан не из костей и мяса, а из мелкой уличной пыли. Она подошла к нему, сказала несколько слов, но дворник не слышал. Тогда она объяснила жестом, что ей нужно. Дворник сразу все смекнул, прислонил метлу к тополю и поплелся за Зухрой, скрипя истоптанными башмаками. Глядя на пса, бездыханно лежавшего у кровати, он укоризненно покачал головой, потом выволок его за ноги из дому, оттащил в дальний угол сада. Потом принес из дровяника лопату, вырыл яму глубиной по пояс, зарыл пса. Так же молча и равнодушно сунул в бездонный карман изодранных, заляпанных штанов пеструю бумажку, протянутую Зухрой за труды, и побрел восвояси.

В деревянном особняке на окраине города томилось одиночество. Никто не стучался в ворота, за исключением одной-единственной старухи почтальонки, заносившей к концу каждого месяца небольшую пенсию хозяйке да денежный перевод от ее сына. Целыми днями бессмысленно и бесцельно сидела Зухра у окна. И ночи напролет ворочалась в постели.

Вот эти неприметные дни, бесследно проходившие в четырех стенах, серых и обыденных, как сама скука, вот эта глухая, могильная тишина, доводящая до умопомрачения, этот стылый, безжизненный воздух, вытравивший даже кисловатый псиный дух, все это безнадежное уныние... неужели и составляют ее желанную свободу, к которой она всю жизнь стремилась и которую так ревниво оберегала? Да разве стоило жить ради такой свободы, будь она неладна?! Зухре было страшно даже думать об этом. Она с усилием отметала эти назойливые мысли. Прочь, прочь сомнения! Не стоит травить и без того омраченную душу... По утрам она кое-как поднималась с постели. С первыми сумерками вновь плюхалась в так и не прибранную кровать. Почему-то постоянно ныли руки и ноги. Каждое движение давалось с трудом.

Подчиняясь смутной тяге к свету, она подходила к окну. Потемневший от времени бархатный альбом она старалась не брать в руки. Если же от скуки открывала страницы, ей мерещились не тени прошлого, а жуткие видения, которые бесчисленными иголками впивались ей в сердце. К тому же она теперь не различала пестрые изображения на пожелтевших фотографиях. А за окном простирался один и тот же вид. Высокие тополя, с заметно обезлистевшими ветками. По-осеннему линяющее низкое небо. И только вдалеке ослепительно блестели под солнцем зубчатые снежные вершины, как бы подчеркивая свою неподвластность всесокрушающему времени и свидетельствуя о незыблемости бытия. До слуха Зухры смутно доносился отдаленный неумолкаемый гул — отзвук человеческой суеты на бурлящем проспекте, упирающемся в горы. Неужто неутихающий поток жизни вышвырнул ее на берег как щепку? Или с самого начала испытывала она оторопь, неизъяснимый страх перед этим буйным водоворотом? Она не могла с полной ясностью ответить себе на эти вопросы. Но раньше она хотя бы отчетливо и постоянно слышала этот невольно бодрящий, будоражащий гул, теперь же с каждым днем он отдалялся от нее все больше и больше. Она становилась все более тугоухой, и эта новая напасть как бы отлучила ее не только от пестрого базара жизни, но и от ее многоголосого шума. И все равно уже с утра она усаживалась к окну. И все равно день-деньской вглядывалась в улицу. Но через холодное стекло все виделось замутненным, серым, тусклым.

В последнее время ее одолевал кашель. Может, умудрилась как-то, сидя дома, простудить легкие? И вообще холод преследовал ее постоянно: то ли все вокруг погрузилось в безнадежную стынь, то ли кровь уже не грела старые кости, или кожа истончилась, иссушилась так, что не держала тепла в теле,— кто знает. Даже жаркая, удушливая некогда перина не согревала, не спасала от зябкой дрожи. Случалось, ночи напролет проводила без сна, клацая зубами. И тогда ей вспоминалось благодатное чужое тепло, так приятно и томяще, бывало, вливавшееся в ее тело. Не-ет, не о буйном жаре распаленных любовной страстью крепких мужчин ей думалось; она тосковала по мерному, ровному теплу верного пса, который, свернувшись у ее ног, грел ее через одеяло. Теперь даже та жизнь, когда она осталась одна со свирепым на вид догом, обернулась недосягаемой мечтой. Разве не радостью то было, когда она с собакой на поводке выходила на прогулку? Эх-х... Мягко шуршала под ногами жухлая

листва. Пес горделиво вышагивал сбоку — хруп-хруп. Никто не осмеливался даже близко подойти к ним. Как же! Огромный, с телка, серый пес с вывалившимся из пасти розовым языком, с толстым длинным хвостом поневоле внушал трепет и страх и всем своим видом, всей статью придавал в глазах прохожих значимость и своей хозяйке. Нетрудно представить, что́ думали про себя люди при их виде. «Непростая, должно быть, женщина, коли у нее такой породистый пес!» — так, несомненно, думали они. Теперь, как не стало ее верного пса, она и на улицу выходить не решалась. Еще кто-нибудь невзначай с ног собьет трясущуюся старуху.

Э-э... что и говорить, когда пес ее был жив, и в доме было все по-другому. Чего стоило одно лишь его шумное, с присвистом дыхание? Он успокаивал одним своим присутствием. При нем можно было спать спокойно и безмятежно, как за каменной стеной. А теперь сна не было ни в одном глазу. Порой даже мерещилось, что осталась она одна-одинешенька не только в четырех стенах старого особняка, но и на всей планете. Как ни напрягала она слух, даже шороха не слышала. Как будто вымерло все. Ни человеческого голоса, ни собачьего лая — глухо! Даже самолеты, время от времени вспарывавшие поднебесную тишь, и те умолкли. Лишь на верхушках деревьев едва слышно перешептывались листья. Да тихо журчала вода в арыках за домом. Но не было слышно человечьего голоса. И тогда в испуге думалось: может, и она уже давно безголосая? Может, она и не существует вовсе? Зухра поспешно переворачивалась на другой бок: кровать под нею скрипела в оглушительной тишине так, что, казалось, десятки разбойников, притаившиеся по углам, яростно заскрежетали зубами. После этого она уже не могла уснуть. Лежала, тупо уставившись в потолок. И ночь длилась целую вечность. Но наконец сквозь невидимые щели глухо закрытых ставней проникали блеклые холодные лучи, и вместе с ними просыпался вдали монотонно шелестящий, шуршащий, хляскающий звук. Раньше она всякий раз обмирала от страха, чудилось ей, что сорокоглавое чудовище-аждаха грызет-перемалывает где-то черную землю, теперь же она радовалась этим звукам. Перед глазами ее тотчас всплывал зыбкий облик долговязого старика дворника. В руках его метла с длинющим черенком. Он ловко орудует ею, метет размашисто, чисто, не оставляя за собой ни соринки. Работает он молча, сосредоточенно, сознавая необходимость своего повседневного труда. Конечно, зачем человеку с кем-то препираться, понапрасну тратить слова, если он занят столь

нужным и ответственным делом? Потому-то люди, сознающие важность своего дела, как правило, полны достоинства, горделивы и немногословны. Вот и этот старый дворник не обменялся с ней тогда ни единым словом. Сделал свое дело и был таков. Как она не знала его раньше? Она не только ничего не ведала о нем, но и никогда не задумывалась, представления не имела, каким образом ни свет ни заря тротуары, дорожки, подъезды к домам всегда оказывались чистыми, подметенными. Даже, идя на работу, удивлялась про себя опрятности улиц. Теперь же она подолгу думала о молчуне старике, который еще в предрассветных сумерках со своей длинной метлой яростно сражался с сором. Одинокая, чуть сгорбленная фигура рослого старого дворника неотступно преследовала ее по утрам. Шаг за шагом хруп-хруп. Шаг за шагом шурр-шурр, скрип-скрип. Из-под широкой метлы, клубясь, облачком разрастается мучнистая пыль, густо садится на окладистую бороду, на лохматые волосы старика. В зыбком свете занимающейся зари мелкая пыль серебрится, окутывает старика с головы до ног, превращая его в таинственное существо в пустыне улиц. Вслушиваясь в монотонное шуршание скребущей асфальт метлы, Зухра незаметно погружалась в смутную дрему. И в этом странном забытьи она чаще всего пребывала до обеда. И просыпалась трудно, подолгу не приходила в себя. А однажды и вовсе не в силах была подняться. Она с ужасом почувствовала, что вся горит. Казалось, даже отчетливо слышала, как потрескивают стены, объятые огнем. Перед глазами клубился бурый дым. Дышать было нечем. Задыхаясь, она пыталась закричать, позвать кого-нибудь на помощь. Но челюсти будто свело и совершенно исчез голос. Угасающее сознание трепыхалось-билось, тщетно пытаясь вырваться из хаоса бессмысленных видений и уцепиться за что-то спасительное и надежное. Кого, кого позвать ей на помощь? Жанибека?.. Она отчего-то робеет перед этим джигитом с острым ястребиным взглядом. Кузембаева?.. Но с какой стати? Его она даже не решится назвать по имени. Себепбаева?.. Но его она не в силах увидеть в огненном смерче, обступившем ее. Ярый огонь, жадно вытягивая язычки пламени, с треском лизнул ее по волосам...

В приступе животного отчаяния она вскочила с постели. Пол обжег ее пятки то ли ледяным холодом, то ли раскаленными угольями — разобраться в этом она не могла. В беспамятстве кинулась к двери. Что-то треснуло, разбилось, со звоном посыпалось к ногам. Голова ударилась о что-то тупое, неподатливое. Пучок ослепительно яркого пламени вспыхнул

в ее глазах, устремился ввысь, и тотчас захлестнул, накрыл ее удушливый, густой и клейкий, как смола, мрак. Слабый, как бы умирающий звук доходил еще до ее мерцающего сознания. Скрип-скрип, шур-шур, хруп-хруп... Неужели занималась еще одна заря и зарождался новый день, которых ей, Зухре, уже никогда не суждено увидеть?..

Никто не знал, что случилось в тот день, в предрассветной сутемени, в старом сосновом особняке на окраине города. Лишь через несколько дней старуха почтальон, пришедшая вручить денежный перевод от капитана дальнего плавания, наткнулась у входной двери на закоченевший труп одинокой хозяйки. А вокруг вроссыпь лежали осколки дверного стекла.

КУПЫ ДЖИДЫ

Не все ли равно, про кого говорить?
Заслуживает этого каждый из живших
на земле.

И. А. Бунин

I

Жилистый крючконосый старик в вельветовых шароварах и бешмете, опустившись на колени у изголовья свежей могилы под одинокой чахлой джидой, напевно бормотал тягучие, как смола, непонятные арабские слова. Задумчивое, отрешенное лицо его было обращено в сторону священной кублы[1]. Из-под выцветшей на солнце велюровой шляпы выглядывал краешек атласной подкладки с витиеватой надписью «Люкс».

Гортанный торжественный напев понемногу сбился на обыденную скороговорку старого беззубого человека с пришепетыванием и свистом. Вскоре старик умолк и воздел длиннопалые руки, покоившиеся во время молитвы на коленях, к небу. Потом привычно огладил ладонями сморщенное лицо. Лишь после этого, выждав подобающую паузу, горбоносый темнолицый мулла, поблескивая маленькими зеленными глазками из-за прозрачных и тонких, как пузырь, стекол очков, вдруг сурово встопорщил смиренные редкие ресницы, обвел строгим взглядом скорбящих и с торжественной дрожью в голосе спросил:

— У-а, люди добрые, ответьте: хороший ли был человек усопший Тлеу, сын Сурапалды?

Старичок с жидкой бородкой, сгорбившийся у изножья свежего могильного холмика, продолжая всхлипывать, глухо отозвался:

— Хороший... Хороший!

Горстка людей, сгрудившаяся с одного краешка пустынного кладбища, вразнобой подтвердила:

---

[1] К у б л а — сторона света, в направлении которой находится Мекка и куда мусульмане обращают лицо во время молитвы.

— Да, хороший был человек! Добрый человек!

— И еще ответьте, почтенные: кому из вас усопший Тлеу, сын Сураналды, остался при жизни должником?

— Никому! Никому!

Собравшиеся отдать последний долг, отряхивая с колен рыжеватую пыль, разом поднялись. Лишь редкобородый старичок что-то завозился, все медлил, словно никак не мог решиться покинуть красный холмик, только что насыпанный всеми сообща.

Между тем горбоносый мулла деловито расположился в кабине одной из двух стоявших рядком в сторонке грузовых машин, борта которых были наращены наспех, кое-как обструганными досками. Он укоризненно сверкнул очками в сторону нерасторопного старичка с жидкой бороденкой, как бы говоря: «Ну, долго еще ты там!» Тот, должно быть почувствовав на себе осуждающий взгляд, еще раз торопливо бросил на холмик горсть земли и, на ходу отряхивая ладони, потрусил вдогонку за всеми.

Моторы завелись, взревели одновременно. Несколько надмогильных камней-стояков, сиротливо торчавших на заброшенном кладбище, остались позади. Никто на машинах не оглянулся. Редкобородый внимательно вслушался в тишину. Все казалось ему, что погребенный выскочит сейчас из могилы и, замахав руками, крикнет им вслед: «Эй, братья-родичи, на кого меня покидаете?» Однако по всей унылой окрестности не послышалось ни единого звука, кроме надсадного монотонного гуда двух грузовиков, с трудом одолевавших вязкую супесь.

Редкобородый подсчитывал в уме: первый мушель, то есть полный цикл казахского летосчисления, составляет тринадцать лет; двадцать пять лет — два мушеля, тридцать семь — три мушеля, семьдесят три — шесть. Далее: год свиньи — раз, год мыши — два, год коровы — три, год барса — четыре, год зайца — пять...

Выходит, покойному Тлеке (да не покинут его милости аллаха и на том свете!) шел нынче семьдесят восьмой год. Считай, до последнего своего часа раздувал он усердно свой крохотный горн, похожий на ягнячью брюшину, глухо потюкивал по наковальне молоточком, время от времени ворошa раскаленные саксаульные угольа и вытирая капельки пота на лбу. И в доме его всегда было поразительно чисто, опрятно. Старые, бог весть каких времен домотканые паласы-алаша с накладными узорами играли всеми красками, будто новехонькие. А попадись на глаза Тлеке какая-нибудь соринка,

он ее, точно ядовитого паучка, подхватит, подцепит, бывало, тонкими, изящно изогнутыми щипчиками и ловко кинет в ярко пылающий огонь под горном.

Так и стоит старый умелец перед глазами — в неизменной плотно облегающей грудь безрукавке, подбитой смушкой, в белой рубахе с отложным воротником, на голове — черная круглая шапочка-такия с вложенной изнутри по краям картонкой. Серые, с пристальным прищуром глаза неотрывно, даже завороженно следят за тускло отливающей, будто слеза, плавкой в чугунном ковшике с длинной ручкой. И вдруг заученным, быстрым движением, точь-в-точь малец, поймавший в силки воробья, снимает с огня ковшик и сливает тягучее содержимое, которое с легким шипением заполняет одну из маленьких формочек, наполовину зарытых во влажную, взрыхленную землю. Потом бросает на слоящуюся на дне ковшика черную накипь щепоть холодной глины. Потом долго копается в маленьком деревянном сундучке и, выбрав наконец шершавый разноцветный камушек, кладет его на застывающее плавленое серебро и начинает подбивать по краешку деревянным молоточком.

Разговорчивостью Тлеке никогда не отличался. Переступит кто-нибудь порог его юрты — он вежливо ответит на приветствие, однако докучать длинными расспросами о том о сем не станет. И, глядя на молчаливого умельца-ювелира, всецело поглощенного своим делом, не каждый осмеливался затевать тары-бары. Только один человек в окрестности — редкобородый Кудеры,— приходя в этот дом, мог чесать языком без умолку. Разница в их возрасте составляла какой-нибудь год, а такая малость в зрелые лета не в счет, и потому давние приятели считали себя сверстниками — курдасами.

Лобастый, носатый, с большими белесыми глазами, редкобородый Кудеры ходит обычно в просторном чапане внакидку, голову обвязывает белым платком наподобие чалмы. К своему кудрасу он вваливается бесцеремонно, резко распахнув дверь, и бурчит недовольно вместо приветствия:

— Хватит тебе тюкать, слышишь! Как только голова не трещит?!

И, широко ступая, проходит в глубь юрты, на почетное место. Потом только сбрасывает с ног кожаные калоши — кавуши. Почтенный Тлеке подхватывает их попеременно кончиками щипцов и отшвыривает к порогу.

Гость, едва расположившись, тянется в карман за шакшой — табакеркой. Высыпает на ладонь щепоть бурого кудря-

вистого табака, отдающего ядовитой зеленцой, и, вытянув шею, ловко закладывает его за губу.

Тлеке, не отрывая взгляда от молоточка, покачивает головой и усмехается. Потом молча придвигает к гостю медный плоский тазик. Но Кудеры делает вид, что не замечает его. Он заваливается на бок, заворачивает край паласа и поплевывает сквозь зубы в уголочек. И пока не высосет, не впитает в себя всю ядовитую крепость зелья за губой, не обмолвится ни единым словцом. Лишь спустя минут пять-шесть выпуливает изо рта бледный комочек табака прямо к порогу, откидывает голову, укрывает лицо чапаном, как бы переводя дух, и вдруг резким голосом вопрошает:

— Эй, молчун, вконец онемел, что ли?! Хотя бы для приличия о здоровье спросил, житьем-бытьем поинтересовался...

Тлеке в ответ лишь хмыкает.

— Тут, понимаешь, тебя от новостей распирает, а этот нелюдим, бирюк и губами не пошевелит. Тебя, молчуна, должно быть, мать от немого зачала...

В юрте тихо-тихо. Только деревянный молоточек глухо и монотонно потюкивает: тук-тук, тук-тук... Кудеры, не выдержав, круто поворачивается на другой бок, лицом к сверстнику.

— Эй, ты ведь знавал мою бабу, да?

Кончики тонких усов ювелира-серебряника чуть вздрагивают.

— Тогда, надеюсь, и сына ее, Торткульбая, помнишь, которого родила после четырехлетнего замужества.

Кудеры, сверкнув белками глаз, прямо-таки впивается в приятеля. Тот укоризненно качает головой, словно говоря: «Нашел мне тоже о чем спрашивать...»

— Так вот, он хоть и звезд с неба не хватал, но тоже не последним растяпой был. А среднего моего, Алтынбека, помнишь?

И опять испытующе уставляется на мастера-серебряника. Тот досадливо поворачивается к нему боком.

— Вот он-то, родненький, весь в меня был. Да, да! Светлая была голова. Мог бы не только домашним очагом управлять, но и народом. Бывало, ребятишки в школе рассказывали, что, дескать, паршивец Токен, отпрыск Таскары, разные там примеры-задачки у моего Алтынбека сдувал. А нынче бестолочь Токен в директора совхоза выбился. Ни одно собрание на белом свете без него не обходится. Не то что в Алма-Ате, в самой Москве в рот ему заглядывают. Бабы,

сам знаешь, народ дошлый, пронырливый. Они слух пустили, будто щеголиха Токена из блескучего материала, в котором разве что артистки щеголяют, сшила себе — срам говорить — широченные штаны. Уж коли такие неучи, как Токен, совхозом управляют, то моему Алтынбеку сам бог велел во главе какого-нибудь района сидеть. Не так ли? Но... хорошие люди и всевышнему нужны. Вот и отнял его у нас, к себе призвал. А этот, меньшой мой, хоть и дожил до сорока, а все в недотепах ходит. Его не то что там дети или собственная баба, даже собака во дворе не боится. Прогонит за порог, а она на почетное место поровит.

Старый умелец, потюкивая молоточком, едва слышно фыркает. Кудеры резко высовывает из-под чапана голову, испепеляет сердитым взглядом приятеля-молчуна и тотчас отворачивается. Так он лежит долго, соображая, как объяснить насмешливое хмыканье: то ли над ним Тлеу смеется, то ли над незадачливым его сынком.

Тихо в юрте. Только и слышно глухое, монотонное — тук-тук, тук-тук. Раздосадованный этим однообразным звуком, Кудеры вдруг вскакивает как ужаленный. Хватает щипцы, лежащие рядом с ювелиром, достает и подтягивает ими свои калоши у порога, натягивает их на мягкие, как чулки, сапоги и снова тянется за табакеркой в карман. Закладывает за губу насыбай. Еще раз гневно косится на молчуна хозяина. Звучно цвиркает сквозь зубы. И, хлопнув яростно циновкой-пологом над дверью, решительно уходит.

Только тогда Тлеу поднимает голову. Смотрит туда, где сидел гость. И если заметит на домотканом узорчатом паласе какую-нибудь соринку, подцепит ее длинными щипцами и бросит на пылающие угольях.

Таков он, Тлеу. Часами, днями сиднем сидит на своем месте. И такой он давно. Можно сказать, с самого рождения. Однако было время, когда неутомимый умелец, ювелирных дел мастер вынужден был загасить горн и отодвинуть свой заветный сундучок подальше, в уголок под деревянной подставкой...

Да и с тех пор прошло много лет. Только что кончилась затянувшаяся война. Вернулись уцелевшие в невиданной бойне мужчины. И вскоре люди вновь вытащили на божий свет завалявшиеся на дне сундуков и ларцов серебряные монетки и слитки. И снова появилась нужда в старом умельце и его маленьком закопченном горне. И каждый раз, когда через порог переступал заказчик, сердце старого мастера тревожно сжималось. Однако помалкивал, виду не

подавал. Бледнела лицом, замыкалась и старуха Зейнеп, склонившись над выкройкой свадебного платья для очередной аульной невесты, молчала, стараясь не выказывать своего горя. Длинными вечерами горбилась над швейной машинкой при подслеповатой керосиновой лампе.

От единственного их сына Тлепалды вестей все не было. Были только разные кривотолки.

Редкобородый Кудеры, к примеру, рассуждал так: «Мой Алтынбекжан и твой Тлепалды, сам знаешь, не имели себе равных в учении. А способных людей в армии всегда сразу подмечают. Значит, надо полагать, их назначили командирами и заставили драть горло: «Ать-два!» Говорят, сам наш вождь, усатый аксакал, распорядился оставить способных и деловых джигитов в армии, а всяких там неучей и растяп, только и годных на то, чтобы размахивать хворостиной, отправить домой, в аулы. О, этот аксакал, вождь наш, все знает, сквозь землю все видит!»

Тлеу, со свистом раздувая горн, про себя думал: «Может быть, и так. Однако, будучи таким прозорливым и умным, неужели наш аксакал не понимает, что четыре долгих года сражавшихся по щиколотки в крови молодцов следует хотя бы разок показать иссохшим от тоски и тревоги старым родителям?»

Ни одна весть, ни одна новость не минует ушей редкобородого Кудеры. Стоит ему отойти хотя бы на версту за аул в поисках верблюдицы, как возвращается домой с целым мешком новостей со всего света. Как-то он вернулся подавленный, опечаленный, с синими кругами под глазами. Выцедил полчашки кумыса и вдруг всхлипнул, затрясся плечами.

Зейнеп всполошилась:

— Эй, что стряслось? С чего это сырость развел?

У Тлеу на этот раз даже кончики усов не дернулись. Затаил дыхание. А Кудеры, подняв голову над чашей с недопитым кумысом, поведал:

— Точь-в-точь как в канун войны. Весь город бурлит. Все на ногах. Говорят, эти лихоимцы за океаном от радости швыряют шапки в воздух. Дескать, такую бомбу придумали — страшнее, чем всемирный потоп. Ликуют бешеные псы: мол, теперь заткнем красных за пояс. И тогда все лысоголовые ученые на всей земле обратились ко всем смертным с письмом: «Каждый, кто против новой мировой войны, пусть поставит на бумаге свою подпись». Возле почты подошел ко мне парнишка, и я тоже приложил к бумаге свой палец.

«Ну, конечно, при виде расплывшегося отпечатка твоего

большого пальца американцы, какими бы лихоимцами ни были, мигом подожмут хвосты...»

Подумав так, Тлеу дрогнул было, по обыкновению, кончиками усов, но, заметив слезы на глазах сверстника, тотчас смахнул усмешку.

— Видно, неспроста задерживаются наши сынки. Да и этот всезнайка Салых, налоговый агент, говорит, будто нынешняя осень крайне опасна.

В груди Тлеу захолонуло, будто кто-то плеснул ледяной водой. Зейнеп отвернулась. И говорливый Кудеры умолк. Словно разом онемели трое стариков от недоброй вести.

Но осень того года прошла мирно и благополучно, если не считать обвальных ливней после стрижки овец, унесших кое-какую чахлую скотину. Чуткий ко всему, что происходит на белом свете, Кудеры успокоился, однако, лишь тогда, когда выпал в их краю обильный снег. Он был убежден, что злыдень враг если и сунется, то лишь в такую пору года, когда можно двигаться беспрепятственно. А в мороз, когда еще и сугробы по колено, никакой безумец не рискнет выступить в поход.

Однажды по первопутку он отправился было на охоту, однако, минуя многочисленные кустарниковые заросли и прогалины по пути, поспешно свернул к становищу сверстника.

— Эй, молчун, что слышал, что вызнал?

Но выкладывать новости не спешил. Сидел, выпучив глаза. Зейнеп вся вытянулась, насторожилась, надеясь услышать от чем-то явно возбужденного гостя добрую весть.

— Теперь-то я понял, почему от наших щенков ни слуху ни духу. Нашелся братишка крючконосого налогового агента. И где бы вы думали? Аж за Сибирью! Вот куда дьявол забрался. А там он обзавелся синеглазой вдовой с дочкой от первого мужа. Был как перст, один-одинешенек, ни кола ни двора, а заполучил сразу кобылицу, да еще с жеребенком в придачу. Каково?! Карточку, говорят, прислал. Сидит довольный такой, рот до ушей. Вот и наши пострелы небось не спят в обнимку со своими голыми коленками. Тоже, видно, за чью-то юбку уцепились. Отцов-то, что могли бы им высватать молоденькую да черноглазенькую, под боком нет. А вдовых баб сейчас больше, чем кизяку в степи. Какая-нибудь и прибрала-приворожила наших удальцов. Да, да, вот увидишь. А признаться, написать об этом — стесняются сородичей. Ну и затаились щенки. Помалкивают...

Кудеры, протянув озябшие руки к огню под таганом,

задумался. Потом вдруг громко фыркнул, усмехнулся своим думам.

— Поганец трусливый... И чего стесняться? Ну, самое большее, уродятся мои внуки синеглазыми. Ну, самое худшее, не согреет сноха мне воды для омовения. Ну и что из этого?! Подумаешь... А он, дурень, робеет... В родню свою материнскую пошел...

Неожиданное предположение сверстника омрачило старого умельца. Руки стали непослушными. Работа не пошла. В глазах туманилось. Он быстро сложил инструменты в деревянный сундучок и откинулся на подушки, скрестив пальцы на животе. Послышались ему с детства знакомые благодарности и благие пожелания: «Да посетит тебя счастье!», «Да воздаст тебе всевышний!», «Да осуществятся все твои желания!», «Да множатся твои потомки!..» С того самого времени, как он помнит себя, как удостоился чести сливать воду на руки почтенных из черного кумгана, он слышит от людей одни лишь добрые слова. А взрослым стал и овладел с божьей милостью редким ремеслом — и вовсе никому ни в какой просьбе не отказывал. Потому благодарные люди не скупились на пожелания ему всевозможных благ и щедрот. Правда, сам умелец Тлеке не совсем ясно себе представляет разницу между признательностью людей и воздаянием аллаха. Но слышать слова благодарности ему всегда приятно. Особенно радуется его душа, когда ему желают процветающего потомства. Это так понятно и заманчиво! И действительно, если дом твой наполнен детским лепетом и гомоном, если ватага чернопузой малышни, посапывая носами, окружает тебя со всех сторон, цепляется за подол, хватает за руки, садится на голову, а ты только и заботишься о том, как бы прокормить эту ораву, и если потом, в положенный час (какому смертному удавалось уйти от судьбы?!), она, с честью и достоинством оплакивая, предает тебя земле, то можно ли сыскать для человека более счастливой доли? И в последнее время даже во сне ему снится шумная гурьба чернявых мальцов. Один из них хватается за напильник, второй — за тесло, третий молоточком постукивает, четвертый щипцами размахивает, еще один в деревянном сундучке роется. В другой раз они, когда он, проверив капканы, возвращается домой, весело выбегают навстречу, и смоляные их чубчики потешно вздрагивают, развеваются. А то, бывает, оседлав стригунков, врассыпную скачут по безбрежному раздолью пустынной степи. Словом, во сне в юрте его шумно и весело, как на базаре. А проснется — все та же

выморочная тишина. Все та же чистая, прибранная, будто вылизанная юрта. И за одиноким становищем на краю пустыни не видно ни лошадей, ни стригунков, кроме понуро пасущейся рабочей клячи.

И пусто, тоскливо становится на душе старого мастера. Э-э, что там ни говори, но единственная радость и единственный смысл в куцей, как хвост чесоточного стригунка, человеческой жизни — любить и растить потомство. Все остальное — зыбко и обманчиво, так себе, мишура, вроде тех красивых безделушек, которых он за свою жизнь наделал бессчетное количество в утеху девкам и молодухам. Только дитя, живая плоть твоя, родная кровинушка, способно радовать тебя при жизни и утешить в смертный час, ублажая дух твой. Даже тот, что дерзко бросает вызов времени, уповая на свою славу, на дар и талант свой, обречен на поражение, а на победу в борьбе с забвением он может рассчитывать лишь в том случае, если оставляет за собой потомков.

Только в этом случае оправдано суетливое человеческое существование на земле, если повседневный труд человека обращен на добычу пропитания для потомства. Похвально, конечно, коли своими способностями и стараниями достигнешь большего, но и это опять-таки на благо тех же потомков твоих. Если же, наоборот, сил и умения хватает лишь на то, чтобы сберечь тепло в очаге и удовлетворить немудреные потребности голопузой малышни в доме, и то уже не зря коптишь небо, не зря пришел на белый свет. Немилостивой оказалась судьба к умельцу Тлеу. Единственный отросток на его ветви — Тленалды. Да и того вот уже столько времени след простыл. Об одном лишь молится старый мастер: пусть наградит всевышний многочисленным потомством Тленалды. Пусть все милости и благодарности людские, заслуженные ювелиром-серебряником за многие годы, падут на его единственного сына.

Странно все-таки создан человек. Пока он холост, чудится, что самая красивая девушка на свете достанется ему, а самые красивые и удачливые дети родятся от него. А потом, когда молодость уже осталась за горами и впереди маячит скудная на радости старость, начинаешь надеяться, что сын одарит тебя самыми красивыми внуками. Утешаешь себя тем, что недоставшееся тебе непременно достанется сыну. То, что ревниво оберегаешь от других, в мыслях охотно передаешь своим детям. Лишь бы бог не обделил тебя счастьем любить и ласкать потомство. Лишь бы не обрек на одиночество. Нет страшнее кары, чем лишиться надежды.

Замкнутый, неразговорчивый старик Тлеу в мыслях своих часто благодарит создателя за то, что осчастливил его Тленалды. Пока сын жив и здоров, есть еще надежда обзавестись потомством, еще может наполниться дом веселым гомоном. При виде здорового, миловидного ребенка в аулах старик каждый раз ловит себя на мысли: «Эх... был бы и у меня такой внук!»

И теперь вот его болтливый сверстник своими неуместными предположениями враз разбил, разрушил взлелеянную в сердце мечту, смутил душу, развеял дивное видение перед взором, словно зеркальная гладь озера покрылась рябью под неожиданно налетевшим ветром. Старый мастер так растерялся, что не находил себе места, и все вдруг стало валиться из рук. И в жизни дальнейшей, мнилось, не было уже никакого смысла. Он словно оцепенел, отупел. Привычные мысли разбежались. Целыми днями лежал он неподвижно, как в забытьи. Лишь глубокой ночью, и то ненадолго, смыкались его веки.

Он как бы погружался в короткую дрему. И даже снилось ему что-то зыбкое, неопределенное. Просыпался как в дурмане, не в силах связать обрывки неясных дум и видений. Однако вскоре все эти смутные видения обрели более ясные и определенные очертания. Ватага неугомонных сорванцов, все сплошь светлолицые, голубоглазые, с ковыльными чубчиками, резвилась на почетном месте его юрты, увлеченно копалась в его наполненном всякой всячиной деревянном сундучке. Аульные балагуры из стариков-ровесников иногда пошучивали, дескать, на твои поминки твои белобрысые внуки наверняка заколют свинью, а мулле, сотворившему поминальную молитву, преподнесут на деревянном подносе не баранью голову, как принято у правоверных, а поросячью. От таких шуток Тлеу становится не по себе. Нередко он просыпается с мокрой от слез бородой. Днем же под монотонный стук молоточка он понемногу успокаивается и про себя думает: «Ну и что? Мало ли на свете рыжих, светлоглазых казахов? Кто их упрекает за неблагородное происхождение? Разве их изгоняют из родного края? Когда наступит час отправления к предкам, откуда нет возврата, разве не все равно, какие сородичи тебя оплакивают — черноглазые или синеглазые? Важно, что на земле остается плоть от плоти твоей...»

От таких дум наступало в душе облегчение. Готовые к усмешке при бестолковом треньканье Кудеры кончики усов начинали чуть-чуть вздрагивать от прилива нежности, и напря-

жение в теле спадало, и благодушие и умиротворенность растекались по телу.

Прошла еще одна зима. Наступила весна. Тлеу покинул плоскокрышую, тесную зимнюю мазанку, перебрался в юрту в раздольной степи. Как-то Зейнеп, собиравшая по окрестности хворост, вернулась с тревожной вестью: за перевалом показалось несколько всадников.

С грохотом бросив вязанку хвороста возле котла, она снова поднялась на ближний холмик.

— Старик! Эй, старик! Путников что-то не видать.

Через некоторое время опять отозвалась:

— Из низины за аулом доносятся голоса. Может, они?..

Тлеу на мгновение задумался. В краю Великих песков никто не зимует. Скотина обычно пасется вдалеке, там, в зарослях кустарника. Лишь в знойные месяцы прибывают сюда косари. До той поры на затерянном клочке земли между песками и плоскогорьем не обитает ни одна живая душа, кроме него да егеря и сторожа Кудеры. А его стоянка находится отсюда на расстоянии однодневного пути. Откуда бы взяться в столь неурочный час каким-то путникам? Значит, неспроста это. Может, Тлепалдыжан...

Дрожь кинулась в руки старика. Он машинально схватил длинные щипцы и поворошил уголья под горном.

И Зейнеп умолкла. Топот конских копыт приближался. Всадники тихо подъехали к юрте.

Зейнеп учтиво откинула полог. Четверо или пятеро стариков во главе с Кудеры, сдержанно здороваясь, прошли на почетное место.

Тлеу в ответ на приветствие едва шевельнул губами. Выдернул из угольков щипцы. До боли сжал пальцы. Сгорбился весь в предчувствии беды. Серолицый косатый старик посередке, откашливаясь, глухо заговорил. Говорил долго. Белесые глаза Кудеры опухли, воспалились. Сплошь в кровавых прожилках. Жидкая бороденка мокра от слез. Запахло вдруг горелым. Возле груди будто огнем обожгло. Тут только Тлеу заметил, что нечаянно прижал к груди кончик раскаленных щипцов. Тлела белая рубаха, прожженная насквозь. Тлеу досадливо отшвырнул щипцы...

С того дня грудь постоянно ныла. Будто кто-то прикладывал к ней раскаленное железо. Однажды, натягивая на себя свежую рубаху, заметил на груди два небольших серповидных шрама — следы ожога.

Отныне ему уже не снились белобрысые синеглазые пацанята с ковыльными чубчиками. Не копошились у его ног.

Не рылись в деревянном сундучке с его инструментами. Исчезли и балагуры-старики, показывавшие во сне на него пальцами, ухмылявшиеся в усы и болтавшие бог весть что. Вообще никакие сны ему уже не снились. Да и наяву он мало чего видел и замечал. Да и что было видеть и замечать?.. Пусто вокруг... Голо... Мертво...

Он даже не знал, куда девался заветный сундучок: то ли под землю провалился, то ли на небо взлетел. Краешком глаз замечал, что в пору сенокоса в их юрту робко входили девушки и молодки. И еще видел, как старуха тихо выпроваживала их, кивком головы указывая на скорбного хозяина.

Старый мастер и раньше слыл молчуном, а теперь и вовсе умолк, будто дал обет молчания. Должно быть, когда объявили ему черную весть, от которой помертвело все в груди, невыплаканные слезы застили ему белый свет: все живое и мертвое вокруг воспринималось тускло, расплывчато, как в дурном сне. Иногда чудилось, что в хилой груди вконец отощавшего скорбного старика поселилось некое чудовище и если он будет днями и неделями все так же неподвижно сидеть у потухшего очага, то оно, мохнорылое чудовище в груди, подхватит его однажды и унесет бог весть куда. Оно изо дня в день росло и крепло в нем, подтачивало остатние силы, но и старик упрямился, стискивал зубы, даже дыхание сдерживал, чтобы не вырвался невзначай тяжкий стон. Он не испытывал страха, наоборот, с презрением и злорадством прислушивался к неистовству чудовища, изгрызавшего его изнутри, и больше всего опасался выказать унизительную слабость, ибо был готов с упрямым молчанием окаменеть на месте или лопнуть от нестерпимых боли и мук. Но, видно, и таинственное чудовище, поселившееся в нем с того черного дня, оказалось недостаточно сильным: оно не могло ни разорвать тщедушного старика, ни превратить его в камень. Днем он сидел серый, оглушенный и онемевший от горя, а ночью, во сне, неслышно плакал. Когда лицо становилось влажным от слез, он просыпался в испуге и потом до самого рассвета, не смыкая век, тупо глядел в потолок. Тогда казалось, что невидимое чудовище в нем, наконец, одержит верх, вот-вот крепко свяжет его по рукам и ногам и покатит, будто куст перекати-поля, в черный овраг. Старик явственно чувствовал, как легкое, иссохшее тельце его цепенеет, наливается чугунной тяжестью.

В такие минуты приходил на ум предок Утеу. Когда предка настигла небесная кара, отняв у него последнего, седьмого, сына, он несколько месяцев пролежал в юрте молча

и неподвижно, отвернувшись лицом к стенке, подложив под голову седло и обхватив руками грозную секиру. Рядом, распустив волосы, голосила днем и ночью неутешная жена. Он не вторил ей и не успокаивал ее. Он настолько привык к скорбному душераздирающему плачу, что слышал его даже тогда, когда жена впадала в короткое забытье. Порою его била дрожь, будто несметное количество пиявок вонзилось в его большое тело. Лицо искажалось от боли. Слезы душили его, раскаленными углями жгли грудь, тщетно искали выхода и, не найдя его, доводили терпеливого батыра до отчаяния. Поделиться своей болью, своими душевными муками с женой он стеснялся. Баба, она ведь и есть баба. Оставаться же со своим горем наедине, держать всю боль в себе становилось выше его сил. Казалось, боль сведет его с ума или испепелит, превратит в прах, в труху. Тогда батыр, засунув секиру за пояс, вышел из траурной юрты. Направился к купам джиды на краю пустыни. И вернулся домой лишь вечером, волоча за собой иссохшее деревце. Старуха изумленно провела пальцем по краешку рта, не понимая, что задумал ее строптивый старик.

На следующий день Утеу с увлечением принялся за дело. Сначала разделал иссохшую, твердую джиду на тонкие, как дынные корки, дранки. Потом начал обрызгивать их водой. Деревце высохло до звона, и дранки никак не обретали желанной гибкости. Но старый батыр был терпелив и упорен. Он набирал из кумгана воду в рот и целыми днями сосредоточенно спрыскивал тонкие джидовые дранки. Наконец они потемнели от влаги, стали податливыми. Батыр придавил их посередке тяжестью, засыпал влажной землей. Через несколько дней выкопал: дранки были упруги и гибки, точно прутики. Батыр сжимал их по краям, понемногу гнул, пригоняя плотно друг к другу, обстругивал острым как алмаз клинком. И вот однажды из-под рук его вышел аккуратной продолговатой формы кузовок домбры. Поверх кузовка он наложил тонкую крышку из сухой фанеры.

К годовщине со дня смерти последнего сына Утеу стояла, прислоненная к стенке юрты, новехонькая звучная домбра с большим овальным кузовком, длинным грифом, точеной головкой. Хозяин приказал старухе жене тщательно промыть кишки только что зарезанного крупного барана, туго скрутить их на прялке-юле, потом отмочить на пару́ и высушить их в прохладе, в тени. Через несколько дней на хорошо просушенную на сквозняке домбру Утеу натянул упругие струны из кишок. Жена сварила в казане мясо барана, наложила

дымящиеся куски на деревянный поднос, и после полудня, в час предвечернего намаза, скорбные старики отправились на бурый холмик неподалеку поминать своих детей. Они опускались на колени попеременно перед всеми семью могилками, молились, бормоча известные им арабские слова. Потом, как подобает истинным правоверным, отведали по кусочку жертвенного блюда и, сложив ладони перед лицом, сотворили благодарственную молитву. И угощать некого, и раздать подаяние некому. Потому старики высыпали оставшуюся пищу у крайней могилки и понуро побрели назад к неказистой одинокой юрте в выгоревшей низине. Старик брел впереди, старуха семенила сзади. Рядом маячили в предзакатный час две неуклюжие тени.

Придя домой, Утеу взял в руки дожидавшуюся своего часа домбру. Едва корявые, сильные пальцы, больше привыкшие к батырскому оружию — клинку, копью и секире, ударили по струнам, домбра заговорила-запела глухо и печально. Скорбные звуки наполнили тихую юрту. Казалось, из груди неутешного отца выплеснулась разом вся тоска, вся горечь отчаяния и боли. И каждый звук будто облегчал муку, непроницаемыми пластами сковавшую душу. Густая невидимая пелена перед глазами словно спадала, развеивалась. До предела натянутые жилы, казалось, ооослабли. Что-то в глубине груди смягчалось, оттаивало. Скорбный, саднящий душу плач одинокой домбры пробирал до костей.

И вдруг Утеу услышал отрывистое всхлипывание и испугался. Тотчас прекратив игру, поднес правую руку к глазам. Они были сухи. Недоумевая, он посмотрел на старуху. Она, подперев бока руками, горестно покачивалась и исходила слезами.

Утеу вспылил и одним махом переломил предательскую домбру о колено. Мужчина не должен показывать свои слезы. Но и скорбь души своей ему не положено никому изливать.

Отныне сдержанный и суровый старый батыр тщательно скрывал свою боль и тоску даже от старухи, верной спутницы его горемычной жизни. И все же один он не мог справиться со своим безмерным горем. Казалось, не наступит облегчение, пока острая, жгучая боль в груди не пробьется, не прорвется наружу.

И когда старуха уходила собирать кизяк или хворост или отправлялась выгонять скот на выпас, Утеу крадучись подходил к пустой унылой отау — юрте для молодых, по обычаю стоявшей по соседству, выламывал из боковины тростинку и начинал делать из нее дудочку-свирель. Стоило же старухе

показаться из-за холма, он тотчас прятал дудочку в кинах старого закопченного войлока.

Существует давнее поверье: дудочка из тростника, вынутого из боковины траурной юрты, обладает особой звучностью и певучестью. Это оказалось сущей правдой. Достаточно было поднести дудочку к губам, как она заливалась на все лады.

Однако вскорости старуха вызнала тайну старика. Она делала только вид, что уходит собирать кизяк, а сама, притаившись за первым же барханом, вслушивалась в заунывную, бесконечную песню печальной дудочки и тихо и долго плакала, смывая слезами коросту горечи на сердце.

Когда возвращалась домой, старик, как обычно, возлежал на почетном месте со спокойно-равнодушным видом, словно ничего не произошло. Наутро старуха снова хваталась за мешок и, мелко-мелко семеня, спешила за горбатый бархан собирать кизяк, хотя во дворе топки накопилось с добрую гору.

Старик догадался о немудреной хитрости старухи. Он теперь с дудочкой за пазухой уходил к купам джиды. Там бил из земли крохотный родничок. Возле него Утеу и сидел часами в полном одиночестве, поигрывая на заунывной дудочке. Перед заходом солнца он прятал дудочку в заброшенном мазаре возле рощицы джиды и, немного успокоенный, брел домой. И вот однажды дудочки не оказалось на месте. Здесь обычно не появлялась ни одна живая душа. Только раз-другой в году проезжали караванщики между безлюдной степью и ханским базаром в восточном городе. Видно, кому-то из караванщиков и досталась дудочка батыра Утеу.

Густобородый вожатый каравана, услышав унылые звуки свирели, прикрикнул на мальчишку:

— А ну брось! Не мути душу! Народ испугаешь...

Погонщик верблюдов, малец с истрескавшимися пухлыми губами, поспешно сунул находку за пазуху.

А на следующий день, уединившись у склона перевала за аулом, погонщик отвел душу, во всю мощь юных легких играя на дудочке. Охотник Акпан, возвращаясь домой, круто остановил коня.

— Эй, пострел, откуда она у тебя?

Погонщик сказал всю правду.

Охотник, огромный долговязый мужчина, вдруг припал к гриве коня и, содрогаясь в плаче, медленно отъехал.

Он понял, о чем так надрывно пела одинокая свирель. Мужественному, но бездетному старшему брату, жившему

из-за обиды на создателя изгоем в безлюдной пустыне, охотник Акван передал одного из своих сыновей.

То был прадед Тлеу — Сактап.

Старый батыр воспрял духом и отныне крепился, не подавал виду, пока приемному сыну Сактапу не исполнилось шестнадцать лет. Детский лепет и гомон наполнил еще недавно тихую, как могила, юрту радостью. Старик распрямил согбенные плечи, вскинул поникшую от горя голову. Снова занялся хозяйством. Жизнь обрела смысл. И пока сын не окреп, не оседлал, как подобает мужчине, коня, старый батыр не знал покоя. Лишь убедившись, что Сактап вполне созрел для самостоятельной жизни, он свалился сразу, в один день, точно подрубленное дерево. Однажды, возвращаясь с охоты, Сактап услышал неподалеку от их одинокого становища странный заунывный напев. Он застыл в недоумении. И не шелохнулся, пока не оборвалась, постепенно угасая, скорбная, тоскливая мелодия. Когда вновь наступила тишина, юный охотник подошел к юрте, переступил порог и увидел прислоненную к стене длинношеюю домбру и неестественно застывшего на высоком деревянном ложе отца. Юноша догадался, что скорбный кюй играл, прощаясь с жизнью, одряхлевший батыр, при сыне никогда не бравший в руки домбры...

Сактап вырос дерзким, острым на язык. Этим и прославился во всей округе. Как-то неосторожно задел он за живое бродячего баксы-шамана, и тот его проклял, и проклятие возымело силу: дети Сактапа умирали малолетними. Последнего сынишку, родившегося, когда отцу было уже шестьдесят лет, пронесли, по обычаю предков, под сорока закопченными казанами, поили молоком сорока женщин и, наконец, подложили под брюхо только что ощенившейся рыжей суки и даже кличку дали собачью — Сырттан. Только таким образом удалось отвести кару. Сырттан выжил. В юрте его вместо привычного батырского копья впервые появился кузнечный горн. В честь знатного предка высватали ему пять девушек из пяти богатых и влиятельных родов. Но ни от одной из них не имел он детей. Была опасность, что на нем оборвется род, обрушится дедовский остов — шанрак, и тогда по воле мудрых старцев отдали Сырттану дитя, рожденное согрешившей девкой из соседнего аула.

То был отец Тлеу — Сурапалды.

Происхождение его так и осталось тайной. Унаследовал он, однако, и музыкальность Утеу, и редкостный дар ювелира Сырттана. Рос он беспечным гулякой, рожденный гулящей

девкой, искусно играл на домбре, лил серебряные кольца, ковал серьги, шил изящные, с узорами сапожки, прославился как умелец, мастер на все руки, но таинственный злой рок упрямо преследовал и его: тоже не имел детей и потерял надежду когда-либо их иметь. Тогда родичи по материнской линии передали ему на воспитание мальчонку.

То был сам Тлеу.

Вот так причудливо, из разных племен и родов, низовий и верховий сложился этот худородный клан, до сих пор именуемый аулом славного батыра Утеу. С благословения всевышнего, по доброй воле людей тянется эта хрупкая нить, и не обрушился остов ветхой юрты, по-прежнему стоит она на открытом всем ветрам краю пустыни. Неподалеку, на буром пологом холмике, темнеют семь могилок — семерых сыновей батыра, умерших один за другим от черной оспы. А с другой стороны, к западу, раскинулось кладбище более дальних потомков Утеу. Это все, что досталось в этом безбрежном мире его роду-племени,— два кладбища и неказистое становище посередине. Аул мертвых достаточно внушителен, а вот в ауле живых никогда не бывало более четырех-пяти юрт, и то главным образом благодаря токал — младшим женам. Теперь наступили иные времена, и Тлеу, не в пример своим предкам, лишился возможности взять себе несколько жен, и потому при нем аул сократился до одной-единственной невзрачной юртешки. Поставил было рядом отау — юрту для молодых, надеясь, что Тлепалды увеличит со временем численность семьи, но не суждено было сыну вернуться с войны...

И вот лежит, свернувшись в клубок, горемычный Тлеу на подстилке, лежит целыми днями, и белый свет ему не мил. Иногда насторожится, прислушается — за стеной ни звука, тишь и благодать, и только в сердце — муть и тоска. Только душа ноет, воет, скулит, как одинокий пес на заброшенном становище.

А со временем вдруг убедился: какой-то потусторонний заунывный звук, то усиливаясь, то слабея, вторил его неутешному, беззвучному плачу. Тлеу вслушивался внимательнее: странный, однако, звук, не похожий на звуки домбры, или кобыза, или сырнай-свирели. Но моментами, особенно если слушать долго, все же напоминал и домбру, и кобыз, и сырнай-свирель. А то вдруг смахивает на монотонный вой исступленного баксы-шамана, призывающего духов. Впрочем, нет... нет... Это скорее горький плач раздавленной бедой женщины.

Тлеу незаметно покосился в сторону жены, сидевшей

обычно на своем месте неподалеку от котла. Она и сейчас склонилась над рукодельем.

Тлеу обеспокоенно поднял голову. Повернулся на другой бок. Прислушался. Потом сел. Опять прислушался. Наконец решительно встал и вышел.

День был ветреный. После покоса степь казалась особенно неприглядной. Вдали бугрились, уходя за горизонт, барханы. В давние времена здесь была круглая как чаша травянистая низина, но пески настойчиво наступали, надвигались со всех сторон, выравнивая местность, превращая ее в плоскогорье.

Видно, оттого, что вышел налегке, Тлеу вскоре почувствовал, что озяб. Сильно щурясь, он взглянул на солнце. И в это время опять явственно расслышал заунывный, занудливый звук. Тлеу вздрогнул, будто за спиной его завыл волк. Оглянулся: кругом, куда ни смотри, безбрежные дали. Низина сплошь покрыта желтеющей колючей стерней. В стороне на чахлом кустике трепыхался на ветру иссохший клочок газеты. По ровной стерне временами будто пробегала дрожь.

Стоять как вкопанному на одном месте было вроде как неприлично, и Тлеу пошел наугад в сторону куста, на котором трепыхалась пожелтевшая газета. Она была небольшая, величиной с детскую пеленку, и старику нежданно подумалось, что она районная. Он даже усмехнулся своей догадке, с привычным «Бисмилля!» потянулся кончиком пальца, приподнял газетку и только тут увидел наполовину зарытую в песок бутылку из-под криолита. Это из нее извлекал ветер бесконечный и однообразный заунывный звук. Тлеу поморщился от досады. Потом схватил бутылку за горлышко и с размаху швырнул к чумазой земляной печке, черневшей неприглядным пятном в стороне. Заунывный звук, навевавший тоску, тотчас оборвался.

Вернувшись домой и вновь устроившись в своей теплой постели, Тлеу опять прислушался. Ни звука снаружи. Все та же опостылевшая, одуряющая тишина. Теперь он даже испытывал тоску по недавнему заунывному звуку. Какое-никакое, а вроде разнообразие в монотонной их жизни. Выморочная, словно потусторонняя, тишь могла кого угодно свести с ума. Она преследовала и ночью во сне. Просыпаясь, он прислушивался с неясной надеждой. Ну, может, какой-нибудь шорох привлечет его внимание?.. Лишь однажды возле кучки золы перед юртой раздался бойкий стрекот птицы козодоя. От неожиданности он даже не разобрал, радость или горе предвещала ночная вещунья. Откуда бы радость? Ведь нет у него снохи, способной разродиться сыном. Да и

какое еще может быть горе? Не велика печаль, если даже двое никому не нужных стариков в безлюдной пустыне возьмут да и околеют однажды. Так что впустую надрывается глупая ночная птица, сторожащая покой заброшенного кочевья...

Он вновь забылся в коротком неспокойном сне. Ему чудилось, будто он барахтался в какой-то бесцветной клейкой жиже, похожей на яичный белок. Все предметы вокруг лишились привычных очертаний. Он даже сам себя ощущал будто размытым, растворившимся в этой неприятной вязкой массе, засасывавшей как топь. Только где-то в уголке сознания мерцала совсем не страшная догадка: может, это и есть то самое мгновение, когда душа покидает бренную плоть? Но каким образом так неожиданно и быстро подкрался к нему роковой час? И где тот жуткий адов мост, по которому обязаны пройти все грешники? И где увешанные побрякушками строгие ангелы Мункир и Накир, ведущие учет всем добрым и черным деяниям? И что он скажет в предсмертное мгновение Мункиру и Накиру? Ведь жил он вполне праведной жизнью и в лихолетье как мог помогал вдовам и сиротам, бедным и страждущим — накладывал, как говорится, заплатки на прохудившуюся жизнь и заслужил немало благодарностей. Изо дня в день только и слышал: «Да исполнятся все твои желания!», «Да множится твое потомство!» А какие у него были желания, кроме того, чтобы живым и здоровым вернулся с войны Тлепалды? Вернись же он — наверняка умножилось бы и его потомство... Выходит, все эти людские благодарности и добрые пожелания, заслуженные им за многие годы, не в состоянии заменить счастливое мгновение хотя бы в смертный час лицезреть свое кровное дитя. А может, он сейчас как раз вплывает в хваленые райские врата? Может, скажутся сейчас людские благословения и попадет он в рай, где, сказывают, встречаются родные и близкие? Вспомнились назидательные слова горбоносого муллы, приезжавшего с горестной вестью: «Не гневи создателя. Не сетуй на то, что не свиделся с сыном. Может, встретишься с ним, невинно убиенным, в благословенный час рассвета в райском саду». Да, да, должно быть, сейчас наступит тот желанный миг... По-прежнему он плыл-барахтался в прозрачно-смутном пространстве. Однако чувствовал, что вокруг понемногу темнеет, как во взбаламученной воде. Он напряг зрение, вглядывался в сутемень, но ничего различить не мог. Не-ет, не надо ему рая. Пусть только покажут, хотя бы на мгновение, его единственного, ненаглядного, а там... там

пусть швырнут в адов огонь — рентать не станет... Недавняя прозрачная белковая жижа все густела-густела, вот она стала похожа на свернувшееся молоко, а потом понемногу,— на бурую вязкую грязь болота. Казалось, черная пучина заглотит, засосет его. В груди что-то сжалось, заныло так, сладкобольно. Что это? Страх? Но ведь он давно, уже, кажется, смирился со смертью. Так отчего он вдруг испытывает тревогу? Отчего так тесно в груди, а к горлу подкатывает сухой комок? Отчего дрожит подбородок? Ах, вон оно что... Его берет тоска от страха, что превратится сейчас в прах и уйдет в сырую землю, так и не увидев ни на том, ни на этом свете своего единственного сына. Вдруг... О аллах... астапыралла!.. Опять пробился, просочился откуда-то скорбный напев. И опять он насторожился, весь в слух превратился. Откуда ему быть-то, скорбному напеву? Разве разжиженная глина звучит? Разве черная земля, заглатывающая в свою утробу всех и вся, не изначально нема? Или напев этот, такой тонюсенький и заунывный, льется из его груди? Сколько в нем боли, безутешной печали! Душа замирает, волосы на макушке шевелятся, и знобкая дрожь пробегает до самых пяток. Что-то очень знакомое слышится в этом наигрыше. Он, кажется, слышит его не впервые, а знает его издавна, может, с самого рождения... А густеющая глина все плотнее обступает его, хватает сырыми, холодными лапами за горло, норовит зажать рот. Внизу разверзлась черная пучина. Он взмахнул руками, рванулся из последних сил...

Темная безлунная ночь. Легкий ленивый ветерок улегся. Старик резко отшвырнул глухое одеяло, которым был укрыт по самые глаза.

В нем все еще теплился, отзываясь эхом, скорбный наигрыш. Казалось, кто-то тихо-тихо плачет, захлебываясь слезами. Тлеу приподнял голову, напряг слух. Потом посмотрел на жену, спавшую по обыкновению возле очага. Она свернулась в комочек и ровно, едва слышно, посапывала. Старик снова уронил голову на подушку и тотчас опять уловил знакомый наигрыш. На этот раз он, кажется, узнал его. Да, да, наконец узнал. Это был кюй покойного отца. Прикованный неизлечимой болезнью к постели, он незадолго до кончины подозвал сына к себе и попросил подать домбру, висевшую на верхней решетке юрты. Потом с трудом поднял высохшую от долгой хвори грудь, прислонился спиной к тюку и, взяв в ослабшие, узловатые руки домбру, будто оглаживая слегка две струны, тихо сыграл кюй. Наигрыш был мальчику незнаком. И напоминал он слабое дыхание

чем-то очень взволнованного и удрученного человека. Поражали искренность и простота кюя. Печаль пробирала до костей. Умирающий старательно играл его вновь и вновь, как бы приковывая внимание к каждому звуку, к каждому такту и переходу. Потом, вконец утомившись, передал домбру в руки сыну, привыкшему больше всего иметь дело с кузнечным горном и молотком. Отец заставил повторять кюй вновь и вновь. И лишь после полудня, убедившись, что сын в какой-то мере затвердил кюй, удовлетворенно кивнул головой и откинулся на подушку. Отдышавшись, притянул руку сына к себе.

— Запомни: это «Мелодия скорби», сочиненная твоим прапрадедом Утеу, когда у него умер последний, седьмой, сын. Не забудь. Передай своему сыну. Непременно!

Он еще успел перед последним вздохом приложить палец сына к своим губам...

Теперь он, Тлеу, и не упомнит, когда в последний раз держал в руках домбру, и тот дедовский кюй почти вытравился из памяти. Сейчас, однако, он стал его припоминать до мелочей. А ведь точное название дал ему предок — «Мелодия скорби». Действительно, от отравленных горем звуков холодеет в жилах кровь. Но почему именно сегодня вспоминался тот кюй? Неужто предки подают знак? Неужто их священный дух напоминает о себе? Подсказывает, каким образом он может облегчить боль и выплеснуть тоску, от которых бедный комочек в груди готов разорваться? Или аруах могучего предка-батыра в черной утробе земли ворочается в тяжком смятении, недовольный тем, что обрывается последняя тонкая нить его рода, а потомки забыли его скорбный кюй о горестях и надеждах человеческих?..

Как долго тянется ночь! Тлеу отчетливо-ясно вспомнил от первого до последнего звука тот кюй, который он в последний раз играл еще до рождения долгожданного Тлепалдыжана. Раньше бывало, когда уж слишком донимали просьбами, он делал домбры, и каждый раз, опробуя их звучание, он играл один и тот же кюй — «Мелодию скорби». Однажды, задумчиво пощелкивая по струнам новой домбры, он не заметил, как в юрту по обыкновению бесцеремонно ввалился его шумливый сверстник — редкобородое шайтаново отродье. Вошел, чуть послушал, скосоротился. Потом плюхнулся возле подставки с тюками, буркнул:

— Ну, что умолк? Или меня испугался?.. Давай чеши дальше!

Тлеу с досадой прислонил домбру к стенке.

А сверстник, развалившись как в своем доме, достал табакерку, насыпал на ладонь насыбай.

— Ладно... Можешь не играть. И так знаю, не мастак на домбре треньkать. В старину неспроста, должно быть, говаривали: бойся бойкой бабы, что без умолку балабонит, бойся робкого мужчины, что глаза долу клонит. Робкий мужчина испокон веку одну лишь лошадку имел, одну лишь бабу ласкал, одну лишь песню пел да один лишь кюй играл. Твою тягомотину я слышал, пока шел сюда. А другой наигрыш вряд ли тебе известен...

И, довольный своими словами, расхохотался, трясясь всем телом.

Пока Зейнеп готовила чай, редкобородый не спускал с нее глаз, будто видел ее впервые. А уходя, наклонился к уху хозяина:

— Эй, молчун, видишь, как у бабы брюхо вспучило? Поверь моим словам, не от сытости это, нет, нет... Услышал создатель твою мольбу. Тьфу, тьфу! Спаси от дурного глаза. Надежда засветилась в твоем доме. Так прекрати этот тоскливый вой. Еще беду накличешь. Да и выкинь все эти деревяшки! Нашел мне тоже забаву...

С того дня Тлеу не брал в руки домбры. И со временем скорбный дедовский наигрыш почти напрочь выветрился из памяти. Он-то кюй забыл, но кюй не забыл его. Годами таился где-то в уголке сознания или на самом донышке сердца и теперь вот, дождавшись своего часа, властно разбудил его в тревожную, глухую ночь.

До самого утра проворочался в постели. Даже утренний чай не взбодрил, не развеял его. Сердце неотступно ныло. Убрав дастархан — скатерку, Зейнеп приподняла дверной полог. Оказалось, кизяк возле земляной печки кончился. Старуха тотчас закинула мешок за плечи и отправилась в степь за топкой. Пока она не скрылась за холмом, Тлеу следил за ней через нижние решетки юрты. Когда же она исчезла за бурым перевалом, он пристально и придирчиво оглядел свое жилище. Остов четырехстворчатой скромной юрты был еще хоть куда. Только в той части, где хранилась утварь, верхняя кошма заметно обветшала. Большая, в два локтя, заплата сразу же бросалась в глаза. Низ одного края, не доставая до земли, загнулся вовнутрь.

С трудом распрямляя затекшие суставы, Тлеу едва ли не ползком дотащился до того места, где обвисла нижняя решетка, рукой погладил потемневшие от времени, вконец иссохшие прутья... Да-а. Обветшала юртешка. Держи за

край решетки — вся связка рассыпается. Прутья смуглого тальника, срезанные и связанные еще в дедовские времена, стали невесомыми и хрупкими, как тростинки. Зато вынуть из них сердцевину не представляет никакой трудности. Достаточно рассечь прутик повдоль, выскоблить превратившуюся почти в труху сердцевину и, вновь сложив две половинки, крепко стянуть их в двух-трех местах волосяной бечевкой. После этого просверли несколько аккуратных отверстий на расстоянии ширины большого пальца, и — считай — дудочка готова. Поднеси к губам и играй себе в свое удовольствие сколько душе угодно.

Тлеу озабоченно поскреб подбородок. Он сразу приметил длинный, изогнутый гладкий прутик, одним концом спрятавшийся за древний деревянный ларь, будто почувствовал тайное намерение хозяина.

Что же это получается? Если сам Тлеу начнет выламывать тальниковые прутья из ветхой юрты, лишившейся наследника, и делать из них дудочки, то, глядя на него, не растащат ли ее завтра в два счета забавы ради аульные сорванцы и шалопаи? Слава аллаху, что живет один-одинешенек в глухой степи и никто не догадывается об его затее. Попробуй-ка на глазах шальной детворы дудочки вытачивать из тальниковых прутьев, выломленных из решеток юрты... Не успеешь оглянуться, как на месте твоей юрты останется одна черная проплешина.

Тлеу решительно встал. Прошептал несколько молитвенных слов. Залил водой из кумгана тлевший посреди юрты очаг. Потом вышел и повернул дном кверху черный котел на земляной печке. Потом опустил потолочный войлок, а к дверному пологу привязал увесистый булыжник. Лишь после этого направился в сторону джидовой рощицы на краю пустыни.

II

На одинокого путника, долго едущего по холмистой пустыне, все эти однообразные и невзрачные дюны и барханы, редкие и чахлые кусты жузгена и саксаула, несомненно, наводят уныние и тоску. И вот когда наш путник вынырнет, скажем, из-за угла зеленого оазиса — небольшого клочка чиевых зарослей посреди песчаного моря, взгляд его нечаянно натыкается на нечто буро-синее, вьющееся, раскидистое в монотонной желтизне великих песков, напомина-

ющее издали густой слоящийся дым над юртами затерявшегося на безлюдье аула. Еще через некоторое время пути это курчавое буро-синее нечто уже явственно и властно манит взор.

Путник начинает поневоле поторапливаться. Подгоняя пятками коня, он едет вдоль тропинки, пролегающей по обросшей твердой солончаковой коростой равнине. Вскоре ему встретится узкая, продолговатая суглинистая полоска — крохотный островок в безбрежном океане песков. Одним концом полоска упирается в горбатый бархан, другим обрывается у солончаковой чаши, тускло отливающей под жгучим солнцем. С краешка узкой, как лезвие ножа, полоски расположились рядком три тихих родничка. А в низине чуть поодаль, где сливаются их воды, бог весть с каких времен растет несколько пышных деревцев пустынной джиды. «Купы джиды» — так это место с незапамятных времен и называется.

Мимо этого благодатного пятачка земли, где даже из-под копыт коней просачивалась живительная влага, издревле не проезжал ни один путник, все равно — на лошади или на верблюде, ни один караванщик, измученный дальней пустынной дорогой, с потухшим от зноя взором, с растрескавшимися от жажды губами. Под деревцами пышно разросшейся джиды не однажды, надо полагать, звучал гортанный смех, не раз велась громкая, оживленная беседа. В то далекое мятежное время сюда стекались храбрые джигиты народных заступников Котибара и Арыстана. Позже, в пору батыра Есета, в этих зарослях скрывались восставшие против насилия и произвола властей. Со временем рощица начала хиреть. Многие деревца погибли. Раньше неприхотливая джида росла не только на крохотном пятачке возле родничков, но и по всей долине, богатой влагой и прохладой. С годами, однако, что-то случилось, с землей, пески надвигались все настойчивей, и от множества разбросанных там и сям джидовых зарослей сохранилась одна лишь эта купа. Еще недавно, на памяти Тлеу, здесь росло более десяти деревьев. Теперь осталось пять. И то одна джида, та, что с краю, уже несколько лет как сохла на корню. К ней-то и присматривался Тлеу давно.

Чего только не найдешь здесь, возле зарослей джиды! Стоит лишь поковырять влажную супесь, как натыкаешься на всякую всячину: на обломок изъеденного ржой клинка, на железный наконечник копья, на рассыпавшиеся звенья кольчуги, на замок стальной колодки, на солдатские фляжки с узкой горловиной, на медный кумган с изящно изогнутым

носиком, каким-то образом забытый благочестивым странником на привале, и бог знает на что еще. Сбоку рощицы, в том месте, где проступала солончаковая плешь, еще до недавнего времени зиял медное жерло пушки в ядовито-зеленом наросте, напоминавшей грозного верблюда, опустившегося на колени. Теперь и пушки уже не видно. Значит, кому-то и она понадобилась...

Старый Тлеу ревниво оберегал все эти древности, словно святыню или родовую реликвию. Бывало, он осторожно брал в руки какой-нибудь обломок, испытывая при этом непонятную слабость и благоговейную дрожь.

— Интересно, кому она принадлежала, эта святыня прошлого?— мечтательно произносил он, обтирая рукавом извлеченную из земли ржавую железку.

— Какая уж там святыня?! Обыкновенное оружие какого-нибудь грабителя с большой дороги,— дерзко отвечал, случалось, темнолицый, с задорным чубчиком, мальчишка, стоявший в сторонке с конем в поводу.

Тлеу в таких случаях недовольно дергал плечом и косился на сынишку. Тот, уверенно держа под уздцы игреневого маштачка, поблескивая черными как угли горящими глазами, смотрел открыто и прямо, не мигая. К сердцу старого отца подкатывал холодок. «Вся его родня по материнской линии — сплошь лихоимцы и разбойники. И этот нечестивец смотрит так, будто из ружья целится. Ишь, даже не моргнет...— думал он с тревогой и тотчас спохватывался, поминая имя аллаха.— Дерзок малец, порывист. Так и рвется с привязи. Как бы не сглазил кто...»

И Тлеу, бывало, неторопливо поднимался, совал находку в седельный мешок, в котором возил обычно капканы. Потом тщательно отряхивал оба рукава и подол бешмета, стряхивал ладонью пыль с колен и подходил к тихому родничку. Достав из кармана платок, мочил его в прозрачной воде и обмахивал им благоговейно носок сапога. Лишь после этого, как бы совершив некий обряд, направлялся к одинокому саксаулу, росшему неподалеку на стыке суглинистой полоски земли и сыпучего белого бархана.

Так бывало.

Так он поступил и сегодня. Дойдя до провалившейся древней могилы под саксаулом, Тлеу опустился на колени. Словно опасаясь глядеть в зияющую яму, где виднелся пожелтевший и как бы ощерившийся череп, старик плотно закрыл глаза и забормотал молитву.

Вспомнились дерзкие слова, сказанные когда-то сыном.

В самом деле, кому теперь ведомо, кто именно лежит в обвалившейся могиле под саксаулом. Может, тот, чей череп так неприглядно торчит из ямы, был при жизни известным златоустом — шешеном, управлявшим родом или племенем, или батыром-храбрецом, предводителем войск, а возможно, и просто разбойником, подстерегавшим жертву на развилке больших дорог? Кто знает... Ведь мог он быть и тем, и другим, и третьим. Какой казах в стародавние времена не удержал в руке копья? А там, кто владеет копьем, разве удерживался от соблазна угонять скот противника, особенно если, скажем, табун лошадей пасся на отшибе? И уж коли хватало храбрости на барымту — на насильственный угон скота, то такому, надо думать, ничего не стоило сказать связную, складную речь перед сборищем людей. Вот и получается, что такой человек мог прослыть и искусным бием — судьей, и бесстрашным батыром, и дерзким разбойником. А уж если он в свое время вершил судьбы, был на виду, испытал славу и оставил на земле потомков, то разве не приходится он — кем бы ни был — тебе предком и разве не заслуживает он того, чтобы поклонились его праху и помянули словами молитвы его душу? Не прояви в свое время славные предки дерзость и отвагу — кто знает, в каком углу, в каком краю необъятной земли мытарились бы их горемычные потомки. Однако не мог ведь знать безграмотный предок, что о нем скажут, что напишут грядущие поколения, едва ли не с рождения, точно мыши, копающиеся в бесчисленных бумажках. Легко судить о прошлом. Все можно объяснить невежеством предков. Даже все войны и стычки удобно объяснять невежеством. Но почему тогда неймется нынешним грамотеям? Чего им-то не хватает? Разве не вымолил, не выпросил Тлеу униженно у создателя Тлепалды — единственную свою отраду? И где он теперь?.. Вот он, старый Тлеу, и поныне знает назубок всех своих предков до седьмого колена, знает, где погребены их останки, наведывается на их могилы, читает поминальные молитвы. А где находится один-единственный его отросток, родной сын,— не знает. Может ли быть страшнее доля для отца? Тлеу живо вспомнил сына, которого при жизни берегли от ветра, солнца и дурного глаза и который теперь навеки остался лежать на чужбине, в неведомой земле неведомого народа, и еще ниже склонился под тяжестью горя, и слезы невольно навернулись на глаза. Молитвенно сложенными перед лицом ладонями обхватил голову, закрыл глаза, задрожал плечами, сдерживая рыда-

ния. Но тут же вспомнил, что творит поминальную молитву у незнакомой могилы, взял себя в руки, поднял голову и благоговейно огладил редкую бородку, выражая покорность воле аллаха.

Опираясь о черенок плетки, тяжело поднялся. Отвязал небольшой белый узелок на верхушке оголившегося саксаула возле одинокой могилы и сунул его себе в карман. Потом медленно пошел к купам джиды. Обогнул тихий родничок. Все мерещилось, что сбоку увидит он сейчас игреневого коня, которого уверенно держит под уздцы смуглый мальчонка с задорным чубчиком на лбу, с дерзким огнем в немигающих глазах. Но нет... не увидел. Ни мальчика, ни коня. С тоской и досадой вспомнил, что на этот раз прилелся сюда один, пешим.

Он застыл, потерянный. Взгляд бессмысленно блуждал вокруг. Перед глазами все зыбилось. В груди проснулась знакомая ноющая боль. Он начал привычно растирать грудь правой рукой и наткнулся на что-то твердое, холодное. Осенило: топор!..

Он собрался с мыслями и оглянулся. Только сейчас взгляд его упал на деревца джиды, многокрасочно переливающиеся под лучами то скрывающегося, то ослепительно выныривающего из-за клубящихся облаков солнца. Узкие, как змеиная головка, длинные пушистые листья на гибких, раскидистых и гладких бронзовеющих ветвях чутко и неутомимо трепетали под легким ветерком, без умолку перешептывались, шушукались.

Говорливые листья джиды развеяли думы, отвлекли внимание, успокоили душу, точно заговор искусного знахаря-баксы. И туман перед глазами растаял.

Под четырьмя тесно стоявшими и густо разросшимися деревьями все было усеяно сорванными ветром, смытыми дождем цветами, плотной завязью, бронзовыми гроздьями душистых мелких плодов. Некогда нежные, изжелта-алые цветы потухли, усохли, превратились в бесформенный, пепельного цвета прах. Вокруг царила дикая запущенность. Давно, видно, не ступала здесь человеческая нога. Не проходят ныне здесь, как в старину, верблюжьи караваны. Большак, по которому мчатся машины, остался в стороне.

— Бедняжки вы мои! Сиротинушки!.. — прошептал, задрожав подбородком, старый Тлеу. Он сам не заметил, как вырвался у него этот горестный вздох, но ветки и листья джиды чутко отозвались, откликнулись ему, зашептали-зашуршали, наклоняясь низко, приветливо оглаживая ему

плечи и лицо. Тлеу жадно вдыхал, втягивал в себя сладкокислый запах, струившийся от деревьев, пропитанных жгучим солнцем, вольным ветром и соками земли. От знакомого с детства духа ширилась грудь.

Тлеу подошел к старой джиде, стоявшей особняком от поросли, шумящей листвой. Бедняжка совсем высохла, торчали во все стороны голые, почерневшие ветви. Но вокруг было чисто. Ни соринки. Точь-в-точь как в прибранном бездетном доме.

У Тлеу от жалости вздрогнуло сердце. Он стоял в оцепенении, не смея поднять топор на черный, безжизненный ствол. Внизу, у основания, вылезли наружу неприглядные, узловатые, причудливо сплетенные корни, напоминавшие заскорузлую кожу вконец изношенной, истертой обувки. «Ах, бедная, бедная...» — едва слышно приговаривал старый Тлеу. Говорят, у домбры, сработанной из джиды, звук мягкий, проникновенный, душевный...

Острый топор принялся за дело, которое должно было служить взаимному утешению двух одиноких, скорбных душ — человека и дерева.

У Зейнеп глаза полезли на лоб, когда она увидела мужа, который, кряхтя и надрываясь, волок за собой срубленную старую джиду. С языка ее чуть ли не сорвался первым пришедший на ум бабий вопрос, но она вовремя спохватилась. В роду древнего батыра Утеу было издавна принято, что вопросы задают только мужчины, а женщины только обязаны отвечать на них. И если бы Зейнеп нарушила сегодня невзначай этот обычай, еще неизвестно, что мог бы подумать сдержанный и молчаливый Тлеу, не издающий звука, хоть воткни ему шило в бедро. Он мог бы подумать про себя: ну конечно, разве станет баба уважать мужчину, одинокого как перст. Несчастный человек мнителен. Зачем же еще травить его душу неуместным любопытством?.. Зейнеп лишь скосила взгляд на срубленную джиду, с глухим стуком брошенную возле юрты, и учтиво откинула войлочный полог перед мужем.

Переступив через порог, Тлеу расстегнул пояс. Треух и верблюжий чапан, стянув с себя, передал жене. Она повесила их на верхнюю решетку юрты и принялась стягивать с мужа сапоги.

Разоблачившись, Тлеу прошел на почетное место. Кутаясь в теплый халат, наброшенный на плечи женой, длинно зевнул, помянув при этом по привычке имя всевышнего. Потом застыл в молчании, ожидая, когда появится перед ним пиалушка с душистым коричневым чаем.

Наутро, едва убрали дастархан, Тлеу взял пилу и приступил разделывать срубленную накануне джиду. «Слава аллаху...» — прошептала радостно про себя Зейнеп. Наконец-то после долгого угрюмого сидения и лежания на почетном месте в юрте муж вроде встрепенулся, будто очнулся от тяжкого сна, и вновь нашел себе забаву. И чтобы не быть ему помехой, не путаться у него под ногами, придумывала себе работу подальше от дома: то с коромыслом и ведрами шла за водой, то с мешком за спиной отправлялась собирать кизяк и хворост, то, вернувшись, накладывала в уголке заплаты на сопревшую кошму.

Верный своей привычке всецело отдаваться работе, Тлеу ни разу не посмотрел на Зейнеп. Она тоже помалкивала и долго не догадывалась, что же такое мастерит ее неразговорчивый муж. А когда однажды узрела среди кучи щепок явственное очертание кузовка домбры, обомлела, почувствовав, как больно кольнуло сердце. Она знала, с молодых лет была наслышана о печальной участи рода батыра Утеу и теперь убедилась своими глазами, что муж окончательно смирился с гибелью единственного сына, и это ее так потрясло, что она отвернулась и низко-низко склонила голову, едва не касаясь лицом сопревшей и терпко пахнущей кошмы, накрывавшей остов юрты. На жесткую брезентовую заплату с глухим звуком упало несколько горячих горошин слез.

Больше недели усердно корпел Тлеу над джидовой домброй. И вот теперь она висела на стенке, новехонькая, с длинным грифом, овальным большим кузовком, с тонкой, как высохшая ягнячья брюшина, крышкой. Судя по всему, звучная, говорливая, чуткая получилась домбра.

Тлеу был хмур и сосредоточен. Строго и пристально разглядывал он с утра свой немногочисленный скот в загоне, будто видел его впервые. Долго и внимательно ощупывал взглядом каждую овечку. Наконец резким и ловким движением схватил за заднюю ножку пытавшегося проскользнуть мимо круторогого, круглобокого черного валуха, привел его к юрте, поставил на привязь к правой стенке. Остальной скот выгнал на выпас к песчаному холму.

Придя домой, достал из-за голенища нож с костяным черенком, с медным кольцом, обмыл-ополоснул лезвие теплой водой из стоящего на золе кумгана. Потом завел валуха в юрту, повернул головой в сторону священной Мекки и раскрыл перед лицом ладони.

— О создатель, всеблагий, всемилостивый! Прими священную жертву в честь великих и незабвенных духов —

невинного, благовонного агнца с лунными рогами, с раздвоенными копытцами. Аминь!

И, благоговейно огладив лицо и бороду кончиками пальцев, ловко завалил валуха, связал ему ноги. Под ножом немногословного, решительно человека какая скотина проявит строптивость? Черный валух только разок дернулся, дрыгнув ногами, и тотчас замер, испустив дух.

Раньше Тлеу, перерезав скотине горло и выпустив кровь, сразу же передавал нож жене, и та уж довершала дело — свежевала и ловко расчленяла тушу. На этот раз Тлеу сам взгромоздился на поверженного валуха и принялся с необычным усердием и тщанием, будто священнодействовал, орудовать ножом. Движения его были быстрые, легкие. Зейнеп точно завороженная следила за угрюмо-сосредоточенным мужем и хищно сверкавшим в его руках острым ножом. Тлеу работал так, будто мстил валуху за что-то.

Большое умение — хорошо и правильно расчленять тушу, и недаром предки при разделывании туши знали цену каждому ребрышку, каждому позвонку, каждой большой и малой кости. Во избежание возможных обид и недовольств потомков издревле точно определили и завещали, кому что приличествует по сану и возрасту. Всякий кочевник, исстари кочующий по низовьям и верховьям своей бескрайней степи, совершенно убежден, что в любом черном котле, булькающем на треноге, несомненно находится и его доля, на которую он вправе претендовать в любое время. И это поистине так. Попробуй обдели его, не дай ему положенного, завещанного обычаем предков, он воспримет это как смертельную обиду, как позор своему роду-племени. Для него это равносильно убийству близкого сородича. Мальчишка в пять лет удостаивается чести сливать на руки почетным гостям воду из кумгана. В десять лет он подносит гостям плоское деревянное блюдо — табак — с вареными кусками мяса. В двадцать лет юноша должен уметь, ловко орудуя ножом, резать и крошить мясо по строго заведенному правилу, то есть безупречно знать, куда что класть и кому что подать. Попробуй тут допустить оплошность, ошибиться в отборе и распределении тех или иных частей — выгонят с позором, а то и короткой плетью огреют. Но и это еще ничего, собственный позор еще как-нибудь пережить можно, но ведь позор падает и на отца-мать, на всю родню, на весь твой род. Его уже не смоешь. Тут уж впору провалиться сквозь землю.

Всеведущие старики, зоркие стражи дедовских обычаев, внушавшие несмышленым детям святость родственных

уз с той самой поры, как они научились сидеть на коне и подавать гостям блюдо с мясом, неизменно твердили: «Запомните раз и навсегда: при угощении самому почетному гостю преподносят тазовую кость. Затем наиболее ценной считается лопатка. Потом следует лучевая кость, потом — бедренная кость, потом — берцовая кость. Опаленную и сваренную баранью голову кладут на первый, главный поднос. Курдючное сало и печень следует нарезать тонкими кусками и распределять по всем подносам. Десять ребрышек вместе с мясцом на них кладут в первые четыре подноса, при этом шесть подкладывают к двум лопаткам, а четыре — к двум берцовым костям. К остальным восьми частям следует добавить по два ребрышка у ключицы. Грудинка полагается зятю, крестец — девушке, шейный позвонок пастуху, требуха, почки, голень, селезенка — женам, служанкам, детям...»

Это было основой науки угощения, которую обязан был знать каждый степняк как свои пять пальцев. Ведь в то время барашка закладывали зараз в котел. И не бывало так, чтобы щедрый хозяин держал дома про запас мяса, даже если и резал по десять барашков в день. Он обычно довольствовался тем, что оставалось от гостей.

А теперь вот... Ну скажи на милость, кому он, Тлеу, поднесет всю эту гору мяса и костей... кого облагодетельствует?.. Пожалуйста, бери на выбор: хоть баранью голову, хоть сочную грудинку, хоть шейный позвонок — все твое. Ты, обитатель полуистлевшей старой юртешки и безлюдной степи, сам себе и сват, и зять, и племянник, и почетный гость и пастух-слуга. Сам в единственном роде! То, что один-одинешенек сидишь за дастарханом, склонившись над бараньей головой на блюде, и сам себе творишь благодарственную молитву — означает, что пусто вокруг тебя, голым-голо, хоть плачь. То, что нет ни одной живой души, кого бы ты мог угостить остатками трапезы, означает, что выродился твой род, зачахло и высохло твое полюшко дотла, точно такыр в степи.

Острый нож, споровисто крошивший мясо, вдруг словно споткнулся. Вот лопатка... в доброе время очистил бы ее от мяса, отскоблил до прозрачности... А теперь зачем? Не гадать же ему на бараньей лопатке. Да и о чем гадать? Нет никого из родных-близких в далеком пути... Вот лучевая кость. В доброе время ее бы стоило обглодать и повесить у порога как верную примету сохранности и благополучия скота. Но к чему умножать ему поголовье? Для каких таких потомков?..

Горячий вздох, как стон, вырвался из горестной груди

Тлеу. В руки ему попалась берцовая кость. Вспыхнуло в сознании древнее поверье: «Когда хиреет твой род и ты воспитываешь приемыша, дай ему в руки берцовую кость. Иначе родители его востребуют потом куп...»

Глаза отчего-то темной завесой подернулись. Тлеу неспешно завернул в теплую шкуру расчлененные части тушки и встал.

Зейнеп тщательно промыла тонкие кишки, развесила на веревках с потолочного круга. Подсохли бы они скорее, можно б было свить и натянуть струнами на домбру. Тогда, быть может, удалось бы излить из сердца невыносимую слепую горечь, раздирающую грудь...

Когда супруги, по привычке молча, уселись за дастархан и только дотронулись было до семи жертвенных лепешек, испеченных для поминовения усопших, снаружи неожиданно послышался верблюжий рев. С ним слился горестный женский плач. Тлеу и Зейнеп застыли, точно замерли на своих местах, догадавшись, что кто-то прибыл на поминки.

Смуглая тугощекая женщина в высоком белом тюрбане, в легком, без подкладки, черном чапане, едва переступив порог, кинулась обнимать Зейнеп, пытавшуюся было подняться навстречу. Обе враз заголосили, зашлись в скорбном плаче. Время от времени, переводя дыхание, громко, с надрывом вздыхали: «Ах, горе-горюшко!» — и вновь рыдали в голос. Тлеу все сидел ни живой ни мертвый, будто пригвожденный. Казалось, он прислушивался к скорбному плачу, доносившемуся издалека, и вовсе не замечал этих исходивших слезами двух женщин рядом с собой, а отрешенно глядел на камчу, висевшую на решетке юрты.

Женщины плакали долго, безутешно. Потом, сидя плечом к плечу и всхлипывая, понемногу успокоились. Пришмыгивая носом, гостья учтиво перекинулась словами приветствия с Тлеу. И лишь через некоторое время спохватилась, вскакивая:

— Ойбо-о-ой... я же совсем забыла про ребеночка в деревянном сундучке.

Зейнеп кинулась вслед за ней. Негромко переговариваясь, они развьючили верблюда, с глухим стуком что-то поставили к стенке юрты. И только тут послышался слабый детский писк. С аккуратным маленьким свертком в руке гостья вновь вошла в юрту. Положила сверток на тюках рядом с подушками, расстегнула пояс и присела справа, чуть ниже хозяина дома. Также не спеша, с достоинством сняла высоко накрученный тюрбан, обвязала голову легким платком. От ее смуглого

миловидного лица, от верхних одежек, которые она снимала одну за другой, веяло степным солнцем, вольным ветром, молодой, дерзкой силой и неукротимостью. Казалось, в убогую и унылую юрту, затерявшуюся в безлюдной пустыне, вселился вдруг шумный степной аул.

Жанель, жена родственника Зейнеп, прогостила у них целую неделю. Муж ее, скотовод, не мог оставить хозяйства, и потому она отправилась в путь одна — из далекого аула в долине Жем. Необыкновенной энергии и деловитости оказалась женщина! На следующий же день после приезда, едва проснувшись, принялась разбирать изрядно захламленную, насквозь пропыленную юрту. Сама выбрала новое — удобное и чистое — место. Выбила вместе с Зейнеп все кошмы, залатала прохудившийся войлок, починила тщательно все поперечные и продольные шерстяные ленты-завязки. Потом высушила свалявшуюся в тюках шерсть, растеребила палками, сваляла новый войлок. Из пряжи свила несколько веревок. Перебрала всю рухлядь, вычистила, будто вылизала, каждый уголочек. Скудное жилье одинокой четы преобразилось неузнаваемо.

За день до отъезда, еще до утреннего чая, Жанель завела серьезный разговор.

— Так вот, дорогой зятек и шалунья девка...— торжественно начала она на правах жены — жены старшего родственника.— Вот этого детеныша, которому от роду нет еще и сорока дней... этот крохотный живой комочек я привезла вам сюда в утешение... в надежде, что наполнит он ваш очаг новой жизнью. Примите от чистого, радушного сердца. Если всевышний смилостивится и девка-шалунья наша понесет, чадо это хоть зыбку покачает. Держите его хоть в холе, хоть в неволе. Мы вам худа не желаем. Сердце к сердцу тянется, да друг от друга далеки. К тому же хлопот невпроворот: за колхозной отарой, за матками да за молодняком, день-деньской плетемся. Все недосуг. И у вас тут, как говорится, то поясница заноет, то голова разболится, и хотя мы не можем быть рядом с вами, так эта крошка напомнит о нас... Тридцать пять дней кормила я его своей грудью, но подати за то не требую ни от вас, ни от него. Пусть добро и благо не покинут ваш очаг. И пусть ради этого сгорит мое белое молоко в вашем огне... вот... вот...

Гостья придвинулась к жарким угольям, на которых досневал-настаивался чай в заварнике, ловко расстегнула платье. Из тугих смуглых грудей ее с шипеньем полились в алый огонь две белые упругие струйки.

Зейнеп, точно в испуге, зажала кончиком жаулыка рот. Тлеу от неожиданности разок-другой качнулся, дернулся, и сильнее придавил подушку под боком. Жанель, вновь застегнув ворот платья, притянула к себе лежавший за спиной коржун, достала из него какой-то сверток и крохотную белую рубашонку, обшитую по отвороту красной нитью.

— Вот это, девка-шалунья, мой подарок твоему малышу за смотрины...

Так и сказала, просто и твердо: «твоему»...

На следующий день Жанель поднялась спозаранок. Прощаясь, крепко обняла растроганную золовку. Смущенному хозяину подала руку. В сторону маленькой зыбки возле подставки для тюков, куда через потолочный круг юрты падали веселые утренние лучики, даже не посмотрела. Лишь за юртой еще раз взглянула на притихших супругов, сказала: «Ну, живите в здравии и благополучии!» — и, ведя бурую верблюдицу в поводу, решительно направилась в сторону заката. Шла быстро, словно бежала от кого-то или к кому-то...

Тлеу и Зейнеп, словно онемев, долго смотрели вслед, пока гостья и бурая верблюдица не исчезли за горизонтом. И снова упала, обрушилась на окрестности глухая тишь. В бескрайней дали затерялось одинокое унылое становище. Чуть в стороне темнели сложенная по пояс из диких камней землянка да ветхий сараюшко с наваленными вокруг кучками верблюжьей колючки и бурьяна. За песчаным бугром возле шершавых черных камней паслись вперемешку пять-шесть овечек, коз и годовалый одногорбый верблюжонок, мать которого в поисках корма забрела невесть куда.

Супруги стояли в явной растерянности, словно чураясь собственной юрты — точь-в-точь нежданно-негаданно нагрянувшие гости. Тлеу обвел окрестность взглядом. Игреневого маштачка что-то не видать. Совсем отбился от рук, бродит где-то на волюшке. Тлеу хотел было спросить жену, может, она видела где, но тут же раздумал, решив, что коняшка далеко уйти не мог и что, пожалуй, надо его поискать неподалеку. Он вошел в юрту, чтобы взять уздечку, потянулся было за ней к верхней решетке, как вдруг совсем рядом услышал незнакомый звук — не то писк, не то сопение. Быстро оглянулся. Возле подставки для тюков увидел маленькую зыбку. Из туго стянутого свертка виднелось крохотное розовое личико дитяти. Дерзко и смешно задрав крохотный плоский носик, оно безмятежно посапывало. Из-под белой, словно игрушечной, шапчонки вылезли черные курчавые волосенки, похожие на пух. «Выходит, решили, чтобы

мы сами сбрили утробные волосы ребенка»,— догадался Тлеу, почувствовав горячую нежность к крохотному созданию в зыбке.

Держа в руке уздечку, Тлеу бодро вышел из юрты. Зейнеп все еще стояла у входа, глядя вслед мужу, медленно шедшему к растянувшемуся перед их становищем черному увалу. Странное волнение охватило ее, такое, как у молодой снохи, спешащей на веселые посиделки аульной молодежи и с нетерпением ожидающей, когда же, наконец, уедут строгие свекор и свекровь.

Тлеу, взобравшись на хребтину черного увала, внимательно оглядел окрестность. Игреневого не было видно. Посмотрел в сторону заката, куда недавно направилась Жанель,— не за что глазу уцепиться. Словно здесь никогда не ступала человеческая нога. Пуст, безлюден пологий склон холма. Не могла же смуглая крепкотелая женщина в высоком белом тюрбане, только что подававшая на прощанье руку, раствориться в зыбком мареве или провалиться сквозь землю. Нет, не могла. А может, то было привидение? Или дух, подающий знак судьбы?.. Но тогда откуда крохотная зыбка, в которой безмятежно лежит-посапывает туго спеленатый ребенок?.. Или старику, столько времени предававшемуся горестным думам в унылой юрте, уже стало мерещиться бог знает что?..

Тлеу повернулся в сторону своего становища. Зейнеп, только что стоявшая, застыв у входа в юрту, точно предвечерняя тень, куда-то исчезла. Тлеу уронил голову на грудь, заложил руки за спину и пошел вперед.

Давно уже не выходил он в степь. А когда, бывало, и выходил по надобности, то ни на что не оглядывался. И вот только теперь заметил, что нежданно подкралась глубокая осень и не за горами предзимье. Вон и черная полынь обнажила свои цепкие раскидистые корни и зябко лежит, поеживается под северным ветром. И горизонт, в знойное лето обычно затянутый причудливым миражем, теперь вроде раздвинулся, скинул голубую завесу, стал безоглядно прозрачным, навевая неизъяснимую грусть и тоску. А тогда, год назад, когда вдруг нагрянула к ним толпа стариков, была, помнится, только зима на исходе. Потом прошла весна, отошло и лето, теперь вот и осень, считай, ушла-канула в небытие, а ничего этого он не видел, не заметил. Будто только сегодня очнулся от долгого сна. Вся округа, известная ему с рождения до последнего кустика, почудилась вдруг и знакомой, и незнакомой. Вон впереди чернеет разве не ближняя балка, в которой он всегда ставил капканы? Здесь, особенно в осеннюю пору,

охотно табунились косули-каракуйруки. А теперь не видно вокруг ни одной живой твари. Одни только иссохшие, чахлые кусты адраспана — гармалы — лезут в глаза. Конечно, в этой унылой, бестравной пустыне игреневому делать нечего. Наверняка пасется на зеленой лужайке возле родника с зарослями джиды...

Туда-то и направился теперь Тлеу. В самом деле, одинокая лошадка понуро брела со стороны ручья. Она была без пут. Хвост и грива сплошь в колючках. Нагуляла жиру на воле: круп и бока лоснились, поблескивали в лучах солнца. Увидела хозяина издали, застыла строптиво, ушами застригла. Однако когда он подошел к ней, проявила былую смиренность. Лишь по гладкому крупу, будто рябь по поверхности воды, пробежала мелкая дрожь, когда почуяла на морде уздечку.

Ведя игреневого на поводу, Тлеу направился домой. Над потемневшей от времени юртой посреди неглубокой котловины густо валил, курчавился бурый удушливый дым — так обычно дымят в осеннюю пору богатые щелочью пустынные сучья и хворост. Зейнеп, обычно не находящая себе места, когда муж уходит в степь, и поминутно выскакивающая из юрты, сегодня совершенно не показывалась. И Тлеу испытывал странную тоску, какую-то пустоту в душе. Он, стреножив, отпустил игреневого возле юрты. Потом постоял некоторое время у входа. Отчего-то он робел и даже чиевую циновку у входа не откинул резко, как всегда, а осторожно приподнял с нижнего краешка.

Зейнеп даже не взглянула сегодня на него, баюкала на коленях малютку с красной крохотной рожицей. Тлеу, приглушая нарастающую досаду, сам разделся, сам повесил шапку-треух и теплый, на шерстяной подкладке, чапан, сам разулся и со стуком забросил тяжелые саноги к порогу, после чего молча уселся на привычное свое место. Провел ладонями по обветренным скулам. Зейнеп по-прежнему и не покосилась в его сторону. Перепеленала малютку, вновь уложила в зыбку и отнесла на подстилку возле украшенной резьбой деревянной подставки для тюков. Снова послышалось ровное, безмятежное сопение. А Зейнеп как подменили: забегала, засуетилась. Что-то там состирнула, что-то вывесила на солнце. Засновала озабоченно взад-вперед, только и слышно: шур-шур-шур... От шкурки ягненка раннего приплода она отрезала клочок и сладила соску. В ковшике вскипятила молоко. Потом остудила его и влила в кожаную соску. Потом вновь взяла на руки ребенка и, приговаривая что-то незнакомое, ласковое, принялась его кормить. Раньше, бывало,

Тлеу едва входил в юрту, как уже в чайнике весело фырчало. Теперь приходилось покорно дожидаться чаю.

Вообще отныне Тлеу почувствовал себя в собственном доме доме вроде как лишним. Жена, всегда готовая исполнить любую его прихоть, теперь все свое внимание переключила на крохотное существо в крохотной зыбке. Да так ревниво оберегала его от родного мужа, будто грешница, нагулявшая дитя на стороне. «Надо же, а? — изумлялся про себя Тлеу, темными очами уставясь в потолочное отверстие.— Выходит, и мне уготована доля всех моих предков... Жаркая молитва, не дошедшая до создателя, дошла, значит, до людей... Чудно-о!..»

Казалось, от этих дум из самого затаенного уголочка сердца поднимался и подкатывался к горлу отравленный былой горечью комок. Тлеу лежал, не смея шелохнуться. В темной, онемевшей от тишины юрте не слышно было дыхания ни его, ни жены. Только ровно посапывало дитя в зыбке между супругами.

Как-то утром Зейнеп поднялась чем-то явно озабоченная и подавленная. И за чаем молчала, нахмурив брови. Когда убрала дастархан, не стала выливать из самовара остаток горячей воды, а невольно буркнула:

— Слушай, старик... ты забыл, что ли, малышу ведь сегодня сорок дней... Надо же ему волосенки сбрить.

И сама подала старую «опаску» и брусок. Тлеу деловито покачнулся, раза два плюнул на брусок и принялся точить лезвие.

Зейнеп торжественно поднесла к нему зыбку. Тлеу впервые дотронулся до нее. Сдерживая дрожь в руках, застыл в растерянности, не решаясь коснуться бритвой головки грудного дитяти. Наконец помянул аллаха, прошептал: «Бисмилля...» — и двумя-тремя движениями ловко сбрил намоченный теплой водой курчавый черный пушок. Младенец, не открывая глаз, только причмокнул губками и как бы доверчиво прижался к нему. Тлеу почувствовал, как теплая волна хлынула к его зачерствевшему сердцу.

Недавняя хмурь на лице Зейнеп исчезла, разгладилась. Белый открытый лоб, покрывшийся в последнее время мелкими морщинками, светился сейчас радостью. Она собрала курчавившиеся на коленях мужа сбритые младенческие волосы, аккуратно завернула в платочек.

— Надо же... и ветер этот назойливый, как нарочно, вдруг улегся...— заметила озабоченно Зейнеп.— Кто ж теперь младенческую распашонку унесет?..

Тлеу сразу понял, чем так озабочена хлопотунья жена. Таков древний обычай: на сороковой день младенца обряжают в новую рубашку, а его старую распашонку кто-то должен схватить и унести на бегу со всех ног. Тлеу с досадой подумал: столько бродячих собак на свете и ни одной нет на дворе. Подумал, поразмыслил, сказал неожиданно:

— Не беспокойся, старая. Сам схвачу и побегу.

Он начал поспешно обуваться. Зейнеп отвернулась, проронила украдкой слезинку на крохотный сверток в зыбке. А когда вновь повернулась к мужу, лицо ее просветлело, напомнив былую красу пригожей в свое время женщины, и на губах играла добрая, благодарная улыбка.

Первым из юрты вышел Тлеу. За ним — Зейнеп, держа в одной руке крепко запеленатого младенца, в другой — маленький узелок. «О святые духи!.. Не оставляйте... поддержите»,— прошептал Тлеу, обращаясь лицом к закату. Потом протянул руку к жене. Она тотчас подала ему узелок, завернутый в младенческую распашонку.

— Бисмил-ля-я...

Тяжелый на подъем, медлительный Тлеу, схватившись обеими руками за бока, побежал неуклюжей трусцой. За ним, прижав к груди младенца, мелко-мелко засеменила Зейнеп.

Эх... да-а-а...— невольно вздохнул Тлеу, предаваясь вдруг мечтам. Если бы жили они не одни в этой унылой пустыне... если бы стояли здесь рядком хотя бы несколько, одна другой краше, белых, как яичко, юрт... О, тогда бы старуха еще с вечера оповестила весь аул о том, что младенцу завтра пойдет сороковой день. С утра собрались, повалили бы к ним и стар и млад: как же, такое событие в семье! Кто-то непременно привел бы с собой быстроногую гончую: пусть малыш вырастет таким же быстрым, ловким и сноровистым; другой пришел бы, с трудом удерживая на поводке свирепого, клыкастого волкодава: пусть младенец вырастет таким же сильным, грозным и могучим. Хозяева пригласили бы всех в юрту, угостили бы со всей щедростью, от чистого сердца, получили бы благословение старцев. Потом, оживленные, радостные, все высыпали бы на улицу. Привязали бы к шее нетерпеливого, рвущегося с поводка кобеля младенческую распашонку и отпустили бы его. Ярый пес вырвался бы из шумной толпы и пулей понесся бы в степь. Аульные чумазые сорванцы, сверкая пятками, с воплями и гиканьем помчались бы за ним... все дальше, дальше, дальше... пока не исчезли бы из глаз, слившись со степным маревом... И тогда мудрые старики, вглядываясь, слезящимися глазами

в даль, изрекли бы: «Очень уж далеко убежал пес. Видно, крепкими будут ножки ребенка, длинным шаг, твердой поступь и удачливым путь». И старухи, умиленно подрагивая подбородками, заметили бы: «А погонщиков-то, глядите, сколько!.. Значит, многолюдным и праздничным будет его окружение». А несмышленая малышня, мелочь пузатая, галдела бы возбужденно: «Вон, вон... смотрите, смотрите... догнал, догнал... Вот уже назад чешет!» Тут уже, конечно, и бабы не промолчали бы. Ну как же! Тот, кто отберет у собаки распашонку и доставит ее первым, вправе требовать от родителей младенца дорогой выкуп. «Кто, кто догнал?.. Дай-то бог, чтобы это был мой сорванец... Я бы тогда у матери ребенка выпросила стригунка»,— сказала бы самая языкатая в ауле баба, которой всегда больше всех на свете надо. «Да что стригунок?! Если б моему шалуну досталась распашонка, я бы заставила старика выковать для меня серебряное ожерелье»,— заметила бы баба-щеголиха, которую хлебом не корми, дай только перед аульчанами покрасоваться. «Бросьте вы! Разве моего долговязенького кто обгонит? Знайте, за распашонку я потребую лисью шубу»,— вклинилась бы завистливая баба, которая не позволит перейти ей дорогу.

А потом... Потом, на бегу съев лакомство в заветном узелке, ликующе размахивая распашонкой над головой, примчался бы назад кто-нибудь из аульных шалопаев. Тут бы бабы устроили шумный торг со счастливой матерью младенца. И, получив дорогой выкуп, счастливица заспешила бы к себе домой, а остальные, колгоча, ввалились бы гурьбой снова в праздничную юрту. Теперь уже на все лады драли бы горло мужчины. Каждый яростно доказывал бы, что именно он и никто другой должен получить право сбрить младенцу его первые волосы.

— Эй, эй, братцы-родичи,— заважничал бы один.— Хотите, чтобы малыш стал батыром, не перечьте мне, уважьте дух предков.

— А если хотите, чтобы он стал мудрым и красноречивым бием,— завелся бы с ходу второй,— то не забывайте и о моих славных предках.

— А коли желаете, чтобы его не покинули богатство и могущество,— приосанился бы третий,— вспомните про моего предка, который на поминки вашего родича пожертвовал пятьдесят овец, пять жеребят и бурдюк кумыса.

— Вы что... Вы что, почтенные,— подал бы тут свой подхалимский голос чей-нибудь прихвостень, разинув щербатый рот.— А чем, скажите, хуже род хозяина тор-

жества?! И воины — клинком наповал сразят, и ремесленники — каких во всей округе не сыскать. Пусть отец сам и обреет голову мальца.

— Э, ладно... не распаляйтесь,— унял-успокоил бы расходившихся красноглазых спорщиков чей-то рассудительный голос.— Как почтенные аксакалы скажут, так и будет...

Да-а... так бы и было... если... если не торчали бы они в пустыне совершенно одни, точно иссохший куст курая...

Какие-то голоса доходят до слуха, что ли?.. Вроде как кто-то хохочет, смеется... Может, померещилось? Тлеу с усилием оборвал разыгравшееся воображение, огляделся по сторонам: все тот же песчаный пустынный пологий склон. Там и тут серел чахлый чернобыльник. Впереди, спотыкаясь, неуклюже бежит уродливая тень.

Ожил зябкий осенний ветер. Как бы старуха не простудила мальца. Она, все так же прижимая его к груди, семенила далеко уже позади. Тлеу покосился на свою тень: она несуразно маячила, металась у ног, словно подразнивала хозяина и пыталась подставить ему подножку. И сердце ошибко заколотилось, подкатывалось к горлу, того и гляди выскочит. Тлеу перешел на шаг. Хватит, пожалуй. Набегался... Вон насколько удалился от юрты. Тут догнала его запыхавшаяся Зейнеп, вырвала из его рук распашонку с узелком.

Старик и старуха с младенцем в пеленках, ни о чем на свете пока не ведающим, увязая в мягкой, податливой супеси и борясь с усиливавшимся встречным ветром, вконец измотанные, еле-еле добрели до невзрачной юртешки, сиротливо стоявшей на открытой всем напастям низине.

Отныне Тлеу волей-неволей приходилось считаться с существом в крохотной зыбке. Возвращаясь откуда-нибудь, он, еще переступая порог, нетерпеливо смотрел в сторону подставки для тюков. И, лишь убедившись, что зыбка на месте, что из нее выглядывает розовая рожица с плоским носиком, Тлеу успокаивался и начинал стаскивать с себя верхнюю одежду. Как-то раз, когда он вот так же ввалился прямо с улицы, бессмысленно блуждающий по потолочному кругу взгляд ребенка невзначай упал на него, и глазки, точно в страхе, тотчас расширились и забегали. Неужели малыш испугался его вида — заскорузлой шубы, лопоухой шапки-треуха, заиндевевших усов и бороды? Даже губки скривил, будто готовясь заплакать. Тлеу отпрянул, поспешно отвернулся. С того дня он переступал через порог осторожно, на цыпочках, с оглядкой.

Маленькое бессловесное существо в зыбке превратилось теперь во всесильного властелина. Отныне вся забота была только о нем. Чтобы только малыш не проснулся. Чтобы не испугался. Чтобы не проголодался. Чтобы не простудился...

И у Зейнеп не доходили теперь руки до обычных ее занятий. Она почти не выходила из юрты. И все заботы по хозяйству легли на плечи Тлеум. За скотом ухаживал он. Топку заготавливал он. В хлеве, загоне убирал он. Воду носил он. Шурша заскорузлой шубой, только и делал, что топтался целыми днями во дворе.

Раньше, едва наступал январь, он не находил себе места дома. Казалось, там, где он обычно сидел, рассыпали раскаленные угольях. Жена без особого труда управлялась со скромным хозяйством. А валяться целыми днями на подстилке и глядеть на унылый очаг, на покрытый копотью пузатый казан и исходящий паром самовар — радость не велика. От скуки свихнуться можно. Тлеу седлал игреневого и объезжал окрестности.

Скрипучий мороз, ледяной ветер и белый, нетронутый снег, казалось, лишили степь и пустыню всех признаков жизни. От выморочной тишины звенело в ушах, гудела голова. С хлясканьем вспарывая плотный снег, белым безмолвным чудовищем накрывший все вокруг и злобно поскрипывающий, взвизгивающий под ногами игреневого, нарушая жутковатую, неземную стылую тишь, Тлеу поднимался то на один перевал, то на другой и подолгу вглядывался в даль. Но не за что было глазу уцепиться. Глухая, немая ширь простиралась во все стороны. И если бы не он, одинокий всадник, маячащий черной точкой по сиротливым холмам и перевалам, весь этот безбрежный пустынный край смахивал бы на гиганта-мертвеца в белом саване. И чудилось Тлеу, что будет святотатством, если он забьется в свою юрту, точно в нору, и время от времени не прогуляется верхом на лошадке вокруг затерявшегося в этом выморочном мире неприметного становища. Потому и не сиделось ему дома. Как можно, если ты постоянно помнишь о том, что здесь, в суровой земле, под непробиваемым, непроницаемым покровом снега, покоятся останки немалочисленных предков? Ведь дух их, несомненно, радуется, когда их потомок появляется тут и нарушает топотом своей лошадки невыносимую даже для усопших тишь. И потому — так кажется Тлеу — ждут его здесь каждый раз с нетерпением. И каждый раз ликуют духи предков, чьи останки давным-давно истлели в черной утробе земли: значит, не одни мы здесь, значит, остался наш отросток там, на

земле, значит, не зря проливали кровь, защищая и отстаивая свое место под небом, значит, наши степи, наши выпасы, наша незабвенная колыбель в надежных руках. И, наоборот, если в такую глухую пору Тлеу не огласит топотом конят своего игреневого маштачка эти окрестности, духи конечно же придут в уныние, впадут в тоску. «Как жаль,— в неутешной скорби подумают они.— Выходит, то, что за столь короткую земную жизнь мы, грешные, не знали покоя, терпели бесчисленные лишения, проливали пот и кровь, не щадя живота своего, уповая на будущее благо и счастье наших потомков, все было напрасно... все было лишь тщетными потугами...» И кто их утешит, кроме него, Тлеу, единственного обитателя дедовского края? И хотя не дано ему, как говорится, горы свернуть, хотя он звезд снеба не хватает, однако что может быть выше главного человеческого назначения на земле — жить честно и достойно и оставить после себя достойное потомство, способное сберечь и продлить вечную нить жизни? Значит, то, что он, Тлеу, по мере своих сил и возможностей делает — потюкивает молоточком, ставит капканы, обихаживает несколько голов скота, день-деньской копошится в заботе о насущном хлебе для своего скромного житья-бытья,— есть самое нужное, самое главное, наполненное большим житейским смыслом дело на этой безлюдной скудной дедовской земле. И вот, не может быть высшего мужества и геройства, чем неизменная и постоянная честность перед жизнью — самое главное и ценное наследие предков, заповеданное ими грядущим поколениям. А потому, выходит, мы нередко совершенно напрасно сетуем на судьбу, называя нашу повседневную, внешне ничем не примечательную, неброскую, но честную и благородную жизнь серыми, безрадостными буднями или — того хуже — мелочной, бессмысленной суетой. Разве высший смысл жизни и краса ее не в том, чтобы каждый пришедший в этот мир недолгим гостем прежде всего заботился о себе и о своих потомках, которых он оставляет после себя у своего очага, под кровлей своего дома, на прекрасной земле, называемой прекрасным словом «родина», и при этом не зарится на чужое добро и благо, довольствуясь только тем, что добыто своим честным, праведным трудом? Если бы каждое божье творение, именуемое человеком, не стремилось первым долгом честно обслужить самого себя, то на этой земле — скудной или благодатной, все равно,— ничего бы не было, ничего бы не росло и не цвело. Не оставалось бы тогда на земле даже могил, способных внушить

кичливым горделцам и узколобым себялюбцам, которым упорно мерещится, что с их кончиной белый свет погрузится во мрак, простую и справедливую мысль о том, что и до них обитали на грешной земле такие же двуногие, и после них такие же двуногие пойдут по тем же тропам, а стало быть, разумно будет помнить о неизбежном роке, постигающем каждого живущего, и смирить свое ненасытное вожделение, свою гордыню, свои дерзкие желания, заботясь о святости души.

В самом деле, глядя на то, как даже мышь, эта ничтожная землеройная тварь, и та трогательно заботится о своем выводке, деля с ним последнее зернышко, всякую крошку, ты в который раз с горечью и тоской убеждаешься в полной бессмысленности твоего существования, если тебе не с кем поделиться своим скромным, честным трудом добытым благом, если в роковой час некому завещать свои бесконечные, не завершенные тобой дела и хлопоты на земле. Да, да... тогда жизнь твоя лишается всякого смысла...

От таких дум Тлеу, бывало, возвращался в свою убогую землянку с тяжелым сердцем, с опустошенной душой. Потом несколько дней, угрюмый и молчаливый, не выходил из дому, лежал, свернувшись, точно хворый или подбитый, на подстилках у стенки. А теперь от зари до зари покоя не знал, в нескончаемых хлопотах ходил взад-вперед из дома в дом. Раньше, пока не свечереет, он в землянке и не показывался, теперь же, едва выйдя, спешил назад. Зайдет раз — старуха держит довольного мальца над медным тазиком возле очага. В другой раз зайдет — старуха курдючным жиром растирает розовое тельце. Еще раз зайдет — старуха, сидя на корточках возле зыбки, что-то тихо напевает, а малыш, привычно задрав носик к потолку, умиротворенно посапывает...

Как-то раз, соорудив снежную ограду за хлевом, Тлеу вошел в дом и глазам не поверил: Зейнеп, держа малыша на коленях, совала ему свою дряблую грудь. Увидев мужа, она смутилась точно молодайка. А малыш сосал старательно, увлеченно, почмокивал — на лобике даже легкая испарина выступила. Он заметно подрос, окреп, обрел осмысленный взгляд. И сейчас, скосив глазки на Тлеу, расплылся в улыбке, обнажая розовые десны.

— У-у, шельмец!.. Улыбается еще, негодник,— умилился Тлеу. Но тут же спохватился, поспешно отвел глаза, вспомнив, что у него нет обыкновения задерживать взгляд на верблюжонке и ребенке. Кудеры не раз, помнится, делал ему

внушение: «У тебя взгляд ювелира-серебряника: острый, пронзительный. Можешь сглазить». Кто знает, может, действительно у него дурной глаз. Тлеу притенил глаза, склонился, делая вид, что ищет что-то под подставкой для сундука. Как в том году прошла зима, можно сказать, он и не заметил. Просто в один прекрасный день увидел, что снег сошел и повсюду чернеет земля. А еще некоторое время спустя, когда отправился на поиски игреневого, убедился, что пришла весна и подножия холмов и склоны перевалов покрылись нежной муравой.

Малыш, как говорится, рос не по дням, а по часам. Он уже сидел, обложенный подушками, и размахивал, дергал ручонками. Когда с улицы вваливался Тлеу, у малыша на мгновение застывали и округлялись глаза. Но стоило хозяину стянуть с себя верхнюю одежду, как малыш тотчас узнавал его, радостно улыбался, ерзал и начинал пускать пузыри.

Год выдался благодатным, везучим каким-то. Из семи овцематок три понесли по трое ягнят. Верблюдица (в кои-то годы!) благополучно разродилась верблюжонком-самочкой. Житняк и дикий пырей вымахали в песках так густо, что на выпасах невозможно было разглядеть мелкий скот. Куда ни повернешься, пьянящий запах разнотравья щекотал ноздри, кружил голову.

— Слава создателю! Благодарение всевышнему! — бормотал Тлеу.

— Это он... все он, наш малыш, принес нам счастье и удачу,— твердила постоянно Зейнеп.

И чтобы злые духи не сглазили его, она называла малыша «этот ничтожный карапуз».

А он, ничтожный, недостойный карапуз, безошибочно узнавал Тлеу и привязался к нему, требуя все больше внимания и ласки. Он просыпался чуть свет, и его тотчас распеленывали, высвобождали из тесной люльки и подкладывали в постель старика. Малыш ликующе сучил ножками, хватался ручонками за бороду, щекотал шею, издавал странные вопли, похихикивал, забавлялся как только мог. Часами потом не слезал с колей. А когда Тлеу по делу отправлялся во двор, малец ревел в три ручья. И Тлеу млел от нежности к малышу и старался не задерживаться во дворе. И каждый раз при входе шептал то вслух, то про себя:

— Тьфу, тьфу! Только бы не сглазить! Да пошлет ему всевышний здравия-удачи!..

Июль в том году выдался особенно жарким. Мелкий песок накалился, будто горячая зола прямо из печки,—

пятки сквозь сапоги обжигал. Воздух в юрте стал сухим, пахло горелой кошмой. Зейнеп то и дело обрызгивала все вокруг люльки водой, но вода мгновенно испарялась, затрудняя дыхание. И вот однажды ребенок проснулся весь в жару. Сморенный, вялый, он даже глазки не открывал. Видно, все-таки сказывалось, что его рано отняли от груди, кормили верблюжьим и козьим молоком через соску: слабому, крохотному существу было трудно перенести тяжкий в этом краю зной. Малыш слабо постанывал, хныкал таким жалобным, тихим голоском, что слушать это было мукой. Тлеу не находил себе места, ходил как потерянный.

Однажды, чтобы хоть как-то развеяться, он достал из шошалы — летней камышитовой пристройки — без пользы ржавеющие капканы, приторочил их к седлу и отправился к балке за аулом, где густо росла трава-прибрежница. Здесь, на пути к водопою, а также в затишье, где в полдень обычно спасаются от жары каракуйруки, Тлеу расставил капканы. В том году измученные зноем чуткие косули брели в этих местах табунами. Не успел Тлеу поставить последний капкан, как уже два косуленка с едва наметившимися рожками попали в силки.

— Дай бог... дай бог! — обрадовался Тлеу, привязывая к седлу отчаянно вырывавшихся косуль.

Домой он приехал после полудня. Заставил жену раздеть малыша догола. Потом Тлеу поднял над метавшимся в жару малышом косулю с крепко перетянутыми ножками и полоснул ее острым ножом по горлу. Алая кровь хлынула на малыша, обдала все его тельце и, тотчас сворачиваясь, отскакивала струпьями, точно зажаренная в раскаленном сале печенка. После этого ребенка завернули потеплее, так, чтобы никакой сквозняк к нему не проник, и положили на мягкие подстилки посреди юрты. Только что синие губки малыша тотчас заалели, а все личико покрылось испариной. С умилением и надеждой глядел Тлеу на хворого малыша, на крупные бисеринки пота, сами по себе набухавшие на лбу и скатывавшиеся по вискам. Таким способом степняки искони изгоняли жар из тела страждущего. Однако кровь ягненка считается для неокрепшего малыша слишком сильным средством. Зато кровь молоденькой косули должна мгновенно унять жар больного ребенка.

Не успел Тлеу управиться с двумя тушками, как вдруг нежданно-негаданно заявился Кудеры. И, не обменявшись словами приветствия, не расспросив, как положено, о житье-бытье, с ходу забалабонил:

— Нынче травы богатые. Бог даст, колхоз заготовит сенца вдоволь... может, даже две годовые нормы...

А потом только уселись было вдвоем за дастархан, поставив посередке распаренный заварник на горячих угольях в сковороде, как за юртой вновь послышался топот. Кто-то громко спросил:

— Эй, есть кто живой?

— А ты не робей, зайди — узнаешь,— тотчас отозвался быстрый на язык Кудеры, забыв, должно быть, что находится не в своем доме.

Путник — слышно было — спешился. Чиевая циновка на двери зашуршала, сдвинулась, и в юрту запросто прошмыгнула вислоухая черная гончая, вмиг пробралась на почетное место, растянулась на брюхе возле Кудеры и с чувством собачьего достоинства вывалила язык. Вслед за ней протиснулся в юрту неуклюжий верзила, грозя плечами снести дверную перекладину.

— Ассалаумагалейкум!

— Алейкумсалам! Коли добрый гость, проходи, присаживайся.

Незнакомец уселся чуть ниже своей собаки, крякнув, стянул один за другим тяжеленные сапоги, с грохотом отшвырнул к порогу.

— Хозяйка, во-он там белеет, по-моему, зола изеня. Подай-ка сюда,— прогудел гость, уставясь большими, с крупными красными прожилками глазами на горячие уголья в сковороде. Не спеша достал из-за пазухи тугой кожаный мешочек-кисет. Высыпал на ладонь щепоть табаку. Добавил в него золы изеня, поданной Зейнеп на дне кесушки. Цвиркнул слюной, подавил, помял ядовитое зелье большим мозолистым пальцем. При этом приговаривал:

— Удачи-счастья вам, хозяева. Да будет благословенен ваш очаг!

— Спасибо! Да исполнятся твои слова!

Зейнеп предложила гостю чай. Он поднял крупную и тяжелую, как и все его тело, голову, туда-сюда разок-другой провел пятерней по густым зарослям бороды, дремуче курчавившейся от самых висков.

— Не торопись, хозяюшка. Любой казах, ищущий пропажу по стени, я думаю, вправе надеяться на особое угощение у добрых людей. Небось на мою долю никто не позарится. Вы пока пейте. Я уж, бог даст, успею и потом.

И с этими словами он ловко заложил за губу насыбай.

Зейнеп только диву давалась. У Тлеу чуть дернулась

нижняя губа. Кудеры заерзал, явно задетый вызывающими манерами странного гостя.

Однако бородачу не было дела ни до кого и ни до чего. Он уселся поудобней, привалившись широкой спиной к сложенным у стенки тюкам. Небрежным движением кисти отодвинул гончую, и та послушно чуть отползла, отвернула морду, подобрав ненадолго длинный влажный язык. Тлеу и Кудеры степенно потягивали из кусешек чай, а верзила гость, вытянув в сторону длинные ноги, то и дело позевывал, поминая при этом аллаха.

Должно быть, когда господь бог создавал этого человека, он либо пребывал в очень уж благодушном настроении, как, скажем, Тлеу, либо был почему-то не в духе, наподобие сегодняшнего Кудеры. Как бы там ни было, всевышний не больно-то старался, сотворяя его, то есть не тесал, не строгал, не подпиливал, не подрезал, а слепил одним махом, тяп-ляп, наспех, будто некое изделие из-под рук неряшливой бабы. Из четырех кряжистых чурбаков, недолго примеривая, сработал две ноги и две руки, которым было явно тесно в юрте. Туловище напоминало чем-то очень грузным набитый огромный мешок-канар. А к этому неподъемному мешку, казалось, был приделан каким-то образом такой же несуразный кругляш-обрубок, и это — если приглядеться — и оказалось головой. Покатый лоб был такой ширины, что, как говорят склонные к преувеличениям степняки, хоть конные скачки устраивай. А вот когда дело дошло до носа, щедрый создатель проявил явную скупость. Не нос, а нечто плоское, невзрачное, будто едва приметный бугорок в раздольной степи. И совершенно невозможно было понять, почему такому, с позволения сказать, носику понадобились вдруг эдакие широченные, с ведро, ноздри. Вон, гляди, лежит, как каменный истукан на древнем кургане. Глаза с ладонь, а взгляд так и сверлит, так и пронизывает. Ему, видно, было все равно, что о нем думают сейчас остальные трое в юрте. Время от времени гость отрешенно-задумчиво сплевывал, ловко цвиркал меж зубов в сторону порога.

Первым напился чаю Тлеу. Чуть повременив, перевернул кесушку и Кудеры. Должно быть, дурное настроение его так и не развеялось, и теперь Кудеры захотелось разговорить неучтивого гостя.

— Ну, почтенный путник, может, окажешь нам такую честь, представишься: как зовут, какого рода-племени?

— А зачем тебе понадобился мой род? Надеюсь, не в сваты напрашиваешься...

— Ладно, можешь не говорить. По тому, как задираешься, я уж смекнул, что ты из воинственного рода адай.

— Верно: он самый!

— Видно, верблюда своего пропавшего ищешь?

— Нет, нарочно завернул сюда, чтобы засвидетельствовать свое почтение двум старикам из рода алим, что ящериц в пустыне стерегут.

Тлеу хмыкнул, а Кудеры от такой дерзости гостя потемнел лицом.

— А что тебе род алим? Или в родстве с ним состоишь?

— А почему бы и нет? Если уж мои бесшабашные предки запросто умыкали калмыцких и туркменских красоток, то с девками соседнего рода алим, думаю, и подавно любовь крутили.

Кудеры сразу расцвел лицом, губы тронула усмешка.

— Ну уж по этой части, полагаю, и мои предки маху не давали. Мать моя, да будет ей земля пухом, была из рода адай.

— Брось!.. Ты мне что, в племянники напрашиваешься? Какой ты мне племянник, если похож на котенка, налакавшегося кислого молока?! Помнишь батыра Есета... того, что вздыбил в свое время всю степь между Каспием и Аралом? Вот он приходился нам истинным племянником!

Кудеры, сразу присмирев, рассыпался смешком. Чапан спал с его плеча. А плосконосое лицо гостя оставалось по-прежнему невозмутимым.

Вновь дружелюбно зафырчал черный закопченный чайник. По юрте поплыл душистый запах свежезаваренного чая. Кудеры вмиг забыл о недавней своей язвительности, весь подобрался, сел. Зейнеп убрала и заново расстелила дастархан. И теперь уже и гость, шумно отдуваясь, принялся потягивать крутой чай, словно крохотную птаху, усадив на узловатые растопыренные пальцы чашку. Сначала, после того как было выпито с десяток чашек, у гостя покрылось испариной подглазье. Еще через некоторое время заструились темные струйки пота по глубоким бороздкам морщинам на могучей шее. Потом крупные, с палец, капли пота усеяли покатый лоб и, сливаясь, потекли по лицу. Гость поминутно доставал из-под шапки-борик огромный плат и начинал яростно обтираться.

Сколько же, однако, можно дуть чаю?! Напившись вдосталь, Кудеры перевернул свою чашку, отодвинулся к стенке, вновь натянул на плечи чапан и облокотился на

подушку. Полежал, помолчал, поерзал и так и сяк, наконец не выдержал:

— Оу, почтенный нагаши[1], вижу, жажда тебя донимает. Никак напиться не можешь.

Плосконосый верзила и бровью не повел.

Кудеры повернулся теперь к Тлеу:

— Надо же!.. Выходит, правду говорят люди: адайцы пьют чаю больше, чем их верблюды — воды.

Гость, вытирая платком обильный пот, едва усмехнулся. Наконец, когда пузатый черный чайник опустел во второй раз, гость отогнул краешек дастархана и достал из кармана необъятных штанов табакерку-шакшу.

Кудеры вновь подкусил адайца:

— Оу, как же так? Разве не положено после угощения воздать благодарение всевышнему? Или прав был тот туркменский шаир[2], что сказал однажды: «Молиться недосуг мятежному адайцу»? Вообще ваш род ведет себя так, будто на день раньше самого создателя родился. Так, выходит, зачем адайцу разные там молитвы-намазы?

— Ты что, хочешь, чтобы я воздал всевышнему за один твой черный чай?! Или пусто в твоем казане? Нечем гостя угостить? Насыть сначала мое брюхо, потом получишь мое благословение. А то, голубчик, жирно будет...

Тлеу расхохотался так, что затрясся всем телом, а из глаз покатились слезы. Гость между тем заложил еще горсть насыбая за губу.

Кудеры тоже повеселел. Сел, прямой, будто кол проглотил, вытянул жилистую шею.

— Скажи, почтенный нагаши, что это за разговоры такие, будто адайцы не от бабы, а от девки родились?

Плосконосый верзила лукаво заблестел глазами, смачно сплюнул.

— Боже упаси родиться от вислобрюхой, долгополой, чумазой чумички! Не лучше ли родиться, как говорится, груди плотные смягчая, лоно девственное расширяя, от девы невинной? Если вам угодно верить самим же пущенной сплетне, то пеняйте на своих дедов, не справлявшихся со своими бабами. Адайцам в том укору нет, если ваши предки в чем-то сплоховали.

Гость стряхнул крошки табака с ладони, обтер ее о край:

— Ладно, нагаши... тебя, я вижу, на слове не поймаешь.

---

[1] Нагаши — родственник по материнской линии.

[2] Шаир — песнопевец.

И шутить-то с тобой опасно: невзначай заденешь честь священных предков. Давай оставим это.

— Воля твоя...

— Ты ведь издалека едешь. Скажи, что слышал, что узнал? Мирно ли на белом свете?

— Да какой может быть мир, пока обитают на земле такие ехидны, как ты?! Детки вон, рассказывают, будто воюют где-то.

Тлеу вздрогнул, резко поднял голову. Кудеры в предвкушении любопытной беседы нетерпеливо заерзал:

— Скажи: о Чан Кай-ши что-нибудь слышно?

— Э-э... это что еще за напасть такая? Про то у шайтана спрашивай! — отмахнулся гость.— На этой штуке кто из вас тренькает?

Гость подбородком повел в сторону домбры, висевшей на верхней решетке юрты.

— Да ты что, почтенный нагаши?! Кто из нас осмелится брать в руки домбру, когда в твоих аулах распоследняя баба и та даже на скалке лучше нас наяривает?!

И Кудеры, проворно вскочив, подал гостю домбру.

Видно, к черной джидовой домбре давно никто не прикасался: колки ее ослабли, а подставка и вовсе где-то запропала. Гость отколол щепу от рукояти своей камчи, принялся ладить подставку. Потом настроил домбру, слегка пощелкивая указательным пальцем правой руки по струнам. Потом пальцы его проворно забегали по длинному грифу, проверяя, на месте ли лады. Потом выковырял из-за губы и бросил обсосанный табак. Засучил рукав выше локтя. Весь подобрался, сложив по-степному ноги. Огромный, неуклюжий, навис над крохотной домброй, прижал ее к себе. Тотчас полился легкий тягучий наигрыш, встревоживший душу, будто монотонный осенний дождь, шуршащий за стенкой. Гость не глядел ни на домбру, ни на присутствовавших в юрте. Вытянув шею, в упор уставился на черную гончую, устроившуюся рядком на почетном месте. Казалось, она внимала звукам наигрыша и испытывала блаженство: язык вывалился из пасти, а глаза то и дело томно закатывались. Неуемный, непоседливый Кудеры и тот затих: умолк и ерзать перестал. Тихоня Тлеу даже, казалось, дыхание затаил. Молчала и Зейнеп, склонившись над люлькой. Не подавал голоса и несмышленый малыш. И лишь за юртой заливисто заверещала какая-то птаха, будто подлаживаясь к задумчивому наигрышу.

Тягуче-томный наигрыш, пробиравший до костей, неожи-

данно перешел в другую тональность. Гость повернулся теперь лицом влево. Большие, с белесью, глаза напряженно выпучились из-под мрачно насупленных мохнатых бровей. Узловатые толстые пальцы все яростней стегали струны, исторгая из послушной дикдовой домбры гулкие, раскатистые звуки, способные, казалось, всколыхнуть землю. На висках домбриста набухли толстые, как веревка, жилы. Еще недавно он, грузный, громоздкий, сидел каменно-неподвижно, а теперь, будто вслед за стремительно взбиравшимися к самой вершине грифа пальцами, склонялся всем литым туловищем влево, а когда те же пальцы так же проворно скатывались, мелькая на ладах, вниз, к самому основанию, он весь заваливался вправо и будто сжимался, растворяясь в густом и звучном потоке причудливого кюя. А то вдруг грозно вращал глазами, словно метал искры и, весь во власти вдохновения, вытягивал напряженно шею и мотал массивной головой. Взгляд его то пронизывал Кудеры, то цепко ощупывал Тлеу с ног до головы, ввергая обоих слушателей в смущение, нагоняя оторопь. Маленькая домбра почти исчезла в его могучих объятиях. Звуки захлебывались, бились, казалось, колотились, как в лихорадке.

Стремительный, клокочущий кюй, взметнувшись напоследок крутым шквалом звуков, резко оборвался. Домбрист смахнул с лица обильный пот. Околдованные его игрой, трое в юрте потрясенно молчали.

Первым после долгой паузы заговорил Кудеры:

— Ай да нагаши! Слава всевышнему, что в твоих руках была домбра, а не копье. У меня душа ушла в пятки, когда ты так завращал белками.

Домбрист фыркнул, вновь потянулся за шакшой.

К этому времени доспело и мясо в казане. Сладкий запах свежей баранины поплыл-заструился по юрте.

Молча управились с бесбармаком, потом снова долго пили чай. И лишь после этого верзила гость, казалось, вспомнил, почему он очутился в этих краях.

— Случайно не попадалась вам на глаза чужая верблюдица? Рыжая, из породы мая. Помесь одногорбой с двугорбым. На шее берцовая кость — ботало. Ноздри рваные. Как увидит верхового, грозно вскидывается, плюется...

— А когда потерялась?

— Прошлой осенью.

— Ну, тогда с какой стати ей быть здесь, в пустыне? Наверняка выбралась в солончаки... туда, где ежовник. Вгони коня разок-другой в пот, доберись до Змеиных гор

на севере Улькума... вот там, возле соленых родников, и найдешь свою верблюдицу.

Начни Кудеры расспрашивать про дорогу — он весь оживится сразу, в глазах появится блеск. Он, считай, с детства изъездил всю степь, не однажды бывал в городах. В годы коллективизации некоторое время даже при деле был, как говорится, в седле сидел. И поныне еще, если вдруг понадобится на дальнем отгоне кошару строить или колодец выкопать, прибегают к его услугам. Даже в самую глухую ночь, когда хоть глаза выколи, он безошибочно найдет дорогу и приведет куда угодно. Одному аллаху ведомо, как уж он ориентируется — по ветру ли, по звездам ли, или по запахам трав... А то, бывает, спешится и кончиком языка лизнет почву под ногами. Такой уж дар выпал на долю этого человека.

По решению правления колхоза, что расположился за тридевять земель, возле озера, сторожить покосы в этом краю поручено Тлеу, а заведующим небольшой базой на границе песков и степи назначен был Кудеры. Потому-то почтенный Кудеры, или, говоря по-уважительному, Кудеке, явно хорохорится, задирает нос, так как чувствует себя единовластным хозяином всего этого бескрайнего, безлюдного пространства. Стоит только появиться невзначай поблизости базы какой-нибудь машине, как Кудеры уже мчится наперерез и не отпустит ее, пока не удостоверится, что в кузове. Если кто позарится на копешку сена — считай, скандала не миновать. В таких случаях нечистый на руку шофер, едва завидя преследующего его задиристого старика, даже не попытается улизнуть. Наоборот, тотчас останавливает машину и, выпрыгнув из кабины, пойдет навстречу. Прикинувшись заблудившимся, расспрашивает дорогу. Гневный долговязый старик, казалось, только что готовый растоптать первого встречного на пути, при учтивых словах хитрюги шофера мигом смиряет свой гнев и принимает горделивую осанку. Зажав в ладони плеть, которой мгновение назад замахнулся было грозно, показывает тамарисковой рукоятью в сторону горизонта.

«На во-он тот черный косогор поднимешься — увидишь окутанный маревом древний курган. Неподалеку от него наткнешься на развилок. Сворачивай направо. Понял? Через некоторое время дорога упрется в густые заросли гармалы. Проедешь их — сразу сверни так, чтобы лучи солнца падали на тебя сзади на левое плечо. Смекнул? Вот так и езжай прямо-прямо, пока тень от машины не ляжет впереди на длину шеста. Как увидишь прямо перед

собой тень, так поверни налево. Теперь тень окажется сбоку. Еще через полчасика езды увидишь перед собой нужный тебе колодец. Все понял?»

«Понял, отец. Большое спасибо!»

«Вот так, значит, коли понял».

«Будьте здоровы, отец!»

«Бывай!.. Эй, постой! Курить у тебя есть?»

«Пожалуйста...»

«Эй, это у тебя что — белохвостый бапурос?! Долгих тебе лет, милый!»

«Не папироса, отец, а сигарета».

«А-а... один черт!..»

Он неловко достает из пачки длинную тонкую сигарету, разглядывает, нюхает ее, пытается прочесть витиеватую надпись, но с удивлением убеждается, что буквы совсем не похожи на те латинские, которые он с горем пополам затвердил в беспокойную пору ликбеза, и, отчего-то вздохнув, поднимает голову, чтобы попросить спички, и тут вдруг видит, что машина мчится уже далеко.

«Ах, пройдоха! Ах, хитрый дьявол... чтоб тебе...» — хлопает он себя от досады по бедру, догадавшись, что его обвели вокруг пальца. Но что поделаешь?.. Он сует пачку в карман, одну сигарету закладывает за ухо и, хмурясь, едет назад.

Вот такой он, Кудеры. В кругу стариков тянется к их табакеркам, у молодых «стреляет» сигареты; пойдет в контору — напялит на голову широкополую шляпу; на поминках обтянет голову платком и прикинется благочестивым; то грешник, то святоша, то хитрец, то простодыра, он и теперь пространно толковал перед путником о дороге, чтобы блеснуть всеведением, а с другой стороны, надеясь на щепоть кудрявистого насыбая.

Глядя на него, Тлеу всегда от души хохотал. Вот и сейчас он еле сдерживался, стесняясь диковинного гостя. А Кудеры между тем продолжал разглагольствовать:

— Считай, ты нашел верблюдицу. Да, да!.. В эту пору в том краю Улькума нет никого, кто бы мог умыкнуть не то что живую скотину, но даже прихватить лежащие в траве путы.

Гость насмешливо скосился на Кудеры, помолчал, подергивая усами, и вдруг резко повернулся к Тлеу:

— Кто тебе сделал эту домбру?

— Тлеу и рта не успел раскрыть, как Кудеры уже все объяснил:

— Э, кто ему делать будет, если он сам мастер какого поискать! Сам все, сам! Он разве что мертвых оживить не может, все остальное ему раз чихнуть.

— Ну, тогда и вовсе хорошо. Давай-ка, сват, подари эту деревяшку мне. Пусть послужит мне памятью об ауле рода алим. Вижу: вокруг твоего становища не больно-то много кизяку. Значит, скотом не богат. Так уступаю тебе свою запропавшую где-то верблюдицу, будь она неладна!.. Она ведь, скотина-то, из этих краев. Никак к нашим местам не привыкнет. А этот редкобородый вроде готов ее разыскать. Пусть пригонит к твоему двору. Небось пригодится...

Тлеу и Кудеры рассмеялись. Верзила гость поднялся, скинул с плеч просторный бешмет, завернул в него домбру. Зейнеп учтиво выступила вперед, откинула циновку. Вслед за гостем вышли и старики.

Темно-рыжий белоногий призовой скакун, стоявший за юртой, под тяжестью верзилы поневоле качнулся, перебирая ногами, отскочил в сторону. Поспешно простившись, всадник завернул коня по направлению к закату и с ходу пустил его вскачь. Колени долговязого всадника достигали передних ног скакуна. За ним легко припустила, вывалив из пасти длинный язык, поджарая лопоухая черная гончая. И пока эти две тени — одна длинная, большая, другая — поменьше и покороче — не исчезли, растворившись в голубом мареве у горизонта, двое стариков возле юрты молча смотрели вслед. И лишь когда все вокруг, насколько хватило глаз, опять опустело, они вошли в юрту. Кудеры вновь уселся на почетное место, а рядом примостился Тлеу.

— Слушай, а как назвал сынка-то?

— Никак.

Кудеры рассыпался дребезгливым смешком.

— Как же вы к нему обращались до сих пор?

— А чего к нему обращаться? Говорим: «У, ничтожный!» Или: «Эй, щенок мокроносый!» — и ладно.

— Ну как же так?! Он принес в дом радость, добро, значит, так и назовите — Жаксылык.

— Не знаю уж... В нашем роду вроде таких имен не бывало. Мы ведь... это... надеемся, что он наследником нашим будет. Может, так его и назвать — Туяк. Неплохо будто...

Кудеры только было вскинул недовольно кустистые брови, но при этом слове снова опустил их и расцвел лицом. Схватил туго запеленатого младенца, потного, раскрасневшегося, притянул к себе, потянулся ртом к его правому ушку.

— Эй, щенок! Имя твое — Туяк! Слышишь? Запомни навсегда: Туяк! Туяк! Ту-як!..

Потом, как бы освящая имя, пригубил чашу с молоком. На прощание, оглядевшись вокруг, заметил задумчиво:

— Еще дней пять — десять, и нагрянут сюда косари...

Потом затрусил на коняшке в сторону своей базы.

III

Ах, какое пышное лето выдалось в том году! Обычно не радующая человеческий взор серая, однообразная, унылая равнина в том году сразу после месяца кукушки преобразилась неузнаваемо, напоминая переливавшуюся под солнцем гладь безбрежного степного озера. И точно волны на озере, с утра до вечера и с вечера до утра равномерно и умиротворенно покачивались, шелестя и шурша, спелые, рослые и сочные пырей и житняк.

И однажды из голубой степной хмари сначала смутно, а потом понемногу все явственней показались, подплывая, очертания нестройного кочевья, словно спешил-торопился в принарядившуюся и истомившуюся, разморенную теплом и тревожным желанием степь долгожданный гость. Кочевье шло торжественно, степенно, то как бы сужаясь, то разрастаясь. И уже вскоре можно было удостовериться, что то неуклюжее и громоздкое, что тянулось позади, было не что иное, как жатки и конные грабли. То были косари, появлявшиеся в этом краю раз в год с женами, детворой, домашним скарбом и утварью. Вот кочевье остановилось на краю покоса. Здесь оставили жатки и грабли, а с остальным скарбом косари двинулись чуть дальше, к подножию песчаного черного увала, который как бы преграждал путь надвигавшимся из пустыни барханам и дюнам.

Длинноногие дромадеры и острогорбые холощеные атаны, освободившись от поклажи и дымясь потом, с жадностью рванулись в нетронутые травы, а там, на открытом лугу у подножия увала, вмиг поднялись ребристые остовы юрт. Казалось, что мелькавшие здесь и тут хлопотуньи женщины в пестрых ярких платьях наряжали луг разноцветной пряжей. Вот уж вознесены потолочные кругишапраки. Вон уж видны вставленные в них изогнутые тонкие жерди-уники. От них потянулись к решеткам свитые из пряжи веревки. Вот уж и деревянный остов юрт покрыт кошмой. И там, где еще недавно зыбился причудливый

мираж, вмиг вырос на глазах дивный беленький, как в сказке, аул.

Голоногая, до черноты загорелая неугомонная малышня с радостными воплями кинулась к барханам. Там, словно наперегонки, принялась собирать дикий лук, выкапывать дикую морковь, искать в зарослях гнезда с пестрыми яичками, ставить силки, сплетенные из конских волос.

Как только были поставлены юрты, девушки-подлетки и молодайки, закинув за плечи мешки, отправились собирать кизяк. Несколько крепких джигитов, навьючив на верблюдов всю мало-мальски пригодную посуду, поехали за питьевой водой. Мужчины принялись копать перед каждой юртой земляные печки — жер-ошаки. Вскоре над ними взвился дымок.

У подножия увала колготали бабы, в барханах галдела малышня, и от этих голосов вмиг ожила еще недавно вымороченная окрестность. Напуганные косяки каракуйруков застывали вдруг на скаку, настороженно прислушивались. Вольные степные птицы, сбиваясь в стаи, недоуменно кружились над нежданно-негаданно выросшим аулом. Шустрые тушканчики выбегали из своих норок, застывали столбиками и, глядя в сторону юрт, восторженно верещали, перекликались, делясь новостью.

Встревожился и привыкший к одиночеству игреневый маштачок, то и дело задирал голову, всхрапывал, стриг ушами. Не усидел и Тлеу, отправился проведать косарей.

Вечером, когда наплыли-натекли сумерки, вдоль увала причудливо замелькали, точно нанизанные бусинки, веселые огоньки. А на следующее утро, чуть свет, всколыхнулась, загудела вся степная ширь. Казалось, сонная окрестность разом оглохла от рева верблюдов, стрекота жаток, скрежета граблей, людского гомона, сливавшихся в сплошной невообразимый гул. Степь ликовала после долгой, изнурительной зимней спячки. Сочная, только что скошенная трава источала дурманящий аромат. Через день-другой то здесь, то там стали появляться аккуратные островерхие копешки, потом большие стога. Потянулись от края до края огромные волокуши. Молодые загорелые джигиты на жатках и граблях, проезжая мимо, белозубо улыбались девчатам и молодухам, сгребавшим и ворошившим сено, а те, не оставаясь в долгу, кричали им вслед что-то озорное и раскатисто смеялись.

Куда ни посмотришь — всюду горит, кипит работа. Как ни прислушаешься — всюду гомон, веселье, смех. Какое раздолье! Какое счастье! Оказывается, смысл и краса вольной

степи под необъятным небом — единственно в этих неуемных, неугомонных двуногих существах. Без них все мертво, все безрадостно. Только они, выходит, способны наполнить безмолвную ширь чарующей песней. Даже рослая, наполненная соками земли трава, гибнущая под острыми ножками жаток, кажется, поет, звенит, ликуя оттого, что может пасть к ногам охваченных радостью и азартом труда косарей. И пьянящая радость эта передается поневоле всякому смертному, придает ему удаль и силу. В дни покоса Тлеу не чувствует усталости, готов днем и ночью стоять у наковальни. А в песках, известно, жатки то и дело ломаются, ножи быстро затупляются, вот Тлеу и не выпускает молотка целыми днями из рук. Поздним вечером еле добирается до постели. И спит так крепко, что отрежь ему ухо — не проснется. И снятся ему позабытые сны: ватага малышей увлеченно роется в его заветном сундучке. А потом вдруг они все оказываются взрослыми крепкими джигитами, сидят на высоких железных сиденьях жаток и, поблескивая белыми зубами, мечутся наперегонки по всему полю, косят сено. Гордый и счастливый, просыпается Тлеу на заре и видит: рядом с ним, под одним одеялом, весь распаренный, спит-посапывает, разбросав ручки-ножки, маленький Туяк. И когда только успела неуемная старуха подложить его к нему?..

А у нового дня — новые заботы, забот и хлопот у кузнеца хоть отбавляй. Но это его только радует.

Между многолюдным, шумным аулом косарей верховья и одиноким становищем в низовье вскоре протаптывается тропинка. Женщины из аула косарей, прихватив с собой пару кусков сахара и заварку-другую чая, спешат к Зейнеп, чтобы она скроила и сшила какую-нибудь одежду-обновку. И Зейнеп в такие дни не знает покоя: из мясца косули — добычи охотника-мужа — готовит в казане свежее жаркое, по нескольку раз заправляет самовар, пока гости катают войлок, сучат-теребят шерсть, вьют-плетут арканы, и так, глядишь, все дела, с которыми одна-одинешенька никак бы не управилась, и переделаны честь по чести.

Да недолго длится пора сенокосная. Пролетит месячишко-другой, и аул косарей срывается с места, тем же шумным кочевьем отправляется в обратный путь, навевая грусть и печаль на одинокое становище в долине. Еще через некоторое время могучие тракторы развозят по фермам одну за другой огромные, как горы, скирды сена, и вновь беспредельный, враз оскудевший край погружается в унылое безмолвие. На всю бескрайнюю ширь темнеет затерявшееся в низине

одно-единственное становище. И ничего не остается обитателям его, кроме как ждать, терпеливо ждать, когда наступит следующее лето и вновь в этот край пожалует веселое и хлопотливое племя косарей. И вправду ведь единственное событие здесь — приезд и отъезд косарей с центральной усадьбы колхоза. И только этим событием измеряется для Тлеу и его жены однообразно и медлительно-монотонно протекающее время. Более того, даже возраст маленького Туяка они определяли по тому, сколько раз со дня его рождения побывали у них косари.

И с каждым разом, когда они приезжали на сенокос, Туяк становился все взрослей. Еще в прошлом году он лежал запеленатым в люльке, а нынче глядишь — уже топает на своих ножках. Еще в прошлом году он, спотыкаясь и падая, едва преодолевал расстояние от почетного места до порога в юрте, а нынче — смотри-ка!— уже трусит рядом с отцом до самого аула косарей. Еще в прошлом году он не слезал с колен отца и матери, туда-сюда мотая головкой, а нынче — вот тебе раз!— уже просит, чтобы подсадили его на игренего маштачка. Еще в прошлом году он едва сидел на смиренном конике, держась обеими ручонками за луку седла, а нынче — ну и ну!— уж оседлал бойкого легконогого стригунка. А по тому, как тщательно отделано, словно игрушка, маленькое седло, как украшена серебряными пластинами да подвесками вся конская сбруя, нетрудно догадаться, что в юном обладателе всего этого великолепия кто-то явно души не чает.

Все обряды и обычаи, связанные с ростом и воспитанием ребенка, исполнялись с участием косарей. Совершив обряд «разрезание пут», одна пронырливая баба забрала у Зейнеп дорогое ожерелье с двойным рядом серебряных подвесок. Когда пришла пора пойти сыну впервые в школу, Тлеу закатил пир, и гостями его опять были все те же косари. Радость по поводу окончания Туяком школы тоже шумно и весело разделили они.

Не хотел Тлеу, чтобы сын его был хуже других. Потому продал корову и на вырученные деньги отправил сына на учебу в далекую Алма-Ату. Через полтора месяца сын вернулся точно побитый. Осунулся, побледнел, глаза опухли. Не прошел бедняга по конкурсу. «Э, ладно... Чего убиваться?— утешил его Тлеу.— Не поступил нынче, поступишь на следующий год». И на радостях порешил еще одну ярочку. Как же... сын живой-здоровый из дальней дороги прибыл,— следует возблагодарить всевышнего. На следующий год, едва прошел месяц май, Туяк с чемоданом, обретенным в столице,

вновь отправился в путь. На этот раз задержался в городе дольше, но однажды вновь вырос на пороге отчего дома. Опять осунулся, оброс: волосы до плеч, явственней наметились усики, а новость все та же: не прошел, не повезло. Тлеу ночь напролет проворочался в постели. Апырау, что же это получается? Неужто в его роду никто в грамотеи не пробьется? Чем он мог опять прогневить создателя? Выходит, не сбыться его желанию? Думал-думал, повздыхал. Сына живо представил: тощий, лохматый, в узких брючонках, чудной, диковатый какой-то. Задержись он еще месяц в городе — не отличить, пожалуй, от чучела, что торчит за подворьем. Слава богу, что хоть бродягой не стал, дом родной не забыл, благополучно назад вернулся. И на том спасибо. Шукур, шукур... Всеблагому слава. Живой, и ладно... И, успокоившись, Тлеу лишь перед восходом смежил веки. А наутро простодушный старик во имя всемилостивого аллаха полоснул черным ножом по горлу еще одной невинной ярочки.

Туяк особенно не унывал. Пошел к косарям, помогал возить сено. А к зиме подался в районный центр на шоферские курсы. Уже весной с твердыми «корочками» в кармане прибыл домой, однако в колхозе не нашлось для него машины, и парню пришлось все лето пробыть на сенокосе. Когда же косари разъехались, Туяк не находил себе дома места. Ставил капканы на каракуйруков. Бродил с ружьишком по степи. Часто наведывался к геологам из экспедиции, точно перекати-поле метавшейся в безлюдной пустыне в поисках невесть чего. За это время его раза два вызвали в военкомат, а вслед за тем призвали на службу. То ли уж слишком сильно истосковалась бедная мать за эти долгие два года по единственному, ненаглядному сыночку, то ли подстерегли-таки, подточили бесчисленные хвори-напасти болезную после того, как она вскормила-вспоила, вырастила и поставила его на ноги, кто знает, но как раз тогда, когда дошла радостная весть о том, что Туяк, отслужив, прибыл в район, давно уже тяжко маявшаяся Зейнеп в тот черный день, так и не дожив до рассвета, отдала богу душу. Все же всевышний оказался к ней милостивым. Что бы делал Тлеу, умри его верная спутница тогда, когда во весь окрест не было б ни одной живой души? К счастью, отошла бедная, когда прибыли сюда косари. И сыночек успел-таки к похоронам, бросил собственноручно горсть земли в могилу матери...

Отныне все заботы Тлеу были о сыне. Больше никто и ничто не связывало его с жизнью. А главной заботой теперь

была женитьба сына. Не удалось при жизни матери высватать ему невесту. Кто же отдаст теперь свою дочь за парня-сироту? Кто пойдет спохой в дом осиротевшего старика? И однажды поделился Тлеу своими сомнениями-горестями с Кудеры. Тот, едва дослушав, воскликнул: «Тьфу, дурень!» — и, ударив в досаде тамарисковой рукоятью камчи по земле, поспешно и решительно вышел из юрты. А через две-три недели прискакал обратно, развевая полы чапана. Запаренный, возбужденный. Заговорил, забалабонил с ходу, едва переступив порог. Оказывается, объезжая вверенные ему покосы, он встретил незнакомое кочевье. Ну и, понятное дело, раскричался, расшумелся, дескать, кто такие, почему топчете покосы, кто вам дал такое право, мать вашу разэтак... И кто бы это оказался? Да тот самый бородач-верзила, который когда-то искал в этом краю верблюдицу и увез с собой джидовую домбру. Вот как оно бывает! Конечно, обиделся бородач... сдвинул мохнатые брови, глаза налились кровью. Вначале даже разговаривать не пожелал. Потом начал задираться. Ну, и он, Кудеры, понятно, не промолчал. Пошпыняли друг друга, обменялись взаимными колкостями, потом перешли к мирной беседе. Бородатый адаец, оказалось, все помнил, расспросил о житье-бытье Тлеу, загоревал, услышав о смерти доброй Зейнеп.

Словом, чего уж долго рассказывать, заночевал Кудеры у бородача адайца, а утром обратил внимание на юную благовоспитанную девушку, разливавшую чай, ну и, не долго думая, высватал ее.

Как только отметили годовщину смерти Зейнеп, сыграли свадьбу. Опасался поначалу Тлеу, думал, невестка окажется характером в отца, но нет, с первого же дня показала себя кроткой и учтивой. Не мельтешила перед глазами. Была неизменно услужлива. Называла свекра не иначе как «ата» — батюшка. Обстирывала и обшивала его. Вовремя подавала чай. А в старом кумгане всегда была теплая водичка для омовения.

На одиноком, затерявшемся на краю пустыни становище они целыми днями оставались вдвоем. Непоседа Туяк приобрел на оставшиеся от свадьбы деньги мотоцикл и, уже с утра оседлав его, куда-то мчался как угорелый. И лишь на закате неожиданно выныривал из клубящегося дыма и пыли. Ни с отцом, ни с юной женой он почти не разговаривал. Опять-таки сосредоточенно копался в своей трещотке. В иные дни, случалось, и вовсе не показывался. Оставался ночевать у геологов, искавших в пустыне не то руду, не то

воду. Возвращался Туяк от них в странно-нелепых одеждах. Однажды нарисовался на пороге, сверкая голыми ногами, в каких-то куцых, чуть выше колен, штанах.

Неразговорчивый Тлеу, взглянув на сына, хмыкнул:

— Видать, собаки в том ауле, где ты почевал, больно злющие. Надо же, обе штанины враз оттяпали.

— Собаки тут ни при чем, отец. Это одежда такая. Называется шорты.

— К черту?! Это ведь вроде нехорошо?

— Шорты, шор-ты, отец, а не «к черту»! Летом в них очень удобно.

— А-а-а... ну, если удобно...

Невестка прыснула, Туяк гневно сверкнул глазами.

Еще как-то раз, когда пожаловал к ним Кудеры, Туяк вернулся от геологов, повесив на плечо небольшую черную шкатулку. Такого на этом становище еще никто не видывал. Как вошел в юрту, щелкнул Туяк чем-то, и шкатулка заиграла-загрохотала на все лады, хоть уши затыкай. Верблюжонок на привязи с испугу оборвал поводок и кинулся прочь. Ягнята и козлята, устроившиеся в тенечек, бросились врассыпную.

— Упаси аллах!.. Это еще что такое?!— отшатнулся Кудеры.

Туяк, довольный, расхохотался. Опять чем-то щелкнул, и шкатулка мгновенно утихла, словно в трескучий огонь плеснули ведро воды. Однако за прозрачной крышкой шкатулки с легким шелестом продолжало вертеться бордово-коричневое колесико.

Кудеры в это время увлеченно рассказывал, как от Аneса, сподвижника пророка Мухаммеда, произошел Алаш, от Алаша — Жаилхан и Сеилхан, от них — Казак и Созак, от Казака в свою очередь — Акарыс, Жанарыс, Бекарыс. После того как блестящая шкатулка на шее Туяка умолкла, Кудеры продолжил свой рассказ. В юрте стало тихо, было только слышно, как шелестело, крутясь, что-то в игрушечной шкатулке. Кудеры сел на любимого конька: расстегнув ворот рубахи, обмахиваясь, вдохновенно перечислял священные имена славных предков, и голос его в наступившей тишине звучал громко и торжественно. Но тут, как назло, защекотало в носу, и Кудеры, прервав на мгновение рассказ, достал пузырек с насыбаем, откупорил его, насыпал на ладонь щепоть кудрявисто-бурого зелья, как вдруг — о, аллах!— шкатулка заговорила на чистейшем казахском языке: «...от Бекарыса родился Алау, от Алау — Алшын, от Алшы-

на — Надир-ходжа, Кыдыр-ходжа, Садыр-ходжа, от Надир-ходжи — Каракесек, от него — Алим, Шумекей...»

Кудеры от неожиданности опешил. Голос этот показался ему очень знакомым. Однако не заурядный ли трепач этот всезнайка? Уж больно лихо шпарит, будто самолично перерезал пупы во младенчестве всем старикам-предкам, обитавшим когда-либо в этом краю. А ведь, если уж по справедливости, в этих окрестностях, куда только достигали копыта его коняги, лучше его, Кудеры, разбирается в родословных-шежире разве что крючконосый налоговый агент в районе. Тот уж знает всех казахов низовья и верховья наперечет. Попробуй только не сдать налог по мясу вовремя, он мигом назовет всех твоих предков, отличавшихся нерадивостью и скупердяйством еще бог весть в какие времена. А кому приятно такое выслушивать? Если же где-нибудь назначат нового заведующего фермой, крючконосый агент, точно по книге, перечислит всех его родственников до седьмого колена по отцовской и материнской линии и сделает глубокомысленный вывод, дескать, после такого-то и такого-то новоиспеченный завфермой — первый, кто в этом роду мало-мальски выбился в люди. С таким всезнайкой особенно не поспоришь. Но у налогового агента голос не такой, у него он более высокий, чуть ли не бабий. А этот напористый, самоуверенный какой-то. Должно быть, из городских... может, из самой Алма-Аты. Там их, всезнаек-стариков, говорят, пруд пруди. Помнится, внук-студент как-то рассказывал, будто они целой ватагой собираются на столичном Зеленом рынке, потягивают кумыс возле будки на верхотуре и до одури спорят о родословной казахов и о своде мусульманских законов. Наверняка этот, что так лихо заливается, один из тех завсегдатаев базара. Ишь как разошелся — не остановишь. Ему хоть руки-ноги свяжи, хоть святыми духами страши — шпарит себе, как по писаному. Надо, между прочим, отдать ему должное, говорит вполне дельно и разумно. Однако Кудеры ничуть не сомневался в том, что городской всезнайка-старичок, день-деньской отсиживающийся в тени, непременно в чем-то даст маху, где-нибудь обязательно споткнется, напутает, и потому доморощенный знаток казахской родословной, прищурив один глаз, склонив голову в сторону блестящей шкатулки, внимательно прислушался... Ага, вон он, голубчик, городской всезнайка, и попался...

«От Алима родились Аманак, Жаманак, Караманак, Айнак...»

— А вот и врешь! — вскинулся Кудеры, выпучив горящие

глаза.— Их было не четверо, а пятеро! Куда Тумена подевал, рожденного от младшей жены! То-то же! Разве не от Тумена родились Байсары и Кишкене? Отсюда и название пошло — «род Алим шести ветвей...».

И Кудеры, довольный, что так ловко сразил «городского прощелыгу», горделиво приосанился и лихо заложил за губу целую горсть насыбая.

Туяк расхохотался.

— Кудеке... ох, потеха! Так это вы сами и говорите.

Старики недоуменно и растерянно переглянулись.

— Аллах с тобой, Туякжан! С тех пор, как водишься с этими бродягами в степи, ты, кажется, забываться начал. Разве прилично так шутить с пожилыми людьми?!

Едва договорил Кудеры последние слова, как в блестящей шкатулке что-то щелкнуло, колесико быстро-быстро завертелось и оттуда вырвался резкий, ликующий возглас:

— А вот и врешь!

У стариков едва челюсти не отвалились. Чего только не вытворяет этот нечестивец Туяк!

Еще как-то раз заявился в шляпе-сомбреро, занимавшей половину юрты. И в тот день гостил у них Кудеры. Видно, непомерной величины шляпа сразу ему приглянулась.

— Слушай, милый, уступи эту штуку мне. Знаешь, как в ней хорошо верблюдов искать в степи...

Отныне и Кудеры зачастил к газопроводчикам, среди которых постоянно пропадал Туяк. И каждый раз возвращался от них с доброй торбой новостей и впечатлений: целый день мог рассказывать взахлеб. По его словам, начальник экспедиции — огромного роста лысый русский. Бородища его такая густая и кудлатая, что в зарослях ее наверняка могли бы затеряться ягнята и козлята, а если ее сбрить, то из шерсти можно запросто навалять добрую попону. И такой верзилистый: на каждое плечо без труда могут усесться по двое джигитов. Изо рта не вынимает толстенную сигару, и из ноздрей его сизо-бурый дым клубится, точно из печной трубы, когда топят сырым хворостом. И еще рассказывал Кудеры, будто прокладывают там, в пустыне, такие огромные железные трубы, что через них легко проскочит если не верблюжонок, то уж жеребенок наверняка. А машин таких никто не видывал! Наши колхозные раздрызганные газики рядом с ними все равно что паршивый ишачок подле верблюда-атана.

Кончилось тем, что вскоре Туяк окончательно перебрался к прокладчикам газовых труб. Однажды примчался на таком

громадном грузовике, что казалось, с ходу свернет гору. Действительно, не машина — махина! На такую можно запросто погрузить четыре юрты со всем скарбом, и то еще место останется. Тлеу от удивления только теребил бородку и покачивал головой. Сын поспешно укатил дальше, проложив могучими колесами грузовика-гиганта темную полосу в нежной, нетронутой траве возле юрты.

Отныне он наведывался домой раз в неделю. Тлеу только об одном молил создателя: «Где бы ни болтался этот негодник, лишь бы живой-здоровый был». Озабоченной и подавленной ходила и невестка, а когда слышала приближающийся грохот машины, места, бедная, себе не находила, начинала суетиться, метаться взад-вперед.

Как-то раз, в послеобеденное время, где-то неподалеку от становища раздался незнакомый стрекот. Он стремительно приближался, нарастал, и старик не выдержал, вышел из юрты, решив, что, по всему видать, сыну дали еще большую новую машину. Но, странное дело! — оглушительный стрекот доносился вроде с неба. Тлеу приставил козырьком ладонь ко лбу, запрокинул голову. О аллах! — хвостатое железное чудище, исступленно грохоча, нависло прямо над юртой. И она затряслась, как в лихорадке, затрепетала всеми веревками-поясами, каждым войлоком. А тундик — кошма, покрывающая потолочный круг,— и вовсе оторвался и отлетел.

Тлеу, ежеминутно поминая аллаха, застыл в полной растерянности. Железное чудище, точно завороженное, покружило-покружило над юртой и вдруг, взметнув к небу тучи пыли и золы, опустилось на бугорок неподалеку. Тлеу опешил и онемел от страха. Железное чудище, наконец, унялось, смолкло, сбоку отверзлась дверца, и в черном ее проеме показался... торжествующий Кудеры. Спускаясь по стремянке, самодовольно похохатывал.

— Ну как, старина? Душа небось в пятки ушла, а? Ты, чистюля этакий, пылинку к себе не подпускаешь, а я всю кучу золы враз над твоей головой взметнул! Каково?!

Тлеу глазам своим не поверил. Кудеры, продолжая похохатывать, подошел к нему, добродушно-снисходительно похлопал старого приятеля по плечу. Сообщил как бы между прочим, что пропавшего верблюда ищет. Попросил у друга-уруса вот эту трещотку. Удобно ведь: и быстро, и далеко вокруг видно. Это тебе не на кляче трястись весь день...

Кудеры вошел в юрту, выпил вместе со своим «тамыром-урусом» по чаше кваненого верблюжьего молока и, вновь

сотрясая бедную юртешку — того и гляди разметет! — улетел на железной птице-трещотке восвояси.

Тлеу долго не мог опомниться. Грохот, в клочья разорвавший веками застывшую над безмолвными барханами и холмами тишь, еще долго звучал в его ушах. Из головы не выходила железная птица, так просто и обыденно посетившая его одинокое становище, а губы вроде сами по себе шептали:

— Не сидится... все куда-то носит старого дьявола!..

Однако с того дня Тлеу охватила непзъяснимая тревога. Раньше, сотворив утренний намаз, он принимался что-нибудь мастерить, теперь же все валилось из рук. А в тот день он даже не открыл заветный сундучок. Оседлал маштачка и направился к холму за аулом. У могилок, растянувшихся цепочкой, принялся читать молитву, начиная с крайней к западу — с предка Утеу. Намотав конец длинного чембура на локоть, он попеременно опускался на колени у каждой могилки, шептал давным-давно затверженные арабские слова номинальной молитвы, держа перед собой сложенные ладони, потом оглаживал кончиками пальцев лицо и направлялся к следующему холмику. Последней в ряду — крайней с востока — оказалась могила Зейпеп. Такой тихой и скромной была она в жизни, почти незаметной, даже дома-то всегда ходила на цыпочках, а здесь, под холмиком, она почудилась вдруг большой, крупной. В ряду осевших, почти сровнявшихся с землей могилок предков ее могила и в самом деле выделялась свежестью и внушительностью. Тлеу почувствовал вдруг слабость в ногах, коленки мелко-мелко затряслись. Он постепенно опустился, точно подломился. Пробормотав несколько строк из затверженной суры корана, он черенком камчи взрыхлил плотной корочкой покрывшуюся почву перед собой и бросил на могилку горсть земли. Потом медленно оглядел — от изголовья до изножья — отливавший красноватой сунесью холмик. Не было в нем ничего такого, что могло бы ему напомнить живую Зейпеп. Немыслимо было представить, чтобы она, верная его спутница, при жизни учтиво подбиравшая ноги, едва он ступал через порог, могла вот так неподвижно лежать перед ним...

Сухой комок подкатил к горлу Тлеу...

Опираясь на рукоять камчи, тыча ею бездушную, глухую ко всему землю, Тлеу, пошатываясь, с трудом поднялся. Случайно взгляд его упал на то место, где явно обозначились его следы, и сердце его в холодном предчувствии больно сжалось. Да, да, если будет на то воля аллаха, вот на этом самом месте закопают и его.

Отчего-то дернулись в кривой ухмылке старческие губы. Да, да, именно вот сюда ляжет он, точно верблюд-дромадер, в свой срок. И вот этой сыпучей супесью, на которой он сейчас стоит, засыплют его. Выходит, смерть, до сих пор казавшаяся страшным драконом, притаившимся за шестью перевалами, смерть, от одного названия которой в ужасе замирало, бывало, сердце, теперь по-кошачьи незаметно и тихо подкралась совсем-совсем близко. И нет уж никакой тайны. Известны и место, куда он ляжет, и земля, которой засыплют могилу. Смертному, чья жизнь отмерена судьбой, не следует забывать о роковом часе! Едва маленький Туяк научился связно говорить, он, подсадив его к себе на игреневого коняшку, привез сюда, на кладбище. Здесь он перечислял имена предков до седьмого колена, пока мальчик не вызубрил их наизусть, и показал, под каким бугром покоятся останки каждого из них. Внушил мальчику горестную истину: будет на то воля аллаха, и он, Тлеу, ляжет в этом ряду. И тогда Туяк должен приходить на могилу отца, чтобы прошептать аят — небольшой отрывок из суры священного корана. И смышленый мальчик тотчас затвердил таинственные гортанные слова поминальной молитвы. Небось и сейчас не забыл, если только названия разных железок и частей машины не отшибли ему память. Тлеу каждый день перед сном заставлял сынишку повторять короткий аят. И смуглый, едва научившийся лопотать мальчишка тотчас усаживался на шелковое стеганое одеяльце на почетном месте, принимал благочестивую позу, складывал перед лицом ладошки, отрешенно хмурил брови и, встряхивая от усердия чубчиком на лбу, без запинки частил молитву. И старик, слушая, млел от радости и счастья: казалось, эти непонятные слова в устах младенца обладали колдовской силой и внушали уверенность и надежду, продлевали его жизнь на этой грешной земле. Думалось в такие минуты: «Когда мой единственный, ненаглядный с таким же вот усердием начнет читать молитву над моей могилой, то я уж наверняка перевернусь там разок-другой от радости, как бы ни тяжела была земля. Дай-то бог, чтобы скорее подрос мой сыночек...»

Теперь-то Тлеу дожил до этих лет. Милостивой оказалась судьба. Осуществились его желания. И, возвращаясь верхом на маштачке в аул, он то и дело восклицал:

— Ох, чудо!.. Истинное чудо!..

А в чем, собственно, чудо? В том ли, что безмолвен красный бугорок, прижавшийся к склону песчаного холма, под которым покоится хлопотунья Зейнеп, или в том, что и он,

Тлеу, просветленно-печально думающий сейчас о том о сем, окажется в свой — уже недалекий — срок тоже под этой же землей? На это почтенный Тлеу и сам бы не мог сейчас ответить. Лишь одна очевидная истина открылась ему сегодня с предельной ясностью: то, что сама природа позаботилась о том, чтобы сотворенная ею же живая плоть рано или поздно непременно вновь ушла в землю. Да, да, все вышло из праха и все станет прахом. И с этим незыблемым правилом бытия Тлеу смирился. И даже испытывает умиротворенность, довольство тем, что именно так, а не иначе устроен этот дивный мир. Однако чем он доволен? Тем, что смертен? Разве сознание, что ты умрешь, способно утешить? До сих пор он всегда думал, что нет, не может. Теперь убедился: рассуждать так — значит быть в плену заурядной человеческой слабости. Умирать, сознавая, что остаются люди, знающие и помнящие тебя, что после тебя остаются твои потомки,— вовсе не страшно и отнюдь не зло. Разве природа, сотворившая на земле столько чудес, столько величественного разнообразия, может быть несправедливой? В чем же несправедливость, если все старое, дряхлое, отжившее свое уходит, исчезает, отмирает, уступая место новому и молодому? Наоборот, разве не кощунственно, не постыдно влачить жалкое свое существование среди всего цветущего и молодого, не сознавая, что ты, такой дряхлый и старый, пребываешь в чужой среде и лишь коптишь небо? Избавь, всемилостивый создатель, от такой позорной доли! Разве не счастье, пока ты в здравом уме, вовремя покинуть юдоль печали? Только ведь и это счастье не всем равно дано. Вот Зейнеп, словно устав от бесконечных хлопот и суеты земной жизни, ушла в мир иной, спряталась под бугорком на склоне холма, и нет ей теперь дела уже ни до чего. А он, безутешный Тлеу, остался доживать свой век на попечении юной невестки, пошли ей бог удачи и здравия! У Туяка своя жизнь: пуще своей зазнобы он объятиях нежит-лелеет железное чудище-машину под собой. Даже верный, старый друг — неугомонный, неуемный Кудеры — и тот все куда-то спешит-торопится, взобрался аж на железную птицу-тарахтелку. И только он, Тлеу, сиднем сидит на старом становище, сторожит покоящийся на холме дух предков, думает о смертном часе и, словно на привязи, держит единственную кроткую невестку в этой глуши. Стыдно перед ней, будто чужой век заедает. Если бы не на него была возложена честь сохранения священного остова предка Утеу, если бы не предсмертное завещание отца, Тлеу, может быть, тоже давно уже тронулся с места вслед за сыном, подтверждая поговорку

о том, что состарившийся верблюд трусит на поводу своего верблюжонка. Однако как он оставит, как покинет эти родные дедовские места, эти могилы на склоне холма, все то родное, кровное, к которому прирос, прикипел сердцем с самого рождения?! Как он, уже, считай, одной ногой в могиле, переступит через завещание предков, через свою клятву?.. Разве сможет он собственными руками загасить ровно тлеющий огонек под очагом — единственный признак жизни в этой глухомани?.. После смерти он, пожалуй, еще смирится с тем, что этот беспредельный мир, застывший в безмолвии, остался всеми покинутым, никому не нужным, но как он может смириться с этим, пока еще в его дряхлой груди бьется горячее сердце? Невозможно это, немыслимо...

Отчего неспокойна душа? Единственного сына вырастил, выпестовал. Оженил его. На невестку налюбовался. Все свои земные дела вроде завершил. Все сложилось по-божески. На судьбу сетовать грешно. И все же что-то неотступно гнетет его, тревожит. Но о том он ни разу нигде не обмолвился ни словечком. Может, дойдет до всевышнего и эта его мольба? Таинственный внутренний голос нашептывал ему: если бы он только увидел наследника Туяка, если бы он только мог убедиться в том, что в сиротливой этой юрте жизнь не оборвалась, что под черным потолочным кругом ветхой его юрты никогда уже не зазвучит скорбный, тоскливый кюй предка Утеу, оплакивающего свою горемычную долю, то в оставшейся жизни и в самом деле не было больше никакого смысла. И тогда уж — пока еще не перемерли все его из года в год редеющие сверстники — он мог бы спокойно закрыть глаза на веки вечные и перекочевать к склону холма к предкам. Других желаний у него уже не может быть...

Когда Тлеу вернулся домой, невестка куда-то вышла. В пятистворчатой юрте было чисто прибрано. Не найдешь ничего, что не лежало бы на своем месте. Насколько Тлеу помнит, его неказистое, пропахшее ветром и солнцем жилище всегда отличалось необыкновенной опрятностью. О таком степняки говорят: будто змеей вылизано — так все блестит и сверкает. Лишь одно время, когда маленький Туяк начал ходить, в юрте творился некоторый тарарам, но это длилось недолго. Теперь же от такой чистоты и опрятности становилось вроде как бы не по себе. Даже сердце сжалось, будто в недобром предчувствии. Тлеу небрежно сунул камчу за решетку, направился было к своему привычному месту, но тут взгляд его упал на дорожный коржун у стенки. Полный, округлый, точно брюхо суягной овцы. Отправляясь в неблизкий

путь, Тлеу непременно брал коржун с собой. В нем он хранил бритву-опаску, мыло, мягкие ичиги, четки да еще смертную одежду — так, на всякий случай, вдруг вдали от родного очага подстережет костлявая. После благополучного возвращения домой он вешал коржун на верхнюю решетку, чтобы всегда был перед глазами.

С тех пор как Зейнеп отправилась в невозвратный путь, до заветного коржуна руки не доходили. Покойница, бывало, раз в три года обновляла его смертную одежку.

Тлеу снял с решетки коржун, не спеша развязал тесемки, вытащил аккуратно сложенное свое смертное. Оно было чистое, белое и пахло не то свежим тестом, не то только что раскрывшейся под знойным солнцем коробочкой хлопка. Вот это погребальное одеяние, как бы сохранившее тепло рук его незабвенной Зейнеп, все делавшей при жизни с необыкновенным тщанием и любовью,— единственная его доля, которую он забирает с собой на тот свет. Вот этим белым саваном укутают его иссохшее бренное тело перед тем, как предать черному безмолвию земли.

Корявые, по-старчески узловатые пальцы, нежно и благодарно теребившие белое полотно, вдруг задрожали. Эта мелкая беспомощная дрожь, казалось, передалась и кончикам его усов и бороды. Тлеу, расчувствовавшись, прикоснулся лбом к савану и положил его снова в коржун. Некоторое время он стоял в полном неведении — то ли сесть ему, то ли так и стоять с коржуном в руке, и растерянно оглядывался на дверь. Слегка отодвигая плечом сухо прошуршавшую камышовую циновку, вступила в юрту невестка. Смущаясь свекра, тихо, на цыпочках прошла к своему месту у очага. Все такая же легкая, стройная, тоненькая, будто девчушка, еще играющая в куклы.

Тлеу тяжело опустился на колени. Он испытывал неловкость от, должно быть, неуместной, бестактной мысли, посетившей сейчас его, и потому старался больше не глядеть в сторону невестки. Только, деланно зевнув, пробормотал:

— О всеблагий, не обделяй ее своей милостью!

Отныне что бы он ни делал, о чем бы ни думал, эта горячая мольба всегда вертелась на кончике языка. Даже если допускал какую-либо нечаянную оплошность или слышал о чьем-то неблаговидном поступке, он тотчас бормотал эти слова. И ночью, когда подолгу ворочался в постели, не в силах уснуть, он говорил их по сорок раз. И утром, просыпаясь, твердил, как молитву: «О всеблагий, не обделяй ее своей милостью!»

Как-то раз, совершив омовение и сотворив намаз, он уселся на мягкие, вчетверо сложенные стеганые одеяльца и принялся задумчиво перебирать четки. И тут до слуха его докатился странный грохот. Да не привычный грохот приближающейся машины, а мощный, многоголосый, раскатистый. Уже года два совхозное начальство решило, что ездить за сеном в эдакую даль совсем невыгодно, и потому довольствовалось кураком с близлежащих соленых озер, а нынче, должно быть, все-таки надумало направить косарей сюда. От этой догадки у Тлеу радостно затрепетало сердце, и он еле дождался, пока невестка расстелила перед ним дастархан.

Едва допив вторую чашку чаю, он отодвинулся к стенке, и невестка, догадавшись о нетерпении свекра, тотчас сняла с огня пузатый чайник. Тлеу поспешно пробормотал благодарственную молитву и отогнул краешек дастархана в знак того, что трапеза завершена. Потом, кряхтя и отдуваясь, неловко поднялся, и невестка, видя, как он потянулся за камчой, легко вскочила и учтиво откинула перед ним входную циновку.

Тлеу вышел и невольно зажмурился от ярких, набиравших силу утренних лучей. Поверх холмов и барханов, подставлявших солнцу склоны, шли-волновались легкие зеленые волны, убегая вдаль, в нетронутую степь за горизонтом. «Да-а... уж нынче вдосталь накосят сена,— подумал про себя старик.— Новый-то директор поначалу нос воротил от этих мест. Дескать, далеко, дорого возить. А глядя на то, как густо нынче вымахали житняк и пырей, видно, передумал. Да и какой безумец откажется от такого блага? Вон нагнал целое стадо тарахтелок!..»

Старик почувствовал сегодня необычную бодрость. И в седло взобрался легко, по-молодецки. Лошадка весело затрусила под ним навстречу приближающемуся грохоту. Нынче настали другие времена. Косари уже не едут, как прежде, шумным кочевьем — с семьями, домашним скарбом, на верблюдах. И уже не белеет, как бывало, аул вдоль склона увала. И не бегает, не резвится в барханах и оврагах ошалевшая от свободы ребятня. Не собирает дикий лук и дикую морковь. Нынче с грохотом и с треском приезжают на машинах и тракторах и скашивают траву по всей неоглядной шири за какую-нибудь недельку-другую — не то что раньше, когда косари обитали здесь месяцами. Ну, а на такой короткий срок, понятно, старики и детвора не едут. На сенокос приезжают одни молодые, крепкие парняги, оседлавшие железные тарахтелки. А с ними какой разговор? Слава богу, что хоть почтение

соблюдают, о житье-бытье как положено расспрашивают. А более — ни гугу. В самом деле, к чему им с одиноким стариком, стерегущим на безлюдье чахлые кусты, тары-бары разводить? Они предпочитают вечерами, собравшись на пятачке возле своего стана, при свете фар и под оглушительную трескотню дергаться в танцах. Ну и бог с ними, пусть дергаются, как-никак все же веселее на людях-то. Будто праздник в безлюдную степь приходит. Вон и невестка вся разволновалась, выскочила из юрты, всматривается в даль, откуда доносится грохот...

Тлеу, подшуровывая конягу пятками, поднялся на песчаный холм, на вершине которого были треножником составлены три жердины — одна-единственная вешка во всей однообразно-унылой равнине. Отсюда далеко видно вокруг. Тлеу долго вглядывался во все стороны, но ничего так и не увидел. Он спешился, отпустил, застреножив, лошадку и подошел к деревянной высокой вышке, оставленной здесь, на вершине песчаного холма, геологами. Даже в безветренный день вышка эта улавливала поднебесный ветер и монотонно гудела, будто жаловалась на что-то. Тлеу прилег у основания вышки и пригляделся. Вышка, по всему, оказалась излюбленным местом для птиц. Все три опоры пестрели от густого птичьего помета. Посреди вышки торчала из земли черная железная труба. Вокруг нее бугрилась куча породы. Всезнайка Кудеры говорит: все дело — в этой вот железной трубе. Она уходит глубоко под землю. А там, бог знает в какой глубине, может, за семью пластами, залегло несметное богатство — разная там руда, золото, нефть, газ. Там, где геологи обнаружили богатые залежи, инженеры якобы ставят вышки, чтобы потом по необходимости приступить к добыче. «Дай срок, милейший,— сказал как-то Кудеры,— бог даст, в этих безлюдных песках вырастет такой город — ахнешь!»

Бог ты мой, что это за грохот такой?! Земля и небо уже дрожат, содрогаются, а все не видать, откуда он идет. Однако неистовый грохот, от которого, казалось, вот-вот расколется и обрушится синее небо, неумолимо надвигался все ближе. И все же до самого горизонта по-прежнему ничего не было видно. И вдруг за бурым перевалом, растянувшимся поперек степи со стороны восхода, показались какие-то длиннющие чудища. Тлеу удивился: не похоже что-то на косарей. Те ведь обычно приезжали на машинах и тракторах. А вот таких железных чудищ Тлеу еще не видывал. Бредут-ползут, словно готовые взорваться от собственного грохота, и, точно гигантские аисты, вытянули к небу шеи. Важно шагают, надменно-

дерзко взирают вокруг и лишь изредка как бы снисходительно покачивают длинными шеями.

Конь, только что пощипывавший в сторонке травку, сторожко задрал голову, застриг ушами, вдоль хребта его прокатывалась нервная дрожь. Дрожала земля. Дрожал песчаный холм. Дрожью зашлась вышка, того и гляди развалится на куски. Тлеу и не заметил, как вскочил. Странная тревога охватила его, сердце забилось неровно, подкатывало к горлу. Ноги подкашивались. Спотыкаясь, Тлеу с трудом доплелся до коня. Бедная животина тоже будто сникла, осторожно, словно вступая в воду, перебирала ногами, не понимая, отчего вдруг зашаталась под ней столь надежная обычно твердь.

Старик и конь спешили домой, словно спасаясь от преследовавшего их по пятам всесокрушающего грохота. Но и дома не было спасения от него. И здесь, казалось, все ходило ходуном, все дрожало, охваченное неясным предчувствием.

Вечером заявился Туяк. Оказывается, это они, газопроводчики, прибыли в эти края. Прокладывают трубы. Тлеу немного вроде успокоился. Однако холодок, точно затаившийся вдоль хребта знойным летом, все не отпускал его. И грохот продолжался ночь напролет. А еще через день-другой грохотало уже где-то совсем под боком. Не утерпел Тлеу, снова оседлал коняшку. Трусливая тварь стригла ушами, перебирала ногами, косилась по сторонам, но никак не желала идти туда, где темнел, грохоча и лязгая, караван железных чудовищ. Тлеу направил лошадку к ближнему холму. Громадное железное чудовище со скрежетом и лязгом вгрызалось стальными зубьями в твердую плоть земли, набивало ею свою ненасытную пасть и изрыгало-исторгало грунт по обе стороны от себя. В длинный глубокий ров, прорезавший ровную нетронутую степь, другие железные чудища, надсадно рыча и урча, скатывали, сталкивали укладывали огромные черные трубы. Вдоль этих труб то здесь, то там ослепительно ярко вспыхивали огоньки, трепетали, брызгая голубыми искрами. За ними, также сотрясаясь от натуги, огромные тракторы со стальными щитами впереди сгребали, ссыпали землю в ров.

Работали слаженно, под сплошной, несмолкаемый грохот, нещадно разрывая, вспарывая плоть земли, прокладывая по ее телу гигантские железные трубы все дальше, дальше. Опять пришли на ум слова, сказанные неугомонным Кудеры. Через такие трубы наверняка пролезет не то что добрый баран, но и, пожалуй, жеребенок. Удивительно: все, что говорил Кудеры, оказалось сущей правдой. Такие наступили

нынче времена, что любой бред аульных краснобаев оборачивается былью.

Тлеу как завороженный застыл на зыбком песчаном холме. Кто-то высунулся из кабины громадной машины, помахал ему рукой. Так это же его Туяк! Ах ты мой милый, ненаглядный! Тлеу чуть ли не прослезился, и вся эта суматоха, вся эта возня, грохот и скрежет показались ему сразу осмысленными, близкими и даже приятными.

Отныне каждый день Тлеу приезжал на зыбкий песчаный холм и отсюда подолгу наблюдал за работой трубоукладчиков. С каждым днем они продвигались все дальше на запад. Вскоре и вовсе исчезли в барханах Улыкума. Уже не видно стало гигантских железных чудищ. Только утробный грохот все приглушенней доносился издалека. А за ними пролегала тянулась широкая, отливавшая рыжей сурепью полоса, точно шрам на лике земли. Тлеу испытывал непонятную опустошенность и тоску. Он вроде как тосковал по тому мощному грохоту, от которого еще недавно в смутной тревоге сжималось-замирало его сердце. Такое с ним случалось и раньше, когда, завершив сенокос, косари разъезжались по домам.

Спустя некоторое время, на становище его произошло еще одно событие. Вернулся он как-то из очередной поездки по окрестностям и опешил: неподалеку от его жилья вырос остов еще одной юрты. Две женщины сноровисто прилаживали к потолочному кругу кривые жердины-унины, а вокруг них суетился, давая распоряжения и размахивая рукой, какой-то мужчина. Длинный, просторный чапан то и дело спадал с его плеч. Мужчина показался знакомым. О аллах, так это же Кудеры! С неба он, что ли, свалился? Увидел старого приятеля, с ходу завелся, забалабонил:

— Эй, молчун! Живой-здоровый? Теперь-то, я думаю, разговоришься. Вряд ли умолчишь, если я изо дня в день начну жужжать возле твоего уха. Этот урус-бородач... помнишь, я про него рассказывал... назначил меня сторожем здешнего участка. Буду за трубами следить. Вот я и прикочевал к тебе.

В тот же вечер по доброму обычаю степняков Тлеу зарезал молодого барашка и устроил ерулик — угощение в честь прикочевавшего позже соседа. Теперь на душе почтенного Тлеке стало спокойно и ладно. Он вновь достал из-под подставки для тюков заветный сундучок, к которому долгое время из-за житейских треволнений не прикасался.

Жизнь вошла в привычную колею. Сразу после утреннего чая заявлялся к приятелю неугомонный Кудеры. Поудобней устроившись на почетном месте, прикрыв по обыкновению

часть лица краешком чапана, он начинал выкладывать все новости на земле и небесах. И откуда ему только все ведомо? Можно подумать, всеведущий шайтан всю ночь напролет нашептывал ему на ухо. Тлеу только слушал и диву давался, лишь временами негромко хмыкал, мерно потюкивая молоточком.

Однажды, когда невестка вышла по своим делам, Кудеры вдруг ни с того ни с сего спросил:

— Эй, молчун! Сын твой уж больше года как жену привел. Пора бы и внуком тебя одарить, а?

Тлеу хотя и хмыкнул по привычке и на этот раз, однако всерьез задумался и даже огорчился. В самом деле... молодая здоровая женщина. Столько времени в любви и согласии живет с мужем. Вроде уж пора своим чадом обзавестись... Или хотя бы забеременеть... Непонятно что-то... Кажется, и Туяк какой-то дерганый стал в последнее время. По любому поводу вспыхивает. Чуть что — трык-брык, вскочит на свой драндулет — и ищи-свищи ветра в поле. Может, и он, щенок эдакий, удручен именно этим. Да и невестка на глазах осунулась, поблекла, будто хворь или печаль какая изнутри ее точит. А ведь еще недавно была такая гладкая, тугощекая — не ущипнешь. А он-то, Тлеу, думал, что ей просто скучно, тоскливо жить на безлюдье.

И опять новая тревога охватила Тлеу. Чуть свет уходил он в степь, будто спешил проверять расставленные накануне капканы. На самом же деле он избегал неуместных расспросов Кудеры. Не желал, чтобы тот бередил ему душу. Брел Тлеу один-одинешенек по степи, думы разные невеселые думал. Неужели злая напасть, по пятам преследовавшая всех его предков до седьмого колена, подстерегла теперь и Туяка? Он ходил на кладбище, молился у каждой могилки на склоне песчаного холма, обращался к священным духам с жаркой мольбой оказать милость его единственному, ненаглядному, не оставлять его без потомства. И, ублажая всесильных духов, привязывал к ветхому, источенному надмогильному столбику лоскутки, завернув в них одну-другую синенькую или желтенькую из скромной своей пенсии.

Прошел, канул в вечность еще один год. Никаких перемен в их доме не случилось. Невестка ходила по-прежнему поджарая, легкая. У Туяка сникла голова. Печаль и досада не сходили с его обветренного лица. Хмурым и молчаливым приезжал он домой. Хмурым и молчаливым уезжал на работу.

Тлеу заметно одряхлел. Предаваясь тоскливым думам,

целыми днями не выходил из юрты. Он таял на глазах. Казалось, черная пучина тоски неумолимо засасывала его.

Теперь Тлеу стал бояться смерти, с которой с недавних пор смирился было. И боязнь была одна: неужели он так и умрет, не дожив до потомства Туяка? Неужели не исполнит он предсмертного отцовского завещания, покинет этот мир, не обучив единственного наследника священного остова предков тому скорбному кюю, передаваемому, как семейная реликвия, из поколения в поколение? Все чаще снились ему покойный отец и сверстники, уже ушедшие дорогой предков.

В одну из пятниц он попросил невестку состряпать семь тонких лепешек на нутряном бараньем сале. Потом с семью жертвенными лепешками отправился к могилам предков, чтобы сотворить поминальную молитву. Потом направил коняшку к купам джиды, куда уже давно не заглядывал. Всего несколько деревьев серебристого лоха, безнадежно затерявшихся в зыбучих песках, печально перешептывались листьями. Ветер трепал поредевшие верхушки. Деревца, должно быть, обрадовались живой душе, ветки наклонились к нему, листья защебетали, точно птички, ластились, норовя прикоснуться, прижаться к его лицу, рукам. Тлеу через силу достал из-за пояса черный топор.

Вечером, вернувшись с работы, Туяк изумился, глядя на то, как старый отец старательно тесал дерево.

— Что вы, отец, опять надумали?!— И, догадавшись о том, что́ именно мастерит отец, досадливо буркнул:— Этих домбр нынче в магазинах навалом. Зачем мудрить-то?

Тлеу не ответил. Только хмыкнул громко и яростно. Так он хмыкал, когда говорливый Кудеры слишком уж докучал ему своими расспросами и россказнями.

Через несколько дней домбра была готова. Тлеу повесил ее на решетку, чтобы всем видно было. И в следующий приезд сына поинтересовался как бы между прочим:

— Скажи, дорогой, ты на домбре играть-то умеешь? Или даже не знаешь, как ее держать?

— Почему же? Тренькал в школе. Даже в кружок ходил.

— Ну, тогда слушай...

Тлеу начал настраивать домбру. Туяк ковырялся в блестящей шкатулке, с которой не расставался ни дома, ни на работе, однако прислушивался к звукам домбры.

Тлеу, склонившись над домброй, начал извлекать, выщелкивать из нее горестные, щемящие душу звуки. Они дрожали, набирали силу, складывались в заунывный кюй. И узловатые сильные пальцы, привыкшие к резаку и молотку,

крепко и подолгу нажимали на один и тот же лад, точно буравили его, ввинчивались, исчерпывая все возможные оттенки звука, и лишь потом перебирались на следующий лад, отмеченный поперечно натянутой жилой на длинном грифе. Туяк и не предполагал, что отец его такой искусный домбрист. От тягучего кюя, который он играл сейчас, веяло неуемной печалью и тоской и больно сжималось сердце. Туяк вздрогнул, замер, свесил голову на грудь.

Играя, старый Тлеу все время смотрел не на домбру, а на сына. Закончив кюй, глубоко вздохнул, прислонил домбру к стенке. Ни слова не проронил. Привалился бочком к подушке.

С того дня Тлеу уже не оправился. Сумрак вокруг него вроде как сгустился. Целыми днями он мог сидеть в одной и той же неподвижной позе, перебирая глянцевитые четки. Иногда неожиданно замирали у него пальцы, казалось, он силился что-то вспомнить, но, так и не вспомнив, снова начинал перебирать-пересчитывать блестящие зерна джиды, нанизанные на жильную нитку.

И однажды вспомнил, о чем думал все эти дни. «Интересно, не затяжелела ли за это время моя невестка...» Он не имел привычки останавливать взор свой на молодых людях. Верил, что острый взгляд его приносит порчу. Правда, нынче всевидящий взгляд ювелира-серебряника померк. Все вокруг зыбится, как в тумане. И хотя пока он еще не очутился под землей, однако чудилось, будто погрузился в воду. Сомкнулась, смылась грань между днем и ночью, между летом и зимой. Странное, неопределенное какое-то существование между сном и явью, на меже жизни и смерти. К счастью, лишь слух ему пока не изменил. Но и ушами его прочно завладел Кудеры.

— Эй, молчун,— сказал он однажды.— Что-то в последние дни твоя невестка зачастила к нам. На кислое ее потянуло. Видно, забрюхатела, а?

Никогда еще в жизни не радовался он так болтливому языку балабола Кудеры. Отныне, по-прежнему прикованный к постели, он считал про себя дни, недели и месяцы. И каждый раз, когда невестка выходила или входила в юрту, такая же тихая и робкая, как покойная Зейнеп, он незаметно приглядывался к ней, отмечая про себя происходившие в ней перемены. Она двигалась все медленнее и тяжелее, иные ночи ворочалась в постели, приглушенно постанывала, стесняясь, должно быть, его, свекра. А Тлеу, прислушиваясь к стонам невестки, обмирал от нежности и жа-

лости к ней, вспоминал всех известных ему святых, умолял их быть милостивыми и великодушными к бедной женщине, принявшей столько мук ради продления его угасающего рода.

Когда по его подсчетам невестке пришла пора родить, он раздобыл крепкую бедренную кость и достал из заветного сундучка инструменты. Казалось, глазам его вернулись остатние силы: он был в состоянии вполне сносно различить все вокруг себя. Он тщательно почистил бедренную кость, просверлил ее с обоих концов. Степняки укладывают ребенка, туго запеленев, в зыбку. И чтобы он не лежал мокрым, зыбку снизу просверливают и вставляют туда гладко отполированную полую кость. О ней-то и заботился сейчас старый Тлеу. Он подолгу ощупывал корявыми, плохо гнущимися пальцами края кости, затачивал их напильником. То ему казалось, что отверстие мало, то края неровны, то поверхность недостаточно гладка. Он снова взялся за острый нож, чтобы чуток подправить один конец кости, но лезвие соскользнуло и острием вонзилось в большой палец левой руки.

В тот же день разбарабанило всю руку. Палец распух, горел, причинял нестерпимую боль. Однако, считая кощунственным стонать из-за боли в пальце, когда уже, можно сказать, находишься на смертном одре, он изо всех сил крепился и только старческими деснами теребил-покусывал нижнюю губу. Мрак вокруг все сгущался. И теперь уже чудилось, что не в воду он погружался, а неумолимо проваливался в бездонную пучину. От боли в руке и даже уже во всем теле он временами впадал в беспамятство.

Однажды, после очередного обморока придя в себя, он услышал, как Кудеры, склонившись к нему, кричал в ухо:

— Эй, молчун! Суюнши, суюнши! Бог внял твоей мольбе. Невестка твоя разродилась мальчиком. Внук, внук у тебя!

Всегда сдержанный, не позволявший себе распускаться на глазах людей, Тлеу раза два рванулся, пытаясь подняться, но силы покинули его. Тогда он отвернулся к стенке, прижал, стиснув, концы палочек нижней решетки к груди и затрясся плечами. Больше не проронил он ни слова.

Когда в юрту вошел сын, Тлеу как будто приоткрыл глаза. Только что толку? Черное покрывало наглухо застило свет. Однако сознание подсказывало, что черная пучина его еще не проглотила, потому что слух, хотя и смутно, улавливал каждый шаг Туяка. Он слышал, как сын

подошел к нему, почувствовал, как положил правую ладонь на лоб. От нежности и благодарности он задрожал подбородком, пытался что-то сказать, но не мог. Казалось, смерть вцепилась в его разбухший палец, в палец искусного серебряника-ювелира, вцепилась насмерть и назойливо нашептывала-торопила: «Эй, не тяни! Хватит тебе маяться! Кончай!..» Он и сам знает, что пора... пора и честь знать, и так замешкался, но все казалось, что ему надо, непременно надо сказать остающимся на этой земле что-то важное, сокровенное. Однако он и сам не знал сейчас точно, что именно он собирается сказать. Никак не мог сосредоточиться, мысль упорно ускользала. Он с усилием ловил воздух, отчаянно раздувал ноздри, напряженно задирал подбородок кверху.

До слуха вроде как доносились чьи-то голоса. Не Кудеры ли это? О создатель! Значит, он еще есть, еще существует на свете? Значит, он еще останется после него? Всю жизнь он, добрая душа, разделял его одиночество, навещал его время от времени...

Откуда-то просочился протяжный, заунывный звук. Да, да, это он, прощальный кюй, кюй-завещание. Тот самый дедовский «Кюй скорби». Отравленные горем и тоской звуки пронзили сердце, заглушили боль воспалившегося и загноившегося пальца. Но — странно — скорбный кюй приносил успокоение и утешение. Глухой, непробиваемый мрак перед глазами будто раздвигался, рассеивался. Снизу подул-потянул бодрящий ветерок. Он доносил блаженные запахи жизни — запах земли, солнца, жухлых степных трав, пыльной паленой кошмы, лошадиного пота, бензина и солярки (видно, неподалеку стояла машина Туяка), и от этих запахов, точно испугавшись, отстранилась, отступила смерть, разжала на горле цепкие когти. И померещилась вдруг безоглядная вольная степь. Только было то осенью или весной — определить он не мог. И отчего-то поблескивала трава — то ли от росы, то ли от серебристых паутинок. И он без оглядки все брел и брел куда-то по нескончаемой, открытой во все стороны степи. И тоже было неясно: то ли сторожил покосы, то ли охотился на зверя. И вдруг перед ним — вдоль склона черного увала,— радуя взор, забелел широко раскинувшийся аул. Посередине стояла его неказистая, невзрачная юртешка. А по обе стороны от нее расположились сплошь белые, как яичко, отау — юрты для молодых, юрты его потомков. И сколько их, этих отау! Раз, два, три, четыре, пять... Опять в глазах зарябило — не сосчитать. И вдруг из белых юрт вышли

как на подбор крепкие, ясноглазые, смуглолицые джигиты. Уверенно и горделиво огляделись вокруг, потом направились к коням, стоявшим неподалеку на привязи. Взлетели в седла и один за другим помчались-понеслись куда-то. От ладного цокота их копыт вновь ожил стремительный, напористый кюй, и, понемногу удаляясь, растворяясь в беспредельности степи, он обернулся неудержимым, торжествующе-заливистым смехом. Странно... что это за кюй такой? И кто его играет? Неужто Туяк?.. Надо же, какой искусный, страстный кюйши!.. А застоявшиеся справные скакуны, напряженно вытянув шеи, цепочкой неслись-летели у самого горизонта. Вот-вот исчезнут с глаз... И тут опять уловил он запах бензина. И легконогие скакуны тотчас превратились в огромные ревущие машины. От смешанных запахов бензина и горькой полыни стало вроде как легче дышать. Запах этот почудился приятным, желанным, ибо за рулем громадин-машин сидели все сплошь его потомки, ведомые Туяком. И сколько их! Один, два, три, четыре, пять... Нет, зыбится все в глазах — не сосчитать. Целая колонна машин с яростным ревом взметнулась на пригорок вдали, вот-вот исчезнет за горизонтом. Радостно глядел он слабеющими старческими глазами вслед, испытывая успокоение, удовлетворение в душе, и губы помимо воли шептали невнятные благодарственные слова всевышнему. Ресницы — он это чувствовал — тяжелели. Веки смыкались. Захваченный сладостным виденьем, весь во власти смутного, но столь желанного счастья, он медленно погружался в некое благостное, разморенное состояние. Радостная, легкая улыбка, столь не свойственная ему при жизни, блуждала на его немеющих губах...

Видя, как тень смерти медленно поползла от лба к лицу отца, Туяк выключил магнитофон. Колесико за прозрачной крышкой, разматывавшее узкую коричневую ленту, с легким шелестом остановилось.

Тлеу лежал, вытянувшись, в постели на почетном месте. Вид у него был спокойный, умиротворенный, будто благополучно завершил все свои земные дела и уснул блаженным сном. Ни тени досады или горечи не было на его лице. И морщины, избороздившие широкий лоб, разгладились. Строгий, ровный, скупой на внешнее проявление своих чувств, он, бывало, только изредка ухмылялся, хмыкал, дергая краешком губ, а теперь в уголке рта застыла едва заметная легкая и добрая усмешка.

Собравшиеся в юрте не сразу поняли, что случилось.

Кудеры, все это время молча возлежавший на куче хвороста за очагом, неуклюже сполз на пол, опустился на колени.

— Бедный мой молчун... Никого на свете не обижал... никому зла не желал... жил тихо и праведно... и так же тихо и скромно ушел от нас... на веки вечные поки-и-инул.

Невестка, бледная и осунувшаяся после родов, сидя возле закопченного казана, сдавленно вскрикнула.

* * *

Возле крайнего холмика на склоне песчаного увала за аулом появилась свежая могила — красный бугорок, издали смахивавший на устало опустившегося на колени дромадера.

Сороковины справили на исконной земле предков. Здесь же в присутствии понаехавшей родни и близких отметили и сороковой день новорожденного. А уж на следующий день после поминок и торжеств Туяк откочевал, навсегда покинув священный дедовский край. На кузове громадного грузовика, каких у газопроводчиков было немало, лежал священный остов рода утеу — почерневший от времени дубовый потолочный круг юрты, передававшийся из поколения в поколение теми, кто в течение двух веков верно и честно стерегли мир, покой, честь и совесть этого безлюдного, затерявшегося на стыке песков и пустыни края.

В низине, на которую со всех сторон надвигались, наступали пески, остался темный пятачок, круглая проплешина — место стоянки старой продымленной юрты.

Застыл возле земляной печки — продолговатой закопченной ямины — и кучки остывшей золы Кудеры, точно одинокая вечерняя тень; долго глядел вслед громадине-машине, навсегда увозившей нехитрый домашний скарб покойного друга; поглядел-поглядел, повздыхал-повздыхал, да и направился к своему коню, поняв, что уж сегодня он никак не усидит в своей унылой, оставшейся теперь в одиночестве юрте.

Весна пришла нынче в пески необычно рано. Правда, травка еще не успела зазеленеть, однако здесь и там пробивалась все заметней. Дали раздвинулись. Там, где бугрились барханы Улыкума, смутно темнела рощица. Раньше он как-то не обращал на нее внимания. А нынче, в ясный голубеющий весенний день, в открытой всему взору степи купы серебристого лоха манили, невольно притягивали взгляд. Кудеры понял, почему его покойный друг в тяжкие минуты всегда спешил сюда. Во всей неоглядной шири не было сейчас

ни одной живой души, кроме одинокого верхового. И, словно чувствуя это, заезженная старая кляча под ним трусила резво, с сознанием собственного достоинства. И, казалось, обрадовавшись показавшемуся наконец вдали живому существу, весело побежали ему навстречу несколько деревцев джиды, изнуренных скукой и одиночеством в пустыне.

Вот они, купы джиды на краю безмолвной пустыни. Они как будто неподвластны времени. На голых ветвях кое-где уже явственно наметились почки. Ждут не дождутся, когда весна вступит в силу, когда живительные соки жизни развернут их в зеленые клейкие листики, ликующе шелестящие под вольным ветром. Эта неистребимая жажда жизни неприхотливых деревцев, растущих здесь бог весть с каких времен, навевала добрые мысли, приносила утешение и веру. Кудеры зашептал, шевеля губами:

— Тринадцать лет по летоисчислению правоверных — один мушель, двадцать пять лет — два, тридцать семь — три, сорок девять — четыре, шестьдесят один — пять, семьдесят три — шесть мушелей, год свиньи — раз, год мыши — два, год коровы — три, год барса — четыре, год зайца — пять...

На этот раз он считал свои года. Получалось немало — под восемьдесят.

Старик шевелил губами, сгибал по одному пальцы, а весеннее солнце на зеркально чистом голубом небе улыбалось, подмигивало ему.

ВСТРЕЧНЫЙ-ПОПЕРЕЧНЫЙ

Сначала он объявился в городе. В том самом, что раскинулся у моря. И не будь этого моря, еще неизвестно, очутился бы он в наших краях или нет. Впрочем, думаю, все равно очутился бы. Потому что ему надо было с о б с т в е н н о р у ч н о передать в политчасть простреленный партбилет Ахата-кукé, моего старшего брата. А в билете, оказывается, было вписано название того самого города, который раскинулся у моря. Сойдя с парохода, он сразу же направился в военный комиссариат. И там, покончив с делами, расспросил, как добраться до нашего аула.

День ждал попутной подводы — не было. Два дня ждал — не было. Три дня прождал — не было. На четвертый день, разозлившись, отправился пешком. На окраине города наткнулся на столовую. Заказал порцию украинского борща — не наелся. Заказал еще одну — не наелся. Заказал третью тарелку — наелся. «С тех пор мне больше ни разу не удалось похлебать борща»,— вспоминал он потом. И при этом обязательно сглатывал слюну. Глядя на него, и я каждый раз облизывался. Он — потому что хоть и один раз, но все же от пуза наелся диковинного борща. Я — потому что не только сроду его не ел, но до этого даже не знал, как он называется.

Так вот, наевшись до отвала, он решил немного отдохнуть в тени возле столовой. Снял сапоги, перемотал портянки и в это время увидел, как на шелудивую, худющую рыжую суку, обнюхивавшую отбросы, яростно набросился вислоухий, с волчьим загривком, мосластый черный пес. Вцепился в глотку несчастной, подмял под себя, того и гляди в клочья разорвет. «Прочь, пааадлеееесс!» — закричал он раз, пес — ноль внимания. Еще раз крикнул, пес — хоть бы что. В третий раз рявкнул — то же самое. Тогда он снял ремень с большой, с кулак, медной пряжкой, шарахнул разъярившегося пса по морде — тот, нахалюга, опешил, заскулил и дал деру.

Путник закинул вещмешок за плечи, выбрался на большак и потопал в сторону нашего аула. Шел, шел, целый день шел, а перед заходом солнца поднялся на бугорок у обочины доро-

ги, сел, закурил. И тут услышал: кто-то за спиной тихо, жалобно так заскулил. Схватив ремень, лежавший рядом, путник оглянулся — неподалеку сидела на задних лапах та самая рыжая сука.

Дальше пошли уже вдвоем — человек и собака. Шли день — до нашего аула не дошли. Шли еще день — не дошли. Шли третий день — не дошли. На четвертый день, вечером, уже в сумерках, увидели: в голой степи горит огонек. Подошли. На треноге побулькивал казан. Рядом темнела юрта. Сунул было путник голову в проем двери — никого нет. Не решаясь шагнуть через порог, постучал кулаком по притолоке. «Можно?» — спросил раз. Ответа нет. «Разрешите!» — подал голос второй раз. Молчок. В третий раз спросил — опять ни звука. «Что ж... делать нечего»,— решил он про себя и уже собрался было уйти восвояси, как услышал за юртой протяжный стон верблюдицы.

Он быстро поправил пилотку, одернул гимнастерку, ловко отогнав складки под ремнем назад, и вытянулся. Сначала он увидел, как, выплыв из густеющей темноты, блеснуло в отсвете огня ведро; потом забелел огромный тюрбан, накрученный на голову; наконец, показалась суетливая старушонка, спотыкавшаяся о подол длинного, просторного платья. Заметив незнакомца, старуха в испуге застыла. Видя, как испугалась старуха, еще напряженнее вытянулся незнакомец. Так они и стояли, уставясь друг на друга, а чуть в сторонке попеременно косилась на них в изумлении приблудная рыжая сука.

К счастью, в это самое время вернулся с пастбища старый табунщик, мой дядя Даир, старший брат мамы.

Тут только его старуха и пришла в себя. Убедившись в этом, как бы очнулся и незнакомый путник.

Втроем вошли в юрту. Незнакомец сразу сел на большую деревянную ступу в правом углу. Дядя Даир, раздеваясь, пригласил его пройти на почетное место — не идет. Бабушка, расстилая дастархан, тоже пригласила гостя на почетное место — не идет. Так и сидел на деревянной ступе, как истукан. И даже чай пил, все так же сидя в углу.

В это время за юртой послышался топот, кто-то спросил:

— Эй, есть кто живой?

— Заходи, кто бы ни был,— ответил дядя Даир, продолжая прихлебывать из чашки горячий чай.

В юрту вступил военный в капитанских погонах. Незнакомец, неподвижно сидевший на ступе, заполошенно вскочил,

вытянулся в струнку и, приставив пятерню к виску, звонко отчеканил:

— Товарищ капитан! Демобилизованный гвардии ефрейтор Казиев Самат разыскивает родителей гвардии старшего лейтенанта Ахата Бекбаева, погибшего смертью храбрых на войне!

Дядя Даир и его старуха, ничего не понимая, растерянно переглянулись.

— Ясно. Сядь! — вяло отозвался капитан.

То, оказывается, был нынешний бухгалтер Бекен, возвращавшийся с фронта. До глубокой ночи просидели мужчины за тихой беседой.

А на другой день, после обеда, дядя Даир нежданно нагрянул в наш аул. С ним был чернявый щуплый незнакомец. Он смущенно переминался с ноги на ногу, без конца дотрагивался до крохотной пилотки на макушке и поправлял широкий, с медной пряжкой ремень.

Должно быть, внушения дяди Даира возымели действие на незнакомца: у нас он уже не сидел на ступе в углу, опершись на деревянный пест. Переступив порог, он разулся, прошел на почетное место, уселся чуть ниже дяди Даира, поджал под себя ноги — маленький, невзрачный, будто бугорок или кочка в степи. Заметно выцветшую, в белесых от пота разводьях пилотку сунул под колено. Достал из кармана металлическую расческу, попытался причесать, пригладить жесткие, как скребок для чистки казана, густые волосы. Примятые пилоткой, они, едва их коснулась расческа, вдруг встопорщились, грозно ощетинились во все стороны. Под непробиваемым ежиком с трудом можно было различить узкую полоску лба. Ну, а подо лбом, как известно, полагается быть глазам. Глаза незнакомца были похожи на две крохотные пуговички, расположенные рядом. Не было даже намека на белки глаз или на красные прожилки — ровно поблескивали лишь маленькие черные зрачки. Словно не желая приковывать к себе внимания, на маленьком лице чуть бугрился плоский носик, а под ним, где положено быть усам, опять-таки торчком росли редкие, не более десятка, щетинки. Вмиг собравшиеся у нас аулчане, как ни пытались, ничего больше другого не могли разглядеть в незнакомце, скромно сидевшем возле дяди Даира.

Между тем дядя Даир приказал мне подать кумган с теплой водой и принялся, по обыкновению не спеша, ополаскивать руки. Потом не спеша плеснул две пригоршни воды в лицо; потом не спеша потер нос; потом не спеша вытерся

большим полотенцем. Потом не спеша расспросил про житье-бытье всех в ауле. Потом не спеша расспросил про хозяйские дела. Потом не спеша пил чай. Потом, когда убрали скатерку-дастархан, снова попросил подать кумган.

Чем медленнее становились движения дяди Даира, тем заметнее ерзал чем-то встревоженный гость. Глазки-пуговки забегали-зашныряли туда-сюда, то устремляя маслянистый взгляд на необъятное лицо табунщика, то поспешно отворачиваясь. Обратили ли на это внимание другие — не знаю, но я обратил, и меня почему-то разбирал смех.

Должно быть, дядя Диар тоже догадался о беспокойстве гостя и вскоре заговорил. Речь свою он начал издалека. Мой дядя слова роняет медленно, веско. Вообще он больше всего на свете презирает спешку. Если при нем кто-нибудь начинает суетиться и выказывать нетерпение, то такого, кто бы он ни был, дядя Даир отчихвостит самыми последними словами. Поэтому никто не осмеливается торопить моего степенного дядю. Но при этом вот что странно: самый быстрый скакун в округе — у моего медлительного дяди. Самая резвая собака — у моего медлительного дяди. Самая вспыльчивая камча, то и дело гуляющая по спине старухи,— у моего медлительного дяди.

Дядя Даир сидел сейчас на коленях. Глаза его выпучились и холодно поблескивали. Жесткие усы встопорщились, концы их грозно и круто задрались. Слова в нем клокотали. Он говорил неистово, яростно. Он хлопал длинными обожженными степным солнцем ресницами и говорил. Он потюкивал черенком плети себя попеременно по коленям и говорил. Он вытирал большим полотенцем обильный пот со лба, смахивал светлые струйки широким небрежным жестом и говорил. Он ловким щелчком корявых пальцев сбивал зеленых мух на войлочной подстилке и говорил. Он говорил... говорил... говорил... Серые, будто с налетом соли, глаза дяди Даира метали искры, кустистые брови устрашающе сошлись на переносице. Казалось, он вступил в поединок с невидимым лютым врагом, затаившимся не то в укромном уголочке под семью пластами земли, не то в недоступной выси за шестью слоями неба. И еще чудилось, что если этот злодей ненароком попался бы сейчас дяде Даиру в руки, он разорвал бы его в клочья.

Через некоторое время дядя Даир будто подломился: голос его зазвучал глухо и скорбно, словно он прощался с самым дорогим человеком. Он закрывал глаза, безутешно покачивал головой. Теперь он не пот со лба вытирал большим полотенцем, а слезы на глазах. Вдруг дядя Даир, как бы обессилев,

оборвал речь, распахнул сильно покрасневшие глаза, огляделся вокруг. Тогда и я покосился по сторонам и с недоумением увидел, что все... всхлипывают, всех душат слезы. Гость весь сжался, сник, будто придавленный к земле. Голова свесилась на грудь.

Как только дядя Даир закончил свою длинную речь, все враз завыли на разные лады. Дряхлая моя бабушка, кое-как сидевшая возле сундука, обложенная с трех сторон тремя подушками, обвила шею папы. Грузная, крупная телом мама, одна занимавшая все пространство, отведенное для домашней утвари, обняла дядю Даира. А Жазира, моя женге, скромно опустившаяся на одно колено возле меня, закинула руку в браслетах на мою шею. Плакали навзрыд, содрогаясь телом, безутешно. А я ничего не могу понять, пытаюсь изо всех сил вырваться из объятий Жазиры. Мне с трудом удалось вывернуться и посмотреть в сторону гостя. Он изо всех сил прижимал пилотку к глазам. Плечи его вздрагивали.

Отпустив дядю Даира, мама обняла теперь гостя. Маленький щуплый солдатик, словно ребенок, утонул, исчез в могучих объятьях мамы. Ее скорбному причитанию теперь вторил его отрывистый, как кашель, плач. Потом, все так же рыдая, стали попеременно обнимать гостя и папа, и бабушка, и тетушка Жазира. Тут мигом сбежались аулчане и тоже с плачем, с горестными воплями принялись обнимать одного за другим всех членов нашей семьи.

Я выскочил во двор, побежал к песчаному холмику за аулом и там, в укрытии, чтобы никто не видел, тоже заплакал. Плакал долго-долго, слезы лились сами по себе. И еще я боялся, что ребята увидят меня, плачущего, и засмеют, и потому скрывался по лощинам, за бугорками и все плакал, плакал, никак не мог успокоиться. Пока не зашло солнце, пока не стемнело, я так и просидел в своем укрытии на холме.

Очнулся оттого, что рядом будто кто-то робко фыркнул. Я вскочил. Худющая, все ребра на виду, рыжая сука, поджав меж задних ног тощий хвост, подползла ко мне на брюхе и боязливо лизнула мою ногу.

Вместе с собакой я отправился домой. Скорбный плач утих. В земляной печке, жер-ошаке, перед нашей мазанкой горел огонь. Там толпились все женщины аула, а все мужчины собрались в нашей юрте. Теперь они плотно окружили не дядю Даира, а щуплого незнакомца. Дядя Даир внимательно слушал, низко опустив голову на грудь. Если кто-либо неуместными расспросами перебивал рассказчика, дядя Даир строгим взглядом тотчас осаждал его. Когда я показался на

пороге, он и на меня посмотрел так сурово, что я и сам не заметил, как юркнул к бабушке и сунул голову под ее просторную безрукавку.

Гость между тем продолжал рассказывать про что-то своим по-ребячески высоким, тонким голосом. А усевшиеся вокруг аулчане, казалось, были готовы его слушать до утра. Прижавшись к бабушке, крепко закрыв глаза, будто слушаю длинный сказ, я навострил уши. Не все было понятно, о чем рассказывал гость, но я все равно слушал, слушал. Сначала я слушал, сидя в обнимку с бабушкой. Потом слушал, прислонив голову к ее плечу. Через некоторое время слушал, положив голову на ее колени. Слушал... слушал. Глаза плотно закрыл, а уши навострил. У бабушки, должно быть, онемели ноги, она переложила мою голову на подушку сбоку, а я даже не шелохнулся, будто сплю, но все равно все слышал. И понял я вот что: наш гость — несомненно, смельчак, храбрец, герой. Одним словом, настоящий батыр. И еще я понял: мой старший брат, мой Ахат-куке,— тоже батыр. Притом не какой-нибудь там рядовой батыр, а большой батыр, самый-самый, ну как Кобланды, как Алпамыс, как Таргын и Камбар, которые воспеваются в древних сказаниях. Так вот, мой Ахат-куке и этот наш с виду неказистый гость погнали врага, не давая ему опомниться, от города Сталинграда за нашим синим морем до самого Берлина, который, как я понял, находится за семьюдесятью перевалами на краю земли. Загнали лютого семиглавого дракона в его же логово и всыпали ему как следует. А он и подыхая продолжал сопротивляться. И в последнем сражении смертельно ранил моего Ахата-куке. Но все равно победили наши. Тот недавний большой праздник в нашем краю — с конными скачками, с борьбой силачей-полуанов, с песнями,— оказывается, проводился как раз в честь этой победы.

Слушая это, я и забыл, почему давеча так горько плакал. Слушая это, я и не заметил, как уснул на подушке возле бабушки.

Проснулся рано, на рассвете. Все еще спали, прямо на полу, впритык. Я вгляделся в лица: среди спящих не было ни дяди Данра, ни вчерашнего щуплого гостя. Я выбежал на улицу. Дяди Данра и след простыл. Не видно ни седла, ни уздечки. А в тени юрты на большой узорчатой кошме, под лоскутным сатиновым одеялом, что-то бугрилось. У изножья стояли рядком обтерханные, исцарапанные колючками и травами кирзовые сапоги. Я вспыхнул от радости и, пока гость не проснулся, все ходил и ходил вокруг.

Когда солнце поднялось на длину конских пут, гость наконец проснулся. Увидел меня, присевшего на корточки у его изголовья, поздоровался и протянул руку:

— Ну, батыр, как дела?

Потом попросил принести воды, чтобы помыться. На правом бедре гостя явственно виднелся шрам. На левой руке, выше локтя, обозначилась ямка. От нее тянулись белесые рубцы. Маленький серповидный шрам был заметен и возле ключицы.

Когда я его обливал ледяной водой, он громко фыркал и радостно восклицал:

— Ах, хорошо! Эх, благодать!

Узнав про гибель моего Ахата-куке, люди приезжали со всей окрестности, выражали соболезнование и читали поминальные молитвы. Несколько дней все только и смотрели щуплому гостю в рот, слушали его длинный и скорбный рассказ.

Так прошел месяц. Потом — еще один. И вот однажды, после утреннего чаепития, гость долго беседовал с моим папой. Беседа кончилась тем, что папа решительно кивнул головой. Потом, оседлав коней, они съездили в колхозную контору. И уже на следующий день, после вечерней дойки, овец на выгон погнал не папа, а гость. Поили же отару мы втроем. Воду из колодца большой бадьей доставал папа, а мы с гостем пускали овец группами к деревянному желобу, чтобы они не передавили друг друга. Отныне я ни на шаг не отходил от гостя. Мне он сразу понравился. Он был не такой, как дядя Жанас, который раненым вернулся с фронта незадолго до окончания войны. Дядя Жанас не любит, когда я начинаю приставать к нему с расспросами. «Иди, зануда, играй»,— отмахивается он от меня.

Жанас для меня не чужой дядя, а родственник. Правда, я так и не понял, какой. Но когда я выбегаю ему навстречу, он меня не подсаживает на коня. И не то что свою шляпу, а даже камчу свою подержать не дает. И обнять себя не позволяет, боится, что я его невзначай замараю. Когда он приезжает к нам, то подает свою камчу, шляпу, белоснежный чесучовый китель, сумку только в руки одной Жазиры-женге. И Жазира-женге торжественно принимает камчу, шляпу, белоснежный китель, сумку из рук дяди Жанаса и так же торжественно развешивает на верхние решетки юрты. После этого Жанас подходит к моей бабушке, сидящей возле сундука, опускается на колени и подставляет лоб для поцелуя. Потом шаловливо ткнет пальцем мою маму в бок и потребует подать миску остуженного айрана. Потом направляется в соседнюю юрту-

отау для молодых, поставленную для моего Ахата-куке и тетушки Жазиры, располагается на почетном месте и подолгу наигрывает на маленькой с длинным грифом черной домбре. Ведет он себя так вольно и развязно, будто он, а не я — самый младший и потому самый любимый и желанный в этом доме. И меня это просто раздражает.

Если откроешь его черную полевую сумку, с которой он почти не расстается, то увидишь в ней пучок разноцветных карандашей: красный, синий, желтый, зеленый, коричневый. Полный набор всевозможных цветов! А как приятно, как сладко пахнет дерево, из которого сделаны эти карандаши! Ноздри щекочет. А когда к этому аромату добавится запах совершенно белой гладкой бумаги — голова кружится, глаза туманятся. Для меня нет в мире лучших запахов, столь они желанны и в такой же мере недоступны. Да, эта драгоценность не для меня. Жанас даже не позволяет мне дотронуться до карандашей и белых листиков.

Когда он уходит в соседнюю юрту моего Ахата-куке, я подкрадываюсь к черной сумке, снимаю ее с решетки и начинаю разглядывать и обнюхивать каждый карандаш, каждый листик. Наша юрта сразу наполняется причудливыми запахами, которые, как я думаю, струятся только в райском саду. Едва доносится за дверью шорох, я мгновенно вешаю сумку на место. Только из-за этих карандашей и белых листиков я и увиваюсь вокруг Жанаса, хотя он меня и не подпускает к себе и даже отталкивает, прогоняет. Ну и пусть теперь не подпускает, жадина! Да пусть он сгинет с моих глаз! Пусть отныне не показывается не только в нашей юрте... не только в нашем ауле... не только на земле, но и на небе! Пусть и вовсе провалится! Подумаешь! Обойдусь и без него. Теперь со мной везде и всюду дядя Самат. А с ним я нигде не пропаду.

Да, кстати, нашего гостя, верного боевого друга моего Ахата-куке, зовут Самат. Хоть он мне и никто, даже не родственник, как Жанас, а совершенно случайный человек, как говорят, встречный-поперечный, пришлый, но сразу достал из своего потертого вещмешка и блестящую трофейную тетрадку, и несколько цветных карандашей и все подарил мне. И пахли эти сокровища так, что рядом с ними запах карандашей и бумажек в сумке Жанаса смахивал на чадную вонь горелой кошмы. Поневоле поморщишься. Но не только карандаши и тетрадки подарил мне Самат-ага, но и губную гармонику в придачу. Говорит, трофейная. Немцы сделали, значит. Подносишь к губам, чуть подуешь — такие сладкие

звуки польются, что душа замирает. Такое чудо не то что Жанас, но ни один из его предков до седьмого колена и видать не видал, и слыхом не слыхал.

С Саматом-ага мы теперь спим вместе на широкой узорчатой кошме в тени юрты. И пока не усну, я расспрашиваю, расспрашиваю его обо всем на свете, а он меня за это никогда не ругает, даже не обижается.

И рано утром, направляя отару к водопою, мы тоже все время, без передышки, ведем беседу. Водопой — один-единственный на всю округу колодец в густых зарослях чия, растущих в узкой теснине возле пологой горы. Когда подгоняемая нами отара, вздымая клубы белесой пыли, спускается в низину по склону черного холма, мой папа, широко расставив ноги, дожидается на срубе колодца, уже успев наполнить продолговатое каменное корыто под ним весело серебрящейся водой. Едва почуяв желанную прохладу, измученные жаждой и наглотавшиеся пыли овцы, разом все шалея, переходят на трусцу. Тут важно не сплоховать. Мы с Саматом-ага подбегаем с двух сторон навстречу отаре, швыряем в обезумевших овец комья глины, сгоняем в круг. Овцы, широко и вольно разбредшиеся по утренней прохладе по склону горы, мгновенно сбиваются в тесный круг, и мы их небольшими группами, по десять — пятнадцать голов отпускаем к водопою. В противном случае мой папа не успеет наполнить корыто водой, а ошалелые овцы могут затоптать друг дружку. Надо быть в это время особенно внимательным и бдительным. Иначе не миновать беды... Но даже в эти минуты мы с Саматом-ага умудряемся продолжать нашу бесконечную беседу.

К середине дня отара, наконец, напоена. Посмирневшие овцы разбредаются по густым чиевым зарослям, наслаждаются покоем и прохладой. И для нас наступает желанная передышка. Мы — папа, Самат-ага и я — свежей колодезной водой ополаскиваем лица, руки, после чего садимся в тенечек колодца обедать. Главная наша еда — коиртпак, то есть кислая молочная закваска, разведенная свежим молоком. Обычно в бурдюке из козлиной шкуры мы храним острую, аж в нос шибает, кислую-прекислую закваску. Я нацеживаю свежего овечьего молока, перемешиваю его с прокисшим айраном и остужаю напиток в ледяной воде. Через некоторое время коиртпак в бурдюке становится прохладным, медовым, густым и жирным, точно весеннее молозиво. Достаточно опрокинуть в себя большую деревянную чашу такого напитка, как блаженная истома разливается по всему твоему телу, и тебя начинает клонить ко сну. А если разохотишься и выцедишь еще одну,

а то и две чашки, то мгновенно покроешься испариной, и охватит тебя жар, будто внутри тебя раскалилась печка, и ты поневоле начинаешь ворочаться и кататься по траве. В таких случаях папа достает вместительной бадьей, сшитой из жеребячьей шкуры, воды из колодцы и ка-ак окатит тебя разом, ты и вскакиваешь как угорелый, начинаешь зубами выбивать дробь, и от недавнего снедающего жара и следа не останется.

Иногда конртпак этот надоедает чабану, и тогда он грызет курт — твердые комочки сушеного сыра. А я предпочитаю горячее вскипяченное молоко — особенно в степи, на свежем воздухе. Я знаю немало способов кипячения молока. Для этого не нужны мне ни котел, ни тренога. Достаточно иметь прочный бурдюк из козлиной шкуры. Летом, в нещадный зной, зарываешь бурдюк с молоком в раскаленный песок или в горячую рыхлую супесь; а осенью копаешь ямку, кладешь туда бурдюк, сверху разводишь костерок из хвороста или кизяка. Пока туда-сюда походишь, молоко в бурдюке вскипает, даже подрумянивается, сладкой корочкой покроется по краям. Тут уж слюнками изойдешь, пока дорвешься до нехитрого степного лакомства. Не могу судить, каким бывает борщ, о котором слышал столько восторженных слов, но должен заметить, ни разу не видел, чтобы Самат-ага, изведавший немало диковинных яств за свой долгий путь от Сталинграда до Берлина, когда-либо морщился от белой пищи в нашем закопченном бурдюке.

Напившись до отвала конртпака, мы отдыхаем в тени у колодца. Папа сразу тянется к роговой табакерке с душистым табаком-насыбаем. Самат-ага сосредоточенно крутит «козью ножку», а я начинаю задавать ему вопросы, которым нет конца.

— Эй, болтун, уймись наконец!— урезонивает меня папа.— Ты же надоел дяде — сил нет.

— Ничего-о...— добродушно улыбается Самат-ага.— Пусть спрашивает.

А я и не могу не расспрашивать, даже если бы и запретили. Вопросы так и прут из меня, и я не в силах молчать. Когда уже все вокруг, казалось, сомлело от жары, мы обливаемся холодной водой, поднимаем отдыхающих в кустах овец и гоним отару на выпас. Язык мой и тут не знает покоя.

От восхода до захода солнца рот мой, можно сказать, не закрывается: все расспрашиваю и расспрашиваю. От восхода до захода солнца рот Самата-ага, можно сказать, не закрывается: все отвечает и отвечает. По ночам папа и Самат-ага стерегут отару попеременно. И когда рядом со мною нет Са-

мата-ага, я не нахожу себе места, ворочаюсь на узорчатой кошме ночь напролет. Зато в следующую ночь, придвинувшись к Самату-ага, я начинаю сыпать вопросами:

— Вот, смотрите, Самат-ага... каждую ночь на нашем небе зажигаются звезды. А на германском небе что зажигается — кресты и свастика, да?

— Когда мы вступили в Германию, там, на небе, тоже всходили звезды.

— Как же так? Фашисты ведь носят на груди кресты...

— Да, конечно... Но мы ведь фашистов истребили.

— А сколько вы вместе с моим Ахатом-куке уничтожили фашистов?

— Много.

— А по именам их не помните?

— О, еще как!

— Назовите тогда.

— Гитлер, Геринг, Геббельс, Риббентроп, Кейтель, Йодль, Гесс...

— Всего семерых только и прикокнули?

— Нет... Куда больше. Только других по именам не помню.

Я задумываюсь. Конечно, разве всех подлых тварей на свете упомнишь. Я смотрю некоторое время на роящиеся в темном небе звезды.

— Самат-ага, скажите, что больше — тысяча или миллион?

— Разумеется, миллион больше.

— А что больше миллиона?

— Миллиард.

— А больше миллиарда?

— Говорят, триллион.

— А больше триллиона?

— Больше триллиона, говоришь? Хм-м... Больше триллиона, наверное, «несть числа».

— А больше «несть числа»?

— Должно быть, «сколько песчинок на земле».

— Тогда что больше — звезд на небе или песчинок на земле?

— Больше, чем песчинок на земле, ничего не бывает.

— А если бы на нас пошел враг больше, чем песчинок на земле, мы бы победили?

— Конечно победили,— уверенно отвечает Самат-ага.

— Я тоже так думаю,— говорю я убежденно.— У нас ведь очень много смельчаков-батыров. Александр Невский,

Минин и Пожарский, Суворов и Кутузов, Ушаков и Нахимов, Фрунзе и Щорс, Лазо и Пархоменко, Чапаев и Буденный, Ворошилов и Жуков, Конев и Рокоссовский, Баурджан и Малик, Тулуген и Каиргали, Маншук и Алия, а потом... потом вы и мой Ахат-куке...

— Да-а... батыров у нас много,— соглашается Самат-ага.

Молчим мы недолго.

— Самат-ага... а Самат-ага...

— Говори, говори... не стесняйся.

— Скажите: кто сильнее — Суворов или Кутузов?

— Оба сильны.

— Ну, а если бы они вышли один на один, на поединок, кто бы из них взял верх?

— А ты подумай: стали бы выходить друг против друга батыры Кобланды и Алпамыс?

— Да с какой стати, если им нужно сражаться против джунгар и кызылбашей?!

— То-то и оно! Значит, Суворову и Кутузову тоже нечего между собой состязания устраивать.

— А ведь и в самом деле,— говорю я, немного подумав. Мне даже становится неловко. Как я сам не мог додуматься до этого? От смущения я некоторое время молчу, но уже очередной вопрос не дает мне покоя, уже и в гортани пощипывает, и вот-вот сорвется с языка. Я креплюсь изо всех сил, даже с боку на бок переворачиваюсь, но любопытство мое сильнее меня.

— Самат-ага, сейчас мы живем при социализме, да?

— Да.

— А что будет после социализма?

— Коммунизм.

— А после коммунизма?

Самат-ага вдруг надолго задумывается. Я уже думаю переспросить, но тут он говорит:

— Рахатизм...

Странное слово... рахатизм. Первый раз такое слышу. Что это еще за рахатизм? Райская жизнь, что ли? Соблазнительно, однако. Ах, скорее бы дожить до этого рахатизма! Если бы все-все люди на земле, сколько бы их ни было — хоть триллион или даже больше, чем «несть числа», чем песчинок,— вдруг стали бы нашими друзьями, и у каждого из них в такой же сумке, как у Жанаса, были бы не десяток цветных карандашей и две-три тетрадки, а больше чем «несть числа», даже больше песчинок, красивых и пахучих карандашей и

ослепительно белых и гладких листиков... И у меня бы тоже. Пусть у всех, всех будет. Только пусть не будет у одного лишь Жанаса. И когда он, протягивая ладошки, начнет у кого-либо клянчить цветные карандаши и бумагу, пусть никто ему не даст, а скажет: «Иди, иди, попрошайка. Прочь! И не прикасайся ко мне — замараешь!» Даже тетушка Жазира пусть его близко к себе не подпускает. И я, размечтавшись, четко вижу перед глазами опозоренного Жанаса, такого жалкого, ничтожного, с опущенной головой, с повисшими плечами, с дрожащими руками, с тощей, как пустая торба, сумкой на шее. Но в это самое время сон настигает и накрывает меня.

Наутро меня будят с превеликим трудом. Я едва не руками раздираю глаза, судорожно проглатываю чашку айрана и спешу к Самату-ага, который еще чуть свет выгнал отару на выпас.

Я одолеваю один перевал — никого не видно. Я одолеваю второй перевал — никого не видно. А уж на гребне третьего перевала непременно сидит, осторожно оглядываясь вокруг, рыжая сука. Увидев меня издали, низко опускает морду, будто принюхивается к чему-то, поджимает хвост между ног и трусцой семенит навстречу. Она очень деликатная собака. Подбежав, не бросается дурашливо на меня и не тычется мордой в мои руки, а сдержанно трусит за мной, время от времени обнюхивая мои пятки.

Я поднимаюсь на вершину перевала, где только что сидела рыжая сука, и вижу, как неподалеку, в низине, вразброд пасется отара — черные, белые, пестрые овечки. На дальнем краю стрижет чахлую траву чалая пастушья лошадка. В тени ее стоит, сверкая серебряной цепочкой на груди, Самат-ага.

Когда я показываюсь на вершине ближайшего холма, Самат-ага каждый раз оглаживает ладонью ослепительно сверкающую в лучах солнца цепочку на груди и достает из кармана гимнастерки плоские часы с крышкой. Когда открывают и закрывают крышку, часы издают приятный, мелодичный перезвон. Вообще Самат-ага часто поглядывает на часы. Смотрит, укладываясь спать. Смотрит, собираясь вставать. В последнее время он по своим часам даже определяет, когда моей бабушке следует совершать очередной намаз.

В нашем доме никто не смеется над тем, что Самат-ага определяет время по часам. Я только раза два заметил, как тетушка Жазира прыснула и тут же закусила губу, когда Самат-ага привычно щелкнул крышкой сладкозвонных часов. Зато, слышал я, аулчане будто посмеиваются над этой причудой Самата-ага. «Должно быть, бедняга малость тронулся,—

говорят.— Не с луны ведь свалился: с детства глотал баскунчакскую соль, насквозь прожарился на солнце, ходил в лохмотьях. Так у каких таких предков увидел дурень, что овец пасут и стерегут по часам?! Потеха, да и только!»

— Ну как, батыр... выспался?— спрашивает меня Самат-ага.

Я мотаю головой. Это означает: да, выспался. Потом, как бы боясь, что растеряю все вопросы, роящиеся в моей голове, я, запинаясь, с ходу спрашиваю:

— Самат-ага... а Самат-ага, скажите, кто из вас старший: вы или мой Ахат-куке.

— Ахат был старше. Потому я его всегда называл «ага».

— А ростом мой Ахат-куке был высок?

— Да, высокий. Среди офицеров нашего батальона он был самый рослый.

При этом Самат-ага весь вытягивается и расправляет плечи, будто речь идет о нем, а не о моем Ахате-куке.

— А мой Ахат-куке был красивый?

— О! Красивее его джигита мне видеть пока не приходилось.

Теперь я испытываю гордость и вспыхиваю от удовольствия. И, словно почувствовав это, Самат-ага продолжает:

— Волосы его были черные-черные, смоляные, с блеском, как твои. К тому же вьющиеся. И лоб широкий, открытый, как твой. Только нос был не такой плосковатый, как у тебя, а прямой, аккуратный. Глаза круглые, большие. Э, что там говорить, видный был мужчина, пригожий!

Самат-ага вздыхает. И я тихо вздыхаю. Беседа наша обрывается. И без того маленькие глазки Самата-ага еще более сужаются, задумчиво глядят куда-то вдаль, куда не хватает моего взора, видно, туда, за те далекие-далекие перевалы, откуда он пришел недавно. Так он, застыв, стоит долго-долго, наконец, как бы очнувшись, обводит взглядом разбредшуюся по лугу отару и по-чабански окликает ее: «Шайт! Шайт!»

В таких случаях я отчего-то робею и не осмеливаюсь задавать свои вопросы. Должно быть, Самат-ага замечает мое смущение и первым нарушает наше затянувшееся молчание:

— Эй, батыр, что же ты умолк?

— А ведь моя Жазира-женге тоже красивая,— говорю я.— До чего же лицом белая-белая, а глаза черные-черные. А косы какие длинющие!

Дальше у меня не хватает хвалебных слов, чтобы описать красу моей женге, и я вопросительно смотрю на Самата-

ага. А он в это время задумчиво смотрит на гребень холма возле нашего аула, будто оттуда идет-плывет нам навстречу эдакой легкой, плавной походкой, с развевающимся подолом просторного белого платья и лентами, вплетенными в толстые косы, чуть-чуть улыбаясь большими лучистыми глазами, сама моя Жазира-женеше...

— Да-а...— медленно говорит Самат-ага.— Женге твоя красивая... Стал бы разве наш Ахат-командир влюбляться в замухрышку?!

Влюбляться... Любовь... Эти слова меня настораживают. У меня почему-то вспыхивают щеки и в горле становится сухо, будто мучит меня жажда.

— Ага, а что это такое — любовь?— спрашиваю я через силу.

Самат-ага тоже вдруг пунцовеет лицом. От растерянности он даже не знает, что сказать.

— Ну, это... как бы тебе ответить?.. Ну, вспомни сказания, которыми ты бредишь. Вот, к примеру, Кыз-Жибек и Тулеген, Камбар и Назым, Кобланды и Кортка́... Помнишь? Так вот, они ведь... это самое... любят друг друга. Да, очень любят... Друг без друга жить не могут... страдают...

Самат-ага отчего-то вдруг опять умолкает. Вид у него печальный. И у меня пропадает охота продолжать этот туманный разговор, и я тоже молчу. Перед моими глазами возникают диковинные видения. Небольшое ущелье, где мирно пасутся овцы, превращается вдруг в полноводное прозрачное озеро. Вдоль берега едет верхом на вороном скакуне со звездочкой на лбу красивый путник. К седлу приторочены подстреленные утки, гуси. Путник похож на сказочного батыра-охотника, который один кормил охотой аул в девяносто юрт. На краю этого аула в девяносто юрт мы с Саматом-ага не отрываясь смотрим на приближающегося путника. Вдруг со стороны аула на берегу прозрачного озера показалась миловидная стройная девушка. Покачивая бедрами, она подошла к путнику, восседавшему на вороном коне со звездочкой на лбу, и ухватилась за стремя. Путник повернулся к девушке, и он мне почудился моим Ахатом-куке. Такой же рослый, прямоносый, круглоглазый, весь из себя видный, каким обрисовал его мне Самат-ага. А девушка ни дать ни взять — моя Жазира-женеше. На ней белое ситцевое платье, бархатная безрукавка, на груди комсомольский значок. Странно, однако... Ведь ни Камбар, ни Назым из древнего сказания в комсомоле не состояли...

— Твой Ахат-куке души не чаял в Жазире. Когда полу-

чал от нее письмо, ног под собою не чуял, головой, как говорится, едва до неба не доставал. Как только приходила почта, я сам первым долгом искал письма от Жазиры. Почерк у нее крупный, ясный, каждая буковка на виду, сразу бросается в глаза. Как увижу знакомый почерк на конверте, я — хвать! — и сую письмо к себе в карман. И потом хожу радостный, веселый, места себе не нахожу, будто не письмо у меня в кармане, а горячая праздничная лепешка за пазухой. Когда же, наконец, встречаю твоего Ахата-куке, я мигом суровею, сдвигаю брови, надуваю губы и начинаю выкладывать перед своим командиром все обиды-горести. Однако твой Ахат-куке вскоре разгадал мою уловку. Он поначалу выслушает мое ворчание, а потом говорит: «Знаю, знаю тебя, хитреца! По тому, как прикидываешься Асаном-печальником из древних преданий, надо полагать, что от Жазиры пришло письмо. Не томи — давай сюда!» Ну, тут я уже не выдерживаю. Начинаю улыбаться. И пока твой куке погружается в чтение письма, вся власть переходит в мои руки. Начинаю готовить праздничный стол из всего того, что выдает старшина. И даже спиртягу раздобуду. Теперь уж я полный командир. Разливаю горючее по двум кружкам. Бульк-бульк-бульк...

Лицо Самата-ага светлеет, в глазах играют-вспыхивают озорные лучики, и весь он как-то сразу подтягивается, преображается. Жидкие усики маслянисто поблескивают. И я испытываю восторг и удивление, глядя на его сияющее от счастливых воспоминаний до черноты загорелое лицо.

Он падает в траву на краю отары, облокачивается, вытянув ноги, достает из нагрудного кармана папиросу. Потом начинает шарить по себе в поисках спичек и при этом неожиданно хмыкает.

— Знаешь, как ревностно оберегал я твоего куке от разных полковых девиц и молодух? О! Прямо-таки львом заступался за честь далекой Жазиры, которую и в глаза-то никогда не видел. Сразу после войны твоего Ахата-куке назначили комендантом небольшого немецкого городка. Ну, ясное дело, разве меня он оставит? Сразу же определил в комендатуру. Городок маленький, а забот по горло. То одного не хватает, то другого. С утра до вечера мотаемся мы с твоим куке по городку — с одного конца в другой. Изредка заглядываем в комендатуру, и тут ушам покоя нет. С раннего утра толпится народ. У всех какие-то неотложные дела. А к каждому посетителю следует относиться с вниманием. Мало что победители! Ведь не с народом воевали, а с извергом-фашистом. Так вот, одного бедность к нам приведет, другого на рабо-

ту надо пристроить, третий приходит ради любопытства — на новую власть поглядеть хочет. Однажды пожаловала одна фрау... баба, значит. Уже, видно, в годах, но опрятная и смазливая. И не одна, а с дочкой: красивой, юной. О таких говорят: подуй и в рот клади. По тому, как одеты, как держатся, никак не скажешь, что страдают от бедности. Ну, значит, зашли эти фрау с дочкой к твоему Ахату-куке, а обратно не выходят. Полчаса жду — нет. Целый час жду — нет. Что за чертовщина! Вежливый, деловой разговор, чую, превратился в дружескую, вольную беседу. За дверью то и дело раздается веселый женский смех. Даже с какими-то игривыми нотками. «Ишь, как выпендривается фрау!— берет меня досада.— Будто не к коменданту, а к зятю в гости пришла». Проходит еще полчаса. Потом еще. А разговору за дверью конца-краю нет. Тут уж я не вытерпел. Одернул гимнастерку, поправил ремень, четким шагом вошел в кабинет. Рапортую: «Товарищ старший лейтенант! В авточасти приостановлена работа из-за отсутствия горючего. Срочно просят вашего содействия». И при этом делаю строгое лицо.

Да-а... Твой куке был нетерпелив, решителен. Он тут же вскочил. Белокурая фрау и ее смазливая дочка, вольно рассевшиеся на кожаном диване, тоже нехотя поднялись. Обе разом протягивают белые руки, а сами, шельмы, так и постреливают глазами на твоего куке. Особенно старается хорошенькая фрейлейн. Прямо-таки глаз не сводит. До самой двери все оглядывалась и сладко улыбалась, рыжая бестия.

Только они скрылись за дверью, твой куке и говорит: «Ну, чего мы стоим? Где машина?» «Нет машины,— отвечаю.— Тоже бензин кончился».— «Вот те раз! Как же быть?» И твой куке тут же хватается за телефон. «Не беспокойтесь,— останавливаю я его.— Все в порядке. Из авточасти никто не звонил. Виноват, товарищ старший лейтенант!»

Застыл твой куке, на меня уставился. Ничего не понимает. Потом догадался. «Ах, хитрец!.. Эта фрау, оказывается, владелица местного музыкального салона. Просит разрешения снова открыть свой салон». И расхохотался. Глядя на него, и я расхохотался. Вот как было, батыр...

Я тоже рассмеялся было, но, видя, как вдруг запечалился Самат-ага, тотчас спохватился. Самат-ага задумчиво глядел на крутобокие, как вздыбленные волны, барханы, которые причудливо зыбились в полуденном мареве. Потом вытащил карманные часы, щелкнул позолоченной крышкой.

— Да, пора уж поить овец...

И направился в заросли, к отаре. И я молча поплелся за

ним, напрочь забыв задавать вопросы, которые обычно теснились в моей голове.

В последнее время Самат-ага часто ходит грустный. Недавно он встал утром с опухшими глазами. И за чаем сидел необычно притихший, молчаливый. Даже забыл предупредить бабушку о времени намаза. Пришлось ей самой спросить, который час. Не знаю, как другим, но мне эти неожиданные перемены были невдомек. Мне в то утро показалось, что и Жазира-женге, обычно ни на кого не глядя спокойно разливавшая чай, была чем-то смущена и упорно прятала от всех глаза. Я заметил, что она как-то резко и небрежно ставила перед Саматом-ага чашку с чаем, будто при этом пристукивала кулачком по дастархану.

Нетрудно было заметить, что с некоторых пор Жазира-женге стала все больше замыкаться. Раньше она целыми днями пропадала в большой юрте, хлопотала по хозяйству, а теперь, едва помыв и убрав посуду, спешит уединиться в соседней юрте для молодых.

Мои вопросы, которыми я, возможно, замучил Самата-ага, явно пошли на убыль. Да и не хотелось тревожить его, грустного и задумчивого. Я видел, как он, сцепив пальцы под затылком, подолгу смотрел прохладными ночами на звездное небо. Я испытывал неясную тревогу, от непонятной печали сжималось сердце, и я тихо лежал рядом, стараясь не шелохнуться. Чуть поодаль, у наших ног, смутно темнела рыжая сука. Время от времени она попеременно задирала то одно, то другое ухо, вслушивалась в тишину, преданно оберегая нас от малейшей напасти. Но, вскоре убедившись, что никакая опасность нам не грозит, она опускала морду на передние лапы и погружалась в дрему. Загадочно мерцающие на черном небе звезды, прохладный ветерок, едва заметно, ласково оглаживающий лицо, треск в чиевых зарослях за аулом, где еще пасется скотина, мерное чавканье верблюдицы и верблюжонка за юртой, монотонно жующих свою жвачку, невнятный шепот бабушки за стенкой, привычно взывающей к милосердию аллаха,— все-все это волнует и томит мою душу, пока сон не смежает мои веки. Потом до нового дня, пока не взойдет и не поднимется высоко над юртой солнце, я ничего не вижу, не слышу, не знаю.

Однажды неожиданно проснулся посреди ночи. Разбудила меня непонятная возня неподалеку. Я прислушался. Рыжая сука у изножья тоже задрала голову. Кто-то хрипло и злобно шипел:

— Слуш-шай, т-ты... бездомный бродяга, чужак... первый

встречный-поперечный... куда с-с-суешься?! Кого от кого оберегаешь, приш-шлый пес-с?!

Другой задыхающимся шепотом отвечал:

— Сгинь, исчезни с моих глаз подобру-поздорову! А то ка-ак врежу... вмажу промеж глаз... отца родного вспомянешь. А ну, живо! Раз... два... три! Что ж... пеняй тогда на себя!..

Голос этот показался мне знакомым.

Донеслось надсадное кряхтенье. Потом глухой стук. Что-то ухнуло. Рыжая сука сорвалась с места и беззвучно застрочила туда. Я тоже поднялся.

Самат-ага сидел на корточках в кустах чия. Неподалеку прижалась брюхом к земле рыжая сука. Самат-ага приложил ладонь к носу.

— Что случилось?— спросил я, подойдя.

— Да так... Мерзавец один...— махнул Самат-ага рукой, отворачиваясь.

Он встал и углубился в заросли. Рыжая сука услужливо потрусила за ним. Я стоял в недоумении, озирался по сторонам. Вскоре продрог и вернулся к постели. Через некоторое время пришел и Самат-ага и лег, повернувшись ко мне спиной.

Тихо. В чиевых зарослях ни шороха. И бабушка в юрте перестала бормотать. И из белой юрты Жазиры-женге ничего не слышно. Я лежал, думая, что же могло случиться в глухую полночь, но ничего так и не придумал и опять уснул. А утром Самата-ага уже не было рядом: по обыкновению с рассветом он погнал отару на выпас.

Дня через три заявился в ауле давно не показывавшийся Жанас. Такой же, как всегда. Конь накрыт белой попоной. Сам Жанас в белом костюме, белом бешмете, в белой кепке. Подъехал к нашей юрте, спешился, стреножил коня. Потом подошел к бабушке, учтиво поздоровался. Маму, на правах деверя, игриво ткнул в бок, попросил подать айран. Опростав большую деревянную чашу квашеного молока, спросил:

— Где Жазира?

— В своей юрте.

— Иди, малец, позови ее сюда!— приказал он мне.

Я понесся к юрте молодых. В это время из ночного вернулся и мой папа.

Как только Жазира вошла в большую юрту, Жанас начал речь:

— Ну, я все решил-уладил. Подыскал в конторе работу

для нашей Жазиры. Если на то будет ваше родительское благословение, может приступить к работе хоть сегодня. Будет ездить на лошади. Утром туда, вечером — обратно. Ну... так как?

Бабушка, папа, мама молча кивнули. На другой день, после чая, Жанас привел рыжую лошадь, посадил Жазиру и поехал с ней в колхозную контору.

Мы с Саматом-ага, стоя возле юрты, долго и молча глядели вслед двум верховым, удалявшимся за перевал,— один на саврасом коне, другая — на рыжем...

Отныне каждый день, как поднимается солнце, Жазира-женеше, оседлав лошадь, отправлялась на работу, а возвращалась поздно, с заходом солнца. Теперь мы ее видели только во время чаепития — утром и вечером. Она еще более похорошела, подтянулась вся и стала одеваться еще наряднее. В еще недавно тихих, скромных глазах заиграли смелые, даже дерзкие лучики. И держалась прямо, уверенно. В домашние дела вмешивалась все реже. Едва убирали дастархан после вечерней трапезы, она тут же удалялась в свою юрту и при тусклом свете подслеповатой керосиновой лампы склонялась над какими-то бумагами, выводила аккуратные цифры и щелкала на счетах. Когда я подходил к ней, она молча совала мне в руки лист бумаги и карандаш и продолжала заниматься своими делами. Я некоторое время смотрю на то, как из-под ее длинных, тоненьких пальцев нанизывается на бумаге ровный ряд букв и цифр, а потом ухожу к себе в большую юрту. Там я устраиваюсь на широкой подстилке и долго любуюсь карандашом и белым листом бумаги. Однако они не пахнут так привлекательно, так заманчиво, как прежде. Они как бы отдают затхлым.

В последнее время Самат-ага стал пасти овец и ночью. Возвращается он из ночного поздно утром, после того, как напоит овец, пьет чай, отдыхает немного, а перед заходом солнца снова оседлает коня и спешит к отаре. Теперь мы уже не лежим рядком на подстилке под открытым небом и не беседуем о том о сем до глубокой ночи. И на водопое, и дома Самат-ага теперь больше молчит. Он держится ближе к моему папе, у которого часто ноет поясница. Потому Самат-ага сам достает кожаной бадьей воду из колодца. Я чувствую, что Самат-ага переживает за моего папу, жалеет его, смущается оттого, что папа хворает, ходит хмурый, и одежда на нем вся сопрела и порвалась. Отчего-то вроде неудобно Самату-ага, будто виноват в чем-то. А в чем — и он сам не знает, и я не пойму.

Однажды он заявил папе: «Разрешите, я съезжу в колхоз, получу пособие за ранения».

Я напросился поехать вместе. Самат-ага посадил меня в седло. У меня сразу зачесался язык: ведь столько времени мы ни о чем не говорили. Еле заметная тропинка бесконечно извивалась между барханами и песчаными холмами, навевая тоску и уныние. Самат-ага молчал и время от времени только откашливался.

У меня иссякло терпение, и я принялся вновь сыпать вопросами. Вначале Самат-ага отвечал коротко, вяло. Но вскоре увлекся, оживился. А когда речь зашла о моем Ахате-куке, он и вовсе разговорился.

— Когда убили моего куке, вы были рядом? — спросил я.

Самат-ага ответил не сразу. Проследил взглядом, куда вдруг понеслись рыжая сука и вислоухий пастуший пес, приставшие к нам. Они застыли у какой-то норки под кустом, напряженно навострив уши, но, никого так и не выследив, обескураженно потрусили назад. И только тогда, как бы успокоившись, Самат-ага начал свой рассказ:

— Мне в тот день очень не хотелось ехать в Берлин. Поехал скрепя сердце, чтобы только не злить твоего куке. В нашем городке, в детском приюте, вдруг обнаружилась какая-то болезнь. Врачи без конца звонили в комендатуру: не хватает лекарств. Ну, твой куке и приказал мне вместе с одним врачом съездить в Берлин за лекарствами. В Берлине задерживаться не стал. Достал, что надо, и скорее назад. Приезжаю, значит, в нашу комендатуру, а твоего куке не видно. Уехал, говорят, с шофером на ферму за городом. Детский приют уже третий день сидит без молока. Должно быть, скоро вернется. Ну, присел я, жду, а на сердце что-то неспокойно. Прямо как кошки скребут. Не утерпел — побежал в детский приют. «Молоко поступило?» — «Нет». — «Коменданта не видели?» — «Приезжал утром». — «И больше не показывался?» — «Нет». Как быть? На единственной машине комендатуры уехал твой куке. Отправился я на ферму пешком. Иду, значит. Кругом тишина. Безлюдно. Буйно растет трава. Городок, разрушенный, разбомбленный, точно страшный призрак, остался позади. То здесь, то там темнеют лесочки. Я иду один. Вокруг ни живой души. Хотя бы бабочки порхали над цветами... Хотя бы кузнечики стрекотали да прыгали в траве. Ни-чего... Будто вымерло все. И только сердце мое гулко и тревожно стучит: тук, тук, тук. Я иду то быстрым шагом, то переходу на бег. На краю лесочка вдруг почуял горелый запах. Пошел по направлению к нему. Действительно, на

открытой поляне что-то горит. Подбежал и вижу: горит машина нашей комендатуры. Кругом врассыпную лежат железки. Чуть поодаль валяются уцелевшие одно колесо и насос. Все остальное испепелил огонь. Оглядываюсь — ничего не видно, не слышно. Пошел по тропинке вперед. И вдруг споткнулся, упал. Смотрю: прямо из-под земли торчит огромный гвоздь. Острие чуть прикрыто листьями. Впереди еще в нескольких местах видны такие же кучки. Все стало понятно. То, что детский приют сидит без молока,— явная диверсия. Эти гвозди вбиты специально, чтобы не прошла машина. Значит, машина твоего куке напоролась на засаду. Диверсанты подожгли ее. Но что сделали с людьми? Мне почудилось, будто следят за мной из-за каждого дерева, из-за каждого куста. Я сорвал с плеча автомат и дал очередь. За спиной что-то упало с дерева. Смотрю: фуражка. Фуражка нашего Миши — шофера. Я отступил на шаг — чья-то рука задела мою штанину. Отпрянул, оглянулся — рука Миши... болтается на весу... пальцами касаясь земли. Повесили Мишу на дереве за ноги, а на сапог напялили его фуражку. Из грудного кармана высовывалась бумажка. Взял, развернул. На листе бумаги по-русски написано: «Поздравляем с победой».

Кровь ударила мне в голову. Я заскрежетал зубами. Еще сильнее стиснул автомат. И иду, иду, не спеша, широко расставляя ноги, по дорожке дальше. Думаю: если из-за деревьев следят за мной, то пусть не злорадничают, пусть видят — идет советский воин грудью вперед и никого не боится. Шагов через пятьсот показалась ферма. В глазах моих черно от ненависти. Иду, словно готовый стереть с лица земли и эту понемецки опрятную, чистенькую, заботливо ухоженную ферму, и этих мыкающих коров, и четверых мужчин, подобострастно снявших шляпы и застывших, точно кол, за оградой, и несколько насмерть перепуганных женщин в белых передниках. Приближаюсь шаг за шагом. Перед глазами все зыбится, как в тумане. Чудилось, будто четверо мужчин и женщины в белых передниках обступают меня, тянутся ко мне руками. Я подошел к ним, встал в середке. Они все задрали кверху руки. А-а-а, думаю, руки тянете?! Да упадите вы все к моим ногам, да хоть лижите мои сапоги, я вас сейчас всех как есть на корню скошу... Хочу нажать на гашетку — не могу. Хочу заорать на них — тоже не могу, голоса нет. Только глазами, полными ненависти, сверлю их насквозь. А они стоят, смирные, жалкие, как обреченные. Один старичок, пошатываясь, держа руки над головой, вышел на шаг вперед. Я смотрю на то, как трясутся, шевелятся его лиловые губы, но что он

мямлит — не слышу. Наконец разобрал кое-какие слова. Понял: третий день, как диверсанты захватили ферму. Уже три дня не позволяют доставлять молоко в город. Заметив, что господин комендант едет сюда, открыли из-за угла огонь. Он упал было раненый, но они потащили его на склад, где хранится молоко. Потом всех согнали в круг и приказали не шевелиться. Направили дуло автомата. И только при вашем появлении куда-то исчезли... Все это старичок кое-как пролепетал. Я кивком приказал: веди меня на склад. Он пошел под автоматом, а остальные покорно побрели за мной. Вошли в громадное прохладное хранилище. Посреди стоит необычайной величины цистерна. Крышка наверху открыта. Из нее торчат два сапога. Я тотчас узнал их: сапоги твоего куке, которые я еще утром начистил и надраил до блеска...

Голос Самата-ага задрожал. Из моих глаз потекли слезы. Я, сидя сзади, заметил, как у Самата-ага несколько развернулись плечи.

Мы оба некоторое время молчали. Потом Самат-ага продолжил свой рассказ:

— С большой честью всем гарнизоном предали мы тело твоего Ахата-куке земле. Я как осиротел. И не мог я больше ступать ногами по той земле, не мог. Подал командованию рапорт и демобилизовался...

Самат-ага вытер рукавом глаза. И у меня слезы все струились, струились по щекам. Все вокруг затуманилось. Горбатые, крутосклонные холмы и барханы то отдалялись от нас, точно уплывали, то вновь надвигались, обступали нас плотными грядами. Сколько времени мы ехали, сколько пути осталось позади — даже представить не могу. Вдруг вдалеке, словно в тумане, я заметил два темных предмета. Не то кусты, не то пасущийся скот. Самат-ага пробурчал что-то себе под нос — я не различил. Мы понемногу приближались к темнеющим предметам. Потом проехали мимо. Самат-ага как-то сник весь и все оглядывался назад. Я протер рукавом глаза, вгляделся внимательней. Возле русла высохшей степной речушки стояли привязанные друг к другу поводьями две лошади. Обе были заседланы. Одна — саврасая, другая — рыжей масти. Одна склонила голову, вторая опустила на нее шею.

Мы проехали еще один перевал. Заседланные лошади остались в сторонке. И только тут меня осенило. Саврасый конь — Жанаса. А рыжая кобылка — Жазиры.

— Вот тебе раз! — воскликнул я. — Что они здесь делают? Заблудились, что ли?

Самат-ага не ответил, пропустил на этот раз мой вопрос мимо ушей. Только чуть подшуровал пятками ленивого коня. Вдалеке уже смутно виднелась центральная усадьба нашего колхоза.

Мордастый пес всю дорогу заигрывал с рыжей сукой, обнюхивал ее сзади, и та смущенно металась впереди, у самых ног нашего коняги. Самат-ага отчего-то вдруг рассердился на них и, замахнувшись камчой, сказал с досадой:

— У, собачье отродье! Нашли место...

Всю оставшуюся дорогу мы молчали. Самат-ага сразу же зашел в контору аульного Совета, получил свое пособие. Потом мы направились в магазин — беленый домик, стоявший на отшибе. Самат-ага купил два бешмета - один себе, другой — моему папе, мне подарил рубаху, накупил полный мешочек чаю и сахару. Из магазина мы вышли нагруженные свертками, кульками и наткнулись на нескольких мужчин, томившихся в тени. Среди них я узнал только вислогубого Заира. В свое время его тоже отправили на фронт, но губошлеп Заир очень скоро прибыл назад. Оказалось, его ранило как раз в висячую губу. Мой дядя Даир над ним постоянно подтрунивал: «Должно быть, очень умный немец в тебя стрелял. И как только он умудрился попасть в твою болтающуюся, точно подол чумазой бабы, губу — уму непостижимо!» Поначалу Заир куражился над аулчанами, орал на каждом углу, в грудь себя бил: «Я с фашистами сражался, кровь проливал. Имею право работать там, где хочу!» И действительно некоторое время заведовал складом, потом магазином, потом стал охранником, а теперь главным образом подстерегает тех, кто выходит из магазина.

Вот и сейчас он начал приставать к Самату-ага.

— Эй, а бутылек-то купить забыл, что ли?

— Какой еще бутылек?

— Ну, как же? Приехал из такой дали, а теперь улепетываешь, даже не раздавив одной белоголовки?! Какой же от тебя, бродяги, толк? Только и умеешь, как старый пес, стеречь Жазиру, чтобы кто-нибудь не задрал ей подол...

Сидевшие в тени дружки громко расхохотались. Уши мои будто пламенем обожгло. Самат-ага потемнел лицом. В ярости схватил вислогубого Заира за ворот.

— Эй, эй! Смотрите-ка, прыткий какой! Сам с кулачок, а туда же... драться лезет!

Дружки в тени все разом повскакивали. Вид у них был не то удивленный, не то оскорбленный.

— А ну, повтори! Считаю... раз... два... три!

Самат-ага, вцепившись в охальника клещом, рванул его к себе.

— Ну!!

— Э, ты что! Ты что, что? Взбеленился?!— забормотал, трусливо озираясь, вислогубый.

— Тогда заткнись! Понял?!

И Самат-ага, резко встряхнув еще разок, брезгливо отпихнул его от себя.

Пока мы усаживались на лошадь, никто из дружков Заира и пикнуть не посмел. Лишь когда мы отъехали на порядочное расстояние, послышался хриплый гогот.

Обратный путь показался особенно длинным. В аул прибыли уже в сумерках. Ужинали молча. Жазира то входила, то выходила, мелькала молча, будто тень. Я, должно быть, сильно устал с дороги. Едва коснувшись головой подушки, уснул как убитый. Ночью, сквозь сон, мне почудилось, что кто-то ладонью провел по моему лицу. А может, приснилось... не знаю. Когда проснулся, постель рядом со мной была пуста. Я в спешке, кое-как ополоснул лицо и помчался к отаре. Одолел один перевал — никого не видно. Перемахнул через второй перевал — опять никого не видать. На гребне третьего перевала что-то вроде темнело. Запыхавшись, поднялся по склону — оказался одинокий иссохший куст гармалы. А там, за холмом, в узком ущелье, паслись врассыпную овцы. Неподалеку, не поднимая головы, пощипывала травку чалая лошадка. В тени ее, расстелив перед собой белый платок и обратившись лицом в сторону заката, мой папа сосредоточенно гадал на бобах-кумалаках. Я не знал, о чем гадает папа. Я только понял, что Самат-ага покинул нас. Так стало горько, что у меня подкосились ноги. Я посидел немного на вершине холма, не зная, как мне теперь быть, а потом побрел назад в аул. Всю дорогу я пристально оглядывался по сторонам, надеясь увидеть хотя бы рыжую суку. Но, кроме одинокого всадника на рыжей кобылке, отъезжавшего от нашего аула, никого не увидел. То знакомой дорогой ехала на работу в колхозную контору Жазира-женге.

Я хорошо познал характер Самата-ага. Он считал: мужчина имеет право на три попытки. Что бы ни делал, что бы ни говорил, Самат-ага обычно считал до трех. После этого принимал решение, которое становилось окончательным и бесповоротным. Я ждал день — Самат-ага не вернулся. Ждал еще день — не вернулся. На третий день я уже не находил себе места в ауле. Все озирался по сторонам. Нет, никто не показывался. Хотя бы рыжая сука вернулась. Была бы она здесь,

разве позволила бы мне, как неприкаянному, бродить-бегать вокруг аула с утра до вечера? Поджав хвост промеж ног, низко опустив острую морду, она покорно трусила бы за мной и обнюхивала бы мои пятки. Ни на шаг не отходила бы от меня. Преданно заглядывала бы мне в глаза, стараясь развеять мою печаль-тоску, угодить своей собачьей верностью. Но нет ее, нет... Ну, а нашим аульным псам нет до меня дела. Им не понять моей тоски, моего горя. Вон, забрались они сегодня на вершины холмов и застыли, довольные собой. Вижу: все отчего-то уши навострили, хвосты задрали.

Вокруг, до самого горизонта, не за что глазу уцепиться. Будто посмеиваясь надо мной и над моей тщетной надеждой, медленно закатывалось за барханом солнце пустыни.

СОЛОМИНКА УДАЧИ

Да-а... если уж повезет, то везет во всем. Раньше, бывало, пока у неумехи жены, которая то и дело спотыкается, наступив на свой отвисший подол, закипит старый закопченный чайник, вполне можно было целому аулу откочевать за перевал и даже поставить юрты. А сегодня, как ни странно, вода в чайнике забулькала в мгновение ока. Раньше, случалось, всю округу обшаришь, пока разыщешь саврасую лошадку, склонную к бродяжничеству. А сегодня она, словно привязанная, мирно паслась на лужайке за аулом. «Видно, будет мне удача»,— радостно подумал Карабала, ставя ногу в стремя. Однако, ухватившись за повод, тут же усомнился: не грешно ли заранее так радоваться? И потому, на всякий случай, трижды прошептал про себя какие-то обрывки молитвенных слов, вслух же сказал: «Йи-а... аллах, не обделяй своей милостью!» — и ударил саврасую каблуками по крутым бокам.

Вот уже несколько дней гложет Карабалу нежданная забота. Даже сна лишился. Ну, в самом деле, какой из него проситель? Не было для него страшнее наказания, чем обратиться к кому-то с просьбой. А просить, видимо, придется. Еще куда ни шло, если твою просьбу великодушно уважат. А если ни с чем выйдешь? Не дай бог! Тогда уж лучше сразу провалиться сквозь землю. Ведь он, дожив до почтенных седин, никогда никого ни в чем не утруждал, хотя у него самого отбоя от просителей не было и в нем, вернее, в его руках, в его молотке и наковальне, нуждались многие. Изо дня в день, из года в год с утра до вечера пропадает он в старой кузнице на краю аула. И другой жизни, другой судьбы он себе не представляет. Другим же старикам дай только повод для сборищ, и в радостные, и в скорбные дни, толпясь, по домам ходят, по аулам разъезжают. А Карабала не охотник до развлечений. Правда, на поминки он еще ходит, чтобы не обидеть дух усопшего. Но и там, слушая праздную болтовню иных аульных краснобаев, каждый раз испытывает досаду и раздражение. Среди аулчан он давно прослыл молчуном и затворником.

Теперь вот и домосед Карабала собрался в путь. И не куда-нибудь — в самый район. И не к сватам на угощенье — к высокому начальству по неотложному делу. И толкнул его на это свой же родич — забияка Онбай.

Ох и неугомонный же, неуживчивый он человек! Там, где сбор, на трибуну первым лезет. Там, где нужно бросить призыв, первым горло дерет. Не было такого руководителя в ауле, с которым бы он не схлестнулся. А ругаться мастак, какого свет не видывал. Лихо пройдется и по матушке, и по батюшке вплоть до седьмого колена. Вообще по части сквернословия Онбай и русского, и казаха за пояс заткнет. Еще и года нет, как поселился в ауле старый кореец-портной. А прошлой осенью, возле магазина, к восторгу аулчан, Онбай обложил растерявшегося портного на его же родном языке...

Недавно он через сына позвал Карабалу к себе. Не успел тот порог переступить, как коршуном набросился:

— Чтоб вы все провалились! Тоже мне родичи! Ни одна собака в дом не сунется! Даже не спросят, живой или подох. Онбай, выходит, вам нужен, пока он ради вас глотку рвет. А как его хворь скрутила, так пусть пропадает? Видишь, даже на костыле ковылять не в состоянии. А между прочим, не в пьяной драке ногу потерял. Таким государство машины выделяет. Однако, если не хлопотать, просто так ни хрена не получишь. С теперешними начальниками надо уметь поладить, глаза мозолить, пороги обивать. А мне сейчас собственный зад в тягость. Валяюсь вот как пень трухлявый. Так что вся надежда на тебя. Поезжай в район и похлопочи за меня. Как-никак деды наши одну титьку сосали. Небось руки не отвалятся, если один день не потюкаешь по наковальне. Поезжай. А не исполнишь мою просьбу — пеняй на себя. Когда издохну и ты распустишь нюни у моих останков, так и знай, вот этим костылем трахну по твоей башке. Понял?!

У Карабалы чуть дрогнули кончики усов. Ишь чего захотел! Даже мертвый не прочь еще разок учинить драку. Э-э... с него станется. Не угомонится, пока не засыплют землей. И все же жалко стало. Измучился бедняга. Одни кости да кожа. А что родственники, пусть и дальние,— правда. К тому же росли вместе. И был Онбай забиякой с малых лет. В пятнадцать от роду, точно чесоточный стригун, отирался возле девок. И по домам молодок шнырял, как кот. Не один старик хлестал его камчой. Страсть как куролесил. Но выходил всегда сухим из воды. А вот с войны вернулся без правой ноги. У самого основания оттяпали. Но и с одной ногой петухом носился по аулу. Не одной длиннополой голову вскружил.

Живое свидетельство его любовных похождений — дети четырех вдов, такие же крутогрудые и с такими же чертиками в глазах, как у Онбая. И это не считая доброй дюжины от собственной бабы!

Дерзкий был сызмальства. Никогда не унывал. Случалось, еще мальчишкой, поборет его кто-нибудь из сверстников, а он встанет, отряхнет штанину и говорит:

— Ничего! Все равно моя возьмет.

И действительно, удача была к нему благосклонна. До недавнего времени жил — горюшка не знал. И хозяйство имел хоть и небольшое, да крепенькое. А с осени его закрутило. Всю зиму промаялся. Из дому — ни шагу. То ли возраст да бурная жизнь сказывались, то ли старые раны донимать начали. Худо стало Онбаю. Слег в постель. И хоть с этой поры тихо возле совхозной конторы, однако рот Онбаю никто заткнуть не смог. Только и слышно в ауле: «Онбай сказал так», «Онбай сказал этак». И люди по-разному относились к шальным его словам. Одни осуждали: «Никак не уймется, хоть и к постели прикован». Другие сочувствовали: «Трудно бедолаге смириться со своей судьбой». Осуждающих было много, сочувствующих — мало. Всю жизнь он всегда за что-то воевал, упивался своей неуемностью, а тут, когда пришлось бороться с собственным недугом, пылу у него заметно поубавилось. Дети же, как нарочно, выросли не в строптивого отца, а в мать, не способную подобрать даже собственный обвисший подол. Все сплошь тихие, бессловесные. Старший был шофером. За какую-то провинность недавно отстранили от баранки. Онбай, узнав об этом, пришел в ярость: «Все из-за моей болезни. Будь я на ногах, я этого начальника костылем шарахнул бы так, что отец его в могиле от боли взвыл!» И при этом и так и сяк костерил сына, на что тот только носом швыркал и все мямлил: «Ну ладно, отец. Хватит, может быть...» Теперь сакмайщиком устроился на далеком чабанском становище.

Должно быть, махнул Онбай на сына, понял, что проку мало, вот и позвал Карабалу. Над ним, как над родственником, он всегда подтрунивал. «Пропадай ты хоть сутками в кузнице, все равно не достичь тебе славы Хасана. Тот слоняется по аулам, в картишки поигрывает, ест-пьет сколько влезет. Кто-то за него отдувается, отару пасет, а вся слава — Хасану, вся честь — Хасану. На выставку в Алма-Ату и в Москву едет он. В разных представительствах сидит он. Ковры, индийский чай получает он. Речи почтенных слушает он. А тебе в награду — одна унылая песня молота и наковальни».

За всю свою жизнь Карабала лишь второй раз едет в рай-

онный центр. Впервые ездил он туда вместе с другими джигитами в военкомат. Было это в первый год войны. Признали его тогда непригодным: то ли вывих в коленном суставе обнаружили, то ли плоскостопие. Ну и раза два-три гостил в соседнем ауле у родственников жены. Теперь вот еще собрался в путь. Выехать-то выехал, а от волнения сердце подскакивало к горлу и даже подташнивало, будто топленого масла объелся. Побаивался он и предстоящей встречи с районным начальством, которых Онбай представил... ну, если и незаконченными бюрократами, то, по крайней мере, формалистами, каких свет не видывал. Одному из них, по словам Онбая, сколько ни плачься, как ни убеждай, все нипочем. Дескать, ни дать ни взять — охотничий пес, стерегущий свою жертву у норы. Другой, мол, от спеси так вознесся, что и родного отца через порог своего кабинета не пустит, пока не продержит часика два у двери. Третий — бумажная душа, буквоед, скупердяй, у которого зимой снега, а летом травинки не выпросишь. Этот так просто ничего из рук не выпустит, все за семью замками держит, каждую бумажку десять раз обнюхает, каждую буковку глазами просверлит. Вообще, если послушать Онбая, то во всем районе нет ни одной порядочной души, за исключением, пожалуй, дородной горластой официантки чайханы, которой достаточно подмигнуть и подкинуть одну синенькую, чтобы тотчас перед тобой появилась «белоголовка» с закуской. И при этом он еще насильно толкает его в это бюрократическое логово, требуя вырвать для него машину. Разве по силам робкому аульному кузнецу такую просьбу исполнить?! Легче, наверное, гору сдвинуть, озеро вычерпать, чудо чудное сотворить. Однако так, для очистки совести решился-таки уважить просьбу больного родича, съездить разок в район, чтобы не обижался потом, дескать, ради меня даже клячу свою пожалел лишний раз оседлать.

Резвая на воле и ленивая, спотыкливая под седлом, лошадка трусила так вяло, что седоку можно было без труда сосчитать каждый хвостик полыни по обочинам. Аршинную резиновую плетку Карабала держал под длинным рукавом чапана.

Черный увал после весенней недавней бури был в сплошных трещинах. Из трещин торчали, оголив корни, чахлые кусты. Между ними куда-то деловито ползали, неуклюже передвигая кривые ножки, черепахи. Обычное зрелище после пустынной бури, именуемой в народе черепашьей. Услышав мягкое лопотанье копыт, невзрачные твари настораживаются, замирают, на миг втягивают под панцирь голую заскорузлую

шею, а потом, едва отъедешь на пару шагов, вновь ползут, с трудом волочась по истресканной бурой земле. Э-э... а эта бедняга, выбираясь из воронки величиной со сковородку, вдруг оступилась и опрокинулась на спину. Лежит несчастная, морщинистой шеей туда-сюда вертит, ножками отчаянно сучит, пытаясь стать на брюхо. Во рту торчит былинка. Глазки, похожие на пшеничные зерна, выпучила в испуге. Старая, должно быть, черепаха; глядит, точно из глубины веков, с мудрой отрешенностью, как бы размышляя о том, как, интересно, поведет себя взгромоздившийся в седло степняк в старом измятом треухе.

Карабала пожалел бедную черепаху, тщетно пытавшуюся перевернуться, потянулся к ней с седла рукояткой камчи, но тут же вспомнил древнее поверье о том, что соломинка во рту черепахи, ожившей по весне, непременно приносит удачу. Он спешился, подошел к черепахе, наклонился над ней и, прошептав молитвенное «бисмилля!», вытащил из ее рта былинку. Тонюсенькая блеклая травинка, растущая в пустыне. Он положил былинку на ладонь, осторожно провел по ней пальцем. Потом перевернул черепаху, все еще таращившую на него мутные старческие глаза. Сел на коня. Отъехал на пару шагов. Оглянулся. Священная черепаха медленно ползла к зарослям молодой, еще не закудрявившейся полыни. «Надо же! Явь это или сон? Неужели сама судьба сулит мне удачу? Неужели божья милость ко мне обращена? Чем я заслужил такой дар?!» От нежданной радости зачастило сердце. А тревога не оставляла его уже несколько дней. Ведь если он вернется из района с пустыми руками, от Онбая пощады не жди. Каждый божий день шпынять станет своим жалом. Карабала с трепетом в сердце еще раз осмотрел былинку, потом аккуратно вложил ее в сложенный вдвое рецепт жены, по которому он должен был привезти из района лекарство, сунул за пазуху. Взволнованный, он даже не заметил, как огрел резиновой плеткой сонного маштачка по тощему крупу. Тот, раздраженно дернув хвостом, перешел на жесткую трусцу.

Э-э-эй... рыжий мерин!
Девушка с джигитом глубину колодца меряли...

От негромкого мурлыканья чуть дрогнули кончики пышных усов. Когда на душе становилось легко, почему-то взбредали в голову эти две несуразные строчки из какой-то немудреной песенки. Ее неизменно поет забияка Онбай. На вечеринках он обычно ни с того ни с сего начинает к кому-нибудь придираться. Ни за что не упустит повода для перебранки.

Потом, сверкнув глазами и засучив рукава, начинает заливать луженую глотку. Рюмки, наполненные по самый верх, едва касаются его подстриженных усов и тут же показывают дно. Если же в недавней словесной стычке Онбай потерпел поражение, то некоторое время спустя у него стекленеют глаза, а на желваках упруго вздуваются бугры. Если же в споре одержал верх, то он, как только лоб покроется испариной, вскакивает с места и, опираясь на костыль, круто поднимает руку со стаканом водки, запевает с надрывом:

Э-э-эй, рыжий мерин!..

При этих словах женщины за дастарханом начинают отчего-то игриво похихикивать. Карабала недоумевает: он никак не может взять в толк, что смешного в каком-то рыжем мерине, какое он имеет отношение к джигиту и девушке и с какой стати этим двум бедолагам понадобилось вдруг измерять глубину колодца. Однако эти две нескладные строчки крепко застряли в голове и в веселую минуту сами собой напрашивались на язык. Правда, в устах Карабалы они не звучат так озорно и дерзко и вряд ли в состоянии вызвать у женщин двусмысленную улыбку. Наоборот, мелодия получается вялой и монотонной, словно нудная трусца ленивого коня под ним. Но Карабала и этому рад. В этой задорной песне есть некая бодрящая душу сила, от которой мгновенно развеиваются тоска и печаль, и действует она так, будто чаша холодного шалапа[1] в знойный день.

Отец Карабалы пас верблюдов и всю жизнь жил одиноко в степи. И сын вырос диковатым, нелюдимым. От робости всегда жался к отцу-матери. Застенчивость эта преследовала его постоянно. Вот и сейчас в тихой безлюдной степи, едва запев вполголоса, он испуганно огляделся вокруг. Не дай бог, кто-нибудь его услышит, и тогда прокатится по аулам молва, дескать, наедине Карабала горланит невесть что...

Вокруг простиралась по-весеннему невзрачная, голая степь. Только кое-где пробивалась травка, точно редкие щетинки на безбородом лице. И небо, лишившись за зиму голубизны, серело сиротливо, тускло. Тощая савраска всю дорогу почихивала, пофыркивала, мотала головой, словно радуясь тому, что в этом безбрежном пространстве она из всех четвероногих единственное живое существо.

Карабала, вспоминая о том о сем, затаенно улыбался своим мыслям. В те — давние уже — годы не в меру прыткий

---

[1] Шалап — смесь кислого молока с водой, утоляющая жажду.

секретарь аулсовета едва ли не силком забрал его у отца и определил в школу. Она располагалась в бывшей мечети одного благочестивого служителя аллаха. Маленький четырехугольный домик, сложенный из меловых камней, в окрестных аулах называли не иначе как «ак шкёль» — белой школой. Поначалу навезли сюда из низовья и верховья два десятка сорванцов. Самыми старшими из них оказались двенадцатилетние Онбай и Карабала. Онбай схватывал все на лету, был поразительно восприимчив, и до Карабалы все доходило с трудом. На уроках арифметики он запросто складывал и вычитал овец, лошадей, верблюдов, но оказывался совершенно беспомощным, когда надо было высчитывать количество воробьев на телеграфных проводах, или ящиков с яблоками, или скорость велосипедистов, едущих навстречу из разных пунктов. А Онбай щелкал любые задачи как семечки, и для него было все равно что складывать, что вычитать, что умножать, что делить, будто он с самого рождения только и делал, что считал воробьев на телеграфных проводах или ящики в яблоневом саду или мчался из города в город на велосипеде. Словом, играючи усвоив мудрость начальной «белой школы», он с таким же успехом окончил и семилетку в соседнем ауле. Карабала семилетки и не нюхал; ему даже скудные знания «белой школы» оказались не по зубам. Рано разочаровался он в учении. Вскоре Онбай вымахал в смазливого джигита с непокорным чубом, в черном, с иголочки, костюме и белой сорочке с отложным воротником. Весь он сиял, и все на нем блестело: и смоляные, тщательно расчесанные волосы, и белые крупные зубы, и дерзкие, насмешливые глаза, и начищенные, точно вылизанные, кожаные ботинки. А на Карабале длиннополый чапан, широченные штаны с болтающейся мотней, просторная ситцевая рубаха. Не было в аулах девицы — кроме, разумеется, явных дурнушек,— которая не получала бы от Онбая любовные письма в стихах. Карманы Онбая были набиты платками, любовно вышитыми поклонницами. На многолюдных сборищах или вечеринках Онбай воодушевлялся, точно в его неуемную душу вселялся джинн. Глаза вспыхивали черными искрами, румянец пылал во всю щеку. Не бывало собраний, на которых не выступал с пламенной речью Онбай. При этом ему все равно какое собрание — торжественное, отчетное, перевыборное или по поводу сенокоса, стрижки овец, весеннего окота. Сразу же после докладчика на трибуну лезет он. Народ оживляется, хлопает в ладоши. Онбай заливается соловьем. И те, что в зале, и те, что в президиуме, восторженно головами качают, языками цока-

ют. Уполномоченные из района, представители из области пожимают бойкому сообразительному юноше руку, хлопают по плечам. Молодец, дескать, джигит, подаешь надежды, выйдет из тебя толк. И наверняка вышел бы, если бы не война. Карабалу и сейчас еще, когда он только подумает об этом, грызет тоска.

Добрая молва о приятеле всегда радовала его. Он не испытывал ревности или зависти. Думал искренне: «Кого еще хвалить, как не Онбая? Разве есть еще джигит, подобный ему?!» В детстве Карабала прятался за спиной отца, в юности верной тенью сопровождал Онбая. Когда люди с восторгом глазели на приятеля, у Карабалы, стоявшего в сторонке, губы расплывались до ушей. А как он плакал, прощаясь с бледным, враз осунувшимся Онбаем, стоявшим в строю новобранцев! Слезы градом катились по лицу, и проклинал он тот час, когда врачи признали его негодным для фронта. Онбай — строгий, отрешенный — только губами чуть пошевелил да руку ему раза два крепко потряс. Так и расстались. Убитый, точно оспротевший, приплелся Карабала в аул. Перед глазами его неотступно стояли строгий взгляд и бледный лоб приятеля. Показалось чудовищно несправедливым посылать под вражеские пули такого видного юношу, в котором бурлили чистая, вдохновенная сила и трепетный, точно разгорающийся огонь, порыв. Карабала давно уже привык считать приятеля незаурядным, даже исключительным среди всех своих сверстников, и потому в толпе неоперившихся юнцов, отправляемых на фронт, больше всех он пожалел Онбая. И еще он испытывал ужасную неловкость, точнее сказать, необъяснимый стыд оттого, что его отправляют назад, в аул, а Онбая, быть может,— на верную гибель. И потому он старался не показываться людям на глаза, и все ему чудилось, что говорят или думают о нем с неприязнью, дескать, посмотрите на этого ловкача, дома, в тепле, отсиживается, когда лучшие из лучших на войне кровь проливают.

Четыре бесконечно долгих военных года, можно сказать, он ни на шаг не удалялся от кузнечного горна и наковальни. За год до окончания войны Онбай вернулся. Впервые за все это время Карабала вышел из законченной кузницы еще засветло. Он пошел повидаться с другом и когда увидел его, растянувшегося на подстилке на почетном месте, с подушкой под боком... увидел приставленные к стенке два костыля... увидел у порога изрядно изношенный единственный солдатский сапог, Карабала помертвел. Он не вымолвил ни слова, только схватил обеими руками сухую руку друга, скользнул

виновато по его сухощавой, неприступной в солдатской форме фигуре и опустился, точно подкошенный, рядом.

— Ну, как? Живой-здоровый?— глухо спросил Онбай, мизинчиком чуть коснувшись красиво подстриженных черных усов.

Кое-кто из аулчан смущенно заерзал: видно, в словах Онбая почудилась насмешка, дескать, какого черта тебе тут, в ауле, сделается. Но Карабала ничему не придал значения. Он по-своему понял хмурь на лице друга. Что и говорить, тяжко было гордому Онбаю, любимцу, баловню аула, возвращаться с одной ногой. Вызывающая дерзость, полыхавшая в глубине зрачков, сейчас сменилась жестким, беспощадным блеском. Взгляд его точно сверлил, пронизывал насквозь. И к кому бы ни обращался, говорил Онбай резко, отрывисто.

Осенью того же года колхозники избрали его председателем. Лихо закрутил дело одноногий баскарма. День-деньской с лошади не слезал. Одна нога в стремени, с другой стороны к седлу приторочены два костыля. Появлялся баскарма обычно там, где его никто не ожидал. Все замечал, все знал, все предвидел. Аулчане поражались его вездесущности, его прыти. Отныне женщины-жницы уже не осмеливались часами валяться в тени, возле копешки, чесать языками и перемывать чужие косточки. Старики сторожа на хирманах не решались бабам и детям совать, как прежде, по нескольку горстей пшеницы в честь окончания молотьбы. Служащие колхозной конторы ходили на цыпочках. Отныне колхоз Онбая первым в районе подписывался на заем. Даже холостяцкий налог с приходом Онбая выплачивался исправно. При Онбае на бросовых лугах за перевалами стали пасти скот. При Онбае распахали и засеяли пшеницей мало-мальски пригодные участки, за исключением лишь диких, недоступных чащоб, где водились архары и косули. При Онбае перегораживались речушки, строились запруды и в долинах, оврагах колосились ячмень, овес, просо. При Онбае в колхозе выпестовали скакуна, которому доставались все призы на скачках. При Онбае даже стенная газета и «боевые листки» стали выпускаться своевременно. При Онбае впервые на трудодни выдавались деньги. При Онбае нелюдимый молчун Карабала наловчился выступать на собраниях. При Онбае неторопливая аульная жизнь точно вскачь пустилась. Из дома в дом неслся голоногий мальчишка-гонец и скликал народ в контору то на заседание правления, то на сходку, то на экстренные совещания. Э-хе-ей... Крутые времена настали при неуемном Он-

бае. На весь район гремела слава колхоза. Увы, недолго продлилась эпоха одноногого баскармы.

Громкий клич о том, что необходимо срочно укрупнять мелкие хозяйства, одним из первых подхватил сам Онбай. Вскоре объединили три соседних колхоза, но в председатели выбрали уже не Онбая, а другого. Онбай оказался в заместителях. Но давно замечено, что двум бараньим головам тесно в одном казане. Не поладили с ходу председатель и его зам. На собраниях недобро косились друг на друга, так и норовили друг друга осрамить при всем народе. Взаимная неприязнь перешла вскоре в откровенную вражду: в вышестоящие инстанции посыпались жалобы. Потом то и дело возникала публичная перебранка. Кончилось тем, что председателя отправили руководить отдаленным колхозом, а зама назначили заведующим фермой. Онбай оскорбился и на работу не вышел. Месяц спустя вызвали его в район и предложили место агента по мясозаготовке. «Не хватало мне еще у весов стоять!» — отрезал Онбай. Не соблазнился он и должностью фининспектора. «Только и осталось мне копейки считать!» Кому охота дело со строптивцем иметь? Оставили Онбая в покое. Он, однако, еще долго ждал, все надеялся, что придут, в ножки поклонятся, место достойное предложат. Напрасно. Обиделся Онбай, дулся, злился, возмущался, не раз намеревался писать самым почтенным людям у власти, напомнить свои права и боевые заслуги перед Родиной. Но вскоре подвернулась ему вполне приличная работенка. К его счастью, прибыла в эти края большая экспедиция, искавшая то ли воду, то ли нефть. Аллаху одному ведомо, каким образом пришелся строптивый Онбай по душе руководству экспедиции, но факт, что сразу же его приняли заведующим складом. А в то время — известное дело — все колхозы вечно нуждались и в бензине, и в баллонах, и в запчастях для машин. И вот тебе на: и бензин у Онбая, и баллоны у Онбая, и запчасти у того же Онбая. Каково?! Ну, а Онбаю сам черт не брат. Хочет — лихо загнет сочный русский мат, нальет тебе бензина с лихвой и — будь здоров. Попадешься под добрую руку — бери что надо, Онбаю ничего не жалко. Не захочет — цвиркнет звучно сквозь зубы и любого пошлет к такой-то матери. Да еще добавит: «То же самое передай и твоему мокроносому начальнику». Как бы там ни было, отныне в трудный час шоферы и трактористы первым долгом не бога вспоминали, а Онбая. И потому любой каприз исполняли, любой его наказ с готовностью, точь-в-точь своему начальству передавали. Поначалу в ауле шушукались: «А знаете, что Онбай сказал?!» Потом: «Э-э... уж наш

Онбай скажет так скажет». Потом: «Уж наш одноногий баскарма знает что сказать!» Потом: «О, Онбай правду-матку в глаза режет. Онбай кого угодно отбреет». Молва подхватывала и раздувала любую выходку дерзкого Онбая. Кто знает, много ли проку для колхозного трактора или машины от ведра горючего, которое отпускал Онбай, но для громкой молвы этого было вполне достаточно. Словцо, оброненное Онбаем, степным палом преследовало местное начальство.

Больше всего доставалось новому председателю колхоза. Когда шоферы-охальники передавали ему в первозданном виде «горячие приветы» Онбая, бедняга вскакивал, будто проглотил невзначай раскаленный саксаульный уголек. Краснел, бледнел, темнел, грозился: «Ну подожди, стервец! Я тебя...» Только что проку от таких угроз? Однажды один из колхозных председателей, должно быть, самый горячий, решительный, пришел в ярость после очередного укуса Онбая. Все! Довольно! Толкну-ка я тебя, одноногого, в яму. Попадешься, голубчик, в мой капкан! К ящику водки из аульного магазина он прикупил в районе ящик коньяка, зарезал белоголовую жирную ярку и пригласил начальника экспедиции совместно с аульным активом. А тот, начальник-то, оказался ушлым. Такого застольем не проймешь и на мякине не проведешь. Сначала хозяйку — «марджу» похвалил. Потом прелестных детишек — «баранчуков» похвалил. Заодно отдал должное куырдаку[1], воспел бесбармак, восхитился бараньей головой, которую в знак почета поставили перед ним и с которой он явно не знал как поступить, потом восторженно отозвался о кимране — квашеном верблюжьем молоке, дескать, какой кислый, какой нежный, потом восславил кумыс, ах, какой, мол, терпкий, хмельной, душистый, не обидел и горькую водку, и сладкое вино, а когда время перевалило уже за полночь, по-приятельски похлопал хозяина по спине, по плечу, нежно погладил черного кобеля у порога, потом смачно облобызал всех растерявшихся домочадцев, жену хозяина даже слегка к себе поприжал и, прослезившись от избытка чувств, с трудом попрощался. Однако стоило завести разговор о «кладовщике-казахе Бекенове», как он только похохатывал да языком пощелкивал, явно уклоняясь от беседы на эту тему. Баскарма осторожно, намеком хулит Онбая, хитрюга начальник улыбается. Баскарма начинает разоблачать Онбая, начальник экспедиции хихикает. Баскарма открыто ругает Онбая, начальник головой мотает, хохочет. Тогда, потеряв терпение,

[1] К у ы р д а к — жаркое из свежего мяса.

баскарма в сердцах кроет матом почтенного гостя, тот еще больше веселится, говорит: «Ай, молодец!» — и лезет целоваться. С какой бы стороны ни подходил председатель к Онбаю, начальник, как заведенный, одно твердит: «Бекенов — умный человек!» А означает это одно: «Оставь, дорогой. Нам нет никакого дела до ваших аульных распрей». Словом, никак не удается вырвать из рук Онбая жирный кусок. С начальства же какой-никакой, а спрос есть. Сено следует заготавливать, урожай нужно собрать, поголовье скота — множить. Короче: кровь из носу, а план давай. А чтобы был план, машина должна быть на ходу, трактор обязан грохотать. Для этого нужен бензин, нужна резина, нужны опять-таки бесконечные запчасти. Ведь нынешняя техника — это тебе не серпы, не косы, однолемешный плуг, борона или какая-то там жатка, лобогрейка, с которыми вполне справлялся и Карабала. Так что сколько бы ты ни брыкался и ни ненавидел вредину Онбая, а без него и шагу не ступишь. Поневоле идешь к нему на поклон. Ибо никто не может твердо сказать, располагает ли всевышний современной техникой и дефицитными запчастями к ней, а вот то, что Онбай ими располагает,— совершенно очевидно. И Онбай конечно же цену себе знает. Когда подходит конец месяца, или конец квартала, или — тем более — конец года, он не то что с шофером, не то что с бригадиром, но и с механиком или даже с самим инженером разговаривать не станет. Пока само начальство не приплетется к нему с низко опущенной головой, Онбай и бровью не поведет. Ничего не поделаешь: переборов гордость, колхозное руководство едет просить, умолять норовистого Онбая. И тот, не торгуясь, без лишних слов даст, нальет, сунет все, что твоей душе угодно, и даже сверх нормы, больше, чем ты просил, чем тебе надо. А если к нему с открытым сердцем, если назовут его почтительно «Онке» или скажут: «Только вы знаете», «Вся надежда только на вас», то он так расщедрится, что не только бензин отпустит, не только запчасти достанет, но и скажет, где следует построить новую кошару, где разумнее копать колодец, где выгоднее косить сено, где целесообразнее пасти лошадей, верблюдов, овец. Запросто, без утайки научит уму-разуму. Старики благословляют его, начальство благодарит от души, довольное, что теперь-то хозяйство пойдет на лад. Но недолго длится их радость. Едва расправятся с планом, едва приходят в себя после всех треволнений, как по аулам прокатывается слух: «Да-а... если бы не Онбай, сидеть бы нашему начальству голым задом на колючках», «Только благодетель Онбай спас нас от неминуемой беды». Ну разве приятно часто-

любивому руководству о себе такое слушать? Вот безногий черт! Будет ли на тебя, наконец, управа?!

Экспедиция для Онбая оказалась поистине благом, свалившимся с неба. Но через четыре года она так же неожиданно исчезла, как и появилась. Многие злорадствовали тогда в душе, дескать, все, укоротили руки наглецу Онбаю, теперь-то он и язык свой длинный прикусит. Но не тут-то было. Руки действительно стали короткими, но язык еще длинней. Правда, удар был чувствительным. Времена изменились. Сначала потребовались «образованные руководители», потом делали ставку на «молодых, энергичных». Пришлось Онбаю копейки перебирать, хоть еще недавно это считалось зазорным. Понадобилось Онбаю у весов торговать, хоть и казалось это позорным. Да что там? Честолюбивый джигит, еще недавно морщивший брезгливо нос при запахе паленой овцы, теперь смиренно вдыхал вонь прелой шерсти и шкуры. Стал-таки агентом заготживсырья. Навалившись грудью на костыли, стоял в затхлом, но всегда прохладном сарае у железных весов и яростно пощелкивал на счетах. Много нынче в аулах шерсти и шкурок стало. У всех теперь дело до Онбая. Да и у него на складе кое-что найдется. Самый крепкий насыбай — у него. Самый терпкий чай — у него. Да и место бойкое. Такого наслушаешься — месяц всюду рассказывай, и все от изумления только рты распахнут. И снова у всех на устах — Онбай. Усталый, ковыляет он после работы домой. По дороге непременно нарвется на какую-нибудь компанию. А Онбай не из тех, что пройдет мимо. Обязательно с одним сцепится, с другим схлестнется. И тот, о котором еще недавно говорили «отчаянная голова», «лихой», «палец в рот не клади», стал все чаще называться «задирой», «смутьяном», «скандалистом», «драчуном». Если раньше к нему льнули, как мухи на мед, то теперь от него шарахались, точно комары от дыма. И вот пускается Онбай на костылях по пустынной улице, глотку дерет, врагов клянет. Не по нутру ему одиночество, и он обязательно заворачивает к дому Карабалы. Одним прыжком взбирается на почетное место, отпихивает костыли в сторону и поудобнее располагается на кошме. Сакип, жена Карабалы, услужливо хлопочет возле него, стелет лучшее одеяло, подает самую пышную подушку. Наевшись до отвала свежего куырдака, напившись до испарины крутого чая, он понемногу оттаивает, успокаивается, заставляет хозяина достать из ларя заветную «белоголовку», чтобы прополоснуть горлышко. Нальет себе в стакан по самый верх, а хозяину плеснет в пиалу. Карабала — слабак по этой части. Тяпнет разок —

губы распустит и все смеется ни с того ни с сего, как блаженный. А примет второй раз — свалится на бочок и храпит. Онбаю же не хочется лишаться единственного собеседника. Поэтому плеснет ему на донышко, заставляет его похихикивать, а сам и водку хлещет, и речи говорит.

— У-у, язви тебя в душу!— восторгается он молчуном ровесником и таращит на него хмельные глаза, будто видит впервые.— Лоб-то, а?! Не лоб, а лбище, скажу я тебе. Целый отгонный участок! А вот удача тебя обходит. Разве ты меньше других вкалываешь? Или рожей не вышел? Врешь! Прямой нос, пышные усы, круглолиц, в кости широк, да такой казах любую газету, понимаешь, украсит. Умное руководство должно бы тебя выдвинуть. Дескать, вот наш маяк! Вот наш герой! А то превозносят какого-то Хасана, у которого ни кожи, ни рожи. Тоже мне герой! Срам! Обглоданная кость! Удача, дружище,— капризная стерва. А счастье — одноглазое чудовище. Оно не видит, кого там за уши тянут. А увидит — с высоты зараз в пучину швырнет. Настанет день — и этот ублюдок Хасан тоже вверх тормашками полетит. Посмотришь!

Тут он делает паузу и залпом осушает стакан. Кажется, свирепый огонь сжигает его изнутри и не загасить его ни водкой, ни острым луком, ни жирным куырдаком, ни крепким чаем со сливками. Только слова, пусть корявые, но задушевные, способны унять пламя в груди.

— Эх, будь я на коне, приторочил бы счастье к твоему седлу!

— Какой разговор, Онке...

И Сакип, разливающей чай, приятно от этих слов. Конечно, вернись то время, Онбай для них сделал бы все.

— Да, да, да!— как бы угадав ее мысли, подхватывает Онбай.— Сам я виноват. Сам!— Он с остервенением мнет под собою подушку.— Ведь когда укрупняли колхоз, именно меня хотели поставить председателем. А я взял да самого первого подзадел, на районном активе коршуном обрушился на бумажный стиль руководства. И не заметил, как моя критика одним концом треснула по лысине самого главного. Он метнул на меня косой взгляд и сразу усек: от этой беды подальше. Ну, с тех пор и поползло у меня все по швам. Черт меня дернул тогда за язык. А в этом мире, дружище, одинаково худо и тихоням, и не в меру горластым, и чересчур смышленым, и ошибко умным. Большому богатству сейчас, может быть, и не позавидуют, а вот большой ум... его простить тебе не каждый способен. Большой ум иной раз — что путы на ногах.

Обидно не то, что бог не дал. Не жалко, если бог дал, но он же и забрал. Самое несправедливое, когда тебе сулят, но не дают. Или из-под носа уведут. Вот эту обиду не забудешь до самого гроба. Так-то, дружок.

Онбай пытливо смотрит на сверстника и выливает остаток бутылки в свой стакан. Потом, опершись одной рукой на плечо хозяина, резко поднимается, Сакин поспешно сует ему под мышки костыли, и Онбай, побледнев, яростно мотнув головой, с ходу срываясь на крик, затягивает песню. Для зачина он споет непременно по-русски. Странная какая-то песня, вроде как с надрывом, с неуемной тоской. Хозяева не понимают слов, но от мелодии щемит в груди. Онбай все больше распаляется. Обвислые усы, покорно покрывающие усталый рот, вдруг вздрагивают, топорщатся. В хмурых, заметно притушенных в последние годы глазах вспыхивают шальные искорки. Губы, обожженные водкой, дряблые и блеклые, обретают упругость и живость. Грудь ширится, бугрится, и кажется, что Онбай не на костылях висит, а стоит на двух ногах, во весь свой рост. Неожиданно русская песня сменяется казахской, и на глазах расчувствовавшейся Сакин поблескивают слезы. И у Карабалы взор туманится, и жилка у глаз нервно подрагивает. Заметив, что хозяева размякли, Онбай усиливает скорбную дрожь в голосе. Чистые слезы сердобольной четы, всем существом своим внимающей каждому слову песни, точно смывают в его груди досаду, боль и невысказанную обиду, смягчают горечь только что выпитой огненной водицы, развеивают хмель, угнетающей слабостью растекавшийся по жилам, точно свежим ветерком разгоняют стеснившую душу тоску.

Положив руки на плечи супругов, он с глубоким вздохом говорит:

— Эх, бедняжки мои! Десять дворов осталось в нашем роду, а я единственный,в чьих жилах сохранился живой огонь. Если завтра что-нибудь со мной случится, кто заступится за нашу честь?!

От этих слов у Карабалы еще больше сжимается сердце. Дрожа подбородком, он выстанывает сквозь слезы:

— Опора т...т...ты наша! С...с...кала несокрушимая! — говорит искренне, с душевной болью и тоской.

Ввергнув в смятение простодушную чету, Онбай стремительно уходит, и сквозь раскрытое окошко плоскокрышей мазанки еще долго слышится яростный стук костылей о жесткую землю.

После посещения друга Карабала обычно проводит ночь

без сна. Он, огромный, сильный мужчина, многого в жизни не понимал, да и никогда не стремился вникать в ее суть. Он привык принимать жизнь такой, какая она есть, и никаких претензий к ней не имел. Слава богу, руки-ноги целы. Слава аллаху, без дела никогда не сидит. Слава всевышнему, жена Саким, хоть и нерасторопная, бестолковая малость, а все же очаг содержит, да и против шерсти не погладит. Родила ему сына и дочь. Сын, табунщик, давно женился, отделился. Дочь вышла замуж в соседний аул. Какой-никакой, а угол свой есть. Жить можно. Попросят: «Карабала, будь добр, сделай» — он сделает. Попросят: «Карабала, пожалуйста, съезди» — он съездит, куда надо. И, дожив до преклонных лет, он еще не слышал, чтобы кто-нибудь был им недоволен. А потому он не знал обид, ни на кого не жаловался, да и голову по пустякам не ломал. И лишь после встречи с Онбаем ему каждый раз чудилось, будто что-то неладно в этом, казалось бы, надежном и непоколебимом мире, будто зыбится твердь под ногами. В душу отчего-то закрадывалось сомнение. И он тщетно силился понять, почему так не везет его сверстнику, которого он боготворит с малых лет, почему от него отвернулась лукавая судьба. Видно, существует все-таки нечто несуразное в этой жизни, о чем глухими намеками нередко говорил Онбай. Ведь в этом ауле нет ни одной души, которая могла бы затаить на Онбая обиду. Никто не назовет его нечестивцем, никто не отвернется от него в трудный час. И все же незавидная житуха у Онбая. Почему-то упорно ему не везет. В чем дело? Может, жизнь совсем не такая, как привык ее представлять Карабала? Может, она состоит вовсе не из одной наковальни и молота? И иных она мнет так, что они оказываются уже ни к чему не пригодными, не то что разные поделки, вышедшие из-под рук аульного кузнеца. Но Онбай — не один из многих живущих. Он незаурядный. Сколько в нем заложено энергии, умения, сноровки, ума и сметливости! И все это пропадает бессмысленно, бесследно. «Сам виноват,— говорит он часто.— Не на кого пенять. Надо бы поступать вот так-то и так-то». Возможно, так оно и есть. Но лично он, Карабала, склонен думать, что все беды-напасти сверстника исходят от того шального кусочка свинца, выпущенного этим распроклятым Гитлером. Тот свинцовый осколок не только ногу Онбая оторвал, но и гордые крылья его подрезал. Иначе с его способностями он неизвестно до каких бы высот пыпче добрался. А так что? Искалечили видного джигита, какому и равных-то во всей округе не сыскать, и теперь томится он в кругу серепьких, как он, Карабала, людишек. Вот и корежится его душа, тесно ей на

этом клочке земли. И когда Карабала думает об этом, все нутро его точно огнем горит.

До сих пор Карабала, можно сказать, и горюшка не знал. Довольствовался тем, что уготовила судьба. Жил как живется. Сыт не сыт, одет не одет, а все хорошо, все слава аллаху. Да и отец покойный, видно, тоже не утруждал себя заботами. Родился сын, увидел, что чернявый, ну и назвал его, не ломая головы, Карабалой — черным мальцом. Как говорится, и учиться, и молиться не заставлял. Так и вырос. Теперь, считай, стариком стал. А в родном ауле по-прежнему Карабалой кличут. Никто его не зовет почтительно — Кареке. Так уж повелось: «Карабала сделал», «Карабала выковал», «Карабала клепку поставит»... Если случается, кто-либо из соседних аулов обратится к нему по острой необходимости и назовет подобострастно-уважительно — Кареке, то у него от смущения затылок покрывается испариной и под лопатками начинает зудеть. На сборищах-вечеринках он ни за что не полезет на почетное место, а незаметно пристроится где-нибудь поближе к порогу. Э-э... В жизни все должно быть по чину, по месту. У каждой щепки свое назначение. Где это видано, чтобы из жести ковали меч, а из крепчайшей стали лили горшки?! Вот так же нелепым кажется и нынешнее житье-бытье Онбая. Нет... не такой доли он достоин...

«Видно, и бог на небе — большой чудак,— подумал сейчас Карабала и тут же спохватился: — Прости, прости мои прегрешения!..» А все чудно получается. Былинка во рту черепахи, соломинка удачи, как божья благодать, редко достающаяся простому смертному, выпала не кому-нибудь более достойному, а именно ему, неприметному аульному кузнецу, сорок лет тому назад с грехом пополам окончившему три класса и кое-как корябающему в ведомости по зарплате четыре начальные буквы имени отца, заканчивающиеся загогулиной, от которой иногда и сам он приходит в недоумение. Эх, досталась бы она, соломинка удачи, лучше ухарю Онбаю! Может, встретился бы он со своей пылкой юностью. Может, стройный, миловидный джигит, радовавший взор и ласкавший слух аулчан, с блеском одолел бы любую грамоту хоть в районе, хоть в области, а может, даже и в самой Алма-Ате или Москве. И восседать бы теперь ему в столичных президиумах среди блистательных ученых. И тогда запросто рассовал бы по столичным институтам всех аульных сорванцов. А земляки, которых хворь или другая беда пригнала в город, непременно останавливались бы у него, располагались бы в его большой, из пяти или даже шести комнат, квартире как у себя

дома. А может быть, еще выше взметнулся бы Онбай? Может, мы лицезрели бы теперь его по телевизору... Что? Разве не смог бы он закатить речугу? Да он два часа шпарил бы без запинки, ни разу не заглядывая в бумажку. А как бы он о своем родном крае заботился! Он не потерпел бы, чтобы пыльные смерчи мчались наперегонки по солончаковым проплешинам, а привел бы, точно на поводу, какую-нибудь полноводную реку в родную степь, как об этом пописывают в газетах. Э, что там говорить?! Поднимись Онбай на такую высоту, Карабала через какого-нибудь аулчанина послал бы такой наказ: «Эй, пес ты этакий, став важной шишкой, ты небось и не помнишь, как мы в детстве, точно жеребята по весне, на лугу за аулом резвились... Смотри не зазнавайся. А уж коли тебе такие права даденьг, то и на нас, грешных, обращай изредка свой благосклонный взор. Так вот мой сын, Куатбек,— знатный табунщик. Деньгу, сам знаешь, зашибает будь здоров. Одна беда — больно робкий, стеснительный. В меня, что ли, губошлеп, пошел... Вздумалось ему машину купить. А для этого, оказывается, надо бог знает сколько в очереди торчать. Люди говорят, чтобы получить машину, нужны не только деньги, но кое-какое знакомство, связи. Словом, нужен толкач. Понимаешь? Возни, хлопот с этим делом больше, чем кизяка в степи. Нам это не по силам. Так будь добр, подсоби по старой памяти. Крохотная Жанель, дочурка (ты ее помнишь), ныне замужем. Детей растит. А вот порядочного жилья у нее нет. Может, и тут чем поможешь? Другие аулы как аулы. А в нашем кособоких мазанок со слепыми окошками еще хватает. Это тоже имей в виду. Для нас все это — недосягаемые снежные вершины Каратау. А для тебя — раз плюнуть. Поднимешь трубку, звякнешь — и все готово». А-а... ладно, мало ли что он мог бы наказать своему другу. Да только все это глупая мечта, блажь. К тому же живет Карабала не хуже других. Просто самому Онбаю было бы хорошо, пробейся он в большие начальники. Разве не приятно было бы ему спросить при случае у знакомого аулчанина: «Ну, как там мой ровесник кузнец Карабала? Живой еще?» Говори не говори, а не метался бы тогда Онбай, как затравленный пес, по аулу...

Приятно помечтав, Карабала опять живо представил Онбая, каким он увидел его три дня назад: изможденным, исхудалым, с лицом, будто покрытым золой. Тяжелые складки избороздили лоб. Под глазами набрякли мешки. Брови поредели, ощетинились. Усы понуро повисли. В зрачках нездоровый блеск. И лишь по словам, колючим и едким, можно

еще догадаться, что изуренный мужчина, укутавшийся в старое лоскутное одеяло, и есть некогда грозный Онбай.

Карабала ударил савраску пятками. Нет, поездка его должна быть удачной. Неспроста ведь встретилась ему черепаха с былинкой во рту. А если ему удастся исполнить сокровенное желание больного сверстника, кто знает, может, встрепенется бедняга, поправится.

К обеду впереди показался районный центр. Плутая по кривым пыльным улочкам, расспрашивая у прохожих, Карабала добрался до учреждения, куда Онбай советовал заехать в первую очередь. Тонкобровая молодка, говорившая томно, врастяжку, надменно выслушала робкого аульного казаха и направилась в кабинет. «Заходите»,— бросила мимоходом, вернувшись оттуда. У стенки напротив двери за большим сосновым столом сидел, накинув на плечи пальто, крупный сухолицый мужчина. Сверкнув стальным зубом, с ходу стал расспрашивать о деле. Перед ним лежала подшивка газет, и, слушая, он с треском переворачивал страницы, шныряя глазами по колонкам. Едва Карабала изложил свою просьбу, он резко оторвался от газеты, вытянул длинную кадыкастую шею, как-то странно крутанул головой и цепко оглядел посетителя от подбородка до лба и от лба до подбородка. Потом вдруг улыбнулся, обнажив сверкнувший стальной зуб. «А ведь Онбай точно обрисовал его,— подумал про себя Карабала.— Он и впрямь похож на гончую у норы».

— Знаю, знаю, почтенный,— сказал сухолицый.— Это вы о забияке Бекенове говорите. Здесь у нас находится его письмо, в котором он подряд кроет все районное руководство. Заодно досталось от него и нашим отцам и матерям. Конечно, в отместку можно было б поманежить смутьяна. Но раз уж вы приехали, то отказать трудно. Вообще, в принципе, машина ему положена. И соответствующие бумаги имеются. Однако вопрос о включении его в список первого полугодия может решить другое учреждение. Если нам будет оттуда указание, мы с готовностью сделаем. Человек вы, я вижу, совестливый, честный. Вам не откажут. Так что, будьте добры, обращайтесь туда.

И сухолицый вновь пристально посмотрел на Карабалу. Тот неуклюже поднялся с места.

— Как «Искра»? Благополучно вышла из зимы? Как молодняк?— поинтересовался сухолицый.

— Слава аллаху, неплохо...

Карабале все чудилось, будто он где-то видел этого верзилу с длинной шеей. Закрывая за собой дверь, он не-

заметно покосился на него еще раз, но так и не вспомнил.

Следующее учреждение оказалось не в пример первому многолюдным. Вдоль стен длинной приемной выстроились в ряд мягкие стулья. Почти на каждом из них кто-то сидел. И у каждого на коленях покоилась толстенная папка. Судя по всему, самый главный задерживался. Белокурая смазливая девушка, выстукивавшая что-то на машинке, то и дело хватала трубку беспрерывно заливавшегося телефона и коротко роняла:

— Нет. Нет. Не пришел еще. Народу много.

Каждый раз, поднимая трубку, она искоса оглядывала ряды посетителей. И каждый раз солидные мужчины, чинно державшие перед собой папки, как бы вытягивались и просительно-подобострастно глядели на девушку. Наконец распахнулась обшитая светлым дерматином дверь, и в приемную вступил главный. Он был подтянут, худощав, невелик ростом. Смотрел строго, пронизывающе. Скулы остро выпирали под смуглой кожей. Щуплый, легкий, он ступал, однако, широко, важно. Никого не удостаивая взглядом, решительно направился к обитой черной кожей двери кабинета. Приоткрыв ее, повернулся к девушке, что-то сказал ей, и взгляд его невзначай скользнул по Карабале, выкидающе застывшем на крайнем, у самого порога, стуле. Вскинул редкие брови, явно что-то припоминая. Потом сразу потеплел лицом, чуть улыбнулся, приветливо кивнул.

— Доброго тебе здоровья, дорогой,— поспешно ответил Карабала, скрипнув стулом под собой.

И, неизвестно отчего, густо покраснел. Вроде неловко стало. В приемной все разом повернулись к нему. Начальник прошел к себе. Вскоре задзинькал звонок. Девушка-секретарь, вспорхнув, юркнула за дверь и тут же вышла.

— Аксакал, вас приглашают.

Карабала растерянно огляделся по сторонам, как бы прося прощения у толпившихся в прихожей посетителей, и направился к начальнику.

Кабинет оказался непомерно огромным — хоть конные скачки устраивай. В глазах Карабалы зарябило от множества изящных полированных деревяшек. У стены напротив двери громоздился блестящий коричневый стол длиной с добрую лошадь. Из-за стола легко вскочил щуплый подкарый мужчина с ястребиным носом и пошел навстречу. Крепко пожал руку. Потом, поддерживая под локоть, привел к узкому маленькому столику, приставленному к большому, и усадил в одно из двух кресел, стоявших друг против друга. Карабала,

не знавший других сидений, кроме жестких табуретов, плюхнулся нерасчетливо и утонул в мягком кресле, будто провалился куда-то. Он торопливо сдернул с головы тяжелый треух, бросил его на низенький столик перед собой и, теребя завязки треуха, начал сбивчиво рассказывать о своем деле. Шуплый серолицый мужчина молча слушал. Время от времени делал какие-то пометки на белом листе. Едва Карабала умолк, нажал синюю кнопочку стола. Тут же выросла в двери услужливая секретарша.

— Соедините меня, пожалуйста, сначала с Есенкуловым, потом с Жузбаевым.

— Хорошо.

Секретарша едва успела закрыть за собой дверь, как зазвенел один из телефонов. Серолицый поднял трубку.

— Здравствуйте... Ах, вон как!.. Тогда оформляйте бумаги. Ничего, что-нибудь придумаем... Ладно.

Шуплый мужчина с сухим, как бы из камня выточенным лицом говорил резко и отрывисто. От него веяло решительностью и деловитостью. Только положил трубку — залился второй телефон.

— Да. Приветствую. Значит, те три машины еще на месте? Прекрасно! Одну из них выделим инвалиду. Что? Решение, говорите? Не беспокойтесь. Передовиков производства тоже не обидим.

Тот, на том конце провода, видно, оказался не из робких. Что-то настойчиво говорил в трубку.

Серолицый досадливо наморщил лоб.

— Первого сейчас нет. Приедет — я сам с ним переговорю. Скажете, я приказал. Понятно?!

Серолицый насупился. Видно, был из тех, что умеют настоять на своем. Пальцы его начали выбивать нетерпеливую дробь. Пепельница, наполненная окурками сигарет, запрыгала на столе. А серолицый барабанил пальцами все яростней. Должно быть, называя его властолюбцем, Онбай имел в виду его прямоту и непреклонность. Кончив разговор, повернулся к посетителю.

— Аксакал, идите снова туда, где только что были. Получите бумаги. Потом зайдете к товарищу Жузбаеву. Тот исполнит все, как надо. Других просьб у вас нет?

— Нет, дорогой. Большое-большое спасибо. Да отвернутся от тебя все беды.

— И вам спасибо! За то, что в прошлом году выручили нас. Установление памятников погибшим воинам было мне поручено. И если бы не вы, опозорились бы крепко.

Карабала вспомнил: в прошлом году, весной, парторг уговорил его выковать несколько десятков пластинок из стали. Значит, это имел в виду серолицый! Начальник вновь встал из-за стола, пожал руку, проводил до двери.

Жузбаев, как выяснилось, заведовал всей торговлей района. До сих пор Карабала был совершенно убежден, что по торговой части работают одни лишь шустряки да ловчаки, способные пролезть через игольное ушко. А тут начальник оказался огромным, дородным детиной с плоским носом на широком мясистом лице и с тяжелой гривастой головой. Разговаривая, он оглаживал поверхность стола ручищей, на которой отсутствовал мизинец.

— Значит, почтенный, вам машина понадобилась?

— Зачем?! У меня родственник — инвалид. Для него хлопочу.

— Что же делать, а?! Это вы сейчас у председателя были?

— Я...

— Дело вот в чем, аксакал. Мы нынче еще не получили ни одной машины из фонда для инвалидов. Правда, на базе стоят три машины. Но решением бюро они выделены для тех чабанов, кто получит больший приплод. Так и сказано: чтобы ни одна душа не позарилась. А теперь мне приказывают отдать инвалиду. Завтра вернется первый и шлепнет меня по загривку. Вам-то все равно. А каково мне?

— Не знаю, дорогой... Но... мне сказали, что... будто все решено...

— Хм-м... Разумеется, делать человеку добро — прекрасно. Но... существует ведь и закон... С ним-то следует считаться. Не так ли, старина?

— Ну, если против закона, то...

— Нет, нет! Что вы, аксакал?! Вы-то тут ни при чем.

— А-а...

— Как же быть, а?!

Жузбаев был явно озадачен. Порылся в стопках бумаги на столе. Потом, выдвинув, копался в ящиках. Наконец нашел какой-то листок. Водрузил большие, как блюдце, очки. Почитал, шевеля губами. Постучал толстенным указательным пальцем о край стола.

— В общем закону не противоречит. Только вот решение бюро... Вы из совхоза «Искра»?

— Да.

— Скотовод?

— Нет... кузнец.

— Вот как! Хм-м... А как зовут?

— Карабала.

— Хм-м... Надо же!.. И давно кузнецом?

— Я там родился. И как работать начал — так и стою у наковальни.

— Бескормицу в весну пятьдесят третьего помните?

— Конечно.

— А машины, вмерзшие в грунт у холма возле вашего аула? В марте?

— Ну как же! Там они и проторчали, пока земля оттаяла. У многих ось лопнула. И я целый месяц провозился с ремонтом.

— Вот оно что! Помнится, говорили, что у тамошнего кузнеца золотые руки. Выходит, это вы?!

Карабала покраснел, опустил голову. Видя его смущение, заерзал и Жузбаев.

— В той суматохе и я участвовал. Пришлось разгрузить все машины, собрать верблюдов из ближних аулов и доставить сено в тюках к чабанским становищам. Сколько отар тогда спасли?! А сколько овец погибло! Да-а...

— Э-э... так вы... выходит, предисполкома Жузбаев?

— Да, тогда я работал в исполкоме.

Оба некоторое время помолчали. Карабала вдруг живо вспомнил этого крупного беспокойного человека. Вспомнил и ту зиму, необыкновенно холодную, затяжную. Все ждали тогда: вот-вот весна наступит, и вдруг повалил снег, намело целые сугробы. Скот отощал за зиму. Начался падеж. Люди растерялись. В это время пронесся слух, что из района идет колонна машин с сеном, одеждой и продовольствием. И возглавляет колонну сам товарищ Жузбаев. Действительно, через день из-за черного холма за аулом послышались гул и грохот: колонна застряла в снежных сугробах у подножия холма. Начальник колонны товарищ Жузбаев пришел к Онбаю и приказал немедленно собрать верблюдов и лошадей. Каждый двор обошел, всех на ноги поднял. Два дня и две ночи мотался взад-вперед верхом на колхозной кляче между холмом и аулом. И себя не щадил и другим покоя не давал. Облачившись в чей-то замызганный полушубок, туго подпоясавшись ременным поводком, он вместе со всеми, обливаясь потом, помогал разгружать машины и вязать тюки. Потом уселся верхом на черного дромадера и повел груженный тюками караван через снежные перевалы к чабанским становищам. В ауле долго и с неизменным восхищением вспоминали беспокойного и деловитого начальника из района, который в трудный час проя-

вил мудрость и достоинство. И еще поговаривали, будто он крепко обиделся на Онбая и сказал ему: «За свое хозяйство ты болеешь душой, а вот к соседям у тебя ни жалости, ни сочувствия. Черствый ты человек!» Слухов об этом человеке было в аулах немало. Говорили, что он строг, требователен, крутонравен, быстр и резок и в деле и на словах. Потому, дескать, и понизили его в должности. «Теперь он, значит, здесь торговой частью заведует»,— подумал про себя Карабала.

Курчавоголовый, широкогрудый, чернявый детина все еще о чем-то мучительно раздумывал.

— Что же делать, а? Ну да ладно. Уж вам отказывать грешно... А есть у вас человек, кто бы мог перегнать машину?

— Да у этого инвалида родной сын — шофер.

— Тогда пусть приезжает и заберет.

Оба вскочили, пожали друг другу руки.

— Как нынче дела в «Искре»?

— Ничего. Снега нынче было много.

— Прекрасно! Значит, есть виды на урожай.

Покончив с делами в конторе, Карабала отправился к стреноженному за поселком коню. Проходя мимо кирпичного дома на отшибе, из которого доносился звон посуды, он вдруг вспомнил, что сегодня еще не ел. Э-э... видно, это и есть та самая чайхана, которую все расхваливает Онбай. Карабала подошел, рванул дверь и услышал крикливый женский голос:

— Все, все!.. Перерыв!.. Приходите в пять!

— До пяти, дорогая, я почти до аула доберусь...

— Ладно. Пусти уж...— донесся за дверью другой голос.— Приезжий, видать. Проголодался.

Он вошел. Сел за первый столик у входа. Пышногрудая официантка тут же подплыла к нему.

— Что закажете, почтенный?

Карабала покосился на ее высокую полуобнаженную грудь, круто выпиравшую в вырез открытого платья, и смущенно отвел глаза.

— Что-нибудь перекусить бы...

— Может, что-либо для аппетита сначала?

— Это, милая, бешеная водица, что ли? Нет, нет... Я ее не очень-то жалую.

Пышногрудая повела плечом и усмехнулась краешком крашеных губ. Вскоре она поставила перед ним пузырившийся борщ в эмалированной тарелке и блюдечко с горстью вареного риса, поверх которого лежали три кусочка не то

легкого, не то печени. Потом, виляя бедрами, направилась в угол зала, где за столиком обедало несколько таких же дебелых женщин в белых халатах. Они о чем-то оживленно перешептывались. Одна из них, широколицая, корявая, что-то сказала, прыснула, захлебнулась с полным ртом, и вслед за ней заколыхались бока у остальных.

Карабала нахмурился и принялся торопливо есть. Борщ был невыносимо кислый и холодный, рис — жесткий, непроваренный. Карабала отчего-то весь взмок. В затылке зачесалось. Он гремел ложкой и ерзал на стуле. Две зеленые жирные мухи назойливо увивались вокруг, трепыхались над ложкой, норовили залезть в рот, жужжали над ухом: «У-у-у... Обж-ж-жор-р-ра... уйми-и-иссь!..»

Больше всего на свете презирал Карабала зеленых мух и разбитных баб, нагло похохатывающих в присутствии мужчин. Впервые он это отчетливо понял еще тогда, когда его вызвали в райвоенкомат. Учреждение как учреждение, ничего не скажешь, все чинно, благородно. Одно только плохо — то, что здоровенных мужиков заставляют стоять в чем мать родила. Томятся мужики при божьем свете в просторной комнате, пропахшей потом, беспомощно озираются вокруг, ладонью прикрывая грех, и тут вдруг заходит к ним, дробно постукивая каблучками, целая стая женщин в белых халатах. Вот и к ним вошла тогда тоненькая смазливая молодка, села за колченогий стол в углу и давай их, растелешенных, одного за другим к себе подзывать. «О аллах! — подумал про себя Карабала.— Как это я, черный неотесанный мужчина, предстану перед этой беленькой прелестной девой?! Чем вынести такой позор, лучше бы сразу погнали в окоп под вражеские пули!..»

А молодка хоть бы что. Будто всю жизнь с голым мужичьем якшается. В упор разглядывает, маленькими ручками в резиновых перчатках затаенных мест касается. Услышав свою фамилию, Карабала вздрогнул, точно молнией его ударило. У него затряслись поджилки, пошатываясь, он кое-как доплелся до стола. Остановился. Сжался. Гусиной кожей покрылся.

— Руку,— небрежно бросила молодка, скользнув по нему взглядом.

— Что?— пролепетал он, холодея.

— Руку, пожалуйста, уберите,— улыбнулась она, обнажив белые ровные зубки.

Он повел кадыком.

— Сестренка... это... неловко ведь... стыдно...

Молодка нахмурилась. И тут, как назло, влетела в окно зеленая муха, покружилась-покружилась над его головой и уселась на плечо, затрепыхала крылышками, засучила лапками. Он повел плечами и так и сяк, головой подергал, пошевелил лопатками — ни в какую. Сидит проклятая муха, будто насмехается. Разозлился Карабала и обеими руками похлестал, пошлепал себя по затылку, по плечу.

Лукавая молодка, пользуясь его замешательством, приникла к нему, осмотрела, что ей надо, и давай что-то записывать на бумаге. Пишет, а сама вся трясется, смех ее душит. Наконец не выдержала, откинула бумагу и перо и захохотала, вытирая слезы. Вслед за ней загоготали и все джигиты, разом забыв и про стыд, и про неловкость.

Хрупкая и смазливая, как райская дева, молодка почудилась тогда Карабале самим Азраилом — ангелом смерти.

И сейчас, прислушиваясь к тому, как в углу за столом похихикивали дородные официантки, он представил, что среди них находится и та — запомнившаяся на всю жизнь — молодка из военкомата.

Поев, он сразу же вскочил и бросился к вешалке. Подхватил под одну мышку шубу, под другую — треух, толкнул дверь. Не успел переступить порог, как женщины, точно вслед ему, дружно и громко расхохотались.

«Вот дуры!— подумалось ему.— Кобылы гладкие! Не чайхана, а обитель дьявола. Царство зеленых мух и игривых баб...»

Но вскоре доброе настроение вернулось к нему. Взобравшись на савраску, оставленную во дворе «Заготскота», и выехав на большак, в стороне которого раскинулся районный центр, он почувствовал вдруг такое приятное облегчение, что помимо воли затянул:

Е-е-е-ей, рыжий мерин!
Девушка с джигитом глубину колодца...

Но тут же спохватился, подосадовав на себя, что непристойными словами чуть не осквернил уста, протяжно зевнул и добавил: «Е-э, аллах... Благодарение тебе за все твои милости!»

Саврасая трусила весело. Видно, тоже радовалась возвращению домой. Карабала прямо восседал в жестком старом седле. Ну что ж, повторял он про себя, и это дело сделано! Напрасно Онбай крыл районное руководство. Дескать, чинодралы. Ничего подобного. Все трое благосклонно выслушали

его. И даже охотно помогли. А двое из них, оказалось, лично его знают. Да и тот, с железным зубом, вроде бы знакомый. Да, да... где-то его видел. Но где? Когда?.. Подожди, подожди... На поминках тещи? Нет, такой на глаза не попадался. На второй свадьбе тестя? Тоже нет. Скорей всего, один из уполномоченных, которые в страдное время косяками приезжают в аул. Разве их всех упомнишь? Да и у них нет к нему дела, кроме того, как — при надобности — что-нибудь в машине подладить. Впрочем... кажется, в позапрошлом году, както ночью заехали двое в газике, покрытом брезентом. Даже не прошли в дом. Спешили, умоляли: «Отец родной, помоги, выручи. Видишь: рессора лопнула». Всю ночь протюкал тогда в кузнице. А на рассвете гости уехали восвояси. Видно, ночной охотой забавлялись. Край брезента был окровавлен и в спешке кое-как затерт зеленой травой. Помнится, один из них, мосластый, щербатый, прямо-таки места себе не находил. Все поторапливал, уговаривал сделать быстрее. Кажется, он самый и был. Просто вставил зуб. Ладно... Как бы там ни было, а дело бедняги Онбая, из-за которого он уже столько времени бьется как рыба об лед, наконец благополучно решилось. Сколько раз этот крикун и задира гонял лошадей в район, какими только словами не ругал тамошнее начальство, и все зазря, без толку. А он, тихоня Карабала, который весь изойдет потом, пока кое-как свяжет два слова, все уладил с первого же захода. И все это, видит аллах, благодаря чудодейственной силе тонюсенькой былинки во рту черепахи. Да, предки знали, знали, что такая былинка сулит удачу. И эта удача выпала Онбаю. Сейчас, когда он увидит документы, у бедняги от радости наверняка сердце зайдется. А потом опомнится, откинет бедовую башку и расхохочется: «Смотри-ка, и ты, тюхтя, оказывается, еще на что-то способен!» Пусть смеется, может, хмурь развеет, может, на душе полегчает. Небось извелась его тоска за зимние долгие месяцы.

Прямо с дороги заехал Карабала к Онбаю. Тот полусидел у стенки на подстилках, обложив себя подушками. В комнате было сумрачно, тихо. Жена и детишки ходили на цыпочках и, казалось, даже не дышали. Словно это были не живые люди, а только тени.

Громко прихлебывая из блюдца, Онбай нетерпеливо покосился на родича, и в глазах его вспыхнули хитрые, злорадные искорки. Он кивком головы пригласил сесть рядом. И когда Карабала, опустившись на одно колено, только открыл было рот, Онбай ядовито усмехнулся:

— Можешь не говорить. Попей сначала чаю.

И, звучно потягивая крутой чай, нервно пошевелил усами.

Карабала тоже отхлебнул из пиалы, но глоток застрял в горле.

Онбай допил, перевернул чашку, откинулся на подушку, натянул на грудь сползавшее полосатое одеяло.

— Ну, как съездил? Начальники живы-здоровы?— спросил он с ехидцей.

— Слава всевышнему.

— Тебя, полагаю, с распростертыми объятиями встретили?

— Да. Встретили неплохо.

Онбай вскинул бровь. Щепотку насыбая поднес к губам и тут же отвел руку.

— Что сказал этот, с железным зубом?

— Подготовил все бумаги.

Злорадная искорка в глазах Онбая на миг потухла. Однако бровь удивленно застыла на лбу.

— А к гордецу этому тощему заходил?

— Заходил.

— Небось мычал, как корова при отеле?

— Да нет.

Онбай приподнялся на локтях, пронзительно уставился на родича, как бы спрашивая: «Слушай, что ты здесь мелешь?!»

— А тот, верблюд? Прибедняться, наверное, начал? Сиротой прикинулся?

— Сказал: на базе имеются три машины. Пусть, говорит, одну возьмет. Вот документ.

Онбай осторожно развернул бумагу. Достал из-под изголовья очки и принялся не торопясь читать. Потом повертел бумагу и так и сяк. Покачал головой. Фыркнул. И опять на лице его застыла кривая усмешка.

— У этих нечестивцев, бывало, зимой снега не выпросишь. С чего бы это они так расщедрились вдруг?!

Огромная тяжесть будто свалилась с плеч Карабалы. С радости хотел было рассказать о травинке во рту черепахи, о соломинке удачи, но тут же раздумал, осекся, заметив, как вдруг побагровело, вздулось, пошло пятнами измученное хворью и тоской лицо Онбая.

Никому в доме не было дела до радостной вести, доставленной Карабалой из района. Все только с недоумением и затаенным страхом смотрели на хозяина дома.

А Онбай вдруг схватился за культю, скрипнул зубами, точно от боли, и медленно повалился на подушку. Лицо его

исказилось, побледнело. Скулы обострились. Желваки взбугрились. Сказал через силу, глухо:

— Ладно. Спасибо. Можешь идти домой.

Карабала встал. Нахлобучил треух. Взял камчу. У входа быстро обернулся. Онбай не шелохнулся. Лицо его словно окаменело. Гневная, злорадная ухмылка застыла в правом углу губ.

Выйдя на улицу, Карабала сунул руку за пазуху, чтобы удостовериться, на месте ли соломинка удачи. И только тогда вспомнил про рецепт. Ведя саврасую под уздцы, шел он к своему дому на краю аула. Ему показалось, что идет он слишком долго. Видать, верно сказано, что в темноте дорога удлиняется. Вроде бы под боком дом, а никак не доберется.

Карабала испытывал досаду оттого, что в суматохе забыл купить жене лекарство.

1979

БАЛЛАДА ЗАБЫТЫХ ЛЕТ

1

Нет ей конца-края, раскаленной от сухого жара равнине. И не за что зацепиться взору — ни холмика, ни бугорка. Лишь на севере, у самого горизонта, темнеет в миражном мареве курган. Из аула виден его прямой, как копье, склон с застывшей на вершине фигурой дозорного. Будто не природа, а людские руки вылепили этот курган, дерзко нарушивший унылое однообразие степи. Вокруг все сонно, недвижно. Долгоногим поджарым верблюжатам надоело жалобно реветь — все равно никто не замечает, и они примолкли в тени.

Прислонившись спинами к зыбким стенам юрты, плотным кольцом замерли туркмены в лохматых поярковых папахах. Кисловатая вонь конского пота и мочи, смешавшись с терпким запахом высохшей травы, доносится из степи, щекочет ноздри. Изредка мужчины обмениваются молчаливыми, затуманенными сном взглядами. И никто не дотронется до пузатого расписного кумгана с чаем. Клонятся головы под тяжестью папах.

Только один, с темным сухим лицом, раздвоенной бородой и колючими кустистыми бровями, сидит, напружинившись, расправив крутую грудь, не мигая уставившись в клочок неба, синеющий сквозь решетку юрты. По левую руку от него седой старик в белой папахе многозначительно закивал в ответ на свои мысли и стал перекатывать ягоды джиды на расстеленной козлиной шкуре. Обладатель раздвоенной бороды мельком покосился на него.

Вдруг вздрогнул сидевший в стороне тонкий молодой туркмен в просторном полосатом чапане. Маленькими, настороженно выжидающими глазами он с утра сквозь решетку ощупывал склон кургана, всякий раз задерживаясь на фигуре дозорного.

Как по сигналу вскочили туркмены. Повернулись к темнолицему с раздвоенной бородой. Тот, не вставая, спо-

койно встретил их взгляды и чуть наклонился к нижним перекладинам решетки.

На восток от кургана обозначились точки. Они слабо прорисовывались на фоне неба и казались почти неподвижными.

Но караульный не подавал знаков, и человек с раздвоенной бородой снова выпрямился. А папахи снова сели, снова отдались дреме.

Черные точки все ближе. Уже не точки — люди. И не составляет труда разглядеть обращенных в рабство казахов.

Они в плену с прошлого лета, когда этот с раздвоенной бородой совершил набег на аул родственников Дюймкары и пригнал добрую добычу — шесть девушек и шестерых юношей казахов.

Юноши и девушки собственность того, кто их захватил. Он собрал односельчан и сказал свое слово-приказ. Чаще всего он не говорил — приказывал.

Пусть Аннадурды не мешкая скачет к Мамбетпане. И пусть Мамбетпана за смелый набег и за шесть рабынь даст верблюжонка от белой верблюдицы, что досталась при походе на Хорезм. Верблюжонка он заколет на могиле погибшего брата. Он так отомстит адайцам, что кровь застынет в их жилах. Справит такие поминки, каких не видывали люди.

Аннадурды все сделал как велено. Еще не угас день, а он пригнал белого верблюжонка-одногодку. Верблюжонок был в теле. Его пустили на луг, где зеленела не знавшая копыт трава. До самого рассвета стерегли его три конных джигита.

А девушки, одна к одной, краса и отрада адайцев, остались в ауле Мамбетпаны. Увидев их, краснощеких да черноглазых, кичливые джигиты едва не лишились рассудка, не передрались между собой и до сей поры, поговаривают, не поделили пленивших их пленниц...

Целый месяц, не тая нетерпения, ждал аул поминок. И наконец дождался.

Ранним утром два всадника погнали верблюжонка на могилу Кёк-боре. Белые шелковистые лохмы развевались на тонко изогнутой шее. Верблюжонок беспечно трусил в такт иноходцам, а те, не отставая, не забегая, шагали по бокам.

Но это лишь голова колонны. Дальше на двух тощих верблюдах без седел тащились молодые пленные казахи. Они ни о чем не догадывались, с недоумением и испугом озирались на хмурых всадников в высоких папахах.

Под всадниками легкие аргамаки, не слышна их поступь. За аргамаками величественно переставляют ноги черные дромадеры, равномерно, в такт шагам покачивая ашамаями — деревянными седлами, покрытыми коврами.

Растерянны пленные, торжественны всадники. Не перекинутся словом. Безучастно молчит небо — чистое, вымытое утренним солнцем, да так, что не осталось ни облачка.

Пленники прислушиваются к перестуку копыт, поглядывают на тонкие мучнистые струйки пыли. Впереди белым пятном мелькают налитые горбы верблюжонка.

Остановка подле зарослей черной полыни. В зарослях едва приметный холмик. Если не знаешь, пройдешь мимо. Однако как раз сюда шли верблюды и скакали кони, везли джигитов и пленников.

Недолга дорога, но вконец измучились пленные. Затекли связанные, до крови натертые ремнями руки и ноги. Мучительно сидеть на остром как нож хребте верблюда. Верблюжий пот растравляет раны, вызывая нестерпимый зуд.

Но туркмены пока что не собирались развязывать ремни и веревки, снимать пленных. Они спешились у одинокой могилы, окружили ее, преклонив колени. Повторяя строки корана, держали перед собой загрубевшие ладони и проводили ими по лицу. Угас огонь в пылающих глазах. Умиротворение нисходило на грозное воинство. В тишине глухо и монотонно причитал мулла.

Кончилась молитва. Все разом вскочили, зашумели, заколготились, принялись стряхивать с колен белую пыль.

Несколько джигитов подвели белого верблюжонка к углу могильного холмика. Мулла, деловито поправив чалму, выступил снова вперед и одним духом прочел коротенькую суру из корана.

Толпа вновь рухнула на колени, раскинув руки и обратив лица к небу, молила всевышнего принять священную жертву.

Пятеро джигитов, закатав рукава, свалили белого верблюжонка и, не дав издать стона, разделались с ним.

Все свершалось быстро, с каким-то привычным исступлением. Вырыты ямы, над ними укреплены котлы, налита привезенная в дубовых кадках вода. В ямах разложен огонь. Запах сочной, еще не утратившей влаги травы плывет над утренней степью. Густые кольца бурого дыма тянутся к пробуждающемуся небу.

Пленникам все в диковинку. Забыв про горькую долю и зудящие раны, они с мальчишеской любознательностью глазеют вокруг. Вон оно как туркмены справляют поминки.

Ни тебе раздолья, ни шумной суеты. Не раздастся звонкий смех, не вспыхнет спор, не разразится скандал. И песен не слышно, и переборы домбры не звучат... Чужой народ, нравы чужие. Не видно разгоряченных джигитов и подростков, кружащихся вокруг стайки девушек и молодок, стянутых в талии кумачовыми поясами. Ни одной юрты на месте поминок. Чистокровные аргамаки томятся на привязи. Куда ни глянешь, отрешенные лица. Мужчины не расстаются с кинжалами и саблями. Зачем они им сейчас? Или боятся, что дома украдут?

Долго ли варить мясо годовалого верблюжонка? Окутанные паром куски уже на плоских деревянных подносах. А вот уже и пусты подносы.

Опять молитва, опять коран.

Теперь наступил черед пленных. Их выволокли на середину круга. Каждого схватили под руки два туркмена. Подошли еще шестеро с обнаженными кинжалами. Рукава засучены, как тогда, когда свежевали белого верблюжонка.

Пленным уже не до воспоминаний, не до сравнений. В устремленных на кинжалы глазах — страх, мольба. Бледные лица туркмен окаменели в хмурой решимости. Из глаз ушло все живое, оставив жестокую пустоту.

Шестеро с кинжалами склонились над связанными юношами. Те мертвенно побледнели, сжались.

Но первый удар наносился не кинжалом, а ножнами. Резко, чуть ниже затылка. Он унял дрожь. Шеи напряглись. В жилах под челюстью отрывисто бился пульс.

Пленники сидели согнувшись на корточках. Джигиты, схватив за уши, прижали их головы к земле. Ее теплое дыхание вошло в легкие. И каждый подумал — конец.

Но ошибся. На зажатые меж колен головы потекла из кумганов холодная вода. Вместе с ней вернулась надежда. Жесткие чужие пальцы терли, растирали мокрые волосы, виски, затылки.

Закончив странное занятие, джигиты на мгновение выпустили из рук пленных. За это мгновение те заметили плотную толпу, поднимавшееся в зенит солнце, ослепительно сверкнувшие кинжалы.

Туркмены вдруг зашумели, мстительные крики огласили степь. О чем спор, пленным не понять. Но они ясно видели направленные на них глаза, руки, кинжалы.

Толпа затихла так же неожиданно, как подняла шум. Тишину нарушал равномерный, леденящий сердце звук: жик-жик, жик-жик. Шесть кинжалов методично шуршали

о голенища сапог. Когда этот звук оборвался, на смену ему пришел сухой треск. Не успев опомниться, пленные голыми затылками почувствовали палящую силу солнца. Космы черных волос валялись в пыли.

Джигиты с кинжалами были не палачами, а всего лишь цирюльниками. Они вытерли о широкие рукава кинжалы, сунули их в ножны и отошли в сторону с сознанием исполненного долга.

Пленные застыли на коленях, с каждой секундой все сильнее изнемогая от беспощадно сжигающих лучей.

Если б молодые казахи могли спокойно осмотреться, они увидели бы, что не все туркмены поглощены созерцанием голых затылков. Иные деловито кромсают шкуру верблюжонка. Закончив, они передали куски двум почтенным старикам, сидевшим на отшибе. Старики опустили куски в деревянную посудину и принялись усердно мять.

Там, где еще недавно лежал ясноглазый шелковистый верблюжонок с двумя задорно торчащими горбами, валялись окровавленные кишки — все, что от него осталось.

Юноши ничего этого не видели. Так же, как и хмурого старика с бородой, двумя клиньями падавшей на грудь.

Пришел час назвать его имя — Жонеут. И просить читателя запомнить это имя. Ибо Жонеут пройдет пешком, промчится вскачь сквозь всю мою балладу. А когда в терзаниях испустит дух, я закончу свой сказ.

Но сейчас он крепок, не тронь седина раздвоенной бороды, я бы не отважился назвать его стариком. Его мускулистые ноги уверенно попирают землю, жилистые руки скрещены на груди, ястребино зоркие глаза пылают ненавистью. Мести жаждут душа, руки. Ради мести ноги готовы без устали шагать по пустыням. Месть привела его сегодня к этому холмику, затерявшемуся в полыни.

Под холмиком вечным сном спит его младший брат Кёкборе. О, это был бесстрашный воин! Вся его жизнь — набеги, набеги, набеги. Не оказывалось спутников, он вскакивал на аргамака и один мчался на врага, один угонял чужие табуны.

Он славился и внушал страх своей волчьей повадкой. Не зря казахи назвали его Кёк-боре — «лютый волк». И соплеменники согласились с кличкой, забыв его имя Дурды, данное муллой.

Он и вправду был волком — свирепым, матерым. Его сердце веселила лишь опасность. Он был по-звериному жесток. А был ли он умен?

Трудно ответить. Слишком легко поддавался на лесть.

«Разве сравнишь с тобой твоего братца? — нашептывали Кёк-боре подхалимы.— Разве можно его считать батыром подле тебя?»

Кёк-боре хмелел от самодовольства. Сладкие речи погнали его и в тот злосчастный поход, откуда нашлась лишь одна дорога — к предкам.

В минувшие времена казахи потеснили туркмен не только с верховьев Устюрта и низовьев Мангышлака, они захватили их исконные пастбища Карын-Жарык, Ак-Сорка, Удек и загнали на бесплодное, открытое солнцу и ветрам плато.

Богатому роду Мамбетпаны негде было пасти стада. Да и всем туркменам приходилось несладко. Дутары заладили печальный «Айладыр», бахши горестно вспоминали тучные долины Мангышлака.

Вечерами, когда дыхание приближавшейся ночи побеждало жар и разгоняло мираж, на севере проступали отточенные пики Карадага. Пока не наступал мрак, туркмены сидели на коврах и смотрели, смотрели в сторону, где жили когда-то их отцы, деды, прадеды.

Не только людей, но и скот неудержимо тянуло в заветные края, на щедрые пастбища. Не зная отдыха, в бурю ли, в проливной дождь мужчины сторожили лошадей, а те все же уходили косяками к врагу. Стоило отлучиться, верблюды крупной рысью мчались в привычные места. Только больные и хилые хранили верность хозяевам.

Лица под папахами темнели от крови, от злобы темнели глаза. Кинь кто-нибудь в такой час: «По коням!» повторять клич не пришлось бы.

Но клич не раздавался. В походах и набегах ослабел народ, дорогой ценой оплачивал каждую вылазку. Сколько их, безвестных смельчаков, полегло на курганах близ казахских аулов! Сколько траченных молью папах пылится в юртах, напоминая о батырах, которым папахи уже ни к чему! Сколько брошенных в степи могил!..

Не однажды Мамбетпана подступал к Жонеуту со слезной просьбой: «Помоги! Отомсти! Верни скот!» Мамбетпана был слишком богат, чтобы рисковать собственной жизнью. Он уступал это право другим, и однажды Жонеут, не признававший околичностей, бросил ему: «У тебя родичей что муравьев в муравейнике. Кто мешает тебе снарядить своих джигитов?..»

Важный гость не нашелся. Он с достоинством крутил в руке тяжелую плеть, пыхтел и молчал, тая обиду

От Жонеута Мамбетпана отправился к Кёк-боре. А тот вспыхнул с полуслова и не заставил себя упрашивать.

Много врагов имел Мамбетпана среди казахов, но самый опасный — Дюимкара. Как смерч, налетал он на табуны и стада, как ветер, скрывался от погони, оставляя после себя облака пыли да легенды. Были и небылицы рассказывали о нем и казахи и туркмены.

В первую брачную ночь, если верить легенде, на аул молодой жены Дюимкары напали барымтачи и угнали скот. Услышав крики, Дюимкара вырвался из жарких объятий и в чем мать родила вскочил на коня. Всю ночь скакал он, не давая передышки ни себе, ни коню. Едва забрезжила заря, догнал барымтачей. Увидев в предрассветном сумраке обнаженного всадника, они смертельно перепугались — то ли сатана это, то ли человек — и пустились наутек. На обратном пути Дюимкара встретил табунщика, попросил у него чапан и, гоня впереди скот, победителем въехал в аул тестя.

Дюимкара был могуч, как здоровый верблюд, густая шерсть курчавилась на его мускулистой груди. Голым по пояс мчался он на врага. Его издали узнавали люди и кони, тем и другим внушал он страх. Туркменские аргамаки бежали от него, как от волчьей стаи.

Многие туркмены точили на него зуб. Но если сказать правду, то и соплеменники не знали из-за него покоя и жили в вечной тревоге.

Жонеут еще бегал босиком, когда старейшины обеих сторон вознамерились покончить с изнурительными распрями. Если кипит война, всем ведомо, гибнет больше джигитов, чем удается отбить лошадей. Дедушка Жонеута взял внука с собой на переговоры. Цепкая память на годы сохранила подробности этих переговоров у могилы святого Карамана.

Народу собралось видимо-невидимо. Всех измучили долголетние набеги. Но кто признается в этом врагу? Каждый хорохорился, бросал надменные взгляды, лениво цедил сквозь зубы.

Среди туркмен первым был Жума. Он важно восседал на сивом аргамаке. Его сопровождал тонкий, как тростинка, подросток. Кто бы взялся предсказать, что этот щуплый мальчуган вымахает в здоровенного, заплывшего салом Мамбетпану. Только зеленые глазки напоминают о некогда тощем подростке.

Хотя стороны собрались ради мира, переговоры начались с ссоры — надо же для почина прищучить недруга.

Спесивый Жума, не меняя позы, небрежно кивнул на огромный, почерневший от времени могильный камень, высившийся в священном для мусульман юго-западном углу кладбища. Этот кивок следовало понимать так: «Вон видите камень? Кто, по-вашему, установил его?»

Головы повернулись к могильной плите. Но годы и ветры стерли с нее надпись.

Однако старейший казахского рода адай тоже был непрост. Он указал на заросший хной обломок, что торчал из старой, провалившейся могилы.

Жума недоверчиво прищурился, сперва глянул на казахов, потом на камень и властным жестом послал к нему старика и юношу из своей свиты. Они придирчиво осмотрели обломок, тщетно пытаясь что-либо на нем разглядеть.

Тогда старший адаец послал к обломку своего человека. Тот ловко очистил от хны юную грань камня и показал на едва заметное тавро казахского рода алшин.

Старику туркмену ничего не осталось, как растерянным кивком подтвердить это.

Бурное волнение поднялось в толпе. Адайцы ликовали, туркмены сокрушенно покачивали головами.

Жума рассчитывал ошарашить казахов: глядите, мол, этой землей издавна владели предки туркмен. А все обернулось наоборот. Адайцы доказали, что древний род алшин обосновался здесь еще раньше.

Но предки предками, а упрямство упрямством. У каждой стороны длиннейший перечень обид.

Туркмены обвиняли казахов: вы не только захватили наши земли, но постоянно угоняете наш скот, насилуете девушек, из-за вас наши аулы не знают покоя ни днем ни ночью.

Казахи не оставались в долгу. Они напомнили о временах, когда на них напали чужие по языку и вере джунгары. Казахи надеялись найти приют и защиту у братьев туркмен. Но не тут-то было. Их встретила не братская рука, а мечи и копья.

Постепенно список взаимных упреков и обид иссяк, ссора начала выдыхаться. Более разумные ораторы перестали подливать масла в огонь и пытались обходить задевавшие друг друга острые углы.

Могилы — удел предков. Чьи только могилы не попадаются в степи. Зачем их тревожить? С давних времен здесь

обитают многие племена. А разве ныне на просторах от Каспия до Аральска, от Сагиза до Карабугаза не хватит места для мирной, бок о бок, жизни казахов и туркмен?!

Долго еще длились разговоры. Когда они подошли к концу, старейшины обеих сторон поднялись на гору, где в пещере под скалой покоился прах святого Карамана. Тут дали они клятву положить конец вражде, жить, как подобает братьям, в мире и согласии.

Но идут годы, течет вода, размывая старые клятвы. Мальчишки, которые тогда стерегли коней, стали мужами. Иным из них мир показался обузой. Давние зароки потеряли для них силу. Новые времена, считали они, жаждут новой крови. И Мамбетпана — живой свидетель клятвы и перемирия — распалял такие разговоры. Влиятельный мулла пустил слушок, будто казахи добились мира хитростью — ведь враг если и добивается чего-нибудь, то не иначе как с помощью лукавого,— что адайцы обманом спаслись от кары святого Карамана, но от расплаты им никуда не деться. Слушок превратился в слух. Его подхватил Мамбетпана. Зловещий призыв «Кровь за кровь, око за око!» покатился по аулам.

И началось. Байские прихвостни угоняли мирные табуны адайцев, совершали набеги на соседей. Ну а адайцы, известно, обид не прощают.

Трещали головы под ударами дубинок, реками лилась кровь, разжигая ненасытную жажду мести.

Однако теперь не бились, как прежде, сходясь в частном противоборстве. Предпочитали нападать из-за угла, доблестью почиталось убийство одиноких и беззащитных. Сперва угоняли лошадей, потом избивали табунщиков, потом, подкараулив, рубили головы батырам. Не довольствуясь этим, для пущего унижения недруга оскверняли могилы предков.

Все новые и новые джигиты ввязывались в бой.

Жонеут крепился, не желая влезать в свару. Но и он не удержался, захлестнутый волной ненависти, оседлал коня...

Немалая сила заключена в слове. Ему дано тушить страсти и воспламенять вражду. Но коль в ссору уже вмешалось копье, доброе слово блекнет, теряя мощь. Лишь мудрецу доступно гасить пожар людской злобы и предвзятости, раздуть его способен каждый. Что ни день рождаются глупцы, в кой-то век появляется мудрец, и еще неизвестно, послушается ли его народ или пойдет за воин-

ственными горлопанами. Потому не ломай понапрасну голову, решай просто: угрожают тебе, угрожай и ты; уничтожают тебя, уничтожай и ты. И да будут прокляты умники, зовущие к миру, когда враг брящает оружием.

Так рассуждал Жонеут, укрепляясь в сознании своей правоты. Если же он решил, что прав, его не удержать. И не удержать его лихого коня.

Дюнмкара тоже не таков, чтобы сидеть сложа руки, когда они тянутся к кинжалу. Ему теперь мало чужих скакунов, он норовит оскорбить ненавистных соседей. Злым вихрем влетает он в аулы. Властны его распоряжения.

Случилось Жонеуту заехать в большой аул, раскинувший юрты на склонах увала. Все жители толпились на улице. Женщины вопили в голос, рвали на себе волосы.

Жонеут спросил, что происходит, какая обрушилась беда. Его повели за околицу. Там на площадке, вытоптанной овцами, бились в пыли девушки. Их было, может быть, двадцать, а может быть, больше, в изодранных платьях, с расцарапанными лицами.

Жонеут молчал и слушал.

Лишь раз в году, в день курбан-айта, туркмены позволяют себе вдоволь повеселиться. Когда наступил этот день, мужчины отправились к Мамбетпане. Их ждали скачки, борьба. Девушки, оставшись одни, не скучали. Они затеяли веселые игры, качались на качелях, пели песни.

Этим днем радости и воспользовался Дюнмкара. Забыв божеские установления и людские, он налетел на беззащитный аул. Джигиты на скаку обрезали веревки качелей, избивали женщин, а девушек и молодок погнали за околицу, где обычно пасутся овцы. Натешившись вдоволь, всадники связали девушкам руки и ноги, задрали на головы подолы и засыпали горячей золой обнаженные тела.

Опозоренными, раздавленными застали мужчины своих дочерей, сестер, невест. Не сразу обрели они дар речи.

Молчал Жонеут, думал о своем народе. Смириться с позором и бесчестием? Тогда зачем жить?

Он еще не знал, как поступит, что сделает. Он повернул коня на север и забылся в бешеной скачке. Опомнившись, услышал позади топот. Мужчины злосчастного аула мчались следом за ним.

С того дня он не расседлывал коня, мысли о мире больше не шли ему на ум.

Не шли они на ум и Дюимкаре. Он не знал предела в жестокости и дерзости.

Минувшим летом — какой всадник догонит время! — он погнался за горсткой туркмен, позарившихся на его скот. Увлеченный погоней, не заметил, как доскакал до самой Какпакты. А поняв, что забрался далеко от дома, отважился заночевать в одинокой юрте туркмена, лепившейся у подножия холма. На что он надеялся, доверившись кровному врагу? На мусульманский обычай гостеприимства, на простосердечие хозяина, который не осмелится поднять руку на батыра?

Крепко спит Дюимкара. Но хозяину одинокой юрты не до сна. Жидкой смолой он залил ножны кинжала Дюимкары.

Жена в ужасе бросилась к мужу:

— Что ты творишь, безумный! Хоть собака, однако твой гость.

Хозяин оттолкнул жену, не удостоив ее словом.

Спит Дюимкара, а гонец во весь опор мчится к Мамбетпане, Мамбетпана зовет Кёк-боре...

2

Вот какие путаные, издалека тянувшиеся дороги привели Жонеута в то ясное утро на могилу брата. Вот что вспоминает он, глядя на застывших в страхе юных пленников с обритыми головами.

Могильный холм прижался к земле, казалось, притаился за разросшейся полынью. Не холм, а так, холмик.

Жонеут не спеша переводит взгляд. Там, где только что лежала шкура белого верблюжонка, теперь темная лужица крови вокруг сизых внутренностей. Взгляд Жонеута скользнул по кучке именитых и богатых. Даже в толпе они умеют обособиться. Мулла, зажав в кулаке кончик шелковой чалмы, благоговейно бормочет что-то бесконечное, нагоняющее на всех сон.

Только Мамбетпана держится прямо, с надменным вызовом. Его папаха откинута назад, вперед выставлен мощный подбородок, рассеченный двумя глубокими складками. Лицо лоснится от жира и спеси.

С Кёк-боре он держался не столь надменно, совсем даже доступно. Что зря говорить, Мамбетпана высокомерен с теми,

кто ему перечит. Полная заносчивости поза выбрана сегодня ради Жонеута.

С покладистыми и покорными Мамбетпана добродушен, приветлив, щедр. Жонеут отлично помнит: как с другом и братом беседовал Мамбетпана с Кёк-боре. Морщинистый лоб его разглаживался, речь делалась сладкой. Слова цеплялись одно за другое, приятно округлые, ласковые. Такие растопят любое сердце.

Жонеут представляет себе последний разговор Мамбетпаны с Кёк-боре.

«Ну, Кёк-боре,— расплывается в радушной улыбке Мамбетпана,— грянул час твоей славы. Твоей и только твоей. Народ ждет от тебя доблести. Ждет, что ты отомстишь наглому батыру адайцев за все наши беды».

Он разглагольствовал о народе, о предках, о мести. Но молчал о своих интересах. Мамбетпана любит выглядеть благородным, любит порадеть за людей. У него достало хитрости умолчать о том, что кинжал Дюимкары залит смолой. Кёк-боре был слишком самолюбив, чтобы вступить в поединок на неравных условиях.

...Всласть выспавшись и напившись чаю в одинокой юрте, Дюимкара отправился в путь. Подъезжая сюда, к заброшенному кладбищу, он заметил позади столб пыли.

До мелочей известна Жонеуту эта сцена — так, словно был свидетелем. Не раз он вызывал ее в своем воображении.

Дюимкара резко остановил вороного жеребца. Дал преследователю приблизиться. Узнав его, не спеша слез с коня, расстегнул штаны и присел справлять нужду.

Сивый аргамак Кёк-боре, гарцуя и роняя пену, остановился за спиной Дюимкары.

— А ну вставай! — нетерпеливо крикнул Кёк-боре.

Дюимкара и не подумал спешить. Ручкой камчи выковырял комок земли, поглядел на него, вырвал траву и задумчиво поднес к заду. Так же медленно выпрямился, долго возился со шнурками штанов и только потом с деланной наивностью поинтересовался, что, дескать, угодно путнику.

Жеребцы мотали головами, прядали ушами, предчувствуя схватку. Кёк-боре била дрожь негодования, он был вне себя от неслыханного унижения. Он выхватил кинжал, и лезвие блеснуло на солнце.

Дюимкара же хранил невозмутимое спокойствие: сдул пылинку с рукава, вытер руку о штанину, потихоньку направился к коню.

— Готовься! — с трудом сдерживал нетерпение Кёк-боре.

— Как будет угодно,— миролюбиво согласился Дюимкара.

— Кинжалы...

— Да будет по-твоему.

Для аргамаков поединки были не внове, они отскочили в стороны.

— Сейчас я,— Кёк-боре, задыхаясь, подбирал слова,— раскваша твой казахский чугунок...

— Ну, ну, щенок, не ерепенься. Я тебя проучу на всю жизнь,— презрительно посулил Дюимкара.

Батыры ощетинились, испытующе оглядывая друг друга.

Дюимкара как влитой сидел на своем жеребце и сохранял спокойствие.

Кёк-боре не владел собой, но азарт не мешал ему выжидать, ловить момент атаки. Не зря же ему сопутствовала слава бесстрашного волка.

Кругом голая степь, ей нет ни конца, ни края. Ни души поблизости. Некому крикнуть батырам: «Остановитесь, вы люди, а не звери. Вы принесли людям много бед. Но если сейчас падет один из вас, то вовсе не окончится счет несчастьям. Напротив, они будут преумножаться кровавой местью изо дня в день, из года в год...»

Пусто вокруг. Вспугнутый жаворонок метнулся от одного всадника к другому и исчез в бездонной голубизне.

Неподалеку настороженно пробирался к водопою косяк косуль. Заметив приплясывающих коней, косули шарахнулись в сторону.

Однако соперников ничто уже не касалось. Они поглощены ненавистью. Пора разговоров миновала. Говорили скрестившиеся взгляды, набухшие желваки, обострившиеся скулы.

Круто взмыл сивый аргамак Кёк-боре. Булат со свистом рассек воздух. Вороной пригнулся и отпрянул.

Кёк-боре надвинул на глаза мохнатую папаху и снова изготовился к броску.

Лишь теперь Дюимкара схватился за рукоятку кинжала. В чем дело? Всегда одним рывком выхватывал кинжал. А сейчас — будь он неладен — кинжал не поддается. Не спуская глаз с противника, Дюимкара дернул еще раз. И опять тщетно.

В горле батыра сделалось сухо и горько.

Не раздумывя, Дюимкара отстегнул ножны и замахнулся ими над самыми ушами сивого аргамака. Кровь вступила в виски, сотни разноцветных шариков — белых, черных,

красных — промелькнули, кружась, перед глазами Дюймкары.

Раздался треск, мелькнули две молнии. Опустив ножны, Дюймкара проследил их падение. Обе половинки кинжала Кёк-боре валялись в траве. Всадники покосились на них и двинулись друг на друга. Кони, храпя, крутили мордами. Лязгнули, сцепившись, стремена. Кинжалы и камчи уже ни к чему. В мертвой хватке замерли батыры. Каждый норовит свалить противника. Под тяжестью ноши дрожат аргамаки. Уж не задумали ли хозяева вдавить коней в землю?

Как клещи, сплелись джигиты. От треска рвавшейся одежды, от хрипа, надсадного дыхания, от лязга зубов и удушливого человеческого пота слабели жеребцы. Но люди ничего не замечали, поглощенные свирепым столкновением.

Сивый аргамак взвился на дыбы. Визгливое ржание разнеслось по степи. Опустив копыта, аргамак почувствовал неожиданную легкость.

Батыры барахтались на земле, не разберешь, где кто. Неподалеку в траве поблескивает обломок кинжала. Манит к себе борющихся. Их руки тянутся к нему. Но не могут дотянуться. Острый обломок блестит на солнце.

Когда сивый жеребец снова склонил голову, он увидел, что верзила с обнаженной, заросшей черными волосами грудью одолел его хозяина, сопя, взгромоздился на него. В руках победителя сверкал обломок кинжала. Но он не спешил пустить его в ход. Он уже успел обрезанным поводом связать руки Кёк-боре, а теперь норовил еще и ноги.

Охваченный отчаянием, звал на помощь Кёк-боре. Дюймкара, не обращая внимания на крики, смахивал со лба пот и деловито орудовал ремнем.

Сивый аргамак, выпучив глаза, кружился поодаль, боясь приблизиться к связанному, распластанному на землю хозяину, на котором восседал свирепый Дюймкара.

Он что-то искал, не находил. Наконец его взгляд замер на черневшей неподалеку куче камней, покрытых хной.

Лишь теперь он сообразил, что рядом старое кладбище. Встал со своей жертвы, тяжело покачиваясь, направился к камням. Возле них зияла заброшенная могила. На дне ее лежали кости и пожелтевший череп — шакалы потрудились на славу.

Дюймкара долго стоял у ямы, почесывал ручкой камчи волосатую грудь. Недобрые мысли ворочались в его голове.

Он не сразу поддался им. Но, поддавшись, решительно зашагал к связанному врагу и грозно рявкнул на него.

Предчувствуя мучительный конец, Кёк-боре закричал на всю степь. В этом крике была мольба, прощание с надеждой, прощание с жизнью. Но крик пролетел мимо ушей Дюимкары, не коснувшись их.

Как куль, поволок Дюимкара недруга по земле. Возле могилы остановился, набрал в легкие свежего воздуха, пагнулся, рывком поднял Кёк-боре и бросил на дно ямы. Вопль, донесшийся оттуда, смешался с пылью. И развеялся вместе с пылью.

Окровавленный, ничего не слыша и не понимая, Дюимкара сваливал в яму камни...

Сивый жеребец с диким ржанием метнулся к могиле, взвился на дыбы и припустился рысью. Гулкий топот разнесся по притихшей равнине.

Когда аргамак с пустым сползшим набок седлом вернулся в аул, заждавшиеся поняли: с батыром стряслась беда. Мужчины, оседлав коней, отправились на поиски.

На следующий день всадники вместе с Жонеутом наткнулись на старую, всеми забытую могилу. Над ней гудящим роем кружили зеленые мухи.

Всадники спешились и, терзаемые мрачными предчувствиями, подошли к яме.

На дне ее лежал Кёк-боре. Его грудь придавил тяжелый камень, тело было засыпано землей. По перекошенному в последней муке лицу неторопливо ползали жирные мухи.

Неподалеку в траве поблескивал на солнце обломок знакомого кинжала.

Тогда-то Жонеут дал себе клятву мстить. Неутомимо мстить Дюимкаре, всем его потомкам. Он еще не знал, какой будет месть, но уже жил ею.

...Снова стоит он у этой могилы. Путаные, сочащиеся кровью дороги привели его сюда. Он знает свой долг и не отступится от него.

Жонеут вырвался из плена воспоминаний.

Старики кончили священнодействовать над шкурой белого верблюжонка. Куски ее передали мужчинам, стоящим с засученными рукавами возле шестерых пленников. Теплые влажные куски шкуры легли на бритые головы. Юноши не могли взять в толк, зачем это делают. И ничего не могли прочитать на замкнутых лицах туркмен.

Перебирая пальцами, мужчины разгладили края шкурок, как обручем, схватили их сыромятными ремнями. Головы

юношей будто налились свинцом, в висках тупо заныло.

Пленников посадили на плоскогорбых верблюдов. Всадники сели на своих лошадей. Кавалькада, окутавшись пылью, растянулась по равнине.

Пот заливал глаза пленных. Но вытереть его они не могли — были связаны руки. Головы раскалывались от туманившей разум боли.

Солнце, достигнув зенита, плавило воздух. Он трепетно дрожал, искажая очертания темневших вдали бугров. Стоило к ним приблизиться, бугры оборачивались чахлым кустарником.

Томимые жестоким любопытством, всадники сбились вокруг пленных. Те уже ничего не видели. Пот разъедал ссадины. Не оставалось на теле места, которое не кричало бы от боли. Солнце сушило влажные шкурки. Сокращаясь, они стягивали череп. Казалось, он вот-вот треснет.

Пленные дергались, скрежетали зубами, гримасы боли искажали молодые, залитые слезами лица.

Всадники замедлили шаг. С нескрываемым удовольствием разглядывали они пленных. Чем безумнее были крики, тем большая радость охватывала джигитов. Они могли спокойно возвращаться в аул. Впереди скакал Жонеут. Чувство, которое он испытывал, вернее было бы считать удовлетворением, а не торжеством. Всего лишь удовлетворением. Оно утоляло его душу, истомленную мечтой о мести.

Возле пленных осталось двое пожилых туркмен. Им надлежало сторожить и слушать стоны.

Целую неделю выли в степи и корчились от боли юноши. Потом боль угасла. Волосы не могли пробить толстую, задубевшую шкуру и росли внутрь. Все глубже и глубже. По мере их роста пленные забывали, кто они, откуда родом, лишались дара речи. Они превратились в юродивых, уравнявшись умом с животными. Днем они бродили вместе с верблюдами, а вечерами вместе с верблюдами плелись в аул.

Жонеут приказал двух пленных отправить к адайцам — да будет им известно, во что превратились их сородичи.

Четверых оставил при себе: пасти скот, носить воду, собирать кизяк.

В день, который дал начало моей балладе, юродивые, как обычно, собрав кизяк, возвращались в аул. Их приход не нарушил установившегося течения жизни.

На вершине кургана, словно на годы вбитый кол, вытянулся караульный.

3

Опустошительный набег на аул Дюимкары был последним походом Жонеута. Жонеут вернулся из него с шестью взятыми в плен юношами, шестью девушками и невеселыми думами.

В некогда славном роду не оставалось истинных батыров. Вымерли, измельчали. А годы делают свое дело. Впереди старость. Останется лишь слава о былой силе. И только. Преемников же нет как нет, некем заменить себя.

Старший сын рос крепким, кряжистым, как саксаул, одинаково ловко владел и кинжалом, и саблей, и копьем. Никогда не обманывал его верный глаз, никто не соперничал с ним в меткости. Рано приучили его к походам, и рано сложил он голову. Вот она, на кладбище за аулом, его могила.

Средний рос драчуном и забиякой. Едва встав на ноги, размахивал кулаком. От этого кулака доставалось всем — и сверстникам, и собакам. Он не испытывал жалости ни к человеку, ни к лошади. Его отличали упрямство и вспыльчивость. Ничто так не ласкало его слух, как весть о ссоре или драке. Он бототворил отчаянного Кёк-боре, как щенок увязывался за ним. И на чужой стороне нашел свою могилу. Хорошо еще, если была могила.

Самый младший, Даулет, вымахал — косая сажень. О таких говорят: «На его плечах уместятся два джигита». О Даулете можно добавить: «Он и сам их подсадит».

На празднествах любого силача швырнет на землю. Собой, грех жаловаться, хорош: большие ясные глаза, высокий гладкий лоб, необычное для туркмена светлое лицо. Разросшиеся брови придают лицу грозный вид, но лучистые глаза смягчают выражение.

Даулет — всеобщий любимец. Даже грозные псы — не приведи аллах встретиться с такими,— завидев его, преданно машут хвостами, с покорным взвизгиванием стелются у ног.

До Жонеута доходили слухи, что среди девушек и молодок его сыну сопутствует успех. Что же, считал Жонеут, удаль молодцу не в упрек. Лишь однажды отчитал по-отечески, когда Даулет сошелся с вдовой павшего в походе,— надо уважать память батыров.

Всей родне Даулет был по душе. Кроме Кёк-боре. Смелый и беспощадный Кёк-боре ценил в людях смелость и беспощадность. Все остальное, по его убеждению, ни к

чему. Кёк-боре злило, что Даулет увлекается занятиями, недостойными джигита. Кёк-боре не сомневался: кто-кто, а он понимает, что достойно, а что недостойно мужчины. Батыру надо владеть оружием. Раз он этого не умеет, значит, не батыр. Пусть себе пасет овец.

Даулет слушал дядю с легкой усмешкой и не изменял своей страсти. Страсть эта проявилась с детских лет — музыка. Ближе кровной родни Даулету бахши и дутаристы, песня милее звона кинжалов. С пятнадцати лет он не расстается с дутаром и достиг такого совершенства, что сам Яхия, знаменитый музыкант из Тачауза, со слезами восторга внимал его игре.

Дни Жонеута заполнены походами, и не всякую ночь он слезает с коня. Музыка, песни, веселье, по его убеждению, шабаш джиннов. Тут Жонеут согласен со своим братом Кёк-боре.

Даулет знает об этом. В присутствии отца не осмеливается взять дутар.

Правда, Даулет имел и заступника. Его дядя Аннадурды ценил искусство, знал в нем толк. Однажды, направляясь к адайцам, взял с собой Даулета, и юный дутарист вкусил от славы. В состязании он победил многих прославленных музыкантов, разделив первый приз с молодым казахом кюйши.

Жонеут, хоть и промолчал, остался доволен — все-таки сын. Лишь Кёк-боре негодовал: «Этого еще не хватало нашему роду!» Для него победа в состязании музыкантов, «постыдном сборище крикунов и бездельников»,— позор.

Кёк-боре осыпал брата гневными упреками, отказывался сесть на почетное место и бранился весь вечер.

— Твой сын дутарист,— кричал он Жонеуту, и кадык двигался по его морщинистой шее,— ду-та-рист! От него не жди ни добра, ни защиты. Враг боится воина на коне, а не блаженного с дутаром... Прежде любой наш мужчина наводил ужас на адайцев, теперь мы будем услаждать их слух музыкой...— И, передразнивая Даулета, Кёк-боре пропищал что-то.— От таких песенок казах не убежит,— не унимался батыр.— А он должен дрожать и бежать при виде нас. Душа Даулета — обиталище джиннов. Они заставили его забыть честь и кровные обиды... Подумать только, целый месяц он гостил у врагов, веселился с ними, будто приехал к родне... Переживу ли я такое бесчестье?! Даже последние бабы так не унижались. А он,— Кёк-боре ткнул пальцем в сторону племянника,— он еще гордится. У него веселится

душа, как у воина, вернувшегося из победного набега. Аннадурды тоже рад. «Когда Даулет играл на дутаре, даже наши извечные враги прищелкивали языками от удовольствия». Чему радуется пустая голова, закружившаяся от вражеских похвал? Если враг хвалит, значит, ему выгодно, невыгодно нам. Раз ты этого не понимаешь, помалкивай, сиди над козьей шкурой и гадай на ягодах джиды... Коль вместо Даулета отправился бы к адайцам истинный туркменский джигит, они не ликовали бы, не прищелкивали языками, проглотили бы их. Певцы, дутаристы, бахши — это сброд, не мужчины, а бабы, млеющие при виде мужчин. Батыра украшает не дутар, не пение, а копье и кинжал. Ими можно защитить честь народа... Сопляк Даулет смеется над моими словами. «Что вы, дядя, раздуваетесь от спеси,— отвечает он мне.— По-вашему, лучше нападать на адайцев, убивать, пугать коней. Вы злитесь, когда узнаете, что ни в чем не повинные казахи остались живы, а их табуны спокойно пасутся в степи...» Вот до каких мерзких речей он докатился! Я ему о чести предков, о духе мести, а он смеется. «Не тревожьте,— говорит,— предков. Они сами погибли и немало чужой крови пролили. Нам не грех бы задуматься над их судьбой...» Даже предки не указ этому умнику...

Весь вечер бушевал Кёк-боре. Пытаясь его умиротворить, Жонеут обещал пожурить сына, который тем временем веселился на тое. На прощание Жонеут сказал брату:

— Не гневайся. Он еще мальчишка. Вырастет — образумится.

Не такие слова надеялся услышать Кёк-боре, совсем не такие. Больше его ноги не было в юрте брата.

Даулет как ни в чем не бывало продолжал вольготную жизнь, полную музыки и веселья. До дня гибели Кёк-боре Жонеут не препятствовал ему, делал вид, будто ничего не замечает.

После поминок, после того как на могиле Кёк-боре съели белого верблюжонка и обрекли на муки шестерых казахских юношей, Жонеут вызвал сына.

Они остались вдвоем, если не считать ночи. Ночь падучими звездами чертила небосвод, стрекотом сверчков напоминала о себе. Еще напоминала она о себе стоном, отчаянным воем, зубовным скрежетом, доносившимся из лачуги, куда бросили юных пленников.

Даулет молчал. Его настороженный слух ловил жалобные крики и бряцанье кандалов. Он не слышал храпа и

сонных вздохов, ему казалось, аул не спит, не может спать в такую ночь.

Даулет весь сжался, съежился. Он виделся Жонеуту маленьким мальчуганом, и отцовское сердце зашлось от любви и сострадания.

Ночной ветер струился через приоткрытый низ юрты, касался разгоряченного лба Жонеута. Он прислушался к ночным шорохам, к замершему аулу и уловил стоны, кандальный звон, долетевший до сына. Он представил себе, как катаются по земле, бьют себя кандалами по голове пленные, и ожесточился. Выходит, Даулет подавлен не смертью дяди, но жалостью к этим ублюдкам. Неужто, слюнтяй, разревелся? Не от рыданий ли вздрагивают его плечи?

Там, на могиле Кёк-боре, он не проронил ни слезинки. Побледнел как полотно, насупился и молчал. Страдания вонючих адайских щенков терзают его сердце сильнее, чем гибель дяди-батыра!

Прав, тысячу раз был прав Кёк-боре. Проклятый дутар, проклятые песни вытравили из сына понятие о чести, о духе предков, святой мести. Если мужчина не способен заставить врага платить кровью за кровь, ему не надо носить поярковую папаху. Лучше уж оскопить его. Пусть тогда рыдает от жалости и слушает вой этих поганых выродков...

Так и не вступил Жонеут в разговор с сыном. Натянул на себя полосатое стеганое одеяло и уснул.

Когда он проснулся, Даулета не было в юрте.

— Позвать!

Сын пришел притихший, подавленный. Глазницы подернуты синевой, ввалились щеки. Не открывая рта, он налил отцу чаю из ярко раскрашенного кумгана. Сам сел понурившись.

Отец исподлобья наблюдал за каждым его движением. Но и на этот раз промолчал. Что-то мешало затеять разговор.

Миновало еще несколько дней, и Жонеут, отправляясь на охоту, впервые взял с собой сына. Кони трусили по степи в сопровождении двух рыжих поджарых гончих.

Жонеут хотел уединения и имел на то причины. Из его памяти не шли гневные речи Кёк-боре. Хоть брат и не отличался умом, но тут, пожалуй, был прав и прозорлив. Он проник в размягченную музыкой душу Даулета. Может быть, не во всем разобрался. Но главное уловил.

Тихий Даулет достаточно упрям и дерзок. Вроде бы

покладистый, в словесной перепалке он умел постоять за себя. В чем-то душа его мягкая, но в чем-то твердая. Никогда не знаешь, что он выкинет. Однако сейчас не до шуток.

Хиреет, вырождается древний род, тает былое могущество. Не приведи аллах посторонние прослышат, что отец и сын на ладят между собой, что старик не властен над сыном. Поползет по степи слух — Жонеут знает силу таких слухов — о непокорном сыне и беспомощном отце. Тогда конец власти и авторитету Жонеута.

Надо поговорить начистоту, по-мужски поговорить с сыном. Никуда не деться от разговора...

Легкой рысцой, стремя в стремя идут кони. Гончие бросаются в сторону, замирают, возбужденно оглядываясь, уши торчком, потом расслабленно и виновато возвращаются к хозяевам. Перед полуднем неподалеку пронеслась стая косуль, едва касаясь пожелтевшей травы. Собаки опрометью кинулись вдогонку. Гнали стаю до самого горизонта. Но, так и не услышав позади обычного в подобных случаях свиста, улюлюканья, бешеной пляски копыт, растянулись у редкого кустарника, вывалив разгоряченные языки. Когда всадники приблизились, собаки, передохнув, присоединились к ним, старались держаться в тени, сопровождавшей коней.

Видно, всадников сегодня вовсе не трогала охота. Они не нарушали угрюмого молчания. Жонеут не менял позы, не отводил глаз от мглистой дымки, дрожащей впереди. Будто хотел разглядеть что-то. Неподвижное тело срослось с седлом. Лохматая папаха слегка вздрагивала в такт рыси, правая рука машинально похлопывала короткой камчой по лошадиному крупу. Он не замечал сына. Держался так, будто был один.

Даулет тоже не оглядывался. Думы придавили голову. Ничего не видя, он склонился над пышной гривой скакуна.

Не меняя шага, стремя в стремя трусили кони.

Обеденный час позади. Глинистое нагорье с чахлой, вывяленной на солнце полынью сменилось твердым красноватым песчаником. Раскатисто цокали копыта. В лицо пахнуло свежестью, и Жонеут пришпорил воспрянувшего коня. Сбоку промелькнул зубчатый хребет. На западе смутно вырисовывался курган.

За косогором открылось блекло-синее море.

У берегов оно кипело, ярилось, пенилось. Белогривые волны обрушивались на утрамбованный водой песок, то

закрывая, то обнажая его. Им не надоедала эта однообразная из века в век игра. Ветер подгонял, подзадоривал волны, и они с молодым азартом падали на берег.

Жонеут не удивился морю, не обрадовался ему. Он направил коня к полуострову, темным лезвием врезавшемуся в белесый морской простор. Полуостров завершался каменистой грядой с могилой на вершине. У могилы столб — так хоронят святых.

Это была могила святого Темир-баба. Всадники спешились, взяли коней под уздцы. Приблизились к большому камню с закопченным углублением посредине. На нем путники разводят священный огонь.

Примогильный столб почернел от времени и солнца, ветер до блеска отполировал его, а сейчас крутил тряпки привязанные к нему.

Среди валунов кости, черепа, рога архаров... Близ святой могилы не однажды ночевали паломники.

Не удостоив сына словом, Жонеут опустился на колени, творил молитву. Протянул руки к небу, провел ими по лбу, по глазам, по щекам, по бороде. Продолжая бормотать, он поднялся, сорвал со столба тряпки, сунул за пазуху.

Ведя коней в поводу, двинулись дальше. На вершине гулял ветер. Он играл конскими гривами, хлопал подолами чапанов.

В достопамятные времена возвращавшийся из Хорезма Шопан-ата повстречался здесь с Темир-баба. Темир-баба сидел на камне, опустив натруженные ноги в ласковые волны. Он издали услышал шаги, но не шелохнулся. Странник приблизился, встал за его спиной, учтиво поздоровался. Темир-баба не отводил глаз от моря.

Шопан-ата назвал себя и, справившись, кто перед ним, предложил Темир-баба потягаться в могуществе.

«Что ж,— промолвил Темир-баба, — коль желаешь, начинай».

«Хорошо, согласился Шопан-ата.— Тогда не сочти за труд повернуться. Видишь косяк каракуйруков?»

«Вижу».

Шопан-ата едва слышно позвал:

«Шоре-шоре-шоре».

Козел, возглавлявший косяк, прислушался и, повинуясь зову, с блеяньем побежал к Шопан-ата, улегся у его ног, начал лизать подол чапана.

Но чудо на том не кончилось. Шопан-ата без ножа перерезал козлиное горло, в мгновенье ока содрал шкуру,

вспорол живот, на куски разделил тушу. Потом все завернул в шкуру, провел по ней ладонью. Козел как ни в чем не бывало вскочил на ноги, отряхнулся и резво побежал к своему косяку.

Наступил черед Темир-баба. Он закатал штанины до колен и вошел в пенящееся море. Он шел и шел, не останавливаясь, а море покорно расступалось перед ним. Там, где опускалась его пята, выступала земля. Долго он шел и наконец обернулся посмотреть, чем там занят Шопан-ата. Тот, стоя на берегу размахивал белой чалмой, звал назад.

«Ты превзошел меня своим могуществом,— признал Шопан-ата.— Я позвал тебя, потому что испугался, как бы ты не проложил дорогу через море, не долог час, ею воспользуются враги. Я счел за благо окликнуть тебя».

В память о том дне и состязании остался полуостров, ножом вонзившийся в море. Каждую пядь подступавшей к нему степи защищали предки Жонеута и предки предков. А ныне степь — достояние кого придется. Туркменское копье потеряло силу, туркмены отступали все дальше и дальше. Они забыли завет Темир-баба.

Он велел похоронить себя на каменистой прибрежной гряде. «Если не желаете, чтобы любая вражья собака мочилась на моей могиле, да будет это место границей ваших земель»

Прежде любой мужчина, носивший кинжал, в час опасности непременно поднимался сюда поклониться святому духу Темир-баба.

Дождь, ветер и годы сточили утес. Он осел, вдавился в землю. Высится лишь склеп, выложенный из неотесанного камня, могилы святых не нуждаются в украшениях. Внутри сумрачного склепа длинный, поболее человеческого роста, холмик. Он тоже осел. Камни, обрамляющие его, покрыла хна. Лишь скалистая глыба у захиревшей могилы напоминает о былом величии святого Темир-баба.

Тот, кто родился мужчиной, не пройдет мимо, не коснувшись губами этой глыбы.

Покойный дед Жонеута приезжал сюда и в дни горя, и в дни радости. Не раз он брал с собой Жонеута. У старика увлажнялись глаза, когда он приближался к могиле, высившейся над морем и степью.

Не будь этой могилы, какая судьба ждала бы туркмен! Рассеялись бы по пустыне, их след замели бы пески. Неотвратимой памятью о достоинстве, долге и чести, грозным напоминанием стоит могила. Пока туркмены не сле-

зают с горячих скакунов, с быстроногих дромадеров, они не смеют забывать завещание Темир-баба!

Так рассуждал старый батыр, дед Жонеута. Он гордился безбрежьем отчего края, безводностью пустынь.

«У нас нет воды, кроме синего моря,— говаривал он,— нет у нас трав, кроме чахлых колючек. Горы и пески. Таков наш край. Но не вздумайте пренебрегать им! Эти пески, пустыни — наше спасение. Будь здесь райский уголок, цвети сады Ирана, всякий встречный-поперечный лез бы к нам, хозяйски размахивая копьем...»

Так рассуждал старый батыр, дед Жонеута. Но его рассуждения, увы, не всегда совпадали с тем, что случалось в жизни. Ни пески, ни пустыни не пугали врагов, когда они вожделели чужого богатства, чужого скота. Что им священная память твоих предков, гордость и боль твоего народа!

Прожорливый враг сперва тянет руку к скоту, насытившись, мечтает сделаться владыкой твоей степи, тешиться с твоими дочерьми.

Простосердечный народ, ты предсказываешь погоду по брюху коня, а горе — по вою собак, понимаешь ли ты угрозу, нависшую над тобой? Догадываешься ли, что враг может подкрасться тайком, спрятав под рукавом аркан, а когда затянет на твоей шее петлю и бросит тебя к своим ногам, будет уже поздно?

Не отрываясь, глядит охваченный думами Жонеут на бушующее море. Былое зовет его, к прошлому примешивается нынешняя тревога: как быть, что делать?

Ветер рвет одежду, бьет в лицо, треплет раздвоенную бороду. И морю передалась тревога. Оно беснуется, ревет.

Батыр повернулся к сыну.

Даулету уже ясно, зачем его привел сюда отец. Послушность и почтение написаны на его лице. С сыновним смирением готов он внимать речи родителя.

Но отец молчит. Торопливо схватил сына за руку и снова повел к могиле Темир-баба.

Оба преклонили колени, зашептали молитву. Даулет взял горсть земли и бросил ее на холмик, под которым спал святой. Порывистым шагом приблизился к могильной глыбе. Он ощутил на губах соленый вкус моря, вдохнул запах прелой земли и нагретого камня.

Молча, держа коней в поводу, спустились вниз.

Вскакивая на аргамака, Жонеут успел заглянуть в глаза

сына. На молчаливый вопрос отца Даулет ответил без слов, спокойно и с достоинством.

Жонеут остался доволен сыном, они обретали друг друга.

Возвратившись, он приказал пустить в табун темно-рыжего скакуна Даулета, на нем сын разъезжал по праздникам и пирушкам. В их роду было заведено — для боя пегий жеребец.

Табунщики пригнали легкого пятилетку в серых яблоках, с черным пучком в хвосте. Вынесли на солнце новое боевое седло.

Аксакалы, тряся бородами, придирчиво оглядели жеребца, заглянули в морду, потыкали кулаками в живот, кряхтя, ощупали копыта. И остались довольны. Черная отметина в хвосте, решили аксакалы, добрый знак, божественная мета. Жеребец удостоился благословения.

Седлал его сам Жонеут. Лишь недавно рука мастера вырубила из старой липы это седло. Оно предназначено не для праздных поездок: в высокую луку будет упираться копье.

Даулет пристегнул к поясу кинжал, забросил за плечо фитильное ружье, оглянулся, прощаясь, вокруг и вскочил на пегого.

Мужчины, шумно напутствуя, окружили его, не скупились на слова, желали удачи. Женщины воровато поглядывали из-под низа юрт, из всех щелей — любовались ладным джигитом. Но любовались с разным чувством: те, что постарше, пригорюнились, вспоминая погибших сыновей, те, что помоложе, всплакнули, пытаясь угадать судьбу, которая ожидает их женихов и мужей.

Жонеут по обыкновению оставался молчалив. Только тонкие смуглые пальцы быстрее, чем всегда, бегали по двум языкам бороды.

Он припоминал все, что знал о сыне.

Ничего не скажешь: Даулет — меткий стрелок, на охоте не каждый с ним потягается. Кинжал в руке держит твердо, саблей рубит — заглядишься. С копьем не очень ладит, не упирает древко в седло, держит на весу, меж ушей коня, норовит вонзить с ходу. Оно, конечно, когда противник слабоват, то и так можно. А коли сильный? Тут надо остановиться, дать копью опору, подойти сбоку... Понимать-то он все понимает, да рвения не заметно. Не лежала, видно, душа к ратному искусству, брала то, что ближе к игре... Задумчив не ко времени. Стоит возле тебя иной раз, а ты чувствуешь: витает невесть где...

Незадолго до проводов Жонеут возвращался от соседей и услышал звуки дутара. В его юрту редко набивались люди, побаивались хозяина. Но на этот раз весь аул сгрудился, оставшиеся дома женщины задумчиво глядели на огонь, плясавший под треногой. Такая это была мелодия, полная тоски и скорби. Озноб сжал сердце Жонеута. Он повел плечами, как при утреннем ветре. Холодок не отпускал.

Мелодия оборвалась, едва Жонеут вошел в юрту. Медленно погас последний звук. Даулет смущенно поднялся, пропустил отца на почетное место, повесил дутар на стену.

В душе Жонеута и сейчас звенит оборванный звук, отдается такой печалью, для которой ему не подобрать слов. Его сын, плоть его, отправляется в поход. Куда? В неизвестность. Не за смертью ли? Во имя чего?

Во имя мести...

Жонеут с аксакалами проводил Даулета до ближних увалов. Простился, повернул аргамака назад. Отъехав, не выдержал, оглянулся. Отряд во главе с сыном уже далеко. Пики уставились в синее небо.

Когда в следующий раз повернулся Жонеут, то ничего не увидел — горячий воздух, трепеща, поднимался над раскаленной равниной.

Холодок, сжимавший сердце Жонеута, сменился острой болью, тоска — тревогой. Зачем, зачем уехал сын? Зачем он, бывалый Жонеут, не последовал с ним?

Вернувшись, Жонеут поклонился своим спутникам, аксакалам, и попросил их не разъезжаться по домам, побыть возле него до возвращения Даулета. Старики, ничем не выдав своего удивления, согласились.

С того дня Жонеут не знал сна. От зари до зари сидел он, уставившись в одну точку. И так же недвижно чернел на вершине кургана выставленный им караульный.

Худой туркмен в просторном полосатом чапане не сводит молодых глаз с дозорного. Он не прозевает сигнала.

Но сигнала нет и нет. Не давать же его из-за жалких уродов — пленных казахов, несущих кизяк в аул.

4

Знойный полдень позади. К побелевшему небу возвращается голубизна. На ее фоне все так же четка одинокая фигура караульного, будто могильным столбом увенчан курган.

Жонеут отвел глаза от дозорного, тяжело поглядел на аксакалов. Старики тревожно заерзали. Неладно, нехорошо, давно миновали все сроки возвратиться отряду. Но прежде чем кто-либо из них успел открыть рот, вздрогнул сухощавый туркмен-наблюдатель. Волной пробежали полосы на его чапане. Все встрепенулись.

За аулом, где-то на западе, взметнулся долгий крик. Жонеут зажмурился, как от яркой вспышки. В ноги вступила слабость. Он сделал неуклюжий рывок, прежде чем сумел подняться. Юрта опустела. Он вышел последним.

По обычаю, о приближении победителей извещает караульный. С радостным возгласом «Сюинши! Сюинши!» опрометью мчится он в аул.

Жонеут попытался сосредоточиться. Откуда возвращаются джигиты? Почему их не заметил дозорный? Почему вместо окрыляющего «Сюинши!» выворачивающий внутренности вопль?..

Вопросы множились и множились. Кто это так грузно скачет сюда? Где пегий в яблоках конь? К чему белый лоскут на пике первого всадника?

Джигиты приближались. Густела, заслоняя солнце, пыль над их головами. Заунывное «Го-о-ре-е!» уже докатилось до аула, и эхом родился ответный стон.

Всадники раскачивались в седлах, припадали к гривам, сутулились под мохнатыми папахами.

Почтенные аксакалы начали бить себя рукояткой камчи в грудь. Жонеут побледнел. Затравленно сторонился обезумевшей толпы.

Горе охватило всех, от мала до велика. Мужчины дубасили себя кулаками по головам, бились, точно сазаны, угодившие в сеть, под черными паранджами женщины ногтями царапали лица. В стороне от всех рыдал и рвал бороду Аннадурды.

Тревожно ржали жеребцы на привязи, били копытами, грызли коновязь. С жалобным визгом, с поджатыми хвостами бросились врассыпную собаки. Расшатывая колья, кружились верблюжата.

Только четверо юродивых безучастно стояли возле кучи кизяка. Слюнявая улыбка не покидала их бессмысленные лица...

Один за другим из пыли появлялись всадники. Приблизившись к аксакалам, они, как подстреленные, сваливались с седел. Раскачиваясь, в обнимку рыдали, причитали. От их воплей зашумело в ушах Жонеута, потемнело в гла-

зах. Он свирепо сдвинул брови. Но никто этого не испугался, а может быть, не заметил. Все кинулись к нему. Сначала старики, потом остальные. Он пытался увернуться. Однако не было обычной решимости, не было сил.

Он увидел у привязи своего жеребца с отрезанным хвостом.

Джигиты волокли в юрту что-то длинное, запылившееся. За ними хлынула толпа. Два старика, поддерживая под локти, вели Жонеута. Он не противился. Люди расступались перед ним. Посреди юрты лежало это громоздкое, покрытое пылью. Люди наклонялись к нему и с громкими стонами выбегали на улицу. Их место занимали другие. Все спешили взглянуть и дать волю рыданиям.

В сопровождении муллы неожиданно явился Мамбетнана. Переступив порог, обнял Жонеута и в голос заплакал.

Мулла на коленях шептал молитву. Кончив, бросил несколько слов толпившимся рядом, и в юрте остались одни аксакалы. Мулла приблизился к Жонеуту, губы его быстро-быстро шевелились. Жонеут видел, как за мясистыми губами желтеют кривые зубы, но не различал слов. Мулла чего-то тщетно добивался от Жонеута, отчаявшись, кликнул Аннадурды.

В ответ на речь муллы Аннадурды согласно тряс мокрой от слез бородой. Вместе с аксакалами он подошел к тому, что лежало посреди юрты. Воцарилось молчание. Двое стариков снова подхватили Жонеута под локти и повели к юрте Аннадурды.

Жонеут не мог сказать, сколько времени он пробыл у Аннадурды. Может быть, долго, а может быть, недолго. В памяти остались разрозненные подробности.

Вбегает возбужденный старик, что-то сбивчиво говорит, тычет пальцем в сторону бледно-оранжевого заката.

Жонеута опять поднимают под руки, ведут на улицу. Впереди шагают джигиты, сгибаясь под чем-то, туго обтянутым черной кошмой. Они держат путь к холму. За ними толпой валят соплеменники.

И он идет. Бессмысленно, слепо. Почему так трудно идти, точно он в дороге неделю, месяц? Почему так плохо подчиняются ноги? Ему надо бы быть впереди других, а он с немощными стариками плетется в хвосте.

Джигиты, несущие что-то завернутое в черное, сменяют друг друга. Значит, это тяжелая ноша. Ее осторожно опускают на землю.

Опять мулла. Повинуясь его голосу, мужчины бросаются

к кустам, оноясавшим кладбища. Да, это кладбище... Мужчины выхватывают сабли. Со свистом рассекают воздух, с яростью рубят кустарник. Почему они так торопятся? Откуда взялась зияющая чернотой яма? Гора сухих сучьев?

Сунув саблю в ножны, джигит достает из кармана огниво. Пламя охватывает сучья, бросает алые блики на людей, предавшихся молитве. Как отчетлив в вечерней тишине ружейный треск огня, глухой голос муллы...

Развернута черная кошма. То, что она скрывала, осторожно опускают в яму. Осторожно, однако торопливо. К чему такая спешка?

Все это напоминает сон. Конечно сон. Видишь какие-то движения. Но не знаешь, зачем они. От неясности тревога. Надо усилием воли прервать сон. Сейчас Жонеут так и поступит. Сразу развеется мрачная суета, все вернется к разумному спокойствию.

Но сон, будь он трижды неладен, длится.

Откуда-то взялись лопаты. Земля комьями летит в яму. Яма уже не черная от пустоты, а рыжая от этой земли. Мамбетпана — он тут как тут — сует ему в одеревенелые руки черенок и сам его лопатой зачерпывает землю.

Оцепенение не отпускает Жонеута. Все кружится перед ним.

Но он не слабый человек. Он стряхнет с себя наваждение.

Его ведут под руки. Он твердо переставляет ноги.

Но эта спешка опять сбивает с толку, возвращает прерванное сновидение.

Толпа вконец обезумела. Что стряслось? Нагрянул враг? Тогда где кони? Или он, батыр Жонеут, сплоховал, проморгал вражеское нашествие? Что стало с женами и детьми? Почему, почему он не видит своей надежды и отрады — Даулета? Почему младший сын не со своим отцом?..

5

Бесконечное лето. Ни капли дождя. Зачахли самые неприхотливые колючки. Зной испепелил кошму на юртах, в дырах кошмы — желтеющее небо. От запаха гари зудит в носу.

Днем ни души на улицах. Собаку и ту не увидишь.

Под вечер слабеет жара, и мужчины выползают из юрт. Каждое движение требует усилий. Жены предусмотрительно стелют в тени ковры. Мужчины, рассевшись и плотно

придавив к темени маленькую тюбетейку — истинный туркмен никогда с ней не расстается,— поверх натягивают мохнатую папаху. Если в этот предвечерний час, час намаза, мужчина увидит свою длинную тень, то подивится ее причудливости. Налюбовавшись тенью, он снимет папаху — тень сразу укоротится, потеряет необычность — и примется за дело. Не завелась ли в поярковой шкуре моль, не появилось ли пятнышко?

Возле каждой юрты торчит из земли палка. На нее надевают папаху и неистово хлещут тонким гибким прутиком. Хлещут до полного изнеможения. Обессилев, разглаживают пятерней мех, придирчиво щупают каждый волосок.

Работы, слава аллаху, хватает до самого заката. Тогда отправляют сыновей за конями. Пока седлают, горячие ахалтекинские аргамаки приплясывают от нетерпения, перебирают точеными ногами.

Оседлав коня, туркмен направляется к палке, на которой, красуясь, проветривается его славный головной убор. Снова осматривает, ощупывает его, надевает на большой палец. И крутит. Кто раз пять-шесть. А кто и десять.

Теперь папаху водружают на голову.

Едва почувствовав в стремени ногу седока, аргамак нервно вытягивает шею, стрелой мчит вперед. Кто узнает в стремительном всаднике флегматичного мужчину, который возился со своей папахой? Он бесплотен, невесом. Слит с горячим мускулистым конем.

Ахалтекинец бешеным наметом скачет в степь, вздымая прозрачный шлейф пыли.

...Засушливое лето. В поисках корма верблюды далеко ушли от аула. Так далеко, что за ними не пошлешь пленных казахов. Верблюжата жалобно зовут матерей, и их рев болью отдается в груди человека.

Сменив солнце, выплывает луна. Наступает светлая как день ночь. Все же не как день. Такая молочная белизна бывает только ночью. Она сужает горизонт, стягивает его к аулу.

Прежде чем скроется луна, в робком свете грядущего дня выплывают угловатые силуэты всадников, мерно покачиваются верблюжьи горбы. Прямо-таки фантастическая картина с таинственными призраками.

Но жизнь аула обыденна и однообразна. Ее монотонное течение не оставляет места для фантазий.

На окраине в щелястой лачуге томится закованный в кандалы одинокий пленник. День-деньской он оглядывает

лежащий впереди простор. Не из любопытства и не по приказу, от нечего делать. Давно уже никто не подходит к нему, если не считать стражи. Вначале охраняли двое, потом один. Сегодня у лачуги опять двое.

Незачем ему вспоминать и сравнивать. Но досужая память не спрашивает разрешения.

Когда у казахов траур, в ауле неспокойно. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Снова и снова оплакивают покойника. Он день-деньской лежит в правом углу юрты, доступный всем для прощания. А здесь тихо, мрачно. Здесь спешат предать тело земле. Такой, видно, обычай: похоронить до захода солнца, на худой конец до полуночи. Оставлять тело непогребенным — великий грех.

Что ж, размышляет пленный, у каждого народа свои законы. То-то и спешат туркмены с покойником на кладбище, спешат с кладбища. Торопливо обносят подносами с дымящимся мясом...

Но в день похорон Даулета никто не притронулся к мясу. Все пошло собакам.

Ему запомнились похороны Даулета и глухой сон, в который погрузился аул после этого дня.

Жеребец Даулета с обрезанным под корень хвостом гулял на пастбище. Но сегодня с утра его привели сюда. К нему подходили туркмены, осматривали, что-то обсуждали. Потом взяли под уздцы, повели.

— Куда это? — с тревогой спросил пленный.

Страж неприязненно бросил:

— Резать.

Помолчал и добавил:

— Сегодня сороковины Даулета.

Медленно шевелятся мысли пленного, составляя из клочков и обрывков нечто цельное.

Все эти дни Жонеут не показывался на улице. Белобородые старики шли к нему в юрту, покрытую спереди и сзади черной кошмой. Были среди них здешние жители, были и приезжие. Но ни те, ни другие подолгу не засиживались. Отвязывали коней, возвращались восвояси. Иные проезжали мимо лачуги пленного, до него доносились отдельные фразы, их смысл не угадывался.

Кое-что, правда, рассказывали конвоиры. Когда аул засыпал, им, изнывающим от скуки, некуда деться. Хоть пленный, конечно, ублюдок, но все же живая душа. Слушать его не придет в голову, но ему не грех послушать.

С черного часа смерти сына Жонеут не произнес ни слова. Молчит, как саксаул. Поначалу не верил в смерть Даулета, велел дозорному еще неделю торчать на кургане. Чудной человек — сын лежит в земле, сам хоронил, а караульного не снимает.

Убеленные сединами старцы пытались отвлечь его беседой, утешить, наставить на путь разума. А он безучастно молчит, будто нет его, не к нему обращены степенные речи. Вчера старики напомнили ему: завтра сороковины Даулета.

Значит, и он, пленник, сидит в этой вонючей дыре сорок суток. А сорок два дня назад был на воле, был хозяином себе. Он дорожил свободой не ради тоев, сборищ, все это надоело. Ценил уединение. Спасаясь от людей, увлекался охотой. Вот где покой, тишина, раздолье для мыслей. Но неодолимая страсть толкала обратно в аул. Он был домбристом, и искусство жаждало слушателей. Многие годы без него не обходился ни один праздник, он украшал каждое застолье. Его слава гремела по аулам, ему завидовали богатые и процветающие. Он же все сильнее мечтал о тишине, укромном уединении. Его звали в гости, а он хотел побыть в одиночестве.

Казахский аул — вечная суматоха. Особенно поблизости от туркмен. То радость: удался набег, в воздух летят шапки, воет под ножом белый жертвенный верблюд — пир на весь мир. То сами пострадали от налета: горе, стоны, проклятья.

Стоит двум сорванцам повздорить из-за пустяка, их отцы с налитыми кровью глазами, с кинжалами кидаются друг на друга. В пустяковом споре, словесной перепалке главный довод — опять-таки кинжал.

Дерутся озверело, охмелев от ярости, порой забыв, из-за чего начался спор. Так искромсают, изувечат один другого, что родная мать не узнает. Станут легкой добычей смерти и тлена. Все обратится в прах: сильные тела, забубенные головы, горячие сердца.

Останутся мальчики-сироты, чтобы дышать ненавистью и местью, подрасти и уничтожать друг друга, как некогда уничтожали истлевшие предки. И оставят в наследство кровавую стежку, по ней идти их детям. Из поколения в поколение, из века в век. Потемневшая от крови земля равнодушно приемлет в лоно свое бессмысленные жертвы, даже самые беспокойные обретают вечный покой. Вам тесно на земле? Что ж, ложитесь в землю. Сколько войн про-

шумело в столетиях, победа неизменно оставалась за землей.

Пленный — нет, тогда он еще не был пленным — ломал голову над тщетой, ничтожеством человеческих усилий. Многим не хватает ума прокормить себя и свою семью, устроить собственный скромный очаг, но они туда же лезут, радеют о священном духе предков, жаждут проучить недругов. Отстаивая честь мертвецов, сами быстро оказываются покойниками.

В благодатные дни, когда природа щедро одаряет всех любовью и лаской, они бросают своих жен, детей, оставляют годами нажитый скот и, сознавая великую миссию, отправляются грабить, насиловать, убивать. Вернувшись победителями, испуганно вздрагивают при каждом шорохе, перестуке копыт. Страх перед неизбежной расплатой разъедает их души.

Выпадет спокойный день либо месяц — им не по себе. Развлекаясь, будут науськивать собак, козлов. Распалятся и сами уподобятся животным, полезут в драку. И пойдет кровавая кутерьма... Потом — могилы, слезы, проклятья.

Мысли пленника домбриста описывали заколдованный круг и не могли его прорвать. В последней надежде он цеплялся за одну: человек не зверь, должен же он в конце концов постичь, что является на свет ради мира, труда, продолжения рода...

Безрадостно и тревожно было у него на душе, когда он видел, как уводили на смерть красавца жеребца с обрубленным хвостом. И жеребец падет жертвой кровожадных людских устремлений.

Горькие мысли вселяли в душу мрак и пустоту. В отчаянии он опустился на гнилую подстилку. Его лихорадило, попеременно бросало в пот и в озноб. Он потерянно шарил по земле руками. Надо было излить все, что теснилось в груди. Но как? Руки ничего не находили. Он окликнул стражников, но им было не до него. Они не сводили глаз с юрты Жонеута.

Пленный умолк, задремал.

Он очнулся от грубого толчка. Но не мог взять в толк, чего от него хотят. Стража подтолкнула к выходу. Гремя цепями, преодолевая сонную вялость, он переставлял ноги. Каждый шаг отзывался болью.

В просторной юрте висела гнетущая тишина. Никто не шелохнулся при виде пленного. На почетном месте в окружении аксакалов сидел прямой как жердь старик с раздвоенной седой бородой. Пленный понял — Жонеут.

6

Все сорок дней подле Жонеута были люди. Но он их не замечал. Лишь сегодня к нему вернулись зрение и слух. Он пристально разглядывал пленника.

Невзрачный человечишка. Надо же быть таким тощим, длинноруким, сутулым. Вошел и застыл у порога. Ни малейшего интереса к окружающим, ни тени почтения к Жонеуту. Не обуян ли он гордыней, не спесив ли? Непохоже. Скорее безразличен. Да, именно безразличие в такой фигуре, на бледном, изможденном лице. Он впервые видит этих людей, но не испытывает ни малейшего любопытства. Как если б это были давние знакомые и заранее известно любое их слово, любой жест.

Один из аксакалов вывел пленного на середину, снял кандалы. Руки безвольными плетьми упали вдоль тела. Глаза оставались безжизненными.

И эта тощая кляча — плата за его убитого сына?!

От негодования у Жонеута перехватило дыхание. Он повернулся направо, налево. Папахи опустились. Аннадурды поднялся и покинул юрту.

Пленный стоял понуро, безучастно.

Уж не полоумный ли, мелькнуло у Жонеута. На лице ни мысли, ни испуга, ни вызова.

Вернулся Аннадурды, протянул пленнику продолговатый предмет, завернутый в тряпку. Пленный недоуменно уставился на него.

Вдруг бледное лицо осветилось, на нем выступил румянец. Он хотел что-то сказать. Но язык не слушался, заплетался. Робко протянул руку, бережно принял предмет. И тут же сами собой у него подкосились ноги. Он подогнул их под себя. Сжался в комок. Склонил набок маленькую голову.

Лишь теперь он удостоил всех внимания, окинул взглядом юрту.

Равнодушия как не бывало. Пленный нетерпеливо развернул грязную тряпицу. В его руках была домбра. Недоверчиво подержал ее на весу, разглядывая. Осторожно притронулся к колкам. Юрта замерла. Аннадурды на цыпочках прокрался к своему месту и, стараясь не шуметь, сел. Бородатые конвоиры отступили к порогу.

С улицы доносились голоса тех, кто резал пегого жеребца, рычанье и лай собак, опьяненных запахом свежей крови. Через открытый верх юрты наклонно падали лучи

осеннего солнца, серебрили бороду Жонеута. Он, не шевелясь, угрюмо возвышался на своем почетном месте.

Пленный снова забыл о присутствующих. Но теперь не от безразличия. Он находился во власти домбры. Опухшие от кандалов пальцы неуклюже двигались по грифу, спотыкаясь на каждом ладу. Домбра рассохлась. Сколько ни крутил пленный колки, звук оставался хриплым, грубым.

Да и откуда было домбре сохранить звук? Ей, бедняге, тоже досталось.

...Ушедший в свои думы, он охотился тогда вдали от аула и не заметил, как его окружили туркмены. Видно, это были всадники, сопровождавшие Даулета, когда тот ездил к адайцам состязаться с казахскими кюйши. Всадники узнали его, заспорили между собой.

Он не знал за собой вины, никого не обижал, охотился в степи. Что с него взять? Но в голосах вооруженных джигитов звучало недружелюбие, и в его душу закрадывался страх. Он слишком часто видел, на что способны люди, ослепленные злобой. Однако внешне сохранял невозмутимость.

Двое отделились от толпы, отобрали у него ружье, домбру. Он решил: все, больше не видать ему домбры...

Выходит, тогда он ошибся. Домбра снова в его руках...

Мрачная безучастность Жонеута была обманчива. Он следил за каждым движением пленного, за его согбенной фигурой, головой, склоненной над домброй. Пленный напоминал ему мать, кормящую ребенка. Ревниво вглядывался Жонеут в руки домбриста, сухие и негибкие, как ветви старого саксаула. Нет, этому не играть, куда там. Отыгрался.

Он верно оценил: не от мира сего. И то сказать, какой нормальный, угодив в руки отряда, потерявшего вожака, даже не попытается ускакать! Но отряд, ничего не скажешь, тоже хорош. Болван на болване, пустомели как на подбор. Нашли кого брать, кем платить за кровь незабвенного Даулета! Какой-то блаженненький, тощий, в чем душа держится... К тому же — о господи! — никак запаршивел. У висков под тюбетейкой струпья.

Жонеут брезгливо отвернулся от пленного. Недобро оглядел молчаливых аксакалов. Всем было не по себе. Кроме пленного.

Для него сейчас существовала одна домбра. Он самозабвенно колдовал над ней, перебирал лады, ударял по струнам, прикладывал ухо. Можно было подумать: сросся

с ней, поделился своей кровью. И домбра обретала голос. Еще несогласно пели струны, нестройно лилась мелодия. Но Жонеут вдруг почувствовал, вот-вот прорвется преграда. Он не желал верить этому. Выжидающе замер.

Свершилось чудо.

Горечь обиды, боль, отчаяние — все разом обрушила домбра на Жонеута. Она низвергла водопад звуков, и каждый пронзал сердце.

Он потерял счет дням, сидя в этой безмолвной, как могила, юрте вдвоем со своим горем. Он хранил неприступность. Не выказывал свою боль, мрачно и гордо сознавая: она никому не доступна.

В первые дни боль доводила до безумия. Он не узнавал близких, впал в забытье. Не поверил в смерть сына и заставил дозорного еще целую неделю стоять на кургане. Он, считавший себя разумным, утратил власть над рассудком. Но все же сумел совладать с собой.

Пока он оставался с глазу на глаз со своей бедой, в лачуге на окраине те же сорок дней беда терзала ни в чем не повинного казахского кюйши. Каждый из них страдал в одиночку и по-своему. Но домбра заговорила на общем для обоих языке. Хотя и Жонеут и домбрист считали, что каждый из них непостижим для другого.

Где уж этому дремучему батыру понять меня, подумал домбрист, и мелодия зазвучала гневно, взыскующе... Мысли бежали дальше: батыр презрительно скривит губы и швырнет меня своим псам-джигитам.

В душе Жонеута росла гроза. Домбра объяснила ему самого себя. Он проникся яростным недовольством. Довольно слабости! Надо крепиться, призвать волю и твердость, разбудить, встряхнуть народ!..

Меж тем домбра запела на новый лад, глухо, печально. Ее вздохи перемежались тихим всхлипыванием.

Пальцы кюйши вернули себе былую гибкость. Они бегали, порхали по грифу. Домбра отзывалась на малейшее их прикосновение.

Пленный повернулся боком к Жонеуту. Он никого не замечал. Наступил момент, когда он не нуждался в слушателях. Его лицо хранило отрешенность — ни обиды, ни гнева. Тускло мерцают зрачки узких глаз. Вся жизнь перелилась в пальцы. Они скользят, мелькают в неистовой пляске. Игра оборачивалась наваждением. Пела не домбра, а степь. Оттуда издалека ветер приносил мелодию.

Конеут не находил в себе силы противостоять ей. Он верил и не верил власти этого невзрачного человечка, напоминавшего птенца.

Темные пальцы летали над черным грифом. Скорбные звуки, наполняя юрту, обесцвечивали все вокруг. Поблекли лица туркмен, потускнел мех на папахах. Стал вовсе незаметен и сам тщедушный домбрист.

Новый кюй наливался крепостью. Звуки все бодрее, определеннее. Обида, боль и печаль отступают перед трезвым разумом. Мелодия взывает к размышлениям, как многомудрая речь, способная указать выход отчаявшимся.

Это была победа кюйши, победа над собой.

Долгие годы он наблюдал бесконечные тяжбы, распри, ссоры двух народов-соседей. Он давно пытался излить в звуках свои страдания. Но всякий раз верх брало негодование. Всепрощение не давалось домбре. Музыкант лишился покоя, не знал отдыха от неотступных мыслей.

Нет худа без добра. Сколько пережил и передумал он в неволе. Он мечтал открыть сокровенное этим людям, суровому старику, потерявшему последнего сына. Он поверил, что может разбудить их сердца. Не слова — звуки переполняли его душу, просились наружу. Он падал духом, опускались схваченные кандалами руки. Он мечтал не о свободе — только о домбре. Но понимал тщету мечтаний. Ему оставались тоска и безнадежность. Этим пальцам не извлекать звуков, до конца дней его будут греметь кандалы на ослабевших руках.

Но где-то внутри, ни с чем не считаясь, уже рождался новый кюй. Тайна его своей непостижимостью равна тайне человеческого рождения. Он рвался наружу, пленник грезил домброй. Ее не было, и звуки умирали, так и не выбравшись наружу. Они оставляли по себе мечту. Если б еще раз почувствовать в руке невесомую легкость домбры, молча вздыхал пленный в тиши постылой лачуги. Только один раз. Он создал бы такой кюй, который ворвался бы в сердце каждого... Каждого, кто не лишен сердца.

...Когда его ввели в юрту, он увидел висевший на стене дутар. Он знал, что хозяина дутара уже нет среди живых, и многие чувства, противореча одно другому, охватили душу. Но все были побеждены отчаянием: ему не дадут притронуться к дутару.

И вдруг — о чудо! — протянули собственную домбру. Волнение и неожиданность парализовали тело. Онемели пальцы. Заглохла мелодия, постоянно звенящая в груди.

Его обдало жаром, и он услышал, как кровь торопливыми толчками бежит по жилам...

Так, вероятно, чувствует себя верблюдица, когда от нее на несколько дней отлучают верблюжонка. Потом он прибегает, и она, переполненная счастьем, в первый момент не в силах дать молока.

Он взял домбру, поднял голову. В ту минуту ему открылось все происходившее с этим суровым, скрытным стариком, не разжимавшим побелевших губ. Кюй, который давно просился на волю, был одновременно кюем и пленника, и его властелина.

Тогда-то и ожили пальцы, освободившись от невидимых пут...

Жонеут на миг оторвался от кюйши, взглянул на сидевших по обе стороны людей. Еще недавно все они были одно внимание, обращенное к нему, Жонеуту. Теперь ими безраздельно завладел пленник-домбрист. Это наблюдение скорее удивило Жонеута, чем вызвало горечь. Он открыл в них нечто новое, незнакомое, хотя ему, как он считал, была ведома подноготная каждого. Из их маленьких глазок исчез обычный холодноватый блеск. Да и весь облик потерял извечную воинственность. Не будь грозных папах, их можно было бы счесть за вполне мирных людей, отродясь не державших кинжала, не проливших ни капли крови.

Окружавшие забыли о Жонеуте. Это было все-таки слишком. Он всматривался в одно лицо, в другое. Но его не замечали.

И тогда ему вспомнился бедняга Кёк-боре. Не такой уж он был наивный, когда не уставал твердить, что кюйши и бахши — порождение нечистой силы. Не помогай им дьявол, могли бы они околдовать толпу?

Этот тщедушный, кожа да кости, домбрист покорил его, Жонеута, покорил всех. Такое не прощается. Жонеут почувствовал прилив лютой злобы.

Но ни домбрист, ни слушатели ничего не замечали.

Невольник жил своей жизнью, неподвластной тем, кто его пленил. Домбра вернула ему себя. Не поднимая головы, он знал, что все безотрывно смотрят на него. Это была подлинная власть. Но нужна она была лишь для одного — передать людям все пережитое, передуманное за годы странствий и за дни, проведенные в вонючей хижине. Ничего не утаивая, ничего. Второй такой случай не представится.

Ну так слушайте, вы, мохнатые папахи, призванные

внушать страх! Пока вы не научитесь довольствоваться необходимым, смирять порывы, черна и мрачна будет ваша душа и жизнь ваша. Пока вам будет тесно в родном доме, в родной стени, пока ненасытная жадность будет гнать вас на поиски кровавой добычи, вам не знать ни счастья, ни покоя. Вам, вашим детям и внукам. Только из горького опыта минувших лет можно исторгнуть свет для будущего. Не в том мудрость, чтобы слепо следовать предкам. Пора извлечь толк из их недолгой жизни, заполненной яростью и местью. Запомните: поле, унавоженное ненавистью, родит только ненависть. Ваше благоденствие, счастье ваших детей и жен — в дружбе и согласии с соседями. Злоба превращает человека в зверя. Человеком его делает сострадание. Только так, не иначе. Если ты никого не жалеешь, кто пожалеет тебя? Если ты с кинжалом отправляешься в поход, то пеняй на себя, если наткнешься на чей-то кинжал. Не ищи на земле и на небе виноватых в своей гибели. Не проклинай бога и врагов. Прокляни самого себя. Ты жаждешь принести смерть другому — ты сам ее получишь. Таков звериный закон, избранный тобой. Кроме тебя, никто не повинен в твоей участи. Так-то. И не кипятись, не растравливай себя. Лучше подумай раз и еще раз. Не для одной папахи создана твоя голова. Не полагай, будто кто-то за тебя примет разумное решение. Человек тот, кто думает. А тот, кто норовит вонзить в другого зубы и когти,— разновидность четвероногого. Запомни это и не спеши считать себя венцом творения. Откуда твоя спесь? Что дало тебе право считать себя лучше соседа и вершить суд над ним?

Мелодия несла не только обличительный призыв. Минутами в ней звучало сомнение.

Не от скуки ли вы слушаете меня? Внятны ли вам эти звуки и мысли? Доходят ли они до ваших сердец, совершают ли благую работу? Быть может, ваш слух улавливает напев, но пропускает мысли? Уж не безделью ли обязан я вашим вниманием? Не случится ли так, что, поняв меня сегодня, забудете завтра? Сегодня поплачете, а завтра приметесь за бесчинства?

Все-таки вы мелковаты. Столько перенести горя, столько раз рвать на себе волосы и ничего, ничего не понять! По-прежнему отравлять друг другу жизнь. Не пришел ли час образумиться и впрямь стать людьми?

Лишь в горе вы напоминаете людей. Да и то не всегда. Вы слишком привержены звериной жизни. Что с вас возьмешь?..

Отчаяние охватило пленника и его домбру. В мелодию явственно прорвались слезы.

Насупленно молчавший Жонеут уловил это. Но истолковал по-своему: ага, пленный запросил прощения и пощады.

Он грозно глянул на кюйши и встретил печально-задумчивый взгляд, в котором, как ни пытайся, не прочтешь ни обиды, ни мольбы. Пальцы домбриста летали над струнами. Мелодия полилась ровно и холодновато. Лишь однажды дрогнула. Это вернуло Жонеута к дням, которые он старался не помнить.

Как-то раз накануне похода на адайцев он застал Даулета с дутаром в руках. Такая же прозрачно-тоскливая музыка наполняла пустую юрту. От звуков щемило сердце, ныли кости. Тогда мелькнуло в уме Жонеута: о чем плачет дутар, что хочет высказать сын? Ответ не приходил, да старик не слишком и доискивался его. Предстояло готовиться к походу.

Может быть, теперь следует подумать?

Пленник заметил, как дрогнул мускул на суровом лице. Но старик быстро совладал с собой. Надо сохранять безразличие. Он отвернулся от кюйши к двери, посмотрел на верхнюю перекладину. Руки выпустили бороду, замерли на коленях. Последний месяц прибавил седины в бороде и волосах, углубил морщины возле рта, на лбу. В глазах осели гнев и горечь.

Ничто не осталось не замеченным домбристом. Ему хотелось понять, откуда этот гнев. Природная жестокость или боль? Глаза жестокого человека всегда невозмутимо ледяны. А старик, похоже, сам распалял себя, внушал себе злость, скрывался в ней, как в убежище.

Когда побеждает ярость, человек слепнет. Он страшен, как раненый зверь. Задень его, взбесится, почернеет от испепеляющей злобы.

Но даже раненого зверя удается смирить лаской. Неужто разгневанного человека не умиротворит музыка?

Домбра заговорила мягко, задушевно. Лаская слух, она добиралась до самого сердца. Как маленький, но упрямый ручеек. Казалось, не музыкальный инструмент, а сам дьявол охотится за душой человека, расставляет силки.

Жонеут не хотел поддаваться противился. Но силы покидали его. Он сник, обмяк. Куда что девалось, где твердость, мрачная воля? Колдовские звуки парализовали. Жонеут терял над собой власть. Зачем домбра искушает его, чего хочет от него этот дохляк?

Даже в день, когда он вопреки своей бунтующей натуре

поверил в смерть младшего сына, сердце не сжимала такая боль, как сегодня. Ошеломленный, он пребывал в кошмарном сне. Однажды его блуждающий взор остановился на предмете, висевшем на стене. Жонеут не сразу сообразил: это дутар Даулета. Рядом копье и кинжал младшего сына. От тех, от старшего сына и от среднего, тоже осталось по кинжалу и копью. От этого еще и дутар.

Когда Даулет победно вскочил на пегого жеребца и сподобился благословения стариков, он, Жонеут, собственноручно передал сыну копье и кинжал.

Нет Даулета, а копье и кинжал будут висеть, покрываясь ржавчиной, на стене юрты.

Никому из его сыновей кинжал и копье не принесли славы и удачи. Только смерть. Всем им, старшему, среднему и любимцу сердца Даулету.

Охваченный бешенством, Жонеут вскочил, бросился к стене, где висели кинжалы и копья. Лицо его почернело, глаза пылали безумием, руки и ноги дрожали, зубы выбивали дробь. Исступленными ударами о железную треногу он превратил оружие в груду обломков.

Лишь сирота дутар покоился на стене.

Подобной вспышки старик не помнил за собой.

Это было мрачное пробуждение. Полно, пробуждение ли? Всплеск отчаяния, оскорбленной чести.

Вспышка не принесла облегчения, только неутолимую боль. Не заглушила она и уязвленного самолюбия. Теперь враги будут злорадствовать, думал Жонеут, они узнают, что он своей рукой ломал кинжалы и копья.

Да, ломал. Но не от бессилия, а от ярости. Вы еще убедитесь в этом...

Великой колдунье — домбре не околдовать его. Он все помнит: и дни мрака, и взрыв ярости, и мысли, пришедшие потом.

Домбрист не отводит от него взгляда. Что ж, пусть попробует прочитать в его душе. А прочитает, содрогнется от ужаса.

Новый кюй лился вольготно, широко, его движение напоминало бег разгоряченной лошади, сбросившей узду. Домбра щедро делилась неистощимым запасом доброты. Нежность звуков захватила самого музыканта. Отступило все пережитое. Он торжествовал: осуществилась мечта. Что может быть прекраснее, нежели возможность открыто, без стеснения, без утайки, без страха и угрозы унижения высказать людям все скопившееся на душе. Он не спешит,

не озлобление и не вызов диктуют ему. Он откровенен. Как это просто и как бесконечно много! Откровенен перед теми, кто считает его врагом. Они слушают, да, да, слушают сосредоточенно, миролюбиво. Даже воинственные папахи благодушно склонились набок. Старики свесили головы, казалось, погрузились в сладкую дремоту. Но их сонливость не обманула домбриста. Он чувствует: людские сердца открыты его мелодиям. Вон и верзилы-стражники присели у порога, задумчиво оперлись на ручки камчи. Они стерегли его дни и ночи и не догадывались, что тем временем рождалась грустно-томительная музыка, которая льется сейчас из-под гибких пальцев.

В юрте уже не люди, воедино спаянные ненавистью, а одиночки. У каждого своя дума. Каждому теперь не до Жонеута, не до кюйши. Если и есть что-то объединяющее, то оно возвращает к далеким временам, когда мать, нежно склонившись, пела тихую колыбельную, предназначенную только одному — ее младенцу, или вспоминается другой час — печальный час разлуки. Слезы юной жены, ее горе, тоска по единственному, по возлюбленному, который отправляется в далекий, неведомый поход. Надрывается душа джигита, увешанного с ног до головы оружием. Его мысли, коль не лукавить, не с товарищами, а с молодой женой, ослепшей от слез, с несчастной матерью, обессилевшей от горя, с испуганно таращившими глазенки детьми. Он, разумеется, крепился, не показывал вида. Бодро шагал к привязи, где нетерпеливо ждал оседланный аргамак. Но кто знает, чего ему стоило эта показная твердость, делавшая его таким же внешне спокойным, как и остальные джигиты.

Любо-дорого поглядеть, как лихо и уверенно они вскакивают на коней! Вам никогда не увидеть их разбухшее от слез сердце.

Они знают, чем побеждаются тоска и отчаяние. Ненавистью. Надо дать ей волю, снять перед ней преграды, и она заглушит все: и слезы матери, и стон жены, и страх детей. Она пригонит в сердце черную кровь, оно будет биться гневом, только гневом. Ничем другим.

Навстречу несется враг. Он тоже полон ненависти и мести. Его голова тоже кружится от злобы. Славно, очень славно. Поглядим, кто кого. Сойдемся в смертельном поединке. Звон кинжалов и коний заглушит последние человеческие проблески. У джигита уже нет ни дома, ни жены, ни матери, ни сыновей. Его никто не ждет и ничто не страшит. У него есть враг. У врага тоже нет ни сердца, ни

любви, ему тоже неведомы тоска и отчаяние. Нет большей радости, чем на всем скаку проткнуть его собачью грудь, видеть, как падает на землю, как истекает поганой кровью. Вот оно, подлинное счастье джигита! Вот когда ликует его душа, упиваясь местью, когда сверкают отважным пламенем его глаза, ширится его грудь. Как хочется догнать еще одного, с ходу поразить его острым копьем и увидеть, как наконечник, пробив ребра, внутренности, сверкнет на солнце своим окровавленным острием!..

Домбрист покушается на эту великую радость джигита, пытается развенчать ее. Выходит, враг тоже человек. Он разделяет с тобой не только взаимную ненависть, но ему ведомы любовь, тоска. Оказывается, у него тоже сжимается сердце в минуту прощания с женой, матерью, детьми. Его терзают сомнения, гложет смутная неудовлетворенность. Он спрашивает себя и тебя: почему все складывается безнадежно и беспросветно, достойна ли человека звериная жизнь?

Нежная мелодия обладает безотчетной силой. Она требует искренности, и ты не в состоянии ей отказать.

Да, случалось тебе в разгар схватки испытать ужас, даже отвращение к самому себе. Это были мимолетные чувства, когда под твоим копьем или кинжалом падал молодой, неопытный джигит и копыта втаптывали в землю его еще теплое тело. В горячке боя ты не давал простора недостойным батыра стыду и состраданию. Хорош бы ты был, если б расслабился, распустил нюни. Наверняка сделался бы легкой добычей врага.

Однако потом, когда кончалась схватка, когда ты оставался наедине с собой, испытывая отвращение к самому себе, чувствовал себя не воином, а убийцей. Но не открывать же товарищам свою смятенную душу. Они-то не терзаются совестью. А ты что, лучше других? Будь как все. Не мучай себя понапрасну.

И ты не мучил. Преодолевал минутную слабость. Когда не удавалось преодолеть, фальшивил, обманывал себя и других напускным молодечеством.

Значит, ты совсем не такой прямой и честный, как всегда самодовольно считал себя? Ты способен кривить душой и перед собой, и перед соплеменниками. И кто тебя обличил? Домбрист.

Домбра не может лгать, не умеет. Ее откровенность рождает ответную откровенность слушателей.

Домбра исходила скорбью, убеждала и рассказывала.

Отвечая ее струнам, звучали струны человеческого сердца — самые потаенные, самые тонкие. Такие, о существовании которых человек не всегда догадывается.

Домбра взывала, молила о чем-то. Но не унижалась, не била челом, не просила пощады и снисхождения. Даже в горе она сохраняла гордость, независимость.

Жонеут не мог до конца раскусить домбриста. Казалось, он уже все понял. Но нет.

Какие, однако, муки терзают его? Откуда ему ведома мелодия, которую накануне гибели играл Даулет? Откуда он узнал о муках Жонеута? Ведь кто-кто, а Жонеут умеет владеть собой. Как кошмой, он закрывает душу от посторонних и любопытных. Он достаточно силен и мужествен.

В месяц траура люди видели его горе. Но видел ли кто-нибудь его слезы?

Сейчас он, правда, немного ослаб, раскис из-за проклятой домбры. Но, слава аллаху, никто этого не заметил. И не заметит. Он сумеет справиться с собой. Не справься он, все полетит в тартарары.

Вон как размякли, развесили уши. Не зря славный Кёк-боре не выносил музыкантов. Когда Жонеут хотел победить власть домбры, ему на ум приходил Кёк-боре, не изменявший своей неприязни к дутару и женским слезам. Когда отдавался мелодии, всплывал нежный образ Даулета. Сейчас он звал на помощь Кёк-боре. При грозном батыре не осмеливались ни плакать, ни играть. Если и случалось такое, Кёк-боре садился на коня — и ищи ветра в поле...

Крепись, Жонеут, крепись. Да поможет тебе славный дух Кёк-боре. Ты мужественно пережил самое ужасное — гибель последнего сына. Кто упрекнет за мгновенную вспышку, обратившую в обломки оружие сыновей! Так не поддавайся и домбристу-искусителю, не выказывай слабость!

Кюйши не отводил взгляда от Жонеута. Взгляд этот торил путь звукам. Они добирались до самых глубин, все сильнее терзали грудь, все властнее становилось их наваждение. Можно подумать, будто им дано растопить лед любой жестокости, любой злобы и нет силы, противостоящей чарам этого кюя.

Жонеут почувствовал незнакомую теплоту в глазах — навертывались слезы. Это не кюйши, а ненаглядный Даулет обращался к нему с мольбой...

Но Даулета уже нет. Жонеута не собьешь. Что же есть? Опустевшая юрта, одинокий старик.

Жонеут не выдержал взгляда домбриста и отвел глаза.

В углу была протянута едва заметная веревочка. В день гибели Даулета на нее нанизали сорок тонких пресных лепешек. Каждый вечер после молитвы мулла снимал одну лепешку и давал ее приехавшим гостям. Оставалась последняя. Сегодня вечером и ее снимут. Исчезнет все, что связано с именем Даулета, с памятью о нем. Останется одно-единственное свидетельство — могильный холмик на старом кладбище...

Мелодия оборвалась. Кюйши в изнеможении опустил домбру на колени.

Слезы текли по усам старого батыра, скатывались на раздвоенную бороду. Судорожными движениями он вытер мокрое лицо.

Словно перед броском, напружинился, замер домбрист. Собрал в комок последние силы. Он не замечал испарины, покрывавшей лоб. Он ждал.

Но то было последнее напряжение.

В юрте — ни шороха, ни вздоха. Тишина, полная еще не умерших звуков. Они всюду — в воздухе, в переплетах решетки, в каждой щели прокопченной юрты. В ушах всех, кто слушал домбриста.

Жонеут опомнился первым. Усилием воли он вернул себе всегдашнюю решимость. Перед ним на корточках горбился маленький бледный музыкант. Он выглядел так, словно один бился с бесчисленной ратью, всех одолел и теперь отдыхал на поле брани. Он устал, глаза его слипались. Он делал над собой усилие, напрягался, поднимал отяжелевшие веки.

Туркмены еще не пришли в себя. Жонеут не открывал рта. В какой уж раз придирчиво, с пят до головы оглядывал щуплого домбриста. Покосился на аксакалов. Все встрепенулись, сбросили с себя оцепенение...

Жонеут выпрямился, властно сдвинул брови, подал знак конвоирам. Они вскочили, надели на пленного кандалы, поволокли к выходу.

Все, удерживая дыхание, повернулись к Жонеуту. Он не нарушил тишины. Лицо его хранило каменную непроницаемость...

7

Снова курган, размытый дождями, разрушенный долгой чередой лет. На нем едва заметный бугорок, не знаешь — не углядишь. Он сросся с курганом, стал частью

его. Только черной могильной глыбе-плите все нипочем — вода, ветер, годы.

Скользя по глинистому склону, Жонеут спустился вниз. Дождь не стихал третьи сутки. Намокло седло, хоть отжимай чепрак, до нитки вымок всадник, одежда облепила тело. Было зябко и неприютно. За густой кисеей дождя темнело море, обессилевшее под бесконечной дробью капель. Оно нехотя ворочало волнами, брюзгливо ворчало.

Пытаясь отогнать невеселые мысли, Жонеут вытянул коня камчой. Но конь не прибавил шагу. Его ноги разъезжались, вязли в глине. Он кое-как дотащился до песчаной тропки, тянувшейся вдоль раскисшей дороги. Хлюпая по лужам, брел в направлении аула.

Жонеут оглянулся назад, на мыс, вдававшийся в море. Священной могилы не было видно. Очертания кургана расплылись, сливаясь с темной водой, падавшей сверху и подступавшей снизу. Вода, кругом вода. Как знойной летней пустыне, ей нет конца-краю. Она смывает поверхность равнины, несет к морю ветки, кустарник, мусор, мелких тварей, насекомых...

Брюхо коня забрызгано липкой грязью. Он выбивается из сил. Смутно виднеющийся впереди аул помогает преодолеть остаток пути.

Поездка не принесла облегчения. Курган с могилой святого ничего не сказал душе Жонеута. Его душа сейчас что старая щелястая лачуга, открытая ветру.

Разбитым, вконец опустошенным возвратился Жонеут домой. Похоронены последние надежды. В понуром, продрогшем до костей, заляпанном грязью всаднике не узнать батыра, один вид которого когда-то вселял неодолимую бодрость, слово значило приказ.

Видно, когда мельчают люди, то и святые теряют былое могущество. Святые перестают понимать людей, а люди не приемлют их волю. Что же получается? Некогда бесстрашный народ опустится до жалкой жизни, по праву презираемой святыми. Копьями будут шуровать в очаге, кинжалами выковыривать мозг из бараньих костей.

Выходит, он один грезит стариной, рыщет волком, жаждет сражения, размахивает своим видавшим виды копьем...

До залитого дождем аула Жонеут добрался уже после обеда. Поводок небрежно бросил Аннадурды, выскочившему навстречу, и вошел в юрту.

Это было его последнее путешествие.

Слякотная осень подходила к концу. Степная полынь размокла, обнажила корявые корни. Казалось, ее горечь пропитала насыщенный влагой воздух.

Ночами слегка подмораживало. Утром клубился сизый туман. К обеду он нехотя редел, очищалось небо, нет-нет да и показывалось солнце. Но на севере уже набухали тяжелые темно-фиолетовые тучи.

Едва из-за туч прорывалось солнце, верблюжата веселой ватагой спешили на луг.

Людям тоже не хватало тепла. Чуть прояснялось, они высыпали из юрт.

Иногда Жонеут бродил за околицей. Никто не приближался к нему, и он не искал спутников. Далеко-далеко пасся скот. По склонам увалов в поисках солончака бродили верблюды. Табуны диких коз с цепочкой козлят позади двигались на юг вдогонку уходившему лету. Все живое искало пищи и тепла, тянулось к солнечным лучам.

К вечеру с севера веет холодом. Небо нависает грузными облаками. Люди забиваются в юрты. Но и там мало тепла и уюта. Долго не разгораются отсыревшие кизяки, шипят, чадят. Вонючий дым тянется к потолку.

После сороковин Даулета люди забыли дорогу к юрте Жонеута. Хлопотливая старуха, жена Жонеута, толчет в ступе, крутит прялку-юлу, гремит посудой. Но и она не всегда решается вылезти из своего угла, потревожить старика неуместными расспросами.

Вначале, правда, заглядывала родня, навещали аксакалы. Но разговор не ладился, не клеились беседы. Старый батыр хранил неприступность, нехотя цедил слова.

Только Аннадурды нарушал одиночество Жонеута, пытался отвлечь его от скорбных мыслей. Но то ли не знал подходящих слов, то ли смелости не хватало. А всего вернее, Жонеут дорожил покоем больше, чем собеседником. Посидит Аннадурды, помолчит, что-то скажет некстати — и домой.

Оживление вносил сынишка Аннадурды Курбан. Заскочит вечером, подсядет к старику. Пьет чай, зыркает по сторонам, сыплет аульными новостями.

У старика теплели глаза, подобие улыбки появлялось на лице. Но губы не разжимались, словно запечатаны.

Курбан подбрасывал кизяки, раздувал огонь и не переставал тараторить.

Жонеут неподвижно глядел на огонь. Все ли он улавливал в оживленной болтовне мальчика? Вряд ли. Однако точно никто не знает.

Курбан нетерпеливо ерзал на месте, чего-то выжидал и не спешил домой.

Убедившись, что Жонеуту не до него, стал делать старухе какие-то знаки. Она поняла Курбана, но, боясь мужа, нерешительно пожала плечами. В конце концов терпение мальчика иссякло.

Он взвесил возможные последствия и решил, что рискует самое большее получить несколько ударов камчой. Осторожно приблизился к стене, на которой висел дутар Даулета.

Жонеут по-прежнему не обращал на него внимания. Мальчик остановился в нерешительности.

И, поднявшись, не дыша, на цыпочках, неслышно снял со стены черный футляр. Не отрывая глаз от старого батыра, сел, бережно вынул дутар. Его лицо озарилось счастьем.

Жонеут все так же задумчиво следил за тлеющими углями. Загодя заготовленный сухой кизяк, до белизны выжженный солнцем, вспыхивал лиловым пламенем, как сено. После него оставалась горстка сизого пепла. И так вновь и вновь.

Разве не сходно устроен человеческий мир? Сильный пожирает слабого. Но не долог час его торжества. На сильного находится более сильный, на того — сильнейший. И все — один за другим — горят, пылают, оставляя после себя пыль, прах. В чем же смысл смертного круговорота, суетного бытия?

Ярче разгорается огонь, жар дышит в задумчивое лицо, согревает старческое тело, манит успокоительной дремой. Однако Жонеут слишком занят своими мыслями, чтобы отдаться сну.

Вдруг какой-то глухой звук раздался за его спиной. Жонеут, вздрогнув, обернулся.

Испуганный Курбан, как если б обжег пальцы, выпустил из рук дутар.

— Вон! — Жонеут почувствовал, что у него перехватывает дыхание.— Вон! Дома у себя тренькай!..

Мальчик схватил дутар, опрометью выскочил на улицу.

Жонеут отдышался, попробовал сосредоточиться. Но ход важных мыслей был прерван, его не удавалось восстановить. Жонеут с досадой облокотился на подушку.

Старуха сняла с треноги казан. Вспоминая былые времена, шумное и многолюдное застолье, она расстелила перед мужем коротенькое полотенце, поставила на него большую в трещинах деревянную чашу.

Последнее время Жонеута не радует еда. Возьмет два-три

кусочка мяса, нехотя прожует, вытрет руки. До горячего бульона тоже едва дотрагивается и возвращает миску.

Старая быстро убирает, опрокидывает миску в серую, еще горячую золу. Прибрав, поставив все на место, гасит подслеповато чадящий ночник.

Они укладываются в постель раньше всех, а засыпают всех позже, когда степной аул уже давно отошел ко сну. Осенний дождик мелко и тонко барабанит по юртам. Не лают собаки, не блеют овцы, не ревут верблюжата. Холод, ненастье, мрак. Прокопченные юрты неразличимы в ночной темени. Уже неизвестно — существует аул или нет, живы его обитатели или вымерли.

Но наступит утро, и возродится жизнь. Незавидная, уныло однообразная, однако жизнь. Жонеут лишен и ее. Люди будут обмениваться новостями, расспрашивать друг друга, вспоминать. Они ощутят себя звеньями в бесконечной человеческой цепочке. Жонеуту теперь неведомо это чувство.

Давненько не кажет глаз Мамбетпана. Кроме дождя и осенних бурь, видно, ничто не тревожит богатые табуны.

Как-то Аннадурды от знакомого охотника казаха — с кем не сведет степь! — узнал, что Дюимкара снялся с насиженного места и ушел в долину, где находится его зимовка. Жонеут тогда ожил, воинственно насторожился. Он прислушивался к топоту, надеясь, что вот-вот нагрянет враг. Он бы уж его не проморгал. Издалека различил бы бег его скакуна. Месть, отрадная месть вернула бы ему сон, покой.

Однажды он уснул перед самым рассветом и увидел сон.

Кто-то из джигитов — он не мог припомнить имя — скачет издалека, машет рукой, зовет Жонеута. Батыр возликовал, радостно забилось его усталое сердце. Наконец-то мчится заклятый враг, свершится расплата.

Он ищет коня, но того и след простыл. «Люди, люди,— зовет Жонеут,— подайте коня!» Однако его не слышат, и сам он не слышит своего голоса. Его захлестывает ненависть, ему не хватает воздуха...

Тут-то и разбудила жена. Он открыл глаза и различил звуки утреннего пробуждения. Соседка гулко толкла что-то в ступе и кричала сыну, пасшему верблюжонка. Ей отвечал ломкий мальчишеский голос. За юртами жалобно блеяли овцы. На улице беззлобно переругивались женщины.

До Жонеута дошли слухи, что Дюимкара разбогател, заделался большим баем, завел несметные стада. Ему не до

мести, не до набегов, дай бог управиться со скотом. Дел небось по уши. Где уж тут вспомнить о пленном домбристе. Махнул на него рукой и думать забыл о заступничестве.

Значит, соплеменники не спешат вступиться за своего кюйши, не пытаются отомстить за него? Что ж, решил Жонеут, поглядим, удастся ли им отсидеться. И приказал казнить пленного.

...Пусть не сетует читатель на автора за невольные возвращения в прошлое. Не моя в том вина. Я лишь следую за Жонеутом, а его близящаяся к исходу жизнь движется неровно, то возвращаясь мыслью в прошлое, то несбыточной мечтой уносясь вперед. Чтобы понять эту полную страданий и преступлений жизнь, приходится и нам иной раз оглядываться назад.

Казнь пленного домбриста — дело свершенное. Между тем она дни и ночи преследует старого батыра, назойливо сверлит мозг. Особенно ночью.

Раньше, в доброе прежнее время, вернувшись из похода, он падал как подкошенный и спал несколько суток кряду. Можно было стрелять над ним, можно было отрезать уши, он все равно не проснулся бы.

Теперь иначе. Будто не пышная под ним постель, а колючки. Ворочается с боку на бок, пытается отогнать виденье. Да какое там...

Неотступно стоит перед глазами котловина. Густо заросшая кустарником, она берет начало у Мангышлака, оттуда, разветвляясь, идет на Хиву и на Балханы. По ней пролегла большая дорога, в любое время года в оба конца тянутся путники, караваны.

Назавтра после сороковин Даулета, после того как домбрист, излив душу, дьявольски околдовал слушателей и выжал слезы из глаз никогда не плакавшего Жонеута, сорок джигитов отправились к котловине. Они ехали не спеша. Окруженный всадниками, музыкант гремел кандалами. Минувший день забрал у него остаток сил, он падал, и камча поднимала его на ноги.

До места добрались в послеобеденную пору. Но не вылезали из чащи до наступления темноты, следили за караванным путем. После захода солнца выбрались из укрытия, подъехали к дороге, спешились.

Ни души вокруг.

Трое всадников отвязали притороченные к седлам лопаты, засучили рукава. Рыли быстро, споро. Оглянуться не успели, готова яма в человеческий рост. Жонеут подошел к ней,

оглядел и кивнул в знак одобрения. Кивнул еще раз, и кюйши опустили в яму. Даже не сняв кандалы.

Считанные мгновения потребовались, чтобы засыпать яму, сровнять с землей.

Из земли торчала голова домбриста.

Жонеут сел на коня, опустились в седла остальные сорок джигитов и помчались в аул. Ни один не оглянулся.

Ночь и заросли поглотили всадников. Под копытами хрустел саксаул. Кони вздрагивали, напрягали животы, прядали ушами. Белая пена падала на ветви.

Жонеут молчал. Молчали спутники. Это нисколько не напоминало возвращение из удачного похода — ни смеха, ни оживленных выкриков, ни хвастливых возгласов. Немота сковывала кавалькаду. Папахи приникли к конским шеям.

Перед восходом вступили в аул. Бесшумно, как воры...

Утром никто не спешил покинуть юрты. Загнанные кони паслись за околицей.

Весь день — нет, казалось, ему конца — Жонеут пролежал в постели. Не спал и не бодрствовал. Он не сумел бы определить свое состояние.

Ни один человек не переступил его порога. Он не знал, как это истолковать: осуждение, страх? Или они хотели обособиться от него?

В изнеможении Жонеут закрыл глаза и сразу же широко открыл их. Лунный свет, проникнув сквозь щель, падал на лицо. Жонеут чутко вслушивался. Облака скрыли луну. Ничто не беспокоило зрение и слух. Однако тревога не унималась. Она гнездилась где-то в глубине.

Снова молочный свет залил юрту. Домашняя утварь отбрасывала резкие тени. Жонеут пробовал унять волнение. И не мог. Не знал, что с ним происходит. Но не хотел считать себя жертвой страха.

Однако хотел или не хотел, тревога оставалась. Она заставляла обостренно прислушиваться к себе и к тому, что творится в ауле. Но в ауле ничего не творилось, ничто не давало повода для беспокойства.

Во сне вздыхала старуха. «Она-то чего?» — раздраженно подумал Жонеут. Но смягчился: наверное, переживает за него.

На дне ларя назойливо скребли мыши, где-то завели норку.

Впервые Жонеут испытал страх одиночества, заброшенности. Казнь на караванной дороге провела незримую границу между ним и остальными, между ним и всеми людьми.

Им, остальным, тоже страшно. Они боятся не только врага, они боятся мирного путника, даже конского ржанья. Но от их страха Жонеуту не легче. У него свое, он один. Как человек, на утлой лодчонке выплывший в море.

За аулом надрывалась лисица. Выли, щелкали зубами шакалы — делили падаль.

Наступит ли конец этой ночи? Хоть немного покоя, хоть недолгий сон.

Но сознание ясно. Все рисуется с безупречной отчетливостью.

Длинная-длинная дорога белеет в лунном свете. Ни каравана, ни верблюда. По обе стороны сплошная стена зарослей. На обочине из земли торчит голова.

Страшно тебе?

Голова молчит.

По спине Жонеута бегут мурашки. Он поворачивается на бок.

Дорога не исчезает, не меркнет луна. Чаща настолько приблизилась к белой полосе, что, сделай деревья и кусты шаг навстречу друг другу, не будет дороги, скроется голова.

Страшно тебе, домбрист?

Ты тоже, наверно, знаешь, каково это — бегущие по спине мурашки, холодная испарина на лбу. Только не можешь двинуться, стереть пот. Твои руки глубоко в земле, и ноги в земле, и тело в земле, и кандалы твои в земле. Ты обречен на неподвижность. Тебе не убежать от смерти, пальцем не шевельнуть... Сердце гулко бьется в слабой груди. Так гулко, что я слышу его удары. Земля вздрагивает под ними, ходуном ходит...

Жонеут вертится с боку на бок. Как ни поворачивается, перед ним маячит голова. Домбрист смотрит вдоль дороги. Не появится ли кто-нибудь, не придет ли избавление? Чего проще разрыть яму — минутное дело. Он сам выберется. У него целы руки, ноги. Пока целы. Но скоро их не будет. Ржавые кандалы повиснут на костях.

Что-то почудилось ему в чаще, послышались шаги. Не вернулись ли всадники с этим мрачным стариком, подавленным смертью сына? Домбрист твердо знает: они люди. Он видел слезы на глазах старика.

Но ведь по воле старика его бросили в яму, засыпали землей, обрекли на смерть, с ужасом которой ничто не сравнится.

Тебе страшно, домбрист? Не жди помощи. Это лишь тени, лишь скрип веток на ветру. Не заблуждайся пона-

прасну, не вслушивайся, не всматривайся. Тебя хотели не напугать, а умертвить. Всадники не вернутся, старик лежит в своей постели.

Не верти головой. Видишь? Слышишь? Это не люди. Звери почуяли запах человека. Все ближе мохнатые морды, горящие глаза, оскаленные пасти. Они тебя выкопают из земли, разорвут на клочья. Ты думал, останутся кости. Не останутся кости. Не останутся. Одни кандалы, разъеденные ржавчиной...

Задыхаясь, Жонеут вскочил с постели, бросился к стене, сорвал кинжал. Положил рядом с собой под одеяло. Он гладил холодную, знакомую до последней вмятинки поверхность ножен, сжимал рукоятку.

Хвала тебе, кинжал. Тебя боятся призраки. Сразу отступили, растворились в темноте. То-то же.

Не выпуская из рук кинжала, старик присел на постели. Ни звука. Мыши утихомирились на дне ларя. Поделив, видно, падаль, угомонились шакалы. В маленькой юрте по соседству, где прежде жил Даулет, храпят, намаявшись за день, четверо пленных казахов, потерявших человеческий облик.

Страх развеялся. Не таков Жонеут, чтобы предоставить страху власть над собой. Руки еще держат кинжал. Он в полном разуме.

Ему надо ответить на один вопрос, и тогда наступит умиротворение. Ответить на вопрос, и все.

Эта мысль не сейчас посетила его. Но он не смог с ней свыкнуться.

Жизнь ставила перед ним загадки похитрее. Он справится, он никогда не жаловался на слабость своего ума. Его авторитет нажит не богатством. Умом, отвагой, верностью...

Так зачем он закопал живьем в землю домбриста?

Жонеут отложил кинжал, скрестил руки на груди — поза, самая удобная для размышлений.

Домбрист ни с кем не воевал, никому не причинил зла. Чего не было, того не было. Жонеут любит судить по справедливости.

Немалая сила таилась в пальцах и в душе музыканта. Он употреблял ее не во зло, а во благо людям. Надо быть честным, надо признать: в тот день он покорил туркмен. Не кинжалом, а домброй. В их сердцах зародил любовь к себе. Жонеут это видел.

По словам Аннадурды, Даулет при поездке к адайцам

состязался именно с этим кюйши. Состязание длилось долго. Противники стоили друг друга. Победа склонялась то к одному, то к другому, но не могла сделать решительный выбор. На помощь пришел старый мудрец. Своей речью он положил конец состязанию.

«Вы и впрямь достойная пара,— сказал он,— искусство каждого из вас несравненно. Но одинокий скакун недолго скачет, когда у него нет соперника. Поделите между собой первый приз».

Старый мудрец уравнял в таланте Даулета и домбриста, Жонеут не боится правды, пожалуй, мудрец не ошибся.

Как домбрист угодил в руки туркмен? Проще простого. Невелика их заслуга. Отряд, потеряв Даулета, страшился праведного гнева Жонеута. Он надеялся смирить старого батыра достойной жертвой. Когда на пути попался поглощенный своими думами или охотой знаменитый кюйши, они решили: вот чем старый Жонеут расплатится за гибель своего любимца.

Жалкие болваны с умом лисиц и нравом шакалов! Нет того, чтобы схватить какого-нибудь адайского наглеца, известного батыра. Жонеут разрубил бы его на куски и куски бросил собакам. Колебания не тронули бы его. Если б и пожалел о чем-нибудь, то о том, что жертва все же недостаточная для памяти Даулета.

Но нет, батыр им не попался. Они захватили чудака домбриста, который и пальцем не шевельнул, чтобы спастись.

Предположим, Жонеут отпустил бы его подобру-поздорову. Ответом было бы всеобщее негодование. Все бы в голос завопили: старый Жонеут совсем спятил, лишившись сыновей, превратился в бабу.

Что может быть постыднее, чем прослыть мягкотелым, отходчивым. И враг не преминет этим воспользоваться. Он уверится, что копье выпало из некогда крепких рук. Тогда не оберешься беды.

Но Жонеут не обмяк сердцем. Руки его крепки. Он еще заставит недруга захлебнуться в собственной крови. Не даст в обиду свой народ, землю родную...

Жонеут потянулся к кинжалу. Но, опомнившись, снова скрестил руки на груди.

Он не тщеславен, не о себе его думы. Его заботит честь народа. Не в слепом опьянении обрек он на смерть домбриста.

По большой караванной дороге взад-вперед шастают казахи в Конрат, в Хиву. За одеждами, за зерном. Рано или поздно кто-нибудь из них узнает о домбристе, зарытом

живьем на обочине. Узнает и ужаснется. Ужаснется и вознегодует. Слух о небывалом унижении достигнет ушей Дюйм кары. Тогда мы поглядим, кто он такой — истинный батыр или хвастун и баба.

Сохранись у него крупица гордости, он не стерпит, нет, не стерпит. Жонеут хорошо знает степные обычаи.

Как он мечтает об этой встрече! Да поддержат его духи предков. Он вцепится в глотку врага...

Потом можно будет спокойно умереть. Отомщена ранняя смерть сыновей, гибель единокровного брата Кёк-боре, горе и страдание несчастного народа.

Он, старый Жонеут, не праздный фантазер. Исход поединка неведом. Если не суждено сбыться его мечте, он готов принять ратную смерть. Его жизнь не дороже жизни трех павших сыновей. Ему есть что завещать своему народу. Он завещает месть.

Он не чета этому домбристу. Глядя в глаза смерти, не станет взывать к миру, всепрощению, любви и терпимости. Он оставит по себе ненависть. Умирая, он будет верить, что ни один туркмен не смирится, пока не проломит вражий череп.

Коль он, старый Жонеут, откроет свое сердце жалости, наступит самое ужасное — его соплеменники позабудут о копьях, будут, развесив уши, слушать всяких домбристов и дутаристов, с посохом отправятся пасти овец. С них станется. Не долог час, и они сами превратятся в смиренных овечек.

Правота на его, Жонеута, стороне.

Но он вроде бы забыл о кюйши. Несчастный малый. Надо же было в недобрый час отправиться на охоту... Может, аллах смилуется над ним. Воля аллаха превыше всего. Почему бы казахам сегодня либо завтра не поехать по дороге. Наверняка кто-нибудь спешит в Хиву или Конрат и попутно спасет бедолагу.

А если не спешит, если по-прежнему пустынна дорога?.. На душе Жонеута нет греха. Чем домбрист дороже Даулета, или Кёк-боре, или многих туркмен, чьи кости приняла степь? Пусть пеняет на сородичей. Неужто из сострадания к одному — допустим, невинному человеку — оскорбить честь и память сотен погибших? Из-за какого-то домбриста он не запятнает славу батыра. Эта слава от его силы и беспощадности. Любая слабость пагубна. Она на руку недругам, на беду своему народу. А потому будь жестоким!

Не им установлен этот закон степи, не ему отменять его. С него достаточно сознания собственной правоты.

Да, да, он прав. Жонеут самозабвенно повторял это слово: прав, прав, прав... Отходило сердце, выравнивалось дыхание, утихала боль в темени. Прав, прав, прав... Глаза умиротворенно закрывались.

Наступил вожделенный сон.

И тотчас разверзлась треклятая котловина. Она еще более углубилась. Кустарник превратился в огромные деревья. Они сомкнулись стволами — едва пройдешь, приходится искать щель. Исцарапанный, исхлестанный ветвями Жонеут пробирается сквозь чащобу. Из-под ног разбегается зверье. Слышен пронзительный свист, срывающийся на визг.

Ага, вот и край впадины. Деревья реже, ниже кустарник. Теперь будет легче, и дорога уже неподалеку. Однако не тут-то было. Ноги вязнут в зыбучем песке. Одну вытащишь, другая погружается. Остановиться бы, перевести дыхание. Но нельзя, надо торопиться. Все ближе за спиной цокот. Стоишь — его не слышно. Пойдешь — приближается.

Это началось еще у аула. Едва он отошел, позади раздался топот. Оглянулся — никого. Но Жонеут не прост, не так легко его провести. Он разгадал намерения преследователя. Тот надеется выследить старого Жонеута и поднять на смех: сам наказал пленного кюйши и сам, не выдержав, помиловал. Будет над чем посмеяться людям, чему порадоваться врагам...

Снова прислушался. Тишина. Сделал шаг, другой. Тишина. Уж не померещилось ли ему? Все спокойно. Луна озаряет широкий караванный путь. На обочине темнеет пятно. Надо подойти. Из земли торчит голова домбриста.

Никто, значит, его не видел, не освободил.

Лишь бы был жив... Голова понуро клонится к земле. Устал за день, все глядел и глядел на дорогу, надеялся увидеть путника. Потом, отчаявшись, задремал. Конечно, задремал. Иначе услышал бы шаги.

Ноги Жонеута подкашивались от волнения, от тревоги, от, грех признаться, радости: кюйши еще жив!

А чему, собственно, радоваться? Уж не собирается ли Жонеут его откопать, освободить? Нет, речи быть не может. Тогда поговорить с ним? О чем? Что сказать ему? Как быть, если он проснется и узнает старого батыра? Ни к чему это. Всего лучше спрятаться неподалеку, за этим хотя бы кустом. Так, чтобы была видна голова несчастного. Надо ночью сторожить ее от зверя и птицы. Птица может

выклевать глаза. Он ведь совсем беспомощен. Закованные в кандалы руки покоятся в земле.

Днем ни зверь, ни птица не опасны, днем беды не случится. Пройдут сутки, вторые, от силы — третьи, и появится путник, вызволит пленного. Со спокойной душой Жонеут вернется домой.

Жителям аула он скажет, что охотился. Хотел развлечься и отправился на охоту. Вполне убедительно.

Голова чуть заметно поднимается над обочиной. Еще несколько шагов, и можно будет ее разглядеть.

А вдруг домбрист услышит шаги, заметит приближающегося человека и сердце его не выдержит, разорвется? Похоже, голова встрепенулась, домбрист что-то почувствовал. Быстрее развеять его страх...

Но разве это голова кюйши? Ни малейшего сходства. Однако черты щемяще знакомы. Даулет!

Как он тут очутился? Отвернулся, не хочет смотреть на отца, не хочет узнавать. И не надо, не надо.

Жонеут голыми руками роет землю. Она легка как пух. И, как пух, выскальзывает из ладоней. Он черпает землю, но не может отрыть даже маленькой ямки — земля уходит меж пальцев.

Даулет не желает повернуться к нему. Будто не отец рядом, а кто-то чужой, ненавистный.

Отчаявшись, Жонеут перестал копать. Тяжесть сдавила грудь, першило в гортани, слезы щипали глаза. Комок в горле разорвался диким криком:

— Родной мой! Почему ты молчишь?

Во сне или наяву раздался этот крик? Жонеут слышал голос — чужой, хриплый. Но кому было кричать, кроме него?

По юрте растекался слабый свет зари. Кошма, решетки, нехитрое убранство — все было пепельно-серым, призрачным. Жонеут судорожно вцепился в толстое одеяло. Он проснулся, но еще не совсем. Следует собраться с мыслями, прочитать молитву.

Старуха уже хлопочет на улице. Вряд ли она слышала его крик. А то бы прибежала. За юртой протяжно стонет верблюжонок. Мирные звуки обыкновенного утра. Ни о чем не думая, Жонеут откинулся на спину, уставился в светящуюся щель. Он вспомнил свой сон, наивный сон. Только и заботы ему — освобождать обреченного на смерть пленного. Хорош бы он был, если бы так поступил наяву.

...Он считал, что одолел ночные кошмары. Но ошибся. Кошмаром стала сама жизнь. Исчезла грань между сном и

бодрствованием, между днем и ночью. Он потерял счет времени. Чувствовал вялое его течение, не отличая недели от месяца.

Раньше оно пролетало с быстротой небесной птицы. Теперь, забившись в юрту, как в нору, Жонеут томительно ждал, когда взойдет солнце и когда оно опустится. Дни сделались длинными, ночи еще длиннее.

Раньше можно было мерить время походами — удачными или неудачными, новостями, принесенными издалека, приездом гостей, праздниками и ссорами. Сейчас он потерял меру. Время обладало лишь одним свойством — оно изнуряло. Он ворочался с боку на бок в ожидании то сна, то пробуждения.

Можно, оказывается, мерить время еще и снами. Прежде он, бывало, говорил: «По прошествии двух дней после отъезда Мамбетпаны», или: «За три дня до моего набега на адайцев». Отныне шел иной отсчет: «В ту ночь, когда мне впервые приснился кюйши», или: «В тот день, когда я вдруг уснул и жаловался домбристу».

Все забыли о его существовании. Даже те, кто делил с ним походы, смотрел ему в рот, ловил его слово.

Иногда Жонеут задумывался: куда они подевались? Но не так уж это его беспокоило, чтобы ломать голову. Достаточно того, что он помнил, когда они последний раз безропотно повиновались ему. Сорок отборных джигитов, один к одному, были послушны каждому его жесту. Они покорно следовали за ним сквозь ночную чащу, ни один не посмел перечить ему. Они работали на совесть. Никто не пикнул. Молча сели на коней. Молча ехали всю дорогу. Молча вернулись в аул.

Молчание окружало Жонеута. Ни один из сорока не явился ему больше на глаза.

Раньше он постоянно был в пути, лучше кого бы то ни было знал все, что происходит в округе. Сейчас не покидал свою юрту. Зачем? Ему и без того известна нудная жизнь аула. Джигиты возятся рядом с женщинами и ребятишками. Чинят сапоги, мнут кожу, лудят старые казаны. Жонеуту нет до них дела.

В прежние времена аксакалы вспоминали о воинственных предках, сказочных батырах, несравненных мастерах копья и кинжала. Ныне не то. Они чешут языками о чем угодно — о пастбищах, покосах, водоемах. У них на уме житейские мелочи.

Когда-то они побаивались сурового Жонеута, взвешива-

ли слово, прежде чем произнести. Сейчас мелют что придется. Не аксакалы — болтливые бабы.

Жонеут осуждающе хмурится. Но кто этого страшится, кто видит грозно сведенные брови?

Никто. И не надо. Он сам не желает никого видеть. Не по нему повседневная суета, когда люди стучат молотком, скребут котлы. Жонеут заранее знает их вздорные пересуды: убежал паршивый козленок, затерялся верблюд...

О чем с ними говорить, горько усмехается Жонеут. Лишь один человек достоин быть его собеседником, лишь ему можно поведать свою печаль. Он все поймет.

Этот человек — пленный кюйши. Жонеут помнит, как смотрел он тогда, подняв голову от домбры. Всепостигающей мудростью светился его взор.

Но не удается толком поговорить с ним. Кто-то подглядывает, подслушивает. Делается не по себе. В таком состоянии не излить душу.

Надо думать о другом. О чем же?

Велик мир. Но лишь темнеющая на обочине точка притягивает к себе Жонеута.

Во сне жалость плавит его сердце. Днем сжигает стыд за недостойное сострадание.

Во сне он добр и независим от людской молвы. Наяву смелость покидает его. Он отталкивает от себя домбриста, с раздражением думает о пустых людях, предающихся жалким житейским треволнениям. Им недоступно ничто возвышенное, их души забыли порывы, там поселились муравьи. Он жалуется кому-то, и этот кто-то внимательно слушает его, понимающе кивает головой. «Что сказать тебе? — сокрушенно говорит голова.— Все, что я думал, высказал тебе последним кюем. Не забыл?»

Иногда между ними доходит до спора. Жонеут горячится, сыплет доводами: «Дашь народу волю, он вовсе распустится, забудет предков, священные заветы, уйдет в свои будничные заботы. Решит, будто свет клином сошелся на его детях и жене. А разве нет опасности, что какой-нибудь негодяй воспользуется этим, навяжет людям свою власть?»

Домбрист не возражает. Он тихо улыбается. Жонеут научился читать эту улыбку. «Я, дескать, давно нашел ответ на твои искания. Но он непригоден тебе. Ты считаешь, что лишь жизнь в вечной тревоге — это жизнь, достойная твоих соплеменников. Я не принимаю это за счастье. Много ли радости доставили им твои походы, не они ли расширили

кладбище за аулом?» Его печальные глаза устремлены вдаль. Взаимное понимание утеряно.

Едва Жонеут открывает глаза, отчаяние, гнев, сомнения, терзавшие во сне, исчезают. Их место занимает тоска. Такая тоска, точно он один-одинешенек в пустыне: сколько ни скачи в любой конец, не встретишь живой души.

В такие минуты приходит трезвое раскаяние. Боясь молвы, сплетен, праздных разговоров, он не решался спасти ни в чем, ровным счетом ни в чем не повинного кюйши.

Его кровный враг Дюнмкара пальцем не двинул, чтобы отомстить за домбриста. Знать, домбрист этот не слишком дорог разбогатевшему батыру. Но и Дюнмкара наверняка был недорог музыканту.

Неожиданная мысль поразила Жонеута. Что общего между Дюнмкарой и кюйши? Племенное родство? Безусловно. Но даже в одной семье случаются неприязнь, вражда.

Теперь Жонеут близко знал кюйши и не заблуждался. Конечно, тот не ценил Дюнмкару. Он слишком любил свое искусство, чтобы любить грабителя, насильника... Эта мысль впервые посетила старого Жонеута. Ясности, которой ему иногда удавалось добиться прежде, как не бывало. И больше уже не будет. Порочный круг намертво замкнулся.

Когда Жонеут уснул, им завладел бред. Из вереницы уродов и страшилищ вынырнула, оскалясь, волчья морда. Жонеут не впервые видел ее. За ней последует нечто ужасное. Так оно и есть. Волк с рычанием бросился на торчавшую из земли голову. Жонеут вскинул ружье, прицелился в зверя. Но голова нечеловечески закричала:

— Не стреляй! Лучше убей меня!

Волк скрылся в кустах. Голова поникла. Жонеут пытался объясниться с ней. Объяснения звучали жалко, невнятно. Он обрек кюйши на мучительную казнь, дабы распалить ненависть Дюнмкары, а тот и не подумал отомстить за соплеменника...

Жонеуту было не по себе из-за собственного лепета. Домбрист и вовсе не внимал ему, устал стоймя стоять в сырой земле.

Жалость пронзила Жонеута, жалость к домбристу и к себе. Он лишился единственного собеседника. Он считал себя ревнителем народной чести и справедливости, заступником за слабых. Все это чепуха. Он способен обречь на смерть слабого и невинного. Он палач.

Жонеут пробудился от этого слова. Оно наповал сразило его. Перечеркнуло его жизнь, былую уверенность, созна-

ние своей правоты и своего права на жестокость. Осунувшийся, с безумно блуждающими глазами, Жонеут сделал еще один шаг навстречу неизбежному.

Сегодня снова дождь. Весь день Жонеут прислушивается к монотонной музыке капель. Недолгие пробуждения сменяются забытьем.

В бесовском хороводе проносились тени. Заросшая котловина... зыбучий песок... разливанное море грязи... караванная дорога... перепачканные трясущиеся руки... темное пятно на обочине... Стоп. Хоровод замер. Перед Жонеутом лежал череп. Зияли глубокие глазницы, желтели зубы.

Время остановилось. Череп не исчезал. Как завороженные, они глядели друг на друга. Жонеут и череп.

Завывал ветер, откуда-то — уж не из-под земли ли? — доносился скорбный напев домбры.

Надо было прервать эти звуки, уйти от взгляда пустых глазниц. И Жонеут закричал что было мочи.

Упало на землю одеяло. Жонеут кинулся к двери. Споткнувшись, рухнул у порога, ударившись лбом...

Аннадурды сидел дома, в блаженной расслабленности слушал Курбана, в руках которого дутар Даулета.

Грех роптать, аллах не обделил сынишку талантом. Один лишь раз, спрятавшись за юрту, мальчуган слышал, как знаменитый невольник-домбрист играет этот кюй. Теперь же сам услаждает им отца. Аннадурды доволен, он просит повторить, и сын с готовностью выполняет его волю.

Крик Жонеута слился с последним звуком дутара. Аннадурды застыл в тяжком предчувствии. Крик не повторился.

Он быстро зашагал к юрте Жонеута.

Старый батыр распластался у порога. Аннадурды приподнял его за плечи, приложил ухо к голой груди. Долго прислушивался. Ухо уловило последнее тепло, уходившее из бездыханного тела.

1967

ХАТЫНГОЛЬСКАЯ БАЛЛАДА

То ложь иль правда?
Все, кто знает это,
Давным-давно в объятиях земли...

Еркин Ибитанов

1

Он проснулся, когда бледный холодный свет осенней зари только-только проник в шатер. Бывало, проснувшись, он еще долго чуял медовую истому безмятежного сна. То время исчезло. Бывало, стоило склонить голову к рукоятке камчи, которой опирался на луку седла, стоило лишь слегка подремать, не слушая монотонного боя копыт, и возвращалась легкая бодрость. Та самая бодрость, какую испытываешь в девичьих объятиях. Давно не испытывал он той бодрости. Бывало, укладываясь в прощупанную семью рабами и раскинутую семью красавицами постель из птичьего пуха, он думал о том, что ненамного, должно быть, лучше и в самом Эдеме, о котором бесконечно и нудно толкуют люди. Теперь шелестящая ткань касалась его тела холодно, словно острие меча. Жадные до человеческого тепла шелка обжигали льдом, он зябко вздрагивал, словно его заживо предавали земле. И он подолгу не смыкал глаз. Тоскливо становилось в его неуютной душе, встревоженной думами. Он думал о том и об этом, невесело и с трудом удавалось ему окунуться в короткое забытье. Теперь так редко радуется дряхлое сердце... Но по утрам, проснувшись и убедившись в том, что еще жив, он ощущает подобие радости. В одиночестве, когда можно не бояться постороннего глаза, он долго разглядывает свои жилистые, в набухших сосудах руки, словно видит их впервые, по очереди ощупывает все десять своих пальцев, унизанных дорогими перстнями, будто радуясь, что никто не отрубил их во время сна.

Да-а...

Каждый из перстней имеет свою судьбу. Вот этот ярко-красный рубин, будто капля крови, оброненная в снег белым маралом, достался после набега на Бухару. Тогда была

молодость. В бескрайних равнинах рыжей степи, словно чесоточные волдыри на человеческом теле, возникали бугры городов, и на них обрушивались стан его несметных туменов. Когда густая белая пыль обволакивала все небо и нарастал гул миллионов копыт, под которыми прогибалась земля, серый конь его начинал горячиться, подплясывать и нетерпеливо мотать головой, прося повод, и он с трудом сдерживал его и себя. Помнится, с одной стороны бесновалась дикая орда Зеравшана, с другой, будто пораженный проказой, маячил среди барханов и дюн пестрый город. Когда воины наконец разрушили крепостные стены и ворвались в город, он вскочил на ступени величавой мечети, увенчанной синим куполом:

— Город пал, теперь не время сдерживать коней!

Что тогда началось! Длинные пики, которые только что прокалывали тела, начали тыкаться в окна домов, эти слепые глаза шайтана. Тяжесть дубин крошила двери, кривые сабли повисли над затылками стариков, женщин, детей. Разве для кровожадных вояк, для тех, у кого ястребиное сердце, а глаза подобны глазам стервятника, не звучит приятней свирели змеиный шелест сабли, в ярости выхваченной из ножен? Есть ли бóльшая радость и наслаждение, чем видеть умоляющие глаза и дрожащие подбородки? Трясущиеся руки и подламывающиеся ноги? Что толку от меча, если он никогда не был окровавлен? Что толку от ярости, не нагоняющей страха?!

Черная кровь, рекой залившая землю, еще не свидетельство достойной победы. Залог победы — это тускнеющие глаза и бессмысленность жалких слов, глаза, потерявшие блеск, и речь, лишенная смысла. Ты можешь по пояс бродить во вражьей крови, но отраднее увидеть хотя бы одну слезу унижения. Потому-то он после каждой битвы и оглядывает, ощупывает взглядом своих пленников. Их проводят мимо него вновь и вновь, до тех пор, пока он не увидит, что слезы бороздят их лица. Только тогда он круто обрывает свой безмолвный допрос. Горе тем, у кого в глазах не увидит он покорных и жалких слез: тогда от города не останется камня на камне. Да, к милости победителя может взывать не гордый дух воина, а лишь слезы жалости.

К вечеру того дня, когда пала Бухара, предводители войск привели к его золотисто-пестрому шатру женщин побежденного города. Перед глазами, будто купеческий караван, прошли пленные красавицы. Жена городского начальника вошла в шатер, не склонив головы. Два стража, стоявшие у входа, уже подняли было сабли, чтобы снести голову

гордячке, но он остановил их. Стражи силой поставили ее на колени, но женщина продолжала высоко и дерзко держать голову. Может быть, она, лишь недавно яркой звездой украшавшая образованное и высокородное общество, чтила честь мужа и своих соплеменников? Словно говоря, что стоять на коленях еще не значит быть покорной, она устремила глаза к небу и зашептала молитву. Выходило, что она молилась не ему, а всевышнему. Про себя он полюбовался умом и находчивостью упрямой красавицы. Когда она подняла руки, чтобы провести по лицу ладонями, на ее тонком длинном пальце ярким огнем блеснул драгоценный рубин. Она закрыла глаза, благоговейно пошевелила губами и отняла от лица руки. И в тот же миг он подал страже знак. Кривые сабли блеснули за спиной женщины, и десять белых, тонких, словно корешки камыша, пальцев упали к ногам повелителя. Теперь они были похожи на сухие ветви жузгена. Изогнутые губы гордячки плотно сжались, белое, как мрамор, лицо мгновенно вспыхнуло. Из больших, словно плошки, глаз выкатились две слезы, но, смертельно побледнев, она тут же застыла, словно окаменела, упрямая и непокорная.

И рубиновый перстень женщины, которая не убоялась властителя, сумевшего смять, как сухую траву, целых полмира, с тех пор по праву принадлежит ему. Старая память о несломленной женской гордости...

А это серебряное, слегка потускневшее кольцо? Оно досталось ему от старого кузнеца. Когда был захвачен Отрар, кузнец так хитро и неожиданно подкрался к нему сзади, что едва-едва не снес топором голову. Вот эта жемчужина принадлежала богобоязненному мусульманину, не оставившему самозабвенной молитвы, когда они ворвались в знаменитую, тягавшуюся по красоте с самим небом мечеть Самарканда. Бриллиант на указательном пальце был снят с мизинца честолюбивого сына Кавказских гор: перехватив вожделенный взгляд властителя, джигит в бессильной ярости полоснул кинжалом по горлу своего длинношеего аргамака. Кольца и перстни отбирались у всех, кто не испытывал трепета. А до чего же слепы и безумны люди! Он думал вначале, что их очень немного — тех, кто не ощущает страха пред владыкою мира. Но один лишь перстни и кольца этих безумцев стали грузом для многих его караванов. Он не мог победить не только бесстрашную гордость, но даже такие неизменные людские пороки, как скупость и ненасытную жадность. Однажды — это было на базаре Термеза — какой-то купчишка на его глазах лихорадочно стянул

с пальца и мгновенно проглотил перстень. Он приказал своему нойону проткнуть поганое скупердяйское брюхо и вытащить перстень. Вот он, тот золотистого цвета яхонт.

Сколько же тысяч пальцев отсекли его воины! Сколько их было, тех дерзких рук! Он определяет их число лишь примерно, по числу верблюдов, навьюченных кольцами. Да, это так: многие смертные не пожелали покориться ему. Но его войска знали, что делать там, где встречались такие люди: женщинам вспарывали животы и вырезали их материнскую утробу, а мужчин ловили и оскопляли, истребляя непокорное вражье семя. Иначе на земле не исчезнут непокорные...

Но в затеянной им кровавой гульбе уцелеют руки и ноги других людей. Тех, кто не способен думать ни о чем, кроме собственной шкуры. И потому от шкурников будут рождаться только шкурники, со временем одни шкурники будут прозябать на земле. Хребет шкурника хрупок и слаб. В будущем и он, и его Чагатай, и Угедей, и Джучи, и все многочисленные, раскиданные по свету их потомки увидят только этих презренных людей, чьи головы будут трястись, как хвост чесоточной годовалой козы. Трясущаяся голова не в силах увидеть, что творится вокруг; люди потеряют не только ум, но и зрение. А зачем ему, его потомкам людское зрение? Довольно будет одних мускулистых рук и переступающих по приказу ног.

Увидев, что кольца на всех десяти пальцах в целости и сохранности, он повеселел.

Ему приснился сегодня сон: обнаженная и белотелая, с яркими, как звезды, глазами, юная девушка жарко ласкала его, повиснув на шее. Может быть, это видение помогло ему проснуться бодрее обычного. Да-а... Давно уже не появлялся он в своем гареме, где томились красавицы, собранные со всех четырех сторон света. Должно быть, он начал стареть: память не сохранила имен многих из них. Годы и дальние походы утомили его. Чтобы не обнаружить невзначай старческой немощи, он уже избегал женщин, но сегодняшний сон снова вернул ему мужскую уверенность.

Он хотел было позвать охотника Кахара, чтобы тот истолковал сон, и тут же раздумал, решив, что жизнь тот же сон, так же лжива, обманчива, и потому немыслимо всерьез верить обычным снам. Давным-давно, когда он неприкаянным мотался по свету, терпя нужду и лишения, он уснул однажды в каком-то углу и увидел сон: в голой безлюдной степи на его обглоданном черепе сидел стервятник. Тогда

он проснулся в жутком страхе. Но не прошло с того дня и месяца, как его подняли на белой кошме, объявили ханом.

Он позвонил в колокольчик, вызывая стоявшего за дверью вооруженного слугу. Одежда, которую тот внес в шатер, была холодна.

— Почему так?

— Сегодня ночью выпал снег,— ответил страж.

И ему вспомнилось, что ежегодно, сопровождаемый метким стрелком Кахаром, он по первому снегу выезжал на охоту.

2

Во время охоты он не отпускал Кахара ни на шаг от себя. Кому неизвестно, что хороших стрелков опасно держать на большом расстоянии? Это плохих стрелков гораздо лучше держать подальше от себя.

Ему нравился его серый: хоть и низкорос был конь, зато широк и длинен, с плоской, как лопата, спиной. На этой спине сиделось как на подушках собственного шатра. Сидеть на коне с коротким корпусом все равно что стоять на краю обрыва.

День был на редкость хорош. Пестрели вдали холмы, а в низинах сплошь белели снега. Как ни гляди вдаль, как ни приставляй козырьком ладонь, но легкий молочный туман размывает горизонт, смягчая и скрывая окрестности прозрачной завесой. Оба коня, разрывая эту завесу, приближались к распадкам нагорья: обросшее густым кустарником, оно было привольем для разного зверя.

На охоте он оставлял своих слуг позади, чтобы они не пугали дичь и не мешали ему. Они следили за ним издали. Но Кахар был давнишним преданным другом, сопровождавшим его еще в те времена, когда, гонимый судьбой, он скрывался от людей и скитался по свету. Тогда, в безлюдных горах, они жили совсем одни, вдвоем, и говорили друг с другом свободно и просто. Бывалый охотник не раз заставлял будущего властелина носить на спине убитых зверей, собирать кизяки и варить на костре ужин. Став повелителем, хан из далеких и диких гор призвал к себе друга-охотника. Стрелок Кахар беспечно ввалился в его золотисто-пестрый шатер, порывисто бросился к нему, не сдерживая смеха и слов. Сидевшие в шатре приближенные удивились, недовольно вытянув шеи. Уж не свихнулся ли этот малый?

Спустя два-три дня охотник сказал:

— Благодарю за радушие, но теперь я вернусь в горы.

— А что ты забыл в горах?

— Э, господин мой, поймешь ли ты все это? Мне скучно без сладкого кизячного дыма. Кизяк так вольно горит на ветру между слоистыми камнями. Я тоскую по дымному бульону из архарова мяса, а тебя кидает от него в пот, я истомился по своему лежбищу, покрытому шкурой медведя. Ее шерсть так нежно щекочет. В своей черной лачуге я волен греть у огня ноги и плевать во все стороны.

Когда он расхохотался, охотник Кахар обиделся и, не сказав ни слова, пошел прочь, а он смотрел вслед другу и, держась за живот, все хохотал, хохотал, пока слезы не выступили из глаз, и в шатре недоуменно переглянулись, не понимая, кто из этих двух лишился рассудка. Но однажды в том же шатре из желтого шелка его настигла тоска. Тело, облаченное в дорогие одежды, лишенное степного вольного ветра, неодолимо зудело. Забываясь, он то и дело поднимал руку, чтобы запустить ее под эти изнурительные шелка и чесать, всей пятерней чесать зудящую кожу, но взгляды сидящих вокруг сподвижников останавливали его, и он в ярости хватался за подбородок, теребил рыжую реденькую щетину. Они, его заправилы, набившиеся в шатер, целыми днями не спускали глаз с повелителя. Тогда-то он понял бремя славы и власти. Ему стало понятно, почему охотник Кахар так рвался в горы. Те, что день за днем торчали в его шатре, раздражали и нагоняли скуку; он ни с кем не мог пошутить, не мог разрешить себе рассмеяться. Стоило губам его чуть вытянуться, как вокруг разом подобострастно рождались улыбки, если же он внезапно начинал хохотать, у тех глаза от ужаса лезли на лоб. О несчастные, они могли лишь вежливо улыбаться, словно рты их были залиты смолой.

Когда его совсем одолевала тоска, он приказывал подать коня и объезжал тумены своих войск. При этом он никогда не ночевал в шатрах предводителей, устраиваясь где-нибудь на холме, у караульных постов.

Внизу, вокруг холма, мигали и, словно звезды ночного неба, роились бесчисленные огни, зажженные у походных юрт, а в небе мерцали, переливались звезды, словно огни несметных костров его войска, густо усеявших землю. Иные из этих звезд горели ярко, другие тускло тлели, будто угасающий уголек очага. Ниже, у подножия холма, фыркали кони, звучали разноязычные речи, чуялись шорохи и голоса. Причудливо сливаясь, они то звучали у самого уха,

доносимые прохладным степным ветром, то приглушенно удалялись куда-то далеко-далеко, в безбрежную ширь степи. Время от времени с подветренной стороны доносился острый, кисловатый запах пасущихся лошадей. Запахи соленого пота, неукротимой ярости, пыли бесконечных и неоглядных дорог, запахи многих известных и незнакомых трав мешались и словно бодрили эту безмятежную, охваченную истомой ночь, призывали к чуткой бдительности. Они напоминали о том, что, как бы ни был отраден покой, завтра опять начнутся походы, опять предстоят битвы и муки, и запахи эти, как грозное предостережение, будоражили, ярили и волновали его.

Смывалась, исчезала грань между землей и небом, густой мрак окутывал окрестности. Вдали роились огни, и он забывал, что ходит по земле, что он сын земли, он ощущал себя божеством, самим создателем, пребывающим где-то на небе в окружении ярко светящихся звезд. И эти бесчисленные, трепещущие вокруг — на земле и на небе — огни казались ему робкими свечками в руках презренных созданий, упавших перед ним ниц; он, только один он мог, нанизав как бусы, зажечь эти огни, он же был волен погасить их одним дыханием.

Тогда ему становилось тесно между землей и небом, грудь распирало от неимерной власти и силы, и его взбудораженное нутро мог утихомирить лишь тот же терпкий резкий запах, доносимый движением ночной прохлады. Щекочущий ноздри запах этот был приятней ему, чем струящийся и ублажающий сердце чистый степной воздух. Он подзывал к себе слуг, приказывал расстелить на вершине холма белую кошму, а любимое седло поставить у изголовья, с подветренной стороны. Вокруг кошмы слуги бросали волосяной аркан. Говорят, нет на свете такой твари, которая не пугалась бы запаха конского пота и жесткого лошадиного волоса. Даже разная погань — порождение самого дьявола, сеющего страх и ужас под покровами ночи,— и та отступает, бежит прочь, едва почует острый запах жеребячьего пота. Так оберегал он себя от гадов и разной ползучей твари. А от нежданных набегов, от покушений круглоголовых двуногих существ его охраняла стража из сорока верных воинов, которые до солнечного восхода не смели моргнуть глазом. На тот же случай, если среди них найдется кто-либо с черным помыслом, был у него преданный друг, меткий стрелок Кахар, способный за версту поразить в глаз дикую козу и услышать в ночи шорох бегущего муравья.

Но как бы крепко и безмятежно ни спалось повелителю, едва занималась заря, он вскакивал с постели. Воины еще вставали, а он уже давно был на коне, и никто, кроме стражи, не догадывался, где провел ночь властитель вселенной. Он любил объезжать войска и при этом не чувствовал усталости, но всегда опасался, что от частых посещений и совместных трапез этот шумный сброд может слишком привыкнуть к нему. Даже в шатрах предводителей туменов он не засиживался; не подъезжал к юртам, где шумно и радостно готовилось в его честь обильное угощение. И в своем шатре он редко собирал военачальников, предпочитая вызывать их поодиночке и говорить с ними только наедине. Предводители туменов видели друг друга раз-другой в году, и то лишь в крайних случаях.

Он и теперь старается не выказывать благосклонности к тем важным особам, которые бывают в его шатре. Заметив, что кто-то уже успел приноровиться к нему и принимает близость с ним как должное, он тотчас отправляет его куда-нибудь подальше. А те, что однажды были изгнаны, не стремились больше попадаться ему на глаза.

Каждый властелин похож на женщину, которая пригожа лицом, но имеет изъян на теле. Она привлекает мужчин своей внешностью, возбуждает в них страсть и любовь, но про себя постоянно терзается своим недостатком, ее преследует вечный страх потери. Ибо она предчувствует, что в тот день, когда откроется тайна, ее уже не будут считать красавицей. Так и всесильные мира: стараются вызвать к себе благоговейный трепет, а внутренне постоянно побаиваются приближенных, больше всего опасаясь, что кто-то невзначай заглянет в их зачастую гнилое нутро. Ведь всех придворных испокон века так и подмывает поскорее увидеть недостатки своих владык, как подмывает похотливых мужчин увидеть нагое женское тело. Поэтому он, властелин мира, сам пристально следит за своими придворными, убирая подальше от себя всех подозрительных, иначе ему самому не миновать беды. Ибо судьба правителя похожа на судьбу красивой женщины: он потеряет власть в тот день, когда людей перестанут удивлять и восхищать его дела и поступки.

Да, он многих заставлял поражаться. Сначала поразил своих родичей, которые долгое время косились на него: он заставил их подчиниться себе. А подчинив, удивил тем, что снял им головы. Одних ошеломил он незаслуженным повышением, а других беспричинным своим гневом. Ему было все равно, одобряют или не одобряют его поступки, важнее было

поражать, удивлять, ошеломлять. Больше того, ему иногда дороже было недоумение, чем одобрение глухой толпы. Он не пускал в свой шатер тех провидцев, которые читали бы его сокровенные мысли, ему были больше по душе недалекие тугодумы, способные лишь восхищаться и удивляться каждому его слову. Потому-то он и держал при себе меткого стрелка Кахара. Тот мог за добрых полверсты услышать шорох ползущего муравья, но был совсем равнодушен к тому, что думали и делали люди. Кахар всегда удивлялся непостижимой доброте грозного и всесильного хана, который других заставлял грызть землю за малейшую провинность. Да и вообще многое в повадках властелина было Кахар-мергену совсем непонятно, как непонятен был знаменитый тибетский шаман-фокусник, который жевал раскаленные угли и живьем проглатывал змей. А ему, великому хану, властителю мира, разве все сразу становилось понятным? Так стихи льстивых и лживых акынов, высокопарно воспевающих каждый его шаг, слагающих в честь его длинные дастаны, казались ему вначале пустобайством и словоблудием. Теперь он с явным удовольствием прислушивался к этим стихам...

Ночью выпал снег, и звери притаились, должно быть, дремали в своих норах, берлогах и лежбищах. Он ехал к черному узкому ущелью, где было устроено много западней и приспособлений для ловли зверя. Сосны и лиственницы, росшие на изъеденных ветрами камнях, были в снегу, от едва заметного дуновения, шурша, осыпалась снежная навись. День выдался погожий, легкая, как пух, снежная мгла долго не рассеивалась. Кони осторожно ступали по каменистой тропе ущелья, повороты становились все круче и все труднее. Сбоку скатывалась горная речка. Она легко вспарывала и рассекала пушистый снег на дне ущелья. От черной-черной воды густо валил пар. По берегам стыли громадные валуны, наваленные когда-то неукротимым потоком. Темные снизу, белые сверху, они были похожи на сказочных гигантов, одетых в короткие не по росту шубы. Рядом с шаловливой речкой, задиристо, весело несшей свои воды, замерзшие, безжизненные, словно окоченевшие кони, валуны казались совсем неприглядными. Вот так и жизнь, она похожа на мчащийся по старому руслу поток. Куда только спешит эта рокочущая белопенная речка? С упрямой настойчивостью рвется она куда-то, словно войско вслед за врагом. И ей все равно, с какой горы начинались ее истоки, каким неприступным кручам она грозится, через какие валуны победно скачет. Где оборвется ее безумный бег? То ли упадет

она в объятия бескрайнего могучего моря и исчезнет бесследно, то ли затеряется и заглохнет где-то в песках — об этом она не думает. Кто знает, может быть, и сама жизнь, которая так же невесть куда несет нас по своему течению, тоже бессмысленна, лжива, неопределенна, как этот бездумный поток...

Бурная речка существует, пока течет, смысл человеческой жизни в том, что она проходит. Ничтожный человек что щепка, гонимая волнами: волны подхлестывают ее, и щепка, все более оживляясь, дрожа, заражаясь яростью волн, мчится поверх течения, то натыкаясь на камни, то попадая в воронки. И, попав в эту круговерть, она уже не в силах остановиться. Бессмысленность этого неугомонного течения, ничтожность собственного существования человек поймет лишь тогда, когда волна вышвырнет его однажды на берег и он застрянет в тонкой грязи, как те валуны. Но будет уже поздно: речка не потечет вспять, жизнь не начнется сызнова. Раз вышвырнет тебя из течения, веки вечные торчать тебе в грязи, словно вконец обессиленному дромадеру: будут омывать тебя дождевые потоки, обдувать ветры, и ты загниешь, превращаясь в прах. Но если ты даже не щепка, а камень, сорвавшийся с вершины скалы, все равно нет тебе возврата: острую как нож грань загладят, затупят, выровняют вода и ветер, твоя грозная тяжесть со временем улетучится, исчезнет. И ты не заметишь, как станешь однажды легким, словно перекати-поле. Слишком поздно жалкие люди понимают свою жалкую участь. Разве те несчастные, которые когда-то выбирали его ханом, подняв на белой кошме, думали о том, как он поступит с ними завтра? Нет, не думали, хотя до этого вдоволь испытали немилость других правителей. Только два или три предводителя родов, выказывая безумство, отвернулись тогда от него, не желая признать его ханом. И он сказал им: «Уж коли вы лишились рассудка, я найду, чем излечить вас». Потом, когда он подчинил себе ничтожный сброд, он настиг строптивых смутьянов, разграбил, утопил в крови их аулы.

С тех пор он многое видел под этим небом. Во многих пышных дворцах на виду у грозных правителей помочился его конь. Молва о его жестокой силе распространилась по всему свету, и немного ныне сыщется храбрецов, которые не трепетали бы перед его именем, как перед самим Азраилом. Красавица гордится своей красотой, батыр — удалью, шешен-говорун любуется собственным красноречием. Он же упивался неомерной властью. Красавица находит наслаждение в

том, что нравится мужчинам, батыр — в победе, шешен — в гладкой, красочной речи, он же — в своей безграничной жестокости, которая наводит на всех ужас и страх.

Так бы и упивался он своей грозной властью, шел бы по земле победной поступью, пока не завоевал бы весь мир. Но в тот день, когда он напал на один из городов на севере индийского государства, приснился ему сон.

После того множество городов с синими куполами стер он с лица земли и, словно скорлупки ореха, расколол черепа врагов, закатил он невиданный пир. Ему снилось, как после пира он спал в шатре и вдруг начал задыхаться. Тяжко озирался он по сторонам, не мог шевельнуться, будто свинцом налилось тело. Хотел было позвать стражу, но голос исчез. Казалось, что тело приросло к постели. И вдруг, шурша атласным пологом, кто-то живо юркнул в шатер, кошачьей походкой неумолимо подкрался к постели. Из длинных черных одежд блеснула кинжальная сталь, а он все лежал, не в силах пошевелить пальцем. Ночной пришелец приблизился, внимательно заглянул ему в лицо. Потом не торопясь поднял кинжал, приставил к его груди. Страх и ужас ворвались в душу, и закричал бы он диким, не своим голосом, завопил бы, но голоса не было, а кинжал вонзился острием в горло и вдруг упал ему между ключиц. Пришелец все той же кошачьей походкой направился к двери, обернулся. Где и когда он видел этого кадыкастого рыжего? Разве не каждый божий день видит от эти подстриженные медные усы и остроконечную бороду? Серые узкие глаза щурились и смотрели в упор, словно прицеливаясь. И голову он выжидающе, настороженно втянул, будто завороженный тигром. Да, это был самый опасный, самый грозный взгляд. Взгляни так на человека, любой — даже не робкого десятка — непременно смутится. Не говоря ни слова и не здороваясь, пристально, в упор ощупай таким вот придирчивым, недобрым взглядом, и даже самые отчаянные храбрецы, сердца которых обросли шерстью, и те растеряются, обмякнут, как обмякает воробышек, завороженный змеей. А уж коли человек в замешательстве, заставить его открыться, подчинить его своей воле — проще простого. И потому он издавна предпочитал начинать допросы таким вот безмолвным взглядом. Теперь этот пришелец, незваный ночной гость, безмолвно допрашивал его самого и, казалось, видел насквозь. По спине его пробежал мороз, а пришелец скинул с плеч черную одежду и направился к выходу. На нем была безрукавка из медвежьей шкуры. Теперь он узнал его. Господи, так это же

он сам! Когда его по пятам преследовали враги и он скрывался в ущельях вместе с охотником Кахаром, он выглядел точно так же.

Человек в медвежьей шкуре осторожно приподнял край полога и быстро выскользнул из шатра. У двери, под пологом, черным медведем возвышалась брошенная одежда.

Что это — сон или явь? На груди, обжигая холодом, лежал кинжал, он дотянулся, пощупал — никакого кинжала не было. Только на месте, где лежало оружие, кожа словно бы оледенела, и он проснулся в испуге.

Оказывается, он плакал во сне. Холодные слезы, стекая по редкой острой бороденке, омыли всю его грудь. Он поднял голову, глянул в сторону двери, но ничего не увидел, кроме жидких, тусклых лучей стоявшего за шелковым занавесом светильника. Больше он не мог уснуть, до утра пролежал с открытыми глазами. А утром ему захотелось, чтобы его сон истолковали, но он тут же решил, что люди, узнав, как неспокойно на душе у их повелителя, начнут судить и рядить. Нет, лучше не говорить об этом никогда никому.

Помнится, встал он, едва забрезжил рассвет, оседлал игреневого жеребца, поднялся на караульный холм. Внизу, у ног, словно истерзанная постель, лежал поверженный и разграбленный город. На улицах не было ни единой души, бесчисленное войско его, располагавшееся на ночь вокруг разрушенного города, только-только просыпалось. Ярко занималась летняя заря, то здесь, то там призывно играли карнаи. Но он чувствовал себя разбитым и усталым.

С того дня он лишился хорошего сна. Ни храп, ни ржание коней, ни победные кличи воинов уже не бодрили. Каждый раз, когда кто-либо входил в шатер, он невольно вздрагивал, старался скорее пройти мимо полога, ему чудилось, что кто-то подстерегает его за занавесом.

Но когда исчезает сон, ум обуревают всякие думы. В огромном мире, погруженном в безмятежный сон, казалось, бодрствовали только страх и опасность; будто притаились они по углам просторного шатра и следят за ним, выжидают, когда у него закроются веки. Ночная безмерная тишина казалась ему намного страшней и опасней, чем поле битвы, над которым со свистом проносятся стрелы. На поле брани тебя бодрят, волнуют душу топот скачущих войск, ржание коней, грохот, крики, свист стрел и льющаяся повсюду кровь. А вот в такую скованную тишиной жуткую ночь сомнения и думы, словно ядовитые змеи,

подкрадывающиеся в траве к твоим ногам, угнетают и вселяют изнуряющий ужас.

Много прошло времени с тех пор, как он покинул родные края. И хотя каждое желание его исполнялось, как говорится, каждая стрела достигала цели, а по всей земле гремела его слава, он до сих пор не задумывался о бессмысленных, впустую потраченных прежних годах, годах той отпущенной ему жизни, которая уже начала его утомлять: ведь год, как он теперь понимает,— это всего лишь каверзная шелковая петля в руках костлявой старухи смерти, которую она кидает тебе на шею и медленно, чтобы не отпугнуть, подтягивает тебя к себе. А он до последнего времени даже не думал об этом. Между тем даже он, всесильный повелитель, потрясший мир, однажды во сне обливался слезами: видно, и в нем что-то стронулось и дрогнуло в страшном предчувствии. Значит, и его испугали старость и смерть, наводящие ужас на бездумных и глупых людишек.

Когда-то он отправился в путь, чтобы захватить соседние страны — Сартаулы[1], и, не сдержав горячку возбужденного несметного войска, забрался далеко-далеко, за тридевять земель. Головная часть его войска давно уже перешла Абескун[2] и вытряхивала пыль из другой половины света, а он едва-едва успевал за своими полчищами, сметавшими все на пути. И хотя над его головой все тот же золотисто-пестрый шатер, родные края остались далеко позади. Поработив чужие народы, он с трудом удерживает их на привязи, а на чужбине тебя всюду подстерегают опасности и расплата. К тому же и возраст не тот, чтобы скакать без оглядки за безудержным войском через горы и долы. Родная безбрежная степь осталась где-то далеко, и кто знает, что там творится сейчас, пока он, опьяненный победами, неудержимо носится здесь... Пора, наверное, пора завещать остальные походы сыновьям и верным бахадурам, а самому спокойно править завоеванными народами. А то, не ровен час, застрянешь где-нибудь на чужбине, словно потерявший берлогу старый медведь. Да и до каких пор мотаться по белу свету? Года уже велики, силы его убывают, и однажды во время бесконечных набегов он явит воинам свою слабость и дряхлость. Не лучше ли, пока ты в силе и ступаешь в гору, вернуться в родные края, где за спиной не подстерегают враги? Ведь и со стороны, издалека, с почетного места

[1] Так монголы называли мусульманские народы Средней Азии.
[2] Древнее название Каспийского моря.

золотисто-пестрого шатра можно нагонять ужас и трепет на несметное войско, на бахадуров и сыновей, между которыми он разделит потом свое владычество.

Да-а... И вот он вернулся домой и немало уже лет вновь ступает по родной земле. Он утомился в бесконечных походах, он изнурен нескончаемой верховой ездой и только теперь по-настоящему понял это. Но, хоть перина и стала милее седла, сонная мирная жизнь нередко раздражала его. Давно ли во время походов он общался лишь с предводителями туменов, решая судьбы завоеванных стран? Много было разных забот, и он на таких советах неизменно выказывал превосходство, после каждой битвы поражая воинов своим величием. Теперь вот нет ни высоких собраний, ни достойных советчиков. Никого не ослепляет его ум вкупе с безбрежной властью, разве что изредка из далеких стран наведываются послы либо нарочные. Да, теперь в его шатер заходят одни слуги, и здесь звучит один-единственный разговор: о еде и постели. Вчерашний грозный повелитель стал для них капризным, избалованным отроком, все только и хлопочут, чтобы угодить его прихотям. Не теперь сказано: если уж подвластный тебе люд однажды поставил тебя над собой, держи его в узде и страхе, ведь когда он перестанет тебя бояться, ты лишишься достоинства. Но если ни с того ни с сего, по всякому поводу кричать на своих рабов, то не мудрено отпугнуть беспредельно преданную тебе чернь. Вот почему, хоть и заблаговременно вернулся он в родной край, сорок сороков всевозможных дум изнурили его, вконец лишили покоя, и даже забавы охоты не могут развеять мрачных мыслей.

Минувшей ночью ему приснилась обнаженная женщина. К чему бы это? Ведь женщина снится обычно тому, у кого ничего не осталось, кроме игривых мечтаний о женских прелестях, или похотливому мужчине, проведшему в блуде всю пустую и праздную жизнь. Выходит, и у него не осталось уже других желаний и целей?..

Позади послышался пронзительный крик. Тихое, с утра охваченное дремой ущелье вздрогнуло. Он только теперь заметил, что кони уже сошли с горной, огибающей скалу тропинки и вышли на небольшую, обросшую сосняком полянку. Прямо за спиной что-то шлепнулось, из-за ели, густо обсыпанной снегом, заполошенно вымахнул крупный заяц и полетел мимо что было духу. Кто-то из стражи, предупреждая, зычно гикнул сзади. Выхватить из колчана стрелу было делом одной секунды. Пестрый зверек, метнув-

нись в предсмертном страхе, еще раз исступленно прыгнул и, окровавленный, ткнулся в сугроб.

Вместе с Кахаром крупной рысью подъехали к добытой дичи. На белой-белой снежной пороше ярко алела кровь, ему опять вспомнился ночной сон:

— Интересно, есть ли на этом свете женщина с таким же белым телом, как только что выпавший снег?

Кахар-мерген перерезал горло еще трепыхавшемуся зверьку, сказал:

— Говорят, будто у бурхана тангутов Шидургу есть жена по имени Гурбельжин. Еще говорят, что когда она входит в ночной дом, то становится светло, словно бы днем. Только ее тело может быть белей первого снега.

— Ты говоришь, у тангутов?..

Чингисхан задумался.

3

Да-а... Было это семнадцать долгих лет тому назад. Там, где с черного склона высоких мохнатых гор, закипая, вытекает черная речка и, направляясь к северу, вдруг снова встречает на пути кряжистые горы и круто сворачивает на восток, в ущелье, находилось тогда на привале его войско. Днем и ночью, со всех сторон, взад-вперед на низкорослых лохматых лошадках скакали бесчисленные воины, и твердая, песчаная земля была истерзана, она превратилась в пыль, будто ее толкли в ступе. Надвинувшиеся с двух сторон, окутанные вечным мраком черные горы и величавая прозрачная река были густо покрыты серой пылью. Стояла осень. Дули холодные ветры, ночами на траве лежал иней. Воины, начавшие поход в середине лета, стали мерзнуть, они, не жалея, жгли можжевельник, росший по горным склонам. Столица тангутов даже близко не подпускала к себе. По донесениям редких перебежчиков, все горожане во главе с их правителем Ань-цюанем днем и ночью находились у крепостных стен. Стоило только приблизиться к городу, как с той стороны, с высоты укреплений, на голову градом летели камни, лились кипяток и расплавленная смола. И как бы ни было много их, монгольских, облаченных в овечьи шкуры воинов, как бы ни кишмя кишели они вокруг, они были бессильны против хитростей этой дьявольской крепости, наскакивали и тут же откатывались назад.

Между тем надвигались зимние холода, и Чингисхан

созвал в своем шатре всех тысячных и предводителей туменов, чтобы держать совет. Решили, что если город — порождение самого дьявола — будет сопротивляться и дальше, то нужно перекрыть реку и затопить крепость водой. Бесчисленные воины совместно с невольниками, пригнанными со всех окрестностей, спешно принялись строить плотину. Черная полноводная река, с грохотом падавшая с дремучих гор, изменив русло, хлынула в город. Вскоре подмыло грунт, и дома один за другим начали рушиться. Люди, словно муравьи, смытые половодьем, оказались в воде. Раздувшиеся утопленники, подталкивая друг друга, тысячами плыли вниз по течению, а те, у которых в груди еще тлела жизнь, карабкались на крыши уцелевших домов и неотрывно смотрели на хмурые ущелья мрачно насупленных гор, надеясь, что соседние племена-шуршуты придут на помощь. Но напрасно они надеялись, тщетно молились создателю, никто не пришел на помощь... Дремучие горы были безмолвны. Ко всему в одну из беспросветных ночей промозглого месяца акрап[1] обрушился невиданный ливень, будто прорвался небесный купол. Селевой поток казался забавой в сравнении с этим потопом. Основания обнажались у пышных дворцов, стоявших твердынями до сих пор; еще вчера могучая столица тангутов, державших в страхе и повиновении Тибет и Северный Китай, стала похожа на растрескавшуюся чашу, наполняемую мутной водой. Казалось, что взбесившийся, все сокрушающий поток вот-вот снесет с лица земли весь город, не оставит камня на камне. И жизнь кончится, хлынув в долину грязной помойной жижей.

Но тут стоявшие на крышах тангуты увидели вдруг, как забегали, отчего-то засуетились монголы, как там, внизу, за городскими стенами, все разом пришло в движение. Оказалось, что неукротимый поток разрушил плотину и теперь вода стремительно обрушилась на осаждающих. Растерянные монголы в панике бросали свои походные юрты, спеша на лошадях подальше от гиблого места.

Ливень выдохся лишь на исходе дня. К вечеру монголы отправили к тангутам посыльного, и обессиленное, измученное войнами государство признало свою зависимость от монгольского ханства, а правитель Ань-цюань согласился отдать любимую дочь Чингисхану. Так Чахэ стала третьей женой великого повелителя. Чингисхан решил, что, взяв себе в жены тангутку Чахэ, он породнится со строптивым,

[1] Название октября по звездному календарю.

умеющим строить города и крепости племенем и тем будет держать его в своей властной руке.

Однако эта родственная близость длилась недолго. Восемь лет спустя Чингисхан отправил к новому правителю тангутов Дэ-вану своего посыльного с таким наказом: «Когда-то вы обязались быть моей правой рукой. Но все эти годы я не беспокоил вас ни единой просьбой, вы не испытали тяжести моей власти. Черед ваш теперь настал. Я не могу быть спокойным, пока не захвачу соседние племена Сартаулы. Я готовлюсь в поход, пусть же и ваше войско примет участие в нем».

Но едва успел посыльный передать наказ повелителя, как один из знатных князей по имени Аша-Гамбу, не дав Дэ-вану даже раскрыть рта, сказал: «Передай Чингисхану: нечего ему замахиваться дубиной, которую он не в силах поднять, а коли он бессилен, пусть отрекается от ханства».

Разве такой ответ ждал он от тангутов? Посыльного, принесшего эту весть, он в ту же ночь приказал казнить, а месяц спустя пошел походом на Сартаулы. Немало городов потопил он в крови, не один десяток тронов опрокинул после того, и уже забылись было обидные речи тангутского князька. Но когда он находился в Индии, тангуты снова подняли голову. Они посылали своих нарочных в соседние страны, призывая объединиться, чтобы сообща разгромить монголов. Такая до него дошла весть, и это была одна из причин его спешного возвращения на родину. Однако он умел хранить свои тайны. Никто не узнал об этой причине.

Вернувшись, он, чтобы удивить тангутов, начал мирную жизнь, без набегов и войн. И тангуты были поражены: грозный правитель, подмявший под себя полмира, вдруг безнаказанно проглотил их оскорбление и даже не помышляет о мести. Но когда они окончательно поверили в его миролюбие, Чингисхан, выжидавший столько времени, решил поразить их.

Да, он терпеть не мог преждевременную хвастливую трескотню, он предпочитал все, что бы ни делал, совершать неожиданно, как повеление самой судьбы, самого рока, решительно, с лету, чтобы сразу ошеломить врага, не дать ему опомниться.

И то, что он увидел во сне белотелую красавицу Гурбельжин, он воспринял как предзнаменование, как доброе напутствие судьбы на большое новое дело.

Посол Чингисхана принес тангутам его слова: «Помня о вашем обещании быть моей правой рукой, я перед тем,

как отправиться в поход на давно тревожившие меня племена Сартаулы, обратился к вам с просьбой дать мне ваших воинов. Но вы не только отказали, тем самым нарушив священную клятву, но и оскорбили, унизили мое всему миру известное имя. Я был тогда так занят, что не мог потребовать с вас ответа за эту дерзость. Поход в страны Сартаулы окончен. С помощью и поддержкой самого создателя я направил страны Сартаулы на путь истинный и благополучно вернулся на родину. А теперь, бурхан[1], я думаю, настал час расплаты за сказанные тобою слова».

С таким грозным наказом отправлен был посыльный к тангутам, и целых пятнадцать дней не было о нем слуху. Только на шестнадцатый день, еле живой, посол появился перед золотисто-пестрым шатром и, едва переступив порог, бросился на колени, согнулся в поклоне. Взглянув на искаженное лицо посланника, Чингисхан сразу понял, что тангуты в зеленых чапанах[2] не приняли условий. Сидевшим в центре было заметно, как мнется растерянный посол, они привстали было, чтобы выйти, но повелитель поднял правую руку, и все разом застыли на своих местах. Обычно великий из великих беседовал с послами наедине, потому и удивил этот жест всех присутствовавших. Посланник заговорил.

Узнав об условии Чингисхана, о том, что Дэ-ван должен или прислать ему сына в заложники, или немедленно оседлать боевых коней, правители тангутов опешили, будто пораженные молнией. Знатные князья завопили в один голос: «О повелитель! Монголы — это все равно что дикие звери, рыскающие по степям и горам. Уж лучше, когда этот зверь лежит, оскалив зубы, чем кидается на тебя, разинув пасть. Если ты не отправишь своего наследника монгольскому хану, твой народ обречен на погибель». Дэ-ван, дрожа всем телом, вскочил с трона:

«Я не могу единственного сына толкнуть в пасть льва, швырнуть в драконье логово! Разве мы не народ?! Разве нет у нас чести?! Соседние страны и народы сочувствуют нам». Потом, повернувшись к посланнику, Дэ-ван сказал: «Передай своему повелителю: пока я жив, мой сын будет со мной и в моем дворце».

Чингисхан усмехнулся. В шатре переглядывались. Чингисхан подозвал посланника ближе и подал знак; удивляясь, недоумевая, знать потянулась к выходу.

---

[1] Так монголы называли главу тангутов.

[2] Верхушка тангутов носила одежду зеленого цвета, низы племени надевали черное.

4

— Где бурхан? Горе! Монголы захватили Черный город.

— О мой повелитель! Сучжоу сровняли с землей! Жители перерезаны поголовно.

— О мой повелитель! Лянчжоу без боя сдался монголам!

В течение трех дней только такие донесения слышал прикованный к постели Дэ-ван. Со всех концов страны, загоняя лошадей, скакали к нему посыльные с плохими вестями, но он не проронил ни слова. На четвертый день, рано утром, тяжело дыша, вбежал к нему измученный спешной ездой очередной гонец и, увидев бездыханное тело повелителя, как оглушенный застыл у порога.

5

Окутанная маревом, притягивающая взор роскошная Сэ, последняя столица тангутов, превратилась в развалины. Богатство и слава еще вчера могущественного государства тангутов, вселявшего в одних надежду, в других — ужас, теперь улетучились, разлетелись, словно стая трусливых ворон, наклевавшихся мертвечины.

Скоро, очень скоро городские развалины обернутся буграми рыжих холмов. А потом и холмы зарастут травой, похожей на овечью шерсть весенней стрижки. Ничего не останется от шумных людских пристанищ, одни суслики начнут шастать вокруг. И будет одиноко торчать в степи безымянный, всеми забытый холм. Может быть, утомленный дальней дорогой путник взберется на его вершину, чтобы оглядеться окрест, стреножит коня, а сам падет на сухую некошеную траву, потянется телом, избитым монотонной верховой ездой, и немного вздремнет. И ничего не подумает, даже не приснится ему, что под этим холмом звенел когда-то смех, шумела толпа, что когда-то тут яростно спорили, бились, любили и рожали детей. Безмятежно подремлет проезжий, встанет, потом развяжет пояс, чтобы тут же, на вершине безымянного холма, хранящего неведомую потомкам историю, справить немудреную свою надобность. И опять, взобравшись в седло, пустит коня все той же монотонной рысью.

Это будет потом. А сейчас следы вчерашней жизни еще не исчезли совсем. Вон на отшибе, словно громадный, опу-

щенный на колени одногорбый верблюд, дымится руина — это все, что осталось от дворца тангутских правителей. Слышно, как в громоздких коржунах — переметных сумах — гремят и звякают тангутские драгоценности, еще вчера они бережно хранились как нечто неприкосновенное. Даже несчастная тварь — собаки и те разбежались по окрестностям. По ночам они воровато подкрадываются к разрушенному городу, обнюхивают холмики в тщетных поисках родного жилища, привычной конуры, лоханки, хозяина, при виде которого, бывало, так приветливо махали хвостами. Тоскуют собаки по родным дувалам, где, не щадя ног, бегали с громким лаем, едва услышав дальний мало-мальски подозрительный шорох. Еще вчера вся эта жизнь казалась им незыблемой, теперь же все превратилось в прах. Игривый ветер, дразня чуткие ноздри, доносит запах свежей конины и прокопченных, покрытых жиром котлов, но обездоленным псам никогда не осмелиться подойти к чадным кострам. Спасаясь в пустынной степи, они то жмутся к земле, терзаемые тоской, то становятся в ряд, вытягивают морды и, водя отощавшими боками, воют, воют до хрипоты, до изнеможения. Запах, идущий от незнакомых котлов, мешается с запахом крови и разлагающихся трупов, у собак тошнотворно кружатся головы и темнеет в глазах. И они продолжают выть, выть до рези в брюхе. А что еще может собака, кроме как лаять в мирное время и выть, когда приходит напасть? То ли утомил пришельцев этот вой, то ли искали они забавы в незнакомом краю, но эти люди обрушились теперь и на псов. Многих собак пронзили стрелы, проткнули пики. Вокруг поверженного, разрушенного города стоял неслыханный гвалт, шум и визг. У развалённых дувалов остались лежать вперемешку рабы и знатные князья, простой люд и собаки побежденной земли.

...Целый год мужественно продержалась столица тангутов Сэ, но не смогла устоять. Пока город держался, монголы захватили все земли тангутов, и этот рыжий холм стал местом последней битвы не сдававшегося живым народа.

В минувшем году, когда враги впервые на белом песчаном плоскогорье открыто схлестнулись друг с другом, тангуты гордо и даже с вызовом выехали из каменной крепости. Вначале появились всадники на богато украшенных конях. Шли они ровными рядами, важно и грациозно. Каждый сидел в седле, явно красуясь, будто не воин, а жених со свитой, отправляющийся к невесте. Грудастые, как на подбор, длинношерстные скакуны до самых колен укрыты были богатыми

попонами, одно седло и сбруя могли бы стать поклажей для верблюда. Стальные высветленные стремена ослепительно блестели, дерзко перемигиваясь с самим небесным светилом. На рослых, громадных конях, под тяжестью которых прогибалась земля, восседали закованные в доспехи воины, длинные тяжелые копья в их руках, казалось, угрожали не только монголам, но и всему миру. Мощная конница приближалась, звеня, бряцая и грохоча, будто хотела раздавить и смять единым махом невзрачных монголов вместе с их низкорослыми лохматыми лошаденками. Вид тангутской конницы был страшен, а железные доспехи и украшения клацали и скрежетали так, словно само чудовище Молох точило перед бойней зубы, и от всего этого скрежета съеживалась на голове кожа. Это были прославленные «железные ястребы». Они не однажды терзали китайские и тибетские полчища, теперь же неумолимо и уверенно, вразвалку, точно вышедшие на вынос молодые и сильные самцы-верблюды, сплошной стеной надвигались на монголов. И от гулкого боя кованых копыт дрожала земля.

Немало стран поработил Чингисхан, немало народу истребил, но такого грозного величия и пышности еще не видывал. Перед этими закованными в железо «ястребами», даже на смерть взиравшими с гордым презрением, его вояки казались полуголыми мальчишками, посаженными на стригунков.

Скрежет и грохот тангутской конницы приближались; впереди ровной, стройной цепью в кольчугах и латах цвета крови шли военачальники. Железные шлемы с золотистыми гребешками издали манили к себе, сверкали и слепили глаза. По поясу, ниже панцирей, туго затянуты яркие широкие кушаки, золотые кисти которых закрывали колени и развевались, словно шерсть на задних ногах холощеного верблюда. Сзади, на расстоянии ягнячьего перегона, шли главы войсковых тысяч, в серебряных шлемах, а еще чуть поодаль, в стальных шлемах,— сотские. Прежде чем обе стороны сойдутся лоб в лоб, те, что в золотистых и серебряных шлемах, раздвинутся и отойдут на фланги, а в бой, презрев опасность и смерть, ринутся закованные в сталь «железные ястребы».

И он подал знак предводителям туменов. Легкие, верткие воины на лохматых лошаденках диким наметом обрушились на левый фланг тяжелой тангутской конницы. Конники развернулись и встали перед монголами железным заслоном. Немало монголов, налетавших на всем скаку на этот заслон, в мгновение ока затрепыхалось на концах тангут-

ских копьев, многие полегли и от секир, вытащенных тангутами откуда-то из-под ног. Сходясь лоб в лоб с «железными ястребами», монголы, точно овечьи тушки, вылетали из седла в воздух и, пронзенные, изрубленные, замертво падали под копыта коней. Но шедшая чинным строем тяжелая конница, должно быть, растерялась от этих бесшабашных, безумно дерзких наскоков опытных, ловких, стремительных монголов и, отражая эти наскоки, устала сама, обессилела, будто неуклюжий ожиревший пес в драке с шавкой. Изворачиваясь и уклоняясь от тяжеловесных ударов тангутов, монголы все чаще и чаще наносили быстрые, точные ответные удары, одну за другой сносили головы в железных шлемах. Со звоном и грохотом скатывались головы «ястребов» под ноги коней, но обезглавленные тела, наглухо закованные в железо, не валились, а оставались в седлах, лишь слегка наклонившись вперед. Все смешалось на белом голом плоскогорье. К полудню «железные ястребы» были наголову разбиты. Густогривые, статные скакуны, неся в седлах обезглавленные тела в кольчугах и латах, все тем же единым ровным строем понеслись в безлюдную степь.

Но городские ворота вновь распахнулись. Теперь оттуда вымахали грудастые, с громадными, туго налитыми горбами и с развевающимися на шеях черными лохмами племенные верблюды, а с неба тотчас же посыпались, повалились камни. Прикрученные к верблюжьим седлам камнеметы обрушили на легкую монгольскую конницу каменный град: булыжники с устрашающим свистом опрокидывали коней и всадников. Монголы повернули обратно, а когда более быстрые, чем верблюды, кони вынесли их из-под каменного дождя, на них бросились пешие воины тангутов. Изнуренные сечей с тяжелой тангутской конницей, монголы не выдержали нежданного натиска, дрогнули, обратились в настоящее бегство. Разгоряченные тангуты, почувствовав близость победы, бросились догонять врагов и вскоре рассыпались по степи отдельными группами. Тут-то и появились из засады свежие тумены и с криком и воплями вихрем обрушились на усталых тангутов.

Так наказал он тангутов. На поле брани от прославленной грозной армии остались одни трупы. Шидургу, занявший трон после смерти Дэ-вана, с малочисленным уцелевшим войском укрылся в крепости. Чингисхан прекрасно знал, сколько войска осталось у Шидургу, не стал напрасно тратить свои силы и решил взять тангутскую столицу измором. Перед крепостными стенами заиестрели шатры

и походные юрточки монголов. Рядом с непокорным городом обосновалось множество шумных, оживленных аулов: Чингисхан твердо решил не снимать осады, пока не перемрут с голоду укрывшиеся в крепости тангуты. Бои прекратились. Но, сколько ни ждали монголы, послы с белым знаменем не спешили появляться у стен, и упрямое, безмолвное выжидание длилось целый год. Над городом тучей кружилось черное воронье. Оно тяжело хлопало крыльями, довольно и сыто каркало, словно хохоча над людским безумием, и от этого несмолкавшего грая холодела душа.

Прошла зима, наступило лето, но Шидургу все еще не сдавался. В амбарах и складах, должно быть, давно кончились все запасы, а ворота не открывались. Чингисхан упрямился и терпеливо выжидал своего. Над городом все реже и реже вился дымок; тангутских голов, то и дело высовывавшихся из-за стен, становилось все меньше. И тут монгольские войска, изнывавшие от затянувшегося безделья, не в силах больше терпеть, бросились в бой. Но биться было уже не с кем, в городе нельзя было ступить ногой: всюду валялись трупы. Когда монголы ворвались в город, столько черных ворон, оглушительно каркая, поднялось в воздух, что на миг скрылось солнце, и вокруг стало темно и жутко, как при затмении. Шидургу, потерявший надежду на помощь соседей, был равнодушен к падению своей столицы. Скорей всего он был доволен, что наконец-то кончились страдания и муки этой позорной жизни, изнурившей народ. Зная то, Чингисхан еще три дня продержал его в собственном дворце, не выпуская и не убивая, заставив терзаться бессилием и неведением.

На четвертый день стража привела к хану измученного голодом бледного Шидургу. Правитель тангутов был в расцвете лет, должно быть, ему было немногим более тридцати, но от него остались одни кости. Он старался с достоинством держаться перед надменным завоевателем, он облачился, как и подобает правителю еще недавно могущественного государства, но тонкая, как былинка, совсем прозрачная шея едва выдерживала тяжесть короны. Как бы ни свирепствовал голод в осажденном городе, не должен был так изнурять себя правитель: видно, Шидургу был человеком самолюбивым и мнительно суетливым.

Чингисхан недолюбливал свое важное место на троне, он сидел на медвежьей шкуре, поджав под себя ноги. Когда Шидургу, не склонив головы, вошел в шатер, Чингисхан не уставился, как обычно, на пришельца в упор, а лишь

покосился, не заговорил он и с предводителями туменов, чинно сидевшими по обе стороны. Он подозвал к себе двух-трех слуг и долго давал распоряжения по поводу завтрашнего — в честь победы — грандиозного пира. Потом обстоятельно, до мелочей, расспрашивал об этом же пире еще двух и лишь после этого разрешил им покинуть шатер.

В шатре воцарилась мертвая тишина. Чингисхан все еще не удостаивал взглядом Шидургу. Вошли двое совсем еще молодых предводителей сотни и, робея перед многолюдной ханской свитой, смущенно устроились у порога. Чингисхан устремил взгляд на них, хриплым, тихим голосом начал речь. Говорил он едва слышно, чтобы слушали особенно внимательно и напряженно, он ронял каждое слово ровно, без особого выражения, иногда растягивал, оттеняя и подчеркивая слова. Его лицо не выражало ни снисходительности, ни ложного сострадания. Насколько мягок был голос, настолько суровым было выражение лица: ни на низком покатом лбу, ни в узких темно-серых глазах никто никогда не нашел бы следов свирепого гнева или необузданной ярости, мстительности или пронизывающей насквозь ненависти. Только под тонкими кончиками усов скрывалась едва заметная таинственная ухмылка, и холодок этой ухмылки на невзрачном, унылом, как осенняя степь, плоском сером лице озадачивал, навевая невольный страх.

Но и ухмылка Чингисхана, и его скользкий, быстрый взгляд не произвели на тангутского пленника никакого впечатления. Шидургу старался и не мог понять: как невзрачное это существо, не имеющее ни привлекательной внешности, ни грозного вида, этот маленький, в комок сжавшийся незаметный человечек, словно дряхлая старушонка, сидевший перед ним на медвежьей шкуре, мог со своими невежественными вояками победить могущественную страну? Сломить, несмотря на отчаянное сопротивление, народ со столь развитым искусством, наукой и благосостоянием, о чем завоеватели даже не имели понятия? Он никак не мог себе объяснить: каким образом эта серая личность, похожая на птенца пустельги, могла смешать с землею столь именитых, будто само небо, могущественных правителей и владык? Кому и чему поклоняется безумие этой дикой орды, разрушающей города и селения, захватывающей бесценные, созданные трудом человека сокровища, швыряющей их в своем невежестве под ноги, топчущей все на земле?! И вот он сидит, великий завоеватель, будто тушку ярки, подмявший под себя полмира, и, словно стервятник на падали, вприщур поглядывает

вокруг. А ведь когда эти дикари хватали друг друга за глотку и, подобно бешеным псам, грызлись из-за тучных пастбищ и полноводных озер, занятые суетой жизни люди и не ведали, о чем помышляют племена за горами, были беззаботны. И вот какой-то проходимец, возглавив невежественные полчища, вырубил на корню, уничтожил все, как саранча уничтожает посевы.

Словно желая показать, что он прекрасно понимает, о чем сейчас думает Шидургу, Чингисхан смерил его долгим испытующим взглядом и снова отвел глаза.

От унижения давно уже все кипело внутри Шидургу: он больше не мог сдерживаться и громким, резким, как клекот, голосом, чтобы услышали все, кто сидел сейчас в золотисто-пестром шатре, воскликнул:

— Эй, Чингисхан!..

Чингисхан обернулся, но, не давая Шидургу закончить, распорядился, чтобы в шатер позвали охотника Кахара.

— Где, ты говоришь, есть единственная на свете женщина с телом белее снега?

— Мой повелитель! Я слышал: если есть такая женщина на земле, то это может быть только Гурбельжин, жена хана Шидургу.

— Тогда я поручаю охрану Гурбельжин тебе. Завтра, когда кончится пир, ты приведешь ее ко мне. А если до этого ее коснется хотя бы ветер, я сниму твою голову.

Охотник Кахар вышел. Теперь Чингисхан весь повернулся к Шидургу. Лицо Шидургу побелело еще больше, глаза лихорадочно заблестели:

— Эй, ты! Кичливый и глупый хан! Если на земле останется хотя бы один тангут, час возмездия грянет и над твоей головой. Жизнь моя в твоей воле. Казнишь или помилуешь — тебя самого покарает судьба, умрешь — кара постигнет твоих потомков!

Шидургу больше ничего не мог сказать: задохнулся от гнева.

Никто из сидевших в золотисто-пестром шатре не проронил ни слова. Вся эта орава сановитых и досточтимых застыла в выжидательных позах, с любопытством, будто на драку двух разъяренных псов, глазея на поединок. Ни у кого на лице не было недоумения, из-за страха перед Чингисханом все скрывали праздный зуд любопытства: «Что же будет дальше?» Чингисхан, уставясь на Шидургу, хитро усмехнулся. Он давно уже знал, что тангуты упрямы, самолюбивы и мстительны. Это у них существует обычай: не оставлять

в покое обидчика, пока не отомстишь ему сполна, пока не проглотишь несколько ложек его ненавистной крови. Это им принадлежит страшная клятва: «Если я не отомщу врагу, пусть с головы моей спадут волосы, пусть останусь без пищи, пусть жена и дети пойдут по миру и околеют с голоду, пусть подохнет весь мой скот!» И если в семье тангута не найдется мужчины, способного мстить, он пригласит к себе в гости всех соседей и родичей, уважит и угостит их от всей души, а потом начнет умолять, чтобы кто-нибудь потребовал от врага кровную плату.

Вот на что намекал сейчас Шидургу! Он был уверен в том, что когда-нибудь потомки тангутов, торжествуя, злорадствуя, из черепа владыки, сокрушившего полмира, выпьют вино, смешанное с кровью сивого пса. Вот чего он захотел! Безумная надежда всех поверженных — возлагать мечты и чаяния на потомков.

Чингисхан гневно уставился на Шидургу.

— Никто, кроме самого всевышнего, не посмеет мне угрожать. И если найдется желающий отрубить мне голову, что ж, поживем — увидим. Ну а тех, кто хочет тревожить покой моих потомков, лучше истребить поголовно! Чтобы после не было досады.

И двое вооруженных секирами воинов поволокли Шидургу из шатра.

6

Долго вглядывалась она в уродливые развалины и груды камней — остатки мощной стены, огибавшей бурханский дворец, но бурхан Шидургу исчез, словно канул в воду. Всадники в черных железных шлемах, оцепив дворец, выстроились на своих низкорослых конях на расстоянии десяти шагов друг от друга. Ни одна живая душа — ни с той, ни с другой стороны — не могла проникнуть через это кольцо. Над головами мрачно застывших воинов грозно ощетинились пики, и даже птицы покинули некогда тихий, уютный дворцовый сад. Стояла выморочная тишина. Казалось, все живое забилось в норы и затаило дыхание. В огромных, растянувшихся на расстоянии конных скачек дворцовых покоях тоже будто не осталось людей: ни шагов, ни скрипа дверей не было слышно.

Мучительно прошли для нее три бесконечных дня. Сегодня в полдень у разрушенных ворот вдруг появилось

несколько человек с кривыми обнаженными саблями, и при виде их Гурбельжин как будто почуяла облегчение. Она знала, конечно, что эти люди идут вовсе не для того, чтобы сообщить хорошую весть, но ей чудилось избавление от нестерпимой, изводившей ее тишины. Она оторвалась от окна, поспешила к зеркалу. Презренный враг не застанет ее врасплох, простоволосой и неодетой, кровожадные, все замечающие глаза палачей не увидят ее неряшливой, она не даст стервятникам повода для злорадства.

Внимательно осмотрев себя в зеркало, она взошла на четырехугольное возвышение из слоновой кости, стоявшее в глубине просторного зала. Опустилась на колени и аккуратно, со всех сторон, подоткнула одежду. Вышитую золотом шапку, щедро украшенную драгоценными камнями, с трудом выдерживала ее слабая шея, однако ханша высоко держала голову. Она сложила руки крест-накрест и застыла, спокойно глядя на дверь. Казалось, весь зал наполнился грохотом, но этот гулкий топот пронесся мимо. Она не шелохнулась, продолжая сидеть в той же позе. Все дальше и дальше удалялись шаги, вскоре они и вовсе затихли, зловещая тишина опять застыла в покоях ханши.

Она расслабила онемевшую от напряжения шею и подошла к окну: по каменным плитам двора люди с кривыми саблями вели ее Шидургу. Воины на лохматых конях расступились, пропуская стражу с пленным бурханом. Между сверкавшими на солнце обнаженными саблями блеснула золотая корона Шидургу и тут же исчезла.

Ханша долго и отрешенно глядела на опустевший двор. Перед ее глазами все еще не исчезло видение: Шидургу, небольшого роста, с надменно поднятой головой гордой походкой шел среди сверкающих сабель. Он все шел и шел по давно не метенным, пыльным, уныло-серым каменным плитам, и она, не отрываясь, следила за ним, надеясь, что он обернется и скажет ей что-нибудь на прощание. Нет, Шидургу не обернулся. Вот идет он все дальше, гордо неся голову в окружении обнаженных сабель, и нескончаемо тянется эта площадка, покрытая густой серой пылью...

В дверь неожиданно постучали. Ханша не поняла, что это был за стук, оглянулась. Правая створка огромной позолоченной двери окрасилась в цвет крови. Кровь разливалась все шире и шире, она заливала дверь и стену. Ханша брезгливо отвела взгляд от кровавой стены и посмотрела на дверь. Там, у порога, низко, до самого пола, клала поклоны слу-

жанка. И дверь, и стены, залитые кровью, вдруг разом исчезли, зал обрел свой прежний унылый вид.

Прямо перед ней стоял старый казначей. Как это было принято в мирное время в тангутском дворце, он был облачен в длинный багрово-красный суконный халат. Из-под подола, украшенного позументами, высовывались синие кожаные кавуши с загнутыми носами. Обеими руками старик как бы упирался в наборный блестящий ремень, затянутый ниже пояса. Лоб казначея бороздили глубокие морщины, продолговатые глаза были потуплены. Густая, с сильной проседью растительность начиналась у него прямо под большими торчащими ушами и заканчивалась под подбородком, концы усов поникли, прикрывая уголки рта.

Ханша с удивлением глядела на вытянувшегося перед ней старого казначея. Бледные, дряблые стариковские губы шевелились, должно быть, он говорил что-то, ханша, ничего не понимая, кивала ему головой.

Казначей взглядом указал во двор, дернул плечами. Ханша глянула в окно: во дворе было по-прежнему пустынно. Она опять посмотрела на старика. Тот, явно поражаясь, долго смотрел в ее бессмысленно-пустые глаза, потом подал служанке знак. Та, не разгибаясь, послушно вышла на середину, достала из длинного широкого рукава круглое серебряное блюдце, поставила его на четырехугольное сиденье у стенки. Потом отступила и встала позади старика.

Низко и глухо гудел в огромном зале голос старого казначея. Ханша ничего не понимала, она словно застыла в оцепенении.

Старик наконец сделал паузу, выжидательно уставился на ханшу. Но она молчала по-прежнему, и тогда он снова дал знак служанке. Служанка, размахивая длинными рукавами, вновь подошла к четырехугольному сиденью, со звоном положила что-то в серебряное блюдце и тут же отступила на прежнее место. Гурбельжин заметила на блюдце широкий, с небольшим голубоватым камешком золотой перстень.

Снова, заглядывая в лицо ханши, ожидая ответа, заговорил старик. Он сам направился в глубину зала, склонившись, осторожно взял из блюдца кольцо, извлек из него дымчато-голубой камешек и показал на дне углубления несколько зеленых кристалликов. Что говорил старик, что он от нее хотел, Гурбельжин не поняла и на этот раз.

Тогда он поставил камешек на место, положил кольцо на блюдце, отнес к сиденью и сказал что-то служанке. Та вдруг смутилась, растерянно глядя то на старика, то на

ханшу. Казначей отвернулся. Служанка, не спуская со старика глаз, медленно развязала пояс. Из-под атласного халата блеснуло гладкое, с розоватым оттенком, лоснящееся и совершенно обнаженное тело. Ханша вздрогнула. Только теперь она вышла из оцепенения и, словно завороженная, смотрела на служанку. А та вдруг согнулась, сунула руку куда-то под халат и непостижимо откуда извлекла желтоватый, длиной с дождевого червя, предмет, узкий и плоский. Запахнув халат, она хотела было положить этот предмет на серебряное блюдце, но старик, стоявший спиной, вдруг подскочил к ней и схватил за руку. Служанка остановилась, она вся побледнела. По тому, как она до крови закусила губу, было видно, какой страшный стыд испытывала она в ту минуту.

Старик вытащил из кармана своего багрово-красного халата точно такой же, только розового цвета, предмет. Словно желая еще более удивить изумленную ханшу, он открыл этот продолговатый предмет, извлек из него что-то совсем тонкое, блеснувшее стальным блеском. Из другого кармана казначей достал плетеную маленькую камчу и один конец подал служанке. Едва коснувшись блестящим предметом сыромятного ремня, он развалил его на две части и посмотрел на ханшу, как бы спрашивая: «Поняла ли ты наконец?» Он открыл маленький розовый футлярчик, вложил туда острый блестящий предмет, отнес к серебряному блюдцу и опять указал на двор. Совершив все эти манипуляции, старик и служанка, словно опытные фокусники, начали учтиво откланиваться, шаг за шагом отступая к выходу. У двери оба, едва не коснувшись лбами пола, поклонились еще раз и неслышно исчезли.

Гурбельжин стояла в недоумении, не зная, сон это или явь. Она смотрела то на дверь, за которой только что скрылись служанка и казначей, то на четырехугольное сиденье, где лежали в серебряном блюдце два загадочных предмета: золотой перстень и розоватый футлярчик...

Уже солнце перевалило зенит, а Шидургу не возвращался. Все длиннее становились тени, его не было, а были все тот же унылый и пыльный двор, все те же застывшие в безмолвии сарбазы, сидящие на мохнатых конях. Дворцовые пристройки по обе стороны двора с выбитыми окнами и сорванными дверьми зияли жуткими провалами, нагоняя страх и тоску.

Тишина опять давила, ломила, впивалась, словно когтями, и ханша с трудом дотащилась до постели. Казалось,

в этом унылом пустом мире и от нее ничего не осталось. Даже горе, вот уже целый год изводившее ее изо дня в день, и страх, от которого кожа съеживалась на макушке, и гнев, и ненависть, раскаленным углем обжигавшие сердце,— все, все вдруг начало угасать. Тревога и думы, так долго терзавшие душу, словно крысы, покидающие разрушенные жилища города, вдруг разом исчезли.

Она не в силах была сейчас понять загадочное посещение служанки и казначея: может, в эту беспросветно унылую пору хотели они ее позабавить, старались утешить объятую горем душу, хоть как-то развеять тоску и ободрить сердце — кто знает... У нее не было ни сил, ни желания, ни терпения обдумать все это.

Бурхан Шидургу не приходил к ней.

Страх, только что покинувший ее, вдруг снова вернулся. Казалось, вновь ожило онемевшее тело, кровь ударила в жилы, и Гурбельжин вскочила с постели. Она подбежала к черепу горного барана посреди зала на мраморной подставке. Рога как символ доброго предзнаменования подарил ей отец в день свадьбы, и они стояли на мраморном столике в середине зала, на священном месте дома. Вдвоем с Шидургу они, бывало, подолгу разглядывали эти рога, разгадывая судьбу. Один рог был чуть больше другого и загибался круче — он принадлежал Шидургу, другой, поменьше, достался ей. Раньше, сколько бы они ни рассматривали гладкую, будто отполированную поверхность, на ней не появлялось никаких знаков, и это успокаивало и радовало молодую чету. Казалось, это и власть, и богатство их, и счастье навсегда останутся незыблемыми, а сами они — бессмертными. Лишь однажды, еще в минувшем году, Шидургу, войдя в зал, по привычке глянул на мраморную подставку — и изумился. «Что случилось? Чем ты так удивлен?» — спросила она. «Полюбуйся,— ответил он,— как блестят сегодня рога!» Она внимательно осмотрела череп архара и тоже удивилась необыкновенной красоте рогов. Толстые, гладкие, круто закрученные, они тускло мерцали, а внизу, у их основания, чудилось, были надеты серебряные кольца. Оказалось, только перед этим слуги смахнули с рогов пыль и покрыли их лаком, к тому же в тот летний день весь зал был залит ярким солнечным светом. На следующий день приказал долго жить престарелый хан, и на опустевший трон сел молодой Шидургу. Не однажды пристально рассматривали они потом рога, но никаких перемен в них так и не высмотрели. И даже когда обрушилась эта черная беда, принесшая их стране

столько горя, круторогий череп горного барана оставался прежним. Враг захватил страну, взял столицу в осаду, день и ночь громил и разрушал крепость, рога ничего не предсказывали, будто ничто не угрожало Гурбельжин с Шидургу. Но не по себе становилось после гадания... Долго, очень долго длилась осада. Шидургу целыми днями пропадал где-то с войском, возвращаясь по вечерам усталым, измученным. Они садились к мраморной подставке и гадали, внимательно разглядывая рога. Когда начинало рябить в глазах, они смотрели друг на друга. Она испытывала острую жалость и боль, когда глядела вот так на неузнаваемо осунувшееся, почерневшее от горя, усталости и бессонницы лицо мужа. Такого чувства — жалости и сострадания — она ни разу не испытывала за полтора года супружеской жизни, и ей было непонятно, почему вдруг так потеплело ее сердце к этому измученному, глубоко несчастному, невзрачному с виду мужчине. Может, оттого, что изнуренному в сражениях бурхану некогда было даже разделить постель со своей молодой супругой... Ведь ханша, чего уж скрывать, немало ночей провела без сна в ожидании Шидургу, прислушиваясь к каждому шороху, к каждому шагу за дверью. Желание томило ее, и она, злясь на бесчувственного мужа, бывало, думала: «Пусть стыдно, а утром я ему прямо скажу об этом». Но наутро она видела разрушенный город, кровь умиравших людей, вконец измотанного, страшно похудевшего мужа, слушала о боях и сражениях и уже не решалась говорить о своей женской обиде. Однако чувство, которое охватило ее в последние месяцы, было совсем другим. Даже в первый месяц замужества, когда оба были опьянены любовью, она не ощущала в себе такого трепета и тоски по нему...

Гурбельжин до замужества ни разу не видела в лице Шидургу. А какая девушка в годы цветения не видит себя в объятиях самого красивого, самого храброго, самого умного, взлелеянного в мечтах джигита, который совсем-совсем непохож на тех, кого она видит в жизни? И когда ханша впервые увидела своего мужа, она сильно разочаровалась: так непохож он был на того, что жил в ее девичьих мечтах. И даже на супружеском ложе ей продолжали сниться девичьи сны. В этих снах она была влюблена в сказочного принца, искала его, уходила далеко-далеко в степь, покинув родные края, поднималась на скалы, чтобы оттуда, со страшной высоты, кинуться в пропасть... И тут каждый раз она просыпалась. Тот, кто лежал рядом, данный ей богом супруг, казался незнакомым, совсем чужим. После таких снов она

вставала, убитая стыдом, и не могла поднять глаз на мужа.

Совсем недавно ей снова приснился сон. Она опять стояла на краю скалы, а сзади приближались преследователи, и впереди зияла страшная пропасть. Она повернулась к своему спутнику, и вот им оказался не тот сказочный и желанный незнакомец, а ее же муж Шидургу. Перед тем как броситься со скалы, она со вспыхнувшей вдруг любовью и благодарностью к нему горячо сжала его длинные тонкие пальцы.

С того дня Гурбельжин ощущала новое, особое чувство к Шидургу, прилив неведомой раньше нежности.

Одиноко и тоскливо ей было в громадном и пыльном дворце. Ее охватывала горечь оттого, что из-за этой нежданной беды безрадостно проходят самые лучшие дни, отведенные для любви. В такие минуты она жалела, что не дал ей всевышний того крохотного существа, которое хоть плачем своим изредка нарушало бы тягостную тишину этого громадного безлюдного дворца, хоть на мгновение отвлекало бы от изнурительных дум об этом затянувшемся побоище. Но не было вокруг никого, кого бы можно было приголубить и приласкать, она была одна-одинешенька. Чтобы хоть как-то развеяться, она гуляла в саду, в сопровождении слуг ходила по городу, по подземным переходам поднималась на крепостные стены. Но от этих прогулок становилось еще тягостнее, и, возвращаясь, она благодарила всевышнего за то, что не дал он ей в такое смутное время ребенка. Потому что он родился бы только на горе себе. Теперь она, как никогда раньше, видела, что в этом маленьком, с ладонь, мирке, окруженном лютым врагом, нет для нее более близкого и родного человека, чем ее Шидургу. И от этих дум в груди все росло и ширилось до сих пор неведомое ей чувство. Оно было совсем непохоже на ту жадную, нетерпеливую страсть, что приходит с мужской близостью, это было очень нежное, робкое и доброе чувство, которое она боялась высказать, опасаясь, что муж не поймет его, сочтет за обычное проявление привычных супружеских ласк. Она боялась и не хотела этого. Вечерами, глядя на мужа, она чувствовала, как появляется желание прижать к себе его голову с рано поседевшими висками, пригладить волосы, губами коснуться озабоченного и горестного лба. Вот она уже невольно протягивает к нему руки, но стыд побеждал это желание, и ханша смущенно замыкалась в себе...

А Шидургу каждый вечер сидел у нее, сидел молча, затем, подавленный, уходил к себе. Она видела, что он поры-

вается что-то сказать, что-то очень важное, но не говорит, молчит. И сколько она передумала дум, терзаясь и стараясь угадать, что же это за слово, которое никак не решается высказать ее муж. Она готова беспрекословно исполнить любое его желание, любую его волю. Но Шидургу молчал, оставляя ее в тяжком неведении, она видела в его печальных глазах не любовь, а жалость и сострадание. Так было и три последних дня, когда бурхан подсаживался к ней, долго, понуро молчал, потом смотрел на нее загадочным, полным сомнений взглядом и, тяжело вздохнув, удалялся к себе.

Вчера он зашел особенно хмурым. Его лицо выражало решимость, но и на этот раз он промолчал. Он даже не смотрел на нее так пристально и жалостливо, как прежде, а все прятал глаза и, лишь уходя, глухо заметил:

— Завтра к тебе придет казначей.

Не успела она спросить, зачем придет к ней этот старик, как Шидургу уже не было рядом. Всю ночь ханша не сомкнула глаз, ей даже хотелось самой пойти к бурхану, униженно проникнуть в его комнату. «Будем ли мы завтра или уже нет? Может быть, это наша последняя ночь...» — такие тревожные мысли не оставляли ее, страх охватил все ее существо. Она измучилась за этот год, в груди камнем лежало горе. Забыться хотя бы на одну ночь, ослабив до предела натянутые сердечные струны, горячими слезами облегчить остывающую, окаменевшую душу. Несколько раз вскакивала она с постели, решительно бросалась к двери и каждый раз, почти невменяемая, возвращалась назад.

И теперь она не могла выйти из оцепенения. Казалось, ее крепко-накрепко связали веревками из конского волоса, и словно тем же арканом опутаны были ее думы, мечты и мысли. Наступило утро, но она и себя, и все, что творилось вокруг, воспринимала как в сонном тумане. Ощущение действительности исчезло, мысли лихорадочно путались, роились, взгляд блуждал. Невыплаканные слезы застыли в ее глазах. Она случайно взглянула на череп горного барана и вдруг на лобовой кости, между рогами, увидела небольшую трещину. Исчезло стоявшее перед глазами зыбкое марево, она очнулась и, не веря себе, внимательно осмотрела череп. Рога были все те же, но на желтоватой, еще не совсем высохшей кости ясно обозначилась небольшая трещинка. Как же они, гадая на рогах, не замечали эту кривую, точно серп молодой луны, трещину?

Словно дивное таинство, притягивала ее взор едва заметная черная линия на середине желтой лобовой кости. Ханша

не могла оторваться от нее. Что предвещает эта трещина, которую она увидела только сегодня?

Это было так неожиданно, так поразительно. Уж не померещилось ли ей все это? В такое несчастливое время разве может эта трещинка предвещать удачу и радость? Как убедить себя, что это к добру?

Отгадка такого откровенного предзнаменования не приходила ей в голову, и не хотелось думать о зловещем знаке судьбы. Как утопающий хватается за соломинку, так и она, отгоняя мрачные мысли, удивлялась лишь одному: почему раньше не замечали они эту ясную трещину, да еще на таком заметном месте? Мысли ее кружились вокруг этого, как кружится спутанная лошадь вокруг прикола. Не в том ли все дело, что всегда каждый из них пристально разглядывал только «свой», ему отведенный рог и никогда не обращал внимания на лобовую кость посредине? Каждый замечал изменения только на своем роге, а срединная кость, соединявшая могучие крутые рога, не касалась ни ее, ни его. Видать, потому ни один из них не заметил зловещего знака рока, коварную трещинку, притаившуюся между рогами. Ведь стоило невзначай охватить взглядом оба рога вместе, и в глаза сразу бросилась бы эта трещина, так четко, так явственно разделившая рога.

Конечно же это было предначертанием самой судьбы, означающим конец их былого могущества и всей жизни. Коварный враг, со всех сторон оценивший их город, не сегодня завтра разрушит крепость и выкурит их, как охотник выкуривает из норы зверя. И тогда повесят обоих коронованных — и Шидургу, и ее повесят, и это будет концом жизни. Разве не это предвещает трещина меж рогов? Кто знал, кто только думал, что такое может случиться? Ведь этой черной, зловещей линии никто даже не разглядел до самого рокового часа. Не заметил ее и отец, иначе разве подарил бы он эти рога? Как нежданное горе, обнаружилась эта трещина в самый безысходный момент ее жизни. Каждый день склонялся над этим черепом Шидургу, а ведь тоже ничего не заметил. Иначе он ведь сказал бы ей. Но что он скрывал от нее в последнее время? Может, он уже видел виселицу, на которой повесят их обоих? Но об этом он знал еще год назад, когда было разгромлено его войско, а столицу взяли в осаду. Да, да, уже целый год они терпеливо и мужественно, не давая повода для злорадства врагов, ждут своих палачей, и не это было причиной печальной подавленности Шидургу. Он давно уже был готов к смерти, давно чувствовал неотвратимость

конца. Так что же тогда он скрывал от нее? Какие слова столько раз порывался сказать, да так и не высказал? Почему он с такой болью и жалостью глядел на нее и почему в глазах его была мольба о прощении? Ведь за этот год она испытала, перечувствовала и пережила то же самое, что и он. У них была одна судьба, их обоих ждала общая смерть. К чему же тут его жалость, печаль и мольба?

Ах, она чуть не забыла... Поспешно подошла она к четырехугольному возвышению у почетной стены, взяла из серебряного блюдца перстень. Потом извлекла из гнезда драгоценный камешек: зеленые кристаллики в его углублении были ядом. А в крошечном гладком костяном футлярчике оказалось тонкое обоюдоострое стальное лезвие, и теперь ей стало понятно, зачем приходили к ней старик казначей и служанка. Кажется, догадывалась она и о том, что порывался сказать ей Шидургу. Но только к чему это? Зачем ей кончать самоубийством, если она все равно предстанет перед палачом? Или боялся он, что она не вынесет смертных мук? Но если она выстояла в этом длившемся целый год аду, то почему бы не вынести мгновение под перекладиной виселицы или под топором палача? Она вытерпит, ей уж нечего бояться теперь. Жизнь ее не дороже порабощенной страны или жизни мужа. И если ее повесят, то вместе с ним, с человеком, который дан ей самим богом; если решат обезглавить, то вместе со своим Шидургу она положит на плаху голову. Белый свет будет для них одним до последнего их рыдания, и вместе уйдут они из этой жизни. Никто и ничто не разлучит их, между ними не встанет даже сама смерть. Но, может быть, что-то другое задумал подлый враг? Что предрекает тонкая, как серп новорожденной луны, трещина? Быть может, враги хотят обречь одного из них на подлое одиночество, оставив на поругание один лишь рог?! Всевышний бог! Почему его нет?!

Гурбельжин вновь подошла к окну. Солнце уже склонялось к западу, вечерело. Вдоль развалин крепостной стены, оценив дворец, маячили враги на низкорослых лохматых конях. Неожиданно стража расступилась, давая кому-то дорогу. У ворот, махая кривыми саблями, показалось, несколько человек. Ханша не отрываясь смотрела на них, пока они не подбежали к дворцу. Шидургу среди них не было.

Теперь она окончательно убедилась в коварстве врага. И, уже слыша топот по переходам дворца, тангутская ханша кинулась к четырехугольному возвышению, на котором стояло серебряное принесенное казначеем блюдце.

7

Целую неделю шел хмельной пир, всколыхнувший побережье Черной реки. Бесстыжее солнце, равнодушное к диким земным разгулам, выкатилось на вершину холма, который остался от разрушенного города, и ослепительно, радостно улыбалось. Муравьи копошились на пепелищах, суетливо бегали в своих бесконечных житейских заботах. Суслики успели вырыть себе норки под развалинами и теперь, блаженно посвистывая, грелись на солнышке. И время шло своим чередом, безразличное ко всему, что творится на белом свете. На месте кровавых луж выросла густая зеленая травка...

Шестьдесят пленников — все, что осталось от многолюдной тангутской столицы, успели уже привыкнуть к шуму и гвалту, к гортанным крикам и грубым забавам весело пировавших захватчиков; им не было дела до тех, кто, вырыв на склонах холмов сотни земляных очагов, с утра и до поздней ночи варил душистое, исходившее паром мясо, пил кумыс и вино, празднуя лихую победу. Печальными, как у верблюжонка, глазами смотрит пленник на окутанные маревом синие горы, на тучные пастбища и луга, где еще недавно тангутские пастухи мирно пасли скот, на прозрачную, звучно плещущуюся Черную реку.

Сегодня последний день недели. В первый же день, когда Чингисхан закатил доселе никем не слыханный пир, волосы узников шевелились и ныло нутро, а руки и ноги дрожали. Пленников душила бессильная ярость позора и унижения. Но потом, когда этот содом стал продолжаться изо дня в день, ярость их притупилась, и лишь где-то в глубине осталась одна глухая, щемящая боль. Сегодня возле шатра Чингисхана все чаще собиралась толпа, и несчастные, измученные горем сердца узников задрожали от черных предчувствий.

После полудня, закованных в кандалы, их выгнали на круглый бугор возле шатра повелителя.

Торжество Чингисхана все еще продолжалось. Дастархан был заставлен драгоценностями, инкрустированной золотой и серебряной посудой, изготовленной чародеями-ювелирами Сартаулов, Кавказа, Индии и Китая. Обычно серое, бесцветное лицо Чингисхана сегодня было красным и пухлым. По затылкам шестидесяти пленников прошла семигранная сыромятная плетка, их поставили в сторонке на колени и привели закованного в ножные кандалы Шидургу.

Чингисхан обратился к нему:

— Ты, помнится, говорил вчера: если останется на земле хоть один тангут, он отомстит за тебя. Так ли ты говорил?

— Да! И будет так, как сказано.

— Но из всего тангутского племени остались в живых только шестьдесят этих и ты сам. Остальные перерезаны, как козлята. Из женщин я оставил одних пригожих, отныне от них родятся только дети монголов. Этих шестьдесят на твоих глазах я отправлю на тот свет!

Стон прошел среди пленных тангуток, согнанных в круг поодаль, словно мечи палачей вспороли их животы и заживо всунули туда вражьих щенят... И тотчас над затылками шестидесяти пленников разом блеснули шестьдесят секир. Шидургу не успел бросить прощальный взгляд на единородных своих собратьев, к его ногам, словно кусты перекати-поля, покатились головы. Обезглавленные тела, застыв на мгновение и подавшись вперед, грузно валились на землю.

И снова раздался голос Чингисхана:

— Мухули мусхули угай балган![1]

Голос его прозвучал резко, как клекот орла.

— Отныне, чтобы не забыть этот день и этот час, каждый раз, садясь за трапезу, кричите: «Мухули мусхули угай!»

И тут же эхом откликнулось все ущелье:

— Мухули мусхули угай!

Чингисхан снова повернулся к Шидургу.

— Теперь, кроме тебя, на всей земле не осталось ни одного мужчины-тангута! Все брюхатые бабы заколоты, ни один тангут не родится больше на свет! Скажи, кто будет мстить за тебя?

Невдалеке от пленных тангуток, на отшибе, восемь сильных монголов держали на плечах паланкин, со всех сторон покрытый шелками. В нем, кусая губы, сидела бледная ханша Гурбельжин, она все видела и все слышала через тонкую кисею паланкина.

Шидургу встрепенулся и резким, гневным голосом выкрикнул:

— Эй, не возносись, Чингисхан! И над тобою грянет возмездие!

Он заскрежетал зубами, но собрал всю волю и сильно тряхнул головой, чтобы смахнуть со лба капли смертного пота.

Чингисхан не сказал в ответ ни слова и подал знак двум палачам. За спиной Шидургу, скрестившись, лязгнули

---

[1] Мы истребили все вражье семя! *(монг.)*

секиры, и голова из-под золотой короны скатилась к ногам повелителя вселенной.

— Мухули мусхули угай! — громом прокатилось по долине Черной реки. Чтобы не вскрикнуть, ханша, словно кляп, сунула в рот край одежды. По белым как мел щекам сыпались горькие, как отрава, слезы. Обезглавленное тело Шидургу дернулось, подалось вперед и рухнуло плашмя рядом с перекатывающейся по земле короной. Конные распорядители пира и разносчики поскакали к холмам, чтобы собрать праздничные дастарханы.

Чингисхан порывисто встал, перешагнул через облитую кровью золотую корону тангутов и направился к шелковому паланкину.

С удивлением и ужасом смотрела Гурбельжин на костистую фигуру кадыкастого старика, тяжелой походкой подвигавшегося все ближе и ближе к ней. Белая рука ханши бессильно упала, из глазка перстня посыпались на подол ядовито-зеленые кристаллики.

...Довольная всем и собой, несла свои воды Черная река. Она звонко плескалась о берег, журчала и бормотала, как и много тысяч лет назад. Чингисхан в сопровождении охотника Кахара и еще пятерых слуг спустился меж крутых скал к реке. Он знал, что теперь возле золотого шатра соберется немало любопытного и праздного люда, а ему хотелось уединения, хотелось укрыться от всевидящих человеческих глаз. Сюда верхом на коне доставили и ханшу Гурбельжин: здесь, среди зубчатых высоких скал, никто и ничто, кроме небесного светила, не увидит его.

Да, в такой, как сегодня, яркий, солнечный день можно вдоволь налюбоваться белым, как только что выпавший снег, телом красавицы Гурбельжин. У самого берега на нетронутой зеленой траве поставили небольшой шатер, в тени шатра рабы начали раздевать ханшу. Они помнили предсмертные слова Шидургу, они должны тщательно, с головы до ног, осмотреть тело красавицы. Когда скользнуло вниз вышитое золотом парчовое платье и обнажилось молочно-белое, как луна, женское тело, семеро мужчин, разинув рты, застыли в изумлении. Да, они никогда не видели такой красоты, они даже не заметили, как из-под одежды, с шуршанием упавшей к ее ногам, выпорхнул в небо белый голубь. Дрожа, они схватили ханшу за белоснежные руки, чтобы скорей отвести в шатер.

Чингисхан только теперь успокоился и пришел в себя. Оставшись в шатре один на один с прелестной тангутской

ханшей, он прислушался: по условию, слуги должны были отойти от шатра подальше и зорко следить за тем, чтобы никто случайно не подошел к шатру. Видимо, слуги уже успели уйти, он ничего не услышал, кроме всплесков воды.

Он приблизился к юной, обнаженной слугами ханше, она дрожала, как косуля в капкане. На ней не было ни единого лоскутка, под которым можно было бы спрятать какое-либо оружие. Еще раз испытующим, подозрительным взглядом окинул женское тело Чингисхан. И браслеты, и кольца, и перстни, и серьги, и чолпы из волос — все-все сняли слуги с этой женщины. Закинув голову и белея тонкой длинной шеей, тангутка упала навзничь. В глазах великого повелителя потемнело, сейчас он ничего не видел, кроме ее нежных и полных губ и чистых, как у верблюдицы, черных глаз. Колени его словно обожгло раскаленными угольями: то были гладкие, как шелк, горевшие от стыда, позора и поруганной чести бедра ханши. Давно не испытывал он такой безумной и слепой страсти. Тяжело и сдавленно дыша, словно выброшенная на берег рыба, он жадно вдыхал запах жаркого и божественно молодого женского тела.

Чингисхан только было приник к ложбинке меж ее тугих, будто гранат, грудей, как вдруг охнул, задрожал и обмяк. Его скрученное от боли тело мешком свалилось рядом с ханшей.

Гурбельжин схватила что-то случайно оставшееся от ее одежд и бросилась из шатра.

Великий повелитель сел на корточки, с ужасом взирая на кровь, оросившую его дряблые ляжки. Он не посмел позвать сейчас своих слуг, заскрежетал зубами так, будто хотел раскрошить их, и ничком рухнул в постель.

8

Неожиданно и тяжко заболел великий повелитель. В ту же ночь были обезглавлены все его слуги, кроме верного Кахара; и лекари, и знахари, приходившие к больному хану, бесследно исчезали в шатре.

Монгольское войско поспешно покидало дотла разоренную столицу уничтоженных тангутов. В пути многие пытались навестить хана, расспросить о его здоровье, но он никого не велел пускать в шатер, он не говорил ни с кем, лежал целыми днями с закрытыми глазами, погруженный в какие-то только ему одному известные думы.

Лишь на третьем месяце пути войско остановилось на

широком лугу в долине реки Чжан-Хак. Глядя на высокие луговые травы и на зеркальную гладь реки, Чингисхан впервые за время болезни произнес:

— На таких дивных лугах только и кормиться старому оленю да отдыхать старому человеку.

В этой долине и остановилось кочевье. На зеленом лугу у самого берега реки обосновалась ханская орда — ставка из двух огромных спаренных юрт. Когда орда была установлена, Чингисхан приказал постелить у стенки и лег в постель. Стоял теплый, тихий летний день. В траве трещали кузнечики, щебетали птицы. Над ордой то и дело пролетали стаи диких перепуганных гусей и уток. Развьюченные верблюды и расседланные кони дружно хрустели сочной свежей травой.

Чингисхан лежал, любуясь этой не замечаемой им раньше картиной мирной жизни, потом вызвал охотника Кахара, единственного живого свидетеля его уединенной встречи с ханшей у Черной реки. Он приказал ему принести рубашку тангутской красавицы. После того события было обшарено все ущелье, но, кроме этой рубашки, найденной на острой, как птичий клюв, вершине скалы, ничего не осталось от прелестной тангутки. Потом, боясь ненужной огласки и кривотолков, хан приказал прекратить поиски. Прижимая к груди скомканную одежду, уже утратившую запах молодого женского тела, Чингисхан задумчиво помолчал и вдруг обратился к Кахару.

Одежда Гурбельжин, сказал он, должна храниться в отдельной, отведенной для этого юрте, и пусть эта юрта именуется Малой ордой великого повелителя. Каждый год в этот день месяца, точно на этом месте, после того как он уйдет в иной мир, должна проводиться тайлыга — грандиозные поминки в честь великого хана, где в жертву должен быть принесен человек. Когда великого повелителя настигнет смерть, никто не должен входить в юрту, кроме тех, кто будет обмывать и готовить его тело к загробной жизни. Потом, когда гроб с его телом закроют, кто-нибудь из наследников обязан обезглавить всех, кто видел нагое тело властителя.

Охотник Кахар отправился к наследникам, чтобы передать им желание великого хана. Вечером, в сумерках, он вернулся в орду, где в одиночестве почивал повелитель.

Чингисхан налил в ярко расписанную китайскую чашку какой-то напиток, протянул его Кахару, сказав, чтобы он выпил половину, а остальное вернул ему. Кахар удивился, однако не мог не исполнить приказание своего господина. Он выпил ровно половину загадочного напитка и тут же пе-

редал чашку маленькому сгорбленному старику, сидящему на пышной постели. И едва передал он из рук в руки чашку, как повалился к ногам хана. Но он еще успел увидеть, как великий повелитель, чьей грозной воле подчинялась половина мира, залпом выпил из китайской чашки то, что осталось после него, недостойного стрелка, всю жизнь по горам и ущельям гонявшего диких архаров. Кахар успел еще звучно цокнуть языком, чтобы выразить удивление, и это было последнее удивление охотника Кахара поступком своего великого повелителя.

Одну из рек Восточно-Азиатского материка китайцы называют Хуанхэ — Желтой рекой. Тибетцы прозвали ее Мачу, то есть Красной рекой, а монголы — Хара-Мурэн — Черной рекой. Но в народе многие называют эту реку Хатын-Гол, Рекой ханши.

Возле этой реки, прозванной так в честь тангутской красавицы, недалеко от города Тайэуачэн, возвышается необычайный холм. В утренние часы он кажется опрокинутой чашей, а в полдень — большой юртой, поставленной в безлюдной степи, а вечером — круглым бугром, подножие которого окутано маревом, а вершина — тучами. Этот холм называется Темир-Олхо.

Когда Гурбельжин силком привели в шатер Чингисхана, она выпустила голубя, к ноге которого было привязано письмо, в нем было написано, как она собирается отомстить насильнику.

Там, где высится теперь Темир-Олхо, нашли тело прекрасной Гурбельжин.

Местные дехкане, поклоняясь праху женщины, отомстившей самому Чингисхану, бросали здесь по лопате земли, так на ее могиле вырос, как памятник, высокий и остроголовый, словно кончик копья, холм. И с тех пор каждый прохожий, каждый путник оставляет у священного холма горсть земли. Темир-Олхо напоминает всем живущим на земле: возмездие неминуемо, тот, кто приносит людям зло, найдет суровую кару, и не бог покарает его, а руки людей. Считается, что человек, который поведал другим эту историю, также добавил горсть земли к кургану Темир-Олхо.

Благодаря этому обычаю легенда переходила из уст в уста, из страны в страну, из поколения в поколение.

Вот и я, дорогой читатель, бросил к Темир-Олхо горсть земли, поведав тебе эту древнюю историю.

1967

КОЛОДЕЦ

1

В тот день Енсеп не знал, не ведал, что ему больше не суждено будет опускаться в эту преисподнюю...

Он напился чаю и, едва спала жара, опять пошел к колодцу. Присел у краешка на серый песок, достал белую табакерку из рога с серебряной цепочкой, ухватил пальцами завитушки насыбая. Не торопясь, поочередно заложил его в ноздри — крепкий, терпкий табак пробрал насквозь, обжег носоглотку, и он несколько раз громко чихнул.

Смахнув выступившие слезы тыльной стороной ладони, Енсеп набрал полную горсть песка и стал внимательно разглядывать его. Удивительное дело — песок, извлеченный из глубины колодца, не успел за два часа просохнуть, несмотря на адский зной. Он был тяжел, влажен, приятно холодил руку. Да, не сегодня завтра колодец наполнится водой.

К Енсепу подошли до испарины надувшиеся чаю его помощники и тоже принялись баловаться насыбаем. Потом развели тары-бары о том о сем; больше всего их волновал, конечно, той, который устроит бай Байсал в честь нового, только что вырытого колодца. Все сошлись на том, что той состоится позже, когда похолодает и аулы возвратятся на зимовку. Перебрали знаменитых скакунов и борцов-богатырей, которые наверняка примут участие в состязаниях на торжестве. И даже не поленились, высказали предположения о призах и подарках, которые отвалит известный на всю степь бай Байсал.

Колодец этот будет самым глубоким и самым обильным на всем Устюрте. Уже сейчас черный атан[1] тянет чигирь на двести с лишним шагов. Со вчерашнего дня песок на дне резко убавился, влажными кусками пошли супесь и глина. Не исключено, что вода окажется пресной. И когда Енсеп пробьет последний плотный слой глины и доберется до медово-сладкой родниковой воды, бай Байсал ханом возомнит себя, ей-ей, ханом, да и только! Вот уж тут он расщедрится! Тут он покажет свой размах, закатит той на всю округу, не пожалеет богатства.

---

[1] Атан — холощеный верблюд.

Енсеп не вмешивался в веселый разговор джигитов. Поглядывая на две лачуги, предназначенные для колодцекопателей, он думал о своем. Вон она стоит, прокопченная, жалкая юртишка степного ремесленника. Сколько бы ни заработал он голов скота или денег, не обновится ее прелая кошма, почерневшая от времени, дождей и жары. Его жена и дети в ауле — там, где есть вода. Сколько же прошло с тех пор, как он их видел в последний раз? Считай, почти год ковыряется он в этой чертовой норе. И лишь холодной, далекой уже теперь весной ненадолго навестил он семью. Да и то явился, чтобы поглазеть на хозяйство, как раз был овечий окот.

В этих лачугах мыкаются одни мужики. Двое подростков готовят пищу и стерегут жилье, пока остальные возятся у колодца. Днем мальчишки отправляются за питьевой водой. Седлают после полудня двух атанов, навьючивают на них кадки, кладут в рот курт — комочек кислого овечьего сыра — для утоления жажды, набрасывают на головы чапаны, чтобы не припекло солнце, и трогаются в путь. Возвращаются на другой день, спозаранок. Устают здорово, какой уж тут порядок, уют!

Вся жизнь потомственных кудукши[1] проходит вот так, в бесконечном скитании по безлюдной и знойной пустыне. Все потомки рода караш, для которых копать колодцы, добывать людям воду стало наследственным ремеслом, с самой колыбели только и слышат разные смешки да пересмешки. «Эх, караш, жилье его — шалаш, похлебку варит в котелке, собаки его — брехуны, девки — пустосмешки, в белой юрте ему не жить, сапог добротных не носить, на верблюде не сидеть...» — так поддразнивает их род всяк кому не лень. Ладно, и на том спасибо, что не говорят: «Караш-род и без пищи проживет». А то недавно отправили было парня к Утесу, брату бая Байсала, с просьбой дать двух дойных верблюдиц, чтоб было хоть в зной чем утолить жажду, так тот, негодяй, принялся насмешничать: карашцам-де верблюжье молоко не пойдет впрок, они ведь привыкли хлебать одну похлебку. Вернулся проситель ни с чем — и так бывает...

Сапожники и кузнецы хоть на язык остры. Случается, исподтишка ужалят — взвоешь. А кудукши — нет, не горазд на слово. Да и зачем ему, кто оценит его слово под семью пластами земли?!

---

[1] Кудукши (от кудук — колодец) — копатель колодцев.

Енсеп плюнул в сердцах. Ну, досада досадой, а дело делом: завернул он штанины выше колен, перепоясал себя волосяным арканом, направился медленно к колодцу. Джигиты прервали оживленную свою беседу, пошли за ним, дружно взялись за аркан.

Нутро колодца черно и беспросветно. Енсеп посмотрел на небо, выжженное добела нещадным солнцем, опустил ноги в зияющую пустоту, нащупал вырубленную в стенке ступеньку. Горячие ступни ощутили промозглую сырость. Прежде чем окунуться во мрак, Енсеп еще раз бросил взгляд на темневшие вдали лачужки.

Необъятный голубой простор, окутанный дымчатым маревом, отгородили от него до черноты загоревшие ноги джигитов. Привычно держась за волосяной аркан, Енсеп откинулся всем корпусом назад и опустился еще на одну ступеньку. На дубленых и жестких, как ремень, лицах его помощников выступили капельки пота; джигиты напряженно следили за ним.

Енсеп коснулся следующей ступеньки. Небо, огромное, как море, небо сейчас превратилось в небольшую, опрокинутую над его головой круглую чашу. Каждой клеточкой тела он почувствовал неистовый холод. Он нащупал ступеньку пониже. Солнечный свет остался там, высоко, вместе с джигитами; здесь царил сумрак. Казалось, свет сбежал отсюда, скопился вверху, у входа в колодец, и слегка дрожал.

Чем ниже, чем глубже спускался Енсеп, тем сильнее обжигал холод его голые ступни. Когда поднимаешься вверх, с каждой ступенькой становится веселей, радостней на душе. Енсеп, считай, всю жизнь, с детства, копал колодцы, но каждый раз, когда он спускался в безмолвное чрево земли, ему казалось, что он ощущает, как стареет. Иногда подкрадывался страх, чудилось, будто там, под ногами, в черной пустоте притаился страшный, неведомый зверь. Он никогда не смотрел вниз, а пристально, с тоской вглядывался в маленький, с ладонь, родной клочочек неба над головой. Клочок становился все меньше и меньше; все крохотней, призрачней становились и фигуры джигитов, держащих аркан. Да и сам аркан на глазах делался тоненьким, как волосок.

Вот Енсеп добрался до каменистого пласта. Совсем исчезли сумеречные тени. Его окутал плотный мрак. Сначала Енсеп ничего не видел, но вскоре освоился и уже мог различить ощерившиеся каменистые стены. Устье колодца напоминало теперь отверстие наперстка, а люди — чуть шевелящиеся точки. Глубина в двести шагов...

Ноги безошибочно находили ступеньки: еще бы, попробуй полазить взад-вперед изо дня в день целый год... Бр-р! Стужа-то какая! Аж в висках заломило.

...Ну вот, наконец-то дно!

Енсеп крепко зажмурил глаза, постоял недвижно, дал успокоиться сердцу и нервам. Потом быстро развязал на поясе аркан, резко дернул его, давая знак тем, наверху. Аркан тут же пополз вверх. Кончик, извиваясь, задел его грудь. Енсеп вздрогнул, словно от прикосновения змеи. Аркан, связывавший его — пленника каменного мешка — с товарищами, с земным светом, с горячими, живительными лучами солнца, радостно, стремительно летел к крошечному, как игольное ушко, отверстию. Енсеп остался совсем один — за семью пластами, в жутком ледяном подземелье.

Его глаза уже совсем освоились с темнотой; Енсеп хорошо видел неумолимо обступившие его влажные стены колодца. Вскоре вниз двинулся круглый черный предмет. Преломляясь, рассыпаясь веером, косые бледные лучи осветили его на миг и тут же отстали, не в силах угнаться за ним. Всякий раз, когда это малюсенькое светлое отверстие исчезает, вздрагивает вечно встревоженное сердце Енсепа, его охватывает страх. Он с опаской смотрит вверх, пока не разгадает, что за предмет закрыл это отверстие: дубовая бадья, в которой посылают наверх песок и глину, ком земли, камень или еще что-то. На этот раз опускали дубовую бадью с двумя железными крюками. В бадье его теплая безрукавка и сшитые из шкуры жеребенка сапоги на высоких каблуках, с голенищами до самых бедер. Ради удобства Енсеп всегда спускался в колодец без верхней одежды.

Приятно облачить озябшее тело в теплую одежду. Даже страх, голодными волками обступивший Енсепа, куда-то исчез. Енсеп пошарил рукой по холодной стене. Песчаник повлажнел, отяжелел. Интересно, горькая влага или пресная? Он столько раз дотрагивался губами и языком до влажного грунта, что уже не различал вкуса.

Стоило ему взяться за привычную работу, тысячекратно заученными движениями начать долбить землю, как к нему вернулись столь же привычные воспоминания, тысячекратно передуманные мысли.

Хотя что ему вспоминать? Жизнь кудукши небогата впечатлениями. Что он видит, кроме душной непроглядной дыры, осклизлых стен колодца да сырого песчаника? А о чем ему думать? Опять-таки о колодцах — этих каменных могилах, да о своей обездоленной, бедной судьбе?

Не знающие отдыха мозолистые руки Енсена принялись ковырять землю. А его истомленная унылой, однообразной работой душа начала блуждать по закоулкам и тропинкам памяти, по безрадостно прожитым годам.

2

Ему обычно вспоминалась недолгая жизнь там, на земле, тот пронизанный светом мир, который здесь, в глухом подземелье, казался фантастическим, нереальным. Енсен и сам не знал, отчего с годами он стал все чаще обращаться мыслями к этому короткому, будто мгновение, отрезку своей жизни. Все события, перипетии тех лет вставали перед глазами явственно, словно только-только произошли. Когда Енсену становилось совсем невмоготу, когда его охватывало лихорадочное беспокойство, эти воспоминания приносили ему облегчение, снимали вечное напряжение и тревогу. Он успокаивался на время.

Мог ли он когда-нибудь раньше думать, что начнет тосковать о далекой той поре, сладко грезить о ней?

Когда Енсен был чумазым аульным мальчишкой, самой заветной его мечтой было заполучить бабку горного барана, да еще вдобавок залитую свинцом. Детская мечта осуществилась, и вскоре он забыл о ней. Тогда он еще не осознавал, что переменный успех (сегодня победишь — завтра проиграешь, сегодня займеешь — завтра потеряешь) присущ не только игре в асыки, а жизни вообще и что все в его судьбе будет преходящим и скоротечным. Бывало, набив рубаху выигранными асыками, Енсен возвращался домой не чуя земли под ногами. В такие часы в его головенке роились чудесные планы.

Ему хотелось стать таким же могущественным, как волостной правитель Бигельды. Под ним будет аргамак с лебединой шеей, точеное синее седло с посеребренной лукой; в руке — четырехгранная, с кисточкой, камча, рукоять ее залита серебром и позолочена сверху; его сопровождает всюду свита из бойких и услужливых аульных джигитов. Как ветер, носится он из аула в аул. На ночевку остановится у бая, у мурзы отобедает. А как надоест мотаться по аулам, соберется он с двумя-тремя надежными дружками на охоту, потешится вдоволь в степи, подальше от людских глаз. А наскучит ему и эта забава, отпустит приятелей домой, а сам нагрянет к разбитной вдовушке, красавице Жанель. Она только и мечтает о нем, юном волостном. Развалится он

у нее на пуховых подушках, побалуется густым ароматным чайком, который будет подливать ему игривая хозяюшка, жеманно отставляя при этом мизинчик. Одного не учитывал в своих мечтах Енсеп — к тому времени, когда он подрастет и станет волостным, красавица Жанель безнадежно постареет...

Потом отвернулась судьба-капризница от своего баловня Бигельды. Сначала за ним длинноющим хвостом тянулись слухи да сплетни, а на выборах его с треском провалил новый волостной — рыжебородый бий Шонмурун.

У Шонмуруна был непривлекательный вид. Ворот белой рубахи всегда нараспашку. Толстый бий постоянно исходил по́том. На крутой жирной груди его покоилась неопрятная рыжая борода. Говорил он медленно, важно — не говорил, а изрекал слова. Его всюду сопровождала свора угодливых, льстивых подпевал, готовых по первому знаку своего повелителя исполнить любую его волю. И мальчуган все больше склонялся к мысли, что, пожалуй, получить такую власть и таких верных джигитов, как у бия Шонмуруна, очень здорово.

Одним словом, Енсепу никак не хотелось оставаться навечно мальчишкой на побегушках потому только, что у тебя всегда потрескавшиеся грязные пятки и неумытая физиономия. Ему претило, что над ним безнаказанно куражится каждый кому не лень. Но меньше всего ему хотелось быть похожим на своего отца Кулжана. Жил он на краю аула, в лачужке, кое-как покрытой сопревшей кошмой и изодранной в клочья алашой[1], торчал с раннего утра до позднего вечера под открытым небом, рядом с раскаленными саксаульными углями и дряхлым латаным кузнечным мехом. Хотя женщины, носившие Кулжану лудить прохудившиеся казаны и самовары, вежливо называли его «каинага» — старшим деверем, в ауле, однако, над ним подтрунивали и стар и млад. Мальчик не ведал, почему к отцу прилипло, например, прозвище «Упрямец Кулжан», «Строптивый Кулжан», а спросить не решался.

Отец возился в кузнице целыми днями, раздувал мехи, совал какую-нибудь железку в ярко пылающие уголья и стучал да постукивал по ней. Дома он обычно не разговаривал. К матери обращался редко, да и то с коротким вопросом: «Чай готов?», или с коротким приказом: «Подай это — подай то!» Енсеп ни разу не видел, чтобы отец с кем-нибудь беседовал по душам, но не раз слышал, как он крепко

[1] А л а ш а — домотканый палас.

осаживал людей в споре. Может, оттого и величали отца «упрямцем» и «строптивым», что он обладал крутым, неуживчивым нравом и больно жалил других языком. Может, это из-за своей гордыни он возится всю жизнь с железками, кузнечными щипцами и молотом, в то время как остальные мужчины рода караш копают колодцы.

Дети побаивались своего сурового и нелюдимого отца. Он никогда их не бранил, не повышал голоса, лишь изредка поглядывал строго из-под насупленных бровей. И дети при нем притихали, помалкивали.

Енсепу пошел пятнадцатый год, когда отца свалила болезнь. Целый год промыкался он на полосатом паласе в углу лачуги. Знахарей, однако, не подпускал к себе близко, отваживал их богопротивными словами: «Не на ярмарке я купил свою душу. Бог, однажды расщедрившись, дал ее мне, а теперь он стал скупердяем, пусть берет ее обратно».

Как-то раз, вконец измученный болезнью и голодом — пища не проходила через горло, отец, должно быть, потерял терпение. Изможденный, худой, он приказал матери подать пятигранную камчу, что висела на стене, и нож из маленького ящика для инструментов. Он отрезал у самого основания распущенный кончик плети с вплетенным в него свинцом и густо намазал ее маслом. В лачуге все со страхом переглядывались: никто не догадывался, что задумал отец. Тщательно, до блеска смазав камчу, он в последний раз провел по ней жирной ладонью и потребовал кумыс. Он обмакнул камчу в большую деревянную чашу с крепким кумысом. Губы его слабо зашевелились, он принялся шептать что-то невнятное. Потом запрокинул голову, выставив вперед редкую острую бороденку. С трудом унимая дрожь в руке, отец вытащил камчу из кумыса и затолкал один конец в рот. Пропитанная терпким конским потом, маслянистая, скользкая, словно змея, камча медленно поползла в глотку. Высохшая отцовская рука, заметно дрожа, с усилием толкала ее все дальше и дальше; тощая — одна кожа да кости — рука отчаянно пропихивала ее вглубь. Глаза отца были плотно закрыты. Непомерно большой для тонкой шеи кадык судорожно двигался вверх-вниз под пергаментной кожей.

Но вот о зубы щелкнуло железное кольцо у основания рукоятки. На бледном лице отца не было ни кровинки, оно стало синюшным. Одной рукой он продолжал держать камчу за рукоять, другой — сильно надавил на грудь. Он намертво вцепился в камчу зубами, будто хотел ее перекусить. На лице выступил пот. И тогда он резко выдернул камчу. Из

горла хлынула кровь. Дети, следившие с замиранием сердца за каждым движением отца, заревели в голос, бросились вон. Мать, не смея голосить при муже, закусила губы, кончиком жаулыка вытерла слезы и торопливо подставила ему тазик.

Отцу не полегчало. Пища по-прежнему не проходила через горло. А тут началась такая невиданная жара, что даже здоровый человек не мог найти себе место. Отец ужасно страдал от жажды.

В середине знойного лета он навеки закрыл глаза. Перед кончиной Кулжан подозвал к себе жену и детей.

— Ну, родные, пришел мой конец. Не обессудьте, что не накопил вам никакого добра,— он настолько ослабел, что голос его был едва слышен,— пока будет стоять земля, род караш не помрет с голоду. На худой конец будете ковырять колодцы.

Тогда-то впервые и задумался Енсеп о том, что на свете существуют горемыки, именуемые кудукши. Из разных аулов, где они промышляли своим ремеслом, собрались мужчины рода караш и похоронили отца. Вернувшись с кладбища, пять стариков вызвали во время поминок Енсепа — старшего из детей покойного Кулжана.

— Ну что ж, милый, отца ты лишился. Хоть и строптивым и упрямым бывал покойный, однако в трудолюбии и упорстве отказать ему было нельзя. Жаль, ничего не нажил. Алашу, чтоб завернуть тело, и ту еле нашли в доме. Отрекся он от дедовского ремесла, а оно хоть и никого особо не обогатило, все же семью кормит досыта. А потому не иди ты по стопам отца, а держись за испытанное ремесло нашего рода. Ты теперь опора и кормилец бедняжки матери и малых братьев. Твой дядя Даржан намеревается забрать вас к себе. Держись за него цепко!

Так напутствовали Енсепа аксакалы и, сложив ладони, благословили его.

В отличие от покойного брата, Даржан был крепкий, рослый и закаленный; обычно он ходил по пояс обнаженный. Разработанные мышцы играли, перекатывались на его мощном теле. Маленькие, словно обрубленные уши были закрыты длинными волосами. У него был плоский, с широкими ноздрями нос, лихо закрученные усы, черная борода, напоминавшая конский хвост, густая и огромная, видно, ее никогда не касалось лезвие. Его гладкий, с большими залысинами лоб маслянисто поблескивал, а огромные, чуть навыкате глазищи с красными прожилками всегда беспокойно шныряли вокруг, будто старались что-то обнаружить.

Даржан был великим молчуном. Дома, на людях он обычно не произносил ни ласковых, ни бранных слов. Если ему что-нибудь претило или он был сильно не в духе, то, глухо пробурчав: «У, в могилу тебя!..», он снова надолго умолкал.

Люди поговаривали: «Эх-хе-хе, мыслимо ли, чтобы строптивый Кулжан и увалень Даржан родились от одной матери?!»

Когда волосатый, сплошь вымазанный глиной Даржан вылезал из колодца, он, ей-ей, походил на чудовище, выбравшееся на свет божий.

Его жена Ханум была миловидной, крупной, широкой в кости женщиной. Ее круглые глаза излучали мягкий свет. Она пользовалась почетом у родственников и сородичей, к ней тянулись и стар и млад. И только Кулжан, не пожелавший избрать для себя участь колодцекопателя (что это, мол, за существование, сегодня находишь кров возле одного, завтра — возле другого куста, как ворон с перебитыми крыльями!) и предпочтя ремесло кузнеца в кочевом ауле, оставался к ней холоден, как ни старался добряк Даржан возбудить в брате родственные чувства.

Ханум с искренним радушием приняла оспротевшую семью. В честь спохи зарезала ярку и, как положено по доброму обычаю, потчевала родственников. Из инкрустированного, с потайным замком сундука она достала материю, сшила вдове платье и новый головной убор — жаулык. Забот у Ханум заметно прибавилось, она почти не расставалась с иголкой и наперстком; ходившие в рванье дети отмылись и приоделись. Даже кошма на бедной юрте обновилась.

Ханум не испытала, к горю своему, радости материнства. И теперь, когда рядом поселилась семья старшего деверя и в ее юрте зазвучали звонкие детские голоса, она расцвела, похорошела. В самом младшеньком, Тенселе, она души не чаяла, баловала: то пичкала свежими сливками, то пончики румяные совала, то ласкала нежной рукой.

Каким бы усталым ни возвращался домой Даржан, завидя детей, он широко улыбался. Воспитанные отцом в суровости, дети вначале сторонились и Даржана. Но вскоре почувствовали безошибочным ребячьим чутьем, что этот заросший волосами, страшный, молчаливый верзила добр и любвеобилен. Едва он садился за чай, как вся малышня, естественно, кроме Енсепа, облепляла его. Кто лез на плечи или голову, кто повисал на шее, кто карабкался на колени. Даржан все это терпеливо сносил и только довольно ухмылялся.

Теперь, вспоминая ласку Ханум и Даржана, поразитель-

ную щедрость их души, что согрела его сиротское сердце, Енсеп ощущал, как горячая волна подкатывает к груди, а сердце щемит от тоски, оттого, что тех дней не вернешь. И как бы потом ни разочаровывался он в людях, какие бы ни терпел от них обиды, он всегда благоговейно хранил в себе бескорыстную любовь и безоглядную доброту дяди и его жены. В самые отчаянные периоды жизни, когда грудь, кажется, не выдержит, разорвется, когда белый свет не мил и хочется уйти, скрыться от всего и всех, недолгие светлые дни детства были ему опорой и утешением. Видно, душа человеческая что старая кружка нищего, стоящего на обочине большой караванной дороги, по которой взад-вперед снуют люди. Почти каждый что-то в кружку кинет. Так и в душу — кто капнет яд, кто — мед. От одного яда человек давно бы погиб, но жизнь на том и держится, тем и сладка, что нет-нет да и подкинет ему скупердяйка судьба каплю меда. Потому и не сдается человек, все к чему-то стремится, во что-то верит, питает обманчивые надежды.

Даржан не сразу привлек Енсепа к своей работе: жалел не окрепшего еще юнца, щадил его, считал, что тот успеет намыкаться с колодцами. Два года Енсеп жил вольно и беззаботно. За это время он вытянулся, окреп, стал ладным и пригожим парнем. В знак того, что он стал джигитом, решила Ханум подарить ему коня. Даржан, слава богу, имел работу, а значит, и заработок. Сундуки их, правда, от добра не трещали, но овечку резали для гостя всегда, а для близкого родича на привязи стоял конь. Даржан один содержал безбедно два дома: все одеты, обуты и, как говорится, дно казана сухим не бывало. Из имевшихся в хозяйстве лошадей Ханум выбрала для Енсепа четырехлетнего гнедого со звездочкой на лбу, красивое седло и уздечку.

Как-то летом, когда она с мужем отправилась гостить к своей родне, Ханум взяла с собой и юного Енсепа. Родственники Ханум были не из тех, кого в народе презрительно кличут «вонючими богачами». Они жили широко и весело. Дастархан их был щедр, в юрте — достаток, девушки — красивы, джигиты — храбры. В округе их аул называли «белогрудый Арын из шестидесяти юрт».

Разъезжать по степи, странствовать было страстью арынских джигитов. Одевались они нарядно и богато. Черные приталенные бешметы из сукна, привезенного аж из самого Оренбурга, ослепительной белизны шелковые рубахи были излюбленной их одеждой. Когда они приближались к любому аулу на породистых своих вороных или гнедых скакунах,

там начиналась суматоха. Девушки и молодухи спешно прибирали в юртах, пожилые женщины и старухи мыли, перетирали посуду. Спешивались джигиты из аула Арын чинно; они сидели в седлах до тех пор, пока хозяева с поклоном не принимали из их рук поводья и не помогали спуститься на землю. На постель поглядывали придирчиво: не дай бог, чтоб под периной оказалось хоть крохотное зернышко. Тут же его приметят, на смех поднимут хозяев — все сплошь шутники да озорники. Язычка их побаивались: если что не так, мигом раззвонят по окрестным аулам.

Енсеп быстро здесь освоился; парни отнеслись к нему без спеси, не как к чужаку. Ловкий, пригожий Енсеп прилично джигитовал на коне, у него был сильный и приятный голос.

Пел он на свой, особый манер — протяжно, нежно, с чувством, лаская слух ценителей песни. Для юноши из степи это имеет значение, и немалое. Ведь он доставляет радость людям из затерявшихся в степи аулов, которые всю жизнь только и знают, что пасти овец да косяки лошадей. Проникновенная песня бередит души, окрыляет джигитов, будоражит сердца юных, расцветающих девушек, смущенно краснеющих возле родителей или старших невесток, волнует игривых молодок, которые, подавая певцу пиалу с чаем, так и норовят коснуться, будто невзначай, белыми пальчиками руки джигита и обжигают его горячим взором. Одним словом, умение петь вполне оправдывает выпитый чай и съеденное мясо в доме, где потчуют желанных гостей.

Когда Енсеп на вечеринках пел под аккомпанемент добры, или обрушивал на слушателей искрометное терме[1], или увлекал из мудрыми сказаниями — кисса[2], увлажнялись глаза пожилых мужчин, чьи лица из года в год облизывал шершавым языком лютый мороз, а сердца исцарапаны были острыми шипами прожитых лет. Честолюбивые джигиты впадали в задумчивость и печаль, и перед их глазами, словно мираж в степи, маячили дерзкие, но, увы, неосуществимые мечты. И лишь девчушки-подростки, чьих щек не коснулась пылинка, а чести — малое пятнышко, испытывали неведомую, сладкую, волнующую кровь истому. С восхищением, благоговением даже слушали они смуглого певца, вдохновенно хлеставшего пальцами по струнам домбры. Щечки

---

[1] Терме — стихотворно-песенный жанр в форме речитатива.

[2] Кисса — эпическое сказание большей частью религиозного характера.

их пылали, сердца таяли, на глазах выступали счастливые слезы, и под атласными платьями, там, где чуть заметно возвышались стыдливые девичьи груди, волной пробегала дрожь.

Юноша пел, не щадя голоса, не вникая в смысл извергаемых им слов; мелодия лилась стремительно и свободно, рука привычно ходила по домбре. Если взгляд Енсена невзначай встречался со взглядом какой-нибудь жадной до ласки, опытной молодухи, он еще больше воодушевлялся, словно взмывал вверх на легких крыльях. Однако могущественным повелителем толпы он чувствовал себя лишь пока пел; когда же кончалась песня, он совершенно терялся под любопытными взорами, смущался от благодарных, хвалебных сов, краснел, как девчонка. Заметив это, юные девушки, чьи сердца он разбудил, втайне жалели его, а молодайки глазели на него еще пристальней, еще зазывней. Смутный жар пробегал по жилам Енсена.

Увы, пора юности коротка, как весна в степи. Только-только зацветет девушка, ее выдают замуж. Только-только появится пушок на подбородке юноши, его заарканит работа... Безмятежная юность Енсена тоже была короткой и сладкой, будто сон путника, всю ночь проведшего в дороге и лишь на заре остановившегося на привал.

Когда мысли Енсена блуждали по закоулкам невозвратных тех лет, к немолодому уже сердцу подкрадывалась грусть. Мышцы, затвердевшие как камень за бесконечные годы тяжелой работы, и те в таких случаях расслаблялись, мягчали.

Енсен не испытывал тоски пожилого, обремененного семьей человека по минувшему прошлому, по беззаботной юности. Однако ему, как и всякому живущему на земле не один десяток лет, были свойственны сомнения, обострявшиеся со временем,— а был ли он счастлив, изведал ли счастье? И что такое вообще счастье? В сознании гнездилась мысль, что настоящее счастье так велико, что его не замечаешь. Человек может изведать счастье только в молодости. А чем больше человек раздумывает о нем, домогается его, стремясь догнать на кляче времени, тем дальше убегает от него счастье.

Да, это короткое слово вмещает в себе все, о чем только мечтает слабый человеческий разум. С момента, как человек начинает грезить о счастье, до той роковой черты, когда он уже теряет веру в него, сколько всего выпадает на долю людскую! Судьба без пощады нахлестывает своим бичом человека. Под градом этих ударов, исполосованный и ок-

ровавленный, он может достичь желанной цели — власти, богатства, славы. Но разве в них счастье?

...Енсеп заполнил дубовую бадью с верхом. Однако, занятый дорогими видениями прошлого и грустными мыслями о настоящем, не замечал, как грунт сыпался уже через край. Потом он дернул аркан, и бадья, скрипя, поползла к отверстию, к людям.

Каждый раз, когда бадья уплывала от него, мысль Енсепа, да и сам он словно замирали. Только было согрелся от работы и от дум, как снова пронизывающий душу и тело холод сковывал его. И он усаживался на дно колодца потерянный, будто забыл начисто что-то жизненно важное. Воспоминания, обступившие его недавно, как вода в половодье, разом исчезали. Во рту пересыхало, голова наливалась тяжестью; на скулах возникали желваки — признак нарождающегося гнева... Енсеп достал табакерку, понюхал насыбай. Затхлая колодезная сырость отступила перед крепким табаком, и он чихнул. Еще раз, еще и еще. Тоска, тисками сковывавшая грудь, постепенно исчезала, и Енсеп опять предался воспоминаниям.

3

Сколько бы ни гулял и ни озоровал Енсеп вместе с джигитами аула Арын, Даржан не журил его. Парень уж стал подумывать, что дядя так никогда и не заявит ему: «Ну, молодец, погулял и хватит. Пора и за работу приниматься». Мать начало беспокоить затянувшееся безделье сына, и она однажды сказала, что ему давно пора оказывать посильную помощь дяде, ведь нельзя бесконечно злоупотреблять его добротой.

Енсеп и сам это понимал. И правда — сколько можно слоняться в праздности по аулам. Своего Гнедка со звездочкой на лбу он отпустил в табун и, когда была надобность, седлал сивую рабочую лошадку.

Даржан рыл в ту пору колодец по заказу бая Токена. К тяжелой работе племянника он не допускал — жалел по-прежнему. Енсеп стряпал для колодцекопателей: варил мясо, кипятил чай. Пришла весна, степь зазеленела, проснулась; норки, нарытые разным зверьем, наполнились звуками. Жить на захламленных зимовках людям становится невмоготу, и аулы поспешно откочевывали на летовку.

Каждый день перед заходом солнца Енсеп седлал сивую лошаденку и устремлялся подальше от безрадостной лачуги

колодцекопателей. Останавливался в каком-нибудь ауле, прислушивался к разговору стариков, степенно обсуждавших хозяйственные проблемы, любовался привычной для обжитого места суетой. И блеяние овец, и цокот копыт, и воркующее «тубай-тубай», которым женщины уговаривали овцу подпустить к соскам ягнят,— все ласкало слух джигита.

Енсеп всем своим нутром осознавал, почему отец изменил дедовскому ремеслу и стал кузнецом, отчего предпочел бедную, зато на людях, аульную жизнь сытому, но одинокому, замкнутому существованию кудукши. Чалая лошадка, почуяв запах жилья и заслышав лай собак, и та бежала веселее, а когда Енсеп возвращался обратно, шла понуро, еле волоча ноги.

Легкий весенний ветерок, пропитанный запахами бурно тянущихся из земли трав, вобравший в себя силу пробуждения, мощь бытия, бодрил, обновлял, наполнял хмельной радостью все живое. Разомлевшая земля подставляла грудь благодатным солнечным лучам, стараясь согреть, выпестовать расцветающую вокруг робкую, полную таинств жизнь.

Всех — от мала до велика — всколыхнула весна. Лишь Енсеп ходил удрученный и грустный. Шальной ветер и пьянящие запахи сочных трав будоражили кровь, навевали истому — они будто теребили Енсепа за рукав и звали, манили в неведомые края. Он попадал во власть смутного и неодолимого беспокойства, ему страстно хотелось бросить все, покинуть навечно убогую лачугу, прилепившуюся к зияющей яме колодца. В такие минуты его грудь распирала какая-то горечь, глаза туманились, он ощущал себя вялым и разбитым, и уже не было сил и желания хлестнуть разок-другой лениво потрусивавшую под ним лошадку. И чалая все той же скучной трусцой бежала по знакомой тропинке и покорно останавливалась у жилья кудукши.

За весной грянуло лето. Травы налились соком. Ягнята и козлята — весенний приплод — окрепли; их уже можно было гнать на выпас с отарой.

Из аула Арын пришла весть: собираемся на джайляу, пусть дочь и зять пожалуют на проводы. Ханум опять взяла с собой к родным Енсепа.

В ауле царила суматоха. Мужчины ловили и ставили на привязь лошадей, навьючивали тюки на верблюдов; женщины складывали утварь и связывали тюки. Мальчишки, умевшие держать повод, укрощали стригунков, на которых собирались отправиться на кочевку. Аксакалы сходились в круг и в подробностях обсуждали предстоящую дорогу и

удобные места для привалов. За день до откочевки в каждой семье резали по овечке с белой отметиной на лбу. За дастарханом почтенные старики произносили длинные молитвы — дабы путь был удачен, а новые пастбища — обильны.

Енсеп весь день был взвинчен и не мог ночью уснуть. Он хотел остаться наедине с какой-нибудь соблазнительной молодайкой. И они, одним ухом внимая сладостным, игривым намекам красивого джигита, другим чутко прислушиваясь, чтобы — не дай бог! — кто-нибудь не услышал этих речей, млели и многообещающе улыбались. Не один искусно вышитый, окаймленный бисером шелковый платок — это безмолвное выражение чувств и желаний женщины степи — достался в ту ночь Енсепу.

На следующий день аул проснулся спозаранок. Раньше всех повскакали с постелей мальчишки и опрометью бросились к своим стреноженным стригункам. Старухи с высоченными тюрбанами на головах, опираясь на посохи, зорко следили за девками и снохами и давали указания.

Такие сборы — всегда испытание для молодых снох: ведь от их расторопности зависит, чье кочевье первым тронется в путь. Привередливые, строгие свекрови начинают в подобных ситуациях ворчать, а то и размахивать посохом; спокойные же, рассудительные наблюдают молча.

...Тюки сложены; верблюды навьючены. Меж горбов этих сильных и покладистых животных устраиваются сиденья на манер балдахинов для бабушек и малых детишек. Пышнотелые, кровь с молоком, байбише — старшие жены, облачившись по торжественному обычаю в щегольские наряды, важно восседают впереди, возглавляют кочевки.

— Э, бисмилля!

— Да будь благословенен наш путь!

С трудом, медленно поднимаются навьюченные верблюды. Головная часть кочевья уже выбралась на дорогу. Его сопровождают, выстроившись по обеим сторонам в чинные ряды, девушки верхом на лошадях. Позванивают их украшения, нежно колышутся перья филина на головных уборах. Мужчины еще не сели на коней: ждут, пока аксакалы закончат благодарственную молитву в честь прошлогодней, удачной стоянки. Но вот сложены вместе ладони, вот с именем аллаха на устах старики провели руками по лицу и поднялись, опираясь о колени друг друга. Джигиты, вытащив камчи из-за голенищ, как по команде устремились к коням.

Мужчины поопытнее тут же умчались рысью вперед —

заблаговременно подыскать для остановок пастбище и водопой. Молодые присоединились к девушкам и молодайкам. Кто шутил, громко хохотал; кто украдкой от пожилых женщин спешил обнять нарядных девушек или будто невзначай коснуться талии или руки. Совсем еще зеленые девушки и парни разговаривали взглядами, сами еще не понимая смутных своих чувств. Джигиты посмелее цеплялись к молодым женщинам: «Подари платок, красавица! Устроим скачки, чтобы сон разогнать». И при этом держали коней бок о бок, стремя в стремя. Притворяясь, что хотят отобрать платок, щипали их, хватали за что попало, выдавая баловством жадных своих рук тайное желание. Молодухи расцветали, испытывая острое волнение от прикосновения сильных, нетерпеливых рук. Чтобы продлить жгучее удовольствие от этой игры, сопротивлялись, пререкались, загадочно улыбались. Стрельнув из-под густых ресниц хитрым взглядом, озорницы умудрялись обнажить нежные смуглые свои руки. Увертываясь, звонко смеясь, припадали они к гриве коня, распаляли и без того сгорающих от запретного жара джигитов.

Долго длилась эта любовная забава. Обессилев от нее, от томительной слабости, разлившейся по всем жилам, какая-нибудь из проказниц вынимала из кармашка узорчатый платочек и дарила его осчастливленному наезднику. Вскинув платок над головой, гикнув, тот мчался вперед, а за ним пускали вскачь коней и остальные джигиты.

Когда кочевье взбиралось на яркий и пестрый от разнотравья перевал, было видно, как по необъятной степи во всех направлениях гуськом тянулись кочевья разных аулов. Любопытные мальчишки вихрем неслись им навстречу, чтобы разузнать о них и доложить взрослым. «А-а, так это аул такого-то,— говорили взрослые,— надо подъехать, пожелать ему доброго пути».

Впереди каждого кочевья величественно восседала на украшенном коврами верблюде старуха. Она извлекала из коржуна и раздавала куски вареного мяса почтительно приветствовавшим кочевье джигитам, а мальчишкам — баурсаки.

— Спасибо, аже! Удачи вам, бабушка! — благодарили молодые ветрогоны и тут же спешили к следующему кочевью, чтобы и там разжиться гостинцами. Вот так всю дорогу и носились джигиты от одного кочевья к другому, пока не добирались до места назначения.

Провожая вместе с дядей и его женой аул сватов до

перевала, Енсеп смотрел на знакомые ему с детства картины кочевой жизни с жадным вниманием, с замиранием сердца.

Сонная, безмолвная обычно степь сегодня наполнилась движением и звуками. Все были при деле, возбуждены, все куда-то рвались, спешили. Безразличные ко всему на свете верблюды и те шагали бодро, легко выкидывая вперед длинные, нескладные свои ноги. Высокие тюрбаны старух, белевшие за решетками балдахина, издалека казались готовыми взлететь лебедями.

Кочевье — самое большое торжество в скупой на радости, дремотной степи. Взбудораженные, ликующие люди рвутся не просто к обильному пастбищу, к новому месту — они полны надежд, ожиданий чего-то неизведанного, что непременно привнесет благотворные перемены в их жизнь.

Во время кочевья даже ленивые, флегматичные, окостеневшие от хвори или безделья люди обретают молодую бодрость и оптимизм.

Утомленная мелкими изо дня в день заботами, огрубевшая душа вдруг обретает крылья, трепещет, как бабочка в погожий день. Вольный ветер степи выметает, выбивает, будто из старого сопревшего тряпья, пыль из застоявшегося в зимовьях быта. И гонит-погоняет аулы в обетованные земли.

Енсеп с тоской глядел на все удалявшееся длинное кочевье. Караван величаво ступавших верблюдов увозил на своих горбах не только юрты, еще вчера белевшие по всей степи у подножия холмов, но и веселье, смех, суматоху — саму жизнь.

В степи, покрытой сочной зеленью, темнели, словно болячки на здоровом теле, проплешины бывших стойбищ. И даже они, эти проплешины, радовали Енсепа каждый раз, как он отлучался в степь из лачуги колодцекопателей.

Жизнь тех, кто роет колодцы, тускла и беспросветна. Всей радости в ней — углубляющаяся с каждым днем дыра в чреве земли да возрастающая рядом куча грунта. Маленькие серые лачуги вокруг будущего колодца казались безнадежно затерянными в огромной пустыне. Енсеп завидовал верблюдице, молоком которой он и его товарищи забеливали чай. Она свободно бродила по степи, на выпасе; они же, мученики, день-деньской, как кроты, ковырялись в земле.

Солнце высушило весенние кизяки — единственное свидетельство того, что и здесь была когда-то жизнь. Заросла травой и тропинка, по которой Енсеп трусил на своей чалой лошадке в аулы.

Енсеп, как и его предки, взялся за лопату. Неокрепшие

мышцы ныли, руки повисали плетьми, спина не разгибалась от усталости и напряжения, в голове шумело, перед глазами плыли круги. От тоски по недавней свободе свербило сердце. Обхватив обеими руками лопату, предался он тогда тяжким думам. Он чувствовал себя как верблюжонок, который не ощущает больше на губах тепла материнского вымени, его мягкой податливости, нежного, с приятной горчинкой молока. Напрасно ревет верблюжонок, напрасно ищет вдали тоскующими глазами мать; все равно ему не остается ничего другого, как припасть шелковистыми губами к отвратительной, больно кусающей колючке, чтобы хоть чуть-чуть заглушить сосущий голод...

Да, голод повелевает миром, понял Енсеп. Все живое на земле — от неутомимых муравьев, волокущих былинки в свой муравейник, до двуногого существа, именуемого человеком,— появившись по воле бога на свет, начинает отчаянную борьбу за существование, за то, чтобы набить свое нутро, ибо невыносимо, когда оно, проклятое, пусто.

Енсеп уразумел, что ему нечего ждать чуда, что пора самому, как и всем прочим, заботиться о хлебе насущном. Ведь жить-то надо, говорил ему разум, а душа бунтовала: неужто жить — означает покоряться безжалостной судьбе, что закинула тебе на шею грубую петлю? Раз и навсегда отказаться от высоких стремлений, светлой мечты и бессмысленно топтаться подобно верблюжонку на привязи вокруг железного кола, который вбил для тебя рок?

Эти новые, неожиданные, как внезапный выстрел, вопросы пронзили юное сердце Енсепа, оглушали, отравляли, его существование с того самого дня, когда он впервые спустился в пугающую пасть колодца. Вздувались на ладонях волдыри, он работал, работал, не разгибая спины, и думал, искал ответа на свои вопросы. И тогда он познал, что такое смятение.

Теперь Енсепу, почитай, перевалило за половину жизни. Но вопросы, когда-то потрясшие его, до сих пор остались без ответа. А может, жить — это и есть терзаться, и с годами все мучительнее, в поисках ответа на те хитрые вопросы? До сего дня ему так и не удалось доискаться до истины...

Енсеп очнулся от дум. Он поднял голову, заметил, что наполнил бадью лишь до середки, и принялся кидать в нее песчаник. Потом — в который раз! — дернул аркан, подавая знак наверх. Бадья, с трудом оторвавшись от дна колодца, медленно, со скрипом поползла к узкому, как ушко иголки отверстию.

4

Сначала ладони сплошь покрываются мозолями, потом затвердевают как камень. Мышцы становятся упругими, тугими — точно натянутый из этого подземелья наверх волосяной аркан. Вместе с телом обретает силу и твердость душа.

Енсеп на удивление быстро усвоил премудрости своего ремесла. Вначале он был на подхвате, помогал старшим вынимать грунт из колодца...

Щенок, что вчера охотно терся у человеческих ног, радостно вертел хвостом, когда с ним забавлялись, сегодня, став взрослым псом на цепи, незаметно смиряется со своим новым положением. Пугая лаем людей, обнажая в злом оскале клыки, он начинает находить в этом удовольствие.

Если бы человек не обладал способностью утешаться, приспосабливаться к обстоятельствам, поддаваться самообману, он вряд ли бы вынес муки и испытания, которые отпускает на его долю жизнь. Утешение, мечты — опора для души.

Когда Енсеп впервые один вытянул дубовую бадью с грунтом, он почувствовал себя на седьмом небе. Постепенно привыкая к работе, которой он еще недавно чурался, он стал находить ее почти приятной и ощущал гордость оттого, что взрослые все чаще говорили ему: «Это, парень, ты сделай сам».

Раньше, когда немели руки и ныли мышцы, Енсеп готов был расплакаться от боли и отчаянья; теперь он радовался, чувствуя, как его тело наливается силой...

Бугорок вокруг устья колодца сначала темнел, потом рыжел, затем отсыревал, вместо глины шла супесь, ее покрывал песчаник, потом влажный песок, наконец, жидкая грязь. Постепенно она становилась все жиже и светлей. Раньше Енсеп не придавал этому никакого значения, а теперь следит за этими переменами как за чудом. Когда опорожненную бадью вновь спускали в колодец, Енсеп прикладывался ухом к выступу, весь обращался в слух. И как только бадья касалась дна, раздавался глухой всплеск.

Вдруг аркан нервно задергался. Помощники Даржана поспешно вытянули бадью, опрокинули ее и отставили в сторону. Сразу же отрядили мальчонку за рыжим атаном, который пасся неподалеку, запрягли его в чигирь. Связав петлей свободный конец аркана, опустили его в колодец. Рыжий атан нехотя поднялся и двинулся по привычной колее. Поскрипывая, колесо чигиря медленно вращалось, и

тугой аркан змеей выползал из колодца. Наконец показался сам кудукши. Он был с головы до ног измазан глиной. Джигиты помогли ему выбраться наружу.

Даржан отошел, неуклюже ступая, к месту посуше, присел, насыпая из шакши на большой палец табаку.

Его помощники между тем опустили бадью в колодец; на этот раз она тоже наполнилась наполовину. Вода в бадье была мутноватой. Все стали черпать ее ладонями, плескать в лицо, полоскать рот. Вода отдавала сырой землей. Никто не мог с уверенностью определить, соленая она или пресная.

Вечерело, становилось прохладно, и Даржан ощутил неприятный озноб, поднялся и направился к лачуге; за ним последовали его помощники. Даржан переоделся в сухую одежду. Енсеп бросился разжигать кизяк, готовить чай.

Коротконосый медный чайник, зарытый в горящие угли на большой сковороде, самозабвенно и тонюсенько высвистывал свою песню; горячий и густой чай разливал по жилам бодрость, снимал усталость. Пили чай маленькими глотками, сдувая в сторонку плававшие на поверхности поджаренные зерна пшеницы, смакуя эту круто заваренную коричневую жидкость, и вскоре вспотели. А вместе с потом выходила и неимоверная тяжесть, клонившая тело к земле.

Енсеп убрал дастархан. И тогда усталые кудукши начали строить планы на завтра.

На другой день все опять собрались у колодца и, не теряя ни минуты, вновь опустили бадью в колодец. Она ударилась о дно мягко, со всплеском. Вода за ночь отстоялась и была прозрачна. Енсеп жадно припал к ней. Она оказалась пресной. И тогда, вырывая бадью друг у друга, за нее стали цепляться остальные.

В степи, изнемогающей от безводья, возник еще один спасительный источник.

Первым этому событию обрадовался маленький аул кудукши. Появилась вода — и они заработали еще энергичнее и ловчее. Ровными обтесанными булыжниками, валявшимися тут же, у колодца, они сверху вниз выложили отвесные стены до каменистого слоя. Потом, чтобы в колодец не стекала грязная и талая вода и чтобы — не дай бог! — не провалился невзначай скот, сделали насыпь, соорудили сруб. В огромном камне выдолбили колоду, из которой можно было пить.

Воду из нового колодца теперь опробовали черная верблюдица и ее верблюжонок. В обед дойные верблюдицы из окрестных аулов, подойдя к краю котловины, удивленно

уставились на лужайку, где привыкли изо дня в день видеть лишь пропыленную, в заплатах лачугу. Заметив в колодце слегка колышущуюся ртуть воды, они направились к ней и долго, не отрываясь пили.

На другое утро люди приметили у колодца следы всякого зверья — хорька, корсака, зайца. Пользуясь темнотой, они тоже отведали свежей водицы.

Все живое — люди, скот, звери, еще вчера равнодушно взиравшие на этот невзрачный, пустой клочок земли, теперь будут спешить сюда, за тридевять земель, утолить жажду.

Крошечный пятачок, этот оазис в высохшей котловине, западет отныне в сознание людей, станет для них сладостной приманкой. Через холм, не имевший еще недавно никаких особых примет, со всех сторон пролягут к колодцу бесчисленные тропки и тропинки. Хорошо просматриваемый на плоской равнине каменный сруб колодца был полон воды — этого сока, эликсира жизни; к нему, как к благодатной груди матери-земли, будут припадать отчаявшиеся, истомленные жаждой люди.

Радости Енсепа не было предела. С утра до вечера он все ходил и ходил вокруг колодца. Иногда присаживался на край и подолгу наблюдал за веселой возней воробьев, за тем, как они, воровато озираясь и подрагивая горлышком, пьют воду.

Бай Токен прибыл в аул колодцекопателей через три дня, сопровождаемый большой свитой. Все спешились, сгрудились около колодца, заглядывали в него, смотрели, как выложен сруб. Потом измерили длину тропы, которую вытоптал рыжий атан, поинтересовались, за сколько раз можно наполнить колоду водой, накапливающейся за ночь. Приказали достать бадьей свежей воды, поочередно попили, ополоснули лица.

Прихлебатели бая Токена принялись на все лады расхваливать новый колодец, поздравлять и славить богача, будто это он вырыл его.

На следующий день бай распорядился пригнать Даржану скот в уплату за работу. После обеда, нагрузив на двух верблюдов старую лачугу и немудреный свой скарб, кудукши отправились домой — к женам и детям.

Долго не отрывал Енсеп глаз от оставшегося за спиной колодца, который отныне именовался «Вырытый баем Токеном».

Енсеп работал три года с дядей Даржаном.

Первый «собственный» колодец Енсеп вырыл по зака-

зу бая Бекена. Молодой бай, приходившийся аулу Караш племянником по женской линии, задумал пышные поминки по отцу. Чванливому баю хотелось выбрать для этого необжитое место, за которым бы осталось название «Место поминок такого-то». Надо было найти его и выкопать колодец. С этой целью Бекен и приехал к своим родственникам. На совет собрались самые почтенные люди рода караш; потолковав, они решили поручить дело Енсепу. «Он уже освоил наше ремесло, пусть Енсепжан засучивает рукава и берется за работу самостоятельно. Надеемся, он принесет удачу нашему роду»,— сказали старики Бекену.

Бай намеревался провести поминки в степи, которая еще не знала конских копыт, где была бы благодатная зелень, пресная вода и равнина для традиционной байги.

Все аксакалы и зрелые мужчины рода Караш взялись за приготовления с душой. Даже высохшие, древние старики, прочно обосновавшиеся в последние годы в уголках юрт, и те покинули насиженные свои углы, включились в поиски пригодного для столь ответственного случая места.

В юрте Даржана целыми днями шли споры. Наконец после долгих словопрений выбрали краешек неглубокой низменности, что раскинулась вдоль центральной водной артерии. Это место находилось на расстоянии двух кочевок от главного колодца, известного в народе под названием Крык-астау — «Сорок водопойных колод».

Равнина шла здесь слегка под уклон, а потом снова тянулась одинаково ровно, как доска. На этой покатой полоске, почти не приметной для неискушенного глаза, старейшины рода караш топтались, кружились дней пять. Они тщательно осматривали, придирчиво ощупывали каждую пядь земли: пробовали на вкус почву, обнюхивали корни трав. Затем распорядились доставить сюда из байского табуна несколько косяков лошадей и гоняли их взад-вперед то трусцой, то рысцой, то галопом. Когда косяки мчались во весь опор, старики прикладывали ухо к земле и замирали.

— Нет рыхлого слоя. Нет пустот. Иначе цокот копыт отдавался бы эхом.

— Да и до глины, видать, далеко. Звук доходит приглушенно.

— Отсюда до «Сорока колод» нет солончаков и затверделых почв. Сплошь черный массив.

— А посмотри-ка на траву. В середине лета, в самый зной, она свежая и сочная. Будь здесь солончаки, травы давно бы пожухли.

Енсеп жадно ловил реплики стариков; многого в их словах он не понимал.

После длительных обсуждений старики окончательно сошлись в решении: лужайка, где особенно буйно разрослась верблюжья колючка, и есть то желаемое и искомое, что сообразуется со всеми требованиями бая. Они засеменили к ней и забили там кол. Здесь бай Бекен поставил юрту, а рядом — еще две лачуги. Аксакалы двух аулов чинно расселись вокруг кола, прочли соответствующие случаю суры из Корана, благословили бая Бекена и Енсепа и, отведав ягненка раннего приплода, разъехались по аулам. Енсеп остался с пятью помощниками. Иногда его навещал Даржан, интересовался, как идет работа, давал советы.

Енсеп начал рыть колодец точно там, где торчал кол, над которым расположилась пятистворчатая белая юрта. Она стояла до тех пор, пока Енсеп не достиг глубины, куда не проникали солнечные лучи. Богатый аул щедро снабжал кудукши мясом и кумысом. Бай Бекен, стремившийся изо всех сил слыть добрым, даже расточительным, часто наведывался к Енсепу. Наезжали и старики рода караш. Взяв горсть грунта, они придирчиво разглядывали его, кивали головами — дескать, все идет правильно; затем цедили терпкий кумыс и отправлялись восвояси.

Ровно через три месяца, когда в аулах покончили с осенней стрижкой овец, Енсеп вырыл колодец. Незадолго до появления воды он наткнулся на слой густой серой глины и встревожился, однако вскоре вновь пошла супесь, потом песчаник. Енсеп чуть не каждую минуту облизывал языком мелкие камушки — влага была пресной.

Он стал рыть еще глубже. Показался рыхлый песок, и Енсеп вновь забеспокоился, не обрушатся ли стенки. Наконец лом коснулся камня. Енсеп как одержимый, принялся долбить его и вскоре правым локтем ощутил холод. Бросив лом, Енсеп ощупал камень: его покрывала холодная испарина.

«Неужели вода уже близко? Может, она где-то здесь и вот-вот прорвется»,— подумал он и опять тщательно ощупал каменистые стенки. Там, где ломкая порода повлажнее, по его расчету, и должен находиться источник — водоносный слой. Пока вода не хлынула, он решил углубить наиболее безопасные углы. А уж потом, подготовив побольше пространства для воды, открыть источник, или, как говорят кудукши, «глазок». Енсеп врылся в землю еще на добрый аршин, и тут еще откуда-то закапала студеная-престуденая вода. Тяжелые, как свинец, капли шлепали Енсепа по плечам. Он заработал

быстрее, стараясь не задевать те места, откуда сочилась вода. Вдруг раздался скрежет — это лом ударился о плоский валун, и сразу же дождем посыпались на Енсепа ледяные капли. Он понял: не прекрати он копать, очутится под водой. Енсеп осторожненько поковырял часть стенки, где ожидал найти «глазок». Из нее быстро-быстро закапало, появилась тонкая водяная ниточка, и почти сразу же, превратившись в упругую струю, она прорвала преграду. Один источник был освобожден. Енсеп спешно принялся за другое место, вода одолела и эту преграду.

Вода из двух источников полилась на дно, выложенное плоским черным валуном.

Ее веселый плеск, жизнерадостное бульканье отзывались в сердце Енсепа ликованием. Это он — он!— освободил закованную камнями и грунтом воду, веками томившуюся в их плену. Это он подарил ее людям. Ему казалось, что вода поет радостный гимн жизни и свободе.

За шесть дней до поминок джигиты укрепили стенки нового колодца, соорудили крепкий, надежный сруб.

Поминки провели шумно. Они всколыхнули низовья и верховья степи. Поразвеялся, погулял и Енсеп.

В последний день тоя по зову Бекена собрались аксакалы. Бай поблагодарил Енсепа и пожаловал ему за труды коня и шестьдесят овец. Верхом на коне, погоняя собственную отару, отправился Енсеп домой. Овцы поначалу разбегались врассыпную, норовили вернуться назад, в свою отару, но уже через первый перевал пошли послушно, сбившись в тесную кучу...

Вскоре Енсеп женился на дочери сапожника Ихласа.

Снискавший славу на поминках бая Енсеп с тех пор не мог жаловаться на отсутствие заказов и работы. К нему со всех сторон устремились состоятельные заказчики. Все они, похоже, опасались, что в колодце, вырытом кем-нибудь иным, не окажется воды.

Вначале Енсеп никому не отказывал.

Ко многому может привыкнуть человек; к объятиям черной бездны привыкнуть трудно. Даже те, к кому благоволит судьба, кто постоянно находится среди близких и родных, наслаждается солнцем и чистым, на травах настоянным воздухом,— даже они порой не испытывают радости, предаются горестным мыслям и печали. Известна ведь ненасытность человеческой натуры, вечное его недовольство тем, что он имеет... Каково же человеку, который не раз и не два, а изо дня в день вынужден погружаться в мрачное, отдающее

тленом подземелье. То самое, куда он должен быть опущен однажды укутанным в белый саван!

Единственный спутник кудукши — страх. Он живет в вечном страхе — перед неумолимо обступающими его немыми стенами, перед маленькой щелью там, далеко наверху, через которую едва-едва брезжит божий свет, перед пронизывающей, хватающей за ноги, как рак клещами, сыростью. Хорошо еще, коли после всех нечеловеческих трудов и мук добираешься до водоносного слоя! Желанный источник может оказаться и не здесь, а где-нибудь в версте-другой... К тому же никогда не предугадаешь заранее, какая в колодце вода — пресная или соленая.

Сколько бы колодцев ни вырыл за свою жизнь кудукши, сколько бы ни было у него удач, его неотступно преследуют сомнения, терзает неуверенность. Он досконально изучает местность и почву, прежде чем забить наконец-то кол и начать изнурительный свой труд. А едва он окажется на глубине, превышающей его рост, с каждым вершком нарастают, усугубляются муки сомнений, ожиданий, страхов. Мастер долбит и долбит землю в сырости и темноте. Эта однообразная, нудная работа изводит, изматывает даже самых сильных, выносливых и бесстрашных, как дьявол.

Долгое одиночество, когда никого нет рядом, когда не с кем словом перемолвиться; темень и кладбищенская тишина год за годом истачивают самую твердую, самую закаленную волю. Время, как острое лезвие, снимает с человеческого сердца слой за слоем лучшие его проявления и порывы. Кудукши становится все суеверней, мнительней, подозрительней.

В дни, когда он ждет, что вот-вот появится вода, он мыкается, не находит себе места, охвачен ужасом перед неведомым, совсем как женщина, впервые испытывающая родовые схватки. Он напрочь забывает, что всего месяц, нет, неделю назад — какой там! — только вчера он был способен чему-то радоваться. Радость, мечты — кажется, он утратил их навеки. Ему чудится, что всю свою жизнь, вплоть до этого ужасного момента, он только и ведал, что страх, судорожное ожидание непоправимой беды. Он почти на грани невменяемости. И злится на себя, на непростительное свое легкомыслие, приведшее его к этому кошмару, к этому проклятому ремеслу. И он дает в душе зарок: господи, если только повезет мне на этот раз, если я выберусь отсюда благополучно, пропади все пропадом, никогда, никогда, никогда я больше не подойду к колодцу...

И Енсеп шептал в такой момент предсмертную молитву, а очутившись на сияющей земле, благодарил всевышнего. После каждого нового своего колодца он чувствовал себя вконец изнуренным, опустошенным. И думал, что никакие силы и соблазны не загонят его опять в эту бездну. Но проходило пять-шесть месяцев, и он ставил свою дырявую лачугу на другом месте и брался за лопату и лом.

Какая властная сила опять толкала его в чрево колодца, еще вчера пугавшее его до содрогания? Енсеп, об этом тогда, пожалуй, еще и не задумывался. Понял он это позже.

В мире, неумолимо разделившем людей на имущих и неимущих, хороших и плохих, в мире, где царствуют вражда, зависть и порок, идет жестокая схватка за то, чтобы выжить, уцелеть, оказаться на поверхности. Деньги, слава действуют здесь на людей, как шпоры на еще не объезженного скакуна.

Вначале в преисподнюю Енсепа отправляли льстивые речи и хвала. Он искренне верил, что весть о новом колодце отзовется радостью в сердцах всех, до кого она донесется. Со временем, однако, он горько разочаровался, ибо убедился, что это далеко не так. Выполнив очередной заказ, он гнал впереди себя скот, а за ним хвостом тянулись сплетни, наговоры, слухи. Иные обвиняли его в жадности — глаза завидущие, руки загребущие, вон как надрывается, будто с собой на тот свет хочет прихватить состояньице. Другие нашептывали ему, стараясь растравить, разбередить его душу:

— Апырай, ну и жмот этот твой бай, бога не боится! За колодец глубиной в семьдесят кулаш сунул тебе всего-навсего семьдесят полугодовалых ягнят!

А через месяц-другой подстрекатель объявлялся сам:

— Енсепжан, я ведь не из таковских, как тот скряга. Я одарю тебя щедро, как никто. Соорудишь мне колодец — отвалю сотню овец.

Енсеп уже не брался, как прежде, за любые заказы. Он стал выбирать заказчиков по их чапанам и убранству коней.

Дядя Даржан как-то объявил: «Сил моих больше нет долбить камни в верховье. Переберусь-ка я в низовье, где и грунт мягче, и вода не так глубока». И он покинул горные аулы. Лет пять он копал колодцы в аулах низовья, а потом случилось то, чего постоянно со страхом ждет любой кудукши: обвалилась рыхлая стенка и засыпала живьем силача Даржана.

Енсеп упорствовал, оставался в верховье и рыл, рыл, рыл

глубокие, как пропасть, колодцы. Цены он назначал с каждым разом выше; заказчиков же у него поубавилось — лишь известные богачи, теша тщеславие, посылали гонцов к Енсепу.

Со временем заказчиков стало совсем мало. Енсеп порой думал, что люди позабыли дорогу к его юрте. Те, кому он отказывал, уезжали разобиженные, грозясь вообще больше с ним не знаться. И конечно, тут же искали и находили других кудукши, может, и не таких прославленных, зато более сговорчивых.

В эту-то пору и появился на горизонте некий Калпак из Хорезма. Поговаривали, что Калпак ладит седла и конскую упряжь. Потом пошли слухи, что он и колодцы роет. Заказчики хлынули к нему. Иные специально, чтоб досадить Енсепу, подъезжали к его аулу, а потом круто сворачивали к Калпаку, хотя тот жил в другой стороне, на расстоянии примерно полдня пути.

Поначалу подобная мелочность, столь наивная месть забавляли Енсепа. Потом нарочито проезжавшие мимо путники стали его раздражать. Ну а со временем дело дошло до того, что, сжигаемый завистью, прятался он в юрте, тайком подсчитывая, сколько всадников и из каких аулов держали путь к Калпаку. К его утешению, гонцы из родовых и богатых аулов пока что к его тайному сопернику не обращались.

Люди, которые наведывались к Енсепу, будто невзначай, через каждое слово упоминали имя пришельца из Хорезма. Енсеп крепился, делая вид, что его это не трогает. Иногда с чувством превосходства ронял между прочим: «В Хорезме грунт мягкий, глинистый. Не то что у нас — камень да булыжник. Он небось привык к мелким колодцам. Даже и не колодцам, а просто ямам...»

Бай Сагинай, имевший зуб на Енсепа, нанял Калпака рыть колодец рядом с большой солончаковой дорогой. По ней кочевья перебирались на Устюрт. Сагинай был жаден до невозможности. Поговаривали, что, когда к нему приезжали гости и его жена собиралась положить в котел мясо, бай подзывал к себе внука и начинал причитать:

— Охо-хо, жеребеночек мой, носишься весь день как угорелый. Смотри-ка: похудел-то как! Кожа да кости. Ребрышки твои пересчитать можно. Ну-ка, ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять... Ай-ай-ай... А позвонки-то! Раз, два, три... Господи, а ручонки — прутья, да и только! Что люди подумают, глядя на тебя? Не иначе, скажут, голодом тебя морят. Постой! Ойбай, а это еще что за болячка на твоей лопатке?!

Выслушав эту речь, жена бая опускала в котел лопатки, пять ребер, три позвонка, мосталышки.

Этот скупердяй, чуть ли бороду не макающий в казан, дабы пересчитать каждый кусок мяса, по всему, затаил зло на Енсепа. Доброхоты разносили новость, что бай Сагинай обещал Калпаку за работу пожаловать сто пятьдесят овец и верблюда.

Потом по степи пронеслась весть: «Колодец, который роет Калпак, будет самым глубоким на Устюрте. Уже сейчас глубина его исчисляется в пятьдесят шагов!» Отныне все разговоры гостей, приезжающих в аул, вертелись вокруг одного и того же — колодца Калпака. При этом размеры и глубина его росли в устах людей не по дням, а по часам. Утром болтали, что глубина его равна ста двадцати шагам, а вечером трезвонили о ста тридцати шагах.

Даже почтенные белобородые старики, поддавшись всеобщему сумасшествию, до хрипоты восхваляли небывалый с сотворения мира колодец. «Оказывается,— захлебывались некоторые в экстазе,— предок Калпака был святым. Он оставил своим потомкам волшебный железный кол. Кол этот и подает знак, где имеется вода. Вот Калпак и угадывает, в каком месте копать ему колодец. Ну и чудо!»

Как-то двое проезжих сообщили: «Глубина колодца уже сто сорок шагов. Своими глазами видели!» Нашлось немало любопытных в степи, которые поскакали поглазеть на это чудо из чудес.

Аулчане Енсепа тоже не поленились, погнали туда коней. Раньше они стеснялись вести при Енсепе беседы о Калпаке, теперь же при них смущался он. Он считал, что праздный люд, собравшись в тени чьей-нибудь юрты, возносит до небес колодец Калпака для того лишь, чтобы досадить ему, поизмываться. Он стал болезненно мнительным, избегал людей, ему постоянно мерещились насмешливые улыбки, осуждающие взгляды. И он не выдержал: оседлал коня и отправился к Калпаку.

Калпак был уже в годах, однако, завидев Енсепа, засуетился, как мальчишка. Он принялся теребить редкие рыжие усы, потом, спохватившись, подробно расспросил, здоров ли гость и все ли благополучно в его доме и ауле. Подбородок Калпака был голый, как колено; глаза серые, нос крючком. Маленький плоский череп обмотан выгоревшим, непонятного цвета платком; его конец болтался, прикрывая ухо.

Енсеп застал Калпака сидящим на каменной приступке у колодца. Он, видимо, только-только вылез наверх. Подвер-

путые выше колен штанины были мокрые. Полосатый чапан наброшен на голое тело. Редкие, с желтизной, острые зубы обнажены — непонятно, гримаса это или улыбка.

Енсеп вежливо ответил на традиционные вопросы хозяина, потом сам начал задавать их. Его не очень интересовало здоровье и благополучие семьи и скота Калпака, интересовал колодец. Он зорким, опытным глазом глянул на белевшую тропинку, проторенную верблюдом в чигире, мысленно прикинул ее длину... Не зря люди языками чесали: глубина изрядная, пожалуй, сто пятьдесят шагов будет. Он потемнел лицом; в сердце холодной скользкой змеей вползла зависть. Сделав над собой усилие, он расправил хмурые брови, еле-еле выговорил:

— Да сопутствует тебе удача!

— Да сбудутся ваши слова! — ответил Калпак.

Тон соперника показался Енсепу резким и вызывающим. Он быстро, в упор посмотрел на Калпака, смягчая враждебное, суровое выражение лица, растянул губы в подобие улыбки, спросил:

— Как, до воды много еще осталось?

— Не сегодня завтра надеюсь добраться.

Енсеп направился к коню. Калпак предложил выпить чаю, но он отказался, сославшись на неотложные дела. Калпак почтительно помог ему сесть на коня.

Енсеп попрощался, тронул поводья. Ему почудилось, что удачливый Калпак с жалостью взирает ему вслед. Даже то, что хозяин поддержал его, когда он взбирался в седло, Енсеп воспринял теперь как проявление жалости. Его обдало жаркой волной стыда и возмущения. Он больно хлестнул коня по крупу. Да, не миновать ему, Енсепу, срама — колодец Калпака будет самым глубоким на Устюрте. Недаром уже сейчас его уважительно называют в народе «Калпак-казган» — «Колодец, вырытый Калпаком».

Енсеп вернулся домой подавленным, несчастным. Его, как рой мух, окружили бередящие душу мысли. Дядя Даржан поставил в этой гладкой, как плешь, полупустыне немало колодцев. Но прославлялись при этом баи, чьи имена присваивались — за что, собственно?! — этим колодцам. А потом в одном из них Даржан нашел себе могилу. Что толку, что он мог одним ударом руки свалить верблюда? Что всю жизнь с того дня, когда он впервые ухватился за холку стригунка, и до последнего своего смертного часа работал, работал, не выпуская из рук кайло? Что это он спас от жажды множество людей — тех, у кого от нее, проклятой, му-

тился разум? Что он дал казахам столько вкусной, холодной воды, которая в пустыне дороже золота? Рыжий глиняный холмик понемногу осядет, ветер развеет глину, сровняет тот холмик с землей — кто будет знать, что под ним, в старой, провалившейся яме, покоится безымянный кудукши?! Тот, что дарил людям жизнь? Какой же смысл в том, что Даржан неутомимо, на совесть ковырял эту бездушную черную землю?! Неужто только ради жратвы, которую добывает себе и последняя из последних собака, и жалкого тряпья?!

Так чужая удача нежданно-негаданно напомнила Енсену о скоротечности жизни и изменчивости судьбы.

Совсем пусто стало отныне вокруг его юрты. В прежние времена, заметив всадника издали, Енсен твердо был уверен: кто-то едет к нему. Теперь, увидя у горизонта путника, он робко надеялся: а вдруг он все же кому-то понадобился? И не находил себе места от волнения. Увы, искали не его, мастера колодцев, а пропавшую в безбрежной степи скотину или еще что-нибудь. С годами стало заметно редеть поголовье, которое Енсен нажил тяжким трудом.

Его охватила неизбывная тоска; радость покинула юрту Енсена. Он вставал по стародавней своей привычке, едва забрезжит рассвет, торопил, подгонял жену, чтоб пошевеливалась, скорее готовила чай. Завтракал кое-как, наспех. Потом начинал маяться, ходить взад-вперед, испуганно озирался вокруг, лихорадочно вглядывался в даль; наконец, измученный, будто оглушенный, опускался на кошму и застывал. Раньше, в сыром колодце, время тянулось бесконечно долго; находясь дома, сидя в прохладе, на мягкой постели, он еле-еле дожидался вечера — ему казалось, что время и вовсе остановилось.

Когда терпенье его иссякало, он седлал коня и отправлялся на охоту. В степи, где косяком паслись косули, в низинах, где обитали дикие козы, в оврагах и ущельях, где водились архары, в лощинах, по которым все они ходили на водопой, Енсен ставил капканы. Но и это не отвлекало его от невеселых дум, не снимало тяжести с сердца. Он не высматривал зверя — высматривал места, где могла бы быть вода. Он изучающе оценивал, в каком направлении тянутся хребты и перевалы, где и как перекрещиваются ручьи и овражки, каков травяной покров. Он то и дело слезал со своей неприглядной лошадки, ручкой камчи разрыхлял землю, разглядывал почву на ладони. В горах его привлекали не архары, а удобные тропы для перевозки камней, необходимых, чтобы укрепить стенки колодца.

Редко Енсеп возвращался домой с добычей. Но он утешал себя: уж лучше по степи и горам мотаться, чем целыми днями мозолить глаза жене и детям. Если в степи ему нечаянно встречались охотники, он жадно расспрашивал их о новостях в окрестных аулах...

Богач Сагинай со всем своим родом, судя по рассказам, старался окончательно прибрать к рукам Калпака. Бай не допускал к колодцу «Калпак-казган» никого из других родов, шел на грубые ссоры с кочевьями, обвинял их, что они-де вычерпали всю его воду и истоптали его пастбище. Он приказал избить двух чабанов бая Байсала за то лишь, что они осмелились напоить своих овец из его колодца. С тех пор баи-соседи стали жить как кошка с собакой.

Однажды, возвращаясь после неудачной охоты, Енсеп приметил на привязи возле своей юрты чужого коня. Он не поверил своим глазам. «Не мерещится ли? Кто же это может быть?» — подумал он и погнал лошадь быстрее. Чем ближе к аулу, тем сильнее колотилось сердце Енсепа. Судя по коню и сбруе, гость был из людей состоятельных.

Через открытые решетки юрты Енсеп узрел жирный затылок бая Байсала.

Байсал приветливо поздоровался с Енсепом. К делу он перешел не сразу, а лишь поведав о новостях в аулах и поинтересовавшись житьем-бытьем енсеповского аула. Енсеп для угощения зарезал полугодовалого барашка, радушно ухаживал за гостем.

Собравшись отъезжать, Байсал произнес как бы между прочим:

— Может, проводишь меня, Енсеп, вон до того перевала?

— Охотно,— засуетился Енсеп.

Миновали аул, и тут бай повел речь о главном:

— Ты, Енсеп, наверное, уже наслышан о том, что Сагинай самовольно присвоил себе широкий путь, по которому испокон веку кочевали наши предки. У нас, сам знаешь, никогда не было ни ругани, ни распрей из-за этой дороги. Теперь Сагинай грызется, прямо-таки лается с каждым, кто проезжает там. Пусть другие цапаются с ним, а мне, признаюсь откровенно, не хочется унижаться ссорой с этим вонючим ублюдком. И вот задумал я неподалеку отсюда, по конской тропе, проложить новый путь для кочевок. Сегодня я там проехал и убедился, что местность вполне подходящая, тихая. Пастбища сносные, тропа не очень узкая. Одна беда: сразу же после отрогов на расстоянии двухдневного пути вода есть, а дальше — сплошь пустыни. Где-то

на полпути позарез нужен колодец, чтоб во время кочевок напоить скот...

Байсал круто оборвал речь и уставился на Енсепа. Сделав внушительную паузу, добавил:

— Весеннюю стрижку овец мне хотелось бы провести у нового колодца...

Растерявшийся от счастья Енсеп молчал.

Байсал простился. Его крупный соловый конь удалялся все дальше и дальше и постепенно слился с порыжелой осенней степью. Енсеп неотрывно, до рези в глазах, смотрел ему вслед. Байсал, исчезнувший так неожиданно и скоро, казался ему добрым привидением.

Опомнившись, Енсеп повернул лошадь в аул. Вдруг ему почудилось, будто кто-то его окликнул. Он похолодел. Его пронзила мысль: Байсал передумал, перерешил. Он медленно обернулся: бай уже поднялся на черный холм у самого горизонта. Немного погодя Енсеп еще раз глянул назад — бай спускался по косогору; еще мгновенье, и он скрылся совсем...

Енсеп уже смирился с мыслью, что к нему никто и никогда не обратится больше с заказом. Он втайне мечтал: если ему еще суждено будет заняться своим проклятым — и единственно любимым — ремеслом, он сделает колодец всем на удивление, на славу себе. Эта мечта долго — и увы! — бесплодно жила в нем. Сейчас, когда он мог осуществить ее, нахлынули сомнения: а сможет ли он, способен ли он еще потрясать людей?

Енсеп целыми днями не слезал с коня. Обшарил каждый кустик в окрестности, что указал Байсал, объездил все лощины, холмы и низины, Енсеп ушел в себя, замкнулся, почти не разговаривал с домашними. Иногда, сидя за дастарханом, ставил пиалу с чаем перед собой, упирался подбородком в колено и, отрешаясь от всего, что его окружало, задумывался. Он долго прикидывал, сомневался, рассчитывал. Наконец выбрал место. Он обращался за советом к старикам, чтобы не обидеть их и избежать всяких кривотолков. Однако не прислушался к их мнению, поступил по-своему.

Над колышком, который Енсеп вбил в землю, бай Байсал поставил юрту и прислал мастеру в помощь четырех джигитов. Ночью перед началом работ Енсеп не сомкнул глаз.

За долгий вынужденный простой его руки отвыкли от дела. К тому же его сковывала неведомая ему ранее неуверенность в себе. Енсеп все стоял и стоял рядом с железным колом. Уже утихли ободряющие хвалебные слова джигитов,

которые в былые времена подстегивали самолюбивого Енсена, заставляли его работать, пренебрегая усталостью... Да, время наложило на него свою печать. И разве только на него? Его бойкий аргамак по кличке «А, была не была!» превратился ныне в заезженную, дряхлую клячу, которую, как ни подгоняй, ни подстегивай, не пустишь во весь опор.

Енсен понимал — чего там лукавить перед собой! — на этот раз его толкала в алчный зев земли особая сила. Он, правда, еще не решался прямо определить болезнь, которая привязалась к нему, неотступно преследует его с той поры, как он навестил Калпака. Она, эта болезнь, терзала, подтачивала, медленно изводила его, лишая сна, доводя до неистовства. Разум, совесть его отказывались назвать своим именем точившую его болезнь. Он ясно чувствовал — она не отпустит, не покинет его, пока его воля не сотворит в отчаянном порыве чудо. Пусть он ее почти лишился, пусть его воля превратилась в хромоногого, ослабевшего ишака — он, Енсен, подстегнет ее, найдет в себе силы вновь утвердить, вернуть свою славу...

Почти год миновал с того дня, когда Енсен предавался этим раздумьям. Не ведая отдыха, с упорством фанатика долбит он бездушную, безмолвную землю. Только дважды он прерывал работу, седлал лошадь, исчезал за перевалом и возвращался через пять-шесть дней. И совсем недавно он отлучался. Куда он ездил? С какой целью? Об этом он не обмолвился ни словом. В этом он не признается и самому Байсалу на пиршестве, если, разумеется, колодец удастся.

Как же возликует тогда Енсен! Никто, ни один человек на свете не посмеет умалить его заслуги, не оценить его несравненное мастерство! А после... После он не то что землю потрошить, вообще будет за версту объезжать любой колодец. Будет довольствоваться тем, что у него есть, и тихоскромно коротать век.

Как бы там ни случилось, все равно его колодец будет самым глубоким на этом плоскогорье. Словно отрываясь от белых хребтов, плоскогорье не идет под уклон, а постепенно будто поднимается по ступенькам, пока не сливается окончательно с песками большой пустыни.

Все известные Енсену глубокие колодцы находятся ниже этого уровня. Там водоносный слой значительно ближе к поверхности. Стало быть, по его расчетам, здесь вода располагается на глубине двухсот шагов, никак не меньше. Он сильно обрадовался, когда дорожка, вытоптанная вороным атаном в чигире, оказалась именно такой длины. Он по-

чувствовал в себе уверенность, ан нет, опять непредвиденная неприятность: со вчерашнего дня вдруг обнаружилась плоская мокрая галька.

Он встревожился: ее появление не случайно, значит, вода вот-вот выступит. И полетят его расчеты и мечты о небывалой глубине! О небывалой славе!.. Неужто он напрасно дважды гонял коня вдоль промоины?

Енсеп все время внимательно прислушивался, но, кроме глухого стука железного лома о сырую землю, его ухо ничего не улавливало. Копать рыхлую супесь вперемежку с влажной галькой было совсем нетрудно. Дубовую бадью он наполнял моментально. Судя по всему, источник воды где-то рядом, совсем поблизости. Не исключено, что вода прорвется именно здесь, в этой точке. Он в который раз ощупал стенки, чтобы определить, какая из них плотнее, но камня так и не обнаружил. По его расчетам, пора бы уже наткнуться на серый валун. Что за дьявол, почему опять здесь сплошной рыхлый, податливый грунт?

Енсеп продолжал механически, монотонно долбить дно. И вдруг лом со скрежетом прошелся по камню. Енсеп застыл, сам себе не веря: неужто камень? Он стал осторожно подкапывать грунт, лом по-прежнему ударялся о большущий камень. Супесь с влажной галькой кончилась. Под ногами Енсепа скапливалась и хлюпала вода. Видно, утром он напал на незначительный водоносный слой. Будь «глазок» крупным, уже хлынула бы мощная струя. Он, очевидно, наткнулся на песчаный слой, намытый какими-то побочными ответвлениями основного подземного течения. Да, ясно теперь: до главного русла он пока не добрался. Оно здесь, под этим твердым пластом. Когда он пробьет его — потечет, заструится желанная вода...

Приехав на это место, Енсеп перевез сюда и юрту младшего брата Тенсела и раскинул ее на откосе, где грядами громоздились белые скалы. Он поручал брату тесать камни, которыми потом они выложат сруб. Енсеп так намаялся в дороге, что, едва поставив юрту, завалился спать. За полночь он проснулся. До его слуха смутно доносилось журчание. Он лежал и внимательно вслушивался в звуки, потом не выдержал, поднялся и вышел из юрты. Мириады звезд на летнем ночном небе хмуро подмигивали ему. Черной линией, совсем как острие ножа, простирался у ног край откоса, а под ним — море. Тихая ночь и его сковала сном. Енсеп запахнул чапан на обнаженной груди, поежился зябко и быстро затрусил в юрту.

Едва Енсеп коснулся головой подушки, ему снова почудилось журчанье. Уснуть Енсеп так и не смог. Что это за звуки? Быть может, это в ущельях, в горах, между скал воет-завывает ветер? Но ночь-то сегодня безветренная!

Утром, наспех попив чаю, Енсеп отправился вдоль откоса. Могучие, в мощных складках скалы то убегали от моря, то грозно нависали над ним. Кое-где сильно размытые, щербатые скалы наполовину стояли в воде. Енсеп прошел по каменистой косе, поднялся на одну из них, насторожился. Вроде где-то здесь, в нескольких шагах, возникал странный журчащий звук, который не давал ему покоя ночью. Он глянул с обрыва вниз. Море было спокойно. Кокетливые кудрявые волны, напоминающие оборки женского атласного платья, гонялись друг за другом. Потом, будто угомонившись, расстилались у подножия скал, целуя их шершавые выступы. Трудно было поверить, что в шторм эти же волны, но белопенные и гривастые, яростно обрушиваются на скалы... Однако что это за звук? Енсеп напряженно прислушивался, стараясь разгадать загадку. Похоже, поблизости течет вода. Откуда она здесь? В этой потрескавшейся от зноя, выжженной пустыне нет ни одной, даже захудалой речушки, которая впадала бы в море. Два-три ручейка обрываются, исчезают где-то в солончаках на расстоянии не менее шести кочевок от моря.

Енсеп побрел по кромке мыса назад. Обследовал крохотный, притаившийся между зубчатыми белыми скалами заливчик, и тут, у подножия одного утеса, обнаружил пещеру. Морские волны омывали, прополаскивали ее горловину. Вода источила утес, ветер прорезал на нем желтые морщины. Журчанье, казалось, исходило оттуда.

Енсеп поспешил к пещере. Все явственней слышался знакомый звук. То не был своеобразный плеск волн, ударяющихся о скалы; это было, вне сомнения, бурное течение полноводного источника. Не исключено, что из-под земли, из пещеры бьет мощный родник и вода его несется в море — догадался Енсеп.

Он оставил у пещеры камни для ориентира и снова отправился в путь. Оказалось, что до той самой каменистой лощины, где он копал свой колодец, тянулось от пещеры песчаное русло. Почти все колодцы на плоскогорье располагались по этой линии...

Енсена осенило: колодцы эти питаются не главным водоносным слоем, что находится бог весть в какой глубине, а его побочными, лежащими значительно выше мелкими

ответвлениями... Стало быть, до него, Енсепа, ни один кудукин еще не добрался до основного русла подземной воды, той, что стекает в море...

Вспомнив об этом сейчас, Енсеп с еще большей яростью принялся за каменный пласт. Скрежет железного лома заполнил собой еще недавно безмолвный колодец. В ушах мастера стоял звон.

Железо обжигало ладони Енсепа холодом, и он решил остановиться на миг, надеть рукавицы. И тут уловил слабый глухой гул. Гул напомнил Енсепу звуки, которые он не раз слышал, лежа под джидой где-нибудь в пустыне или в овраге. «Может, здесь есть щели, тянущиеся к верхним рыхлым слоям земли?» — подумал он.

Енсеп осторожно обшарил стенки колодца — ни единой трещины. Он снова прислушался. Да, гул был явственным, и к нему вроде бы примешивалось журчанье. Енсеп опять рыл, рыл, потом остановился, напряг слух. Снова долбил, долбил, выпрямился, приложил ухо к стенке — непонятный гул сделался громче.

Енсепа охватила радость: это же не просто гул. Под ногами бежала, пела вода, ее песня становилась все звучнее и звучнее. Да, да, он добрался до бурного подземного течения. О счастье!..

Енсеп, ощутив новый прилив сил, бил по серому камню. Скрежет лома от соприкосновения с глыбой не мог уже заглушить все нарастающий гул.

Енсеп без передышки бил и бил железкой по пласту. Стояла промозглая сырость, тянуло холодом, но по лбу и груди Енсепа струился пот. Каменистый пласт крошился под ним, из-под ног летели осколки. Еще чуть-чуть, еще самая малость — и откроется главное русло! Енсеп что было силы вцепился в лом. И через секунду-другую совсем рядом отчетливо различил удары. Можно было подумать, что в узком мешке колодца еще кто-то крошит камень. Удары повторялись периодически, ритмично следовали один за другим. В душу Енсепа закралось опасение — уж не торопится ли кто-то одолеть этот камень раньше его? Но нет! Откуда здесь взяться человеку? Енсеп остервенело работал ломом, стараясь заглушить посторонние звуки. А они не исчезали. Теперь бухало уже оглушительно, почти без пауз.

Енсеп выбился из сил, задыхался, сердце, казалось, вот-вот разорвется — так тесно ему стало в груди. Надо было отдохнуть, собраться с мыслями, успокоиться, но неведомый, неподвластный Енсепу звук все приближался.

Енсеп стоял парализованный страхом, боясь шевельнуть пальцем. Все же решился, нагнулся, ощупал холодные, влажные стены и плоский, как доска, камень. Нет, кроме него, в этой могиле не было никого. А в ушах стучало набатом: бум-бум-бум!

Он поднялся. И снова и снова лом обрушивался на камень. Соленый пот заливал глаза Енсепа, катил градом, но он будто и не замечал этого, все долбил, долбил, долбил...

Вдруг кто-то железной хваткой уцепил лом и не отпускал его. Енсеп как подкошенный упал на колени, в глазах потемнело. На мгновенье мелькнул перед ним платок Калпака, сам Калпак с обнаженными в злорадном оскале редкими желтыми зубами. Вот он тянет руку к лому, хватает его... Енсеп опомнился, рванул лом на себя и легко вытащил его из щели в камне.

Енсеп окончательно овладел собой. В ноги подуло, будто сквозняком. Он постоял немного, огляделся, прислушался. Шумела вода; молотком стучало его собственное сердце...

На его губах заиграла улыбка. Сейчас нужно сработать в камне лунку. Подходящего размера, такую, чтобы объемистая — с полкорыта — бадья из жеребячьей шкуры свободно черпала воду. Осколки не летели теперь вверх, они проваливались в пучину, в которой гремела, бурлила вода. Лунка все увеличивалась. И все ощутимее поддувало снизу.

Енсеп делал маленькие паузы, чтобы только перевести дыхание. Все его усилия, воля, желания сосредоточились на лунке в середине камня. Он потерял счет мгновениям и не знал, сколько времени бьется с этим проклятым камнем.

Работал он яростно, ожесточенно, предвкушая долгожданный миг своего величия и торжества. Когда он всему миру докажет, на что он, мастер Енсеп, способен. Страх как рукой сняло. Енсеп не обращал больше внимания на тесный свой склеп, на мглистые тени, зловеще притаившиеся по углам, на истеричные прыжки аркана, которым джигиты там, наверху, подавали ему знаки... Ничего, кроме этой лунки под ногами... сейчас для него не существовало. Он был одержим ею...

Неожиданно Енсеп промахнулся, шлепнулся ничком, больно стукнулся лбом о стенку. Однако чьи-то большие, мягкие, теплые ладони поймали его на лету, заботливо поддержали. Они провели по его телу с головы до ног, погладили его. Тот, кому принадлежали эти ладони, был весь в поту — совсем как Енсеп. Мастер остро почувствовал, как мучительно заледенели его спина и поясница. Потом

кто-то наклонился к нему: в густом мраке белело худое, полное жалости и сострадания лицо Калпака.

Енсеп с трудом заморгал свинцово отяжелевшими веками, и тут гривастая, в пене, клокочущая волна подхватила его и увлекла в пучину. Он закричал отчаянным предсмертным криком. Но сам он его уже не услышал.

Напрасно помощники, сгрудившиеся у отверстия колодца, дергали за аркан. Бадья вернулась пустая. Тогда они ловкими, спорыми движениями запрягли верблюда в чигирь, опустили в колодец толстый волосяной аркан с петлей на конце. Но и его вытащили ни с чем.

Опустив головы в колодец, они завопили во всю силу легких:

— Енсеп! Енсе-е-е-еп!

Ответом им было молчание и далекий, смягченный расстоянием гул. Джигитов обдало холодным дыханием. Они в ужасе отпрянули.

Многие годы никто не осмеливался подойти к этому страшному колодцу. Говорили, будто в нем обитает чудовище, которое-то и утащило, погубило Енсепа. Находились и такие, что «собственными глазами видели, как однажды высунулся из колодца семиглавый дракон-айдахар».

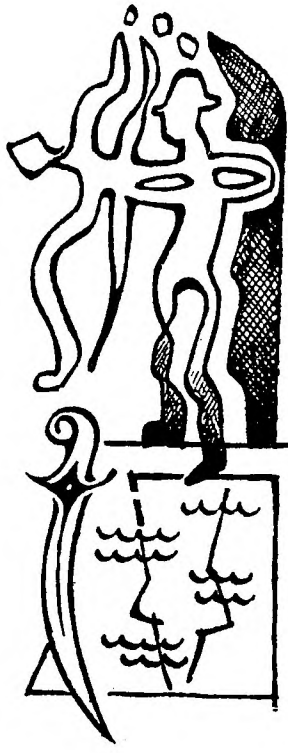
Ушли в небытие еще несколько лет. Объявились смельчаки — бесшабашные головы, приблизились к колодцу и даже опустили в него бадью. Их поразила вода — чистая, вкусная, прозрачная как слеза.

Долго совещались белобородые старики: как тут поступить? Позвали муллу. Он раскрыл коран, прочитал священную молитву, очистил колодец от злых духов, чертей и разной прочей нечисти... Выложили камнями стенки, поставили сруб. Отныне все окрестные аулы не знали нужды в пресной воде. В засушливые годы мелели, а то и вовсе высыхали многие колодцы. В этом вода не переводилась никогда.

Однажды кто-то нечаянно упустил бадью, и ее вынесло к подножию утеса у самого моря. Так люди узнали, что под этим колодцем протекает подземная река.

Колодец прославился как самый глубокий и самый многоводный на плоскогорье. Однако называли его не «Енсеп-казган» — «Вырытый Енсепом», а «Енсеп-улген» — «Тот, где утонул Енсеп».

1978



КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ

роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КРАСНОЕ ЯБЛОКО

1

Крошечные воронки, появляющиеся под копытами устало бредущих коней, тут же вновь заполняются песком. И мгновенно исчезают бесчисленные следы на склонах вздыбленной гряды барханов, оставленные отрядом угрюмо взирающих окрест телохранителей, едущих на отборных скакунах саврасой масти впереди, на расстоянии пущенной стрелы. Зыбучий песок, безмолвный и бездушный, издревле привыкший к непостоянству и тщетности бытия, мигом стирает малейший отпечаток на бескровном лике этого безбрежного серо-пепельного мертвого пространства.

Как бы ни старался Повелитель, вступив в Великую пустыню, отвести взгляд от всепожирающего сыпучего песка вокруг, однако никак не мог избавиться от гнетущего ощущения его беспредельной ненасытности. И каждый раз, когда он, утомленный однообразным, удручающе монотонным сухим хлясканием копыт увязающих в песке по самые щетки лошадей, досадливо откидывает занавеску у окна своей крытой повозки, перед глазами его простирается все то же унылое песчаное море.

Ранняя, чахлая весна. Скудная, убогая равнина, и нынешней зимой обделенная снегом, утомляла глаз. На кривых сучьях саксаула и жузгена еще не развернулись почки. Все вокруг погрузилось в дрему. Горбатые барханы, невзрачные, раскорячившиеся кусты точно застыли в извечной неподвижности, прижавшись к убитой земле.

На стыке зимы и весны здесь всегда бушуют бури. Самая свирепая и затяжная из них, именуемая в народе «черепашьей», отшумела лишь недавно. Пять суток кряду, словно из преисподней, бил им в лицо раскаленный докрасна зной пустыни. Пыльный смерч смешал землю и небо. Казалось, какая-то чудовищная сила, распаляя себя, в пепел, в прах истолкла всю твердь земли и провеивала ее на жесто-

ком ветру. Несметное войско, ничего не видя и не слыша в этой черной кутерьме, с тупым упорством брело, тащилось, грудью налегая на валивший с ног коней упругий шквал. Точно вздыбился весь мир и белый свет померк... Где земля, где небо — не разобрать... Ломило уши от рева ветра... Смерч, возбуждаясь, крепчая, гулял-свистел по всей вселенной... И казалось, не угомонится он никогда, не уймется, пока не разнесет, не развеет всю землю в прах. Вконец осатаневший ветер шквалом набрасывался на крытую ханскую повозку, норовя зашвырнуть ее в пучину мрака.

Кони вымотались, храпели; песок забивался в ноздри, в уши, в глаза, и изнуренные воины с трудом двигались против ветра. Но Повелитель велел продолжать поход. Какой смысл в привале, если в голой пустыне нет ни кустика, где б можно было укрыться?

Наоборот, очень даже возможно, что разбушевавшаяся буря играючи разметет-расшвыряет по пустыне все повозки и тюки. Ведь не один караван бесследно исчезал под этими безмолвными барханами.

Не в правилах Повелителя было отправляться в походы в весеннюю распутицу или по чернотропу. На этот раз, стремясь вернуться в родные края к началу весны, он поневоле изменил обычаю. Однако, чувствуя какое-либо сопротивление, он становился упрямее, ожесточеннее и сильнее стискивал зубы. В самом деле, кто могущественнее на этом свете: этот шальной, безумный ветер, лишь дважды — в весеннюю и осеннюю пору — обрушивающийся на землю, или он, владыка, способный при желании перевернуть вверх тормашками весь этот бренный мир?!

И все же, все же зло брало, что он, всемогущий, перед которым трепетало все живое, не в силах был укротить — ни копьем, ни саблей — вздорный нрав разгульного ветра. Тысячники, темники то и дело кружили вокруг его повозки, как бы умоляя о привале, но Повелитель был непроницаем. Он сидел неподвижный, угрюмый и, казалось, не слышал, не замечал вовсе надсадного воя бури.

Пять дней и ночей ярилась буря — предвестница благодатной весны. Потом весь мир враз утишился, словно обессиленный после камлания баксы-шамана. Повсюду вокруг — кучками и поодиночке — валялись вылезшие, должно быть, на свет божий из трещин черепахи. Ветер расшвырял их как попало. Иные лежали брюхом кверху и беспомощно сучили уродливыми ножками.

В тот день, когда улеглась буря, к полудню войско до-

брело до барханов. Склоны песчаных дюн, исхлестанные ветром, напоминали иссохший остов диковинных ископаемых чудовищ. Глубоко увязая в серый сыпучий песок, брели воины уже несколько дней. Еще недавно, всего несколько дней тому назад, они терпели великие муки из-за шквального ветра, теперь их изводила, угнетала глухая непробиваемая тишь. В груди сжимался, щемил беспокойно-горячий, с кулачок, комочек, точно опасаясь умолкнуть, остановиться невзначай в этом оглохшем от тишины и неподвижности мертвом пространстве.

Вокруг, куда ни посмотри, горбатились бурые барханы, и как бы ни спешило войско преодолеть их один за другим, пока еще и намека не было на надежную твердь. Пустыня, изборожденная тяжелыми песчаными складками-морщинами, простиралась во все стороны. Сколько бы ты ни всматривался в затейливую и таинственную, как сура Корана, вязь, начертанную ветром-каллиграфом на податливомягком песке, не вычитаешь ничего, что бы могло взбодрить онемевшую мысль. Наоборот, эти причудливые письмена поневоле навевали тягостные думы о том, что сама жизнь не что иное, как бессмысленные, беспорядочные знаки на песке, как случайные, постоянно меняющиеся, призрачные следы в этом однообразно тусклом и безбрежном мире. Ведь так же, как весенняя буря, которая после многодневного буйства, вдруг разом обессилев, смиряется сама по себе, все, что человек привычно называет жизнью, со всеми ее страстями и суетой, остается завтра безжалостно стертым и погребенным сыпучим песком, имя которому Время.

Четыре долгих года провел он в походах, сто тысяч коней истоптали, истыкали копытами немало чужих земель. Неужели когда-нибудь и это точно так же бесследно развеет ветер и проглотит песок? Если человеческая жизнь — нечто мимолетное, как шальной степной ветер, что просвистел и унесся прочь, значит, и прожитые годы, старательно нанизывающие подряд и без разбора все ничтожное и сокровенное, так же призрачны и бесплодны, как этот зыбкий, шуршащий песок под ногами. Выходит, между небом и землей нет ничего, кроме низменной суеты и бессмысленности? Выходит, все-все проходит и только непостоянство постоянно, вечно?

Кто знает... может, так оно и есть. Разве мало унижений испытал он в прошлом? Разве не мыкался вот в этой недоброй пустыне с женой и сынишкой, спасаясь от гоне-

ний? Разве не эти проклятые пески, отупляющие даже сейчас, когда он смотрит на них из расшитой золотом повозки, обжигали ему тогда пятки до кровавых волдырей? Даже чахлого кустика не мог он найти в те черные дни, чтобы пальцами разгребать под ним песок в надежде коснуться истресканными от жажды губами желанной прохлады и влаги, и тогда в отчаянии казалось, что никогда уже не суждено ему выбраться из ненавистной скряги-пустыни, иссушившей его тело и душу, и никогда не дожить ему до того счастливого мгновения, когда он может или мог бы ополоснуть рот глотком живительной воды. Но кто о том знает теперь? Ведь даже он — он сам! — вспоминает о том разве что в безысходной тоске. Прошлые унижения стерло нынешнее могущество. Прошлые муки искупились нынешним счастьем. Но ведь так может забыться и сегодняшнее. Тогда что собой представляет Завтра, о котором беспрестанно твердит жалкий человеческий род? Что оно? Безумный разрушитель всего сущего на земле, равнодушный губитель всего, что живет сегодня, или карающий меч судьбы, бессмысленности и непостоянства, одинаково беспощадный ко всему и ко всем? Что оно, это Завтра?

Если оно и впрямь меч карающий, то к чему тогда Сегодня, олицетворяющее неминуемую смерть с хищно разинутой пастью?! А если Сегодня — вечно, бессмертно, то где — Вчера? Где оно, что было вчера? Где они, что жили вчера? Как случилось, что те, кто еще вчера сражался с ним, сегодня погребены песком забвения? Неужели их сразила лишь его пощады не знающая сабля? Нет, конечно! В своей гибели они повинны сами. Вернее, слабость их повинна. Выходит, Вчера — попросту разновидность слабости. Точнее, другое ее название. Лишь ослабев, обессилев, Сегодня превращается в Вчера. А неуемная, все сокрушающая сила способна дерзко схлестнуться не только с сегодняшним, но и бросить вызов самому Завтра... Истинное имя силы — Вечность. Только необузданная сила, мощь в состоянии находить с нею общий язык. Гибель слабого предопределена уже Сегодня; кару для посредственности, для середняка готовит Завтра; и только сильный, не признающий никого и ничего, бессмертен, как сама Вечность.

Сегодня — это еще неопределенность, какая-то зыбкая срединная межа между страхом и надеждой. Это доля презренного большинства. Это плавание на утлой лодчонке в ограниченном, строго очерченном пространстве. И только. Лишь в таком шатком положении — между явью и заб-

вением — жалкий люд способен постичь и признать волю сильного. А без него тьма-тьмущая слабых — сброд. Лишь тот, кто наделен такой могучей волей и в состоянии держать чернь между Страхом и Надеждой, может превратить ничтожных в ее реальную силу. В руках такого Сегодня оборачивается грозным оружием в борьбе с Завтра... Каждому своему военачальнику он неустанно внушает: «Какие бы напасти ни подстерегали тебя, не попадайся в тупик, из которого нет выхода. Заранее позаботься о лазейке для спасения...» Слабость — тот же тупик... Надо иметь в запасе уйму уловок, чтобы не очутиться в ее тенетах.

Разве не о том же говорится в Священном писании? Спросил однажды муравей у пророка Соломона: «Ведаешь ли, отчего всеблагий подчинил себе ветер?» Соломон не нашелся что ответить. «В том заключен намек, что царство и могущество твое когда-нибудь ветер же и развеет». Побледнел мудрый Соломон, услышав это. «Ибо сказано: устами ничтожного аллах сообщает свою волю великим»,— сказал муравей и уполз восвояси. Если уж от самого Соломона отвернулось Счастье, то что говорить о других. Но, лишившись счастья, он ведь не лишился славы. И потому не следует ли из этого, что счастье — призрачное благо бренной жизни, а слава — достояние величия и вечности?

Разве славу Соломона сберегли до нынешних дней не все те же бедные дехкане — безымянные труженики муравьи, которым несть числа? И разве не они, не те же самые ничтожные, чьими устами аллах сообщает свою волю великим, воздают им славу и почести по всей земле? Неслучайно любое деяние великих черни всегда кажется исполненным смысла и значения. Ведь именно толпа вознесет тебя до небес, глядя на твои недоступные ее разумению свершения. Скакун, на котором скачет слава,— людская молва. Пока нерасторопная истина в устах разумного взберется в седло, пустозвонная молва в устах горлопана уже поскачет, развевая полы, по низовьям и верховьям.

Пустослов, распространяющий молву, шалеет от одного звона. Он воспринимает лишь грохот славы. И не станет надрывать глотку в надежде отведать от славы тихой и скромной. Главное: что бы ни делал, нужно делать так, чтобы удивить, ошеломить этого ничтожного маленького человечка. Ошеломленный, он не в состоянии отличить хорошее от плохого, добро от худа. Ну, вот к примеру, идет впереди,

тяжело переваливаясь, ногами-бревнами вспарывая хрусткую гладь песчаных холмов, неуклюжий верзила слон, груженный золотом и драгоценностями поверженных южных стран, и тот, кому этот слон в диковинку, отнюдь не станет рассуждать, хорошее это животное или плохое. Глядя на его чудовищную громадность, несуразно длинный хребет, человек, вероятно, не испытывает в первый момент ни страха, ни ужаса, ни отвращения даже, а только и прежде всего — удивление.

Размеры твоих деяний — все равно, во имя добра или зла, — должны быть непременно больше, внушительней, чем в силах охватить их маленький глаз маленького человека. Малым твоим добром он так и так не удовольствуется, а за малое твое зло начнет тебя же ругать и склонять на все лады. Разобьешь кому-нибудь нос в кровь, тебя осудят и поднимут галдеж; если же утопишь в крови половину вселенной, тобой начнут восхищаться и говорить о тебе с благоговением и страхом.

Пока ты жив, старайся удивлять всех, кто тебя окружает. Те, кого ты сумел удивить при жизни, будут удивлены и после твоей смерти. И, прислушиваясь к их россказням, начнут удивляться потом и те, кто тебя и в глаза не видел. Важно только сохранить кое-где приметы своей славы и верноподданных потомков — живой отголосок былого твоего могущества, которые не дадут угаснуть восторженной молве, подбрасывая изредка в костер легенды хворост воспоминаний.

Не всякому такое дано. Это удел избранных. Но тебе-то это вполне доступно, пока владеешь несметным богатством и держишь в руках тумены послушного войска. Только не прозевай своего часа, не дряхлей... И не обленись от пресыщения... Иначе уподобишься незадачливому любовнику неверной, похотливой бабенки: едва выскользнешь из ее опустошающих объятий, как на твое место уже метит другой, более удачливый и сильный. Таков он, этот лживый, изменчивый мир. Разве сам ты не достиг могущества и славы, ловко воспользовавшись слабинкой других? Теперь старайся, чтобы они ни за что не догадывались о твоей слабости... Пусть о том знает всевышний. И только.

Один всевышний... Да-а... ранее, бывало, возвращаясь с победой, он не ломал себе голову, размышляя о том о сем. Все эти мысли сохранялись в глубокой тайне в самом потайном уголке сердца. И оберегал он ее, эту сокровенную тайну, не только от чужих, словно какую-нибудь свя-

тыпю, которую хранят в заветном местечке за семью замками, но и от самого себя, подальше, в глубине души, радуясь тому, что она есть, всегда при нем, и одновременно боясь даже лишний раз о ней подумать. Тогда зачем, по какой причине теперь вдруг всколыхнулось, всплыло наверх все сокровенное, многажды раз передуманное до мелочей, взвешенное до крупицы, тщательно оберегаемой от всех живых? Зачем он вновь и вновь жует свою жвачку, давясь отрыжкой, словно старый, шелудивый верблюд? Ведь если уж хранить тайну тайн своих, то следует ее хранить, как верную дамасскую саблю. Если без толку размахивать ею, не мудрено ненароком и выронить из рук. А став добычей врага, твоя сабля тебя же и обезглавит.

Потому-то он и не позволял себе передумывать то, что было им однажды решено. А сегодня с ним творилось что-то непонятное. Прежде, как бы он ни уставал от изнурительных походов, в душе не чувствовал подобного смятения. Или, может, его вконец истомила многодневная свирепая буря великой пустыни, особенно опасная в эту пору — на стыке зимы и весны?.. С чего бы это? Ведь немало стран покорено, немало тронов опрокинуто. Он наконец-то на этот раз свел счеты и в прах разнес двух давних, коварных, немало крови ему попортивших соперников, не говоря уже о карликовых правителях, которых без труда поработил попутно.

Раньше, глядя на то, как падали к его ногам чужие короны, он испытывал сладостное и грозное удовлетворение. На этот раз все в нем точно онемело. Может, причиной тому непрошеная, незваная гостья — старость, подстерегающая его с некоторых пор на каждом шагу? Она, пожалуй, похуже любого врага. Ее никаким войском не одолеешь. И сабля не берет, и златом не откупишься, и хитростью не упредишь. Она, словно кровный твой враг, незаметно берет в осаду и не обрушивается врасплох, а изводит постепенно, подтачивая силу и веру, вселяя тайный страх.

И вот теперь она же, старость, крепко напоминает, что дальние и долгие походы отныне не для него.

И, думая об этом, он почувствовал, как сердце точно каленой иглой кольнуло.

Когда-то, давным-давно, добившись трона и короны, он явственно понял, что, покоряя одного за другим своих бесчисленных врагов, проведет свою жизнь не на золотом троне, а в походном седле.

Так оно и случилось. Так он и жил до сих пор. Многие народы и страны покорил. В краях, доступных коны-

там коней, осталась неподвластной ему лишь одна-единственная страна. Народу в ней видимо-невидимо, как муравьев в муравейнике, и, должно быть, потому не трепещут перед ним, как другие. Более того, время от времени подсылают к нему своих редкобородых, узкоглазых послов, и они то угодливо припадают к его стопам, то горделиво-полусонно взирают на него, важно плетут словеса с подчеркнутым достоинством на каменно-непроницаемых лицах. Давно на них он точит зубы, но, кажется, пробил час судьбы, дошел и до них черед. Остальные три стороны света он подмял под себя, да так, что не поднять им больше головы. И потому, чтобы в будущих походах не думать о покоренных уже странах и не тратить силы на подавление возможных мятежей, он приказал заблаговременно истребить поголовно всех побежденных воинов. Теперь уж можно не оглядываться.

Сейчас и победоносное войско его, сокрушившее немало врагов и наводящее ужас на чужеземцев, как никогда в славе и силе. И пока оно не растеряло грозного воинского духа, он намерен после недолгой передышки вновь отправиться в далекий поход.

По пути он пополнил свое войско успевшими подрасти воинами ранее покоренных стран. Песок повизгивал-шуршал под копытами тысячи и тысячи коней, голубые копья, ощетинившись, сверкали в лучах солнца, из-за барханов и дюн все шли-текли, словно черные тучи из-за ущелий, грозные туменны, и казалось, не из похода возвращается великое войско, а, наоборот, выступает в кровавый поход. Воины веселы, бодры, точно джигиты после жарких девичьих объятий. Боевые знамена и бунчуки сотников и темников горделиво развевались на пустынном ветру.

И лишь по тяжело навьюченным караванам и по множеству рабов, закованных в кандалы, и пленниц можно было догадаться, что войско возвращается из победного похода. Да-а, что бы там ни было, он решил вступить в столичный город всем войском, многочисленным, как комариная туча. Пусть народ лицезрит своего властелина, завоевавшего три стороны света, во всем могуществе и блеске, пусть полюбуется его мощью, шалея от гордости и спеси...

Вдали над белым песчаным холмом Повелитель неожиданно увидел странный силуэт, похожий на тонкий шест. Он был голубее самого прозрачного неба и впивался своим острием в окутанный дымкой марева горизонт.

Пораженный властелин хотел было подозвать немедленно провидца из свиты, чтобы узнать, не божий то ли знак, но,

заметив, что шест все явственнее обозначался на фоне неба, обретая темно-синюю окраску, решил повременить.

Наконец-то кончились могучие барханы и дюны и пошли мелкие, разрозненные холмики. Чувствовалось, что пустыня на исходе и скоро нога коснется желанной тверди. Все чаще попадались островки с чахлыми кустиками.

Когда песчаные увалы остались позади, горизонт, зажатый ими, вдруг сразу раздвинулся, расширился.

И вместе с горизонтом, по-весеннему зыбким, смутным, с просинью, медленно, по-кошачьи отступавшим назад, туда, к неотвратимо удалявшимся, точно в страхе от несметного полчища, барханам, отодвигался, уплывал и таинственный голубеющий шест.

Вот тумены обогнули дикие заросли саксаула и жузгена, поднялись на суглинистый перевал и выбрались на твердь долгожданного плоскогорья. Впереди, далеко-далеко, в дымчатом мареве дрожала, зыбилась гряда пестрых гор.

Еще некоторое время спустя в урочище, значительно ближе от пестроголовых гор, в сплошной дымке, показались силуэты больших и малых строений. Голубой шест особняком, загадочно завис над ними, постепенно погружаясь в густую синеву неба.

Вскоре четко вырисовался город в долине. Точно выплыл из голубого марева войску навстречу со своими голубыми, будто воздушно-невесомыми, минаретами. Прямой как стрела голубой шест, упиравшийся вершиной в небо, обернулся — и Повелитель увидел теперь это ясно — величественной башней. Раньше ее не было в его столице. Стройная, округлая, чем ближе, тем причудливей переливавшаяся всеми красками башня напоминала молодую, нежную женщину в голубом шелковом платье, истосковавшуюся по далекому, измученному дорогой возлюбленному и машущую ему рукой. Здесь, на равнине, широко раскинувшейся во впадине, земля обрела вдруг рыжеватый оттенок. Вокруг — то здесь, то там — шевелились, суетились крохотные черные точечки. Весна властно преобразила ровное поле в окрестностях города. Многочисленные сохи, запряженные лошадьми, волами, а то и людьми, вспарывали, бороздили упругую, с едва заметным, еще блеклым покровом пашню, будто вырезали тесьму на могучем теле земли. На равнине за городом войско, под которым стонала и прогибалась земля, в честь возвращения с победой двинулось торжественным строем. В первых рядах, натянув до звона тетиву, шли лучники; за ними, грозно вскинув стальные сабли и острые

копья,— сабельные и копьеносцы. Дальше, гремя кандалами, тащились пленники-рабы и брели тяжело груженные добычей караваны верблюдов. За караваном, покорно опустив головы, прошли юные красавицы, пленницы из разных племен и народов. И лишь в конце, замыкая шествие, в окружении десяти тысяч верных нукеров, проплыла под тягучий рык карнаев ханская повозка.

Караульные отряды, обступив торжественный строй с двух сторон, сопровождали войско до главных городских ворот. Поля, вспаханные под бахчу, хлопчатник, овощи, перешли вскоре в тщательно ухоженные фруктовые сады. На деревьях недавно, видно, лопнули клейкие почки. Все вокруг точно в сиренево-белых прозрачных платьицах. Под раскидистыми ветвями виднелись бурые глиняные дувалы вокруг маленьких двориков. Здесь начиналась окраина города. На широких лавках, протянувшихся по обе стороны улиц, сверкал, сиял, переливался, притягивая невольно взор, диковинный товар со всех концов света — китайские шелка, драгоценности, изделия из золота и серебра, сукно, замша, дубленая кожа, меха, пушнина, всякая утварь, поделки; в воздухе плыл густой, пряный дух сушеного урюка, сочной, крепко поперченной самсы, сладкого и жирного, паром исходившего плова, хрустко поджаренного на саксаульных углях кебаба.

Неожиданно кончились сады, окутанные дымчатой кисеей, все плотнее, выше становились дувалы и все многолюдней улицы. Едва головные части войска хлынули в город, точно пенистый резвый ручей — в мутную лужу, как за крепостной стеной на холме, опоясанном глубоким рвом с водой, зычно затрубили карнаи. И тут же откликнулись в ответ разом все карнаисты под войсковыми знаменами и бунчуками и посыпалась оглушительная дробь походных барабанов — даулпазов. От раскатисто-ликующего гула, взметнувшегося над городом со всех минаретов и круглых куполов, от утробного рева тысячи надрывающихся карнаев и мощного цокота несметных копыт задрожала, застонала земля.

Жители столицы, потрясенные невиданным зрелищем, пугливо озираясь на сурово ощетинившиеся копья, смотрели во все глаза с дувалов, из щелей и окон на торжественное шествие победителей.

Все внимание Повелителя было поглощено новым минаретом, вызывающе гордо устремившимся к бескрайней шири неба...

2

Пир в честь победы и окончания похода длился два месяца. Шумная, многолюдная равнина после торжеств сразу же опустела. Столичный город вернулся к обыденной привычной жизни. Народ казался бодрым, оживленным после длительного отдыха, веселья и гульбы.

И только одного Повелителя усталость не покидала. На другой день после окончания пира он перебрался в тихий загородный дворец на вершине холма, окруженного тенистым, недоступным солнцу и зною садом. По величию и богатому убранству дворец не уступал другим, однако в нем Повелитель никого не принимал. И сад на холме был запущенный, дикий, как и все непроходимые леса вокруг урочища. В нем обитали косули-елики, водились павлины, фазаны, и не были они приручеными, как в других садах. В этом дворце Повелитель не устраивал пиров и не принимал послов. Он предпочитал уединенную прогулку по саду, куда пробирался по мостику, перекинутому через ров с водой вокруг дворца. Гулял он один, без свиты, без спутника. В сад вообще никто не допускался, кроме членов ханской семьи. Но и они не осмеливались приходить сюда без личного его позволения. По воле Повелителя, бывало, привозили к нему маленьких внуков, с которыми он весь день проводил в саду, а вечером, посадив их в повозку, отправлял назад к Старшей Ханше.

На этот раз он и за внуками не посылал. Старшая Ханша через гонца передала просьбу поговорить по одному неотложному делу, но хан и его не принял, передав, что ему сейчас не до разговоров. Долгий, нелегкий поход и двухмесячное разгульное пиршество вконец утомили его. Никого не хотелось сейчас видеть.

Он забирался в укромный прохладный уголок сада и подолгу сидел на валунах у звонкого, говорливого родника. Только вот здесь, на крохотном клочке земли, рядом с вечным родником, он не чувствовал себя могущественным властелином. Здесь он мог не повелевать, и были ему непослушны, неподвластны и неустанно журчавший прозрачный родник, и бесчисленные птахи, безмятежно щебетавшие в густой зеленой листве, и лупоглазые стрекозы, трепетавшие тонюсенькими крылышками над самой водой. Здесь никто его не боялся. Пожалуй, одни только чуткие косули, невзначай наткнувшись на него, ошалело мчались прочь в густые заросли. Но пугались они его не потому,

что был он властелином, а лишь потому, что принадлежал к многочисленному недоброму племени двуногих.

Когда он направлялся к любимому роднику, вооруженные телохранители и дворцовые слуги, избегая с ним встречи, мгновенно убирались восвояси.

Часами в глубокой задумчивости сиживал Повелитель возле одинокого родника. Здесь вызревало окончательное решение о далеких и опасных походах. Здесь, на сонной полянночке, в райском уголке, под переливчатый говорок ручейка, решались судьбы тронов и коронованных владык.

Мысли роились в голове Повелителя, текли непрерывной вереницей, как эта родниковая вода, сочившаяся из глубины земли. Но вода текла ровно, размеренно по одному и тому же извечному руслу. А мысли Повелителя, едва зародившись в глубине души, неизменно путались, мешались, растекались беспорядочными ручейками во все стороны.

Вот и сегодня он пришел к роднику, чтобы обстоятельно обдумать предстоящий вскорости нелегкий поход, но думы нежданно-негаданно набрели на загадочный случай с яблоком. Красное наливное яблоко, с едва заметным, тоненьким надрезом сбоку он вернул вчера, не дотронувшись, а сегодня во время трапезы служанка вновь поднесла его на золотом подносе.

Он его сразу узнал среди других яблок, схватил и разломил: из середины, извиваясь, выполз червь. Он не имел привычки выказывать гнев перед слугами. Положил яблоко обратно, будто ничего не заметил.

Служанка убрала поднос. Повелитель сурово сдвинул брови, но сделал вид, что прощает оплошность прислуги, подавил нарастающую ярость.

Он устремил все подмечающий, сверлящий взгляд на служанку, но не усмотрел в ее движениях, походке ни тени робости или смущения, кроме того, что она чуть-чуть прикусила нижнюю тонкую губу.

Но разве не все служанки испокон веку прикусывают губы и заученно улыбаются, выказывая подобострастие перед властелином? Выходит, эта, что унесла сейчас с ханского стола червивое яблоко, не почувствовала никакой вины перед ним? Или, занятая делом, ставя и убирая посуду с яствами, она и впрямь ничего не видела? Но... подмечать, ловить каждое движение на лице Повелителя и удовлетворять любую его прихоть разве не обязанность челяди? Однако ведь может быть и так, что поджатые губы служанок не просто дань вежливости или учтивости, а искреннее смуще-

ние перед мужчиной-повелителем? Теряются же перед ним, испытывая невольный трепет, не только слуги, но и визири, полководцы и даже родные дети. Что уж говорить о бедной, беззащитной женщине? Она не то что за выражением лица Повелителя, а за собственными поступками от страха не уследит. Где уж ей все вокруг подмечать?..

Порой Повелитель поневоле поражался непонятливости своих приближенных, тому, что их разумению оказывались недоступными самые простые вещи. Потом, размышляя об этом наедине с собой, приходил к выводу, что поражается напрасно. Ведь ему-то легко: у него нет необходимости кому-либо угождать или стараться понравиться, а его и чиненным, угодливо ловящим каждое его слово, постоянно смотрящим ему в рот, следящим за каждым движением бровей, немудрено, разумеется, споткнуться на ровном месте.

Во время беседы с приближенными он искусно заставлял их высказываться без утайки, а сам между тем лишь молча слушал. Даже не перебивал собеседника. И тот чувствовал себя робким учеником, плохо выучившим урок, перед строгим, педантичным до угрюмости наставником. Повелитель, точно окаменев, смотрел собеседнику в глаза, не выказывая ни единым движением своего осуждения или одобрения. Не простое искусство — умение слушать. Иной верткий, пронырливый льстец, угадав настроение Повелителя, начинает ловчить, подстраиваться, подлаживаться, как заурядная шлюха, скрывая свои подлинные мысли и побуждения. А Повелителю совершенно ни к чему, чтобы его подчиненные что-то утаивали, скрывали. Ему выгоднее, чтобы перед ним все выворачивали наизнанку свои душонки, с покорностью выкладывали все свои тайны. Ибо в подвластном ему мире только один-единственный человек имеет право на какие-то тайны — большие и малые, все равно. Это он сам, властелин! А всем остальным, готовым ради него пролить кровь и пожертвовать жизнью, какой смысл иметь еще какие-либо секреты?! Да, да... он должен, обязан знать, что думает и делает каждый, кто находится под его властью. Нет покоя его душе, пока он не вызнает до донышка все, что в сердце и помыслах приближенных. Здравый человек не садится на коня, чьи повадки ему не знакомы. Точно так же неразумно окружать себя людьми, которые не отвечают за свои слова и поступки, не знают своих возможностей и не ведают, где свернут себе шею. К тому же следует помнить, что твоя тайна, пока она при тебе,— твое оружие, но с того дня, как ты однажды кому-то ее доверил, она уже

оружие чужое. И Повелитель искони стремился прежде всего обезоружить своих приближенных, раз и навсегда лишив их сокровенной тайны. Потому в беседе он позволяет им говорить свободно, без стеснения, без оглядки. Боже упаси, чтобы он обрывал чью-нибудь речь неуместным словом. Наоборот, прикидывался незнающим, задавал нарочито наивные вопросы. И тогда собеседник, не чувствуя подвоха, с долей приятного превосходства отмечал про себя, что всемогущий и всевидящий властелин не такой уж всемогущий и всевидящий, как о нем говорят, коли не догадывается о простых вещах, и начинал с детским простодушием и откровенностью выкладывать все подробности, о которых еще минуту назад был склонен умолчать.

Таким образом, заставив собеседника распахнуть перед ним душу до последнего закоулочка, вызвав его на чистосердечную исповедь, Повелитель потом без сострадания давал понять, что он отнюдь не такой простак, как тому, собеседнику, на мгновение почудилось, что он, как истинный провидец, наделенный к тому же верховной властью, все-все знал и видел давным-давно. Бедняга, пустившийся в откровенность, тут спохватывается и подавленно умолкает, вдруг сразу ощутив всю пропасть своего ничтожества. После этого он становится покорным, послушным, точно годовалый верблюжонок, которому пробили ноздрю, чтобы было сподручней вести его на поводу...

В конечном счете, разве не в этом заключается превосходство всех владык, всех сильных мира над остальным людом — в том, что, имея власть выведать тайну каждого, они сами никого в свою тайну не посвящают и никогда о ней не разглагольствуют? Ведь с самого сотворения мира когда и где бывало, чтобы кто-то осмеливался выспрашивать тайну самого правителя?

Властелин должен быть не только немногословным, но и уши свои он не позволит осквернять какими-либо недостойными слухами. Если он опустился до чьих-либо нашептываний, то уж поистине впору снять с головы золотую корону и поставить ее плевательницей перед сплетником с поганым хайлом.

Тех, кто охотно и подленько наговаривал на других, он ненавидел люто, точно бешеных собак. Кое-кто из неисправимых холуев, тайком сообщавших ему, что о нем говорят за глаза, нашел успокоение на виселице. С тех пор никто не совался к нему с подозрительными слухами. Визири и родные сыновья без его просьбы или поручения никогда ни о ком не

заикались. Чрезвычайной важности события сообщались ему — с ведома и согласия членов его семьи или высокопоставленных служителей дворца — только предсказателями из личной свиты. При этом недобрая весть доводилась до него намеками. И если ему требовалось знать все подробности, скрывающиеся за иносказанием, он вызывал к себе гадателей и приказывал истолковать донесение. Те известную им недобрую весть тоже не сообщали открыто, а преподносили лишь разные ее толкования, которые он мог понимать, как ему угодно было. На основе намеков и их толкований Повелитель сам выносил решение и определял меру наказания виновнику. Находить истинную суть каждого иносказания, а также единственно правильный выход из создавшегося положения и точно определить степень вины — нелегкое занятие даже для властелина. Ибо, как нигде больше, здесь всякая поспешность и очевидная всем несправедливость, несомненно, наносят непоправимый урон даже безмерному ханскому престижу. И в этом вопросе он свято придерживался своего излюбленного правила: «При любой напасти опасайся тупика, на всякий случай всегда оставляй себе лазейку». Он стремился не связывать самому себе руки. Известно, что жалобы и сплетни чаще всего касаются отдельных личностей. Повелитель, способный без угрызения совести утопить в крови тысячи людей и уложить на поле брани тысячи воинов, однако крайне осторожен и щепетилен в вынесении приговора одному человеку. В этом сказывается одна из кощунственных несуразностей презренного бытия.

В самом деле, в бою чем больше загубишь невинных душ, чем больше перебьешь воинов-сыновей, взлелеянных горемычными матерями,— тем громче слава предводителя-хана, и — наоборот — малейшая несправедливость, допущенная им в мирной жизни хотя бы в отношении к последнему нищему, накладывает несмываемое пятно на его честь. Милость, милосердие, проявленные повелителем к какому-нибудь ничтожному смерду, способны вытравить из сознания толпы жуткую славу кровопийцы, повинного в гибели тысячи и тысячи невинных, и посеять молву о мудром, человечном и справедливом хане — таком справедливом, что может мечом правосудия, как говорится, повдоль рассечь волосок.

В этом он окончательно убедился много лет назад во время южного похода.

...После многомесячного изнурительного пути войско остановилось на широкой равнине неподалеку от чужестранной столицы на берегу могучей реки, по которой с рокотом катились гривастые волны. На противоположной стороне копошились голоногие, до блеска загоревшие дехкане. Они цепочкой шли по пахоте и что-то сеяли. Долину подковообразно окружали горы. По склонам густо росли смешанные леса. Оттуда, из-за реки, со стороны гор, струились густые, вязкие запахи наливающихся соком фруктов, от которых приятно кружилась голова.

Запестрели шатры по всей равнине. Затрубили карнаи, посыпалась раскатистая дробь походных барабанов. Погруженные в ленивую дрему равнина и горы точно ожили и откликнулись гулким, многократным эхом. Из курчавых зарослей тугая ошалело выскочили лоси и косули и понеслись в открытую степь. Разом и со всех сторон со свистом полетели им вдогонку тучи стрел. Несметное войско мигом раздобыло себе мясо.

Дехкане на том берегу разбежались врассыпную, побросав на пашне деревянные сохи, мотыги, кетмени, мешки с семенами. Но ни одна стрела не полетела им вслед.

Топот, треск все явственнее доносились до склонов гор: встревоженные звери косяками продирались сквозь непроходимые заросли тугаев в безопасные ущелья за увалами.

Воины нарубили дров, натаскали на холмы хворост. И когда опустилась черная южная ночь, по всем склонам и увалам враз ярко вспыхнули бесчисленные костры. Казалось, все звезды с летнего неба спустились на землю. Черный горизонт зловеще полыхал зарницами.

И на следующий день воины отдыхали на зеленой равнине. И опять наступила ночь. И вновь запылали костры, охватив пожаром все окрестности. Костров было больше, чем звезд на небе, и жители осажденного города перепугались насмерть. Уже на третий день ранним утром они толпами вышли из крепости, сдаваясь врагу на милость.

Повелитель приказал не допускать беженцев к равнине, где расположилось войско, а загнать на узкий длинный мыс между цепью гор и буйной рекой. Потом, решил он про себя, когда враг начнет метать камни из камнеметов, он погонит их против своих же в первых рядах.

В тот же день после обеда старший сын Повелителя, не утаив страха, заявил с порога:

— Их уже почти сто тысяч!

— К вечеру беженцев станет больше, чем наших воинов, — высказал опасение кто-то из эмиров.

Полководцы, сидевшие чинным рядом по обе стороны золотистого шатра, переглянулись. Повелитель сразу догадался о сомнениях, закравшихся при этой вести в души его военачальников. Серолицый хазрет, положив увесистый, в кожаном переплете, коран на серебряную подставку и отрешенно перебирая коралловые четки, деревянным голосом изрек:

— Мой повелитель! Да будет вам известно, что истребление богомерзкого племени иноверцев, погрязших в пороках, пакостях, есть очищение души во имя всеблагого. Я, покорный слуга всемогущего творца, готов собственноручно перерезать им глотки. Если мы их сейчас, еще до наступления ночи, не перерубим поголовно, совершим роковую ошибку.

Старший сын и главный визирь в два голоса поддержали святого хазрета:

— Да, да, ошибка может стать роковой.

— Хазрет говорит истину.

После полудня огромное войско двинулось к мысу. Беженцы нестройно приветствовали его. Лучники вышли вперед и встали цепью. Через мгновение туча стрел обрушилась на безоружную толпу. Истошные вопли взметнулись к ясному и равнодушному небу; страшный вой, стон, крики, визг прокатились эхом по ущельям, и река тоже, точно обезумев, загрохотала еще яростней. Крайние ряды беженцев падали, будто скошенные. Кольцо лучников сжималось все плотнее. Живые, защищаясь, спешно складывали мертвых штабелями, сооружали укрытие. И тут в побоище ринулись копьеносцы...

Вскоре был смят непрочный заслон из трупов, и тогда над головами обреченных засверкали сабли. Сам святой хазрет, не порешивший в жизни даже паршивого ягненка, не удержался от соблазна: ринулся, размахивая сабелькой, на безоружных иноверцев.

Беженцы сопротивлялись как львы. Никто уже не вопил от страха и ужаса, никто уже не молил о пощаде; охваченные безумной яростью, кто отбивался кулаками, кто впивался зубами в глотку насильника, кто, уже падая, цеплялся за ноги. Скрежет зубов, свист сабель, гулкие удары кулаков, предсмертный хрип, стоны — все перемешалось, сливаясь в гул побоища.

К закату дня беженцы на узком перешейке были истреблены до последнего человека. Бредя по щиколотку в кро-

ви, воины сложили трупы штабелями и подожгли их. Всю ночь пылали зловещие костры, распространяя зловонный чад, и аспидно-черное низкое небо чудилось закопченным дном гигантского котла, в котором на том свете поджаривают грешников.

На следующий день, совершив утренний намаз, Повелитель вызвал белобородого хазрета почитать священную книгу. Хазрет гнусаво-монотонным голосом нараспев прочитал суру и истолковал ее как доброе предзнаменование, благословляющее предстоящую битву — газават — за веру во имя всемогущего. По его словам выходило, что бог создал иноверцев низкородными, презренными рабами, а правоверных — избранниками судьбы, достойными радости, наслаждений и счастья на том и этом свете, и потому им, обласканным самим пророком, предоставляется право безнаказанно вытравлять человеческую нечисть. Благочестивый хазрет, воздев руки, благословил священный газават: да водрузится над страной гяуров[1] зеленое знамя пайгамбара-пророка. Повелитель переправил войско на противоположный берег бурной реки. Он сам сел на коня, определил левый и правый фланги, ударную группу, резервные полки, объехал войско перед приступом.

Противник выставил конницу в двадцать тысяч сабель, тридцать тысяч пеших воинов и сто двадцать боевых слонов. Связанные друг с другом, слоны выстроились в ряд. К спине каждого был пристегнут открытый паланкин, в котором сидело по шесть метких лучников. Между слонами на специальном устройстве громоздились камнеметы и огнеметы, изрыгавшие пламя. Рядом с огромными и неповоротливыми слонами ханские воины на малорослых гривастых конях казались смешными и беспомощными.

На широкой равнине медленно сходились две армии. И когда головные части уже сошлись лоб в лоб, Повелитель поднялся на холм в середине войска, расстелил молитвенный коврик и, обратив лицо в сторону священной Мекки, сотворил намаз.

Бормоча заученные слова молитвы, он покосился краешком глаза на поле брани и увидел, что передовые части его войска понемногу, по-кошачьи отступают под градом камней и неумолимым натиском боевых слонов.

Повелитель встал, свернул молитвенный коврик и распорядился немедля бросить на фланги отборные полки из резервной части. Неприятель, увлекшись наступлением по

[1] Гяур — немусульманин, неверный.

центру, не заметил, как его с двух сторон стремительно сжимают в тиски. Застигнутые врасплох фланги начали лихорадочно перестраиваться на ходу, готовясь к отпору, а головная честь, ведомая боевыми слонами, все глубже увязала в ловушке. Вскоре фланги оказались отрезанными от центра, и сто двадцать боевых слонов очутились сразу в окружении. Неприятель отчаянно бился, старался сомкнуть ряды, вырваться из тисков, но было уже поздно. Силы его иссякали с каждым мгновением.

Лучники теперь легко сбили стрелков на паланкине. Разъяренные воины, обнажив клинки, набрасывались на слонов. Громадные, неуклюжие животные, связанные к тому же между собой, сбились в круг, беспомощно перебирали толстенными ногами, подставляя крутые бока под пики и сабли неприятеля. Оказалось, боевые слоны страшны лишь с виду. Даже четырнадцатилетний внук властелина захватил одного слона и привел его на поводу к грозному деду. Приятно пораженный храбростью внука властелин обнюхал ему лоб.

К тому времени воины успели порубить врага, очутившегося в кольце. Все поле было усеяно трупами. Кони спотыкались о них, косили глазами, испуганно пофыркивали.

Победители, точно опалев от крови и предчувствия богатой добычи, ринулись лавиной в раскрытые настежь городские ворота.

И пока Повелитель отдыхал в богатом дворце поверженного противника, его воины, разнуздавшись, чинили разбой и насилие.

Дикий грабеж продолжался две недели. За это время и похоть потешили, и коржуны добром набили. У иных награбленное имущество на двух лошадях не умещалось. Некоторые гнали перед собой до ста рабов и рабынь. Повелитель еще раз убедился, что алчности человеческой нет предела.

Особенно поразил его тогда один случай. Однажды, проезжая в сопровождении свиты по центру захваченного города, он натолкнулся средь бела дня на драку. В стороне стояла пара лошадей, а рядом — десяток пленных, мужчин и женщин, в наручниках и связанных между собой. Драчуны дубасили друг друга с такой яростью и увлечением, что не заметили подъехавшего Повелителя. Узкоглазый, поджарый, чернолицый вцепился обеими руками в горло молодого, пышноусого крепыша-слепца. Узкоглазый был пьян, голова его под ударами слепца моталась во все стороны, словно

ботало на шее ишака. Однако хваткие руки не отпускали жертву.

Унизительная сцена вывела Повелителя из себя. Теряя самообладание, он выскочил из повозки, кинулся к драчунам и с размаху ударил саблей узкоглазого по правому плечу. Тот, охнув, мешком плюхнулся оземь. Почувствовав нежданную помощь, слепец ухватил подол Повелителя.

— О, кто вы, мой избавитель, добрый, милостивый человек?! Единственная память осталась от матери — бриллиантовое ожерелье. Буду молиться за вас, назовите свое имя...

— Имя мое после узнаешь. А тебе скажу: если бы каждый дрался так истово, никто бы не мог вас победить. Ты истинный воин, слепец!

Повелитель приказал отобрать у узкоглазого коржун, набитый драгоценностями, и высыпать их на голову слепца. Пленников, стоявших связанными в стороне, отпустил тоже.

— О аллах! — все восторгался слепец.— Кто это — сей великий из великих, справедливый из справедливых?

— Сам непобедимый Повелитель,— ответил кто-то из свиты.

С тех пор, в какой бы город и в какую бы страну он ни вступал, его всюду и неизменно опережала легконогая молва-слава не о сотнях тысяч невинно загубленных, а о несчастном слепце, которого защитил от грабителя добрый и справедливый Повелитель.

С тех пор он дал себе зарок, что отныне облагодетельствует каждого смертного, чья мольба дойдет до него.

Именно тогда, после этого случая, Повелитель, вернувшись из похода, издал приказ обезглавить каждого, кто клевещет на ближнего.

Поэтому и поныне никто не осмелится приходить к нему с жалобой или наветом, ибо если выяснится ложь, шептуну не сносить головы. Подлую беду, которую Повелитель обязан знать, сообщают ему только предсказатели и шейхи-дервиши, и то лишь осторожными намеками.

Не исключено, что и красное наливное яблоко, поднесенное ему на подносе,— определенный намек. Но что может означать червь, выползший из сердцевины? Опасность, нависшую над ним? Однако кто и что может угрожать ему в своей стране, на своей земле?! Поблизости не осталось ни одного достойного врага, способного посягнуть на его могущество. Чванливому и коварному послу с востока он сам дал понять, что скоро двинется на них с копьем и мечом, и, дабы тот

собственными глазами убедился в мощи и боевитости ханского войска, продержал его два месяца на пиру и ристалище и лишь потом отпустил домой. Пусть расскажет там, с кем предстоит иметь дело. Пока он доберется, здесь ханские тумены уже оседлают боевых коней.

Вчера Повелитель беседовал с лазутчиками и сыщиками, разосланными по всем улусам под маской бродяг-дервишей и юродивых-дивана. По сведениям, в окрестностях царит порядок и благодать, и никакая опасность ниоткуда не угрожает.

В самых отдаленных уголках и на больших караванных дорогах вдоль границ он содержит многотысячную тайную армию осведомителей среди дервишей, купцов, пастухов, погонщиков, но и они не ведают о каком-либо мятежном духе.

От сборщиков налогов и податей, наместников городов, тайных агентов и соглядатаев, расставленных повсюду, тоже не поступило тревожных сведений.

Так зачем подобным образом понадобилось намекать на какие-то неурядицы в дальних, за тридевять земель, краях?.. Неужели, пока он находился в далеком походе, здесь, в его дворце, что-нибудь случилось?

Каждого из приближенных, кого Повелитель подозревал хоть в чем-нибудь, он старался — где бы ни находился — неотлучно держать при себе. В последний раз, зная, что поход продлится долго, он оставил во дворце главного визиря. Если тот запустил руку в казну, беда небольшая. Из-за этого вряд ли стоит прибегать к тайным намекам. Каждый раз перед походом и после возвращения Повелитель лично сам проверяет казну. Так что воровство, если оно и впрямь имело место, обнаружится само по себе. К тому же главный визирь — человек степенный и трезвый, которому в равной мере присущи ум и хитрость, вспыльчивость и самообладание. Не мог он проявить алчность и покушаться на ханскую казну. Разное поговаривали о главном визире, но Повелитель не придавал значения этим россказням. Кому неведомо, что у государственных мужей недостатка в недругах не бывает...

На что же тогда намекает червивое яблоко?.. Родной очаг в сохранности, семья — в добром здравии. На пиру в честь победы присутствовали все. Немыслимо, чтобы за это время что-то круто переменилось и земля вдруг перевернулась вверх дном. Скорее всего служанка допустила оплошность...

Но... заметив, что яблоко с червоточиной, его должны

были просто-напросто выкинуть. Почему же его второй раз принесли на подносе? Выходит, это делалось сознательно, с умыслом. В чем тогда тайна? Может, немедля пригласить гадателя? И к сеиду[1] своему он зашел после похода второпях. Не поговорили толком, по душам, как бывало прежде...

Повелитель сперва сам тщательно, не спеша, обдумывал свой сон или чье-нибудь иносказание, а потом уже прибегал к услугам предсказателей и толкователей. Итак, красное наливное яблоко с червяком в сердцевине... Это ведь, должно быть, намек не на злодейство, а на... измену, предательство. Да, да, поистине так! Но чья измена? Какое предательство?

Какой безумец в пору ханского всемогущества дерзнул на измену? Разве не на гибель обрекает себя тот, кто осмелился предать властелина?

Он в уме перебрал всех предводителей войска. Ни у одного, по разумению Повелителя, не было сейчас причины-повода для такого шага. После очередного удачного похода — и особенно в канун новых — он щедро одаривал полководцев, с головы до ног осыпая золотом. Так он поступил, присвоив себе несметные богатства южных стран. Так он поступил и после покорения земель, где заходит солнце. Не скупясь, роздал он огромную долю добычи верным предводителям и храбрым воинам. Ибо знал: благоразумно баловать их щедрыми подачками, воздавать сторицей за все заслуги. Тогда они с готовностью ринутся в любую кровавую бойню.

Лет десять тому назад, когда решалась судьба похода на южные страны, на верховном совете-диване возникли разногласия. Старший сын пылко настаивал на походе: «Если мы захватим золото того края, покорим весь мир!» Советники и эмиры осторожничали: «Народу в тех краях больше чем мух. Если мы их и одолеем, то потом сами растворимся в них. Они проглотят нас, как море песчинку. Потомки наши родной язык забудут».

Тогда хан приказал раскрыть коран. Наткнувшись на суру, гласившую: «О великий пророк! Иди войной против иноверцев, истребляй без пощады нечестивцев!»

Золото южных стран переубедило боязливых ханских эмиров, выправило им, как говорится, искривившийся было рот. В том походе им стало ясно, что можно победить и покорить народы, если их даже больше навозных мух. Ну, а в

---

[1] Сеид (точнее — пир) — духовный учитель, наставник.

стране, где восходит светило, богатства должны быть и вовсе без счета. Уж кто-кто, а его соплеменники, вкусившие соблазны земных благ, это прекрасно сознают.

Кто же именно теперь усомнился в удаче предстоящего похода?

Всякий раз на этом месте мысли Повелителя обрывались. Родник монотонно бормотал свой бесконечный сказ. Чуткая листва на высоких деревьях непостижимым образом улавливала дуновение в этом безветренном уголке и о чем-то перешептывалась. «Думай, думай»,— казалось, советовали листья и родник.

В этом земном эдеме надеялся он найти отдохновение, но неугомонные сплетники — шуршащие листья и журчащий родник — назойливо нашептывали что-то, смущали душу, и раздосадованный Повелитель встал и пошел по узкой тропинке. Она, извилистая, как сама ложь, повела его вновь ко дворцу.

Недавнюю дремотную садовую тишь вдруг словно ветром сдуло. Все вокруг наполнилось беспорядочными звуками. Белогрудые, с кулачок, синички заполошенно метались по веткам, верещали без умолку, раздувая зобы, будто им тоже не терпелось сообщить Повелителю важную весть.

По обочине дороги пронеслась дикая коза. Казалось, она с утра, затаившись, подстерегала Повелителя и теперь понеслась вовсе не с испугу, а поддразнивая его тугими гладкими ляжками.

Извилистая тропинка пролегала под урючиной. Перезрелые плоды, сорвавшись, усеяли землю. Прелый запах гнили струился в воздухе. Жирные зеленые мухи роились, кружились над кучей опавшего, истлевшего урюка, справляя обильную трапезу.

Что еще может быть противнее гниющих фруктов? Еще недавно это были девственно нежные, белые соцветия. Потом появилась завязь, плотная, темно-зеленая, гладкая. Ее лелеяла листва и бережно качало, баюкало кряжистое, раскидистое дерево. Она впитывала живительный сок, сосала солнечную грудь неба. Вот завязь обернулась плодом. Он заметно созревал, наливался, покрывался позолотой, маня взор своей красой. И вот дозрел. А перезрев, сорвался, начал подгнивать и стал добычей мерзких зеленых мух — суетливых спутниц тлена. Вот и все... Прелестен, пригож плод, пока красуется на ветвях... А сорвется с вышины — и превратится в прах, в позор и унижение, как этот урюк, гниющий под ногами. Ни жалости, ни сострадания к нему не будет. Одно

отвращение... Кому есть дело до того, что вчера еще это был прекрасный плод, даровавший прохладный сок и медовую сладость...

Создатель не наделил плода на дереве разумом, достоинством, гордым желанием всегда и неизменно оказаться на высоте. А вот человеку доступна простая истина: падение с вышины, куда так долго и упорно лез,— смерть. И потому владыка, подстерегаемый злорадством и завистью врагов, постарается е падать, а взбираться все выше и выше.

Тропинка вывела его к мостику, перекинутому через ров с водой вокруг дворца. Повелитель весь подобрался, посуровел; взгляд, затуманенный зыбкими думами, вновь обрел колючий, жесткий блеск. Холодный, неприступный он вошел во дворец.

Когда служанка внесла обед, он — по-прежнему мрачный — восседал на широком возвышении, укрытом тигриной шкурой, у выложенного мозаикой хауза[1] в середине зала.

Молодая служанка смущенно прикусила губу, точно невинная девочка на ложе у пожилого мужчины, и остановилась рядом. Маленький поднос поставила на круглый дастархан. Как бы старательно ни прикусывала она губы, однако на лице не было и намека на стыдливый румянец. Овальное лицо, густо покрытое пудрой, белело непроницаемо, длинные ресницы, не в меру насурьмленные, ловко прикрывали многоопытную осведомленность и подспудное упрямство, придавая лицу выражение лживой покорности и простодушия.

Обычно Повелитель не удостаивал своих слуг взглядом, но на этот раз посмотрел пристально и ощупывающе. Служанка ничуть не оробела.

Что же получается? Неужели она до сих пор не обратила внимания на червивое яблоко? Неужели все еще ни о чем не догадывается? А если, допустим, ей все известно, как она может при этом не смущаться перед ним?

Нет, служанка и лицом не дрогнула. Накрыла, как положено, дастархан, сдержанно и учтиво поклонилась и, не полностью разгибая стан, неслышной, волнующей походкой, свойственной одному только женскому племени, направилась к выходу. Пышные чресла упруго подрагивали под яркой шелковой накидкой.

Лишь когда закрылась за нею дверь, он посмотрел на дастархан. Взгляд тут же споткнулся о красное наливное

[1] Хауз — искусственный водоем.

яблоко. На этот раз надрез был шире, заметней. Да и яблоко лежало чуть в сторонке, отдельно!

Ясно: служанка знает все!

Рука хана невольно потянулась к колокольчику под подушкой.

Тотчас в дверях показалась и поклонилась служанка.

Повелитель изо всех сил старался не поддаться приступу бешеного гнева. В злобе он даже не сразу смекнул, что хотел сказать покорно застывшей у порога служанке.

— Яблоко это... в здешнем саду сорвали?

— Нет, милостивый Повелитель, вам его прислала Великая Ханша.

— Ступай.

Служанка послушно повернулась, и он успел заметить легкую ухмылку в уголке прикушенных губ...

...Скользкая ухмылка, мелькнувшая в уголке тонких губ служанки, мерещилась теперь ему и на поверхности мерно журчащего родника. Вода, робко сочась из груди земли, образовала ручеек, и по нему изредка пробегала легкая зыбь, точно чистая улыбка младенца. Даже в серебристо-нежном бульканье ручейка чудились ему искреннее сочувствие и печаль...

Отныне и этот укромный уголок, скрытый от пронырливого взора света, омрачен смятением неуемного духа. Казалось, даже серый валун под Повелителем ворочался, выражая непокорность. Может, и трепетные листья на верхушках деревьев шепотом передавали друг другу тайну, которую тщетно все эти дни пытался разгадать Повелитель.

Раньше здесь, у родника, как-то сами по себе разрешались все его тревоги и сомнения и просветлялась, оттаивала заскорузлая, очерствевшая от хлопот и дум душа. На этот раз облегчение не приходило.

«...прислала Великая Ханша...»

В последний поход он забрал с собой Старшую Ханшу и подросших внуков. Однако походная жизнь и лишения вскоре надоели им, и он — это было два года назад — отправил их обратно.

Весной, возвращаясь из длительного похода, он выслал вперед нарочного с доброй вестью, и тот, вернувшись в войско, ничего существенного не доложил.

Потом, до начала грандиозного пира в честь победы, он почти полтора месяца отдыхал во дворце старшей жены и внуков, находившемся в полдневном пути от столицы. И за это

время Великая Ханша даже не занекалась о какой-либо напасти.

Ни тени досады или озабоченности на лице ханши не заметил он и во время пира. Как же следует понимать этот знак неблагополучия, поданный ею теперь? Выходит, если бы это произошло раньше, то с какой стати молчала она столько времени?

Сыновья часто навещали мать. Но ездили они во дворец ханши не потому, что были больше привязаны к матери, а потому, что тосковали по своим детям.

Может, сыновья что-нибудь натворили? Но... с какой стати стала бы вдруг жаловаться на них ханша? Ведь они беспрекословно подчиняются ее воле.

Повелитель заблаговременно позаботился о том, чтобы пресечь возможные распри между сыновьями. Неспроста говорится: о худе не думаешь, добра не жди... Так вот, на случай, если всевышний призовет его к себе, Повелитель давно уже собственными устами объявил законного наследника. И у того пока не должно быть подлых намерений. Наоборот, может, братья против наследника что-то замышляют? Однако и такое вроде исключено. Они ведь все единоутробные. Одной пуповиной связаны. Самый старший, рожденный от другой матери, остался наместником в одной из покоренных южных стран. Остальные трое слишком молоды и еще не познали вкус власти. Что же тогда могло случиться?.. Или в канун далекого и опасного похода нашлись смутьяны, подло сбивающие ханских сыновей с праведного пути? Немудрено. Ведь, встретившись с женами и детьми после семилетней разлуки, многие отнюдь не горят желанием вновь оседлать боевых коней и пуститься в неведомые края, где можно сложить голову. Зная это, Повелитель в последнем походе щедро одарил всех, кто отличился отвагой и верностью. Не поспешил ли он со своим даром? Не разумней ли было повременить? Не раздавать добычу, а только посулить?

Когда-то одному из своих эмиров он дал совет: «Насколько узки глаза у тюрков, настолько же скупа и алчна их душа. Единственный способ заставить служить их верой и правдой — тешить их глаза золотом, а душу — хвальбой. У других отними, а своих — подкупай».

Разве не этой мудрости следует он сам? Разве, завоевав много стран и отняв их золото, он не потратил его на подкуп своих приближенных? Иначе чем еще, кроме золота, можно вырвать из бабьих объятий этих обленившихся похотливых самцов, называемых мужчинами?

И, чтобы ублажить их алчные души и заткнуть ненасытные глотки, он швырнул живоглотам добычу, а честолюбцам роздал чины. Пусть подавятся!

Казалось, все предусмотрено и ничего не должно было случиться. Посла, прибывшего из страны, где восходит солнце, он не подпустил ни к своим эмирам и предводителям войск, ни к родным сыновьям. Неужели тот пройдоха нашелтаки муравьиную лазейку в его искусно расставленных тенетах и сумел каким-то образом напакостить?

Да-а... как бы там ни было, знак тревоги подан неспроста. Ведь когда Великая Ханша прислала нарочного с просьбой поговорить по важному делу, он не принял его. Но ханша выказала явное нетерпение, с намеком передав красное червивое яблоко. Может, следует срочно вызвать всех сыновей? А вдруг кого-то из них и впрямь охватил бес единовластья? Тогда неожиданный и срочный вызов отца может только насторожить возжаждавшего высшей власти нечестивца и ускорить развязку его черных помыслов. Нет, нет, о срочном сборе сыновей сейчас не может быть и речи. Тут, видно, что-то другое. Если даже допустить, что кого-то из сыновей и поразила подлая страсть, то вряд ли раньше всех так встревожилась бы Великая Ханша, толкая в муках рожденное чадо под топор палача.

Между тем Великая Ханша оттолкнула от себя только старшего его сына, рожденного от другой, покойной ныне жены. Ханша настояла на том, чтобы отослать его подальше, на край земли, наместником завоеванной страны.

По совету святого сеида она добилась того, что наследником трона был объявлен старший сын, рожденный от нее. Повелитель долго оттягивал решение о наследнике, потому что не хотел обидеть своего первенца, но тот — то ли боялся козней честолюбивых братьев, то ли пожалел отца, очутившегося меж двух огней,— сам вдруг отказался от наследного права и попросил только отправить его правителем южной страны.

И, вспоминая великодушный поступок своего любимого сына-первенца, Повелитель испытывал каждый раз неловкость, перемешанную с болью и жалостью, и как-то весь сникал, сжимался, точно от непомерной тяжести вины. Вот и сейчас, едва вспомнилось о старшем сыне, разом схлынули изнурившие его за эти дни сомнения и думы и мысли вернулись к тем годам, полным мытарства и лишений.

Предки его до седьмого колена были предводителями войска. Прадед, к примеру, возглавлял войско старшего

сына Великого Хана. Эта традиция по наследству от поколения к поколению дошла и до него. И он служил предводителем войска у эмира — престарелого правителя этого края. Старый эмир любил и почитал его пуще родного сына. Выдал за него дочь. И когда тесть пал жертвой вражеских интриг, на трон его сел Он.

В то время жители Двуречья разделялись на сорок племен, раздираемых смутой и междоусобицей. Все они были тогда подвластны потомкам Великого Хана, обитавшим за тридевять земель. Усевшись на трон, он первым долгом попытался объединить множество мелких ханств. Каждому из кичливых ханов-марионеток было отправлено тайное послание: «Предлагаю объединиться и прогнать всех остальных. Управлять Двуречьем будем вдвоем». И от каждого из этих марионеток, шалеющих от неуемного желания большей власти, он вскоре получил горячее согласие. Так он ловко подлил масло в костер и без того не затухающих распрей. Натравив друг против друга спесивых правителишек, он терпеливо выжидал в стороне, по-прежнему суля дружбу и помощь тому, кто наголову победит всех остальных.

В это время с огромным войском приближался сюда сам Верховный правитель. Узнав об этом, Он опередил всех соперников и первым встретил — с поклоном и почестями — Великого Хана. Руководила им при этом единственная цель: добиться признания и преимущества в глазах потомков великого Повелителя. Однако на этот раз судьба отвернулась от него: потомки Великого Хана почему-то не поверили ему, лишили его трона и вновь назначили предводителем местного войска. А позже пустили слух, что он замышляет покушение на своих правителей, и решили его умертвить. Но всевышний миловал: наказ об убийстве попал ему в руки. Он успел бежать. Несколько лет провел он в мытарствах, хоронясь в тех самых гибельных песках, по которым нынешней весной он возвратился с войском из похода. Вместе с женой, как затравленный, метался по барханам. На склонах бесчисленных дюн, на раскаленном песке остались их следы. Ноги, изнеженные теперь ворсистыми коврами и пуховыми подушками, были тогда иссечены колючками, изранены занозами. Те следы на песках давно уже стер ветер пустыни. Раны давно уже вылечило время. И о тех горестных днях он вспоминает теперь лишь при виде старшего сына или думая о нем. Потому он и дороже, роднее всех остальных сыновей. Не будь его, первенца, кто знает, достиг бы он нынешней славы и могущества.

Скитаясь в пустыне, находясь на грани жизни и смерти, он попался в лапы бека-правителя какого-то племени, обитающего в песках. Вместе с женой швырнули его в темницу-зиндан глубиной в сорок кулаш[1]. В этот сырой затхлый колодец днем не проникал луч солнца, ночью — свет луны. Высоко-высоко над их головой, у узкого отверстия, слабо брезжил свет, точно насмехаясь над обреченными супругами. Изредка в колодец, склонившись, заглядывал страж, заслоняя блеклый свет своей лохматой бараньей шапкой и ввергая пленников в густой мрак.

Тихо. Только изредка негромко, точно ржанье жеребенка, позванивали железные оковы на руках жены, когда она, измученная пронизывающей сыростью, ворочалась на дне зиндана.

Супруги все эти дни не проронили ни слова, будто не желая бередить изъедавшие душу раны от досады и гнева. Лишь время от времени тяжко вздыхали.

Так прошло сорок девять дней и ночей. Пятидесятая ночь выдалась лунной. Пленники заметили это по мерцающей белизне струящегося у отверстия света, похожего на отблеск серебряного подноса.

Молодая жена, с ожесточенным упрямством сносившая все муки в смрадном подземелье, вдруг забилась и беспомощно заскулила. Жар охватил ее тело. По лбу струился липкий пот. Закованный, он мог только подставить ей плечо. Надсадный плач-стон становился все громче. Неведомая боль, казалось, рвала ее на части, ломала кости, выматывала душу, и женщина, не зная, как унять, утишить эти адские муки, обезумéло билась головой о глухие стены зиндана.

Потом... потом она вдруг обмякла, потеряв сознание. И в этот самый миг откуда-то прорвался — сначала тускло, как бы захлебываясь, потом вдруг во всю мощь — возмущенно-резкий, незнакомый крик, от которого у него зазвенело в ушах.

Молочно-белый свет над головой на мгновение погас и вновь забрезжил.

Тут же что-то, скользнув, упало ему на грудь. Он подбородком нащупал ключ, ухватил зубами и, изловчившись, отомкнул оковы на руках жены.

Она очнулась от крика и снова вся зашлась в знобкой дрожи.

---

[1] Кулаш — мера длины, расстояние между вытянутыми в стороны руками.

— Бери ключ — отомкни оковы! Живо — прикрикнул он.

Она послушно зашарила вокруг.

— Быстрей! Ну!..

Раздирающий душу плач не умолкал.

Наконец ей удалось отомкнуть и снять оковы. Руки его коснулись чего-то скользкого, теплого. Ребенок, еще соединенный пуповиной с матерью, надрывался изо всех сил.

Он склонился к скрюченному тельцу, зубами перегрыз теплую пуповину и, вырвав у жены прядь волос, крепко перевязал ее.

Потом осторожно прижал беспомощное существо к груди, стараясь отогреть его своим теплом, своим дыханием, и, чувствуя, как о н о доверчиво приникло к нему, успокаиваясь, он вдруг ощутил неведомую, торжествующую радость, отчего сразу исчезли все напряжение, вся боль, унижение и горечь, выпавшие ему за последние месяцы.

Сперва он обвязал арканом жену и помог ей выбраться, потом, придерживая одной рукой ребенка, вылез сам. Чернобородому спасителю в мохнатой бараньей шапке он сунул, сорвав с шеи жены, яхонтовое ожерелье и, выхватив из его рук саблю, направился к шатру бека.

Сбежалась, услышав возню у зиндана, вооруженная стража, но, пораженная зрелищем, остановилась: босоногий, простоволосый мужчина решительно шел на них, держа в одной руке голенького ребенка, в другой — обнаженную стальную саблю.

У входа в шатер два привратника преградили ему дорогу, но сабля в руке пленника дважды ослепительно блеснула при свете луны. Так отбиваются плеткой от злых собак. На порог, обливаясь кровью, рухнули два трупа.

Ведя за собой жену, ворвался он к беку. Теперь бросились наперерез телохранители. Бек повел подбородком. Занесенные сабли послушно опустились.

Кто знает, что пришло в голову беку? Он приказал отвести пленников в отдельную юрту и содержать сорок дней — пока окрепнет новорожденный и очистится от скверны роженица. После этого срока, определенного самим шариатом[1], бек подарил супругам по скакуну и отпустил восвояси.

Позже, через много лет, когда он — с благословения аллаха — беспощадно расквитался со своими врагами и обидчиками и стал единоличным правителем этого края,

---

[1] Ш а р и а т — свод неписаных мусульманских законов, основанных на коране.

направил он свое тысячекопытное войско в пустыню, против того племени, чьим пленником был когда-то. Оставалась еще неделя пути, когда вдруг увидел на берегу бурной реки отряд: воины в мохнатых бараньих шапках в знак покорности спешились и вонзили пики в песок.

Когда ханское войско приблизилось, трое из отряда вышли навстречу. В том, остробородом посередке, Повелитель признал бека.

Остановившись в пяти шагах, бек твердо произнес:

— Вот коран, а вот — сабля. Воля твоя. Хочешь — мы на коране поклянемся в верности тебе. Нет — так бери саблю и руби наши головы. Мы против тебя оружия не поднимем.

До самой смерти бек остался одним из преданнейших и почтеннейших эмиров.

Первая жена покинула юдоль печали тридцати девяти лет от роду. В честь любимой и верной спутницы суровой жизни, без ропота разделившей все неимоверные тяготы, лишения, унижения и опасности, согревавшей его ожесточившееся сердце своей тихой и светлой любовью, одарившей его первенцем-сыном, он потом построил величественную мечеть.

Каждый раз при виде старшего сына Повелитель теплел душой. Вспоминались далекая, невозвратная молодость и незабвенная жена, так и не познавшая безмятежной жизни ханши. И отправил-то он любимого сына правителем в далекий край скрепя сердце. До сих пор, когда он представляет судьбу сына, томящегося, точно в изгнании, на чужбине под постоянным прицелом ненавидящего вражеского взора, холодная оторопь охватывает все его существо. С отъездом старшего сына он неизменно чувствовал себя одиноким и осиротевшим, все равно, находился ли среди многотысячного войска, или восседал на шумном, знатном пире, или отдыхал в кругу остальных сыновей и ватаги внуков. И, кажется, только теперь он убедился в том, что у каждого — кто был он ни был,— живущего под этим бездонным и равнодушным небом, есть только один-единственный неизменный вечный спутник — одиночество.

Помнится, в предсмертный час мать, преодолевая недуг и немощь, сказала ему:

— Сын мой... ты достиг своего желания. Я же ухожу из этого мира в печали и горести. Ты был моим единственным сыном, как одинокое священное дерево в голой пустыне. Таким же одиноким я тебя и покидаю. Так вот,

слушай. Не почитай трона своего выше своих башмаков. От холода и сырости он не спасет. Не думай, что роскошный дворец твой надежнее твоей кольчуги. И его стрела пронзит. Не считай, что твое войско неуязвимее твоего щита. И его глаз совратит. Не полагайся особенно на отпрысков своих, народившихся от разных баб. И они тебя предадут. Да будет тебе известно: много баб и наложниц не заменят одной жены. А ее-то у тебя и нет, сын мой. Бабы, с которыми ты делишь постель,— все равно что кобылицы в одном табуне. Ребенок в утробе им ближе, чем ты на их чреслах. Сам знаешь: стригунок, окрепнув, начнет кусать табунного жеребца. Вот и берегись. Множеством сыновей не кичись. А то у матерого волка было много волчат, да выкусили они его из собственного логова, и околел он, старый, на холодном ветру. Не трать понапрасну силы, желая угодить всем своим бабам, а почитай одну и заслужи ее веру и любовь. У отца ты был единственным сыном, потому он и передал так рано повод правления тебе. У тебя же сыновей много, и если ты не хочешь, чтобы твои щенки перегрызли друг другу глотки, не уступай трона никому из них до самой своей смерти. И, лишившись власти, не околачивайся возле бабы, у которой от тебя много детей. Опираясь на них, она обесчестит тебя, унизит твое достоинство. Держись за бездетную. Униженная своей бездетностью, она сможет защититься от соперниц только тобой и потому будет преданно любить и почитать до последнего часа...

Мать говорила эти слова шепотом, будто опасаясь, что кто-нибудь может их подслушать, говорила очень четко, убедительно, крепко стискивая при этом руку сына, и он, вслушиваясь в мудрую речь, почувствовал оторопь. Высказав все, что на душе, мать плотно сложила бледные дряблые губы, отвернулась лицом, и в тусклых глазах ее, казалось, угасал, постепенно удаляясь в неведомое, теплый жизненный свет. И когда иссушенная хворью и старостью мелко дрожавшая рука ее безжизненно упала на пышную перину, суровый властелин, покоривший половину мира, вдруг ужаснулся и растерялся, как сосунок, насильно отлученный от матери.

С тех пор каждый раз, возвращаясь из далекого похода, он вспоминал предсмертные слова матери.

Таким образом, теперешняя Великая Ханша — вторая жена, занявшая место первой. Она из влиятельного богатого спесивого рода. Он к тому времени был ханом, на гребне власти и удачи, забавлялся прекраснейшими наложницами со

всего света, но чтобы обуздать гордыню и приторочить к своему седлу древний могущественный род, косившийся на него за то, что он не принадлежал ни к белой, ни к черной кости, а был как бы негим, с расчетом взял себе ее в жены.

Дочь кичливого, честолюбивого племени, видя, как к ногам Повелителя падают одно за другим знамена разных стран, все более привязывалась к нему. На слухи-кривотолки, исходившие от ее сородичей, она перестала обращать внимание. И сородичи, заметив крутые перемены в настрое единокровной дочери, также понемногу охладевали к ней. Отныне они охотнее обращались к самому Повелителю — своему зятю. Тот бесчисленные тяжбы и неукротимые прихоти чванливого рода разрешал и удовлетворял быстро и легко. Теперь же, когда само солнце и луна на небе с опаской взирают на его все сокрушающее копье, сородичи жены не осмеливаются задирать носы и предпочитают помалкивать о своем знатном происхождении, об исконной причастности к избранной белой кости.

Со временем они вовсе перестали упоминать своих досточтимых предков, а восславляли всюду и везде только своего зятя. Потом подросли ханские сыновья, стали участвовать в походах и выказывать удаль и отвагу, и хвастливые родичи жены превозносили уже не столько самого Повелителя, сколько его сыновей, говоря: «В жилах наших племянников все же течет кровь славных предков. Вот увидите, они и своего родного отца превзойдут!»

Великая Ханша, народившая ему трех сыновей, с годами обрела достоинство счастливой матери и уже не смотрела, как прежде, льстиво в рот крутонравому супругу. Более того, в последнее время она всех внуков держала при себе и проживала безвыездно в своем дворце, полагая, что Повелитель должен сам приезжать к ней, если, конечно, чувствует в том потребность.

Несколько лет назад, следуя наставлениям покойной матери, он женился на девочке шестнадцати лет. Повадками и статью она напоминала ему первую жену. Нежная, кроткая, небалованная, не познавшая отравы власти.

В последний поход он — по обыкновению — забрал Старшую Жену, оставив здесь, на родине, Младшую. И вот она, юная ханша, в честь супруга построила башню. Самую видную и высокую из всех, что вознеслись над столичным городом.

Этот тихий, уединенный дворец, в котором хан проводил сейчас свой недолгий отдых перед новым походом, он подарил

Младшей Ханше. На склоне лет он решил не разъезжать, как прежде, из дворца в дворец, а обосноваться здесь до конца своих дней.

Может быть, именно это возбудило ревность Великой Ханши? Над его носом пронеслась пчела. «Неуж-жели не мог об этом сразу догадаться?» Листья над головой зашуршали, перешептываясь громче.

Он сам поразился своей неожиданной и такой простой догадке. В молодости мысли его были, пожалуй, резвей; они настигали цель мгновенно, точно молодая гончая, а не плутали, будто вслепую, вокруг да около.

Ну, конечно, самодовольная гордячка ханша, державшая мужа при себе, никак не одобряет теперь его уединения с юной женой. Даже когда он ставил мечеть в память умершей жены, Великая Ханша, помнится, долго хмурила брови. Если раньше ее постоянно терзала ревность из-за мечети, то теперь ее и вовсе сводит с ума новая величественная башня, сооруженная по воле молодой соперницы.

Чем еще, кроме сплетен о близких, может привлечь внимание к себе стареющая ханша? Она хоть россказнями пытается обратить на себя благосклонность мужа. Значит, и красное наливное яблоко — всего лишь черный знак ее душевной скаредности. А коли так, то нечего напрасно ломать голову. И, подумав так, он сразу почувствовал громадное облегчение, словно раздавил червя сомнения, точившего все эти дни его душу.

В эту ночь впервые за долгое время он спал спокойно. И проснулся бодрым. После завтрака велел заложить повозку.

В золотисто-пестрой повозке, в сопровождении конной свиты, выехал Повелитель из дворцовых ворот в сторону новой, невиданной башни.

В душе он испытывал неприязнь, если не сказать — ненависть, ко всем дворцам и башням покоренных им стран, как, впрочем, и к золотым тронам и коронам врагов. Ему мало было сознавать себя могущественнее всех правителей на свете, он хотел, чтобы и столица его была краше и богаче всех столиц. И потому он из каждого похода привозил тысячи пленных мастеров-умельцев.

Каждый раз, возвращаясь из дальних стран, он придирчиво осматривал свою столицу. Сейчас он мог быть спокоен: город вырос, могуч и прекрасен, и из виденных Повелителем городов нет ему равных.

Особенно довольным он остался в последний раз, когда Младшая Ханша, чутко угадав настрой его души, построила

в честь супруга башню, дерзко и гордо устремившуюся ввысь, к небу.

И место для нее выбрано удачно: издалека и со всех сторон сразу бросается в глаза. Открытая взору местность. И все другие минареты, достойные соперничать красотой, находятся на расстоянии.

Вот она, вся голубая, приветливо улыбнулась ему. Душа светлеет, радуется при одном ее виде. Даже бесцветному, вылинявшему в знойную пору небу башня придает необыкновенную голубизну, и над нею небесный купол кажется чище и прозрачней.

Чем ближе, тем заметнее возвышалась башня. И уже не такой улыбчивой она становилась, а строгой, замкнутой. Вблизи, у подножья, это впечатление усилилось: башня отрешенно и сурово подпирала небо.

Противоречивые чувства, все эти дни попеременно овладевавшие ханом, вдруг разом умолкли. Гордая башня, во всем своем блеске возвышавшаяся перед ним, словно подавила и развеяла все сомнения. То, что такого чуда не было ни в одном другом городе мира, приятно тешило самолюбие. Будь оно в чужом, вражеском городе, многочисленная услужливая свита с топорами и ломами давно бы уже набросилась кромсать, рушить каменное чудище, надменно взирающее на грозного владыку вселенной. На этот раз все нукеры застыли с разинутыми от изумления ртами.

Отныне этой башне суждено глядеть свысока на весь необъятный покоренный мир, точно гордый ханский стяг — символ его всемогущества.

Великий Повелитель углядел в этом минарете нечто свойственное ему самому: башню видать на краю земли, и она милостиво манит, влечет к себе всех, но — когда окажешься рядом — становится строгой и недоступной, как сам Повелитель.

Невозможно оторваться от башни. Он стоял перед ней завороженный, точно пылкий юноша перед прелестной и загадочной в своей красе женщиной.

Сейчас он испытывал необыкновенную радость, близкую к восторгу, и признательность ко всему миру, достойно восславившему его имя и честь,— к голубой башне, придавшей блеска его могуществу, к прозрачному небу, чистым куполом нависавшему над ней, к мастеру, в течение семи лет изо дня в день по крупице, по кирпичику без устали воздвигавшему такую махину, к юной супруге, преданным женским сердцем догадавшейся о подавленности и усталости

его души после изнурительного похода и подготовившей дивный подарок, глядя на который дряхлый дух обретал вдруг орлиную мощь и порыв.

Стоило немного отдалиться, как лик башни постепенно теплел. Голубые плиты, вблизи холодно и даже сурово мерцающие глазурью, на расстоянии начинали улыбаться. Чем дальше, тем труднее было оторваться от этого чуда. Гордая красавица, вблизи не удостаивавшая тебя даже взглядом, вдруг — издали — таинственно-завлекающе посмеивалась и властно притягивала к себе. Зачарованный, поневоле кружишься вокруг.

При внимательном взгляде можно было убедиться в том, что в башне преобладают не мужская доблесть и достоинство, а сдержанная гордость, скромная благосклонность и душевная ласка, свойственные женщине. Сколько их — сказочных дворцов и минаретов — видел-перевидел он за долгие годы близких и дальних походов, но такой таинственной красоты, сотворенной чудодеем, встречать не приходилось. Необычное обаяние башни как бы околдовало взор и душу Повелителя, и он никак не мог понять рассудком тайну такой магической красоты.

Башня воплотила в себе тоску по возлюбленному женщины, которая оставалась неприступно-глухой к тем, кто жаждал ее близости и благосклонности, и кротко улыбалась единственному, желанному, находившемуся вдалеке, звала его с мольбой и тоскою, суля радость и ласку.

Зодчий, выстроивший эту башню, проникновенно передал неизбывную тоску и любовь юной ханши к своему возлюбленному, так долго не возвращавшемуся из далекого похода...

Вблизи башня ослепляла яркой, броской красотой, а постепенно удаляясь, окутывалась голубым маревом, точно погружалась в печаль, от которой щемило сердце.

Она выражала немую мольбу: «Неужто покидаешь меня?.. Не уходи... Останься... Ради всего святого останься... побудь со мной... со мной...»

«Стой! Вернись!»

Неожиданный, как окрик, властный зов грубо оборвал все думы, точно поразил его в самое сердце. Повелитель вдруг резко выпрямился, оттолкнувшись спиной от мягкой подушки сиденья, но промолчал...

До самого дворца он старался больше не смотреть в сторону башни. Он не мог сейчас предположить, на какие лады истолкуют завтра праздные пукеры его неожиданный

порыв, и потому поспешно откинул голову на спинную подушку и прикрыл глаза.

Неспокойно было на душе, отчего-то мутило, и он не притронулся к обеду. Только отведал ломтик дыни, охлажденной в меде, и от приятного холодка тошнота исчезла. На этот раз яблока не было. У служанки — он это сразу заметил за легкой накидкой на ее лице — глаза были подчеркнуто вежливо опущены долу...

Когда служанка вышла, он уставился на монотонно сочившуюся прозрачную воду в хаузе, выложенном посередине дворцового зала из бурых, розовых, голубых мраморных плит, и задумался... Глядя на капли, похожие на слезинки и бесследно исчезающие где-то в глубине бассейна, он чувствовал, что сердце его смягчается, оттаивает. Плотный наст суровости и жестокости, намерзший в душе за долгие-долгие годы, вроде рыхлел, крошился от каких-то неведомых ему нежных чувств, напоминавших ласковый весенний ветерок, и Повелитель весь обмяк, поддавшись печали одиночества. В нем вдруг неожиданно проснулась жалость. Он и сам еще не мог понять, чего ему стало жаль: то ли этой воды, зажатой в каменные тиски и потому исходившей безутешными слезами, то ли сироту-башню, оставшуюся там, в зыбком голубом мареве... Что-то чистое и нежное, охватившее всю его душу, напомнило вдруг снова Младшую Ханшу. Да, да... она, бедная, в облике этой башни передала ведь не только свою многолетнюю тоску по любимому, нетерпеливое желание скорой встречи и неуемную страсть, обжигавшую ее невинное существо, но и намекала на свое безысходное одиночество в среде чуждых ей людей, на обиды, которые приходилось терпеливо сносить, на подавленный дух, на отчаяние, вырывавшееся в безмолвном крике: «Приди же... услышь меня... пойми... защити!» Разве сочетание надменной холодности и кроткой нежности, гордости и покорности, тоски и страсти не означает всеобъемлющего понятия — любовь?!

Уж кто-кто, а он прекрасно знает, что это такое... Когда в те далекие годы скитаний измученная жена, стыдясь опереться на него, бывало, лишь робко, по-девичьи прикасалась к его плечу и невнятно просила: «Сил моих больше нет... поддержи чуть-чуть...», он ясно видел в ее усталых глазах причудливый клубок всех этих человеческих чувств.

Это же сокровенное выражение — точь-в-точь как у матери — он заметил в глазах старшего сына, смущенно скрываемых под густыми бровями, когда тот перед отъездом

в далекую страну едва ли не тайком зашел проститься с отцом.

И вот сегодня, отъезжая от голубой башни, он вдруг на мгновение ощутил все то же редкое, не определимое человеческой речью священное чувство, которое приходилось ему видеть в глазах двух самых дорогих на свете людей. Казалось, теперь он догадывался о тайне, заключенной в красоте той башни. Ему неодолимо захотелось увидеть молодую ханшу, увидеть сейчас же и заглянуть... нет, смотреть долго-долго в ее безгрешные, по-детски преданные глаза.

Он почувствовал вдруг дрожь в сердце. Давно уже не испытывал он такого трепета, такого приятного волнения. И он был сейчас поражен — то ли этим необыкновенным своим состоянием, то ли тем, что мог столько лет прожить так глухо, так немо, не испытывая ничего подобного. Одно лишь желание властно охватило его — скорее, тотчас увидеть Младшую Ханшу. Он даже не мог сейчас отчетливо представить себе ее. Не так уж и часто удавалось оставаться с ней наедине. А на людях, понятно, Повелителю не положено заглядываться на собственную жену... Кажется, большие черные, как смородина, с влажным блеском глаза придавали ее худощавому личику выражение кротости и печали: нос точеный, маленький, с чуткими ноздрями; подбородок круглый, нежный, и губы не тонкие, которые обычно не в состоянии скрывать горячее желание, и не толстые, чувственные, а в меру полные, пухлые, податливые. Словом, она обладала внешностью, как принято считать, женщины стыдливой, сдержанной, скромной и верной в любви, которая не обжигает, не ошеломляет дикой, необузданной страстью, а ласкает и согревает ровным душевным огнем, не пьянит колдовскими чарами и дразнящим смехом, а завораживает томной, благосклонной улыбкой.

Именно любовь такой женщины воплотила в себе грандиозная башня. Неспроста, видать, сам пророк Соломон, нашедший путь к людским сердцам через сердце возлюбленной, зная толк в любви и многоликой женской красе, называл ангелоподобными тех, кто невинной нежностью и кроткой женственностью умел без зримых нут связывать мужчин.

И еще говорят: пророк Соломон имел обыкновение наслаждаться вкусом и ароматом сладкого вина, лишь прикасаясь к нему губами. Мудрец понимал, что сладость чувств в их умеренности. А он, Повелитель, в своих бесконечных походах не об услаждении плоти и духа забо-

тился, а довольствовался случайными и грубыми утехами.

Выходит, прожив жизнь, он так и не познал радости выпавших на его долю власти и могущества. Сердце остыло рано и не искало других удовольствий, кроме лицезрения падавших к его ногам вражеских знамен и золотых корон покоренных им владык.

Выходит, власть и могущество, к которым он стремился, корона на голове и трон под ним лишили его многих человеческих радостей, связав по рукам и ногам. Такова тяжкая участь властелина. Сейчас он не может даже вызвать к себе Младшую Жену, которая находится с ним рядом, в одном дворце. Изведавший за свою жизнь немало обид и унижений, уже привыкший к суровости, он не подпускал особенно к себе даже членов своей семьи, а жен навещал только ночью. Вообще, встречи с женами в дневное время не были приняты, за исключением отдельных случаев, вроде приема послов, совещания с советниками или семейных бесед с участием всех детей и внуков.

Теперь этот обычай, введенный им, невидимыми путами связывал его самого. При всем своем желании он был лишен возможности вызвать ханшу к себе или навестить в ее покоях. Сейчас, когда Старшая Ханша подала ему явно предупреждающий знак, а слуги, наверняка осведомленные обо всем, подстерегают каждый его шаг, нетрудно себе представить, какие вспыхнут кривотолки, если он посреди белого дня отправится вдруг на свидание с Младшей Женой...

Он нетерпеливо дожидался вечера. Время, обычно такое скоротечное, вдруг, как назло, поползло улиткой. И солнце неподвижно застряло в зените.

Не находя себе места в одиноком зале, Повелитель снова отправился на прогулку в сад. Он добрел до любимого родника, однако не усидел и здесь, чувствуя, что в мыслях разброд и смятение. Он долго ходил взад-вперед по кривой тропинке и все чаще поглядывал на солнце.

Бесстрашный в бою, на ратном поле, он сейчас не решался подходить к постели собственной жены и, точно неопытный жених, смутно предвкушающий радость первой брачной ночи, с нетерпением и тайной боязнью ждал, ждал, когда, наконец, закатится солнце и наступят желанные сумерки.

Тени от деревьев постепенно удлинялись и уже начали сливаться. Ранние сумерки поплыли по саду. Повелитель вернулся во дворец. От долгого ожидания, должно быть, в сердце опять закрались тревоги и сомнения. В непомер-

по огромном зале, так ослепительно ярко освещенном светильниками, он вдруг вновь затосковал, остро ощутив свое полное одиночество в этом безбрежном мире. Будь он на поле брани в окружении грозно ощетинившихся копий, не почувствовал бы страха даже при виде летящей на него вражеской конницы. Будь он молодым и пылким джигитом, бросился бы, не раздумывая, в опочивальню ханши. А теперь он вышел из того возраста, когда слепо идут на поводу бесшабашного порыва. К тому же не к старой спутнице своей он стремился, чтобы поговорить по душам, развеять тоску и печаль, а к почти незнакомой — хотя и жена — юной особе. Ведь Младшая Ханша точно одна из многих безымянных наложниц, с которыми он лишь поспешно удовлетворял мужскую потребность, не говорила ему еще ни единого слова. И вообще, кажется, уже тридцать лет прошло с тех пор, как Повелитель ни с кем не делится сердечной тайной. И о чем он может сейчас говорить с Младшей Ханшей? Что они скажут друг другу — по существу чужие — мужчина и женщина? Верно: совсем еще молоденькая ханша — его жена. Верно: она не посмеет перечить ни одному его слову, ни одной его прихоти, как и весь этот город, как каждый дом и каждый человек в его столице. Вся страна падает перед ним ниц. Половина мира в его власти. Но ни с одной живой душой, обитающей в этой половине мира, он не может поговорить искренне и откровенно. И Младшая Ханша — всего-навсего одна из этих многих безголосых его подданных. Оба они, точно пленники, уже несколько дней томятся в этом одиноком дворце. Однако она, ж е н а, не может решиться и прийти к нему, м у ж у! Разве не сущий ад — этот мир?! И телом, и душой принадлежат ему все живые существа половины вселенной, как говорится, они и на его ладони, и в его кулаке, однако все, все, как один,— чужие, чужие... Все ждут от него только высочайшего повеления. Он и раньше хорошо знал, что все в покоренном им мире — кроме, конечно, его самого — живут с невидимой петлей на шее, именуемой властью, и покорно барахтаются в тенетах его могущества. Самого-то себя он считал свободным от этих тенет. Но сегодня с горечью убедился: невидимая петля, захлестнувшая горло других, спутала незаметно и его руки-ноги. Раньше люди страшились его взгляда и его слова, теперь и он стал бояться людского глаза и людской молвы...

Вот он, крадучись, точно кот, выбрался из своей опочивальни. Таинственные путы, удерживавшие его до полночи, и

теперь еще не развязались, а как бы продолжали болтаться на ногах.

И узорчатые мраморные плиты на потолке, и сурово молчавшие глухие стены по сторонам, и стылые тени, укрывшиеся за колоннами, и тугой ворс ковров, податливо стелившийся под ногами, и даже светильник в его руке — все-все, казалось, пристально выслеживало каждый шаг Повелителя; тысячи жадно шныряющих из-за углов глаз и неистощимых на сплетни, но пока лишь невольно и выжидающе прикушенных губ с великим нетерпением — так мерещилось ему — ждали, когда он переступит порог опочивальни Младшей Ханши, чтобы тут же с тайным злорадством и холопским усердием растрезвонить об этом по всему свету.

Тьма тем людских голов принадлежат ему, но только не их мысли. Тьма тем языков в его власти, но только не их речи. Один он не в состоянии уследить за каждым из этой тьмы, но все они вместе не спускают с него — одного — глаз. Каждое движение, каждый шаг толпы ему неведомы, но его каждое движение, каждый шаг на виду у всех.

Вот и сейчас в этом одиноком дворце, не смыкая глаз до полуночи, неустанно следят за ним.

Вот два евнуха-привратника — белобородые, красноглазые, одряхлевшие,— приложив руки к груди и сломившись в поклоне, молча расступились перед ним. Похожие на живые мощи, они всем своим обликом выражают покорность и отрешенность и глаза опустили долу, но едва он пройдет мимо, они посмотрят друг на друга с двусмысленной ухмылкой.

Повелитель весь напрягся и резко, точно кинжалом ударил, обернулся: и впрямь — оба евнуха за его спиной уже подняли было головы, но, обожженные ледяным взглядом Повелителя, поспешно склонились и вновь уставились в пол.

Тяжелая дверь упруго отворилась и, захлопнувшись за ним, будто что-то пробурчала дубовым косякам.

Повелитель вступил в еще одну просторную и освещенную посередине комнату. В углу, где зыбился сонный сумрак, кто-то закопошился, скользнул тенью. Распрямляя затекшую поясницу, неторопливо поднялась старая служанка, приставленная к Младшей Ханше. Все ханские жены, поступая к нему во дворец, проходили через ее руки. Она была неизменной служанкой поочередно всех его Младших Жен. И не только служанкой, а советчицей, нестуньей... Эта старая женщина, близко не подходившая за свою жизнь к ханскому

ложу, обучала неопытных таинствам любви и искусству нравиться Повелителю. Хорошо сознавая исключительность своего ремесла, она держалась, не в пример другой прислуге, вызывающе гордо. Ходила с достоинством, говорила важно. И сейчас, заметив властелина, не засуетилась, не засеменила угодливо навстречу, а пошла степенно, стараясь унять старческую дрожь в коленях. Пожалуй, и казначей, верный страж всех ханских драгоценностей, не позволял себе такой вольности. Старуха свысока смотрела не только на всех дворцовых слуг, но покровительственно обращалась с ханшами и даже с самим Повелителем. Старая образина, должно быть, вообразила себе, что без ее услуг он не найдет пути к своим женам. Особенно спесивой становилась она, когда он возвращался из далекого похода. Вот и сейчас поплыла она навстречу, волоча по полу подол серого атласного платья, плыла через весь длинный зал, словно считая в уме каждый шаг.

Все заметнее вырисовывались черты ее серого, в тяжелых складках лица. Сначала четко обозначались кустистые бурые брови. Потом — длинный, с горбинкой нос, хищно спускавшийся на дряблые, истонченные губы. Водянистые, точно пеленой подернутые дремуче-клейкие глаза испытующе долго, будто не узнавая, выставились на Повелителя и отвернулись лишь тогда, когда он нахмурился. Путаясь в длинных, пышных рукавах, она открыла перед ним дверь.

Повелитель, стараясь скорее избавиться от липучего взора старухи, вошел в опочивальню Младшей Ханши.

Здесь царила сутемень. Он не сразу разглядел ложе ханши. Оно темнело, чуть возвышаясь, в правом углу. Он сделал шаг вперед. На истерзанной постели, среди помятых подушек вдруг что-то шевельнулось, и одеяло странно взбугрилось в двух местах.

Властелин вздрогнул. Бугры под одеялами замерли. Глаза Повелителя лишились прежней зоркости, и чем пристальнее вглядывался он сквозь сумрак в угол, где находилось ложе ханши, тем заметнее кружилось, мельтешило все вокруг. Шевеление под одеялом возобновилось; в непристойных содроганиях что-то вздымалось посреди развороченной постели и тут же опадало, вдавливалось в пышные перины. Он ступил еще немного вперед. Под одеялом ни признака жизни. Будто сама ханша куда-то бесследно исчезла.

Сумрак натекал вокруг широкого ложа, становился гуще. Здесь струились причудливые запахи цветов, духов, розового

масла и молодого разгоряченного женского тела, возбуждая угасшие в дремучих уголках заскорузлой души упоительные чувства. Повелитель явственно ощутил, как напряженные, будто стальная струна, жилы его от этого дурмана приятно ослабевали, смягчались, точно засохшая шкура на теплом пару. Слабость ударила в ноги, прокатилась по животу, и он, боясь упасть, не двигался с места.

Перед затуманившимся взором опять промелькнуло что-то белое над изголовьем. Сердце его сжалось, а сладкий дурман, охвативший его расслабленную плоть, мигом исчез, испарился. Из-под подушек и одеял с края ложа вскинулись, словно в безумии, тонкие оголенные руки. Они изломанно заметались в сумраке, что-то ловили в воздухе и, точно подбитые, упали вдруг на скомканное одеяло и лихорадочно, до боли, до хруста сплелись пальцами. Потом с какой-то непроизвольной страстью руки сграбастали мягкое, точно невесомое, одеяло, скомкав, притянули его к себе, стиснули, и пышный сугроб постели, сдавленный в тисках объятий, осел, подтаял. Из-под края одеяла он увидел ее лицо, пылавшее, как в жару. Пуховая подушка громоздилась в стороне у изголовья. Голова ханши неестественно завалилась набок, тонкая шея напряженно вытянулась. Густые волосы рассыпались, наполовину закрыв чистый широкий лоб. Веки смежились. Опухшие губы горели, резлепились. Рот болезненно скривился, жадно ловил воздух. Зубы хищно оскалились, и когда она их стискивала, казалось, слышался скрежет. Эти руки, сдавившие в беспамятстве одеяло, этот пересохший, скошенный рот говорили о неодолимой и ненасытной страсти, охватившей юную ханшу. Прерывистое дыхание женщины, до исступления доведенной низменным желанием даже во сне, больно кольнуло слух Повелителя. Этот хриплый, непристойный стон он слышал впервые подростком. Уже тогда избегавший шумные мальчишеские ватаги, он однажды оседлал коня и поехал к лощине под крутым горным увалом, где ставил силки на ловчих птиц. В это время от небольшого зимовья у подножия увала направилась в лощину женщина. Она шла за водой, и кувшин на ее плече размеренно покачивался, и колыхалась на ее лице легкая просторная паранджа. Едва женщина скрылась за ущельем, на тропинке, круто спускавшейся по каменистому склону, показался густобородый всадник на гривастом вороном коне.

Мальчик заметил и женщину, и всадника, но они его совсем не интересовали. Он был всецело поглощен ястребком,

чертившим замысловатые круги над склоном увала. Вдруг снизу, из лощины, донесся сиплый женский крик. Мальчик схватил лук и, прыгая по камням, с выступа на выступ, понесся к ущелью. Раза два он споткнулся, упал, больно ушибся, содрал кожу на ладонях. Голос женщины слабел, доносился все реже, и мальчик, перепуганный, бежал из последних сил. Наконец он добрался до крутого обрыва, под которым находилось ущелье, изготовился прыгнуть, как чутким слухом уловил не крик, зовущий на помощь, не отчаянье, не жалобный плач, а не слышанное доселе, глухое, врастяжку, с придыханием, стенание. Так стонут не от боли, а от неведомой сладостной муки, от наслаждения, так истомленно выстанывает, перхает овца, от избытка нежности к ягненку-сосунку спуская молоко... Мальчик брезгливо пнул камень, скатил его вниз, в ущелье, и побрел назад к своим силкам.

Некоторое время спустя он увидел, как верзила-всадник проехал ручей на дне лощины и поднялся по крутизне на противоположный берег.

А потом из ущелья показалась женщина и пошла по белеющей излучистой тропинке легкой, танцующей походкой, играя упругими бедрами. Кувшин, наполненный водой, мерно покачивался на ее плече.

Над одиноким зимовьем на краю лощины вился к полинявшему летнему небу еле заметный сизый дымок...

Мальчик почувствовал досаду. Пораненные ладони горели. Непонятная зудящая дрожь, щемящая боль, сильнее ощутимые, чем в кровь содранные ладони, охватывали его всего, когда он вспоминал тот поразивший его случай. То давнишнее ощущение вдруг овладело сейчас Повелителем. Такая же щемящая боль в груди.

Он с отвращением отвернулся от истерзанного ложа ханши, точно увидел что-то омерзительное, гадкое.

Он не помнил, как выскочил из опочивальни. Не обратил внимания ни на старуху, медленно поднимавшуюся в углу, ни на евнухов-привратников. И только пройдя через все комнаты ханши, спохватился: а ведь теперь прислуга начнет бог весть что болтать по поводу его излишне короткого ночного свидания с юной женой. От этой догадки в груди его заныло, будто бешеные псы рвали ее на части. Он пошел еще быстрее, и чудилось ему сейчас, будто собственная опочивальня находится чуть ли не на краю света.

Усталый, взмокший, добрался он до постели. Ему все продолжало казаться, что за ним изо всех углов несуразно

огромного зала со злорадством следят сотни невидимых глаз. Вокруг ни звука, кроме тихого бульканья воды, тонкой струйкой сочившейся в хаузе. И воздух будто загустел от духоты и мрака. Повелителю стало трудно дышать. Он направился к хаузу, но было нестерпимо больно смотреть сейчас на покорную воду, заключенную в камни, все чудилось, что гнев, сковавший грудь железным обручем, вдруг обернется непрошеной, ненужной жалостью. Повелитель подошел к окну, выходившему в сад. Посредине круглого дворца были разбиты пышные цветочные клумбы, а в хаузе бил фонтанчик. Едва Повелитель подошел к окну, как под бледными лучами заходящей луны — то здесь, то там — суетливо скользнули в укромные углы сада какие-то тени. То были сарбазы из охраны и ночные сторожа, собравшиеся вместе и придумывавшие себе какую-то забаву от скуки, но при виде в неурочный час властелина у окна поспешно разбежавшиеся по своим местам.

Луна склонилась к горизонту. Неверный свет ее освещал лишь хауз на дворцовой площади и противоположные окна. Та сторона дворца, где находились ханские покои, погрузилась в густой мрак.

Тихо-тихо. Царила ночь, лукавая, полная тайн. Ночь, сомкнувшая уста, закрывшая глаза. Все бесконечные дневные хлопоты и суета сгинули разом, и наступила власть тишины и мрака. Пора воровских дум, воровских поступков, воровских чувств. Пора дьявольского наваждения, когда весь мир точно забирается под душное покрывало. Пора сокровенных желаний, буйства плоти и похоти, торопливо сбрасывающей непрочные путы дневного отдыха. В эту пору каждой живой душой правит искуситель-шайтан. Бесчисленные невидимые твари, порождение неистребимой человеческой скверны, хоронящиеся от дневного божьего света и строгого людского глаза, под покровом ночи ликующе выползают из всех щелей. Человек ведь только днем человек, а ночью его трудно отличить от обыкновенного животного. Ночью он хранит или предается низменным утехам. И только утром, с первыми лучами солнца, с пробуждением души в нем вновь умирает животное и просыпается двуногое существо, именуемое человеком и обладающее свойством стыдиться дневного света и бояться взора и молвы себе подобных. Но каждое из этих двуногих существ спасительной ночью может отключиться от осточертевшей дневной суеты, сбросить тягостные путы напряжения и предаться одиночеству и покою, не видя чужих глаз и не слыша чужих речей.

У него, Повелителя, и таких ночей нет. Словно при свете ярко пылающего костра сидит он один-одинешенек даже темной ночью. Воровские глаза, затаившиеся по углам тьмы, видят его отовсюду; ему же совершенно неведомо, что происходит вокруг него за черной завесой ночи. Дневных человеческих забот на нем ничуть не меньше, чем у других, однако он напрочь лишен коротких ночных наслаждений.

Какая все-таки это мука — бодрствовать душной ночью в одинокой пустой опочивальне в окружении ползучих тварей и двуногих скотов, испаряющих вонючий дух похотливой плоти! Разве не рай по сравнению с этим — тревожные походные ночи, пропитанные запахом изопревших портянок? Разве не ангелы — безмятежно храпящие в обнимку с копьем и с седлом у изголовья храбрые воины в ночь перед боем, не ведающие о том, суждено ли им завтра остаться в живых или лежать на поле брани? Разве не истинное наслаждение — чуткая дрема или напряженные, ночь напролет, думы о предстоящей сече? Отчего же эти безумцы так спешили домой?! Что они нашли здесь, у родного очага?!

Мысли Повелителя неожиданно оборвались. Так полая вода, вырвавшись вдруг из привычного русла, в стремительном разбеге ударяется о крутой берег. Вспомнились ему опочивальня жены, откуда он только что вернулся, и непристойное выстанывание шайтаном похоти терзаемой ханши. И в тот же миг отвратительная дрожь вновь охватила его, будто все эти бесчисленные ночные твари и ползучие гады, только что мерещившиеся ему во всех углах, поползли по нему от ног к груди.

Он тут же отвернулся от окна, подошел к хаузу. Начал пристально вглядываться в знакомые вещи, словно желая удостовериться, не во сне ли все это с ним происходит. Он увидел свое пустовавшее ложе. Почувствовал на лице прохладу воды в хаузе. Поднес к позолоченной трубочке, торчавшей из глыбы мрамора, палец, и прозрачная ледяная вода, сочившаяся из неведомых недр земли, точно ужалила его.

Он вздрогнул, весь подобрался.

— Боже милостивый... выходит, это красное яблоко...

Он вслух проговорил эту фразу и осекся, словно испугавшись, что кто-то мог его подслушать. Жуткая догадка вдруг мелькнула в голове, и он испугался, старался не додумывать ее, однако рой навязчивых подозрений и тревог обрушился на него со всех сторон, не давая увернуться

пугливой мысли. И она, бедняга-мысль, словно кляча с истершимися копытами, робко побрела по каменистой тропе, выщербленной бесконечными вопросами, и окунулась в густой клубящийся туман сомнений.

Совершенно очевидно, Старшая Жена намекает на Младшую Ханшу. Бабы-соперницы, ослепленные взаимной неприязнью... Мысль резвой рысцой выбралась на привычную колею, однако неожиданный вопрос встал ей поперек дороги и схватил за повод... «Ну, конечно, так... Именно так! Разве не собственными глазами я видел только что, как она, раскинув объятия, страстно звала кого-то и даже отдавалась в безумии? От чего еще, как не от бурных мужских ласк, от истомы млеет молодая, еще не познавшая материнства женщина?..»

Но кто он, этот мужчина, возбудивший в ней сладострастие? Может, он сам, ее супруг? Нет, не-ет... это исключено. Он не мог в ней, наивной девочке, растравить неуемную жажду любви. За две-три ночи, проведенные на ханском ложе, он, опытный мужчина, не заметил в ней, робкой и стыдливой, ни малейшего намека на ненасытность, необузданность желаний. Значит, во сне она так страстно возжелала другого. Другого! Сердце Повелителя больно кольнуло. Он опять явственно ощутил свое полное одиночество в этом недобром мире, и от мимолетной жалости к самому себе наст на душе, смерзшийся камнем, точно стронулся. Но тотчас подумалось: кто перед кем в обиде? Кто кому сделал больнее? И утишившийся было глухой гнев вновь всколыхнулся.

Какой наглец осмелился переступить через его могущественный дух и позариться на священное ханское ложе?! Разве кто-нибудь в подвластном ему мире может посягнуть на то, что принадлежит одному Повелителю? Разве не сопровождают его в походах все мужчины, достойные женской благосклонности? Разве оставался здесь хоть кто-нибудь, кого бы могла удостоить вниманием юная ханша?

Он с усилием укротил нетерпеливое, мстительное желание — так голодный беркут набрасывается на добычу — и принялся спокойно обдумывать ответ.

Кого же могла встретить молодая ханша, пока ее супруг находился в походе? Те, что оставались в ханском дворце, были примерно в его же летах. Вряд ли среди них кто-то способен так распалить молодую женщину. Он перебрал в уме всех придворных мужчин. Каждого оценил, взвесил и так, и эдак, и выходило по нему, что ни один не обладал

необходимыми достоинствами, чтобы вскружить голову юной ханши.

Но кто он, кто, этот счастливый безумец, сумевший найти дорожку к сердцу его Младшей Жены и заронить в ней такую страсть, что она грезит им и наяву, и во сне?

Мысли, растревоженные, взбаламученные, ревниво обшарили всю округу и опять вернулись на исходный круг. От этих назойливых и неуловимых тревог закололо в висках. Тело медленно наливалось тяжелой, равнодушной усталостью, и не было уже желания следовать за верткой, все время ускользающей мыслью... В самом деле, стоит ли из-за любовных томлений спящей молодой женщины изнурять себя ревнивыми догадками? Мало ли что может померещиться во сне или в бреду? А может, приснился ей не кто-нибудь, а именно он, ее Повелитель? Могла же она просто соскучиться по нему за эти долгие годы разлуки и истомиться по сладким ночам на опостылевшем от одиночества ханском ложе? Сколько дней они живут рядом, в одном дворце, сколько ночей она, должно быть, напрасно ждет его, исходя слезами от тоски и обиды?! И вот, наверное, вконец извелась, исстрадалась и забылась в тяжелом, как больной бред, сне. И почудилась желанная любовь, явилось ей, возбужденной постоянными думами о нем, видение...

Если бы она не истомилась по нему, разве приказала бы построить башню, которая привела его сегодня, при осмотре, в восторг и умиление? Разве она, горделивая голубая башня, не воплощение возвышенной любви?.. Любовь...

Счастливая и легкая догадка, только что сбросившая путы сомнения, тут словно вновь ударилась и разбилась об острую скалу, именуемую любовью.

Да, да, совершенно нетрудно разглядеть в голубой башне выражение яркой, неистребимой любви. Это видно сразу и в каждом кирпичике. Но чья это любовь? И к кому она обращена? То ли преданной жены, с мольбой зовущей запропастившегося в походах возлюбленного супруга, то ли любвеобильной неверной красотки, издалека манящей любовника?

Разве не смотрел он сегодня долго-долго на нее, не в силах отвернуть взор? И разве не звала чудо-башня его к себе? Чью же любовь воплотил зодчий в своем творении? Что он хотел показать? Если тоску женщины по далекому мужу, то почему при приближении башня обретает надменный и холодный вид? И почему она вновь манит, не отпускает, едва от нее удалишься? Выходит... выходит, зодчий

изобразил вовсе не тоску ханши по отсутствующему мужу, а жар с в о е г о сердца, с в о й порыв, с в о ю душевную тягу к ней!.. С в о ю неодолимую страсть, с в о ю л ю б о в ь! Да, да, поистине так! В этом и заключена тайна тайн голубой башни.

Повелитель еще не знал, радоваться или огорчаться так внезапно и просто возникшему разрешению всех его мучительных сомнений и вопросов. Пелена точно спала с его глаз. Страшная тяжесть, разливавшаяся по всем жилам, сразу исчезла.

Он вновь и вновь, словно боясь потерять нить, повторил про себя поразительное откровение, посетившее его явственно и отчетливо, как действительность. Он был совершенно убежден, что нашел отгадку присланного Старшей Ханшей красного наливного яблока с червячком в сердцевине.

Отгадка найдена, теперь нужен бесспорный свидетель, очевидец. И его найти нетрудно. Достаточно расспросить Старшую Жену: все без утайки выложит. Достаточно заговорить с той же служанкой: ничего не утаит. Даже евнухи-привратники и те наверняка кое о чем осведомлены. А уж кто определенно и безошибочно знает все — это старший зодчий. Весь вопрос теперь в одном: кого из них следует вызвать и допросить?

Повелитель приложил ладонь ко лбу и задумался. Но теперь мысли его текли не вяло, не вразброд, как до сих пор, а стремительно, окрыленно. И опасливые сомнения о возможном уроне ханскому достоинству и чести в случае необдуманных и скоропалительных поступков он тотчас развеял решительно и без труда. Он ведь прекрасно знает слабые места всех подозрений, так к чему же о том еще расспрашивать и говорить во всеуслышание?! К чему искать каких-то очевидцев? Следует сразу хватать за руку подозреваемого! А те, до которых и дошли кое-какие сомнительные слушки, уж сумеют, опасаясь ханской кары, держать язык за зубами. Промолчат, будто им глотки песком забили. Один только он, Повелитель, властен развязать им язык. Значит, он вызовет к себе самого мастера, построившего голубую башню, и допросит его. Из его собственных уст услышит, таким образом, доподлинную правду — подтверждение или отрицание своих домыслов и подозрений. Пусть только наступит рассвет, и Повелитель отправит гонца за мастером. А может, лучше всего отправить за ним старшего зодчего? Наверняка это самое

верное... Ведь еще неизвестно, что откроется на том допросе. В случае чего старший зодчий весьма может пригодиться.

Повелитель встал. Он только сейчас заметил: в окно струился зыбкий свет. Занимался новый день. Сизая пыльца мерцала в зале. Казалось, и хауз перед ним, и сонная вода застыли, густо покрывшись золотисто-серым налетом, словно кучкой холодного, невесомого пепла под таганом. Чуть-чуть коснись только, и все рассыплется, разлетится в прах.

В глубокой задумчивости стоял Повелитель...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МИНАРЕТ

1

Надо же было такому случиться!.. Сумей он себя в тот миг пересилить и подавить неуместный кашель, чинная ханская свита, на почтительном расстоянии осматривавшая мечеть, наверняка прошла бы мимо. Но попутал черт: ни с того ни с сего вдруг запершило в горле.

О нет... отнюдь не «вдруг»... Поджилки его затряслись, когда до него дошла весть о том, что сам Повелитель соблаговолил сотворить намаз в новой мечети. Еще больше растерявшись от того, что, словно мальчишка, выдал свой тайный страх, он покосился на обступивших его мастеровых и заметил на их обычно хмурых лицах неопределенное, зыбкое выражение — нечто размягченно-среднее между радостью и боязнью. И только немногим, кто был уже в годах мудрости, удавалось сохранить сдержанность и достоинство. Они принялись закручивать кончики усов, как бы говоря: «Что ж... так да и будет!» И при этом в глубине их зрачков вспыхивали затаенно-лукавые искорки. Молодым же было неведомо, как следует относиться к подобной вести — то ли ликовать, то ли огорчаться,— на побледневших лицах застыло замешательство. Он, зодчий, испытывал странный озноб каждый раз, когда по утрам во двор медресе неподалеку въезжала пестрозолотистая повозка. В то мгновение из сотен глоток рабочего люда, копошившегося на строительных лесах от подножья до самого

верхнего купола, дружным вздохом неизменно и разом вырывались одни и те же слова: «Вон сам приехал!»

И тогда зодчему чудилось, что эти три слова, исторгавшиеся одновременно из стольких грудей, раскалывая утреннюю прозрачную тишь, докатывались до ушей властелина, степенно выбиравшегося из крытой повозки. И весь день он невольно взглядывал на медресе. «А вон и сам смотрит!..» Этот благоговейный шепот, исходивший от крохотных фигурок на голубом покатом куполе, явственно доходил до зодчего, стоявшего на вершине минарета. От одного упоминания о властелине зодчий зябко вздрагивал, будто в затылок вонзилась стрела, и испуганно озирался в сторону медресе, где, взметнув острые копья, кольцом стояла отборная охрана. Но, убедившись, что ни один воин не шелохнулся, он понемногу успокаивался. Однако покуда солнце не клонилось к закату и пестро-золотистая повозка в сопровождении вооруженной свиты на вороных скакунах не возвращалась в ханский дворец, зодчий не находил себе места.

На четвертый день месяца рамазан на этом месте властелин сам наблюдал, как закладывался фундамент под мечеть. Однако тогда у зодчего не хватило смелости поднять глаза на Повелителя, молча стоявшего среди огромной свиты. Два человека попеременно подавали зодчему маленькие, плотные кирпичики, и он их сосредоточенно укладывал ряд за рядом, от волнения даже не следя за строгостью линий.

С того дня прошло четыре месяца. Пятьсот человек в горах тесали камни. Двести человек шлифовали их до блеска. Девяносто пять слонов доставляли их на стройку... Изо дня в день в течение четырех месяцев с восходом солнца пестро-золотистая повозка въезжала в просторный двор медресе, а в предвечерний час, сопровождаемая вышколенной свитой, возвращалась во дворец. В течение четырех месяцев зодчий бессчетное число раз слышал: «Вон сам смотрит!»

Три дня назад мечеть закончили. Четыреста восемьдесят колонн — каждая высотой более семи кулаш — поддерживали ее внушительный остов. В этой мечети, построенной сплошь из мрамора и отделанной золотом, правоверные должны молиться за здоровье властелина и благословлять его на священные походы.

Нежно-голубой купол мечети, казалось, придавал голубизны самому небу. Выжженный нещадным летним

солнцем до тускло-серой безликости, весь в каких-то белесых пятнах и подтеках, он сегодня, благодаря стараниям умельцев-чудодеев, засиял ровно, прозрачно.

Лишь сегодня, на третий день нетерпеливых ожиданий, грянул, растекаясь с вышины, гортанный голос муэдзина, взывавший правоверных к намазу священной пятницы. После намаза торжественно-благостный Повелитель вышел из новой мечети и полюбовался снаружи ее красотой. Вокруг мечети величественно возвышались четыре минарета. У подножья одного из них застыл в волнении и молодой зодчий.

Повелитель приблизился. Зодчего охватило смятение. Он даже не поднимал головы, словно боясь, что голубой, прямым шестом устремившийся к небу минарет за его спиной вдруг обрушится ему на голову. В горле пересохло, дыхание сперло, в груди стало тесно. Он будто окаменел и был готов в эти мгновения стойко вынести любые муки. И тут как назло, точно божье наказание, запершило в горле, что-то некстати зашевелилось там, ища выхода, и он, уже задыхаясь, судорожно повел раза два кадыком и захлебнулся кашлем. Потом еще... и еще. Лицо побагровело, надулось.

Пестрая ханская свита, проплывавшая мимо, круто остановилась. В тот же миг унялся и злополучный кашель. Слезящиеся глаза ненароком скользнули по неряслому человеку в середине свиты. Он, запрокинув голову, смотрел на вершину минарета. Что-то подсказало зодчему, что этот невысокого роста человек и есть всемогущий Повелитель. И зодчий поспешно отвел глаза, еще ниже опустил голову.

— Чей мастер построил? — послышался тихий, ровный голос.

— Из дальнего рода Ор-тюбе,— твердо и спокойно ответил старший мастер.

Выждав, пока удалилась роскошная свита и улегся серебристый перезвон их украшений, он осторожно устремил взгляд вслед и наткнулся на встречные любопытные взоры. Многие рассматривали уже не минарет, а застывшего в трепетном волнении его творца.

На утро следующего дня перед огромными воротами, украшенными причудливой мозаикой из драгоценных камней, среди шестидесяти мастеров стоял и юный зодчий из Ор-тюбе — Жаппар.

Привратники, вооруженные секирами, провели их внутрь. Приятным ароматом повеяло в лицо, словно из укромного уголка вдруг дохнул свежий запашистый ветерок. То было прохладное дуновение от бесчисленных фонтанчиков в

хаузах, искусно расположенных в придворцовом саду. Крупным красным песком посыпанные тропинки были влажны, будто после недавнего дождя.

По обе стороны аллеи на каждом аккуратно подстриженном дереве сидело по одному заморскому павлину, и на их переливающихся многоцветьем перьях, точно бриллианты, поблескивали прозрачные капли.

Шесть индийских слонов, покрытых розовыми атласными попонами и с ярко-пестрыми паланкинами на широких спинах, покоряясь воле дрессировщиков, неторопливо и неуклюже опускались один за другим на колени и, грузно раскачиваясь, вновь не в лад поднимались. Шестеро ловких и поджарых пышноусых дрессировщиков в ослепительно белых и высоких чалмах, сидя в паланкинах, размахивали короткими дротиками и что-то отрывисто выкрикивали.

Тонконогие косули с любопытством взирали из-за деревьев на это диво, но, едва почуяв приближавшихся людей, разбегались врассыпную.

Шестьдесят прославленных умельцев со всего света подошли сначала к трем мальчикам, смиренно восседавшим на пышном персидском ковре под легким шатром возле могучего тутового дерева, и, опустившись на одно колено, молча поклонились. Приняв поклон, мальчики встали и повели мастеров в глубину сада к тенистой лужайке перед дворцом, где на вышитой плотной подстилке возлежал, подмяв две пуховые подушки под бок, сам Повелитель. Он задумчиво смотрел на выложенный мрамором синий хауз, в котором плавали румяные наливные яблоки, а посредине, вскипая и вспыхивая радужными искрами, взмывал тугой струей белопенный фонтан. Когда до Повелителя осталось шагов двадцать, все опускались на колени и, сложа руки на груди, принимались отвешивать поклоны.

Повелитель едва высунул руку из-под широкого рукава и сделал какой-то знак семерым визирям, почтительно сидевшим в сторонке.

Главный визирь приложил обе руки к груди и направился в угол тенистого навеса.

Вскоре он появился вновь. За ним несколько джигитов несли небольшие плоские чаши на длинных, до земли, шелковых полотенцах.

Главный визирь что-то сказал, но юный зодчий от удивления и волнения ничего не расслышал и не понял.

Джигиты с чашами на вытянутых руках подошли к коленопреклоненным мастерам и со звоном просыпали на

их опущенные головы по горсти мелких золотых и серебряных монет. Потом, наклонившись, протянули с подноса каждому небольшой, с кулак, тугой мешочек, завязанный шелковым шнурком.

Главный визирь дернул подбородком. Обласканные ханской щедростью мастера разом встали, отступили на несколько шагов и, отойдя к тутовому дереву на обочине тропинки, расположились в его тени.

Повелитель приступил к приему чужеземных послов. Они также сначала отвесили поклон трем мальчикам — любимым внукам властелина. Потом мальчики приняли из их рук свернутые трубочкой грамоты и направились к Повелителю. В трех шагах от него они преклонили колени и с низким поклоном протянули свитки. Дворцовые слуги подвели послов под руки, за ними цепью тянулись слуги с подарками. В десяти шагах от Повелителя послы опустились на правое колено, сложили ладони и уронили головы на грудь. Слуги замерли рядом. К послам направились теперь визири и так же под руку подвели их еще ближе.

Послы робко сделали несколько шажков и, не размыкая ладоней, присели на пятки.

Повелитель обменялся с ними несколькими фразами. Мастера под тутовым деревом ничего не расслышали. Многие были впервые допущены в ханский сад и теперь глазели на все это пышное великолепие с разинутыми ртами.

Послов усадили на возвышение через тропинку напротив визирей.

На почтительном расстоянии от ханской свиты слуги поставили плоские кожаные чаши с дымящимися кусками мяса и, поклонившись, бесшумно удалились. Явившиеся вместо них мужчины в кожаных фартуках, как по команде, вытащили из ножен кривые ножи и с необыкновенной ловкостью начали крошить мясо на мелкие кусочки.

В тенистом ханском саду к струящимся запахам цветов и свежести прозрачных фонтанов примешался густой сытый дух копченой конины, брюшного конского сала, вяленого огузка и нежной сладковатой баранины. Покрошив мясо, джигиты искусно разложили его по золотым, серебряным и глиняным чашкам.

Показалась новая группа слуг с расписными деревянными мисками. Не расплескав ни капли жирного бульона, они поставили миски на землю, добавили какую-то приправу, подготовили тузлук. Потом, перемешав его, разлили половником по плоским чашам с мясом, поверх горки, сложив

вчетверо, положили тоненькую лепешку и тоже удалились.

Распорядители дворцовых церемоний поднесли чаши с блюдом Повелителю, послам, визирям, а менее именитых гостей, тех, кто сидел поодаль и пониже, принялась обслуживать дворцовая челядь.

После мяса угощали фруктами. А завершили трапезу хмельным кумысом, настоянным на меду.

Потом в круг вступили посольские свиты, учтиво стоявшие все это время в сторонке. Они несли подарки для властелина и шли медленно, степенно, с поклонами, позволяя насладиться взору диковинными дарами — саблями из лучшей стали с инкрустированною рукоятью, шубами из дорогого меха с вышитым орнаментом, иранскими коврами, слитками золота, жемчугом, рубином, сапфиром, сверкавшими на подносах, шкурами редких зверей. Подойдя к Повелителю, они на мгновение опускались на колено, замирали. Повелитель знаком показывал, что благосклонно принимает подарки. Послы сгибались в подобострастном поклоне.

Посольские свиты чинной цепью потянулись к ханскому дворцу.

Повелитель встал. Высочайший прием был окончен.

Шесть гигантских слонов, опускаясь на колени и касаясь длинными хоботами земли, воздавали честь гостям, возвращающимся с ханского приема.

Стража у ворот опустила копья и склонила головы. В тот же день Повелитель объявил, что в честь окончания строительства мечети устроит большой пир.

На открытой, зимой и летом пустующей равнине за дворцовым садом темной ночью запылали костры, один за другим вырастали шатры. Здесь на площади и раньше проводились многолюдные торжества; всем жителям города были отведены определенные, заранее размеченные улицы-ряды в соответствии с их состоянием, общественным положением, чином и ремеслом. По обе стороны «улиц» протекает звонкий арык. Каждый заблаговременно знал место, где ему полагалось ставить свой шатер.

Уже на следующее утро огромное пространство за садом запестрело разноцветными шатрами. С самого края лепились небольшие, невзрачные шатры сапожников, портных, мелких ремесленников; ближе к середине заметно возвышались более просторные и красочные; а в самой середке торжественно раскинулись пышные шатры честолюбивых и спесивых богачей.

Бесчисленные шатры, заполнившие широкую равнину и словно по ступенькам поднимавшиеся к середине все выше и выше, казались издалека сказочно-пестрой многокрылой и многоярусной ордой-ставкой, горделиво устремившиеся к поднебесью. И, как завершение необыкновенного ансамбля, в самом его центре за огромным четырехугольным пологом, высотой в полтора человеческих роста, возвышался величественный ханский шатер. Его венчал купол на двенадцати жердях-шестах в двадцать человеческих ростов. С вершины каждого шеста спадали, словно струясь, разноцветные шелковые ленты. В глазах рябило от этих гигантских ярких гирлянд, точно сплетенных из живых цветов. С четырех углов непомерно огромного шатра тянулись к середине четыре столба, крест-накрест связанные волосяными арканами и с полумесяцем на верхушках, а на их стыке была сооружена крохотная башенка.

Изнутри шатер был отделан ярко-красным сукном с золотой вышивкой. По четырем углам, у основания купола, были нарисованы орлы, взметнувшие перед полетом крылья. В доме с шатром Повелителя расположились одиннадцать юрт его жен. Каждую из юрт окружал туго натянутый шелковый полог разных цветов. Шатер властелина связывали с юртами причудливые, как лабиринт, проходы.

Одиннадцать юрт и шатер находились за общей оградой, вокруг которой выстроились дубовые бочонки с вином.

Шесть вооруженных отрядов, днем и ночью не смыкая глаз, сторожили ханскую ставку. Без особого разрешения главного визиря никто не смел приблизиться к ней. Перед гостями Повелителя охрана опускала отточенные копья, холодно сверкающие на солнце.

Между склоненными копьями прошел в ханскую ставку и зодчий из Ор-тюбе. Повелитель оказал ему великую честь, пригласив его в первый день пира, чтобы в своем шатре угостить вином.

Трон Повелителя был установлен в середине шатра, а за ним тянулись ступеньками возвышения для многочисленной ханской семьи.

Едва гости чинно расположились по своим местам, как в шатер, звеня подвесками и кувыркаясь, вбежали придворные шуты. На площадке перед троном они показали шутливое представление, высмеивающее ничтожных правителей-шахов, побежденных великим Повелителем в последнем походе.

Гости, однако, не осмеливались смеяться в присутствии

властелина; не смеялся и Повелитель, соблюдая достоинство. Выходило, будто шуты забавляли самих себя.

Наконец представление кончилось, и казначей швырнул на поднос главного шута вышитый мешочек с монетами.

Шуты, склонив головы до земли и мелко перебирая ножками, отступили к выходу.

В этот миг из-за соседнего полога показалась Великая Ханша. Она была в пышном красном платье, вышитом драгоценными нитями. На груди притягивало взор ожерелье, в котором симметрично перемежались рубин и жемчуг. Длинный подол несли сзади на вытянутых руках пятнадцать молодых женщин. Лицо ханши было густо покрыто белилами, брови насурьмлены. Воздушная вуаль слегка скрывала увядающие черты. На голове возвышался в форме минарета безукоризненный тюрбан, щедро усеянный драгоценными камнями. Края его волной спадали на плечи. Макушку тюрбана украшала золотая коронка с тремя крупными пламеневшими рубинами. Пышные перья филина обрамляли голову ханши, мягко свисая к ее ушам. Сложный головной убор ханши тяжело колыхался при каждом ее шаге, и несколько женщин придерживали его с боков. Черные волосы ханши были распущены на плечи. Огромная свита из ста разнаряженных женщин сопровождала Старшую Жену Повелителя.

Шествие ханши и ее свиты возглавляла группа евнухов. Они шли размеренной, тяжелой поступью, раздуваясь от важности и спеси, и на многочисленную толпу, низким поклоном приветствовавшую ханшу, глядели свысока, с едва скрываемым презрением.

Ханша уселась чуть позади властелина.

Через мгновение из-за другого полога вышла Младшая Ханша в сопровождении не менее пышной и величественной свиты. Она заняла место чуть пониже Старшей Ханши. А уже за нею расселись семь сноx Повелителя.

Ханский шатер мгновенно преобразился, стал похож на сад эдема, по которому разгуливают вечные девственницы-гурии.

Молодой зодчий чувствовал себя как во сне и, замирая сердцем, все глядел и глядел на прелестных женщин, разнаряженных в шелка и атлас, увешанных золотыми, серебряными, алмазными украшениями, и в глазах его рябило, и слегка кружилась голова от буйства бесчисленных ярких красок.

Когда ханши и их свита, шурша одеяниями, позванивая

подвесками, наконец-то расселись, всем поднесли вино и кумыс. Сначала вышли ханские отпрыски-ханзады — с белоснежными полотенцами в руках, за ними — статные, ловкие, как на подбор, юноши-слуги, неся на золотых подносах маленькие золотые чашки с напитками. На полпути ханзады преклонили правые колени. Потом шелковым полотенцем осторожно обхватили чашки, поданные слугами, и, подойдя к ханшам, с поклоном протянули им напиток. Как только ханши приняли из их рук чашки, ханзады отступили на шаг и, опустившись на колени и потупив взор, ждали, пока им вернут пустую посуду. Потом все так же, полотенцем обхватив опустошенные чашки, передали их слугам и, вновь поклонившись, вышли из шатра. Среди гостей, на отдельном деревянном возвышении сидели и шестьдесят мастеров. Испить ханскую чашу до дна являлось непреложным законом. К заходу солнца, заметно пошатываясь, уже плохо соображая, что к чему, гости покинули ханский шатер и разбрелись по своим улицам.

Надвигалась летняя ночь; на черном южном небе перемигивались звезды. Дневная духота растворилась во мраке. Между бесчисленными шатрами, как бы перемигиваясь, запылали яркие костры. Вокруг костров толпился возбужденный весельем люд. Вечернюю тишь распарывал могучий рев длинных, как шест, карнаев; им вторили несмолкаемая дробь барабанов, перезвон дутаров, выражавших хмельную радость и восторг жадной до зрелищ толпы, тягучий, глухой напев гыжаков, тонкая трель рожка и других диковинных инструментов. В круг костра то врывались тонкостанные юноши в тюбетейках, в пестрых легких халатах, туго перепоясанных ярким кушаком, и, загораясь от собственной удали, пускались в залихватски-огненный пляс; то вплывали, кружась в истоме, легконогие красавицы, шелестя шелковыми нарядами, мелькая черными, туго заплетенными косичками и белыми, как серебристая рыба в воде, руками.

Разморенные вином и обильной пищей мужчины располагались группами по нескольку человек возле медного самовара, с наслаждением потягивали чай и, похохатывая, отпускали двусмысленные шутки.

Ровно потрескивал огонь под огромными казанами, и, когда повара приоткрывали плотные деревянные крышки, сладкий аромат доспевающего плова струился над землей, наполняя сытным духом всю округу. Черноусые гладкие шашлычники, засучив рукава по локоть, споровисто вращали шампуры над саксаульным огнем, и от кебабов, покрываю-

щихся румяной корочкой, сочился жир, с шипением капая на угольях... С усов и молодых, и старых стекало вино.

Слух ласкали сладкие напевы, ноздри щекотали приятные запахи.

Под черным небом причудливо выплясывали над тысячью костров багровые язычки пламени.

Все сильнее разгоралось веселье. Все громче звучал смех под покровом ночи.

На ханском пиру гулял-веселился народ.

Во время таких торжеств строго запрещались козни, интриги, взаимные упреки и обиды. В час веселья человеку надлежит быть выше мелких недоразумений. Важно не переступить границы приличия. Ну, а для драчунов и смутьянов, дерзко нарушающих заведенные порядки, на всякий случай было поставлено на холме поодаль несколько виселиц.

После пира Повелитель отправился в новую мечеть, сотворил намаз, получил благословение святого сеида и выступил в поход на запад.

2

Богач Ахмет, у которого жил зодчий Жаппар, выдавал дочку замуж.

Три недели продолжалась суматоха на тихой улице, где в вечернюю пору обычно слышалось одно лишь сонное бормотание арыка. И больше всех суетился, раздуваясь от спеси, сам бай Ахмет.

Падкий до шумных торжеств, торговец еще за неделю до свадьбы приказал достать из заветного сундука давно приготовленные праздничные одежды и с утра до полудня вертелся у зеркала.

— Эй, жена, подойди-ка.

А жена в это время то ли сад поливала, то ли лепешки в печке-тандыре пекла — не расслышала сразу зов мужа.

— Оу, жена, оглохла, что ли?

Со двора, словно из-под земли, донесся заполошный голос:

— Что случилось, бай-ака?!

Торговец возмутился:

— Да иди же, тебе говорят!

Жена, торопливо вытирая о подол руки, тотчас присеменила.

— Посмотри-ка на меня.

— Ну...

— Не нукай! Не видишь разве?
— Вижу, бай-ака...
— Что, дура, видишь?
— Вас вижу, бай-ака...

Бестолковость благоверной вывела Ахмета из себя. Сорвав с головы огромную чалму, замахнулся на жену, застывшую в недоумении, и вытолкнул вон.

Молодой зодчий отдыхал на глиняном возвышении у входа, прислушивался к их перепалке и тихо смеялся. Сколько раз приходилось ему быть свидетелем причуд хозяина. Он был неизменен в своих привычках...

Обычно возмущение бая Ахмета проходит не скоро. Но постепенно его ворчание утихает, глядишь — и через часок-другой он торжественно появляется в дверях. На голове — искусно закрученная десятиметровая чалма, на плечах — багрово-красный бархатный чапан, на ногах — синие сафьяновые кебисы. Тугое брюхо крепко-накрепко затянуто широченным ремнем в серебряных пластинах. На груди чапан расстегнут, чтобы виднелась ослепительно белая шелковая рубашка.

— Как я выгляжу, почтенный устод?
— Отменно, бай-ака!

Бай Ахмет, самодовольно ухмыляясь, спускается по ступенькам беседки и кричит жене, хлопочущей в углу двора:

— Эй, жена... скажи всем: сегодня лавка закрыта.

И, размахивая руками, точно стреноженный, мелко-мелко перебирая короткими ножками, он направляется к воротам.

Возвращается торговец при вечерних сумерках. Едва войдя в ворота, вопит:

— Жена! Осталась у тебя вода в кумгане?

Потом, опустив ноги в теплую воду в медном тазу, он громко рассказывает, желая, чтобы услышали его все — и жена, подливающая из чугунного кумгана кипяток, и Жаппар, учтиво вышедший навстречу хозяину, и дочь, готовящая ужин у тандыра, и ишак, сосредоточенно хрумкающий сено в углу двора, и арба-двуколка, задравшая оглобли кверху, и глиняный дувал, местами обвалившийся и почерневший от времени, и редкие звезды, тускло мерцающие на еще белесом небе, и тихая улица, убаюканная монотонным бормотанием арыка, и любопытные соседи, и темнеющие вдалеке таинственными силуэтами ханские дворцы и сад, и даже весь необъятный мир — услышали

длинный и восторженный рассказ бая Ахмета о том, чьи купеческие магазины он посетил сегодня, кому показал свой торжественный наряд, с кем поспорил, пошутил, поругался, кого задел за живое, на чьего перепела делал ставку, сколько чайников зеленого чая выпил в чайхане — все, все до самых мельчайших подробностей. Закончив рассказ, он сбрасывает на руки жены чалму, чапан, шальвары, рубаху, кушак, сафьяновые остроносые кебисы, нагружая ее до самого подбородка, и, вспомнив вдруг что-то очень важное, неожиданно спрашивает:

— Кстати, сколько приготовила стеганых одеял?

И, выслушав ответ жены, строго наставляет:

— Смотри, свадьба на носу... не оплошай...

Бай Ахмет придает лицу озабоченное выражение и, достав табакерку, долго нюхает душистый табак. Потом два раза кряду оглушительно чихает, отчего вздрагивает все подворье, и, словно избавившись с этим чихом разом от всех забот и тревог, а заодно и от всех слов, он удовлетворенно молчит. После обильного ужина он валкой походочкой, точно раскормленный селезень, отправляется на мужскую половину, плюхается в постель рядом с Жаппаром и, едва коснувшись головой подушки, могуче всхрапывает. Молодой зодчий, невольно прислушиваясь к «ночному пению» своего хозяина в два голоса — туда и сюда, то понемногу затихающему, то вновь нарастающему с необыкновенной силой, долго не смыкает глаз.

Тихо-тихо в большом городе великого Повелителя. Огни под треногами за глиняными дувалами давно погасли.

Все спят. Один Жаппар бодрствует. Ворочается с боку на бок, изводит себя бесконечными думами и лишь к утру погружается в забытье.

Просыпается он от неожиданной тишины. Еще не соображая, в чем дело, оглядывается вокруг: постель бая Ахмета пуста. Но тут доносится до слуха зодчего тихий скрип двери на женской половине, и Жаппар, улыбнувшись в полусне, поворачивается на другой бок.

Наконец пришел день свадьбы, которого едва ли не больше всех других ждал сам бай Ахмет. В четырех местах во дворе раскалили казаны для плова; на длинных шампурах над саксаульными углями доспевал кебаб. В тандырах-печках жарко пылал огонь.

Причудливая смесь запахов струилась вокруг: во дворе — запах блюд, на мужской половине — запах вина и пота, на женской половине — запах фруктов и духов.

Пиршество продолжалось весь день. Время от времени взмывали над гулом людских голосов звуки дутара и треск барабанов. На мужской половине в кругу, под четкую дробь бубна, плясал, прищелкивая пальцами, тонкий подросток, а мужчины, плотным кольцом обступившие его, гулко били в такт кулаками по потной, волосатой груди; на женской половине, извиваясь, танцевала девушка, а женщины дружно и восторженно хлопали в ладоши.

С заходом солнца в комнату мужчин кази, специально приглашенный по случаю бракосочетания, позвал жениха и свидетеля со стороны невесты. В расписную чашу с освященной водой он бросил серебряное кольцо. Прочитав молитву-благословение, кази попросил жениха выпить глоток из чаши, которую тут же через свидетелей передал на женскую половину. Когда и невеста отпила глоток, чаша вернулась к кази. В присутствии сватов и свидетелей с обеих сторон он благословил священный брак.

Вновь расстелили дастарханы. Веселье продолжалось. А в полночь жених передал на женскую половину весть: он горит желанием увидеть невесту.

Женщины забегали, засуетились. Все взяли в руки зажженные свечи и приготовились встретить жениха. В комнате за шелковой шторой-занавесом невеста осталась одна.

В сопровождении ватаги джигитов жених направился на женскую половину. И только распахнулась дверь перед ними, как началась суматоха, поднялся гвалт. Женщины с криками набросились на джигитов, стараясь отбить от них жениха. Джигиты, ухмыляясь, защищались. Запахло горелым. На ком-то загорелась одежда, кто-то опалил невзначай бороду и спешно прикладывал к ней подол чапана. Все же, как и положено по обряду, женщинам удалось завладеть женихом. Его подхватили с двух сторон, повели к невесте, остальные стайкой кинулись за ним.

Потеряв жениха, джигиты вернулись на мужскую половину, вновь подсели к дастархану.

Жених в это время щедро одаривал женщин, чтобы они смилостивились над ним и показали невесту. Девушки пели и танцевали, веселя и подбадривая жениха.

А невеста, притихшая, задумчивая, терпеливо восседала одна-одинешенька на пышной горке из сорока сложенных одеял-корпе — приданое, которое она завтра увезет с собой. Лишь вдосталь одарив и утешив бойких подружек невесты, взволнованный жених получил возможность пройти за

занавес. Молодым принесли чашу плова и свежие фрукты.

Наступила глубокая ночь. В комнате, заставленной тюками, увешанной коврами, всюду валялись одежки невесты, на полу стояли ее кебисы. Молодых уложили на брачную постель. Игривые молодки, выходя из комнаты, загасили свечи и прильнули к окну и двери, чутко прислушиваясь к каждому шороху. Некоторое время они стояли молча, затаив дыхание, потом вдруг пришли в радостное возбуждение и принялись понимающе переглядываться, хихикать. Вскоре шорохи и возня в комнате улеглись, и смех сразу слетел с лукавых губ молодаек. Пошептавшись, одной поручили постучаться к новобрачным.

На стук вышел жених, молодайка ловко скользнула внутрь и скоро вернулась с подарком. Что-то шепнула сверстницам, застывшим в великом нетерпении, и те радостно и облегченно рассмеялись, всей ватагой заспешили к матерям жениха и невесты, чтобы обрадовать их доброй вестью и получить от них положенный подарок.

На другой день, с утра, изрядно утомленный жених направился на мужскую половину, чтобы в последний раз попировать с друзьями. Отныне он хозяин дома, глава семьи и не пристало ему возиться с холостяками.

Джигиты, как это обычно бывает, начали подтрунивать над молодым супругом, намекать на его любовные подвиги на брачном ложе. Один Жаппар угрюмо молчал, а вскоре и вовсе покинул расшумевшихся сверстников-зубоскалов.

У него раскалывалась голова от гвалта и суматохи со вчерашнего дня. До тенистого тутового дерева у ворот он еле доплелся.

Пир кончился в середине второго дня. Жених, по обычаю, уехал к себе, невеста осталась пока в отчем доме. Бай Ахмет, словно не решаясь расстаться с праздничным одеянием, слонялся без дела из дома во двор и назад. Невеста, как взаперти, сидела в комнате с ширмой-занавесом. Соседки, наперебой обсуждая подробности прошедшей свадьбы, перемывали посуду.

Жаппар чувствовал себя разбитым. На людей, суетившихся перед его глазами, смотрел с удивлением, словно не понимая, зачем они тут.

И ночь почудилась ему невыносимо душной, он метался в постели на мужской половине, потом не выдержал, встал, сунул босые ноги в кебисы и выбрался во двор. Полная луна заливала мир молочным светом. Казалось, даже ветхий глиняный дувал выбелила чья-то волшебная рука. Мертвая

тишина стояла вокруг. Только однообразный сухой хруст доносился из угла двора: серый ишак отрешенно хрумкал сено.

Жаппар прислонился к деревянной опоре навеса, подставил грудь ночной прохладе. Вдруг что-то глухо шмякнулось неподалеку. Жаппар посмотрел в сторону ворот, но ничего не увидел. Неужели померещилось? Он прислушался. Ни звука. Только ишак в угловом загоне с хрустом жевал свое сено. Странно: звук был такой, будто грузный мешок ударился оземь. Шлепая просторными кебисами, Жаппар вышел из-под навеса. И опять показалось, что кто-то воровски шмыгнул в тень за домом. Зодчий остановился, затаил дыхание. Сердце гулко заколотилось. Наконец, решившись, он стремительно шагнул в тень, и тут же кто-то выскочил из-за угла и кинулся к дувалу. Шлепая кебисами, Жаппар бросился следом. Беглец затравленно оглянулся, потом полез на дувал, но сорвался и прижался к стене. И, когда Жаппар настиг его, вдруг с облегчением сказал:

— Э, так это ты, оказывается... А я-то думал, Ахметагай.

Жаппар по голосу узнал жениха. Тот, встопорщив черные кустистые брови, как-то странно осклабился, то ли с неприязнью, то ли с жалостью посмотрел на зодчего и спокойно, уверенно, широкой развалочкой направился к дому. За ним по земле волочилась несуразно длинная тень.

У угла длинная, как шест, тень переломилась, метнулась напоследок, точно хвост собаки, и исчезла.

Жаппар застыл, как в полусне, и растерянно смотрел на пустынный под зыбким светом луны хозяйский двор.

С той ночи в течение еще недели продолжались посещения жениха. В полночь раздавался под окном глухой звук, а через мгновение — скрип двери на женской половине.

Однако через неделю жениху почему-то расхотелось придерживаться исконного обычая, по которому полагалось посещать невесту тайком, под покровом ночи, не попадаясь на глаза ее родителям, и так в течение целого года, лишь после чего он вправе забрать богом данную супругу к себе. То ли он что-то заподозрил, то ли наскучило каждую ночь лезть через дувал — кто знает. Через неделю он посреди белого дня увез невесту из родительского дома.

Теперь, возвращаясь вечером, после работы, домой, зодчий Жаппар чувствовал какую-то непонятную тревогу и пустоту. Вокруг дома тянулся все тот же старый, обшарпанный, местами обвалившийся дувал. В одном углу

громоздилась арба-двуколка, задрав длинные оглобли. В угловом загоне все так же отрешенно и монотонно хрумкал сеном серый ишачок. И все же словно опустел двор, обезлюдел, потускнел. Бай Ахмет хотя и по-прежнему поглаживал тугой живот, однако уже не говорил так громко и восторженно. Остепенился Ахмет, поскучнел Ахмет. Жена и вовсе бессловесной стала. Лишь по едва заметному колыханью черной паранджи и длинного, до пят, коричневого чапана можно было догадаться, что душа еще не покинула ее иссохшего, покорного тела.

Комнату, в которой во время свадьбы находилась ширма-занавес, теперь предоставили Жаппару. Здесь юная байская дочка проводила первые брачные ночи. Здесь еще не успели выветриться запахи духов, мазей, сурьмы, белил и нежного женского тела. Ложась к ночи в постель, Жаппар, обуреваемый тревожной истомой, жадно ловил эти запахи, такие непонятные и одновременно знакомые и приятные ему, и рисовал в своем воспаленном воображении сладостно-желанные картины. Едва он закрывал глаза, как из угла крохотной комнатки неслышно приближалась к нему, точно плывя по воздуху, трепетная красавица в легкой, почти прозрачной накидке и с распущенными шелковистыми волосами; но стоило только чуть приоткрыть веки, как ничего не было, кроме тусклого и зыбкого лунного света, струящегося в маленькое окошко. Так он лежал долго, то открывая, то вновь закрывая глаза, наслаждаясь дивным видением, пока не тяжелели веки, пока не наваливалась на него усталая дрема. Но и во сне не покидали его неясные грезы. Легкая тень полуобнаженной девы совсем рядом, на расстоянии протянутой руки, будто стелила себе постель. Вот она, таинственная дева, невесомо легла на белоснежную перину и замерла в ожидании. Он весь охвачен неуемной истомой, то жар, то холод прокатывается по телу, но отчего-то не в силах он шелохнуться и только изводит себя страхом, желанием, сомнениями. Он хочет подняться, но неведомая сила придавила его к постели. Он даже не в состоянии повернуть голову, она словно вросла в подушку. Он уже не видит прикорнувшую рядом деву, но чувствует, каждой частицей своего жаждущего любви тела чувствует ее. Он пересиливает себя, онемевшей рукой осторожно тянется к затаившейся деве; вот рука дотянулась до пуховой подушки и вдруг коснулась чего-то жесткого и ледяного. Жаппар просыпается в испуге. После таких тревожных, мучительных ночей он и на работе чувствовал себя разбитым, квелым. Все

валилось из рук. С тех пор, как бай Ахмет выдал дочку замуж, молодой зодчий стал замкнутым, молчаливым, мнительным.

Отправляясь в поход, Повелитель строго наказал не торговать на открытых городских площадях, в садах и на улицах, ибо нетерпимо, чтобы в лучшей в мире столице надрывал глотки торговый люд и из-под копыт лошадей, ишаков пыль поднималась до небес; по распоряжению Повелителя для торговли должна быть построена длинная, на несколько верст, крытая улица с купеческими лавками и магазинами по обе стороны и с хаузами, в которых днем и ночью бьют фонтаны.

С тех пор круглые сутки кипела работа на стройке; рабы из крепости разрушали дома и дувалы на пути будущей крытой улицы; ночь напролет расчищали площадки, а утром приходили мастера со строителями-рабочими и продолжали тянуть длинный ряд купеческих лавок. Крытая улица для будущего базара дошла уже до центра города. Зимой промерзшая земля серьезно мешала грунтовым работам. То ли безмерно уставал Жаппар от несмолкаемого грохота сотен каменотесов и бесконечной суеты на стройке, то ли очерствел душой и успокоился, только в последнее время он уже не метался во сне. Облик таинственной девы, преследовавший его, тоже заметно померк, поблек. Юная дочка купца Ахмета, которой пылкий зодчий втайне любовался каждый день, теперь навсегда, должно быть, исчезла, упрятанная за одним из бесчисленных дувалов-лабиринтов большого города, и со временем чудилось, что это милое, улыбчивое создание все больше и больше удаляется, как бы растворяясь в мираже далеких воспоминаний. И все же нет-нет да и вспоминалась она, прелестная Зухра, так явственно, так живо, что у Жаппара больно сжималось сердце, словно касался его невзначай ледяной холод. Раньше постоянно в нем боролись тоска и страсть, попеременно одолевая друг дружку, теперь они обе точно обессилели.

Что-то изменилось в молодом зодчем. В его жестах, движениях, взгляде, манере хмурить брови чувствовались внутренняя решимость, затаенная печаль, сдержанность. Казалось, он весь сосредоточился на работе и отныне ничего не желает видеть, кроме поднимающихся на его глазах кирпичных стен.

Под его руками ряд в ряд бесконечной цепью ровно и прочно укладывались кирпичи, словно очищенные от его смутных надежд, туманной печали, удушливой тоски. Изо дня в день росла, удлинялась крытая улица. Уже скоро два

года, как отправился Повелитель в далекий поход. Главный мастер покоя лишился, подгонял, поторапливал строителей, старался во что бы то ни стало исполнить наказ властелина к его возвращению. Спозаранок приезжал главный мастер на стройку, внимательно и придирчиво следил за работой. Вот и сейчас оставил он легкую повозку у ворот и торопливо вошел под навес, где трудились каменотесы. Однако на этот раз он не задержался возле них, не обмолвился ни единым словом, а стремительно направился вглубь, где воздвигались стены. Может, опять поступил какой-нибудь срочный заказ? Мимо него шныряли носильщики, но и им главный мастер не сделал замечания. Отчего он такой озабоченный и серьезный? К кому он спешит? Какое дело гонит его спозаранку? Вот он повернулся и направился прямо к нему, молодому зодчему. Подошел, поставил ногу на груду кирпичей, задрал голову.

— Жаппар, бросай все...

Что это значит? Жаппар недоуменно уставился ему в лицо.

— Собирайся! Идем во дворец. Тебя вызывает старший визирь.

Легкая повозка главного мастера быстро доставила их к белому дворцу старшего визиря. Охранники открыли ворота, расступились. Жаппар послушно последовал за главным мастером. Они прошли несколько прохладных, гулких, просторных залов дворца, вступили наконец в огромную голубую комнату, где в середине, на возвышении возле фонтана, восседал старший визирь. Он великодушно принял их поклон, пристально оглядел Жаппара с ног до головы; потом задумчиво пожевал губами и, словно решившись сказать что-то необычайно важное, открыл рот и опять устремил на молодого зодчего пытливый взгляд.

— Ты сказал ему, зачем я его позвал? — спросил он у главного мастера.

— Нет, господин,— ответил тот, сгибаясь в низком поклоне.

— Тогда выслушай меня, устод Жаппар. Младшая Ханша решила обрадовать великого Повелителя и в честь его возвращения из далекого похода построить минарет. Мы решили вам доверить эту честь...

Старший визирь со значением выкатил большие умные глаза. Видно, это было в его манере — предельно лаконично высказать важное решение, а потом исподлобья наблюдать, какое впечатление это произведет на собеседника.

Жаппар, словно не в силах выдержать тяжелый взгляд пучеглазого визиря, низко склонил голову.

Старший визирь покосился поверх Жаппара в сторону входной двери и лениво, врастяжку, без всякого выражения проронил:

— Надеюсь, вы все поняли...

Жаппар взглянул на главного мастера, как бы спрашивая, что и как следует в таких случаях сказать, однако тот сидел безучастно, с непроницаемым лицом, будто ничего не слышал.

Жаппар молчал, соображая про себя, что могло бы означать странное поведение главного мастера, но тут вдруг вспомнил, что старший визирь, сидящий перед ним, дожидается его ответа и молчание становится уже неприличным, и торопливо и смущенно промолвил:

— Да... все понял...

Целый месяц выбирал Жаппар место для будущего минарета. Не осталось такого уголка в большой столице, где бы он не побывал, пробуя грунт под ногами и внимательно оглядывая окрестность.

Наконец двуколка, на которой разъезжал молодой мастер, остановилась на открытом холме неподалеку от сада, где находился дворец Младшей Ханши.

Казалось, более удачного места для минарета не найти. Холм заметно возвышался над основанием равнинного города. И грунт был плотный, надежный, не супесь и не суглинок. Осадка в будущем должна быть незначительная. Здесь был не шумный, пестро застроенный центр, но и не слишком отдаленная окраина. А самое главное — на виду. Все открыто, всюду простор. Знаменитые мечети, медресе и ханские дворцы находились отсюда на почтительном расстоянии. Вокруг ничего примечательного, что могло бы привлечь взор. К северу от холма стоял лишь единственный дворец Младшей Ханши. Но и его не видно было из-за густо разросшегося, диковинного сада.

Здесь, на этом холме, после долгих колебаний и раздумий, собственными руками вбил молодой мастер кол.

И сразу ожил холм, весь изрытый сусликами. Со всех сторон, вздымая пыль, потянулись сюда груженые арбы. Горы жженого кирпича выросли вокруг подножья. Могучие рабы, голые по пояс, поблескивая бронзовыми, потными спинами под ослепительным солнцем, копали землю, шаг за шагом, взмах за взмахом, пядь за пядью вгрызаясь в ее чрево. С каждым днем на глазах рос вал вынутого грунта, и вскоре уже не видно стало черных от загара плеч рабов-землекопов. Жаппар от волнения был сам не свой. Целыми днями ходил и разъезжал он вокруг холма, разглядывая со всех сторон

место, где предстояло построить взлелеянный в душе минарет.

И настал тот день, когда сорок землекопов, вырыв котлован, вышли на божий свет. Теперь в котлован опустился сам Жаппар. И хотя здесь, под землей, было удивительно прохладно по сравнению с поверхностью, где пекло нещадное солнце, Жаппару уже через день-другой стало скучно и неуютно. Он спешил подняться наверх, рвался к свету. Порой чудилось, что если он вскоре не выберется туда, на белый свет, обрамленный синим небосводом, то здесь его навсегда заполонит какое-нибудь подземное чудище. И он с нетерпением ждал кожаные носилки, на которых спускали к нему сверху кирпич и раствор.

Наконец он выложил основание минарета и выбрался наверх. Казалось, из-под земли вырастал могучий каменный ствол, которым поневоле любовались все прохожие. Молодой мастер испытывал приятное волнение и гордость от этих восторженных взглядов. И когда от видел, что кто-нибудь из многочисленной толпы, хлопочущей там, внизу, всецело поглощен созерцанием его рождающегося творения, все его однообразные движения, привычная монотонная работа искусного каменщика, тяжкий труд, утомлявший мышцы и отуплявший разум, вдруг сразу обретали особый смысл и значение. В такие мгновения усталость как рукой снимало.

Упорно, день за днем растил он стены минарета и с каждым новым рядом все заметнее удалялся от земли, от рабов, месивших внизу глину. Теперь рабы доставляли ему камни и кирпичи на носилках, поднимаясь по внутренним шатким лестницам. В узком, как труба, минарете он целыми днями пребывал в одиночестве. Поредели ряды любопытных зевак, с нескрываемым восторгом наблюдавших за растущей на глазах башней и ее строителем-чудодеем. Правда, от них теперь и толку никакого не было. С высоты крутых и круглых стен люди внизу казались игрушечными, точно нарисованными, с нелепо растопыренными руками и ногами, и мастер уже не мог видеть восторга в их глазах и не мог услышать лестной похвалы из их уст. И кирпичи снова не в меру отяжелели. И усталость, как прежде, сковывала мышцы. Размеренная, бесконечная кладка кирпича к кирпичу чем-то напоминала шажки стреноженного скакуна и утомляла, надоедала своим однообразием. Теперь он с особым нетерпением ждал, когда рабы поднимутся к нему и вывалят с носилок кирпичи к его ногам. Он обостренно прислушивался к каждому звуку. Сначала снизу докатывался глухой, раскатистый гул, как из пустой бочки, потом все яснее, резче,

четче слышались шаги. Рабы были из далеких, неведомых стран. Он не понимал их, они — его. Но когда где-то рядом чувствовался крепкий, острый запах соленого мужского пота, обычно ему неприятный, молодой мастер говорил рабам что-то радостное. И они, невольники, сверкая зубами, приветливо улыбались в ответ, хотя и не понимали его.

Башня между тем уже возвышалась над ближайшими домами и строениями. Узкие улочки близлежащих махалля[1] и суета в крохотных двориках — все было видно, как на ладони. По узким щелям меж приземистых мазанок взад-вперед двигались, копошились, точно какие-то чудные существа, пешие и верховые на ишаках. Их странный, неуклюжий с вышины птичьего полета облик и бестолковая, беспорядочная возня на земле вызывали невольную улыбку. Особенно базар ничуть не отличался от муравейника. Даже многокрасочные, яркие товары, всегда радующие глаз, отсюда, с вершины, казались бесцветными и незначительными.

Странно: люди вроде бы себе назло придумали эту мелочную, бессмысленную суету. Словно мало им необъятного божьего пространства, будто боятся они простора, еще при жизни добровольно замуровали себя в душные каменные мешки, в тесные расщелины, где изо дня в день толкутся, как в ступе. Совершенно непостижимо, почему эти беспокойные двуногие смертные, копошащиеся в гигантском сером муравейнике, так восторгаются и дорожат своей мнимой жизнью, где, сшибаясь, как льдины в половодье, бьются и хватают друг друга за глотки ради богатства, чинов, положения, славы и прочей мишуры. Мудрено ли не свихнуться в эдаком котле, постоянно сталкиваясь друг с другом?! Какая злая сила, смешав, сгрудила их в одну кучу, когда столько безлюдной, вольной шири вокруг?! Живи они вразброс по беспредельной степи, какой вражина позарился бы на них? И, наоборот, разве не велик соблазн растоптать, расшвырять, развеять кишащий муравейник? Великий властелин, разрушивший за свой век не один подобный муравейник, из года в год расширяет свой собственный. Для чего, к примеру, понадобилась вот эта строящаяся башня? Для того, чтобы ласкать взор всякого встречного-поперечного? Или привлечь внимание врага, намекая, что здесь, у подножия минарета, раскинулся еще один человеческий муравейник? Или, наоборот, в знак предостережения, чтобы никто не приблизился к этой смрадной свалке,

[1] Махалля — городской квартал.

чтобы оставались на вольной воле?.. Для чего?.. Какой смысл?.. Он, мастер, во всяком случае, не знает. Он просто получил еще в прошлом году задание от пучеглазого старшего визиря и принялся за дело. Говорят, такова воля Младшей Ханши, которая там, в густом саду, из какого-то уголка наблюдает за ним. И зачем ей понадобился этот каменный столб — шайтан знает. Когда посещали его подобные непрошеные мысли, ему вдруг нестерпимо хотелось на простор, чтобы избавиться и от этого шумного, многолюдного города, и от бесконечных и путаных, как улочки его, дум. Его неодолимо тянуло в великую степь, чьи причудливые миражи зыбились, играя, под боком неприглядных глиняных окраин. Однако в какую бы сторону он ни повернулся, куда бы ни посмотрел, всюду перед его глазами тянулись невзрачные, унылые, как непролазная осенняя грязь, глиняные дувалы и стены, похожие на огромный, наводящий тоску своим однообразием серый полог. И чтобы не задохнуться в этой смрадной житейской грязи, он отчаянно карабкается, лезет вверх по крутой каменной башне, туда, к синему, прозрачному поднебесью.

И только теперь Жаппар понял, почему нужны минареты. Оказывается, они выражают высокое и гордое стремление рода человеческого отрешиться хотя бы на мгновение от всего привычного и низменного, бескрылого, что притягивает, придавливает, клонит неодолимо и со всех сторон к земле, где на уровне ослиного хвоста незначительное кажется значительным, а ничтожное — великим, где повседневную мелочную недостойную суету зачастую выдают за подлинную жизнь, отрешиться от всего мнимого и подняться, взлететь, может быть, даже наперекор судьбе, на высоту, встрепенуться непокорным духом, чтобы можно было узреть истинно величественное, чем прекрасен и сам беспредельный мир, и высшее творение жизни — человек. Ведь неспроста даже суслик и тот время от времени испытывает потребность оставлять свою опостылевшую, вонючую норку и растянуться поодаль у подножия холмика, выставив солнцу круглый бочок, и смотреть, смотреть маленькими глазками-точками, жадно и с наслаждением, на нескончаемый божий мир, смутно ощущая, что помимо подземных мышиных забот существует еще и другая, таинственно непостижимая жизнь, в честь которой он и выводит свою торжественно-писклявую песню.

Быть может, этот минарет, точно прорвавшийся из земли, не просто выражение гордой и дерзкой человеческой мечты, а неодолимый порыв, неуемная тяга самой земли, много-

терпеливой и многострадальной, к безмятежно раскинувшемуся над ней загадочному голубому небу? Разве эти маленькие жженые кирпичики в его руках еще вчера не были недостойной серой глиной под копытами ишака? А вот сегодня, словно одухотворенные некой чудодейственной силой, передающейся через его руки еще недавно бесформенной глине, превращаются в вполне осознанную, прекрасную, манящую цель — в гордо устремившийся ввысь минарет.

В прошлом году, когда на этом месте собственноручно вбил кол, он также, стоя на гребне древнего кургана, подолгу вглядывался в выжженное солнцем небо, но ничего не увидел тогда, кроме всего лишь на миг всплывавшего из мрака небытия и тут же исчезавшего видения. Таинственно-величавый минарет, возникавший вдруг перед его глазами, так же неожиданно исчезал, будто проваливался сквозь землю. Но еще год назад здесь, на холме, испещренном норками сусликов, он твердо знал, что дивное видение, рисовавшееся в его воображении, превратится, непременно превратится из сказки в быль и станет великолепным минаретом, способным вызвать радость и восторг.

...Вспомнились события восьмилетней давности.

Вслед за серым ишаком, изо всех сил тащившим вверх по крутому склону песчаного увала два больших полосатых коржуна, понуро брели отец и сын. Полмесяца продолжался уже их утомительный путь. Лишь возле одиноких, редких колодцев, покрытых сверху саксаулом и кустарником и расположенных друг от друга на расстоянии двух-, а то и трехдневного пути, они останавливались на недолгий привал.

Отец брел чуть впереди и время от времени резко останавливался и распрямлял, морщась от боли, онемевшую от долгого подъема спину, застывал, держась за бока, а потом, обреченно вздохнув, вновь продолжал путь.

И только безропотный серый ишачок не выказывал усталости. Откинув назад длинные пыльные уши и повесив голову, мелко-мелко, точно заведенный, перебирал точеными ножками. За многие века он крепко усвоил, что в неволе у двуногих ему все равно никогда не ждать покоя. Он знал, серый ишачок, вернее, чувствовал нутром, что в этой унылой пустыне где-нибудь да и будет короткая остановка, где и напоят его, и на выпас отпустят. И сделают это двуногие не ради него, не из-за жалости к нему, а прежде всего ради себя самих. А коли так, то нечего роптать на судьбу, нужно покорно идти вперед и вперед, не оглядываясь по сторонам.

Эту нехитрую истину серый ишачок познал едва ли не с рождения.

Однако замыкавшему куцее кочевье смуглому худощавому юноше все это давно наскучило и надоело.

Отец проболел всю зиму и лишь в весенний месяц новруз поднялся с постели. Он вдруг с лихорадочной жадностью принялся за хозяйство: вспахал свой клочок земли, разровнял пашню граблями, посеял джугару. Потом взрыхлил почву под чахлыми фруктовыми деревьями, сиротливо торчавшими возле приземистой, плоскокрышей мазанки. Почистил, пообрезал ветки.

Все это он проделал молча, потом собрал всех детей и каждому, кроме Жаппара, дал наказ. Некоторое время спустя он вместе с Жаппаром собрался в путь. Жители маленького зимовья, затерявшегося в степи, стоя возле своих лачуг, долго смотрели им вслед.

Когда они, навьючив на серого ишака обшарпанный, выцветший полосатый коржун, вышли из ворот, соседки нетерпеливо спросили у матери:

— Куда это подался мастер-горшечник?

Мать недоуменно пожала плечами.

На какой путь решился вдруг отец, не знал до сих пор и сам Жаппар. Разное рассказывали люди о его отце. Но что было правдой, что — досужим вымыслом, а то и просто сплетней,— не представляли толком и сами дети. Более того, тайной было само появление горшечника. Однажды ненастной осенью прибыл он с каким-то караваном в эти края, да так и остался на зимовке. Молчаливый, замкнутый крупный чернолицый мужчина оказался незаурядным умельцем: под его пальцами словно оживала самая обыкновенная глина. Вскоре он зажил самостоятельно: в искусном горшечнике нужда была большая. Взял в жены девушку-сироту. Пошли один за другим дети. Из них он особенно любил и постоянно держал при себе первенца — Жаппара. Была у отца странная привычка — смотреть на все и всех пристально и строго; он замечал каждое движение, каждый порыв и прихоть своих детей; и только когда он смотрел на старшего, глаза его теплели, смягчались от непонятной нежности. Но и нежность он проявлял по-особому. Он не обнимал детей, не обнюхивал их, как это принято у степняков, даже в знак одобрения не хлопал их по спинам. Но удивительно: от Жаппара он каждый раз отводил, прятал как бы суровый, колючий взгляд. И Жаппар это чувствовал, но не мог себе уяснить, чем он заслужил

отцовскую милость. Во всяком случае уже года два сын, выполняя поручения отца, не озирался боязливо по сторонам, как прежде, а держал себя вольно и достойно.

Отец время от времени выезжал на поиски глины. Из зимовья на берегу безымянной речушки, не то впадавшей в могучую реку, не то вытекавшей из нее, он выходил, ведя на поводу ишака, спозаранок и весь день плутал по степи, по оврагам, буеракам, возвращаясь к вечеру с полными разномастной глиной коржунами. Два года назад, в весеннюю пору, в один из таких своих походов взял он с собой сына. Отец шагал впереди, на расстоянии брошенной палки, а сын-подросток, еще не ходивший далеко от аула, трусил позади верхом на ишаке. Они прошли низину-лужайку за аулом, где паслись козлята и ягнята, и поднялись на песчаный косогор. Отсюда, с вершины, все виднелось далеко вокруг. Там, внизу, в лощине, окруженной бокастыми рыхлыми барханами, притаился их кишлак — разбросанные там-сям, точно горсть джугары на дастархане бедняка, невзрачные, плоские мазанки. Крохотные участки земли, огороженные полуобвалившимися дувалами, издалека напоминали хитросплетение мозаик. Над крышами вился, точно пук растребленной шерсти, сизый дымок. Родной кишлак, который, чудилось ему, не просто исходить от края до края, теперь со стороны, с гребня бархана, казался особенно маленьким и убогим. Чуткое, пылкое сердце подростка, испытывавшее боль, сочувствие и жалость ко всему маленькому и беззащитному, сейчас, при виде неказистого, в бурых пятнах кишлака в низине, неожиданно и странно дрогнуло.

Колотя пятками неторопливого ишака, мальчик спешил за отцом, ушедшим вперед. Рыхлая супесь постепенно сменилась твердым суглинком. Путники поднялись на ровное, как доска, плоскогорье. Горизонт, казавшийся в кишлаке таким близким и доступным, здесь, на плато, необычайно раширился. Небо, одним краем задевавшее землю, тут, на просторе, стремительно рванулось ввысь.

Отец с каким-то упорством шел все дальше и дальше, будто задался целью непременно дойти до горизонта. А Жаппару тот зыбившийся вдали таинственный горизонт чудился недосягаемым. Гладкое почти, со скудной растительностью плоскогорье тянулось бесконечно: сколько бы ни трусил покорный ишачок, а все казалось, будто стоит на месте.

Солнце перевалило зенит, а отец, угрюмый, суровый,

шел не останавливаясь. Лишь после обеда впереди на однообразной равнине появился круглый холм. Вначале он казался довольно высоким, но при приближении холм оседал на глазах, будто какое-то чудище подтачивало его снизу, а когда путники подошли уже совсем вплотную, он как бы и вовсе слился с равниной.

Отец поднялся на его макушку и долго стоял, всматриваясь в даль. И хотя он отправился на поиски глины, до самого холма не поинтересовался почвой под ногами. Но и добравшись до холма, он, казалось, забыл про глину, а высматривал что-то совсем другое там, за горизонтом. Вдали дрожало, зыбилось, курилось голубоватое дремотное марево, словно стараясь смягчить суровый, жесткий взгляд отца. Мальчик был заметно взволнован от этого бескрайнего пространства, от необычной, звенящей тишины, от величавого спокойствия вокруг. Временами он чувствовал нечто похожее на оторопь, по спине прокатывался холодок, будто он один на один столкнулся нежданно-негаданно с каким-то чудищем-великаном, который и в страшном сне не снился. У серого ишачка тоже слезились глаза, он удивленно помаргивал и прядал ушами. Мальчик тщетно силился понять, в чем заключалось притягательное колдовство беспокойного и куда-то манящего миража у далекого горизонта и почему у отца, так жадно вглядывавшегося в даль, все мрачнее становится лицо.

С той поездки в мальчика точно вселился дух тревоги. Отныне он будто задыхался в тесной лощине, укрывавшей их кишлак. Он уже не мог, как прежде, увлеченно копаться в крохотном садике за их мазанкой. Его неодолимо влекло на простор. Теперь он с охотой выгонял на выпас козлят и ягнят маленького кишлака. Выбирался подальше из узкой лощины, отпускал козлят на лужок, а сам, лежа на спине, зачарованно смотрел на небо. И постепенно к необъятному миру, словно онемевшему от извечной тишины, вдруг возвращались звуки, которые, казалось, только и поджидали мечтательного подростка. Вначале под необъятным и бездонным куполом небосвода неожиданно оживал невидимый жаворонок; вскоре к его звонкой трели подключалось многоголосое щебетанье и с неба, и с земли; возле бесчисленных зияющих норок грелись на солнышке, лоснясь тугими боками, суслики и, разморенные теплом и истомой, блаженно пересвистывались. Немного поодаль с удовольствием щипали нежную весеннюю мураву ягнята и козлята, и их хрумканье слышалось подростку очаровательной мелодией. Звуки и

шорохи заполняли весь мир. А перед глазами голубело бескрайнее небо.

Очутившись наедине с беспредельным мирозданьем, подросток долго-долго лежит на приятно теплой земле, предаваясь неизъяснимым грезам, погружаясь в омут неведомых мечтаний. Он с упоением впитывает радость и восторг, навеянные благодатной тишиной и щедрой природой, чуждой спешки, суеты и мелочных, совсем необязательных, ненужных забот. Взгляд не может налюбоваться таинственной игрой теней, переливом красок, заполняющих пространство между небом и землей. Легкое белесое облачко, как бы нехотя, невесомо поднимавшееся над краем горизонта, мерещилось тайным посланником невидимого творца вселенной, отправленным, чтобы разведать, узнать, что происходит в подлунном мире. Неслышно скользнула по небосклону пушистая тучка, отбрасывая прозрачную тень; казалось, мягкие ладони оглаживали нежно поверхность земли. Вот она, неуловимая тень, чуть коснулась и его, погруженного в свои сладкие видения подростка. Он вздрагивает, как от прикосновения потусторонней силы. Но тут облачко скользит-проплывает дальше, солнышко, вновь выглянув, припекает заметнее, и благостная дрема продолжает убаюкивать мальчика. Хрупкая грудь его, еще не познавшая стужу жизни, наполняется благодатным теплом весеннего солнца, и мечты бесконечной вереницей, дивно разрастаясь, проходят перед его затуманенным взором.

От долгого лежания немеет спина, тяжестью наливаются ноги. Мальчик приподнимается на локтях. Звуки утишились, улеглись. Солнце склонилось к закату. Но, словно беспокоясь за мечтательного подростка, который, забывшись, может остаться один в безлюдной степи, оно, повиснув у горизонта, вприщур наблюдало за ним. И, только заметив, что мальчик встал, поднял лежавший в сторонке прут и направился к своим ягнятам, оно удовлетворенно скользнуло за горизонт.

С наступлением сумерек вместе с дойными верблюдицами, с ревом спускающимися по песчаному косогору, возвращается с выпаса и козопас в кишлак, зажатый лощиной.

То, что Жаппар сторонится кишлачных мальчишек, день-деньской резвящихся на пыльных пустырях между мазанками, и предпочитает одиночество, должно быть, по душе отцу. В свою мастерскую, куда он очень неохотно допускал посторонних, отец однажды сам привел Жаппара.

В мастерской, приютившейся в углу дувала, пахло сыростью и горелой глиной.

Едва отец сел за гончарный круг и раскрутил нижнее колесо станка, тихий закуток наполнился резким, дребезжащим скрежетом, точно в клочья разрывавшим тишь, и черный, до блеска отполированный круг начал вращаться с неимоверной быстротой. Сухая пепельно-серая глина, бог весть из какой дали доставленная на ишаке, сначала превратилась в тугое месиво, а потом на стремительном гончарном круге обрела новые, замысловатые формы.

Жаппар с жадным любопытством, словно на чудо в руках заезжего фокусника, смотрел на тугие оголенные икры отца, в холодно-пристальные глаза, неотрывно следившие за вращением колдовского круга. Он впервые видел чудодейственную силу согласованных человеческих движений. Казалось совершенно непостижимым, как из чего-то обыденного, незначительного — из ничтожной глины, разбросанной между степными травами, из воды, неизвестно откуда вытекающей и куда исчезающей, от неверного пламени, рождающегося из сухих и ломких ветвей саксаула и превращающегося в дым, из мимолетных, почти неуловимых движений — могут появиться удивительно красивые вещи, способные радовать взор.

Вскоре отец усадил за гончарный круг сына. И Жаппар чутко уловил: чтобы сотворить прочный и красивый кувшин, нужны не только глина и вода, не только ярко пылающие под кузнечными мехами уголья саксаула, но и недюжинная сила, огромное напряжение всех мышц, зоркий взгляд, способный заметить каждую песчинку, каждую крупинку, бесконечная борьба надежд и сомнений, изматывающая душу и нервы,— все девяносто ответвлений чувствительных жил, стремление и старание, жестокая, постоянно преследующая неудовлетворенность собой, великое, поистине святое терпение, и, должно быть, еще многое другое, чему нет точного названия в человеческом языке.

На старое верблюжье седло в углу среди хлама теперь уселся отец. Он так же пристально и придирчиво следил за каждым движением сына, как еще недавно наблюдал за работой отца Жаппар. Однако на лице отца не было ни тени удивления или восхищения. Сын чувствовал на себе лишь его неумолимый, колючий взгляд. Казалось, опытный мастер-горшечник своим суровым взглядом хотел как бы подстегнуть, закалить душевные порывы неокрепшего юнца.

С утра до вечера чувствовал Жаппар на себе пытливый

взгляд отца и тогда впервые осознал, что истинного мастера оттачивает и закаляет посторонний глаз. Понял он тогда также, почему отец не пускал любопытствующих в свою мастерскую. Подлинный мастер не может и не должен раскрывать каждому встречному-поперечному тайны своего ремесла, точно так, как знающая себе цену гордая красавица искусно укутывает в шелка свои прелести, одним лишь мимолетным взглядом умея возбудить желание. Люди не должны видеть капельки пота на измученном челе мастера, его усталость, отчаяние, мучительно сдвинутые брови, достаточно того, что они видят творение его рук — пусть любуются, удивляются, восторгаются. Для мастера-творца нет большего счастья.

Мастеру отнюдь не безразлично, как смотрят на изделие его рук. Ему свойственно смущаться, съеживаться, замыкаться в себе под неодобрительным, уничижительным взглядом и, наоборот, испытывать ликующую радость, гордость при виде удовлетворения или восхищения в чужих глазах. Больше всего радовался опытный горшечник не вполне опрятным поделкам сына, а тому, что он неравнодушен к вниманию людей, чуток к постороннему взгляду и по-хорошему честолюбив. Он благодарит судьбу за то, что в одном из его сыновей теплилась искорка вдохновения. И с того дня со всей страстностью и упорством принялся обучать сына своему кровному ремеслу.

Отныне Жаппар просиживал целыми днями в сырой тесной мастерской отца. Вскоре он научился не замечать резкого запаха горелой глины. И к визгливому скрежету гончарного круга быстро привык. Он уставал от этой утомительно-однообразной работы, однако ни скуки, ни — тем более — отвращения не чувствовал. Наоборот, постигая тайну за тайной, он все больше и больше привязывался к отцовскому ремеслу.

Однако, должно быть, опасался опытный гончар, что нелегкий этот труд отпугнет сына, утомит, наскучит раньше времени, и потому иногда на целую неделю запирал мастерскую. Пусть поразвеется сын, отдохнет. Мальчик слонялся несколько дней без дела, не находил себе места и занятия, рвался в мастерскую, к станку, к гончарному кругу.

Вскоре появились в кишлаке первые кувшины, сотворенные Жаппаром. Однажды он увидел девушку, шедшую с его кувшином за водой. Это его так поразило, что он шел за ней до самой реки. Стройная, тоненькая девушка, слег-

ка покачиваясь, дошла до крутого берега, наполнила его кувшин водой и, мягко ступая по пухляку, медленно направилась в кишлак. Юный гончар, сдерживая дыхание, юркнул за дувал. Почудилось ему, что догадается прелестная дева, зачем он крадется за ней...

Теперь в кишлаке, пожалуй, нет такого дома, где бы не пользовались кувшинами Жаппара.

И все, наверное, шло бы своим чередом, если бы отца не позвала таинственная дума в далекий путь.

Казалось, пескам не будет конца-краю. Сколько ни бредешь — вокруг ни живой души. Изредка что-то промелькнет перед утомленными глазами, подойдешь — не то куст жузгена, не то саксаула. Куда они идут — Жаппару неведомо, и это делает путешествие по унылым бесконечным пескам еще более бессмысленным.

Жаппару стало невмоготу брести по зыбучим барханам — все вверх и вверх — вслед за угрюмым отцом и покорным ишаком. Юноша бросается навзничь на раскаленный песок. Над ним в извечном молчании застывшее небо. Обшарь его глазами от края до края — ни единого облачка не заметишь. И только у горизонта, возле узкой полоски между небом и землей, что-то зыбится, дрожит. Чем выше, тем прозрачнее, бездоннее небо. И, кажется, хранит оно великую тайну, и недоступен его язык человеку. Юноша вскакивает и, вспахивая ногами сухой, податливый песок, бежит вдогонку серому ишаку.

К вечеру, когда солнце повисло над горизонтом, горбатые барханы начали редеть, впереди простиралась песчаная равнина. И только тут отец остановился и внимательно огляделся окрест.

Пески были испещрены загадочными морщинками... Отец долго вглядывался в причудливые кольца и извилины, нарисованные пустынной бурей на мягком песке, казалось, он читал суры из священной книги, переписанные каким-то сверхтаинственным каллиграфом на это бескрайнее пространство. Потом, еще раз оглянувшись, решительно повернул к востоку.

У стыка красных песков с бурыми подзолами началась продолговатая впадина. С наступлением сумерек приземистые песчаные холмики стали отбрасывать более длинную тень, и оттого они словно вырастали, тянулись к редким перистым облакам, откуда-то появившимся на потускневшем небосклоне...

Серый ишак будто погружался в черный омут... Пологий

поначалу склон впадины становился все круче. Отец, видно, не решался углубиться в мрачные заросли. Дойдя до такого места, откуда еще вполне проглядывался край впадины, он остановился и привязал ишака к саксаулу. Потом отвел Жаппара в сторонку шагов на двадцать. Здесь, в густой саксаульной чащобе, он нашел небольшой лаз, точнее, довольно узкую щель, откуда было удобно наблюдать за краем впадины, и приказал Жаппару залечь.

— Смотри в оба, пока я не вернусь!

Отец, отстраняя рукой кривые саксаульные сучья, осторожно двинулся вглубь. Сухой валежник потрескивал под его ногами. Вскоре треск утих. Видно, и отец нашел себе удобное укрытие...

В тугайных зарослях сыро и прохладно... Запах прели и пыльцы жузгена щекотал ноздри. Багрово-красные лучи заходящего солнца точно застряли в верхушках саксаула, не в силах пробить непролазную чащобу. В зарослях быстро смеркалось. Сквозь узкую щель едва просматривалась песчаная полоска впадины. Жаппар, зябко поеживаясь от одиночества, прислушивался, но ни шороха не расслышал.

Усталость от долгой, изнурительной ходьбы понемногу одолевала его, веки отяжелели, поневоле смежились. Юноша стряхивал с себя сонливость, с усилием открывал глаза.

И вдруг он увидел через щель: впереди будто что-то промелькнуло. Жаппар протер глаза, глянул пристальней. Да, верно: путник на верблюде. Голова обмотана высоченной чалмой. На приличном расстоянии огибая чащобу, путник подстегивал, торопил длинношеего рыжего дромадера, спешил в сторону Песков. На луке верблюжьего седла колыхалось, покачивалось что-то тугое, похожее на узелок. Должно быть, бурдюк с водой. Жаппар только теперь почувствовал, как пересохло у него во рту, как нестерпимо хотелось пить. Может, остановить путника, попросить напиться. Вспомнились слова отца: «Смотри в оба!» Кружилась голова, сердце колотилось. Он застыл, не отрывая взгляда от быстро удалявшегося одинокого путника. Только теперь увидел: в правой руке путник держал белый остроконечный посох, увешанный разными побрякушками. Выходит, дивана... Бродячий заклинатель. Юродивый. Эти странные люди, одетые в пеструю рвань, изредка заезжали и в их кишлак. И сразу же подумалось Жаппару: а может быть, туда, в его родной кишлак, и направляется сейчас дивана? Непонятная тоска охватила душу. Вздохнул Жаппар, заскучал, запечалился. Вон уже и не видно стало одинокого путника на верблюде-дромадере.

Голова раскалывалась, клонилась на грудь. Юноша наскреб горсть влажной, холодной глины и приложил к горячему лбу.

Солнце нырнуло за барханы. В щель было видно, как плыли вечерние тени. Еще некоторое время спустя непроходимую чащу плотно обступил сумрак. Казалось, ночная темь повисла у самого края впадины, не решаясь проникнуть в саксаульные заросли. Небо белесое, бледное. В неверном освещении белый песок за опушкой обрел золотистую окраску. Кривые, затейливо переплетенные сучья кустов точно сомкнулись, скованные мраком.

Узкая, как лезвие ножа, лиловая полоска света над краем обрыва, постепенно слабея, вскоре совсем погасла. В небе робко зажглись редкие звезды. Казалось, им было неловко за ранний восход, и они смущенно переглядывались, перемигивались, но понемногу освоились на необъятном небосводе, осмелели, видя, что их становится все больше и больше, и вот они, ночные звезды, замерцали уже сотнями, тысячами, зароились, наливаясь ярким светом, нависли над чащей в пустыне, где черной ночью скрывались неведомо от кого отец и сын.

Черная южная ночь укрыла пустыню. Сразу же повеяло свежестью. Сон, необоримо наваливавшийся все это время на юношу, точно рукой сняло. Тяжесть спала с век. К глазам вернулась зоркость. Непроглядный мрак плотно обступил со всех сторон. Ни звука, ни шороха. Тяжелая, тягучая, как смола, тишина. Все время чудилось, будто неведомая опасность подкрадывалась неслышно, по-кошачьи. В висках стучало. Оторопь сковала юношу. Он замер в ожидании, когда невидимое чудовище пустыни вонзит в него свои кровавые когти. Однако опасность не спешила обрушиться на него. Она, словно пес, хватающий исподтишка, выжидала в сторонке, в двух шагах, зорко следила за каждым его движением, сторожко прислушивалась к каждому шороху. И Жаппар впервые подумал про себя, что лучше иметь перед собой видимого врага с занесенным для удара мечом, чем обмирать от страха в жуткую, непроглядную ночь.

Она длилась бесконечно. Вдруг в чаще послышался шорох. Потом шорохи усилились. Кто-то шел напролом, пробиваясь сквозь заросли кустарников. Вскоре в чаще затрещало, захрустело, точно пламенем охватило сухостой. Корявый пень саксаула, за который давно уже держался оробевший юноша, точно живое существо, как бы прильнул, прижался к нему; казалось, даже пень всерьез встревожился перед гулким, стре-

мительно и неудержимо накатывавшимся треском. Жаппар еще в детстве слышал о диковинных зверях, обитающих в непроходимых зарослях. Он принюхался, пытаясь уловить запах, свойственный диким зверям, однако ничего не учуял.

Треск усилился, сливаясь в жуткий гул. Точь-в-точь косяк одичавших животных ошалело мчался в зарослях, круша все на своем пути.

Сухой ком застрял в горле Жаппара. Он хотел отнять руку от корявого пня, но не мог: пальцы свело, как в судороге.

Грохот, накатываясь, почти настиг его укрытие и вдруг, как захлебнувшись, откатился назад. Только теперь ослабли и разжались занемевшие пальцы. Упругая ветвь дрогнула, и саксаул издал невнятный шорох. Но Жаппару он померещился грохотом камня, обвалившегося с горы. На мгновение, казалось, и треск валежника на краю чащобы умолк. Может, и там услышали шорох и насторожились? Жаппар от волнения не знал, куда девать руки. Он опустился на корточки и дрожащими руками крепко стиснул колени. А недавний грохот угас, унялся, словно и не было ничего. Юноша напряг слух. Все вокруг вновь погрузилось в безмолвие.

И вдруг прямо впереди, будто рядом, ярко вспыхнул огонь. Жаппар не поверил своим глазам, крепко зажмурился. Когда он снова открыл глаза, огонь впереди разгорался еще ярче. Длинные языки пламени жадно метались по сторонам, вытягивались вверх, и нежданное ночное зарево, раздвигая мрак, заметно притушило тусклый блеск звезд. Вокруг огня копошились какие-то люди, мелькали фантастические тени. Некоторые выныривали из аспидно-черной темноты, швыряли что-то в огонь, и тогда пламя, взметнувшись, сыпало ослепительными искрами. Что это были за люди, Жаппар не догадывался. От обрыва к огню, причудливо перекрещиваясь, тянулись тонкие длинные тени. Присмотревшись, юноша увидел на стыке света и мрака несколько оседланных лошадей. Поводья были крепко привязаны к луке. У тех, что стояли ближе к огню, сверкали при отблеске пламени ножны, навешанные на седла. Страх понемногу проходил, уступая место удивлению и любопытству. Должно быть, лиходеи, коль держат при себе оружие и рыщут по безлюдной пустыне под покровом ночи. Возможно, именно их опасался отец, хоронясь в тугайных зарослях? А чего ему бояться? Разбойникам с большой дороги, подстерегающим богатые купеческие караваны, брать с отца ровным счетом нечего...

С опаской поглядывал Жаппар из-за своего укрытия на

ночных людей, безмятежно расположившихся вокруг ярко пылавшего костра. Вот они тесно уселись в круг, что-то оживленно обсуждают, головами кивают, руками размахивают. Долго следил за ними Жаппар, наблюдая за причудливой игрой несуразно длинных теней, разглядывая высокие мохнатые шапки и длинные сабли, болтающиеся на поясах. Юноша понемногу приходил в себя. Тот липкий страх, настигший его вместе с мраком, отпустил его. Как ни странно, костер, горевший впереди, и эти люди, нарушавшие ночную тишь, успокаивали его, словно разделяя одиночество. Стая хищников с оскаленными клыками, чудившаяся недавно в его воспаленном воображении, тоже исчезла. Ощущения притупились. Вновь тяжело навалились усталость и сон. Тени по-прежнему мелькали у костра, но они уже просто казались нелепым видением; юноша недолго боролся с дремой, сон сморил его.

Проснулся оттого, что кто-то коснулся его плеча. Рядом стоял отец. Он молча подал знак: «Ступай за мной». Они направились к саксаулу, где с вечера томился на привязи покладистый серый ишак. Отец повел его на поводу, пошел в сторону обрыва, по которому они спускались вчера.

Едва они выбрались из чащи, забрезжил рассвет. У опушки юноша посмотрел туда, где ночью горел костер. На том месте чернела круглая проплешина. Но ни одной живой души вокруг.

Жаппар поразился. Выходит, в полудреме он и не заметил, когда и как ушли эти странные люди. Вскоре отец с сыном выбрались на широкую караванную дорогу, покрытую пухляком. Далеко впереди, сливаясь с горизонтом, виднелись пестрые горы. А ближе в прозрачном утреннем воздухе темнело что-то огромное, зубчатое. Неподалеку, на расстоянии конских скачек, торжественно тянулся в сторону предгорья не виданный доселе Жаппаром красочный богатый караван. Впереди каравана, вокруг могучего слона с золотистым шатром-паланкином, гарцевали всадники-нукеры. Караван сопровождала с двух сторон конная охрана. В самом конце ехал еще один отряд, окруженный копьями. Длинное нарядное кочевье степенно спустилось в низину, плотно окутанную голубоватой дрожащей дымкой. Отец с сыном брели позади, стараясь не упустить из виду караван, но и с опаской поглядывая на грозных воинов, вскинувших над головой острые копья. Должно быть, эти воины разожгли прошлой ночью костер на краю чащобы. Жаппару теперь ясно стало, почему отцу понадобилось укрываться на ночь в густых зарослях

тугая. Ведь все дороги и тропы, выходящие из Великих Песков, зорко охраняются вооруженными отрядами, и не приведи аллах попасть им в руки в неурочный час. Не пощадят случайного путника. Но юноша еще не догадывался тогда о том, что эти воины были нарочно высланы вперед, как дозорная часть, обязанная обеспечить безопасность продвижения каравана мимо буераков, ущелий, тугаев и прочих разбойничьих притонов. Не знал он и того, что в золотистом паланкине за шелковыми занавесками сидела новая жена великого Повелителя — Младшая Ханша. Обо всем этом он узнал потом, во время чаепития, из уст словоохотливого хозяина плоскокрышей приземистой мазанки, которую отец еле разыскал среди узких и извилистых, как лабиринт, улочек, зажатых между глиняными дувалами на окраине большого города.

То был бай Ахмет, хозяин дома, где и поныне обитал мастер Жаппар. Ахмет долго стоял тогда перед ними, не узнавая отца. Толстый чернявый человек, уверенно расставив ноги, застыл у двери. Маленькие, узкие глазки на широком лоснящемся лице смотрели подозрительно.

Отец обстоятельно все объяснил:

— Вы что, почтенный Ахмет? Неужто запамятовали меня? Я гончар из Ор-тюбе. Помните? Когда вы приезжали по торговым делам, не раз у меня ночевали. Еще говорили: «Будешь в городе, останавливайся у меня». Вот я и разыскал вас...

Хозяин узнал наконец гостя: приветливо приложил руки к груди. Потом открыл ворота. Грузно переваливаясь, провел гостей в дом. В отдельной комнатке трое мужчин долго пили чай. Тут-то купец и выложил все последние городские новости.

Отец в конце беседы сказал:

— Как видите, привел я сюда сына. Пока еще жив, хочу поручить его вам. Недавно проходил через наш кишлак один дервиш. От него я узнал, будто хан намерен построить в городе новую мечеть и для этого отовсюду собирает мастеров. Помогите, чтобы мой сын попал к ним.

Выяснилось, что купец Ахмет едва ли не всех знает в городе, кроме людей из ханского дворца. После задушевной беседы за духмяным зеленым чаем на базаре с такими же, как он, купчишками, день-деньской зазывающими прохожих в свои крохотные, как птичье гнездо, лавчонки, оба мастера-гончара из Ор-тюбе, отец и сын, за какую-нибудь неделю оказались в числе строителей новой ханской мечети. Но едва выложили ее основание, отца свалила застарелая хворь.

Всего два месяца посчастливилось юному мастеру работать бок о бок с отцом. На стенах минарета, становившихся с каждым днем круче, он чувствовал себя как неоперившийся птенец и сжимался весь, съеживался под любопытными взглядами. И так он беспокойно озирался по сторонам весь нескончаемый день — с того мгновения, как солнце поднималось на высоту аркана, до того, как оно, изойдя нещадным жаром, скрывалось за горизонтом на виду у всех; робкий юноша испытывал скованность и неловкость и, не смея поднять глаза, застенчиво косился то на солнце, то на других мастеров-каменщиков, копошившихся на стенах мечети, то в сторону соседнего медресе, откуда, по слухам, наблюдал за ними, не спуская глаз, сам Повелитель.

Как на раскаленных угольях чувствовал себя Жаппар. Он изводил себя на работе; волнение, какая-то лихорадочная дрожь, нетерпение не оставляли его. Однажды, измученный, вернулся он после работы домой. Отец поманил его слабеющей рукой. Глаза Жаппара при виде угасавшего отца наполнились слезами; он даже не мог разглядеть его лица. Все поплыло вокруг, закачалось, замелькало, будто их комната невзначай погрузилась на дно озера. И в этом колыхающемся мире неподвижно белело беспомощное, высохшее тело старого гончара из Ор-тюбе. Из впалой груди вырывались хлюпающие звуки, не то стон, не то мольба, не то плач; они становились все реже, все слабее, а вскоре и вовсе оборвались. Сухая, жесткая рука безжизненно выпала из горячих ладоней юноши.

Теперь в большом и чужом городе он остался совершенно один. Он даже не мог вспомнить, что хотел перед смертью сказать отец. Одно только слово, точно невнятный лепет, застряло в памяти: «Не уезжай!» Теперь, взобравшись на макушку минарета, он ряд за рядом клал кирпичи, каждый раз на мгновение взглядывал вперед и больше ни на что не обращал внимания. Да и на что смотреть? Все одно и то же: приземистые глиняные домики и редкие пыльные чинары. Голубоватое небо во всю свою мощь и ширь, точно упиваясь своим величием, раскинулось над огромным пестрым городом. Юноша мастер уже заканчивал тот первый в своей жизни минарет, но с вершины его он так и не увидел ни горизонта, ни бескрайней бурой степи, по которой пришли они с отцом сюда.

Да-а... то было восемь лет назад.

И вот опять растил он стены нового, более высокого минарета. И снова, как тогда, кладя кирпич за кирпичом, каж-

дый раз на миг смотрел вперед. Глиняных приземистых домиков стало еще больше, дувалы — еще плотнее, улочки — еще теснее, и — казалось — они закрывали горизонт серой, как зола, пеленой. Еще недавно соперничавшие по высоте с новой башней и расположенные неподалеку медресе, мечети, минареты теперь безнадежно остались внизу, словно осели, растворившись в мглистой дали. С невиданной высоты уже проглядывались загородные сады.

Жаппар настойчиво поднимался все выше, навстречу необъятному, прозрачному небу, где не за что было уцепиться... Он был уже во власти неуемного азарта: с каждым новым рядом стремился еще дальше, еще выше. С таким отчаянием со дна омута рвется утопающий на божий свет.

И те загородные сады, темневшие вдали, с каждым днем становились ниже, неказистее, неприметнее, пока не превратились в пеструю лиловую полоску, обрамлявшую серо-мутное пространство города. Вскоре стало возможным различить и линию горизонта, еще недавно сливавшуюся с пестро-лиловой полоской садов. Белесое, застывшее марево над нею поредело, поразвеялось, и все отчетливее просматривалась густая синь.

Как-то после полудня, когда в прозрачном воздухе растаяла хмарь, сквозь стылую синеву вдали Жаппар вдруг углядел что-то рыжеватое. Не веря своим глазам, он положил мастерок на кладку, тыльной стороной руки смахнул пот со лба и вгляделся пристальнее. Да, он не ошибся: густая синева горизонта приоткрывала рыже-бурое пространство. Так видится дрожащее дно сквозь прозрачную глубину.

Жаппар весь подался вперед, вытянул шею. Об этом мгновении он давно мечтал. Голубоватая легкая кисея горизонта, долгое время застилавшая ему даль, сейчас будто сжалилась над зоркоглазым юношей, не устояла под его жадным нетерпеливым взглядом, дрогнула и отступила, раздвинулась. Серо-бурое пространство, притаившееся за смутным пологом горизонта, теперь ширилось, разрасталось на глазах, обрамленное дрожащей синеватой полоской.

Поднимаясь кирпич за кирпичом, ряд за рядом выше, выше, Жаппар уже не в силах был избавиться от ощущения, будто из-за дальней дали неудержимо накатывалась грозная и могучая волна, готовая вот-вот разом накрыть, захлестнуть все на своем пути — и кусты, и непроходимые заросли тугаев, и кажущиеся издалека неприступными минареты, и голубые купола мечетей, и слепленные из желтой глины мазанки и дувалы. И еще мерещилось ему, что простор, стремительно

надвигавшийся из-за открывшейся вдруг черты, спешит сюда, чтобы освободить его, одиночку, пришельца, сироту, лишившегося своей вольной степи и заживо замурованного в кирпичные стены...

Он не спустился с вершины минарета, пока не закатилось солнце и не сгустились сумерки. Наутро, чуть свет, он вновь был там же. Лишь на минарете, имея возможность видеть перед собой огромное пространство, загадочно простиравшееся за столичным городом Повелителя, он находил себе успокоение. Однако никаких перемен в той манящей дали он не заметил. Целыми днями с нетерпением ждал Жаппар, когда улетучится дымка у горизонта — затейливая игра теней. Но лишь после полудня миражи куда-то исчезали, простор открывался, сквозил, а пустыня, о которой так тосковала душа, оставалась безмолвной, безучастной ко всему на свете, не приближаясь и не отдаляясь. Это приводило в уныние. И она, пустыня, точно этот опостылевший город, убивала своим равнодушием пылкие мечты молодого мастера, скрывала в своем безбрежном лоне родной и любимый до боли клочок земли, делая вид, что ничего не знает и не понимает.

Радостная надежда, которой он жил всю эту неделю, разом погасла. Вершина минарета уже не влекла его. Раньше минарет чудился ему единственной дорогой, по которой он мог выбраться из душной теснины ханской столицы на желанный и вольный простор. Ну, что ж... из духоты и тесноты он, пожалуй, выбрался, на это он еще оказался способным, но вдохнуть жизнь в безликое пространство, избавить его от немоты и бездушия ему, очевидно, не под силу. И, выходит, напрасно он только радовался и ликовал, когда поднимался хотя бы на вершок, будто одолел горную вершину, напрасно тянул жилы... Одни муки достались на его долю.

Теперь он чувствовал себя человеком, который по наивности пытался перейти широкую и бурную реку, вымащивая брод камнями, но потом запоздало понял, что ничего не выйдет из этой затеи, и застрял на середине пути, не смея ни вперед шагнуть, ни назад отступить. Идя по утрам на работу, Жаппар с досадой и неприязнью косился на сотворенный им минарет, который хотя и вознесся горделиво над землей, однако до поднебесья так и не дотянулся.

На стены минарета он поднимался с трудом, задыхаясь. Ноги наливались тяжестью, подкашивались, голова кружилась.

И работа как-то разладилась, мастерок валился из рук. Дни тянулись утомительно-бесконечно. Солнце, казалось, сто-

яло на привязи. За городом, разморенная зноем, дремала бурая пустыня. И город точно вымер, окаменел. На улочках внизу не видно ни живой души. Воздух застыл, загустел, стал вязким, тяжелым, словно закисшее молоко. И даже на самой вершине минарета не чувствовалось свежего дуновения. Ослепительное солнце выжгло и еле различимую отсюда бурую пустыню, и недавно еще темно-синюю полосу загородных фруктовых садов, и само небо над городом и окрасило все в лиловый цвет спаленной травы-гармалы, из которой осенью женщины готовят щелочь. Казалось, некое чудовище, сказочный злой великан, засучив рукава, разводил на земле гигантский костер и сжигал все дотла, чтобы из горы пепла и щелочи варить потом в необъятно-огромном казане черное, как деготь, мыло. И раскаленное солнце чудилось все сжигающим огнем под тем непомерно громадным казаном.

Странная тяжесть и безразличие сковали движения. Жаппар будто беспомощно барахтался в вязкой жиже. Внимание рассеивалось, мысли путались, при всем своем желании и старании он не мог сосредоточиться. Перед глазами нет-нет да и возникало вновь давно забытое видение, от которого сладко сжималось сердце. Неприглядная в своей убогости лощина, где прошло его детство, родной кишлак. Вон и ягнята, резвясь, спешат на выпас, и над ними вьется-тянется сизый шлейф пыли... Стройная гибкая девушка, слегка покачиваясь, идет к реке. Множество косичек трепещет, извивается на ее спине. На плече девушки — кувшин. Его, Жаппара, кувшин...

Он вздрагивает вдруг, будто кто-то ущипнул его невзначай, встревоженно оглядывается вокруг. Все то же: полдень, изнуряющая, отупляющая жара, кирпичные стены минарета. Внизу — сонный, точно вымерший город. Над головой — выгоревшее, пепельное небо.

Жаппар вспоминает только что промелькнувшие видения, родной кишлак. Почему он не остался там? Делал бы, как прежде, свои кувшины. Разве не все равно, кем ты проживешь свой короткий век в этом мире: чабаном или торгашом, горшечником или строителем ханских минаретов? В конце концов все они копошатся и суетятся ради существования. И еще неизвестно, кто больше преуспевает, кто больше наслаждается жизнью. И может, выгадывает тот, кто ни на шаг не отрывается от земли, живет себе, как предопределено самой судьбой, а не бросается очертя голову в неведомый омут, где кипят страсти, повседневно, ежечасно отча-

янно борются надежда и сомнения, где на долю одинокой души падают одни лишь муки и страдания... Жил бы он себе тихо и скромно в своей ветхой лачуге за глиняным дувалом, даже представления не имея о тоске и одиночестве, царящих в многолюдном городе. И что только так властно притягивало уже обреченного отца в этом человеческом муравейнике? Что он в нем нашел? На что надеялся? Лишь на полгода и хватило его здесь. Умер на чужбине, вдалеке от родного очага. Жена и дети даже горсть земли не смогли бросить на его могилу. И все ж у ворот смерти успел прохрипеть: «Не уезжай». Что это означало?

Остался Жаппар... Только много ль радостей изведал? В том ли смысл и прелесть жизни, что попеременно оказываешься в объятиях то слепой, в цветастые лохмотья наряженной надежды, то убогой скуки, волочащей по земле свой измызганный серый подол?

Почему отец так страстно желал, чтобы из его сына вышел чуткий мастер с божьей искрой в груди? Почему не обучил какому-нибудь незамысловатому ремеслу, с каким худо-бедно прожил бы положенный век, не ведая ни горя, ни сомнений, ни обманчивых желаний? Помнится, отправляясь на поиски глины, отец подолгу стоял в безлюдной степи, задумчиво и отрешенно глядя куда-то вдаль. Неужели он тогда мечтал об этом городе, лежащем теперь у ног сына, несуразном, нелепом муравейнике, разморенном от зноя и покрытом пылью?!

Теперь вот и он, следуя заветам отца и зараженный его неуемной страстью, устремился навстречу миражу-мечте, все выше, выше, отчаянно ловя точку опоры в безбрежном пустом пространстве. Строить основание на зыби, искать опору в пустоте — напрасные потуги, безумная затея.

...То ли от невыносимой жары и духоты, то ли от тоски и отчаяния, отравлявших сознание, в глазах молодого мастера потемнело, и все вокруг поплыло, точно в мареве. Опасаясь упасть с высоты минарета, он поспешно спустился на две ступеньки. Странная зыбкая пелена перед глазами словно густела, мрачнела, и шершавые кирпичики, едва схваченные раствором, еще не обмазанные глиной, тоже вдруг стали терять розоватый оттенок и будто уплывали из-под рук, растворяясь в загадочной сутемени. Жаппару померещилось, что он повис между небом и землей. И только черную зияющую полость под ногами, узкий гулкий колодец, по стенкам которого он поднимался на вершину минарета, все размывающий зыбкий мрак еще не успел проглотить.

И вдруг в черном, жутковатом колодце под ногами неожиданно вспыхнул яркий свет; потом, преломляясь, во все стороны устремились оранжевые лучики, по стенкам замелькали-заиграли блики; они разрастались, приближались, принимали фантастическое обличье. Казалось, кто-то невесомый, молчаливый неслышно подкрадывался к нему. Уже почти поравнялся. Вот он встал прямо перед ним. Тоже будто завис, окутанный густой текучей хмарью, между белесым небом и серой бездонной пучиной. Казалось, коснись они невзначай друг друга или столкнись в парении, и оба неминуемо сорвутся в мглистую пропасть. Странное видение чуть пошевельнулось, сделало еще один шаг к нему... По телу пробежала дрожь. И тогда все таинственное, как болезненное наваждение, разом развеялось, исчезло, все стало на свои места и приняло привычные обличье и окраску. Под ногами, на деревянном настиле, валялась куча шершавых розоватых кирпичей. Мастерок, весь измазанный раствором, чудом удержался на краю кладки. Смутный, неверный мир, каким он снится порой в дурном сне, растворился, улетучился, как серебристая осенняя паутина в жаркий полдень. Жаппар застыл, опешил, все еще находясь между сном и явью, не в силах различить, где привидение, где подлинная действительность. Если это загадочное видение, окутанное колыхающимся маревом, было явью, то куда оно исчезло так мгновенно? Но если явь и есть то самое мгновение, когда все окружающее — только действительность, то откуда вдруг взялась эта дивная молодая фея в златотканых одеждах? Что ей понадобилось в недостроенном, сырой, липкой глиной измазанном минарете? Ну, конечно, никакая она не фея; просто судьбе угодно пошутить, посмеяться над бедным каменщиком, сомлевшим от нестерпимой жары и духоты...

Через редкую воздушную накидку, увитую золотыми нитями, пытливо взирали на него большие черные, как смородина, жгучие глаза. И если бы не эти живые глаза и тонкие насурьмленные брови над ними, можно б было подумать, что игривый ветер занес на вершину минарета чью-то кисейную накидку. Таинственная хрупкая женщина, почудившаяся ему феей из древнего сказания, стояла безмолвно перед ним, облаченная в прозрачный, ослепительно белый шелк.

Жаппар, все еще борясь с наваждением, дерзко обвел ее глазами с головы до ног. Он должен был, наконец, убедиться: живая, из плоти и крови, женщина стоит перед ним или прекрасная мечта вновь поддразнивает его.

Острый взгляд мастера мгновенно заметил удивленно рас-

крытые жгучие, чуть раскосые глаза. От черных искр, мерцавших в глубине зрачков, казалось, вот-вот вспыхнет легкая накидка.

Женщина, должно быть, догадалась, что мастер от растерянности не верит своим глазам. Тоненькими пальчиками подхватила она подол длинного парчового платья, даже под легкой накидкой блестевшего в лучах солнца, мелко ступая, подошла к краю кладки, глянула вниз и испуганно отшатнулась. Рукой она при этом невольно потянулась к пышному саукеле, чтобы не уронить невзначай, и на нем, посредине, над лбом, ослепительно сверкнул рубин. Она хотела что-то сказать, но то ли раздумала, то ли не знала, что следует говорить в подобных случаях, промолчала и смущенно улыбнулась.

От этой неожиданной улыбки, от легкого стыдливого румянца белое кроткое личико с большими горящими глазами вмиг ожило и стало еще прекрасней. Улыбка почудилась Жаппару знакомой. Более того, и сама молодая женщина, и ее невинная, неземная красота напомнили что-то близкое, дорогое, виденное уже однажды.

Все так же чуть приподняв подол платья, женщина направилась к ступенькам, ведущим вниз. На повороте под мелькнувшим платьем он увидел на миг ее тугие икры, плотно обтянутые белыми атласными шальварами.

Крохотная легкая фигурка под пышной, прозрачной накидкой медленно удалялась, погружалась во тьму узкого ущелья.

Жаппар все еще не мог прийти в себя. Хотя дивную женщину в белой накидке и проглотил мрак, но ее смущенная улыбка, застывшая в уголке вишневых губ, и черные блестящие глаза, смотревшие в самую душу, словно навеки остались с ним в вязком воздухе на вершине минарета. Он стоял неподвижно, боясь вспугнуть то чудное видение, что неведомой негой наполнило сердце, и еще долго глядел, растерянный, ошеломленный, на пустое пространство, окутанное хмарью. Потом нехотя потянулся рукой к мастерку.

Нет, все-таки где и когда он мог увидеть эти нежные, сочные губы и угольно-черные, блестящие глаза? Ведь неспроста эта загадочная женщина показалась ему такой знакомой. Кто она?.. Или кого она напоминает? Даже походку ее он будто знает издавна и видел много раз. Однако с кем же он сталкивается каждый день? С рабами, подносящими ему раствор и кирпич, с хозяевами дома, где уже столько времени живет. Выходит, ни о какой знакомой не может быть и речи.

Выходит, и на этот раз просто показалось... Постой, постой... Может, это и была сама Зухра, хозяйская дочь, выданная замуж? Ведь и ее он впервые увидел точно так же неожиданно. Правда, он жил с ней в одном доме, видел, как она молча ходила, удивительно легко и неслышно, по двору, и лишь изредка смутно и отчего-то тревожно угадывался ее стройный, гибкий стан под просторным и длинным до пят шелковым платьем. А лицо ее всегда скрывалось под чадрой. На мужскую половину она, конечно же, никогда не заглядывала.

Однажды юный мастер пришел домой, когда купец с женой где-то задержались. Кто-то тихо напевал во дворе. Он оглянулся, подошел к навесу и увидел Зухру. Она, легко и высоко подпрыгивая, сбивала с урючины спелые плоды. Чадра соскользнула на плечи, но девочка-подросток, увлеченная своим занятием, не обращала на это внимания. Вскоре она, должно быть, почувствовала на себе его пристальный взгляд, быстро оглянулась и обожгла его огненным взором. Он оробел. Зухра вскинула брови и смерила его долгим взглядом, не то любопытно-шаловливым, не то осуждающе-капризным. Он тогда впервые увидел открытое девичье лицо, широкий белый лоб, прямой маленький нос и пухлые, цвета спелой вишни, губы. Зухра вдруг спохватилась, вспыхнула вся и, поспешно поправляя чадру, побежала к дому. Он все глядел вслед, не в силах оторваться от трепыхавшегося на ходу платья...

С того дня, приходя домой, он невольно высматривал юную байскую дочь. Обостренный слух чутко улавливал каждый шаг девушки, молчаливо хлопотавшей возле матери, и даже едва различимый шорох ее платья. В отсутствие отца и Зухра оживлялась более обычного, старалась почаще попадаться на глаза юному постояльцу и, делая вид, что помогает вечно озабоченной матери, шмыгала взад-вперед по двору Мельканье ее просторного платья и легкой чадры, которая, казалось, слетит с ее головы от малейшего ветерка, навевало приятную, волнующую кровь истому, и в душе молодого мастера рождалось, зрело, крепло неведомое чувство счастья.

В какой опустошительный и горестный огонь превратилось то робкое и загадочное чувство, он понял лишь тогда, когда во дворе бая Ахмета навсегда умолк желанный шорох платьев Зухры. Только теперь он осознал, как глубоко запала ему в душу девочка-подросток под воздушной чадрой. Долго потом горело сердце от тоски и желания, долго клял себя за нерешительность и беспомощность. Со временем

смирился со своей судьбой, убедил себя в том, что та мимолетная радость никогда уж к нему не вернется. Так каким же образом Зухра вдруг очутилась сегодня здесь, на головокружительной вершине минарета? Как отпустил ее сюда ревнивец муж с мрачными кустистыми бровями? И как случилось так, что, видя ее перед собой, любуясь ее красотой, он вновь не промолвил ни единого словечка? Она, возможно, простила ему ту первую его растерянность, но сегодняшнюю его беспомощность, молчание она конечно же не простит. В ее представлении он теперь — живой труп, без огня в груди, без гордости и чести. Искреннее сочувствие, до сегодняшнего дня не угасавшее в ее сердце, отныне наверняка превратится в холодную неприязнь.

Он глянул вниз. У минарета стояли четыре крытые повозки. Женщина в белой накидке, казавшаяся отсюда, с вышины, пушинкой над пепельной, выжженной землей, стремительно направилась к одной из них. За ней тянулась пышная свита. Несколько слуг бросилось вперед, распахнуло перед маленькой женщиной дверцу повозки, обтянутой золотистым атласом. Две женщины в желтых накидках, поддерживая таинственную гостью под руки, помогли ей подняться по навесным ступенькам. При входе в повозку от резкого движения белая накидка на мгновение взметнулась и тут же, словно ревниво оберегая ту, что находилась под ней, от чужого, худого глаза, вновь опустилась. Поджарые горячие кони, беспокойно перебиравшие ногами, рванули с места. Голубая шелковая занавеска на окошке трепыхалась, билась, играя со встречным ветром.

Молодой мастер зачарованно глядел вслед быстро удалявшимся повозкам. Сизый шлейф пыли, долго не оседая, волочился позади. Нарядный кортеж вскоре исчез за высокой оградой вокруг густого сада, в котором находился дворец Младшей Ханши. Только теперь Жаппару стало ясно, что за гостья удостоила его своим вниманием.

Все вокруг вдруг лишилось привычных очертаний. Из степи медленно наплывали вечерние сумерки, окутывая окрестности серой дымкой. Безразличный и вялый спустился молодой мастер с минарета. Как всегда помылся. Рабов давно уже угнали в крепость. Возле минарета стояла одинокая серая повозка, в которой его возили на работу и домой. Еще утром, выйдя из повозки, он по привычке бросил взгляд на голые, корявые, еще не облицованные стены минарета и поморщился как от боли: на фоне голубого чистого неба его творение казалось грубым, несуразным и даже уродливым.

Со смешанным чувством удивления, досады и откровенного отчуждения смотрел он на каменную, никому не нужную громаду, тупо устремившуюся ввысь. Впервые сегодня он так явственно увидел и осознал всю ее претенциозную никчемность. Видно, одно лишь желание руководило им — скорее бы подняться над лабиринтом глиняных дувалов, чтобы увидеть простор степей. И ради этой одной-единственной цели он клал кирпич на кирпич, ряд за рядом, и уже вполне довольствовался этим. И ночью, во сне, неотступно преследовало его вчерашнее видение: белая, невесомая, как мираж в знойный месяц, накидка и голубая шелковая занавеска, которую трепал на окошке повозки игривый встречный ветер. И этот легкий, трепетный мир, овеянный свежим осенним дуновением, прозрачным утренним воздухом и чистым, бездонным небом, казалось, грубо разрушала совершенно неуместная здесь каменная махина. И от этого несоответствия, внутреннего несогласия душа молодого мастера омрачилась, опустела.

Он как всегда вел кладку и после каждого кирпича растерянно поглядывал в сторону сада за высокой каменной оградой. Все чудилось ему, что из какого-нибудь окна, укрывшегося в тенистом саду дворца, смотрит на него юная ханша. И каждый раз, конечно, видя это каменное чудовище, воздвигнутое им, она испытывает боль и унижение. Уродство, должно быть, убивает хрупкую, нежную, как ее накидка-кисея, мечту.

У Жаппара опускались руки. Он швырнул к ногам красный плотный кирпич.

Прозрачный, синью пронизанный воздух застыл, как гладь степного озера после бури.

Он был раздавлен. Он не знал, как дальше быть, что делать... Его волнения, старания, многомесячные труды неожиданно потеряли всякий смысл. Он понимал, что должен, как все эти долгие дни, продолжать кладку кирпич за кирпичом, ряд за рядом, но руки не слушались, это было уже выше его сил. Была у него цель, преследовавшая неотступно,— вырваться из тисков невзрачных глиняных дувалов и увидеть бескрайний голубой горизонт, словно выплеснувшийся из чаши вселенной. Это желание осуществилось. Увидел он, наконец, и долгожданный горизонт, точно через окошко глянул на беспредельный божий мир, только радость от этого оказалась недолгой и непрочной: желанная цель изо дня в день неумолимо удалялась, уплывала. Еще недавно этот минарет, дерзко устремившийся ввысь, казался ему могучей рукой

доброго и всесильного великана, освободившего его из затхлого, душного мирка городской окраины и поднявшего на спасительную высоту; однако теперь минарет будто держал его на привязи, не позволял свободно парить в поднебесье, сковывал порывы и потому походил на темницу-зиндан, построенную только не под землей, а над ней. Словом, мастер чувствовал себя пленником, невольником, который не в силах и на землю опуститься, и в небо взмыть... Будто завис между небом и землей. Это, может быть, не менее мучительно, чем, скажем, заживо гнить в темнице. Там ты тоже связан по рукам и ногам, однако избавлен от любопытных глаз. И тут ни один не проходит, не взглянув на тебя. И каждый при этом волен судить о тебе как ему заблагорассудится. А что может быть неприятнее чужого глаза и страшнее людской молвы? Нет такого человека, который не терялся бы под пронзительным осуждающим взглядом, способным копьем вонзиться в грудь или стрелой в затылок. И, вероятно, нет большей муки, чем знать, что именно на тебя глазеют издалека и именно о тебе ведут досужие разговоры, но не знать, не догадываться, почему глазеют и что говорят. Все это так, и тем не менее большинство человеческого рода отчаянно рвется к славе. Едва ли не в каждом сидит соблазн быть на виду толпы; для многих бесславная жизнь подобна затворничеству в темнице. А между тем, если честно признаться, большая слава и постоянная жизнь на виду и есть подлинный ад. В темнице тебя угнетают и холод, и сырость, и бессилие, и безмолвие, и мрак — все это верно, но даже у такой жизни есть своя очевидная определенность. Но в чем прелесть и смысл мнимой свободы, если ты постоянно будто голым ходишь посреди белого дня по улице, ежась под бесцеремонными взглядами встречных-поперечных и гадая, почему один усмехнулся, другой выпучил глаза, а третий показал тебе вслед язык. И все-таки все желают известности, каждый норовит показать себя. Вот эта человеческая слабость — неуемная жажда славы — обрекла его на муки одиночества и загнала на вершину минарета, где он торчит на забаву скучающему глазу и праздному языку, словно овечий катышек на камышинке... Теперь ему стало совершенно ясно, что и больного отца, который, вместо того чтобы благоразумно сидеть в своем крохотном кишлаке, делать кувшины и худо-бедно доживать у родного очага свой век, пустился в далекий и опасный путь, в чужой, неведомый город, гнала, лишив покоя, опять-таки эта самая пагубная страсть — желание добиться при-

знания и славы. Теперь вот и он, Жаппар, оседлал строптивую лошадку удачи, именуемую еще зачастую мечтой; многие безумцы хватали ее за шелковую гриву и даже до поры до времени, случалось, скакали на ней, пьянея от счастья, но потом почти всегда оказывались на земле, у ее ног.

И сегодня, ясным утром, когда солнце еще не раскалилось и воздух не лишился прозрачной синевы, стоял он — уже в который раз! — на вершине, у края кладки, и потерянно озирался вокруг, не испытывая привычного нетерпеливого желания продолжить работу.

Все тот же город простирался внизу. Неказистые глиняные домики стояли там-сям, вразброс, похожие на обмусоленные мальчишкой кусочки сушеного творога на убогом дастархане. Небосвод был чист, без единого облачка, но непроницаем и равнодушен ко всему на свете. Взгляд Жаппара долго блуждал в пространстве между небом и землей и, не найдя зацепки, вновь устремился в сторону сада Младшей Ханши.

Дворцовая площадь, укрытая сверху пышной листвой, сегодня — совершенно неожиданно! — открылась перед ним как на ладони! Оказывается, стремясь скорее увидеть манящую полоску горизонта, он совсем не обратил внимания на то, что находилось поблизости. Между тем дворец Младшей Ханши, ревниво оберегаемый от постороннего глаза, днем и ночью охраняемый вооруженными сарбазами, доступный лишь вольным птицам, прекрасно просматривался с высоты минарета. Ошеломленный этим открытием, он пригляделся пристальней и отчетливо увидел и белесые тропинки в саду, и круглые, как наперсток, зеленые лужайки, и зеркально-гладкие голубые запруды-бассейны.

Нетерпеливая дрожь проснулась в нем. Руки сами потянулись к кирпичам, сваленным у ног. Ему хотелось скорее поднять кладку еще выше. Поднять на такую высоту, чтобы взору его были доступны все уголки таинственного дворца. И тогда... тогда он, безымянный молодой мастер, станет во всей вселенной единственным человеком, которому с высоты птичьего полета позволено любоваться вдосталь дворцом, куда грозный и всемогущий Повелитель запрятал прелестную юную ханшу. Даже сам всесильный владыка, покоривший немало стран из трех сторон света, не может обозревать укромный сад своей жены так, как это доступно молодому зодчему.

Куча кирпичей у его ног таяла на глазах. Мастер Жаппар в тот день даже не заметил, как стемнело.

Наутро, взяв в руку мастерок, он первым долгом посмотрел в сторону сада ханши. Конечно же, подумал он, не исключено, что и юная ханша, сидя у одного из бесчисленных окошек, с любопытством наблюдает за ним. Теперь у него появилась ясная цель: он должен закончить минарет, чтобы он написал над головой в любом — даже самом укромном! — уголке ханского сада.

Ранее, бывало, выложив ряд, он позволял себе передышку и предавался раздумьям. Теперь же работал споро, без пауз. Если будет так работаться и дальше, то через неделю минарет достигнет желанной высоты. Потом — главное: его необходимо отделать, украсить так, чтобы он удивлял и восхищал взор каждого. Нужно оживить эту несуразную каменную громаду, вырвать ее из безмолвия, придать легкость, изящество, блеск, найти особый цвет, оттенок, отражающий извечную гармонию неба и земли. Для этого сначала нужно найти форму, удачно завершающую вершину минарета. Если закончить минарет на одном уровне, ровно, то это придаст ему незавершенный вид, и тогда башня при любой высоте все равно будет смахивать на обрубок. Заузить вершину, сделать ее острой, как копье,— вряд ли целесообразно. Получится, будто минарет впивается своей вершиной в грудь неба. Видно, минарет следует завершить в форме купола, голубого, как небо, чтобы не оттенять завершающую грань, а придать линиям мягкость, незаметно сливающуюся с небесной ширью. Тогда минарет обретет некую таинственность, загадочный облик, и не сразу будет понятно, то ли он устремился с земли в небо, то ли с неба стремительно летит к земле. А это как раз то, что ему, мастеру, надобно. Он вовсе не желает, чтобы его минарет своей мощью и величием внушал ужас и страх или, наоборот, казался красивой и невинной игрушкой, которую каждому хочется мимоходом прихватить. Важно, чтобы его красота вызывала не просто восторг и удивление, не только радовала взор, но и поражала своей таинственностью, тревожила многозначительностью и загадочностью. Перед глазами мастера вновь мелькнула шелковая занавеска на окошке золотистой повозки. Встречный ветер словно заигрывал с ней...

Счастливая мысль точно пронзила Жаппара. Он нашел наконец то, что так долго искал. Ну конечно, он должен придать башне такую же легкость и игривость. Она будет являться перед взором неожиданно и поражать сознание, покажется белой, гладкой рукой истомленной любовью красавицы, рукой, протянутой к одному из ангелов, незримо

обитающих на необъятном голубом небе. Пусть даже Повелитель, возвращающийся утомленным из далекого и опасного похода, увидит в ней руку, радостно приветствующую его.

«Нужно о синильной краске позаботиться,— подумал молодой мастер.— Надо собрать дермене[1], запастись пеплом от перекати-поля...»

И тут его охватило нетерпеливое желание скорее докончить кладку стен и приступить к осуществлению мечты, так неожиданно вспыхнувшей в его душе. Он сейчас больше всего на свете боялся лишиться того дива, так отчетливо представшего перед ним в этой прозрачной сини утреннего воздуха. От одного этого подозрения ему стало не по себе; казалось, злая рука искусителя Азазеля одним движением сотрет прекрасное видение. Уже охваченный страхом, он широко открытыми глазами посмотрел вдаль: необъятный лазурный простор зыбился перед ним.

Внизу лежал все тот же ханский сад. На открытой площади степенно прогуливались молодые женщины, словно размореные негой лебеди плыли по озеру. Жаппар не заметил, откуда и когда они здесь появились. Вскоре стайка разнаряженных красавиц потянулась к зеркальному пруду на краю зеленой лужайки. С двух сторон пруда высились две подставки, похожие на башенки. Белая сетчатая занавеска была протянута между ними. На берегу пруда — то здесь, то там — кучками лежали красные яблоки.

Женщины подошли к пруду и начали раздеваться. На зеленую траву белыми островками легли пышные парчовые платья. Из-под белоснежного белья враз вынырнули, купаясь в розоватых лучах утреннего солнца, статные, как на подбор, молодые нагие женщины. Уже в следующее мгновение, ликующе взвизгнув, они попрыгали с бережка в лазурный пруд. Взбурлилась, заискрилась водная гладь, точно иссеченная градом коралловых бус. Замелькали над водой белые руки, вздымая тучи брызг. Порезвившись, несколько купальщиц выбежали на берег и принялись швырять в пруд темно-красные наливные яблоки. Остальные с хохотом ловили их, высоко выпрыгивая из воды. Забава разгоралась; женщины, барахтаясь в пруду, затеяли шумную возню, отталкивали друг дружку, стараясь поймать яблоко. Вместе с женщинами расшалились и волны; белогривый гребень воли, накатываясь, жадно целовал тугие острые груди, на мгновение мелькавшие над вспененной водой. Черные блестящие волосы ку-

[1] Цитварная полынь.

пальцы рассыпались по смуглым гладким плечам, шее и грудям, словно оберегая их от настойчивых ласк. Сонный пруд в ханском саду заколыхался, взыграл волнами, будто в него разом пустили тысячу серебристых сазанов, и выплескивался на берег. Юные купальщицы, одна другой краше, подзадоривая друг дружку, выпрыгивали высоко, резвились, будто упругие белые волны. Веселая зыбь обычно тихого ханского пруда взволновала сердце молодого мастера.

Наконец купальщицы угомонились; успокоился и пруд, вновь засверкал зеркальной гладью. Сорок красавиц уселись вокруг пруда, опустив ноги в воду, стали на солнышке греться-загорать, друг дружке волосы расчесывать, косы заплетать. Потом опять все разом вскочили, направились к лужайке, где белела их одежда. Истомленные, разморенные, чуть порозовевшие от солнца, красавицы степенно пошли ко дворцу.

Едва они скрылись за купами кустов перед дворцом, из разных уголков сада выбежали десять мужчин и начали длинными сачками вылавливать яблоки в пруду.

Работа опять заспорилась. Жаппару казалось, что стоит только на одну пядь поднять кладку, и ему уже никогда не увидеть подобной красоты. Все эти долгие месяцы башня неуклонно рвалась ввысь, а теперь она будто достигла желанной вершины, ни на вершок не хотела подниматься.

Отныне каждый раз, когда юная ханша и ее свита купались в пруду, мастер не спускал с них глаз, надеясь, что они посмотрят в его сторону. Однако ни одна из сорока прелестных купальщиц, резвящихся в воде и загоравших на бережку, ни разу не глянула на возвышавшийся неподалеку минарет. С обидой и надеждой следил он за ними и тогда, когда они одевались и лениво-разморенной походкой удалялись во дворец. Купальщицы точно сговорились: никто не оборачивался, не удостаивал ни его, ни башню взглядом.

Когда сорок красавиц, медленно ступая, скрывались за купами кустов, ханский сад мгновенно пустел и терял нарядность и привлекательность. Тускнел и зеркальный пруд, словно посыпанный пеплом. Гасли живые краски многоцветных, ярких, как иранский ковер, клумб.

Пусто и грустно становилось и на душе молодого мастера. Опечаленными, как у верблюжонка-сироты, глазами подолгу смотрел он на еле заметную, извивавшуюся внизу белесую тропинку, по которой только что прошла со своей свитой юная ханша. Но тропинка, ревниво скрывающая даже след ханши, загадочно молчит и будто ухмыляется

ему в лицо. Мысленный взор молодого мастера одиноко плутает по песчаной тропинке, ныряющей в купы зарослей перед дворцом, тоскует по сорока красавицам, но не решается преследовать их дальше, растерянно бродит возле зеленых кустов и возвращается назад ни с чем.

И эти душевные муки продолжаются изо дня в день. Жаппар с опаской поглядывает на солнце, желая, чтобы оно не спешило, не заходило, надеясь, что ханша со своей свитой выйдет на прогулку. Однако после утреннего купания ханша уже не показывается в саду. Извелся джигит от тоски и уныния. Горячий, строптивый скакун, понесший было его к яркой мечте, вдруг вновь обернулся рабочей клячей, понуро бредущей по извилистым тропинкам повседневной жизни. Только теперь Жаппар осознал, что ему, невольнику и бедняку, с малых лет копающемуся в глине, даже думать о ханше и грезами будоражить свою душу — уже кощунство и непростительный грех. И он, пугаясь самого себя, озирался по сторонам: не догадался ли кто о его смятении и предосудительном смутном желании? Однако кому какое дело до одинокого мечтателя, томящегося на вершине минарета под самым небосводом! Ведь по существу он все равно что отбившийся от стаи взъерошенный воробей на ветке чинары. Никто его и всерьез не принимает. Не потому ли ханша и ее свита, ничуть не стесняясь, догола раздеваются на его глазах и, вдоволь накупавшись, возвращаются во дворец, даже не взглянув в сторону минарета?..

Значит, для того, чтобы обратить на себя взор гордой ханши, он должен придать своему минарету такое великолепие, какого обитатели стран Двуречья и не видывали. Если бы только удалось воплотить свой замысел — построить минарет таким, каким он почудился ему однажды в счастливый миг,— тогда и ханша поневоле залюбовалась бы им. Разве устоит она, если сорок красавиц из ее свиты начнут, поцокивая от восторга языками, расхваливать на разные лады его творение?! Нет, наверняка будет сгорать от любопытства, и тогда — кто знает! — может, восхитится и величественным минаретом, и построившим его молодым зодчим.

Сердце вновь забилось пылко, нетерпеливо. Мастер твердо решил отделать свой минарет так, чтобы им не могли не восторгаться ханша и ее свита. Он заставит их смотреть на себя и говорить о себе!

По его велению неподалеку от минарета построили десяток глиняных печей-тандыров, каждая величиной с шестикрылую юрту. В них стопили целые горы цитварной полыни

и красильного корня, из золы потом готовили лазурь. Несколько мастеров обжигали мозаичные плиты, шлифовали их, красили в небесно-синий цвет, переливающийся в лучах солнца. Уже через месяц десять мозаистов, поддерживаемые канатами, приступили к облицовке минарета. Сам зодчий, не находя себе места, бегал вокруг своего творения, постепенно облачавшегося в голубой наряд. Иногда он уходил далеко, на расстояние кочевья, и оттуда отрешенно взирал часами на преображающийся минарет. Издалека он казался тонким шестом, смутно виднеющимся на дрожащем бледно-синем фоне. Окутанный маревом минарет словно подавал таинственные знаки и силился что-то сказать.

Долго смотрел Жапнар на безмолвного своего первенца, пытаясь понять, угадать, что же ему хочется высказать. И сидя в повозке, не отрывал от минарета взгляд. И стоя на земле, все что-то высматривал. Часто, приставив ладонь ко лбу, пристально следил за солнцем, которое со сдержанной улыбкой плыло по ясному небосводу. Случалось, задумывался, замирал в тихой безлюдной степи, прислушивался к чему-то, всматривался в небо, будто оттуда ожидая сокровенного знамения.

Потом, вдруг спохватившись, садился вновь в повозку и мчался в другую сторону. И здесь он опять застывал в полной отрешенности, точно завороженный чьей-то могущественной волей, и молча взывал к таинственному духу, растворенному в прозрачном воздухе и видимому только ему одному, зиждителю. Иногда лицо его искажала презрительная гримаса, будто что-то недостойное, низменное оскорбляло вынашенное в душе прекрасное видение, он качал головой, отплевывался, а то и вовсе закрывал лицо руками и садился на корточки. Должно быть, на него находило черное отчаяние, и ему уже ничего не хотелось видеть вокруг себя. Скулы резко обозначились, желваки бугрились на исхудалом лице, он молчал и скрипел зубами, словно изгонял из себя джинна сомнения и неверия и старался забыть мелочную суету, губившую вдохновение. Причудливые пестрые тени и видения, мельтешившие перед глазами, постепенно уплывали, растворялись в густеющем мраке, а вместе с ними куда-то исчезало и то, что приводило его в смятение, и он, понемногу успокаиваясь, осторожно открывал глаза, смотрел на голубевший вдали минарет и вдруг вскакивал, как безумный, вспыхивал от неожиданной радости, открыв что-то неведомое и очень важное для себя, что страшно было расплескать, потерять.

Повозка мчала его к минарету. Домчавшись, он как одержимый поднимался по лестницам к мастерам-мозаистам, облепившим крутые стены башни, что-то долго и горячо им втолковывал, от нетерпения размахивал руками, потом спускался вниз, внимательно разглядывал мозаичные плиты и, прихватив охапку, спешил к печам для обжига.

За эти месяцы он изнурил себя до неузнаваемости. Лицо обрело пепельный цвет. Кожа, казалось, приросла к костям. Одни глаза лихорадочно поблескивали, смотрели строго и пытливо, все время что-то беспокойно выискивали.

Еще недавно громоздкий и неуклюжий минарет, бездушной махиной возвышавшийся над землей, теперь неузнаваемо преображался на глазах. Все чаще оглядывались и засматривались на него прохожие, убеждаясь, что новый минарет совершенно не похож на другие минареты в городе, однако никто не мог точно определить — чем. Поражали цвета, причудливые переливы оттенков, бесконечно меняющихся в зависимости от местоположения солнца. Все это казалось таинственным, непостижимым.

Отделку купола Жаппар завершил сам.

Прошла еще одна зима, куцая, как всегда в этих краях, и без холодов. Наступила ранняя, но теплая весна, когда даже ночью не застывает жир. Деревья в ханском саду распустили почки, потом дружно зацвели, окутались сиреневой дымкой, воздух стал густым, вязким, и в нем запорхали бесчисленные синие, белые, оранжевые бабочки — лепестки цветов.

Приближалась пора, когда юная ханша в сопровождении пышной свиты совершает по саду утренние прогулки. Те дни Жаппар ждал с нетерпением. Вскоре наступили и они. Однажды из-за куп густо-зеленых деревьев перед дворцовой площадью показалась группа молодых женщин в воздушных белых платьях. Они сделали несколько шажков и остановились. Потом спохватились и торопливо, вразброд направились к зеркальному пруду на краю лужайки. Чем-то взбудораженные, они не разделись и не прыгнули в воду, как прежде, а, уже не скрывая изумления, с открытыми ртами уставились на минарет. То-то же, гордые красотки!.. Заметили наконец! Ну, ну, смотрите, любуйтесь, восторгайтесь! Жаппар злорадно и самодовольно усмехнулся. То ли от удовлетворенной мести, то ли от долгожданной радости, распиравшей грудь, на мгновение серый туман застил глаза.

Голубой минарет был близок к завершению. Только со

стороны дворца зиял еще зазор под куполом. Отсюда Жаппар незаметно наблюдал за ханским садом.

Он не спешил заделывать зазор. Жалко было расставаться с дивным видением, которым судьба одаривала его ежедневно. Стоило заложить кирпичами небольшую щель под куполом, и сорок красавиц, похожих на гурий в саду эдема, исчезнут для него навсегда.

На зеленой лужайке возле пруда чинно прогуливались сорок изнеженных, истомленных красавиц. В середине, выделяясь белоснежным саукеле, увитым жемчужными нитями, плыла прелестная ханша. И когда она со своей свитой, сбившейся в тесный круг на берегу пруда, долго и восторженно смотрела на минарет, молодой мастер чувствовал себя самим создателем, всевышним творцом, из райского сада благоговейно взирающим на дело рук своих. Каменный минарет, не однажды омрачавший душу и разбивавший его мечту, теперь вновь обернулся крылом счастья, взметнувшим его на недосягаемую высь. Но когда он вспоминал о том, что счастье это мимолетно, обманчиво, что через несколько дней оно его покинет навсегда, молодой мастер становился сам не свой, душа его ныла, обливалась кровью, будто ее рвали зубами собаки.

И тогда он принял отчаянное решение. Он не спустится с минарета и не заделает зазор под куполом, пока не придет палач с секирой в руке и не уведет силком его отсюда.

Вскоре на вершину минарета поднялся сам главный мастер. Должно быть, он догадывался о том, что творилось в душе Жаппара. Главный мастер принес весть: Повелитель возвращается из великого похода. К его приезду следует закончить минарет и дочиста убрать вокруг весь строительный хлам. По словам путников, новый минарет хорошо просматривается уже у границы Великих Песков. Вернется Повелитель, проведет великий пир в честь очередной победы, одарит драгоценностями своих бесстрашных бахадуров-воинов, а вместе с ними — наверняка и зиждителя храма-минарета, и тогда слава о нем облетит весь подлунный мир.

Жаппар молчал, понуро опустив голову, будто и не слышал, о чем говорил главный мастер. Заметив, что говорит впустую, главный мастер умолк, пытливо оглядел молодого напарника, точно ощупал его опытным, проницательным взглядом, и сразу сообразил, что тот находится во власти страстного, всепоглощающего чувства. Он покосился туда, куда устремился застывший, отсутствующий взгляд молодого зодчего, и увидел там, далеко внизу, на зеленой лужайке

ханского сада, юную ханшу со своей свитой, которые с любопытством разглядывали минарет.

Главный мастер ушел, не проронив ни слова.

Весть о скором возвращении Повелителя мгновенно облетела весь город. И обитатели махалля, где жил Жаппар, и строители, помогавшие заканчивать минарет, с утра до вечера только об этом и говорили. И лишь одному Жаппару, казалось, не было дела до этой новости.

Между тем горожане каждое утро, поднявшись с постели, первым долгом смотрели на новый минарет и всякий раз видели все еще не заделанный зазор под куполом. Однако ни один из смертных, не желающий видеть холодный блеск секиры в руках палача ни наяву, ни даже в страшном сне, не говорил о том ни единого слова, смутно догадываясь о тайне зазора, но строго держа ее за зубами. И опять-таки лишь сам зодчий ничего не чувствовал, не слышал. Даже ханша, наверняка не знавшая, о чем думают горожане, была встревожена дерзостью молодого мастера.

В тот день, когда к Повелителю отправили нарочного, утром из ханского сада выехали две повозки и понеслись в сторону минарета. Жаппар, стоявший на вершине башни, все видел. Через некоторое время издалека, будто из-под земли, послышались глухие шаги, эхом отзывавшиеся внутри полого минарета. Кто-то поднимался по узкой винтовой лестнице. Молодой зодчий насторожился, прислушался: звуки шагов сливались со стуком его сердца. Он метнул взгляд в сторону ханского дворца: на зеленой лужайке не было ни души. В безмолвии застыли и купы деревьев; густая тень покорно лежала у их ног. Казалось, весь мир, затаив дыхание, вместе с ним, Жаппаром, прислушивался к четкому, глухому стуку, приближавшемуся, как неотвратимый рок, откуда-то снизу, из мрачной глубины минарета.

Зябкая дрожь пробежала по спине Жаппара. Неведомое чувство — не то страх, не то ужас, не то покорность и смирение перед неминуемым — охватило его. Должно быть, так чувствует себя человек в предсмертный час, слыша, как приближается к нему, грохоча железным скипетром, ангел смерти. Молодой зодчий не шелохнулся, держался стойко и спокойно, прислушивался к грозным шагам, готовый, если это нужно, принять смерть.

Он не отрываясь глядел себе под ноги, где зиял мрачный бездонный колодец. Все громче становился звук шагов. Жаппар весь напрягся, мышцы будто окаменели, жилы натянулись, напружинились. Вот, вот, сейчас... сейчас. Ведь кто

осмелится встретить грозного Повелителя так, как он, не достроив башню, оставив, как вызов, зияющий зазор под куполом?! Какой владыка потерпит такую дерзость? Сейчас услужливый палач одним махом отсечет голову строптивцу и прикажет немедля заделать зазор главному мастеру.

Как завороженный смотрел Жаппар в зловещую черную пасть под ногами. Звуки, доходившие снизу, становились резче, жестче и словно сверлили темя. «Терпи,— уговаривал себя Жаппар,— все вытерпи!» Мысли путались, и сейчас у него не было другой опоры, другого утешения, кроме этих слов. В горле пересохло; в глотку точно загнали кляп; он задыхался; сознание помутилось. «Ну и пусть... пусть,— обреченно подумалось.— Так даже лучше. Сейчас, увидев секиру палача, даже не вскрикну. В одно мгновение душа покинет тело. И никто этого не увидит, не услышит. Пусть... хорошо!»

Шаги уже были рядом. Он с усилием повернул онемевшую шею, глянул в сторону ханского сада. «Хоть бы увидеть ее в последний раз... увидеть, перед тем, как ее палач снесет мне голову...» На зеленой лужайке по-прежнему ни живой души... А солнце стоит уже в зените... И зеркальный пруд застыл в безмолвии... Значит, и на прогулку сегодня не выйдет, и купаться не станет... Но почему не слышен зловещий стук шагов?..

Холодный свет блеснул перед глазами. Нет, то был не блеск отточенной секиры в руках палача. Тут же он уловил легкий шорох, что-то белое промелькнуло рядом и укрыло тусклый блеск жемчужины на руке.

«Ах, она сама пришла... Да, да, она... сама!» Прямо перед ним, точно такая же, как тогда, в первый раз, стояла юная ханша. То же белоснежное парчовое платье, та же прозрачная невесомая сетчатая белая накидка... Она не поднялась на последние ступеньки лестницы, будто опасалась, что там, на вершине, ее может сдуть ветром. Большие, влажные, как у верблюжонка, глаза смущенно улыбались... Пухлые и красные, как две вишенки, губы чуть вздрагивали... С него будто разом свалился тяжелый железный обруч, сковывавший его с раннего утра. Он, обезумев, бросился к ней.

Пылкость молодого мастера испугала женщину; она отшатнулась, отступила еще на две ступеньки.

Только теперь он опомнился и, устыдившись своего порыва, застыл на месте.

Она глядела на него доверительно и нежно. Юная прелест-

ная женщина, почти еще девочка с большими невинными глазами. Что-то неуловимо трогательное было в ее взгляде, не то испуг, не то смущение, не то какая-то затаенная боль, которую невозможно было выразить никакими словами. Точно так же, с неясной тревогой и надеждой, бывало, взглядывала на него и Зухра. Да, да, совершенно такой же взгляд — взгляд-обещание, взгляд-тревога, взгляд-нежность... Только у Зухры не пылал надо лбом крупный рубиновый камень и не белела так ослепительно драгоценная накидка. И если сейчас... сейчас же, в этот миг, он не скажет ей свои сокровенные слова, то и она, как когда-то Зухра, исчезнет для него навсегда. И тогда он всю свою жизнь промается, как неприкаянный, с болью, тоской и досадой в сердце...

Жаппар осторожно откашлялся, пытаясь что-то сказать, но голоса не было. Ханша с затаенной печалью глядела на него. Он протянул к ней руки, она не отстранилась, не противилась. Он сам не заметил, как осторожно притянул ее к себе, как она, мягкая, хрупкая, легкая, покорно прильнула к нему, вся исчезая в жарких объятиях. Он вдруг со сладкой болью почувствовал, что это и есть единственное мгновение счастья, отпущенное скрягой-судьбой, что уж больше никогда оно не повторится и не вернется. Он сильнее прижал к себе маленькую податливую фигурку ханши, прильнул сухими, жесткими губами к ее пухлым, сочным, как спелая вишня, губам, чувствуя, что млеет, тает от восторга и счастья.

Минарет был закончен в обещанный срок. Он возвышался спокойно и горделиво, сияя и купаясь в лучах солнца, ждал возвращения грозного Повелителя, чтобы приветствовать его издалека, еще за несколько перевалов до столичного города.

Потом Жаппар узнал, что Повелитель соизволил лично осмотреть новый минарет, что он долго и в задумчивости стоял возле него, любовался им и уехал приятно пораженный и довольный. Однако проходили дни, а из ханского дворца не было никаких вестей.

И однажды, когда в знойный полдень прискакал за ним нарочный, чтобы немедля доставить его в ханский дворец, Жаппар сразу понял, что там его ждут отнюдь не почести и подарки. И когда угрюмый серолицый старик, одиноко восседавший, нахохлившись, как стервятник, у мраморного хауза, в середине сумрачного и прохладного дворца, впился в него колючими, пронизывающими насквозь и все видящими глазами, молодой зодчий не смог ничего утаить.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЛЮБОВЬ

За последние три месяца Младшая Ханша заметно исхудала. От бесконечного томления у окна, сквозь разноцветную мозаику которого сочился мертвенно-пестрый свет, личико ее осунулось, побледнело. Нежная, упругая шея, еще недавно соблазнительно гибкая, теперь увяла, истончилась. Заострились и скулы, а под глазами даже сквозь густые белила проступали темные тени, такие же, как стойкий сумрак в ее одинокой опочивальне...

Ханша с досадой отвернулась от круглого зеркала, которое, точно злорадствующая соперница, подчеркивало каждый ее изъян.

Ни звука, ни шороха, кроме бесконечного монотонного шепота фонтанчика в круглом хаузе посредине огромного пустующего зала. Днем и ночью, ночью и днем бормочет, нашептывает он свое нескончаемое буль-буль-буль.

Иногда на нее накатывалось слепое отчаяние, и она подбегала к хаузу, готовая сокрушить его в безумии, но при виде покорной, в бездушный мрамор зажатой прозрачной струйки ярость мгновенно гасла, как свеча на сквозняке, уступая место печали и беспросветной тоске.

Ханша бессильно опускалась на мраморное возвышение, покрытое толстым, пышным ковром. Так она сидела долго, потерянная, раздавленная...

Стоило чуть удалиться от хауза, как невинно капавшие чистые слезы фонтанчика вновь сливались в таинственный шепот, который, точно искуситель, приводил в смятение ее измученную душу. Случалось, ханша засыпала прямо на ковре возле хауза. Она боялась отходить даже на шаг от мраморного возвышения. Всюду ей мерещился злорадный шепот.

Тихий лепет прозрачной воды, вскипавшей где-то в глубине, но с покорной вялостью сочившейся из узкого отверстия, казалось, перекликался со скользким, неуловимым шушуканием старухи привратницы, рабов-евнухов и придворных девушек за огромной дубовой дверью, обитой золотом. Более того, ханше чудилось, что и бесчисленные листья на деревьях в саду шелестели, перешептывались, рассказывая друг другу что-то нехорошее о ней.

Порой ханша отправлялась на прогулку, выбирая дальние, одинокие тропинки в ханском саду, и, случалось, из-за деревь-

ев с любопытством взирали на нее косули и пятнистые олени, и в их влажных круглых глазах будто стояло немое удивление: «Ах, это и есть та самая молодая ханша, о которой нынче сплетничают все?!» В последнее время она уже не выходила из своих покоев.

А властелин упорно не давал о себе знать. Каждое утро она со смутной надеждой заглядывала в глаза служанок, приходивших ее одевать, но они подозрительно отмалчивались. С какой-то необъяснимой робостью заходили они к ней и так же смущенно удалялись, пряча глаза, словно боялись, что ханша подслушала невзначай их тайный разговор в прихожей.

А совсем еще недавно, когда она только переступила порог ханского дворца, они все души в ней не чаяли и радостно увивались вокруг. Даже угрюмая старуха служанка с бычьим загривком при ней становилась необычно приветливой и доброй. Бывало, в канун многолюдных ханских торжеств старуха хлопотала изо всех сил, стараясь, чтобы ее ханша по пышности и великолепию нарядов, свиты и церемоний перещеголяла ненавистную Старшую Ханшу. И когда в Большом дворце, во время высоких приемов, две враждующие старшие служанки с нескрываемым высокомерием и злорадством косились друг на дружку, юная ханша еле сдерживала смех...

Да-а... сумрачная старуха любила и лелеяла ее как родную дочь.

Сердечно привязаны были к ней и другие служанки и девушки из свиты. Почти все они были старше ее. И, должно быть, потому ее не столько почитали, как жену Повелителя, а больше обихаживали, как младшую сестрицу. Никто, казалось, не завидовал ей, а все только радовались, будто их единокровная младшая сестренка вышла замуж за всесильного хана. И не было для них большего удовольствия, чем одевать ее, втирать в ее гладкую кожу благовония. Поднимаясь на рассвете, они ходили на цыпочках, толпились у двери, с нетерпением ожидая, когда она проснется.

Едва она открывала глаза, как в опочивальню к ней врывалась стайка разнаряженных девиц и начинала весело порхать вокруг, точно пестрокрылые бабочки. Юная ханша смущалась под их бесцеремонными взглядами, зарывалась в подушку, укутывалась в одеяло, но множество рук тянулось к ней, подчиняя своей воле. И когда ее нежного, горячего спросонья тела касались мягкие ладони служанок, она вся замирала от истомы.

Как-то раз после вечерней трапезы старуха служанка разо-

гнала всю свиту и осталась с юной ханшей наедине. У старухи странно блестели глаза. Тонкие лиловые губы под вислым, крючковатым носом беспрестанно шевелились, змеились шлепали, шелестели. Ханша, ничего не понимая, со смутным страхом глядела на старую служанку. А та, казалось, нашептывала таинственную молитву, намекала на что-то неведомое, постыдное и при этом точно буравила ханшу бесцветно-проницательными глазами. Вечерние сумерки вокруг быстро сгущались, скользили, а вместе с ними будто кружилась и сама опочивальня.

Вскоре старуха, как заведенная отвешивая поклоны, попятилась к выходу. И когда она вышла, опочивальню накрыл плотный таинственный сумрак. Казалось, свет от бесчисленных свечей вдоль стен разом весь скопился на высоченном потолке. Зябкий мрак, все теснее обступая обмиравшую ханшу, усугублял загадочность старушечьих речей. Она почувствовала вдруг слабость, головокружение, непонятная тошнота подкатывала к горлу, и ханша уже направилась было к хаузу, как увидела входившего к ней Повелителя. Странная, смутная темень, окутавшая опочивальню, сразу развеялась. И уже ничего не кружилось вокруг, словно все обрело извечную определенность и твердость, едва нога Повелителя коснулась пола ее покоев.

Она застыла, безмолвная, растерянная, и со страхом смотрела на приближавшегося к ней властелина. Вот он уже подошел на расстояние протянутой руки, и тут она вспомнила, что следует поклониться великому Повелителю, и ханша поспешно склонилась в неумелом, покорном поклоне, но кто-то подхватил ее под локоть, бережно приподнял. Вконец смутившись, она вскинула голову и встретила спокойный, ласковый взгляд Повелителя...

Наутро она проснулась чуть свет и с волнением, непонятным беспокойством ожидала прихода служанок. Лицо ее пылало, голова кружилась, она еще никак не могла осознать, что же с ней случилось, с радостью и кротостью прислушивалась к своему телу и сильнее зарывалась в пуховые подушки.

Вскоре распахнулась дубовая дверь. Сначала надменно вплыла старуха служанка, за нею впорхнула радостно возбужденная свита.

При виде толпы женщин юная ханша мучительно покраснела, сжалась, стыдливо отвернула голову, спрятав лицо в рассыпавшиеся густые волосы.

Свита была оживленней и веселей обычного. Девушки ки-

нулись целовать ханшу, подняли целый переполох. А потом, позже, когда великий Повелитель несколько ночей кряду удостоил своей любовью юную ханшу, свита и вовсе ликовала.

Однажды, вслед за этим, заметив на себе косые взгляды со стороны служанок и свиты Старшей Ханши во время приема послов в ханском дворце, юная жена впервые ощутила ледяной холод женской ревности. Тогда она метнула осторожный взгляд на Старшую Ханшу и заметила на ее надменном лице тень грозного гнева. Она сама не знала почему, но именно это сразу успокоило ее разволновавшееся сердце и принесло какое-то сладостное удовлетворение.

О том, что соперничество — тайное или явное — горше яда и слаще меда, она узнала значительно позднее.

Но с этого дня она вдруг враз избавилась от скованности и смущения перед служанками и свитой, смутно и неожиданно ощутив в себе уверенность и даже некое превосходство. Ей вдруг во всей ясности открылось, что тяжелый, многими драгоценностями украшенный тюрбан молодой и любимой ханши кажется легче птичьего пуха, когда ловишь на себе восхищенные или завистливые взгляды.

Теперь она с особым вниманием и жадностью прислушивалась к рассказам старухи служанки и девиц из свиты, охотно обсуждавших пышность и великолепие дворца Старшей Ханши.

Накануне нового похода Повелитель перебрался в свой одинокий дворец в столице. О том, что он делает, как живет, доходили до юной ханши разные кривотолки. Ей доносили даже то, что говорили на верховном совете, как выступал тот или иной наместник, когда и на какое ханство двинет свои полчища великий Повелитель. Почти все эти вести оказались потом заурядной сплетней. Но один слух подтвердился полностью: Повелитель действительно готовился к походу и решил забрать с собой внуков и Старшую Ханшу. Тем самым можно было догадаться, что поход продлится не год и не два, а значительно дольше. Юная ханша, узнав об этом, лишилась покоя. Несколько раз она порывалась пойти в ханский дворец, но так и не осмелилась. Весть о том, что Повелитель остановил свой выбор на Старшей Жене, угнетающе подействовала и на юную ханшу, и на свиту. Они уже не смотрели друг другу в глаза. Ходили как в трауре. Прекратились и недавние безмятежные прогулки в ханском саду.

Мучительная неопределенность длилась несколько месяцев, и вдруг однажды, в вечерний час, Повелитель пожаловал

сам. Когда служанка шепнула ей, что великий властелин уже выходит из повозки, остановившейся у входа, она еле удержалась, чтобы не выбежать ему навстречу. Но Повелитель не сразу вошел к ней, а направился в свои покои. И опять заставил ее терпеливо ждать до ночи. Юная ханша не находила себе места в огромном дворце; потерянно слонялась из угла в угол. Потом уже, в безнадежной печали, встала у окна, прижалась лицом к холодному стеклу и тут услышала легкий скрип двери. На большее ее терпения уже не хватило. Забыв про приличие, для самой себя нежданно осмелев, радостно запорхала ему навстречу.

Но и потом, посреди ночи, оставшись на брачном ложе наедине с размякшим, ласковым Повелителем, она не могла вспомнить ни одного слова из тех, что давно уже хранила в сердце. Только и спросила, набравшись храбрости:

— Сколько продлится ваш поход, мой Повелитель?

Он долго и пристально посмотрел ей в глаза, потом погладил ее тонкие дрожащие руки и спокойно ответил:

— Это знает один аллах...

На другой день город оглушила дробь походных барабанов. Повелитель выступил в поход.

Пригорюнилась юная ханша, почувствовав вдруг себя совершенно одинокой в многолюдном ханском дворце. И тогда ей неожиданно открылось, что единственно близкий человек, который связывает ее с непостижимо огромным миром,— суровый и угрюмый Повелитель, по годам намного ее старший, в чьих серых пронзительно-холодных глазах при виде ее вспыхивают искорки нежности и ласкового сочувствия. При нем она не испытывала такой жуткой опустошенности.

Видя, как озабоченно хмурила бровки юная ханша, приуныли, притихли и служанки, и девушки из свиты.

Вот так в семнадцать лет убедилась она в древней истине: нет на свете страшнее муки, чем одиночество.

Одинокие длительные прогулки в пышном ханском саду тоже не утешали. Плоды наливались жизненными соками, и — казалось — каждый листик, каждая веточка торжествовали радость бытия. Восторг и наслаждение жизни неутомимо воспевали и крошечные птахи, порхавшие с дерева на дерево, и бесчисленные озабоченные пчелки, собиравшие нектар с цветов. Время от времени налетал шальной ветерок, и тогда, охваченные трепетом, возбужденно перешептывались и ликовали листья.

Вместо желанной бодрости от таких прогулок юная ханша обретала усталость, очутившись помимо воли на изви-

листой, глухой тропинке неутоленной страсти, неведомых желаний, неясных томлений, изводивших душу и навевавших грусть и тоску, сковывавших все ее порывы и стремления, словом, ее охватывали безысходность и неопределенность, незаметно, исподтишка подтачивавшие волю, она в смятении возвращалась в сумрачный, опостылевший дворец и подолгу сидела, уставившись в безмолвное пространство.

Желая вывести ее из дурного расположения, девушки из свиты выказывали перед ней свое искусство. Но величаво-тягучая мелодия только усугубляла тоску, задевая чуткие, ей самой неведомые струны души и навевая щемящую скорбь, а полные истомы танцы девушек, то, как они вскидывали насурьмленные брови, играли большими черными, как у верблюжонка, глазами и улыбались белозубо, казались ей фальшивой забавой, намерением утешить ее, точно капризного ребенка. Ей чудилось, что все веселятся и смеются только через силу.

Наигранное веселье не могло развеять смуту на душе. Наоборот, она испытывала неловкость от того, что доставляет свите столько хлопот. Она выдумывала всякие причины, твердила о головной боли, недомогании и изо всех сил избегала подобных развлечений.

Видя, что ни прогулки в саду, ни развлечения не в силах избавить юную ханшу от затянувшейся тоски, свита растерянно примолкла. Угнетающая тишина и уныние овладели дворцом.

Старуха служанка выбилась из сил, не зная, как еще угодить юной ханше, и водила ее то в сад, показывала ей диковинные цветы, клумбы, то расстилала перед ней со всех сторон света привезенные тюки редких материй — махфис, рация, шамсия, шадда, машад, тафсила, гульстан, мисрия, абидрия, лулиа, сабурия, мискалия, сафибар, хинди, атлас, парча, шелк,— предлагая сшить платья на любой вкус и фасон; то старалась обрадовать ее взор драгоценными камнями, кольцами, перстнями, серьгами, подвесками, ожерельями, браслетами, кулонами, подаренными самим ханом, полководцами, правителями, наместниками, послами и родственниками; то предлагала выбрать себе шубку из редкого меха — соболя, песца, выдры, барса, белки, красной лисы; однако ко всему осталась безразлична и холодна юная ханша.

Вконец убедившись в том, что никакими драгоценностями ханшу не соблазнить, старуха наведывалась к ней в часы одиночества и заводила нескончаемые разговоры обо всем на свете. Однако ничто, даже дворцовые слухи и сплетни,

ничуть не волновало ханшу; казалось, она, хмурая, отрешенная, не внимала ее словам.

И все же многоопытная, хитрая старуха нашла-таки ключик к омрачившейся душе своей подопечной. Стоило ей однажды заговорить о том, какие почести воздаются Старшей Ханше в далеких завоеванных странах, как на юном, безучастном доселе личике вдруг обозначилось оживление. В черных погасших глазах, бессмысленно устремленных в угол огромного зала, промелькнуло любопытство. Тогда старуха не скрывая своего ликования, начала обстоятельно рассказывать обо всем, что приходилось ей видеть и слышать во дворце Старшей Ханши, которой прислуживала долгие годы. Имя высокородной ханши старуха, однако, не осмелилась трепать своим грешным языком, зато уж досталось вдосталь ее служанкам и спесивой свите.

По словам старухи выходило, что с тех пор, как Повелитель зачастил во дворец Младшей Ханши, Старшая Жена и ее приближенные исходят злобой и ненавистью. К тому же бесчисленные подарки, текущие со всех сторон света, достаются отныне не одной Старшей Жене, как прежде, и с этим она никак не желала смириться. И сама Старшая Ханша, и ее многочисленная прислуга в последнее время только и шушукаются про то, что, дескать, великий Повелитель все самое ценное и редкое, поступающее из покоренных стран, отправляет в дар своей Младшей Жене. За это они больше всего и ненавидят юную счастливую соперницу.

Старуха осторожно косилась на юную ханшу, но, не замечая на ее грустном личике ни тени гнева, с истовым усердием продолжала рассказывать. Тонкие дряблые губы под крючковатым носом, испещренные сеткой мелких, как паутинка, морщин, неустанно шевелились, подрагивали, точно озабоченный паук, плели таинственную вязь; казалось, они не угомонятся, пока не оплетут невидимой сетью простодушную ханшу.

Теперь старуха живописала будто на нить нанизывала, все, о чем сплетничали во дворце Старшей Жены. Там якобы утверждали, что единственное достоинство Младшей Ханши — ее юность и красота. И не красота даже, а просто смазливость. А в остальном ее, дескать, со Старшей Ханшей и сравнить невозможно. Предки ее не родовиты. Она всего-навсего дочь заурядного захудалого тюре; во всем ее роду не найдешь именитых; да и Повелитель взял ее в жены без особого желания, просто исполнил предсмертную волю матери; да и ей, новоиспеченной ханше, нечего задирать нос;

Повелитель, конечно, велик и на троне золотом воссе - ет пока прочно, но никто не может скрыть, что он старик, и вряд ли она, молодуха, способна понести от него, только промается зазря, не испытав женской радости и материнского счастья; а когда, не приведи создатель, случится непоправимое, всю жизнь проведет в одиночестве и тоске, в горести обнимая собственные колени...

Незримая паутина искушения, ловко сотканная старой колдуньей, будто опутала, оплела юную ханшу. Ущемленная в самое сердце, она побледнела, а в темных застывших глазах, точно в потухавшем очаге под шальным ветром, мгновенно вспыхнула искорка.

Старуха тотчас догадалась, что задела, наконец, больное место; но, прибегая к извечной женской уловке, начала поспешно и, конечно, тщетно развеивать ею же посеянные подозрения.

Недаром, должно быть, говорят, что ревность обжигает и льдом, и огнем. И впрямь: какая же это ревность, если от нее не огнем горит лицо и не льдом застывает сердце!

И, разумеется, пустоголовые служанки Старшей Ханши, дочери богатого и влиятельного рода, богом данной супруги самого Повелителя, привыкшей к почестям и славе, принимают ее, Младшую Жену, за несмышленую девчонку с не обсохшими от материнского молока губами и намереваются подчинить ее своей воле. Как бы не так! Ох и заблуждаются же они, бедняжки! Придется им, пожалуй, довольствоваться тем, что шушукаться по углам и в бессильной ярости кривить губы.

Уж коли сам всемогущий Повелитель покровительствует ей, своей юной и прекрасной возлюбленной, то холуйские сплетни и кривотолки во дворце Старшей Ханши — все равно что шелест ветра или писк мошки. Пусть не больно кичится Старшая Ханша тем, что она первая. Пусть прикусит свой длинный язык. Не погасить ей очаг любви и сладостных утех, где сам великий из великих предается отдохновению...

Священное негодование полыхало в дряхлой груди старухи. Тонкие ноздри трепетали, губы змеились, голос наливался силой. Редкие жесткие щетинки под крючковатым носом грозно встопорщились...

Заметив, что старая служанка в своем усердии распалялась все больше и больше, ханша смерила ее удивленным взглядом. Старуха спохватилась, не перестаралась ли, умолкла на полуслове и вскочила, будто вспомнив какую-то неотложную заботу.

Рассказ старой служанки, полный неведомых намеков, недомолвок и тайн, разбудил, всколыхнул душу юной ханши, точно шквальный степной ветер; бодростью и силой налилось ее маленькое упругое тело.

Вкрадчивая речь об интригах, злословии во дворце Старшей Ханши, об ее повадках и замыслах точно разорвала веревки равнодушия и безразличия, сковавшие молодую женщину. Казалось, все ее мысли и желания, увядавшие в безнадежном тупике, вырвались, хлынули неожиданно на вольный простор...

Оставшись наедине с собой, она попыталась обдумать, осмыслить спокойно и трезво все, о чем ей так прозрачно намекала старуха. Старшая Ханша, находясь за тридевять земель, умудрилась-таки больно поранить ее невинное сердце и разбудить в нем недобрые помыслы. Видно, своенравная Старшая Жена вообразила себе, будто Младшая Ханша — всего-навсего бессильный, безвольный ребенок, хотя и возлежит на ложе Повелителя в пышном дворце.

И, несмотря на свою юность и неопытность, Младшая Ханша поняла, вернее, почувствовала каким-то прозорливым, сугубо женским чутьем, что утешить отравленную душу можно, лишь ответив болью на боль, местью на месть. По юному чистому личику ее пробежала холодная тень. В глубине черных, как смородина, влажных зрачков блеснул жестокий лучик, похожий на искорку на острие обнаженного кинжала. Неведомая ярость взбодрила тело. Движения стали уверенными, походка — упругая, стремительная.

Зоркая свита мгновенно заметила перемены, происшедшие в ханше. Все ходили радостные, оживленные, хотя никто и не осмеливался выражать свой восторг с прежней непосредственностью.

Ханша распорядилась доставить ей во дворец немедля все драгоценности, меха и материи, которые она еще вчера отвергала.

Она придирчиво осмотрела товар, выбрала себе что по душе, растолковала старой служанке, из чего, что и как необходимо ей сшить. Старуха охотно внимала ее распоряжениям и даже подбадривала осторожными и дельными советами. Ханша при этом не удивлялась, как прежде, не застывала, как наивная девчонка, с разинутым ртом и не соглашалась поспешно, а слушала с важным видом, выражала сомнение, задумывалась и лишь потом великодушно кивала головой.

Дошлая старуха в душе ликовала, убежденная, что юная ханша отныне познала упоительный вкус власти. Она увивалась вокруг своей воспитанницы, всячески угождала ей, суетилась, легко управляя своим рыхлым, грузным телом. Она усердно докладывала ханше о богатстве ее личной казны, о том, чего следовало бы раздобыть еще, из каких краев и стран.

Ханша незамедлительно отправила ее к главному визирю, поручив достать все необходимое, все редчайшее из ханской казны.

Главный визирь не очень приветливо встретил старую служанку и толком ничего ей не ответил. Ханша возмутилась и тотчас отправила нарочного с поручением немедля вызвать визиря к себе. Тот, почуяв неладное, поспешно прибыл во дворец Младшей Ханши, еще с порога согнулся в угодливом поклоне и доложил, что просьба прекрасной повелительницы будет непременно удовлетворена, что он уже распорядился доставить из вилайетов все желанные драгоценности, материи, духи и благовонные мази и даже уже отправил в путь верных людей.

Видя, как главный визирь, уважаемый самим Повелителем, склонил перед юной ханшей свою достойную голову, старая служанка удовлетворенно хмыкнула, словно эти почести предназначались ей.

Во дворце Старшей Ханши поднялся невообразимый переполох, когда докатилась весть о том, что юная соперница пригласила лучших портных и шьет для себя диковинные наряды.

С нетерпеливой жаждой деятельности принялась Младшая Ханша за новое и приятное дело. Слухи об этом, обрастая подробностями, дошли вскоре и до Старшей Жены, находившейся при Повелителе в далеком походе. И оттуда, из той неведомой дали, доходили до Младшей Жены слова Старшей, полные яда и ревности. Юная ханша торжествовала, узнав о том, как беснуется старшая соперница, и рана в сердце, нанесенная злыми сплетнями, понемногу затягивалась. Она впервые испытывала ни с чем не сравнимую сладость утоленной мести и с неиссякаемой женской изворотливостью придумывала все новые, еще более изощренные способы отмщения.

Торжественные прогулки в сопровождении свиты вновь участились. Едва припекало солнце, как ханша спешила к пруду, подолгу купалась и затевала веселые игры в воде. Каждый день, спозаранок, слуги складывали на берегу пруда

под легкими разноцветными тентами кучи румяных, только что снятых яблок. И в полдень, когда яблоки источали вязкий, густой аромат, юная ханша отправлялась со своими девушками к хаузу.

Резвясь в прохладной прозрачной воде, по которой плавали краснобокие яблоки, ханша испытывала сладостную истому от прикосновений упругих, жадных до ласки волн к изнеженному, напоенному дурманом назойливых желаний и беззаботной юности зрелому женскому телу. Здесь, в голубой воде хауза, она предавалась бездумной, пьянящей свободе молодой плоти, ее уже не тяготили ни показная спесь величественной ханши, ни необходимость подчеркивать исключительность своего положения, ни пышные, постылые одежды, увешанные тяжелыми драгоценностями, и ей хотелось, чтобы это ощущение свободы и влекущей жажды загадочных желаний длилось долго-долго, и она не спешила выходить из воды.

Потом, приятно утомленная, с тревожным волнением в крови, она ложилась на мягкую подстилку под легким шатром на берегу хауза. В вязкий аромат ханского сада вливались сладкие запахи духов и нежных мазей: молодые служанки принимались растирать смугло-розовое тело ханши. Но легкое прикосновение их пальцев вызывает лишь щекотку, а разгоряченная плоть жаждет более грубых, сильных ощущений. Опытные женщины знают, по каким ласкам тоскует тело юной ханши. Они не жалеют силу своих рук, их пальцы как бы невзначай, мимолетно касаются потайных мест, и ханша вздрагивает, вытягивается, замирает от удовольствия и нестерпимого желания. Руки служанок проворно мелькают над ней, искусно втирают в нежную, гладкую кожу заморские благовония. У ханши кружится голова, мутнеют зрачки, тяжелеют веки и чуть вздрагивают длинные ресницы, тело млеет от мучительной истомы, пальцы судорожно сжимаются. Медовая услада окутывает ее. И чудится ей, что нежится она в саду эдема и девушки из ее свиты — истинные гурии. Ну конечно, разве можно на грешной земле испытать столько счастья, столько наслаждений сразу? И уму непостижимо, даже просто нелепым кажется, что ее всесильному супругу нужно затевать какие-то опасные походы и месяцами, а то и годами пропадать где-то за тридевять земель, когда здесь, рядом, под боком, находится сказочный рай. Живи, радуйся и наслаждайся. Но тут она спохватывается, вспомнив, что сомневаться в праведности и разумности всех деяний и замыслов великого

властелина — кощунство, непростительный грех, и поспешно пресекает преступную мысль, против ее воли вырвавшуюся на простор. В такие мгновения все свои сомнения и подозрения, словно гончую собаку, вот-вот настигнувшую верткую добычу, она переключает, обрушивает на ненавистную соперницу — Старшую Ханшу, обвиняя ее во всех смертных грехах. Несчастная! Уж чего-то она потащилась-поплелась за Повелителем в дальние страны?! Сидела бы уж дома...

...Язвительная мысль о сопернице доставляет юной ханше такое радостное облегчение, точно мгновенное удовлетворение самого жгучего, самого нетерпеливого желания, вызванного крепким однообразным растиранием бедер и поясницы. Ей вдруг чудится, что не раскаленное полуденное солнце смотрит на нее с вышины, а глаз подлой соперницы, от злобы и ненависти наполненный кровью. Ну, ну, смотри, смотри, тварь ползучая, любуйся тем, чего у тебя нет, пусть гложет тебя зависть, пусть изводит тебя ревность, ну, смотри, смотри же!.. Ханша проворно переворачивается на спину, подставляет женщинам острые, упругие груди с коричневыми набрякшими сосцами. Разве старая ее соперница обладает такой красотой? Разве есть у нее такое молодое, чистое, полное соблазна тело? Как бы не так! Потому она и завидует ее молодости. Потому она и ревнует так дико Повелителя к ней. И проклинает ее таинственное очарование, вырвавшее златоголового властелина из ее постылых объятий. Проклинает свою судьбу за то, что та обрекла ее на одиночество у потухающего очага. И, должно быть, в полном отчаянии, однако еще надеясь добиться благосклонности Повелителя, она на старости лет послушной собакой поплелась за ним в поход. На что только рассчитывает, несчастная? На что она пригодна? Чем она сможет угодить Повелителю? Нет уж... не видать ей отныне властелина... Ради чего он станет наведываться к ней? Ради домашнего очага, вокруг которого увивается его многочисленное потомство?.. А вот к ней, юной, прелестной ханше, он заедет в первую же ночь после долгого, изнурительного похода, приедет как к желанному пристанищу, как к приюту любви и ласки, для отдохновения души и тела. Да, да... именно так... в этом нет у нее никакого сомнения... Но, будучи великим Повелителем, может ли он позволить себе такую роскошь — днем и ночью пребывать со своей возлюбленной, точно ныльгий юноша? Конечно нет. Стоит ему, грозному властелину, от одного имени которого трепещут все четыре стороны света, оставить своих подвластных на два-три года в покое, как презренная челядь

с тайным злорадством начнет шушукаться о безволии хана, о том, что он изнежился и обленился подле своей жаркотелой бабы... От одной этой догадки у юной ханши больно сжималось сердце. О нет! Она, богом данная супруга великого властелина, не позволит, чтобы словоохотливая толпа трепала его славное имя. Ей в это мгновение стало совершенно очевидным, что недавняя мимолетная мысль о бессмысленности и бесплодности опасных и продолжительных ханских походов — женская слабость, непростительное кощунство.

Нет, она отныне не осмелится упрекнуть властелина за его походы. Более того, и потом, когда он вернется домой, она не станет силком удерживать его возле себя на том лишь основании, что имеет счастье быть его избранницей. Ведь весь этот люд, окружающий их, не спускает глаз с великого властелина и его юной жены. Каждое слово, каждый жест, даже малейший намек — все-все на виду. И потому вполне уместно, если Повелитель время от времени посетит свою Старшую Жену, заслуга которой хотя бы в том, что она наградила его детьми, а те — в свой черед — внуками. К тому же, надо полагать, привлекает его отнюдь не стареющая жена, а долг отца, деда и свекра, высокий долг проявлять заботу и выражать высшую волю и мудрость в непростых семейных отношениях. Ради этого, должно быть, он забрал с собой в поход и Старшую Жену. Ради этого наверняка изредка советуется с ней. И она, юная ханша, прекрасно понимает, что все это показное, что делается все это для посторонних глаз и легковерной молвы. Что она, Старшая Жена, подозрительная, ревнивая баба, может посоветовать мудрецу властелину? Больно нуждается он в ее советах! Разве найдет он здравомыслие в ее иссохшем от ревности и зависти дряхлом сердце?! Уму непостижимо, о чем они, оставшись наедине могут беседовать...

Мысли юной ханши оборвались, спутались. Сладкая истома, охватившая ее молодое, трепетное тело, точно истаивала, улетучивалась, и ей хотелось открыть глаза, оторвать голову от подушки, однако тут же опомнилась, спохватилась, боясь выказать свое смятение перед служанками, усердно растиравшими ее тело, и она, еще крепче зажмурив глаза, старалась поймать и связать нити оборвавшихся мыслей.

Да, да... на что еще способны пожилые супруги, кроме длинных и нудных разговоров? И, видимо, Старшая Жена умеет искусно поддерживать беседу. Должно быть, при виде властелина не теряется, не лишается дара речи, точно не-

опытная девчонка или как она, молодая, неискушенная жена.

Тогда перед выступлением Повелителя в поход, она с нежной кокетливостью пыталась поведать ему свою печаль и тоску предстоящего одиночества — не поведала, не смогла. Наутро, в минуту прощания, пыталась прильнуть к нему, обнять, высказать ему свою верность и преданность, достойную юной ханши,— не осмелилась, не решилась. Застыла у порога, робко взглядывая на выходившего из ее опочивальни властелина. Должно быть, он почувствовал на себе ее взгляд: на полпути он круто остановился, пристально посмотрел на нее и, казалось, устремился к ней, хотел что-то сказать, однако покосился вбок, в сторону, чуть нахмурился и пошел дальше.

Юная ханша перехватила его взгляд, тоже покосилась вбок и увидела чинный ряд евнухов, склонившихся в подобострастном поклоне. Только теперь она поняла, вернее, женским чутьем своим почувствовала всю нелепость, бестактность своего растерянного вида и, смутившись вконец, быстро закрыла дверь. Однако в мимолетном взгляде властелина, полном сочувствия, нежности и необыкновенной доброты, она уловила то, чего — как ей почудилось в этот миг — не увидела в его обычно холодных, суровых глазах еще ни одна женщина. Может, это и было любовью... Радостное, счастливое чувство точно опалило ее сознание. Ну конечно, такой сочувствующий, проникновенно-нежный взгляд может исходить только от любящего сердца. Значит... значит, Повелитель любит ее...

Щеки ханши зардели, запылали. Дыхание ее прервалось, она точно окунулась на мгновение в таинственное озеро наслаждения, точно захлебнулась от неги и истомы.

«А что потом... потом... потом?» — лихорадочно стучала мысль. Потом, когда пройдет, исчезнет куда-то невысказанная нежность? Потом, когда потухнет страсть в глазах? Какое же чувство придет на смену ослепительному счастью любви? Неужели возникнет в душе пустота, похожая на вытоптанную, вытравленную, заброшенную стоянку былого кочевья? Эта догадка показалась ей верной и справедливой, однако сознание отчего-то сопротивлялось ей, упрямое сомнение, затаившееся где-то в глубине сердца, лишало ее покоя, смущало желанную благость души и невольно навевало противоречивые думы.

Если былому страстному чувству между стареющими супругами суждено увядать, почему они все-таки до самой смерти не в силах расстаться? Или, быть может, их пре-

следует просто страх перед закатом жизни и одиночеством старости?

Однако подобный страх испытывают, скорее всего, лишь заурядные смертные, чья власть и влияние не распространяются далее скудного семейного очага. Но великому Повелителю, подчинившему своей воле половину вселенной и до последнего часа окруженному вниманием, заботой, любовью преданных ему народа, войска, единокровных родичей и возлюбленной, такой низменный страх конечно же неведом. Значит, его влечет к Старшей Жене какое-то иное чувство. Какое?..

Да-а... в душе стареющих супругов, должно быть, остается нетленный след былой искренней, горячей любви. Может, этот след — горсть стынущей золы — называется привязанностью или уважением? И, возможно, окончательно остынет и превратится в пепел эта горсть золы лишь тогда, когда сам человек обернется тленом?

Она вся вспыхнула, обрадовавшись тому, что так легко нашла ответ на давно уже мучивший ее вопрос. Но радость тут же погасла, ледяной холод опалил грудь. Выходит, между Повелителем и Старшей Женой не все еще кончено. Остались душевная расположенность, взаимная привязанность. Сердце ее больно кольнуло. Тело, разомлевшее под мягкими, упругими пальцами служанок, мгновенно обмякло, обвяло. Казалось, если она сейчас же, немедля, не встанет, чужие безжалостные пальцы, точно когти хищника, разорвут ее онемевшее тело в клочья. Юная ханша вскочила. Тонкое шелковое платье обожгло ее холодом, словно впивалось невидимыми колючками. Она еле дождалась, пока служанки расчесали ей волосы и заплели косы. Она спешила уйти отсюда, от этого места, где только что предавалась блаженной истоме.

И опять обрушилось на нее уныние. Она вдруг ясно осознала свое одиночество, впервые так остро, обнаженно ощутила свое бессилие, свою немощь перед уверенной и могущественной Старшей Женой Повелителя, успевшей пустить надежные корни своими детьми и внуками. Боль и зависть, ревность и тоска, точно пламя, обожгли ее юное существо. Пусть, пусть, твердила она себе с отчаянием и злорадством, пусть сильнее разгорится это пламя и дотла выжжет всю ее душу, тогда, может, избавится она от невыносимых мук и обретет, наконец, желанный покой. И уже чудилось ей, что вот-вот мольба ее дойдет до всевышнего и случится это страшное и непоправимое.

Она старалась ни о чем не думать. Но беспорядочный рой мыслей помимо ее воли, словно назойливые мухи, мельтешил перед ее глазами, и она, с тщетным усилием подавляя в себе тошнотворную слабость и отвращение, отбивалась от него, крепко-накрепко зажмуривала глаза. Мысли дробились, дробились, точно наваждение, преследовали ее, сводили с ума, окутывали ее плотной завесой докучливой прожорливой мошки. Противная дрожь, как в лихорадке, охватила юную ханшу. Она все усиливалась, дрожь, трясла, колотила ее знобко, и уже невозможно было с ней сладить. Ханша испугалась, в ужасе широко раскрыла глаза. «Боже! Не заболела ли я? Не схожу ли и впрямь с ума?!»

Уже плохо помня себя, она кинулась в угол к зеркалу и, едва увидев себя в нем, удивилась. Ничего страшного с ней не случилось. И никакая кара ей не угрожала. Все в ней оставалось прежним. Может, только слабо, второпях, заплетенные косы чуть распушились. Но это, наоборот, придавало ее лицу свежесть, приятную новизну. Шея, грудь, щеки блестели от благовонной мази, которую щедро втирали в ее кожу служанки. На щеках горел румянец, должно быть от волнения, от постоянной борьбы сомнений и надежды, а вот гладкий высокий лоб был бледен. Небольшой точеный носик с чуткими, трепетными ноздрями брезгливо морщился, будто неприятен ему был блеск алых щек. Робкий, задумчивый взгляд влажных глаз под манерно насурьмленными бровями подчеркивал выражение печали и подавленности на юном лице.

Ханша долго и пристально всматривалась в зеркальное отражение, словно не веря, что несчастная, удрученная горем девчонка — она сама. Поразительно, что с этаким видом она еще безбоязненно живет на этом свете. Глядя на нее, разве мыслимо испытывать хотя бы подобие любви, или уважение, или — на худой конец — простое любопытство? Нет, конечно! Она может вызвать только жалость, сострадание, долгий сочувствующий вздох: «Ах, бедняжка, сиротинушка!..» И напрасно она вообразила, что искорки в глазах великого Повелителя — выражение мужской любви к ней. Какое там! Самая заурядная жалость к слабому существу. Просто удивительно, что этот чахлый, убогий цветок до сих пор не затоптан своенравной львицей — Старшей Женой...

Разве такой беспомощный, жалкий цыпленок, как она, в состоянии взволновать закаленное в кровавых походах

сердце сурового Повелителя?! Просто любимая жена, состарившись, уже бессильна удовлетворить его мужскую потребность, и он взял себе в жены юную ханшу, как говорят, для обновления запаха ложа. А она, глупая, неопытная, приняла обыкновенную жалость, сочувствие пожилого человека за необыкновенную любовь. Нет, нет, о том не думай и не мечтай, смирись со своей судьбой, довольствуйся тем, что тебя взяли как юную, чистую, смазливую самку, да, да, самку, и благодари всевышнего за то, что тебе принадлежат один из ханских дворцов и редкие, считанные ночи близости с великим Повелителем. Не тебе, дорогая, соперничать со Старшей Ханшей, ибо ей, ей одной безраздельно принадлежат и уважение, и привязанность, и подлинная любовь властелина половины вселенной. И не надейся, что и тебе уготована подобная судьба...

С таким несчастным, горемычным видом разве в состоянии ты, как Старшая Ханша, привлечь к себе внимание равнодушного ко всем сплетням и слухам Повелителя здравомыслием и задушевными беседами? Разве всеблагий наградил тебя таким щедрым даром, чтобы Повелитель нуждался в твоем уме и мудрости, твоей близости в далеких и опасных походах?

Тягостные думы, точно нудный осенний дождь, все усугубляли тоску, и юная ханша не находила в себе силы противостоять ей.

Она почувствовала за спиной чье-то дыхание. Обернулась испуганно: неужели кто-то посторонний застиг ее в таком растрепанном виде... Старая служанка держала в протянутых руках коричневую шкатулку. Заметила ужас в расширенных зрачках своей подопечной и улыбнулась жутковатой своей улыбкой, раздвигая сетку морщин и редкие жесткие щетинки возле дряблых губ.

— Вот это принес сейчас старший визирь. Подарок, говорит, от великого Повелителя...

Еще во власти недавних назойливых дум, ханша с недоумением уставилась на старуху, соображая, что ей сказать и как поступить.

Старуха осторожно опустила шкатулку на постель. Потом схватила растерявшуюся ханшу за руку и подвела ее к ней, точно малое дитя. Открыть шкатулку старая служанка, однако, не решилась. Достала откуда-то из глубин длинных рукавов крохотный блестящий ключик и сунула его в холодную ладошку ханши.

От волнения ханша никак не могла попасть в отверстие

замка. Тогда старуха сама открыла шкатулку и, открыв ее, смутилась, заколебалась: то ли глядеть ей на ханшу, то ли на содержимое шкатулки.

В глазах ханши зарябило. Она даже не посмела прикоснуться к тому, что открылось ее взору, от восторга затаив дыхание. Переливавшийся всеми цветами радуги бриллиант, матово-загадочно поблескивающие кораллы, ослепительный жемчуг, диковинные алмазы, благородно-холодный яхонт, прозрачный, как осеннее небо, сапфир, текучий, чистый, как капля родниковой воды, изумруд, багрово-красный, как стынущая кровь на снегу, рубин, сдержанно-ровная, нежно-серая яшма и многие-многие другие драгоценности, даже названий которых она не знала, покоились в продолговатой ореховой шкатулке. А поверх всего этого великолепия скромно лежал маленький белый цветок, точно лилия на глади роскошного пруда.

Ханша схватила нежный цветочек, еще не потерявший ни свежести, ни аромата, и порывисто прижала его к груди. Железный обруч, холодом сковавший ее душу, мгновенно лопнул, и слезы, с утра застывшие в ее глазах, вдруг полились, хлынули, точно благодатный весенний дождь. Сердце, отяжелевшее от обиды и тоски, вдруг обрело прежнюю неощутимую легкость.

Ханша сейчас уже не замечала старой служанки, и не стыдилась своих слез, и не испытывала никакой неловкости, оглушенная неожиданным счастьем. Она чувствовала, как жуткий страх, облепивший ее, точно ненасытные пиявки, медленно покидал ее, удалялся, крадучись по-кошачьи. Всевышний и великий Повелитель вовремя почувствовал ее безысходную тоску и бездонную муку, терзавшие ее неокрепшую душу. Сомнения и подозрения, уязвленное самолюбие и обида, одиночество и необоримое желание — все он услышал, обо всем догадался. Вспомнил Повелитель о ней и за тридевять земель прислал гонца, чтобы утешить юную ханшу.

Ханша поднесла цветок к губам и расцеловала каждый лепесток.

Старшая служанка догадывалась без слов, что творилось сейчас в душе ханши, и тихо вышла.

Ханша прилегла на постель. Точно ребенок, любующийся новыми игрушками, перебирала она драгоценности, раскладывала на груди, улыбаясь диковинному блеску белых, красных, голубых, зеленых, черных камней, переливавшихся разноцветными каплями сказочного дождя.

Недавняя печаль в груди ханши развеялась, как тучи после ливня. Светлое, неведомое чувство, как тихая гладь озера, охватило ее. О, она бы сейчас высказала, выплеснула из самой глубины сердца всю свою горячую благодарность щедрому супругу, но он ведь не услышит. Будь он рядом, забыла бы про робость и женскую стыдливость, отдалась бы ему без ума, без оглядки, вся, вся, подставила бы распаленные жаждой любви белые тугие груди, прижала бы страстно его к своему знойному телу, истомленному, измученному, как степь после долгой засухи. Только не осуществиться ее желаниям в этом безмолвном, огромном и унылом зале...

Излить бы свою душу в письме — стыдно. Доверить свою тайну гонцу — невозможно. Так как же она выразит, как передаст идущую от чистого сердца признательность, любовь и безмерную благодарность великому Повелителю, благодетелю, возлюбленному супругу? Когда еще вернется он из похода и переступит порог этого дворца? И кто знает, когда еще наступит тот желанный день, позволяющий ей на пышном супружеском ложе доказать всю нежность и страсть, томящие ее юное тело? Как она сбережет свое неуемное чувство к нему? Чем утолить ей неизбывную жажду любви, от которой кровь вскипает в жилах? Как, каким образом она известит ненавистную кичливую Старшую Ханшу, бесчисленных дворцовых слуг, вскормленных сплетней и интригами, самого Повелителя и весь этот необъятный мир о своей готовности в любой миг принести себя в жертву ради владыки вселенной, единственного и желанного? Об этом должны непременно все узнать сегодня, самое позднее — завтра, иначе сердце ее разорвется от счастья, не вынесет бурной радости. Как ей прожить столько долгих, изнурительных дней в тоскливом ожидании, пока вернется из похода Повелитель? Как ей прожить столько бесконечно длинных ночей в неутоленном желании, в неутихающей, сжигающей страсти? Как она уймет волнение, охватившее ее пылкую душу? Ведь отныне низменная цель досаждать Старшей Ханше, всевозможными уловками отравлять ей жизнь не может ей служить единственным утешением. Большое, искреннее чувство должно выразиться в благородном поступке.

Она сейчас же, немедля, собралась бы в путь и отправилась бы хоть в какую даль вслед за Повелителем. Но такой поступок наверняка уронил бы честь властелина и вызвал бы обильные сплетни среди праздной толпы.

Разложив все драгоценности на постели, ханша прилегла с краю и предалась мечтам. Чем она отплатит за столь щедрое внимание возлюбленного? Чем она обрадует его завтра, когда он, усталый, возвратился из дальних стран? Какая жалость, что слишком коротка была их супружеская жизнь, что не успела вдосталь утешить жаркую плоть! Хоть бы понесла она от Повелителя до отправления его в поход. Тогда бы она не ломала голову, гадая, чем ответить на его доброту. Прислушиваясь к каждому толчку созревающего в материнском лоне плода, она испытывала бы пьянящее блаженство и конечно же не ведала бы ни изматывающих дум, ни неизбывной тоски. Тогда у нее был бы повод ежедневно писать супругу. К его приезду она благополучно разродилась бы сыном и вышла бы навстречу Повелителю с крохотной плетеной люлькой в руках, и тогда она безраздельно и навсегда завладела бы благосклонностью его и тем самым лишила бы соперницу, Старшую Ханшу, ее единственного преимущества перед нею. Но увы! Всевышний не проявил этой милости, не дано было осуществиться этой красивой мечте, и, подумав об этом, ханша опять на мгновение растерялась.

Да, да, нечего ей предаваться грезам. За доброту и внимание Повелителя она может воздать только верной и искренней любовью. Больше ей нечем платить.

Значит, она должна придумать нечто такое, что доказало бы ее великую любовь и преданность не только Повелителю, но и всем живущим на земле. Она должна построить памятник, величественный и прекрасный, который поведал бы возвращающемуся из похода Повелителю о ее любви, душевной тоске, нежности и верности.

Она не станет дрожать над этими драгоценностями, как Старшая Жена, не присвоит их себе. Она построит на них небывалый памятник — башню любви, от которой не сможет оторвать взор сам Повелитель. Ее башня будет возвышаться над всем минаретами города. И люди должны любоваться ею, восхищаться силой любви, верности и умом юной ханши.

В ту ночь она впервые за долгое время спала спокойно.

Наутро она отправила порученца за старшим визирем. Тот, выкатив большие, как плошки, смоляные глаза, выслушал ханшу с почтением и долго молчал. Неясно было, то ли удивлялся он намерению ханши, то ли одобрял про себя ее благородный порыв. Когда ханша, закончив свой сбивчивый рассказ, умолкла, старший визирь приложил

белые холеные руки с длинными растопыренными пальцами к груди и низко поклонился.

«Будет сделано, высокородная ханша!»

Через две недели пришел главный зодчий и доложил, что новый минарет поручено строить одному из тех мастеров, которые возводили мечеть в честь Старшей Жены. Ханша встрепенулась: отныне ей нашлось дело. Каждый день она отправляла своего порученца к старшему визирю и от него узнавала все подробности новой стройки. Особенно радовалась она тому, что минарет решено было построить неподалеку от ее дворца.

Медленно тянулись караваны дней... Однажды, встав с постели, ханша увидела в окно из-за верхушек деревьев что-то красно-бурое. В недоумении подскочила она к окну и тут только догадалась, что это и есть минарет, строящийся по ее милости. Минарет воздвигали уже около года. Кто-то маленький, едва заметный, будто мураш, копошился на вершине крутых стен. Минарет уже поднялся над оградой ханского дворца и сравнялся с самыми высокими деревьями в саду.

С того дня кирпичная громада за окном неотступно преследовала ее. Каждое утро ханша с нетерпением подбегала к окну и мысленно прикидывала, на сколько выросли стены минарета. Ей казалось, что стройка идет слишком медленно. Еще недавно она ликовала: мечта ее становилась явью, в столице Повелителя рождалась новая — невиданная по высоте и красоте — башня, но теперь радость сменялась тревогой. Крохотный мураш на вершине минарета с утра до вечера торчит на одном и том же месте. Только много ли проку от того, что он там копошится? Эдак не скоро осуществится ее мечта. Может, и не суждено ей увидеть своей башни во всей ее величественной красе. Будет, как вечный укор, маячить перед глазами людей эта шершавая невзрачная каменная глыба, точно грязное пятно на прозрачной небесной сини. Ханше захотелось вблизи увидеть строящийся минарет, подняться на его вершину, встретиться с нерасторопным, нерадивым мастером, что, как назло, застыл на одном месте, и — если надо будет — уговорить, умолить его ради всего святого быстрее закончить башню. Ханша долго колебалась, кому и как поведать о своем желании. Она осторожно, намеком, поговорила со старой служанкой, и та, всегда готовая услужить любимице, на этот раз отчего-то смешалась, посоветовала не торопиться, подождать, послать сначала слуг, чтобы они все подробно выяснили. Так и сделали. Не один раз отправляли к мастеру верных людей.

И ответ был один и тот же: «Стройка идет, как задумано. В день укладываются сотни и сотни кирпичей. Уже сейчас минарет выше всех строений в городе. На такую высоту и кирпичи поднимать непросто. Подгонять мастера невозможно. Он и без того измучен».

Но все эти речи казались ханше простой отговоркой, желанием утешить ее, как несмышленое дитя. Нет, она должна сама, собственными глазами осмотреть башню. Иначе она не найдет себе успокоения.

И однажды, решительно отмахнувшись от всех опасений старой служанки, она отправила порученца к старшему визирю: ей, Младшей Ханше, угодно самолично осмотреть минарет. В назначенный день в сопровождении старшего визиря, главного зодчего и большой свиты она отправилась к строящейся башне.

Едва торжественный и нарядный кортеж выехал из ворот ханского сада, ханша увидела минарет во всем его величии. Обычно лишь краешек стены выглядывал из-за верхушек пирамидальных тополей, а здесь, на просторе, при стремительном приближении мягко катящейся повозки башня вырастала на глазах, словно горделиво ввинчивалась в голубизну неба. А когда кортеж остановился у ее подножия и ханша со своей свитой вышла из крытой повозки, громадина из темно-коричневого кирпича, казалось, скрыла от восхищенного взора половину вселенной. Ханшу обуял восторг, по жилам прокатилась легкая радостная дрожь. Ей казалось, что, если бы девушки из свиты не удерживали ее под руки с двух сторон, она могла бы, словно пушинка, взлететь до самой верхушки минарета. Она вдруг решительно направилась к башне. Рабы, работники, дворцовые слуги, свита учтиво расступились перед ней и согнулись в покорном поклоне. Она никого не замечала, никого не удостоила взглядом. За ханшей, стараясь не отстать, ринулись главный зодчий, старая служанка и еще человек пять из свиты. По крутым каменным ступенькам быстро поднялась наверх. Сердце колотилось все громче, в груди горело. Сзади слышалось надсадное дыхание девушки из свиты. Остальные, должно быть, отстали. В узкой, тесной башне становилось все темней, все мрачней, пламя светильника в руках девушки-служанки отбрасывало зыбкий отсвет. Внутренние стены были сплошь в густой жирной саже от лучинок, скудным светом которых пользовались рабы-носильщики, доставлявшие наверх кирпичи. Ханша, подхватив длинный подол, упорно поднималась вверх по крутым ступенькам. Мрак уже

заметно рассеивался, а еще через мгновение ослепительно засияло над головой полуденное солнце. Ханша достигла вершины башни. Девушка-служанка, державшая светильник, остановилась на несколько ступенек ниже.

То ли от непривычной высоты, то ли от неожиданно яркого света, обдавшего ее со всех сторон, ханша почувствовала слабость и головокружение. Однако она пересилила себя, подавила тошноту и быстро огляделась. Огромный город, беспорядочно раскинувшись, лежал далеко внизу. Неприступно-горделивые минареты, пышные мечети и дворцы отсюда, с высоты, казались невзрачными и неказистыми, словно игрушки в руках ребенка.

От радости вновь всколыхнулось сердце ханши. Выходит, напрасно она волновалась и тревожилась. Из этой башни, ее башни, и впрямь получится диво. Уже сейчас она овладела половиной небесной шири над столичным городом. Любуясь необъятным простором, открывавшимся с вышины минарета, ханша на мгновение скользнула взглядом вдоль кладки и едва приметила у самой стены фигуру мастера. Он был весь, с головы до ног, измазан глиной и, должно быть, стеснялся своего вида, потому что, как испуганный мальчишка, застыл на месте. И было странным, что юноша-мастер, своими руками сотворивший эту громадину, забился в угол, словно со страху онемевший зайчишка; у ханши — то ли от неожиданной женской жалости к его несчастному виду, то ли от любопытства и удивления — невольно чуть дрогнули губы. И хотя здесь, на вершине минарета, кроме них двоих, не было ни одной живой души и никто во всем мире их сейчас не видел, она смутилась и с усилием потушила непрошеную ласковую улыбку. Чутье подсказывало ей, что дольше задерживаться здесь, рядом с незнакомым юношей, неприлично, и она, подхватив пальчиками подол, нехотя направилась вниз по ступенькам, где со светильником в руке поджидала ее девушка-служанка. У самого спуска она еще раз обернулась и отчетливо разглядела мастера: он был совсем еще юн, строен и худощав, смуглолиц, большие печальные глаза таинственно лучились...

Ханша осторожно, чтобы не оступиться, пошла вниз. Каждый ее шаг эхом отзывался в узкой мрачной башне...

Садясь в повозку, она еще раз покосилась на вершину минарета и сразу же нашла глазами маленькую одинокую фигурку мастера на краю кладки. Она вспомнила его робкий, покорный взгляд, огромные печальные глаза и тихо улыбнулась.

С того дня судьба башни уже не тревожила ее. Она вновь вернулась к своим прежним забавам, возобновила забытые прогулки по саду и купание вместе с девушками в дворцовом пруду. После купания и игр в воде усталую ханшу долго растирали услужливые девушки, втирали в ее нежную кожу благовония, и она, в истоме, не удручала себя изнурительными и бесплодными думами, как прежде, а спокойно вглядывалась в знакомые очертания изо дня в день все заметней возвышавшегося минарета. И вот однажды она не увидела крохотных фигурки мастера на краю кладки и всполошилась. Но в тот же день слуги ей доложили, что мастер закончил кладку и теперь приступает к отделке стен.

Прошло лето. Скупыми дождями отшумела осень. Осталась позади и очень короткая в этих краях сырая зима. Грубо оголенная кирпичная громада сначала оделась в леса, потом через квадратные решетки, похожие на соты в ульях, нежно заголубела глазурь.

Отныне ханша в сопровождении свиты подолгу гуляла по саду и любовалась преображающейся на глазах башней.

Сначала башня оделась в лазурь. Она словно растворялась в синеве неба. И уже казалось, будто маленькие фигурки мозаистов, копошащихся на лесах, заняты украшением не стен башни, а самого небосклона. Линии минарета незаметно сливались с безбрежной небесной синью. Юная ханша ликовала.

Каждое утро, проснувшись, она спешила к окну, предвкушая радость от причудливой игры красок, которыми украшали башню крохотные человечки на лесах. Ханше что-то напоминала эта башня, что-то очень знакомое, близкое, но она никак не могла вспомнить — что. Потом ей померещилось, будто башня похожа на красивую женскую руку, манящe вскинутую над головой. И поразило ее: как точно угадал, как зримо выразил юный мастер нетерпеливую тоску ее по желанному супругу, так долго задерживающемуся в далеком и опасном походе!

И еще ей казалось, что голубая башня похожа на нежное, невиданное растение, впитавшее в себя лучшие соки земли, взлелеянное чуткой и доброй природой и обласканное живительным весенним ветерком. И уже жалость пробуждалась в сердце к этой башне, томили сочувствие и сострадание к ней, как к живому, беззащитному существу. Как выстоит этот хрупкий, одинокий побег потом, когда задуют свирепые бури ранней весной и в предзимье, когда обрушится на него нещадный летний зной?

Каждый день минарет удивлял своим новым обличьем. То он казался невинным и робким творением, то напоминал шаловливое дитя, выказывая озорную игривость, то застывал в горделивой неприступности. Иногда он точно заглядывал в окно, навевал тоску и печаль, жаловался будто на одинокую судьбу свою, но на другой день становился замкнутым и холодным, дерзко устремлялся к самому небу.

Сколько бы ни разглядывала ханша башню, она не могла понять секрет ее многоликости, не могла постичь тайну ее неотразимой прелести. Особенно ее озадачивало, что мастер почему-то явно оттягивал завершение башни и долго копошился у зазора на самой вершине.

Ранее, бывало, ханша ежедневно свободно купалась в хаузе. Теперь она робела, стеснялась раздеваться и обнаженной входить в воду, чувствуя на себе пристальный взгляд юноши, наблюдавшего за ней через маленький зазор под куполом.

Выходя на прогулку, она останавливалась на берегу хауза и подолгу смотрела на минарет. Казалось, и башня глядела на нее, пытаясь сказать что-то сокровенное, сказать без слов, одними намеками, игрой красок, чтобы ни одна живая душа вокруг ни о чем не догадывалась. Стоило ханше исчезнуть за стенами дворца, как башня тотчас окутывалась зыбким маревом и тихо грустила за окном. Но едва ханша показывалась в саду, башня точно пробуждалась, стряхивала с себя неведомую печаль и встречала ее сияющей улыбкой.

Минарет будто безмолвно подкрадывался к ней. Будто вплотную придвинулся к высокому дувалу вокруг дворца и сада и даже пытался перескочить через него, но никак не решался.

Это становилось наваждением. Минарет точно заворожил юную ханшу, лишил ее воли. Она смотрела на него целыми днями, словно пыталась по буквам, по слогам прочитать некое загадочное письмо, написанное ей на незнакомом наречии.

Может, башня была ее безмолвным отражением? И у нее был цветущий, нарядный вид; и все же сквозь внешнюю красоту проглядывала затаенная, непроходящая печаль. Неведомая боль, неизбывная тоска, тщетно скрываемая от себя и от других, подспудно подтачивали ее; робкое желание, неуемная страсть, подавляемая изо дня в день, застыли в ее обличье. Такое выражение глубокой душевной скорби вместе со страстным сердечным влечением встречается нередко в

задумчивых глазах несчастных, неуверенных, замкнутых людей. Нет, эта башня вовсе не была отражением самой ханши. В минарете был выражен немой упрек. Он словно говорил ханше: «Ну, что ты?.. Неужели ты не можешь понять меня?!» И только теперь ханша заметила: да, да, точно такое же выражение, такой же мягкий укор, такую же ласковую мольбу она прочитала тогда, при мимолетной встрече, в покорных, лучистых глазах молодого мастера. Выходит, зодчий сумел вложить в свое творение свою душу, выразить в немом, бездушном камне свою затаенную мечту...

Только что это за мечта? О чем хочет поведать ей загадочная башня, так преданно и терпеливо заглядывающая в ее окно? В чем она ее упрекает? За какой проступок заслужила юная ханша ее немилость? Не может же молодой робкий мастер, который даже не осмелится поднять на нее глаза, быть в душе таким придирчивым, сварливым, жестоким. Нет, не может. Для зодчего, для подлинного мастера нет большего счастья, чем показать всем людям, всему миру свое творение, свое искусство. Мастер, построивший удивительной красы башню, которая с недосягаемой высоты взирает на столичный город, не может быть подозреваем в недобрых помыслах. Тогда почему он оттягивает завершение стройки? Почему на виду у всех оставил под самым куполом зияющий зазор?

Ханша приказала заложить повозку и отправилась смотреть минарет. Поразительно: по мере приближения башня теряла свой смиренный, кроткий вид и становилась неприступно холодной, заносчивой. Вблизи она и вовсе походила на кичливую, своенравную красавицу. Ханша на этот раз не стала подниматься на вершину минарета. Только поинтересовалась у главного зодчего, почему не заканчивают строительство, ведь осталась самая малость, на что тот, чуть подумав, с достоинством ответил, что, мол, мастер никак не может добиться чего-то очень важного, желанного, задуманного, что вот-вот ему, бог даст, откроется заветная тайна и тогда, в тот е день, башня будет завершена.

Возвращаясь во дворец, ханша продолжала смотреть на башню из окошка крытой повозки. И опять поразилась: по мере удаления башня теряла свой заносчивый, неприступный холодный вид и становилась смиренной, кроткой, а из окна опочивальни и вовсе показалась удрученной, печальной. Ханша окончательно убедилась, что все эти загадочные превращения неспроста, что за этим кроется глубокая тайна.

Молодой зодчий, конечно, безошибочно понял и точно

выразил ее чистую любовь и тоску по любимому супругу — великому Повелителю. Он сумел угадать затаенный смысл ее желания, которое побудило построить этот минарет. Потому — если смотреть издалека — башня и кажется такой грустной, потому и вызывает она невольное сочувствие, жалость. Должно быть, на расстоянии дневного пути она мерещится путникам манящей рукой истосковавшейся по любимому женщины. Она, видимо, чудится выражением страстной мольбы: «Спеши же, милый... Скорей приезжай... Скорей...» Но откуда эта вызывающая гордость вблизи? Разве не возбудит это справедливый гнев у властелина? Может, и он соскучился по возлюбленной за долгую разлуку, но вряд ли его обрадует кичливость и холодная сдержанность башни, построенной в его честь. И почему она грустит, скорбит, когда смотришь на нее из дворца? Ведь она, казалось бы, должна выражать ликующую радость, счастье юной ханши, обретшей свою любовь после стольких лет изнурительного одиночества.

Разве возможно, чтобы молодой даровитый зодчий, неспособный разве что источить слезу из камня, не понял этого? Значит, он сознательно наделил башню такой странной двойственностью. А что, если его подспудное желание, его глубоко упрятанную тайну увидит, разгадает, почувствует праздная, болтливая толпа, а не она, юная ханша.

Ханша не на шутку встревожилась. Посоветовавшись со старой служанкой, решила отправить на базар своих людей, чтобы они послушали и донесли, что говорят горожане и приезжие о новой башне. Однако ничего любопытного тайные соглядатаи не сообщили. Оказалось, что базарный люд ничего предосудительного или крамольного в новом минарете не усмотрел, что все только восхищены благородным поступком юной жены Повелителя, решившей в честь своего далекого возлюбленного воздвигнуть невиданную доселе башню, и божественным даром неизвестного молодого зодчего.

Хотя ханша несколько и успокоилась после этих донесений, однако странная тревога, недовольство собой ее не покидали.

А ведь и впрямь нет никаких оснований для волнения. Глядя на башню, народ может воочию убедиться в искренности ее чувства к далекому супругу. И сам великий Повелитель, возвращаясь из похода, уже издалека увидит ее неуемную тоску по нему, а подъезжая к башне, может по одному ее горделивому, надменному виду догадаться, что его молодая жена осталась ему верна и на всем бе-

лом свете, кроме него, властелина, ни о ком не помышляла.

Выходит, молодой зодчий чутко проник в самую ее душу, понял ее без слов и сумел выразить в камне и красках все ее порывы и чаяния. Значит, и великий Повелитель не найдет в построенной по ее воле башне ни единого изъяна. О, всемогущий! Так пусть же наступит скорее тот желанный день — день встречи, день счастья! Она встрепенулась бы, как сказочная птичка в райском саду, вспорхнула бы в предвушении мига наслаждений, светом радости озарила бы высокую душу своего изнуренного походом супруга. И тогда... тогда и Старшая Ханша, извечная соперница ее, оказалась бы посрамленной, униженной и ничего бы ей не оставалось, как корчиться от жгучей, испепеляющей ревности. Можно себе представить, как распирают ее гордость и чванство от того, что столько лет неразлучно сопровождала в походах Повелителя, деля с ним тяготы, славу и ложе, увидела столько диковинных стран и что следуют за нею караваны слонов и верблюдов, груженные несметным богатством. Но нетрудно себе представить также, как ликующая ее душа вмиг погаснет, сорвется с вышины, точно подстреленная, когда она неожиданно увидит перед собой дивную башню, подпирающую небосвод. И сам великий Повелитель в этот миг невольно убедится в том, что его Старшая Жена, с которой он прожил столько лет и которую он всячески ублажает и возвеличивает, еще ни разу не додумывалась до того, чтобы с таким же почетом и торжеством встретить возвращающегося из похода мужа и таким образом восславить победоносный дух его, что она, несмотря на всю свою высокородность, только и способна копить добро, трястись над своими драгоценностями и кичиться тем, что в молодые годы удосужилась, как плодовитая, вислобрюхая сука, нарожать ему детей.

Властелин, видящий каждого человека насквозь, без слов поймет, что юная ханша не только искренна, чиста и верна в своей любви, но еще и умна, мудра и способна своей душевной зоркостью удивлять людей. Она не станет высокомерно задирать голову, дескать, глянь, великий из великих, любуйся и оцени, какой подарок я тебе подготовила, а встретит его скромно и смиренно, как и прежде. И страсть свою, тоску и желание, накопившиеся за столько лет одиночества и переполнившие теперь ее истомленную душу, она не обрушит на возлюбленного сразу, точно неукротимый поток, а будет сдержанной в ласке и любви, робкой и

стыдливой, неумелой и трогательной, как в ту первую брачную их ночь. Но даже при этой сдержанности она сумеет без назойливости подчеркнуть, что нет для нее более великого счастья, чем быть вместе с всемогущим владыкой, разделить с ним ложе и, щедро отдавая себя, исполнить свой извечный женский долг.

Лишь бы настал скорее тот день... О, каждый уголок этого огромного унылого дворца наполнился бы радостью и ликованием...

Благодаря голубому минарету скоро должна осуществиться ее взлелеянная мечта. И ханша готова расцеловать каждый палец чудодея-мастера, воплотившего ее мечту. Только бы быстрее завершил он свое творение. Только бы скорее заделал он тот зазор под куполом, раздражающий, как бельмо в глазу. И чего он мешкает, чего он там, на самой вершине, застрял вдруг безнадежно? И почему, когда смотришь из дворца, минарет кажется таким хмурым и подавленным, будто обидел его кто-то? Разве этот его облик не насторожит Повелителя? Может, он, Повелитель, мгновенно разгадает недоступную ей загадку? Поймет какой-то неведомый ей намек? Ну, конечно, он владыка, подчинивший своей волей все четыре стороны света, сразу же обо всем догадается и все поймет при первом же взгляде. Только что придет ему на ум когда он увидит из опочивальни юной ханши минарет, заглядывающий в ее окно печально и умоляюще? Несомненно, Повелитель решит про себя, что молодой искусный мастер, способный одухотворить безмолвный камень, выразил своим минаретом то, что не осмелился бы высказать словами, ибо понимает, что за это ему непременно отрезали бы язык. Так что же получается? Выходит, робкий, преданный взгляд юного мастера тогда при их встрече на вершине минарета означал неодолимую любовь к ней. Да, да... любовь! Теперь-то ей все понятно. И уж коли открылась ей эта тайна, то тем более не ускользнет она от все видящих и все понимающих глаз Повелителя.

Ханша опешила от этого очевидного предположения, словно кто-то грубо и неожиданно ворвался к ней в неурочный час.

Минарет, казалось, еще ближе придвинулся к ее окну. «Верно, верно... наконец-то, все поняла... угадала,— словно твердил он в нетерпении,— ну, ну, что же теперь скажешь, что мне ответишь?..» И столько настойчивости, столько отчаяния чувствовалось в минарете, что юная ханша поневоле зажмурила глаза и отшатнулась. Ей на мгновение по

мерещилось, что минарет вот-вот перемахнет через высокий дувал вокруг дворца, сметая все преграды.

Она отпрянула от окна, собралась с духом.

Первое, что пришло ей в голову: необходимо немедля наказать дерзкого мастера, нарочно затягивавшего завершение минарета. Несомненно, этого юнца попутал бес и ему самому неведомо, должно быть, что он себе вообразил. Значит, его следует наказать так, чтобы он не только про любовь, но и про бренное свое существование забыл.

Гнев и чувство ущемленного самолюбия овладели теперь всем существом ханши. Посмотрите только, что взбрело в безрассудную голову юнца, едва осмеливающегося поднять свои воловьи глаза на молодую жену властелина! То-то же, неспроста, видно, уселся, как сыч в дупле, на вершину минарета и день-деньской неотступно следит за ней... Нет, от него нужно избавиться. И как можно скорее, пока еще бесчисленные сплетники столичного города не пустили скользкий слух по всем закоулкам. Сумасброда, решившего достать луну на небе, следует тотчас поставить на место. Где это видано и слыхано, чтобы низкородный холуй, нищий безымянный, черная кость, позволял себе хотя бы в черных мыслях своих возжелать белотелую невинную жену земного владыки?! Как он только посмел — пусть в своей поганой душе — осквернить священное ложе Повелителя? Если хоть одна живая душа догадается о его преступном желании, о его дерзкой мечте... Получается, что, стремясь возвеличить и увековечить честь своего супруга, она помимо своей воли обесчестит на века его славное имя. Нет, юная ханша обязана пресечь это безумие, обязана своими руками задушить робкий росток надежды. Сейчас она вызовет порученца, тот обо всем доложит визирю, и старший визирь еще сегодня заточит строптивца в мрачное подземелье. А там он и пикнуть не успеет, как палачи секирой отрубят ему башку. Вот так бедолага мастер, соорудивший чудо-минарет, станет жертвой собственной слепой страсти. Что ж... пусть пеняет на себя. Мог бы вовремя обуздать свое низменное вожделение. Она, юная ханша, не виновата в его печальной участи ни перед богом, ни перед людьми. И не надо откладывать своего решения. Уже пришла весть: Повелитель держит путь на родину. Пока не доползли до него сплетни, следует погасить свет в очах молодого зодчего и распорядиться, чтобы главный мастер сам завершил строительство минарета. Но... разве минарет, словно коварный искуситель, не будет продолжать смотреть в ее окно, как прежде, преданно и умоляюще?

И разве великий Повелитель не поймет его намека, не разгадает его сокровенной тайны?

От досады ханша больно прикусила губу. Как же теперь быть? Может, выпустить из крепости и подземелья всех рабов и пленников и заставить их разнести, разметать этот зловредный минарет дотла? Но что тогда скажет словоохотливая толпа, которая пока ничего не подозревает? Сколько кривотолков родится мгновенно по поводу того, что юная ханша приказала до основания разрушить минарет, построенный по ее же распоряжению! И сумеет ли она убедить Повелителя в правильности своего решения?

Ханша вновь подошла к окну. Минарет по-прежнему преданно и печально взирал на нее. На самой вершине, в черном зазоре, что-то мельтешило. Что делать? Как же быть? Кто сможет искусно заделать крохотный зазор видный, однако, отовсюду? Да что зазор, когда сам минарет всему белому свету открыл ее сокровенную тайну?! Тайну, которую она скрывала даже от себя! Нет, отныне уже никто не в силах ее скрыть. Это может сделать только сам молодой зодчий, вдохновенный творец дивного храма любви. Однако он этого не сделает... не сделает даже во имя их великой тайны, пока не осуществится его дерзкое желание. Живо предстал перед ее глазами смуглый робкий юноша, умоляюще смотревший на нее на вершине минарета. Чистый, пылкий юнец, видно, влюбился в нее без ума. Он, слепец, даже сам не понимает, на кого он позарился. Ему, несчастному, и невдомек, что страсть его губительна. Юная ханша вдруг очень ясно себе представила, что молодым зодчим руководило одно-единственное желание — воплотить в минарете свою слепую любовь. Да, да, только это, только это. Он, бедняга, давно уже забыл, по чьей воле строится минарет, что от него требовала Младшая Жена великого Повелителя, и он едва ли не с самого начала оказался в плену своих же пылких, по-детски нетерпеливых чувств, которые заглушили в нем трезвый рассудок. И вот получилось, что помимо своей воли он вдохнул в этот минарет свою душу, выразил в нем свою безнадежную любовь, свою необузданную страсть, свое немыслимое желание, ради которых и угроза смерти ему не страшна. Вот почему так невыносимо тоскует минарет вдали, ибо прекрасно сознает, что недоступен ему предмет его обожания. Неразделенная любовь, невозможность любви привели молодого зодчего в отчаяние. Он теперь оттуда, из своего укромного гнездышка на вершине, не уйдет. Нужно встретиться с ним, убедить в бесплодности, бессмыслен-

ности его упрямства, предостеречь от безрассудства, объяснив, что его дерзость будет стоить ему жизни, а для юной ханши обернется бесчестьем. И если любовь его искренна, он не может не внять ее мольбам. Секира палача, конечно, поможет прервать пагубные мечтания потерявшего рассудок юнца, однако его слепая страсть, как вечный укор ханше, останется запечатленной в минарете. Значит, только испытанным женским лукавством можно вернуть его на путь благоразумия. И только в тот день, когда ханша утолит его неодолимую жажду наслаждения, утешит его истомленную душу или осчастливит хотя бы обещанием исступленной радости, минарет перестанет наконец взирать днем и ночью с укоризной, жалостью и печалью, молчаливо вымаливая ласку и любовь. И если наделенному божьим даром зодчему удалось выразить в каменном минарете неуемную боль, охватившую всю его душу, то он с такой же силой сумеет выразить и ослепительный миг счастья. Вот именно это звездное мгновение и должен воплотить молодой мастер в своем творении. А тогда и сам великий Повелитель, и бесчисленная черная толпа, не подозревающая пока о дерзком поступке ошалевшего от любви юнца, воспримут это как радость и счастье ханши, заключившей в свои объятия долгожданного возлюбленного. К этому она и должна стремиться. И да пусть утешится несчастный юнец, пусть в желанной радости захлебнется его буйная, неистовая плоть, ханша уступит его строптивой прихоти...

Ханша, казалось, вновь поймала поводья разбежавшихся мыслей и приняла твердое решение. На другой день, с утра, она пригласила к себе старую служанку. И горничные, и свита растерянно толпились за дверью. Старуха вышла из опочивальни лишь около полудня. Она попеременно в упор вкогтилась цепким взглядом в каждую, кто с утра томился возле тяжелой входной двери, потом велела одной из самых смазливых служанок остаться, остальных отпустила по комнатам. Девушки, озадаченно пожав плечами, разошлись.

В тот же день, после обеда, крытая повозка ханши в сопровождении дворцовой свиты направилась к минарету. Там, у его подножия, довольно долго стоял парядный кортеж...

На следующий день, выйдя, по обыкновению, на прогулку, ханша сразу обратила внимание на то, что мозоливший всем глаза зазор под куполом был уже наполовину заделан. А еще через три дня строительство минарета было

наконец завершено. Из окна своей опочивальни ханша любовалась совершенно новым обликом минарета: он приветливо улыбался, весь светился счастьем. В честь возвращения с победой великий Повелитель провел пышный пир, и на том пиру в числе многих одарил и юного зодчего целым подносом золотых динаров.

Принимая дар, тот незаметно покосился в сторону Младшей Ханши. Она смутилась, быстро отвела взгляд, посмотрела туда, где чинно восседала Старшая Жена со своей свитой, и успокоилась, решив, что никто не обратил внимания на неосторожность молодого мастера. Казалось, никому не было дела ни до него, ни до юной ханши, никто ни о чем не догадывался, и сердце ханши после стольких сомнений и волнений вновь забилось ровно, спокойно.

А когда прошел многодневный пир и Повелитель поселился в ее дворце, она от счастья не находила себе места. Весь бесконечно длинный день она следила за солнцем. Казалось, назло ей оно никогда не зайдет. Ханша вся измучилась от ожидания, от духоты, от жары, и лишь когда раскалившееся светило нехотя скользнуло за горизонт, она облегченно перевела дух. Теперь уже скоро, вот сейчас наступит тот желанный миг утешения души и плоти — долгожданная плата за долгие годы тоски и одиночества. Она прислушивалась к каждому шороху, не спускала глаз с тяжелой, золотыми пластинами отделанной двери.

Так и промаялась ночь напролет, с болью и обидой озираясь в сторону входа. Утром, как всегда, вошли к ней горничные, и вид у них был растерянный и смущенный. Ханша прочла в их глазах слабое утешение: «Ничего... не отчаивайся. Утомился ведь Повелитель после опасного похода и шумного, многодневного пира. Видно, неудобным ему показалось, подобно нетерпеливому юнцу, в первую же ночь переступить порог твоей опочивальни».

В тягостном томлении провела ханша день. Как невменяемая, слонялась из угла в угол. Надумала было поразвеяться на прогулке, однако тут же отказалась от этого намерения, вспомнив, что Повелитель любит одиночество у родника в саду, и боясь неожиданной встречи с ним.

Первые дни ханша успокаивала себя тем, что Повелитель, должно быть, и впрямь устал, и старалась возбуждать в себе жалость к нему. Но проходили дни и ночи, и она все так же настороженно прислушивалась к шагам за тяжелой дверью, ждала, ждала до полного изнеможения, а Повелитель не показывался и никаким образом не

давал о себе знать. Ночами напролет ворочалась ханша на душных перинах, будто они были усеяны колючками.

Отныне она пытливо заглядывала в глаза старой служанки и горничных. И у них был подавленный, удрученный вид. Ничего у них ханша выпытать не смогла, наоборот, казалось, они сами ждали от нее каких-то объяснений. Ханша изо всех сил старалась не подавать виду. Однако служанки, без слов понимавшие каждый порыв и каприз своей госпожи, конечно же обо всем догадывались. Притихла свита, улыбалась через силу, ходила на цыпочках.

С того дня, как Повелитель поселился в ее дворце, ханша уже не выходила на прогулку; целыми днями томясь в опочивальне, все думала, думала до головной боли, до умопомрачения, а потом часами смотрела в окно. Казалось, она без слов жаловалась минарету на свою судьбу на продолжающееся одиночество, на то, что великий Повелитель охладел к ней после похода, еще ни разу не удостоил своим посещением. Но минарет самодовольно сиял в лучах солнца, играл разноцветными бликами и взирал на ханшу восторженно-радостно. Куда только исчез его недавний жалостливый, умоляющий взор? Он выражал теперь уверенность, удовлетворенность, будто упивался желанной удачей. Ханша содрогнулась: сколько холодной надменности и равнодушия к ее душевным мукам, к ее нескончаемым страданиям было в этом величественно-прекрасном минарете, который по вершку, по кирпичику рос столько лет на ее глазах! Казалось, он мстил ей за что-то, откровенно злорадствовал. То-то же голубушка, вроде говорил он, помнишь, с каким высокомерием глядела когда-то на меня, как задирала нос, как упорно не внимала моим мольбам?.. Сколько лет я вымаливал твое внимание!.. Как долго мучила меня своим безразличием!.. Ханша представила себе молодого зодчего. Она еще раз внимательно рассмотрела его тогда на пиру, когда он принимал щедрый ханский дар. Навсегда запечатлелся в памяти его облик; гладкий широкий лоб, прямой, правильной формы нос, чистое смуглое лицо, необыкновенно большие печальные глаза, сосредоточенный, загадочный взгляд. Чем он живет теперь, вдохновенный юноша? Не может быть, чтобы он ошалел от радости, получив полный поднос золотых динаров. Он, кажется, не из тех, кто гонится за житейским благом. Не крохобор. Наверно, и он еще не охладел к своему творению. И его сердце, должно быть, сладко сжимается, когда он смотрит на минарет или вспоминает тот — памятный для обоих — день...

Стоит юной ханше вспомнить о том забавном и трогательном случае, как ей сразу становится легко и светло, словно весенним половодьем омыли ее душу, и в невольной доброй улыбке растягиваются ее губы. Смешно: до чего же чист и неопытен пылкий юноша! Думая о том невинном розыгрыше, о поступке ошалевшего от неожиданного счастья молодого зодчего, она испытывала одновременно и жалость, и сочувствие, и неведомую нежность к нему. Он ненасытно ласкал ее, обнимал, шептал жаркие слова: «Не уходи... не отпущу... останься... навсегда... навсегда...» Смотри, чего ему захотелось! Видно, не прочь всю жизнь тискать в своих объятиях Младшую Жену великого Повелителя.

Рассказывая потом подробно ханше об этом, молодая смазливая служанка звонко хохотала, и вместе с нею смеялась и ханша, но тут же, опомнясь, резко обрывала свой смех. Нет, вовсе не потому, что ей было неловко перед своей служанкой. А скорее потому, что, слушая предназначенные ей сокровенные слова влюбленного юноши из уст разбитной, довольной служанки, ханша почувствовала на миг, как ледяной холод больно кольнул ее сердце. Стараясь скрыть эту неожиданную для самой себя пронзительную боль, она придирчиво и ревниво расспрашивала служанку обо всем, что происходило между ними там, на вершине минарета, и тщетно силилась при этом сохранить легкую усмешку на губах. И чем больше подробностей выведывала она у служанки, тем ощутимей становилась боль в груди. Каждый поступок, каждое слово, каждый жест страстного юноши живо отзывался в ее сердце.

Так же пристально и с тайной завистью разглядывала она чуть-чуть смущенную юную служанку, ревниво отмечая про себя здоровую алость ее тугих щек, черный, озорной блеск больших глаз, сочность полных, пылающих губ, стройность легкой, складной фигурки. Ханша даже заметила на ее лице следы особой, необычной радости — не такой легкомысленной, бездумной, как у других служанок. Это была та самая таинственная радость, которую она сама, будучи ханшей, не постигла, не изведала. Это ликование души и плоти, упоение радостью, торжество, которыми наполняется все существо женщины в редкий миг счастья и любви. Этим блаженством скряга судьба одаривает женщину лишь однажды за всю ее жизнь, а чаще всего и вовсе не одаривает. Редкой счастливице удается познать эту высшую радость. Суждена ли ей, ханше, такая доля? Ведь, говорят,

счастье мимолетно. Упустишь из рук желанный миг — и будешь казнить себя всю жизнь. А она предназначенную ей любовь по собственной воле уступила другой. В тот день, когда она чутким женским сердцем ясно осознала вдруг сокровенное желание молодого зодчего, ханша долго и откровенно советовалась со старой служанкой. Тогда-то они и договорились прибегнуть к невинному розыгрышу. Старая служанка выбрала из свиты ханши самую смазливую, юную и хрупкую девушку. Ее нарядили как ханшу и отправили на вершину минарета на свидание с молодым зодчим, потерявшим от любви голову. И вот теперь сидит она, юная служанка, перед ней, сияющая, веселая, довольная, еще не остывшая от тех жарких объятий, еще взволнованная нежными и страстными словами, которые вовсе не ей предназначались, но колдовскую силу которых она изведала сполна.

Ханша старалась подавить в себе непрошеную досаду и боль, взять себя в руки, ибо она вспомнила чьи-то слова, что женская ревность и зависть — всего лишь признак слабости. Ей, ханше, не пристало быть мелочной и слабой. Она не желала вспоминать о том, что случилось, хотела скорее и навсегда забыть тайну, известную лишь ей, старой служанке и смазливой девице из ее свиты. И когда на следующий день она увидела, с какой поспешностью молодой зодчий заделывал зияющий зазор на вершине минарета, ханша почувствовала желанное облегчение, и вчерашняя досада уступила место удовлетворенности и душевному покою. А потом вернулся из похода великий Повелитель, увидел и похвалил минарет, и, узнав об этом, ханша сразу забыла все свои недавние тревоги, тоску и отчаяние. И вот теперь неожиданно они вновь захлестнули ее. И все, конечно, потому, что пусто на душе, потому, что властелин забыл дорогу в ее опочивальню. А подавленная душа все равно что голодный бездомный щенок, обнюхивающий каждую помойку и поневоле натыкающийся на всякую дрянь. А она — высокородная ханша, любимая жена великого Повелителя, не какая-нибудь долгополая занюханная бабенка, ищущая низменных утех на стороне!

Но напрасно подстегивала она свою гордость. Горькая усмешка искривила ее губы, когда она вспомнила, что судьбой ей уготовано возлежать на ханском ложе в объятиях всемогущего Повелителя. Как бы не так! Не больно жалует ее властелин своей любовью. Не больно щедро одарил ее лаской. Это только считается, что она проводит счастливые ночи в неутомимых объятиях коро-

нованного владыки. Все это жалкое утешение, самообман, ложь. Сколько бессонных ночей ворочается она в постылой постели? Догадывается ли о ее муках хоть одна живая душа? Неужели так ничтожна плата за долгие годы тоски? За верность и преданность? За то, что она, подобно Старшей Ханше, не дрожала над своими драгоценностями, не умножала ненужное ей добро, а щедро все потратила на строительство голубого минарета?.. Напрасные надежды... обман... ложь. Пустая затея, рожденная страхом перед одиночеством. Все живое на этом свете, даже самые ничтожные, низменные твари живут парами. И только ей одной не дана супружеская жизнь. И все это время она только и занята тем, что сама себя утешает, сама себя уговаривает и обманывает. Самую обычную жалость богом данного супруга она приняла за любовь. Самый заурядный подарок посчитала знаком особой признательности и душевного влечения. А что такое шкатулка драгоценностей для Повелителя, покорившего половину вселенной?! Так себе, мелочь, крохи, которые он в добром расположении духа может не задумываясь швырнуть первому встречному нищему. Если бы Повелитель действительно любил ее или хотя бы испытывал к ней неукротимую мужскую страсть, разве мог бы он, находясь с ней столько ночей рядом, под одной крышей, в одном дворце, ни разу не заглянуть в ее опочивальню? Вспоминая теперь те сладостные, счастливые надежды, которые она в душе связывала с возвращением Повелителя и так обстоятельно и любовно вынашивала в своем воображении, ханша испытывала стыд и досаду и упрекала себя за наивность и легкомыслие. Было невыносимо жалко расставаться с той красивой мечтой. Лучше бы не наступило отрезвление. Лучше бы вновь вернулись те бесконечные дни и ночи смутных ожиданий и зыбких грез. Тогда рядом с пустоглазой тоской неизменно теплилась хоть какая-то вера в недалекое счастье, сполна вознаграждающее ее за все муки. Эта вера, эти наивные мечты утешали ее даже в отчаянии.

Где они теперь, те дивные грезы? А с какой стати она внушила себе, что так безумно любит Повелителя? Что, если ее любовь — пустая выдумка? Разве может женщина, не познавшая подлинной любви другого, почувствовать в себе силу неодолимой страсти? Вряд ли... Ведь это слепое пьянящее чувство должен кто-то в ней возбудить. Не воспламенится же она сама по себе. И великий Повелитель, кажется, не успел заронить в ее сердце искорку неуемной

страсти. Тогда почему она вообразила невиданную любовь между ними? Может, это и не любовь вовсе, а выдуманное подобие любви, лишь смутное желание, навеянное истомленной, измученной душой? Или обманчивое чувство, похожее на неосуществимую, немыслимую надежду молодого зодчего?

Ханша испугалась. А что, если ее догадка — истина? И разве не кощунство так думать? Не сомневается ли она в самой божественной силе, в всемогуществе всевышнего? Ханша трижды помянула создателя, поспешно прошептала спасительные молитвенные слова. Однако подозрение, возникшее так неожиданно, не оставляло ее.

В этот день она почувствовала себя еще более разбитой и подавленной. Словно тень, слонялась она из угла в угол просторной опочивальни. Ноги подкашивались, тело ныло, она будто подламывалась под непостижимой, неимоверной тяжестью. Еле дождалась вечера. И то ли сказались долгие бессонные ночи, то ли вконец измытарили ее горестные думы, но едва она коснулась головой подушки, как ленивое, сонное безразличие мягко окутало ее. Приятная усталость медленно проникала во все поры. Это было странное, неиспытанное состояние между сном и явью. Разморенная сладостным предчувствием, она покорно и радостно отдавалась истоме. Казалось, невидимые лучи наслаждения с небесной вышины пробивались в ее огромную, одинокую опочивальню, грели и ласкали ее изнуренную плоть, пробирались до костей и растапливали ледяной наст в душе, рассеивали, растворяли тоску, печаль, боль, гнев, горестные думы, отчаяние и досаду, накопившиеся за все эти гнетущие годы, нежно нашептывали, приговаривали: «Успокойся, милая, отдохни, ни о чем не думай, не расстраивайся, не изводи себя понапрасну», гладили ее чудодейственной мягкой ладонью, избавляя от непосильных мук и терзаний. Глаза ее сомкнулись; плотная белая пелена заполнила все вокруг, сознание погрузилось в дрему, и ханша сама уже не понимала, спит ли она или бодрствует...

И все же какая-то частица сознания стерегла вечернюю тишь, зорко вглядывалась в дрожащий белесый луч. Сердце, уставшее от волнений, понемногу успокаивалось; тяжелый, все усмиряющий сон, неумолимо подкрадываясь, все увереннее заключал ее в свои теплые объятия. Разнежившись, ханша безмятежно раскинулась в постели, но крохотный очаг сознания не дремал, продолжал бодрствовать, сторожко оберегая ханшу от любопытствующего взора...

И вот в несуразно огромную опочивальню, бесшумно

открыв отделанную золотом грузную дверь, вошел кто-то, крадучись, на цыпочках. Даже не вошел, а словно вплыл, растворяясь в сумраке, и нерешительно застыл у порога. Неожиданный ночной гость испугал ханшу, она пыталась вскочить, вскрикнуть, но что-то сковывало ее, как бы пригвоздило к постели, не позволяло шелохнуться. Даже руки были ей неподвластны, точно связанные. Она силилась разглядеть того, кто, словно призрак, неподвижно стоял возле двери, вглядываясь до боли в глазах, но белесая, дрожащая мгла, словно плотной кисеей, скрывала черты лица. Она видела лишь смутные очертания фигуры, точно под толщей колыхающейся воды. Вот он, таинственный пришелец, пошелохнулся, медленно, неслышно направился к ней, но по-прежнему не различить его лица, он точно плывет, то приближаясь, то удаляясь, в серовато-мутном потоке... Ближе... ближе... почти уже рядом. Но кто он... кто? Ханше он чудится знакомым. Да, да... где-то она его видела. И эти глаза, большие, ясные, с загадочным блеском в глубине зрачков. Взгляд, по-юношески открытый и смелый, отуманен неведомой печалью. Он будто жалуется ей, о чем-то умоляет, и невыразимо больно смотреть в эти кроткие, преданные глаза. Она их знает, она их видела часто, может, даже каждый день. Но чьи они? Отчего ей так грустно и одновременно тепло от них? Отчего печаль в его глазах так созвучна, так понятна ее горю? Почему ее душа так нежно, так чутко отзывается на безмолвную его мольбу?.. О всемогущий, всеблагой!.. Почему она не может очнуться? Где и когда она видела эти колдовские глаза? Нет... ей только померещилось. Никто никогда нигде не заглядывал так проникновенно в ее душу. И все же откуда она их знает?.. Кто он, этот искуситель? Почему она не может вспомнить его? Ведь он и раньше смущал ее покой, приводил в смятение, в отчаяние...

Тянущая истома, блаженная нега вдруг вновь уступили место лихорадочной тревоге. Ну, наконец-то вспомнила... все вспомнила. Да, да... только у молодого зодчего она видела такие печальные глаза. Такую же грусть и безмолвную мольбу выражал еще недавно и построенный им минарет. Теперь она узнала не только покорно-кроткий взгляд, но и смуглое, овальное лицо, прямой, резко очерченный нос, полные, пухлые губы. Конечно же это был он, юноша зодчий, творец голубого минарета. Но... как он проник в ханский дворец, в который не залетит незамеченной даже муха?.. Как пропустили его многочисленные охранники

и слуги?.. Она считала, что он навсегда охладел к ней после того случая. Выходит, не угасла в нем страсть. Выходит, напрасно она затеяла невинный розыгрыш с юной служанкой. И вот он сам пришел к ней в опочивальню. Что будет, если застанет его здесь старая служанка? Безумец, он не только сам подставляет голову под секиру палача, но позорит и ее честное имя.

Ханша порывалась накричать на зарвавшегося наглеца, наказать его за назойливость, позвать слуг, но у нее не было голоса, будто кляпом заткнули рот. Однако молодой зодчий, должно быть, догадался о ее гневе: подойдя почти вплотную к постели, он вдруг отпрянул, отшатнулся, заспешил к выходу. Большие печальные глаза округлились, как у испуганного ребенка. Сердце ее зашлось от жалости. Она подала знак: «Не уходи... постой...»

Нежданный ночной гость растерянно застыл у двери, не зная, какому капризу ханши повиноваться. Она протянула к нему обе руки, позвала настойчивей, и он, еще не веря, робко шагнул навстречу. Теперь ее охватило жгучее нетерпение. Ну, скорей же, смелей... В глазах его мелькнули испуг, надежда и желание. Все еще робея, он неслышно добрался до постели, осторожно коснулся ее пальцем. Они обменялись быстрым смущенным взглядом. В это же мгновение ханша почувствовала страх. Если она сейчас упустит этот миг, то навсегда лишится нерешительного, чистого юноши с покорными, печальными глазами. Преодолевая стыд и робость, она вся подалась, потянулась к нему, обвила его руками и откинулась назад, задыхаясь, обессилевая от судорожных, нетерпеливых объятий. В воспаленном сознании мелькнула вдруг догадка: все эти годы, изнуряя свою душу и плоть, она, оказывается, желала, ждала только его, его одного, его неумелую ласку и тихую, преданную любовь. И вот то, по чему она томилась долгими бесплодными ночами, нежданно сбылось, и теперь она уже никогда, никогда, никогда не выпустит его из своих объятий, никакая черная, злая сила не разлучит их, не отнимет его, желанного, любимого, единственного. Она изо всех сил, как в безумии, прижимала его к себе, словно хотела слиться с ним, раствориться в нем, и он, все более распаляясь, чутко и благодарно откликнулся на ее немой зов. Тела их сплелись, сплелись в ненасытной жажде и ярости и, сливаясь в единую плоть, в единую душу, покорно отдались могучему потоку страсти, уносившему их от всех тревог и волнений обыденной жизни. Ханша не сопротивлялась, она радовалась этому не-

ведомому необузданному желанию, от которого мутился рассудок и сладкая нега огненной волной растекалась по жилам. Она чувствовала, как наливалось тугой силой упругое, гибкое тело юноши, как все больней стискивали ее крепкие молодые руки, как сильно, толчками колотилось его сердце. Она, как могла, подбадривала его, радовалась его неистовству, пылкости и твердила как заведенная: боже, не дай иссякнуть этому огню, этому буйству, пусть это блаженство, этот сладкий миг продлится долго, долго, долго... до конца отпущенных судьбой ее дней... навсегда... И уже чудилось ей, что дошла до всевышнего горячая ее мольба, что не будет конца этому безумству, великому торжеству плоти, как вдруг ощутила она странную слабость, разбитость во всем теле и разжались как-то сразу огненные тиски...

Долго лежала ханша, вконец опустошенная, измученная, будто после тяжкого приступа. Только что огнем пылавшую грудь ожег ледяной холод. Она медленно открыла глаза. Мягкий, робкий свет зыбился в опочивальне. Она протерла глаза, взглянула вокруг — ни единой живой души. Странно... Тускло мерцала вдали тяжелая, золотом обитая дверь.

Чувствуя, как в ней вскипает беспокойство, ханша посмотрела в сторону окна, потом взгляд ее скользнул по хаузу в середине, по сумрачным углам. Ни намека на то, что кто-то был здесь ночью.

Только теперь ханша обратила внимание на измятое, скрученное пуховое одеяло, на истерзанную постель. Не веря своим глазам, она оглядела себя, задумалась на миг и вдруг с брезгливостью и ненавистью отшвырнула ногой скомканное одеяло, словно то был уж, подползавший к ней.

Вновь охватила ее ярость, холодным обручем скрутила, и злые слезы покатились из глаз. Уже через мгновение от слез грудь стала мокрой. Она не вытирала, не сдерживала их. Казалось, горячие слезы, стекая на грудь, растапливали в ней коросту тоски и муки и приносили желанное облегчение.

Ханша плакала долго, исступленно, вздрагивая худенькими плечиками. Потом, выплакавшись, враз обессилела, затихла. Голова раскалывалась, больно жгло в груди. Слезы, принесшие обманчивое облегчение, отравой проникали в сердце.

Так до утра и не сомкнула глаз. В тот день она словно прозрела, поняв причину загадочной тоски, неотступно преследовавшей ее столько времени. Лишь в этот день

впервые и как-то неожиданно мужественно созналась она в своем несчастье и окончательно смирилась с тем, что счастье покинуло ее, покинуло, может, навсегда, а скорее, оно и не посещало ее вовсе, и суждено ей до конца жизни прозябать в тоске и скорби.

Утром, как всегда, распахнулась грузная дверь и вслед за старой служанкой ввалилась в опочивальню по-прежнему беззаботная, радостная свита. Девушки шумно подбежали к постели, окружили ханшу. Она с недоумением и досадой отметила про себя их бездумную оживленность, незыблемое довольство жизнью и собой, а девушки, ничего не понимая, растерянно уставились на нее подкрашенными глазками, разглядывали ее, осунувшуюся, побледневшую, погасшую за одну ночь: глаза ввалились, в глубине зрачков застыли тоска и смирение, покорность перед своей сирой участью. Старая служанка подала знак, чтобы все немедля вышли, и прижала к груди измученную маленькую госпожу, как ребенка, и погладила ее по волосам.

— Что с тобой, милая?! — зашептала старуха.— На тебе лица нет. Неужто великий Повелитель невзначай обидел? Какой-то хмурый, странный вышел он от тебя ночью... Что же могло случиться?..

У ханши округлились глаза. Что тут мелет старуха?

— Что-о?.. Великий Повелитель? Он... разве был здесь?

— Ну да... ночью... Только уж больно скоро он вышел...

Ханша как подкошенная рухнула в постель. Старая служанка испугалась, склонилась над помертвевшей ханшей, смекнула, что та в беспамятстве...

Лишь к обеду ханша пришла в себя. У старухи, сидевшей у ее изголовья, она ни о чем не спросила. Старуха тоже не осмелилась допытывать госпожу. Только время от времени бросала на нее встревоженный и виноватый взгляд.

Да-а... за всю свою жизнь ханша лишь однажды согрешила перед мужем — великим Повелителем. И случилось это не наяву, а лишь во сне. Но даже это ее единственное прегрешение было мгновенно замечено зоркоглазым властелином. Потому он и не задержался ночью в опочивальне, ибо собственными глазами видел, как предавалась она во сне низменному блуду. Потому и вышел он гневным из опочивальни, ибо понял, что в воображаемых объятиях другого мужчины бьется в сладостных судорогах юная его жена...

Глухое, неутешное горе, как тяжкая, неподвижная духота в знойный полдень, затмило сознание ханши. Она не обронила

ни одного словечка, даже подавляла легкий вздох, не желая, чтобы кто-то догадался о ее боли и смятении.

Жизнь отныне протекала как в тяжелом сне. Все вокруг лишилось смысла и притягательности. Ханша в душе смирилась со своей виной, осознала свой страшный грех и была готова к любому наказанию. Перед великим Повелителем виновата она одна. Молодого зодчего никто ни в чем не может упрекнуть. Он безрассудно любил ее, но не прикоснулся к ней даже пальцем. Даже во сне она отдалась ему сама, по собственной воле, в порыве слепого, неподвластного чувства. Кто знает, как бы она повела себя, случись это наяву... Но теперь она хоть поняла, какое желание изводило ее так долго и как случается, что дикая страсть затмевает рассудок. Поняла: то, что она считала возвышенной, чистой любовью к великому Повелителю, было на самом деле низменным томлением бабьей плоти, жаждущей крепких и грубых мужских объятий. И если бы молодой зодчий каким-то образом сумел проникнуть в ханский дворец и пробиться через все преграды в ее опочивальню, она — очень может быть — поступила бы так же. Вряд ли даже наяву нашла бы она в себе силы противостоять жадному зову плоти, устоять перед горячей мольбой пылкого юноши и обуздать неодолимое желание, от которого кровь вскипает в жилах. Что бы там ни говорили, а исконную бабью суть не скроешь никакими пышными ханскими одеяниями. Искушение, ввергающее во сне душу в грех, непременно скажется и проявит себя и наяву. И потому ханша сознает свою вину, супружескую неверность, измену, бесчестие и покорно примет любое наказание, самую страшную кару за бабью слабость, за все содеянное ею.

Если бы сейчас великий Повелитель вошел к ней и отодрал бы за волосы, как последнюю девку, избил, истоптал, как поганую тварь, исполосовал ее шкуру и переломал все кости и швырнул бы ее грешное тело на съедение шакалам, она не противилась бы, а покорилась судьбе и даже осталась бы довольной; может быть, такая позорная смерть была бы лучше ее теперешнего прозябания. Но создатель не дал ей даже такого счастья — счастья сносить побои мужа. Выходит, нет горемычнее ее на свете. В отчаянии она была готова исцарапать себе лицо, рвать на себе волосы, биться головой о стенку.

Долгими-долгими днями, томясь от одиночества и тоски, и нескончаемыми безрадостными ночами, предаваясь изнуряющим думам, она не раз с жутким наслаждением размышляла о том, как погасить крохотный живой лучик,

упорно мерцающий где-то в укромной глубине ее давно остывшего, безжизненного тела. Она находила много способов разом покончить со всеми муками и, казалось, обладала достаточным мужеством и решимостью для осуществления любого из них, но почему-то так и не осмеливалась переступить заветную межу. Нет, нет, в душе она сознавала, что это не от страха и не от того, что слишком дорожила лживой жизнью на этом свете. Низменное прозябание, именуемое жизнью, ей так же омерзительно, как и ее грешная, жадная плоть. Она окончательно смирилась с тем, что ее недавний чувственный сон был последней вспышкой так и не разгоревшейся страсти, последний порыв, последнее стремление души и плоти к счастью, к жизни. Сейчас, вспоминая подробности того сна, она уже не испытывала ни стыда, ни досады, но прекрасно сознавала, что мечтать о том мгновении так же бессмысленно и кощунственно, как бессмысленна и кощунственна сама жизнь без душевного огня, без желания. Значит, цена ее дальнейшей жизни — ржавая монетка. Сейчас она с покорностью и даже с радостью восприняла бы любое наказание, к которому приговорил бы ее великий Повелитель. А сама она не смеет покушаться на свою жизнь, какой бы ни была она бессмысленной. Ханша, конечно, не может точно знать, как истолковали бы ее роковой шаг люди, но хорошо чувствует, как опозорила бы она своим поступком честное имя Повелителя. Нет, самовольной смертью своей она не омрачит славную жизнь богом данного супруга.

Повелитель между тем не давал о себе знать. И ханша от зари до зари тревожно озиралась на тяжелую кованую дверь. Огромная опочивальня казалась ей теснее и мрачнее могилы. И тогда к горлу подкатывало удушье, и она была готова вскочить и с топором в руке ринуться на эту безмолвную, бездушную дверь, словно заточившую ее в подземелье, лишившую ее жизни и доброго человеческого общения. Возможно, изрубив в щепки ненавистную дверь, она выплеснет разом весь гнев, всю злобу, от которых щуплое ее тельце трясется как в лихорадке, а сердце сжимается камнем.

В один из этих невыносимо тягостных дней ханша позвала старую служанку и в сопровождении свиты отправилась на прогулку. И встречные слуги, и привратники, и караульные воины по-прежнему учтиво кланялись ей. Но чудилось ханше, что не проявляют они былого подобострастия, что взирают на нее незаметно с жалостью и состраданием. Впрочем, и она старалась не задерживать ни

на ком взгляда. Однако, отворачиваясь, чувствовала, как горит затылок, словно кто-то вслед ей показывал язык. И веселье, обычная оживленность девушек из свиты казались ей напраннными.

Ханша сейчас избегала тех мест в придворном саду, где еще недавно — в отсутствие Повелителя — бывало, так беззаботно резвилась со свитой. Теперь ее невольно притягивали укромные уголки и заглохшие тропы, где ее не преследовали любопытные взоры. Но и там ей становилось не по себе. Казалось, сам воздух, точно всевидящий глаз соглядатая, впивался в нее иголками. И ханша поспешно возвращалась во дворец.

Кроме этой огромной и жутковатой, как пасть сказочного дракона, опочивальни и узкого оконца, из которого можно обозревать уголок сада, ничего ей больше в жизни не осталось. Даже думы все иссякли, все передуманы.

Как смоляная нить, тянутся бесконечно-унылые дни. Еще томительней и тревожней нескончаемые ночи. Ночь — пытка, когда ханша сама себе становится одновременно и ангелом добра, и ангелом зла, подвергает себя мучительному допросу, выносит себе беспощадный приговор. Ночью поневоле размышляешь о том, о чем при божьем свете и вспоминать опасаешься. Сейчас ханша презирала и ненавидела не только себя, но и того влюбленного юношу, который всему белому свету открыл свою сокровенную тайну, и голубой минарет, построенный руками этого безумца, и тот памятный день, когда Повелитель прислал ей шкатулку с драгоценностями и у нее впервые возникла мысль о постройке невиданного минарета, и девушек из свиты, и преданную старую служанку, так горячо поддерживавших ее намерение, и Старшую Ханшу, чванливость и ревность которой оказались первопричиной всех ее несчастий. Велика была ее обида даже к отцу-матери, произведшим ее на свет, ввергнувшим ее в этот проклятый мир.

И потому... потому будь проклята черная ночь, безмолвным призраком заглядывающая в окно! Да будет проклят холодный мраморный хауз с его болтливо-монотонным фонтанчиком-искусителем! И постылая постель, травящая и без того измученную плоть, и пухово-душное одеяло, подстрекательски выведавшее в ту ночь ее глубоко захороненную женскую тайну,— будьте прокляты!.. И вам, небесам, равнодушно взирающим на весь земной ад,— проклятие! И тебе, многотерпеливой страдалице земле, покорно сносящей все беды и горести,— проклятие! И да будет проклят весь этот

непостижимо-огромный и презрительно-холодный мир, в котором бесследно гаснут лучшие человеческие порывы и возвышенно-светлые мечты!..

Охваченная отчаянием и мгновенной, как вспышка, яростью, ханша неистово проклинала весь белый свет и, не боясь самой страшной кары, помянула недобрым словом самого всевышнего, сотворившего эту юдоль печали, и даже в таком безумии только одного-единственного человека не коснулись ее проклятия — великого Повелителя. Ханша сама удивлялась этому. И она не могла объяснить себе причины. Разве не он, великий Повелитель, превратил ее жизнь в ад? Вот уж сколько времени мытарствует ее душа в одинокой опочивальне! Разве он не догадывается о ее беспросветной тоске? Разве ему неведомо, как каждый день она казнит себя? И если он сам убедился в ее греховности, то чего он медлит? Или он понимает, что мучительно медленная смерть от постоянных душевных терзаний, от собственной боли, ярости, досады, гнева и отчаяния — более суровая кара, нежели секира палача? Может, он решил насладиться именно такой изощренной местью?

Только в чем она, услада? Разве от ее мук ему станет легче? Разве мутная людская молва и пересуды не доставляют ему такую же боль, как и ей? Но если ее муки приносят ему утешение, то пусть ее мучает и впредь сколько душе угодно. Пусть услышит, пусть узнает то, чего никогда не было и не могло быть... Пусть пеняет на себя. Так ему и надо. Ведь это он загубил, растоптал ее молодую жизнь, обрек на непосильные муки... Ну и пусть знает. Пусть сам и расплачивается...

Ханша спохватилась, испугалась этой кощунственной мысли. Боже милостивый, что она мелет?! Прости низкородную бабу, прости ее подлый, злой язык, осквернивший ее невинную душу!.. Как она могла забыть, что ей, благородной супруге великого Повелителя, недостойно, подобно бабе-служанке, опускаться до мелких склок и грязной мести?!

И, испытывая к себе все большее омерзение и даже гадливость, она поспешно прошептала затвердившиеся в памяти беспомощные слова молитвы и умоляла всевышнего сурово наказать ее за все прегрешения, но простить ее только за то, что она, поддавшись слабости и отчаянию, вдруг позволила себе кощунственные мысли о великом Повелителе. И, понемногу обретая душевный покой после недавнего смятения и ярости, вкладывая все остатние душевные

силы в жаркие покаянные слова, она со всей искренностью, на которую было способно ее истерзанное сердце, просила всевышнего — пока чистую душу ее не осквернили подлые и низменные думы — призвать ее скорее к Страшному суду, к тому очистительному святилищу, где она сгорит в огне собственных грехов.

И горячая эта мольба, проникая, просачиваясь в самую душу, казалось, растапливала ледяной наст сомнений и скорби, и крупные прозрачные слезы вновь хлынули из ее глаз...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ

1

На берегу могучей реки он вышел из крытой повозки и пересел на верховую лошадь. И когда повозки начали грузить на паром, он в сопровождении свиты направился к броду. Разгар лета с нещадным зноем остался позади. В эту пору могучая река смиряет свой буйный нрав, не бурлит, не бушует, как и весеннее половодье, размывая глинистые берега, а течет спокойно и величаво. Обычно бурая, мутная вода ее к этому времени заметно светлеет, обретая местами синеватую прозрачность.

Брод оказался на неглубоком месте там, где крутой, обрывистый берег вдруг становился пологим, а река, разлившись вширь, образовала множество узких протоков, похожих на косички юной красотки. Раньше через этот брод переправлялись бесчисленные торговые караваны с востока на запад и с запада на восток, но столь огромного войска, под тяжестью которого прогибалась земля, древняя река и такой же древний брод еще не видывали. И, возможно, потому в удивлении и испуге сбились в кучу на крутояре груженые караваны, арбы с дынями, арбузами и фруктами, а также разномастный черный люд из прибрежных кишлаков — конные и пешие, на ишаках и кривоногих верблюдах,— спешащий, должно быть, на базар. Толпа, с опаской озираясь на грозных воинов из головной части, прокладывающей дорогу несметному войску, жадно пялила глаза на великого

Повелителя, восседавшего на ослепительно белом, со смоляной челкой жеребце в плотном кольце копьеносцев-телохранителей.

Великий Повелитель, казалось, не замечал любопытных взоров; откинув голову и вглядываясь в далекое марево, он сидел в седле прямой, неприступный и непроницаемый. Серебряная лука седла и стальные стремена, поблескивая в лучах солнца, как бы подчеркивали суровое выражение его лица.

Могучая река Джейхун, берущая свое начало от снежных вершин гор, катила крутогрудые волны. Здесь, у брода, волны, казалось, давали себе передышку, замедляли бег и тихо улыбались, резвясь на солнышке, но когда кони вошли в воду, улыбка эта мгновенно исчезла, как бы растворяясь в поднимавшейся из-под копыт мути.

Повелитель сохранял невозмутимый вид, словно ничего вокруг не замечал. Он слегка отпустил поводья, и конь боязливо переступал ногами, поеживался от ледяной горной воды, обжигавшей щиколотки... Конь благополучно одолел все бесчисленные узкие протоки, но когда остался последний широкий ручей на дне лощины, неожиданно споткнулся. Великий Повелитель, расслабившийся в седле, вдруг резко покачнулся, взмахнул рукой, в которой зажал рукоять камчи, и тут же почувствовал, как что-то соскользнуло с указательного пальца. Сердце Повелителя дрогнуло. Он поспешно покосился на палец и не увидел большого серебряного перстня, украшенного редким камнем, напоминающим кошачьи глаза, который встречается лишь в стране зулусов. Много лет тому назад этот перстень подарил ему старший тесть на смертном одре, назначая зятя вместо себя верховным эмиром.

Он долго смотрел на бледный след, оставшийся от драгоценного перстня на указательном пальце. Двое телохранителей, заподозрив неладное, услужливо кинулись к Повелителю с двух сторон. Он полоснул по ним гневным взглядом и выпрямился в седле как ни в чем не бывало. Руки привычно натянули повод. Лицо обрело прежнее непроницаемое выражение. Телохранители поспешно отвели глаза и приотстали на положенное расстояние.

Повелителю, однако, стало как-то не по себе. Он был в недоумении: не знамение ли судьбы это? С серебряным перстнем, украшенным редким камнем, он никогда не расставался — ни в изгнании, ни в далеких походах. Он служил ему священным талисманом. И то, что он сегодня вдруг так

нежданно спал с пальца, было явно не к добру. Особенно в самом начале нового похода это можно расценить только как дурной знак.

Раздражение и мнительность вновь проснулись в нем. Он злился сейчас на караульных воинов, посланных заранее вперед, пока еще войско находилось в городе. Как могли они так оплошать? Собрали эту чернь, эту бесчисленную толпу у самого брода, как на зрелище. На этот раз он выступил в поход совсем не так, как прежде. Ему не нравилось в день выступления быть на виду у праздной толпы. А сегодня, как назло, по обе стороны противоположного берега толпится черный сброд, и караульные части не смогли (а может, не хотели?) вовремя разогнать его, то ли по причине поспешного выступления, то ли потому, что брод находился как раз под главным городом на пересечении девяти дорог, где бывает многолюдно в любое время года. Ранее, бывало, он особенно заботился о том, чтобы по пути прохождения войска и в первую голову там, где проезжал сам со своей свитой, не попадался на глаза ни один случайный путник. И это не было просто капризом. Ведь что ни говори, а далеко не каждый рвется в кровавый бой и жаждет ни за что ни про что сложить свою голову на чужой стороне. И нетрудно догадаться, что творится на душе того, кто не по доброй воле своей отправляется в далекий поход, и, дабы черные мысли не прокрадывались в его опечаленную голову, лучше ему держаться подальше от мирной толпы. И потому, когда карнаи своим призывным оглушительным ревом оглашали столичный город и дробь барабанов проникала во все закоулки, жители, не выходя из дворов, в окна, щели, через заборы наблюдали, как многотысячное ханское войско выступает в поход. И стражники заблаговременно прогоняли всех, кто попадался на протяжении двухдневного пути. Так бывало всегда. Так не вышло на этот раз. Заботиться о подобной мелочи ему и в голову не приходило. И вот чем это обернулось. Выходит, ни в чем нельзя оплошать. Стоит лишь на мгновение закрыть глаза или раз смолчать, как мигом все трещит по швам и каждый норовит выйти из повиновения. Повелитель был зол сейчас на тысячника, предводителя головной караульной части, однако сдерживал себя, крепче стискивал зубы. Ничего, попадись только на глаза, и покаешься, ох как покаешься, голубчик, за непростительную оплошность...

Повелитель искоса поглядывал по обеим сторонам. Белый жеребец выбрался на сушу. Справа и слева застыли

стражники, воздев к небу копья. Сквозь тесные ряды копий, как сквозь решетки, колыхалась черная толпа. От арбузов и дынь, наваленных горой на арбы, от мешков, туго набитых изюмом и сушеным урюком, от корзин и ящиков с виноградом и ягодами струился в воздухе дурманяще-сладкий аромат. И этот запах, такой мирный, земной, приятно щекотавший ноздри и напоминавший тепло родного очага, как бы обессмысливал грозный, ощетинившийся вид огромного ханского войска. Запах земных даров навевал щемящую грусть, говорил о добре, о человечности, о разлуке, и разлуке, может быть, навсегда, навсегда...

Повелитель, все так же надменно закинув голову, чутко вслушивался в каждое слово, в глухой ропот толпы. Вначале он ничего не мог различить сквозь частокол копий, но потом черная, безликая толпа за стражниками словно поредела, пешие, конные и арбы-двуколки куда-то исчезли, и он явственно увидел ряд длинношеих дромадеров, опустившихся на колени. Купцы-чужестранцы в пестром, диковинном одеянии благочестиво склонили перед ним головы. Как скошенный камыш, прижимались к пыльной обочине полосатые круглые шапки, поярковые папахи, плотно облегающие тюбетейки, мохнатые ушанки, белоснежные чалмы, и все это напомнило Повелителю пышный пестрый луг, по которому только что прошлась коса. Взгляд его привычно скользил по склоненным головам и спинам и вдруг споткнулся о что-то одиноко торчащее на арбе, запряженной ишаком. Повелитель поневоле вкогтился взглядом в этого дерзкого смельчака, продолжавшего стоять во весь рост, когда все кругом пали перед ним ниц в прах. Он был сух и жилист и стоял на низенькой двуколке в какой-то напряженно-скованной позе. Кожа точно приросла к костям, голова сильно откинута назад, длинные костлявые руки сложены на груди, лицо обращено к небу. Между покатым, открытым лбом и широкими, обострившимися скулами зияли черные провалы. Ах, вон оно что... Этот высокий, тощий человек, застывший на двуколке камнем-стояком, оказался слепцом. И Повелитель тут же узнал его. Узнал по скулам и бугристым вискам. Да-а... горе не пощадило его. Иссушило юное, сильное тело. На тонкой шее выпирал большой хрящеватый кадык.

Тогда, при той первой и последней встрече, он был по-юношески нежен и красив. На костлявых теперь руках играли тогда упругие мышцы. И тогда, помнится, он сразу же обратил внимание на этот чистый крутой лоб.

2

Он вошел чуть смущенно и низко поклонился Как у каждого, кто появлялся перед великим Повелителем, на его лице тоже отразилось волнение. Однако в нем не чувствовалось ни самодовольства или особой гордости за совершенное, ни — тем более — холопской угодливости или подчеркнутого подобострастия. Со сдержанным достоинством и милым юношеским обаянием он отвесил учтивый поклон и присел на колени. И поклон был коротким; юноша тут же выпрямился и открыто посмотрел на Повелителя.

Зодчий был юн и красив; взгляд внимательный и искренний; движения мягкие и уверенные; он, несомненно, обладал благородной, возвышенной душой Повелитель это сразу понял, и ледяной холодок подкатил к его сердцу И еще заметил Повелитель, что в юноше скрыты таинственная сила, непостижимо-загадочное обаяние, которое способно мгновенно околдовать, пленить любого человека Правда, Повелитель не сразу догадался, в чем заключается эта таинственная сила Юноша сидел спокойно, сосредоточенно, будто прекрасно сознавал, для чего вызвали его сюда. Он не ерзал, не озирался затравленно, не оправдывался клятвенно, не просил пощады. Он выражал готовность и даже презрение к любой участи, к любому приговору

Пытливый взгляд Повелителя долго буравил юношу, молча допрашивал его. Тот не дрогнул, не шелохнулся. Тогда Повелитель подал знак главному зодчему, сидевшему у порога. Старый мастер поспешно подошел к юноше, дернул за рукав. Юноша, как бы очнувшись, поднял голову И тут Повелитель увидел под высоким чистым лбом его громадные влажные глаза, излучавшие мягкий, спокойный свет. Как ясное ночное небо в летнюю пору вбирает в себя отражение мерцающих звезд, так в больших черных очах его сосредоточилось в единый пучок отражение многих самых противоречивых человеческих чувств. И молчаливое удивление, как бы означавшее: «неужели ты выпустишь меня отсюда живехоньким и здоровым?!», и мгновенно вспыхивавшая в душе радость, и бесконечная благодарность и признательность, и предельная честность и откровенность, неспособность утаить самый ничтожный грех, и искренность, по-детски наивная и трогательная, и сомнение в подлинности того, что с ним происходит, и страх и надежда — все-все разом отражалось в глазах юноши. И они, глаза эти, навсегда врезались в душу великого Повелителя. Открытый, честный

взгляд молодого зодчего не оставлял в душе никаких сомнений, убеждал его в справедливости намека Старшей Ханши, приславшей ему червивое яблоко. С этого мгновения большие, как плошка, лучистые глаза неотступно преследовали Повелителя и раскаленными угольями жгли ему сердце.

Он знал, конечно, великий Повелитель, что юноша, сидевший перед ним, обречен, что, пройдя через все железные и дубовые двери, он больше не увидит солнца, ибо отправится в каменное подземелье, куда не проникает ни единый лучик. И, пытливо вглядываясь в черные влажные, как у верблюжонка, глаза, выражавшие полную покорность судьбе, Повелитель, однако, не испытывал жалости. Наоборот, два зрачка — два раскаленных саксаульных уголька — еще немилосердней жгли ему грудь.

Да-а... видно, такими и бывают колдовские очи, о которых рассказывают в сказках и поют в песнях. Они смотрят искренне, преданно, умоляюще и навевают сладкую печаль, взывают к жалости и состраданию. Колдовской взгляд приносит нетерпеливому мужчине гибель, а у нетерпеливой женщины отнимает честь. И гибель, и бесчестие происходят от жалости, от душевной мягкости и слабости. Вероятно, от них идет и пагубное стремление у иных безумцев переступить через законы и порядки, установленные великим Повелителем на благо презренного человеческого рода.

Повелителю, конечно, неведомо, где обитают духи сомнения и соблазна, Иблис и Азазель, о которых говорится в священных книгах, но упорно чудится ему, что эта нечистая сила свила себе гнездовье в тайниках человеческой души.

А что еще способно смутить легко ранимую душу, кроме слова и глаза? Думая об этом, Повелитель каждый раз испытывал смятение и тревогу. Он долго еще не мог оторвать взгляда от двери, закрывшейся за юношей. Светлый, чистый взор его будто остался здесь, рядом, в ханском дворце. Глаза с ярко полыхавшим огнем в глубине зрачков, будто не мигая, следили за каждым его шагом, за каждым движением.

Повелитель тревожно огляделся вокруг. Он не решился повернуться спиной к двери, за которой только что исчез молодой зодчий с большими, все понимающими и все видящими глазами. Он медленно отступил назад и присел возле мозаичного хауза с говорливым прозрачным фонтанчиком. Он не знал, как отделаться, как избавиться от на-

зойливого, точно наваждение, преследующего взгляда. Неужто до конца дней своих не даст ему покоя этот в самую душу проникающий взор? Должно быть, такое же смятение испытала и юная ханша, впервые встретившись с молодым зодчим. Видно, эти глаза с таинственной поволокой взбудоражили и ее неокрепшую душу, и она не однажды впадала в отчаяние, не зная, как избавиться от их колдовских чар. Только что проку от отчаяния слабой женщины?! У нее даже нет силы, чтобы дать отпор подлому искусителю. У всякой самки всегда один выход, одна расплата. Там, где мужчина зачастую жертвует головой, женщина откупается ценой чести...

Ладно... не о том сейчас речь... Как должен в таком случае поступать грозный повелитель, не знающий пощады к своим врагам,— вот над чем следует поломать голову.

Мысль, точно норовистый неук, вырвалась было на волю, но Повелитель, как опытный наездник, круто осадил ее. Губы скривились в ухмылке. О чем тут еще думать? Разумеется, он его прикончит. Песком засыплет жадные глаза, позарившиеся на чужое добро.

Однако и это неожиданное решение не утешило душу Повелителя. Разве он посмеет замахнуться мечом на невинного юнца, спокойно и добродушно взирающего на своего господина?! Разве он не привык карать жестоко только кровного врага, полного мести и злобы? Естественно желание погасить блеск ненависти во взоре противника. Только взгляд, разящий, как отравленная стрела, способен возбудить кровь и подстегнуть слепую ярость. Тогда священный гнев душит тебя, как захлестнувший шею мокрый волосяной аркан, и скрежещут зубы, будто рот набит песком, и кровь упругими толчками бьет в виски. И эту огненную ярость в силах погасить лишь потоки поганой крови врага. Черная кровь, сочащаяся из рваной глотки противника, смывает глухую злобу и ненависть, обложившие грудь цепью кряжистых гор, и спадает пелена с воспаленных глаз. А рубить покорно склоненную голову — все равно что отсечь булатной саблей хвост чесоточного ишака. Пролить кровь беспомощного горемыки так же омерзительно, как раздавить невзначай жабу под ногами. А ведь в темных очах юного зодчего не было даже намека на ненависть. И это обескураживало и раздражало Повелителя больше всего.

Нелегкая и опасная, как острие меча, судьба выпала на долю Повелителя, и жизнь он прожил богатую на события и испытания, однако с таким случаем столкнулся впервые.

Он очутился вдруг на распутье, не мог подчиниться ни гневу, ни холодному рассудку. Сколько бы он ни думал, решение не возникало. В какую бы сторону ни рванулась лихорадочная мысль, она всякий раз наталкивалась на беспощадный и неразрешимый вопрос. Точно такие же огромные, с застывшей печалью и тайным укором глаза он, помнится, видел еще у кого-то. У кого? Когда? По какому поводу?.. Это был невинный, почти детский взгляд, такой доверчивый, наивный, умоляющий, что при одном воспоминании о нем заходилось сердце.

Невинный взгляд... Острая мысль Повелителя, настойчиво подбиравшаяся к истине, каждый раз спотыкалась на этом слове. Да-да... невинный взгляд... Откуда?.. Где?.. Какая там, к дьяволу, невинность, если этот взгляд нагло шныряет по твоей супружеской постели?! Похотливый взгляд, устремленный на подол твоей богом данной супруги, разве не опасней, не кощунственней вражеского копья, нацеленного на твой очаг? Разве это не высший стыд, не самый страшный позор для любого мужчины, не говоря уже о нем, всемогущем владыке вселенной? К чему эти запоздалые земные поклоны, если он опозорил его золотокоронную голову? И почему он должен прощать там, где не простит даже последний нищий? Разве не высшая честь и назначение мужчины оберегать покой и мир родного края, почитать везде и всюду священный дух предков и сохранять святость и крепость домашнего очага, верность и любовь супруги? И как мог так оплошать великий творец, сделав честь и достоинство высокородного мужчины всецело зависимыми от мотыльковой прихоти низкородной бабы — рабыни собственной низменной чувственности и страсти?! Видно, в этом заключается единственное ущемление в отношении мужчины, допущенное всемогущим творцом...

Повелитель вскочил в досаде и, тяжело ступая, направился к окну. Были бы сейчас перед ним эти лживоневинные глаза, он выколол бы их собственноручно. Выглянув в окно, Повелитель опешил: с тем же печально-пристальным выражением во всем своем облике, словно ничего не подозревая, смотрел на него голубой минарет. Ах, вон, оказывается, где он видел еще эти глаза! Да, да, еще тогда, при первой же встрече, его поразило что-то таинственное, непостижимое в минарете, и теперь он вдруг сразу понял, что тайна эта — в скорбно-молчаливой мольбе и укоре, так искусно выраженных зодчим в камне. Вот так, конечно же, минарет-искуситель днем и ночью смотрел в лицо юной ханши. И та, должно

быть, тоже была вначале поражена и обескуражена и лишь потом, возможно, догадалась о подлинной тайне, заключенной в его облике. Выходит, в своем творении зодчий выразил себя, свое сокровенное желание, сказав тем самым то, что он не осмелился выразить словами. И, надо полагать, в душе надеялся, что со временем юная ханша сама поймет его молчаливый намек. Выходит, не такой уж он невинный и безобидный, этот скромный с виду юноша, если он так тонко, исподтишка, словно невидимый червь, подтачивает чужие души.

Э, что там говорить, поистине мужчину приводят к беде слова, а женщину — глаза. Мужчина часто невольник слов своих, ибо не может от них отречься, женщина в плену глаз своих завидущих, ибо не может успокоиться, пока не заполучит того, что ей понравилось. Значит, неспроста наши предки, защищая хрупкую душу мужчины от недоброго слова, всячески оберегали женщину от постороннего взгляда. Значит, знали священные прадеды наши, что открытый женский взор допустим лишь на супружеском ложе, а в остальных местах жадные, любопытные глаза ее должны быть для ее же пользы укрыты под черной накидкой. Ибо открыть женщине глаза — все равно что задрать ей подол. Ведь нет такого соблазна, который не прельстил бы ее. И нет у нее воли, чтобы совладать со своим желанием.

Все, все теперь Повелителю понятно и ясно. Юная ханша вначале была поражена голубым минаретом. Потом в ней вспыхнуло неодолимое любопытство и желание увидеть молодого зодчего, сотворившего чудо, полное тайны. И вот увидела она его, и с того мгновения смутил ее покой проникновенно-печальный взор юноши и заворожила вдохновенная его красота...

Выходит, уже ничто не могло удержать ее от греховного соблазна — ни честь, слава и могущество супруга, ни священное благословение родителей, ни глухая молва праздной толпы. Даже грозный гнев и ярость великого Повелителя, в страхе и повиновении держащего всех в подлунном мире, не могли ей стать преградой. Значит, все это вместе — честь, слава, сила, богатство, страх расплаты — не могло заменить крохотную накидку, сплетенную из конских волос. Что же тогда получается? Допустим, нельзя доверять низкородной самке, жалкой рабыне похоти, но куда смотрела многочисленная вооруженная стража, обязанная не пропускать во дворец ханши даже муху, не говоря уже о любовнике?! Где была свита, сопровождающая ее повсюду?!

Где находилась старая опытная служанка, не спускающая с нее денно и нощно глаз?!

Ночь напролет проворочался Повелитель. С нетерпением ждал, когда займется заря. Он решил поговорить с глазу на глаз со старой служанкой. Только она одна, вернее, ее прямой и честный ответ в состоянии развеять сомнения, грызущие душу, точно обжорливые суслики.

Утром он распорядился позвать старуху. Она явилась незамедлительно, как прежде, уверенная и спесивая, путаясь в длинном подоле пышного парчового платья. Казалось, она не шла, а плыла по воде, мелко-мелко перебирая ножками-плавниками. Повелитель угрюмо взирал на нее. Должно быть, больно высокого мнения была о себе старуха. Ведь не каждому доверяется следить за неприкосновенностью и чистотой ханского ложа. На сонном, самодовольном лице ни тени сомнения или робости. Повелитель с трудом сдерживал досаду. Видно, нужно первым долгом убрать эту каракатицу. Корчит из себя опору вселенной. Думает, что если ей доверили сторожить опочивальню ханши, куда Повелитель заходит без короны, то ей все позволено. В прошлом — еще куда ни шло — можно было прощать ей чванство и спесь. А теперь-то ей, старой карге, важничать никак не пристало. Или она считает, что Повелитель и представления не имеет о том, что здесь творилось в его отсутствие?!

Наконец старуха подплыла, церемонно поклонилась, потом выпучила на него слезящиеся глаза, сохраняя непроницаемо-высокомерный вид. «Ну что, голубчик, мне скажешь? Давай выкладывай. Я вся внимание»,— было написано на ее морщинистом дряблом лице.

И Повелитель растерялся, не зная, с чего начать и что сказать этой кичливой, самонадеянной старухе. А ведь во всем дворце он мог доверительно и откровенно, без намеков и осторожной словесной игры, разговаривать только с двоими — со старой служанкой и управляющим ханской казной. И он с трудом подавил раздражение и заговорил глухим, надтреснутым голосом. Он говорил резко, без обиняков и при этом не спускал с собеседницы пытливых, зорких глаз. Старуха слушала его вначале по стародавней привычке вполуха, равнодушно, потом в ее белесых, почти без ресниц, старческих глазах на мгновение вспыхнул подозрительный блеск, и она недоверчиво скосилась на Повелителя, как бы спрашивая себя: «Интересно, всерьез он это говорит или просто хочет что-то выведать и, как всякий

господин, затевает со своей служанкой непонятную игру в кошки-мышки?» Но то ли постеснялась или оробела, то ли мгновенно сообразила, куда клонит Повелитель и что именно гложет его душу, она отвела взгляд, погасила любопытный огонек в глубине зрачков и опустила тяжелые веки с жиденькими бесцветными ресницами. Дальше она слушала без интереса, но учтиво. Лишь в одном месте редкие щетинки на бородавке под горбатым длинным носом неожиданно дрогнули, встопорщились и тут же вновь легли смиренно. На бескровных, морщинистых губах обозначилось подобие улыбки. Повелитель насупился, осекся. Старуха спохватилась, тотчас погасила непрошеную ухмылку и поклонилась в знак покорности. Повелитель выжидающе молчал, вкогтив в нее колючий взгляд.

Настал черед ответ держать старухе. Даже после суровых слов Повелителя она не смутилась. Голос ее не дрогнул. Ее спокойный, уверенный вид, ровный голос, прямой, бесстрашный взгляд невольно подавляли Повелителя. Он старался, однако, не подавать виду, слушал молча, сосредоточенно. Он умел владеть собой. И сейчас глубоко упрятал душевную сумятицу, ни в едином жесте не позволил прорваться волнению, а продолжал смотреть на старуху жестким, цепким взглядом, каким привык допытывать многих.

И когда старуха, все выложив, умолкла, он дернул подбородком в знак того, что она может удалиться. Она еще раз поклонилась и не поплыла величаво, как прежде, а мелко-мелко засеменила к двери.

Не в силах побороть неясную досаду, Повелитель задумался над словами старухи. Что за чушь она здесь молола? Не поймешь, где правда, где ложь. Выходит, они ловко провели наивного зодчего и тот на самом деле обнимал не ханшу, а смазливую служанку? Значит, испугавшись гнева и кары Повелителя, эти трусливые бабы прибегли к такой уловке? И ничего лучшего не могли придумать? Там, где проще простого было свернуть башку этому наглецу, бабье только навлекло беду на собственную голову. Подумать только — на что позарился безумец! За то, что он даже в мыслях покушался на честь Повелителя, и глаза его бесстыжие выколоть не грех. К тому же он ведь совершенно убежден, что ласкал невинное тело юной ханши. Даже вчера, сидя перед ним, он и не пытался скрывать свой грех. Значит, нужно выбить из его дурной башки эту уверенность. Значит, нужно песком засыпать эти ненасытные глаза, жадно шнырявшие по недоступным прелестям ханши. А для этого

легче всего отсечь ему голову. Пусть он своей молодой горячей кровью смоет гнетущую тоску в груди властелина. Пусть капля алой крови на кончике секиры палача смоет позорное пятно, оставленное им хотя бы и в мыслях на белоснежном супружеском ложе Повелителя. Только справедливое возмездие должно быть совершено так, чтобы посторонний глаз ничего не увидел и чужие уши ничего не услышали.

Но... возможно ли это? Недаром ведь говорят, что у молвы тысяча уст и тысяча ушей. Может, есть смысл отправить доносчиков и соглядатаев по базарам, пусть разнюхают, о чем толкует толпа.

Повелитель всерьез подумал о том, как по-ханьски расквитается с дерзким зодчим. Жажда отомстить придала ему бодрости. Сомнения, ржой изъедавшие волю, исчезли. На их место пришли ярость и ненависть.

Он с нетерпением ждал доносчиков, посланных на базар. Иногда болтливая чернь, совершенно не ведая о том, подсказывает самое верное решение. И на этот раз Повелитель надумал проявить терпение и объявить приговор после того, как ему доподлинно станет известно, о чем судачит черная толпа.

Ничего определенного, однако, доносчики не сообщили. Видно, слух о том, что молодой зодчий приглашен в ханский дворец, еще не дошел до простого люда. Тогда он немедля отправил соглядатаев в ту часть города, где проживал творец голубого минарета. Выяснилось, что хозяин дома, где зодчий снимал комнату, всюду похвалялся, что, мол, его жильца пригласил к себе Повелитель, дабы поручить ему строительство новой мечети. Этот пустой слух пришелся Повелителю не по нутру. Он решил через несколько дней еще раз отправить доносчиков по базарам. К тому времени уж наверняка поползут кривотолки по поводу длительного пребывания молодого зодчего в ханском дворце.

Душные летние дни тянулись утомительно медленно, будто разморенная, надменная красотка прохаживалась в саду. Никаких достойных внимания вестей ниоткуда не поступало. Даже от Старшей Ханши не приезжал порученец. Узнав о том, что Повелитель все же не удержался и полюбопытствовал у служанки, кто прислал ему наливное яблоко с червоточинкой, Старшая Ханша выжидающе насторожилась. Странное ощущение охватило Повелителя, будто весь мир затаил дыхание и все вокруг сговорились и теперь, не спуская глаз, сквозь все невидимые щели

следят за каждым его движением. И уже порой мерещилось, что он, Повелитель, отправил не дерзкого юнца в подземелье, а сам себя приговорил к заточению. Так он и маялся целыми днями в одиночестве. Он был на распутье, ибо прекрасно сознавал, что не может одним махом решить это путаное и скользкое дело, пока не прощупает настроение толпы и не узнает ее мнения. Ведь он, даже будучи всемогущим, не может позволить себе роскошь поступать необдуманно, как заблагорассудится, ибо привык каждым своим поступком, даже каждым изреченным словом неизменно удивлять и поражать своих подчиненных и верноподданных, а для этого необходимо точно предвидеть все возможные прихоти презренной толпы, от которой исходят потом легенды. Сколько бы сейчас ни думал Повелитель, он не в силах был понять, что замышляет и что утаивает столь знакомая и в душе презираемая толпа, которая, бывало, раньше подхватывала и распространяла любое его решение со скоростью степного пала в засушливую пору. Казалось, толпа исподволь мстила ему, злорадствовала, дескать, а ну, всесильный владыка, попробуй-ка обойтись без нас, без помощи нашей быстроногой молвы.

По-разному думал Повелитель о причине глухого безмолвия вокруг него, однако ни одно из предположений не имело достаточного основания. Было уму непостижимо, что в таком громадном городе не нашлось ни одного пустослова, который что-то сказал бы о таинственном исчезновении молодого зодчего, чьим творением — голубым минаретом — уж сколько времени любовались все. Столько разношерстного народу с утра до ночи толпится на ханских базарах, и ни одна живая душа ни словом не обмолвится о величественном минарете! Неспроста все это. Это уже похоже на тайный сговор. Есть что-то зловещее в этом молчании. А может, то ужасное, о чем он догадался только сейчас, всем вокруг давным-давно известно? Ну, конечно, известно! Люди, разумеется, успели на все лады истолковать всем доступный, откровенный намек, заключенный в таинственном облике минарета. Какая тут, к дьяволу, тайна, если она понятна и слепому?! Нельзя же уповать на то, что доступное Повелителю недоступно глазастой черни. Все она видит, все понимает. Ясно ей также, что одно оброненное случайно слово об этом может стоить головы. Вот почему все как воды в рот набрали. Но неужели среди многочисленного люда нет ни одного болтуна?! Неужели все так опасаются ханской кары?! Как бы ни боялись кровавого его меча и какой бы

жестокий порядок ни царил в его владениях, немыслимо же запереть на железный замок людскую молву

Ни на один из этих вопросов, назойливых, как мошка в предзакатный час, он не находил вразумительного ответа. Ощущение было такое, будто он погряз в болоте и с каждым шагом его все больше и больше засасывало в топь. Погруженный в беспросветные думы, сидел он неподвижно и смотрел на кованую дверь. В таком томительном ожидании проходили дни и недели. И наконец настал тот долгожданный час Тихо отворилась тяжелая дверь, и в зал, точно уж, вполз доносчик. Добрел, грохнулся на колени, униженно согнулся перед властелином.

Ну, говори! Что узнал, что услышал..

Доносчик, боязливо поглядывая на Повелителя, запинаясь, заговорил. По его словам, в народе ходит слух, будто великий Повелитель, опасаясь, что такой величественный и единственный в своем роде минарет появится кроме его столицы еще где-нибудь, распорядился молодому зодчему выколоть глаза Повелитель недоверчиво и долго смотрел на доносчика и небрежным кивком указал на дверь Доносчик так же неслышно выскользнул

Повелитель решительно вскочил, словно сбросил с плеч неимоверную тяжесть. Ничего не скажешь: то, что болтает черная толпа, достойно внимания. Ведь и впрямь очевидно: такой загадочный, многоликий минарет, то радостно и светло улыбающийся, как влюбленный юноша в предвкушении скорого свидания, то тихо грустящий, словно невинно обиженный ребенок, должен украшать только одну столицу — ту, в которой правит могущественной державой великий Повелитель, обладающий самой тяжелой и дорогой короной и самым высоким и неколебимым троном в мире Нигде больше не должен воздвигаться подобный минарет Безжалостную, страшную судьбу, уготованную всем редчайшим талантам испокон веку, должен разделить и молодой зодчий. Ни в какие времена ни один властелин не упускал из своих рук таких щедро одаренных самим создателем самородков-одиночек. Черпь сама вынесла приговор своему Мастеру. И да будет так! Вокруг таких творений, как этот минарет, неизменно рождаются легенды. Одна из них очень приемлемая — родилась сегодня. Легенда, столь доступная легковерной толпе.

В этот день впервые за долгое время Повелитель отправился в сад на прогулку. Задумчиво сидел он у своего любимого укромного родника. Весело, беззаботно журчащая

глубинно-прозрачная вода, как и прежде, ласкала слух и успокаивала, убаюкивала встревоженную, усталую душу. Боль и тяжесть в висках понемногу отпускала, утихала, как бы растворялась, и Повелитель с облегчением подставлял оголенную грудь нежной воздушной струе, воровато блуждавшей в густых зарослях. Разморенная тишь дремала вокруг. Игривый родничок неустанно похихикивал. Листья на верхушках деревьев мелко-мелко вздрагивали, таинственно перешептывались. Созвучие и согласие царили в природе. Видно, только люди сами для себя придумывают муки. А ради чего? Сначала растревожат, взбудоражат себя, потом тщетно пытаются взнуздать душу и доводят себя до отчаяния, до умопомрачения. На самом деле нечего себя терзать. Все проще простого. Безумец, оказавшийся рабом вожделения, должен понести суровое наказание. И никогда уже он не будет строить дивные минареты, не будет смущать невинные души; не сможет соблазнять своим колдовским печальным взором неопытные женские сердца. Поганым кинжалом, которым выхолащивают не в меру буйных жеребцов, прикажет Повелитель палачу выколоть совращающие душу глаза молодого зодчего. Но и это еще не все. Чтобы этот наглец, думающий про себя, что обладал юной ханшей, никому не мог сболтнуть об этом, Повелитель прикажет также отрезать ему язык. И тогда пусть он, слепой и немой, прозябает во мраке, как червь, как последняя богомерзкая тварь...

В эту ночь Повелитель спал спокойно. Наутро он уже собрался было пригласить к себе начальника подземелья, как совершенно неожиданно отворилась дверь и на пороге появилась Младшая Ханша. Она отвесила сначала низкий поклон, потом мелкой, неслышной походкой направилась к нему в глубь зала. Подойдя, вконец растерялась. Ярко сверкнул крупный яхонт на лбу, блеснули два черных глаза, и Повелитель сразу заметил, как глубоко они ввалились. И личико побледнело, осунулось. Ханша, как бы пряча свою растерянность, села боком. Приход ее был столь неожиданным, что и Повелитель явно опешил. Все мысли мгновенно спутались, давно не изведанная жалость, сочувствие к этой маленькой, несчастной женщине пронзили его, и он невольно протянул к ней руку. И в следующее мгновение, стоило только прикоснуться к ханше, она беспомощно, быстро-быстро задрожала длинными черными ресницами, и несколько прозрачных слезинок звучно капнули ей на платье. Она порывисто прильнула губами к его

руке и рухнула к его ногам. Слезы хлынули теперь бурно, плечи тряслись. Еще вчера он считал ее самым противным и ненавистным существом на свете, а сегодня, глядя на то, как она, словно неутешное дитя, рыдает у его ног, Повелитель растерялся. Неизвестно, как бы он поступил день-два назад, случись вдруг такое, а сейчас, видя перед собой измученную женщину, он почувствовал к ней одну острую жалость. Он наклонился, осторожно приподнял ее, усадил рядом. Слов не было, и, должно быть, подспудно Повелитель сознавал, что сейчас они ни к чему. Он взял в ладони ее маленькие мягкие руки и молчал. Ханша плакала. Безудержно, долго. Слез за последние дни накопилось столько, что она не могла их, видно, так скоро выплакать. Но в молчании Повелителя она почувствовала сострадание и понемногу успокаивалась. Когда бурный приступ слез иссяк, она виновато оглянулась и вовсе сжалась, поникла. Она не представляла, как ей быть, что делать дальше. Повелитель тоже ни о чем не спрашивал. Так и сидели молча. Первой не выдержала она: спохватилась, встала, смущенно поклонилась и направилась к двери. Там она замешкалась, обернулась и очень тихо, глухо, через силу, спросила:

— Мой господин, скажите: это вы распорядились посадить зодчего в заточение?

Он был удивлен этому неожиданному вопросу, однако скрыл удивление, спокойно ответил:

— Да.

Юная Ханша вспыхнула. То ли вдруг поняла бестактность своего вопроса, то ли какое-то непонятное чувство обожгло все ее существо — кто знает... Она вновь пыталась кинуться к его ногам, но он удержал ее за руку.

— Он... ни в чем не повинен,— торопливо проговорила она. Ничего... не было.

— Знаю.

Ханша быстро подняла на него глаза, как бы желая удостовериться в правдивости его слов. Ее удивило то, что на лице Повелителя она не заметила ни тени гнева. Ханша вышла. Он молча и долго смотрел ей вслед.

Повелитель тоже никак не мог опомниться после этой нежданной встречи. Еще не бывало, чтобы даже Старшая Жена осмеливалась заходить к нему без спроса. Как же Младшая Ханша на такое решилась? Или уже не в силах была перебороть тоску по нему? Ведь после возвращения из похода она ни разу еще не видела его. Могла и соскучиться. А потом, надо полагать, и до нее дошли слухи о на-

ливном яблоке с червоточинкой, которое прислала ее соперница. Видимо, ей стало невмоготу терзать себя сомнениями, и она решила покончить с тягостной неопределенностью, и потому ее приход — не дерзость и не смелость, а просто отчаяние.

Сейчас она удалилась в свою опочивальню, должно быть, успокоенная и удивленная его милостливой нежностью. Но почему, почему она ни с того ни с сего спросила первым долгом о молодом зодчем? Неужели лишь забота о нем толкнула ее на этот безрассудный шаг? «Он ни в чем не повинен». Что это значит? Может, она решила предотвратить жестокую, но справедливую кару? С какой стати она заступается за него, да еще и просит, умоляет? Неужели его короткое «знаю» она приняла за прощение?

Да, конечно, Повелитель знает, что между ними ничего не было. И все же он не вправе простить преступную дерзость безумно влюбленного юнца, который, презирая гнев владыки и саму смерть, покушался на святая святых — на мужскую честь и достоинство великого Повелителя. Да, нужно скорее привести в исполнение приговор, заранее вынесенный, точнее, подсказанный бездумной, крикливой и нетерпеливой толпой.

И все же Повелитель не мог разрешить терзавшие его сомнения. Уходя от него, ханша у порога обернулась, и в ее кротких, чистых глазах мелькнул вдруг страх. Чего она испугалась? Она ведь не впервые видела его холодное, непроницаемое лицо. Или насторожилась, поняв, что ее сокровенные слова не возымели никакого действия? А как он, собственно, должен, по ее мнению, поступить? Что обязан сделать? Выпустить на волю молодого зодчего? Ничего ужасного или пугающего он ей не сказал. Ни в чем ее не упрекнул. Тогда чем объяснить ее испуг? Или она все же тревожится за судьбу зодчего? С какой стати она жалеет глупца, который едва не растоптал ее честь? Разве, если здраво рассудить, не она сама обязана была возмутиться домогательством безродного горшечника, рассказать о его безрассудных притязаниях и добиваться сурового наказания для него — позорной смерти, дабы уберечь честь и заткнуть вонючие рты болтунов и сплетников? А вместо этого она неожиданно вваливается к Повелителю и — если не открыто, то вполне прозрачным намеком — вымаливает снисхождение. Нет, нет... Все это неспроста. Ведь представить только, сколько душевных сил, волнения и решимости понадобилось робкой и стыдливой ханше, чтобы вот так прийти вдруг

в здравый утренний час к Повелителю! Прийти, заведомо зная, что навлечешь на себя его беспощадный гнев! Ведь этот поступок почти равносилен сознательному самоубийству. Выходит... выходит... Как же тогда понять слова старой служанки? Как понять трогательное признание самой ханши, только что сказавшей: «Ничего... не было»? Неужто все ложь, обман, бабья уловка? Странно... Странно... Все же, видно, этот загадочный минарет, денно и нощно преданно и умоляюще заглядывавший в окно юной ханши, сумел смутить ее душу, заронить в ее сердце искушение любви. И когда, жалея изнывавшего от похоти наглеца, она послала к нему юную смазливую служанку, ханша заботилась не столько о своей чести, сколько о безопасности, о сохранении жизни молодого творца сказочного минарета. Значит, уже тогда она испытывала к нему преступное чувство. Значит, и тогда ничуть не осуждала влечения и намерения ослепшего от страсти юнца. И только суровый дух, витавший над дворцом златокоронного властелина, чудом удержал ее от заурядного блуда...

Мысли Повелителя, точно завороженный змеей воробышек, никак не могли распрямить крылья и беспомощно трепыхались на одном и том же месте. Но злая догадка, возникшая вдруг, словно кочка на ровном месте, приковала к себе внимание и вывела его думы из тупика. Вполне возможно, что ханша не только сочувствовала молодому зодчему, возжелавшему ее горячих объятий, не только жалела его, но и сама воспылала к нему ответной любовью. Память услужливо подсказала ему ту ночь в опочивальне ханши. Да, да, вот она, отгадка всех тайн... Значит, мужчина, которого в бреду так горячо ласкала ханша, был не кто иной, как этот смазливый юноша. Лишенная возможности встречаться с ним наяву, она наслаждалась им во сне. Выходит, в мыслях, в душе она предавалась с ним неистовой любовной страсти. Выходит, он, безродный юноша с горящим взором, ей дороже, желанней, милей богом данного всемогущего супруга... И разве то, что она осмелилась прийти сегодня к нему,— не есть еще одно доказательство готовности принести себя в жертву ради своего возлюбленного? А он, всемогущий властелин, подчинивший своей воле половину вселенной, размяк, точно мальчишка, разжалобился, едва увидев на ее глазах слезы. Проявил несвойственную ему слабость, забыл, что бабьи слезы, как золото в руках фокусника,— одна видимость, ложь. Разве он в ту злосчастную ночь не убедился собственными гла-

зами, насколько верна она священному супружескому ложу? То, что немыслимо совершить наяву, она совершила во сне, переступив через стыд и сорвав запретный плод. Выходит, если она в действительности, в жизни еще щадила честь венценосного супруга, то это вовсе не было проявлением целомудрия, а самой обыкновенной дешевой уловкой всякой бабы, которая, впервые очутившись с мужчиной на узкой постели, сопротивляется лишь для видимости и только жеманства ради отталкивает шарящие по ее чреслам жадные мужские руки.

И когда эта догадка так явственно вспыхнула в душе Повелителя, он почувствовал в груди такую боль, будто его ударили ножом. Ему, прожившему и повидавшему так много, никто никогда не наносил такой болезненной раны. То, что он почувствовал сейчас, не было похоже на те давние обиды и унижения. Жуткая слабость враз подкатилась к его ногам, и он закачался, невольно сжался, понуро опустил усталую голову.

3

Жизнь Повелителя неожиданно лишилась всякого смысла. Полное безразличие ко всему овладело им. Доносчиков, доставлявших с базара слухи и сплетни, он выслушивал нехотя, вяло. С казнью молодого зодчего, томившегося в подземелье, он тоже не спешил. Ненависть, еще вчера обжигавшая грудь, погасла. Бесконечные и однообразно-унылые мысли, посещавшие его в одиночестве, обессмысливали все, что раньше, бывало, волновало кровь, будоражило ум, взывало к действию. Как-то разом исчезли все желания, и некуда было спешить. Не было даже сил и желания додуматься до причины, породившей столь непривычную вялость духа. Какое-то странное, опустошенное состояние. Тихая печаль исподволь подтачивала остатние силы. Невидимая хворь, казалось, сгибала спину, давила на плечи, душила. А не было боли, которая ощущалась бы остро; не было кровоточащей раны.

Он чувствовал себя оглушенным, словно буйный осетр, ненароком наскочивший на камень. Он умел предугадывать все на свете, видел даже то, что происходило на краю земли, и вдруг нежданно-негаданно наткнулся на такой удар, который ему не снился и в страшном сне. Пока он не сомневался лишь в одном: молодой зодчий будет жестоко наказан, как и все, кто однажды посягнул на его величие.

Однако никакая кара, никакие муки — он чувствовал это! — не в состоянии утолить, удовлетворить его месть. Даже черная кровь, истекающая из его греховного сердца, не принесет облегчения душевной ране Повелителя. Наоборот, пролитая кровь безумца умалит — и даже сведет на нет — и яростный гнев, колотящий его стареющее тело, и слепоглазую ненависть, бешеной кошкой раздиравшую его душу, и вообще весь остаток жизни, отпущенный судьбой на долю венценосного властелина. Еще недавно его могучий дух, казалось, был способен сокрушать древние Капские горы, а сейчас его, лишенного и ярости, и ненависти, и гнева, покорно понесло по течению жизни, будто случайную соломинку по бурной реке. И надо было честно сознаваться: то, что уже столько дней ржой подтачивало душу, не было ни обманом, ни обидой, ни унижением, а просто глухой досадой. Да, да, именно так называлось это жалкое, дряблое, унизительное чувство, напрочь лишенное неукротимой силы и упоения гневом и местью. Так на что же досадует великий Повелитель, подмявший под себя едва ли не всю вселенную? А на то он досадует, что, всецело распоряжаясь судьбой и жизнью людей и народов, обитающих в подвластном ему мире, он был бессилен овладеть сердцем и душой одной лишь маленькой и такой беспомощной женщины, которую издревле принято считать низкородной и недостойной! И еще ему досадно оттого, что два человеческих существа, разделяя супружеское ложе, так и не смогли слиться в единую душу. Получается, что за этой жалкой досадой скрывается самая обыкновенная обида. Обида на кого? На Младшую Ханшу? Неужели он, венценосный властелин, может обижаться на длинноволосую бабу? Рад был бы Повелитель отмахнуться от этих назойливых, роящихся, как мошка перед ненастьем, мыслей, только сейчас это было выше его сил. Да и что еще ему осталось, как не забавляться бесплодными думами, чтобы только не свихнуться от беспросветного одиночества... А одиночество ледяным обручем сковало его уже давно. Жизнь, обособленная от других, давно ему в тягость. Всегда и всюду один, один, точно бельмо на глазу. Он был лишен возможности, как всякий отец, радоваться своим кровным детям и, как всякий супруг, наслаждаться любовью жены. Так и выросло целое потомство, его дети и внуки, выросло, возмужало, коней оседлало, разбрелось по всему свету, не познав его отцовских ласк и нежности. А он, Повелитель, по-прежнему один, одинок и дома, и в походах, один, как бог. Разбив одного

за другим большинство врагов и засыпав их завидущие глаза песком, надумал пожить немного в свое удовольствие и привел в свой дворец Младшую Ханшу Нет, вовсе не для того, чтобы на старости лет обновить, как говорится, запах постели и тешить свою похоть с молодой, а для ублажения души, истомленной одиночеством. И он был рад и доволен своим удачным выбором несмотря на молодость, ханша оказалась поразительно сдержанной, покладистой ровной как в проявлении своих чувств, так в повседневном поведении. А когда он, возвращаясь из похода, еще издалека увидел дивный минарет, подпиравший небо, он сразу догадался, что ханша воздвигнула его в честь горячо любимого супруга, и душа его возликовала. Та радость теплой волной растекавшаяся по жилам, теперь улетучилась, уплыла, точно серебристые нити в прозрачном осеннем воздухе И было досадно, что не только искренность и любовь ханши, но и весь огромный бренный мир и все-все в этой юдоли печали поистине мимолетно и фальшиво И еще было досадно от того, что ему стало вдруг ясно· тот, кто родился однажды обыкновенным смертным, может, конечно, заарканить судьбу и высоко подняться над копошащимся внизу презренным человеческим родом, но от изматывающего душу одиночества ему никогда не избавиться, пока он не закроет навеки глаза и не очутится под землей, приявшей в свои объятия тысячи ему подобных. Но всех ли смертных ожидает равная участь? Разве ведомо одиночество тем, кто привык довольствоваться малым и любовно делит между многочисленными своими отпрысками крохотное счастье и благо, выпавшее им на долю? Такие не ропщут и, видимо, в этом находят свое житейское счастье. А стремление к большему неизменно сопряжено с потерями, и потому простой смертный приговор предпочитает довольствоваться тем, что есть. И какими бы красивыми словами ни называли мы свои стремления — мечтой, порывом или целью, в конечном счете это все жалкие потуги, именуемые жадностью, ненасытностью, алчностью. А там, где правят эти низменные чувства, не может быть радости и наслаждения. Вот под его, Повелителя, властью чуть ли не весь подлунный мир, но хотя бы одну ночь спал он спокойно, хотя бы один день жил без забот? То-то же... Выходит, не так-то уж много надо простому смертному. Богатство и слава, которых с таким рвением добиваешься, не стоят, в сущности, и слепой копейки.

Младшая Ханша не утешилась ни богатством, ни высокой честью, а просто тоже затосковала по скромному

человеческому счастью и обыкновенным женским радостям. И в этой своей столь естественной и понятной тоске она, помимо собственной воли, оказалась готовой пожертвовать и священной короной, и золотым троном мужа. Она металась, не находила себе места в огромном пышном дворце, набитом золотом и драгоценностями, ибо не могла в нем найти желанного — пусть крохотного и замызганного — счастья. Ведомо ли ему то, к чему так страстно рвалась душа юной ханши? Есть ли у него самого то, чего так жаждала Младшая Жена? Да, у него есть трон, держава его огромна, и еще он обладает богатством, славой, властью, грозным именем. Только при всем желании он не может назвать это счастьем. Какое же это, к черту, счастье, если в окружении неслыханного состояния, невиданной роскоши и многочисленных единокровных отпрысков чувствуешь себя как в голой пустыне?! Если в собственном дворце сидишь как на иголках и затравленно озираешься вокруг, не зная, в каком углу подстерегает тебя опасность?! Если в опочивальню жены, куда днем и ночью запросто заходят все обыкновенные мужья, ты будто вор, крадешься тайком, пряча от горничной и превратников глаза?! Если, считая себя всесильным и всемогущим, с затаенным страхом прислушиваешься к молве, кривотолкам, пересудам праздной толпы?! Э, нет... верно говорят, что взирать на грешный люд с высоты своего недоступного одиночества естественно лишь для бога. Непомерные слава, сила, власть, богатство, талант, обрушивающиеся иногда на одного человека, оборачиваются не счастьем, а бедой. Разве может быть довольным жизнью молодой зодчий, своим искусством поразивший людей? Разве счастлив он, Повелитель, покоривший тьму стран и народов? Нет! В сущности, все они глубоко несчастны. Остальные простые смертные на земле имеют возможность на худой конец поделиться с кем-нибудь своим горем, своей тоской. У них же — Повелителя, молодого зодчего и юной ханши — и такой возможности нет.

Случись с кем-нибудь другим нечто подобное, Повелитель, как третейский судья, не смог бы вынести сурового приговора, ибо в душе сознает, что ни один из них не виновен. А сейчас ему не под силу проявить такое великодушие. Ведь, в сущности, и он, и зодчий, и ханша — жертвы судьбы, несчастные нищие, вымаливающие друг у друга сочувствие и сострадание. А какую помощь могут оказать друг другу бедняки? Чем поделиться нищим? Нечем! И поэтому самое справедливое — осуществить волю, угодную

толпе. Если уж необходимо непременно докопаться до истины, то вовсе не он, Повелитель, палач молодого зодчего отмеченного божьим даром, а крикливый черный сброд, охотно распространяющий самые невероятные слухи, верящий гнусной сплетне, родившейся в гнусной душе, и заставляющий верить других. И зодчий, и ханша, и он, Повелитель,— жертвы его жадных, пронырливых глаз и болтливого, мерзкого, как жало змеи, языка. И теперь, прояви великий Повелитель неслыханное милосердие и соедини судьбы двух несчастных молодых влюбленных, завтра же этот сброд, эта толпа поднимет невообразимый гвалт, шум, обвиняя его в мягкотелости, малодушии и бог весть еще в каких грехах, а недруги, тайные и открытые, подхватив молву из поганых уст черни, начнут злословить, злорадствовать над ним. Все зло, все беды — от черни. Даже в несчастье зодчего виновата она. Даже кару для него придумала и подсказала Повелителю — она. Что ж... так и будет! Пусть утешится презренная чернь! То, что рождено толпой, становится жертвой ее же слепой ненависти. Пусть так оно будет и впредь, и во веки веков! Пусть этот люд верит своим россказням. Лишь бы не догадался о том, что способно лечь пятном позора на честь и имя Повелителя. Значит, пока болтливая толпа не отреклась от своей молвы и не придумала другую меру наказания, разумно молодого зодчего немедленно казнить.

4

Итак, в подземелье освободилось еще одно место. Раскаленной докрасна острой железкой кровавый палач выколол лучистые глаза вдохновенного Мастера, дерзко и гордо устремившегося к недоступной ему мечте. Несчастный юноша корчился от боли, выл по-звериному протяжно, и тут палач беспощадной рукой отрезал ему еще язык. Измученного, окровавленного, почти бесчувственного зодчего связали волосяным арканом и темной ночью отвезли в какой-то кишлак на той стороне Большой реки.

Страшная судьба молодого зодчего никого в столичном городе не удивила. Подобную участь испытали многие даровитые мастера и художники. Правда, бывали и отчаянные смельчаки, одиночки, сумевшие избежать суровой ханской кары. Кое-кому удавалось подкупить палача, перехитрить злой рок, вырваться из города. Одни из этих редких удальцов и счастливчиков потом навсегда расставались

со своим искусством, осваивали другое ремесло; другие покидали родной край и доживали свой век на чужбине, ища милости у иных владык. Третьи, наиболее отчаянные и бесстрашные, дожидались смерти преследовавшего их правителя, возвращались на родину и, облагодетельствованные новым властелином, с прежним увлечением и усердием занимались любимым делом.

Зная об этом, Повелитель пожелал лично взглянуть на молодого зодчего уже после того, как ему выкололи глаза и отрезали язык. Убедившись в том, что в окровавленном, грязном мешке, перевязанном арканом, действительно находилось обмякшее тело зодчего, Повелитель распорядился отвезти его в дальний кишлак за рекой.

Глядя на обезображенного до неузнаваемости юношу, он, однако, не испытывал удовлетворения, как это бывало раньше при виде поверженного ненавистного врага. Даже грозные палачи, приволокшие к нему полосатый мешок, показались заурядными, мелкими ворами, шастающими по чужим курятникам и хлевам. Повелителю не терпелось убрать мешок обратно, с глаз долой.

Наутро следующего дня огромный ханский дворец почудился ему еще более тоскливым и пустынным. Доносчики, отправленные на базар, не приносили никаких утешительных вестей. Казалось, этим презренным торгашам, вожделенно пожирающим глазами две чаши безмена, недосуг взглянуть на вершину голубого минарета. Внимание их всецело поглощено перебранкой, зазывными выкриками, копеечной торговлей, желанием надуть простодушного покупателя. В этот миг они наверняка и не помнят о существовании какого-то Повелителя. Мертвая тишина сковала город. Соглядатаи и доносчики Повелителя, под видом мелких торговцев и бродячих дервишей шнырявшие в базарной толпе, ничего примечательного не услышали ни от горожан, ни от приезжих. Впечатление было такое, что всем все давно известно и о случившемся нет смысла говорить. Доносчики растерялись и избегали встречи с Повелителем. Опытный глаз тайной службы встревожился: молчание толпы не предвещало ничего доброго. Он лично приглядывался к торгашам и купцам, тщетно стараясь узнать, что у них на уме, что скрывается в их бритых головах под мохнатыми шапками или засаленными чалмами, что означает сытая ухмылка под холеными черными усами. Он приказал усилить слежку за удачливыми торговцами не только на базаре и в лавках, но и на улицах, в переулках, воз-

ле их домов. На тесных улочках, на окраинах города слонялись толпами дервиши, нищие, бродяги, калеки. Шайка доносчиков увивалась вокруг купца, в доме которого обитал зодчий из Ор-тюбе, однако и от него ничего вразумительного не добилась. Тот по-прежнему хвастливо рассказывал о своих похождениях, о том, кого победил в острословии и чей перепел оказался самым воинственным. Лишь однажды этот купчишка проронил невзначай: «Отец молодого зодчего когда-то тоже подвергался гонениям, но умудрился избежать наказания и вернулся с чужбины через двадцать лет. На старости привел сюда сына, определил на стройку новой мечети и умер от чахотки. Посмотрите: и сын пойдет по его стопам. Дома у меня он оставил немало добра. Когда-нибудь обязательно за ним вернется...»

Начальник тайной службы не выпускал его из виду, подсылал к нему своих людей, те ловко втягивали неудержимого болтуна в спор острословов, подпаивали его, и купец, войдя в раж, плел обо всем на свете, но ни единым словом не заикнулся об отношениях между зодчим и юной ханшей.

Повелитель был обескуражен. В осторожном молчании толпы таилось что-то подозрительное. В думах и предположениях он проводил бессонные ночи. Каким образом можно расшевелить эту неожиданно онемевшую толпу? Почему она так упорно молчит, будто проглотила язык? С утра до вечера ходил взад-вперед, взад-вперед удрученный Повелитель по безмолвному залу. Казалось, он уже знал тут каждую пылинку и не на что было устремить усталый, блуждающий взгляд. Он вновь и вновь подходил к окну и каждый раз съеживался, наливался досадой и злобой при виде голубого минарета, молчаливо злорадствовавшего над ним. Иногда, казалось, минарет снисходительно подсменивался над потерявшим покой владыкой. А вместе с ним, чудилось, усмехалась многотысячная толпа, копошившаяся у его подножия. Конечно, каждый, кто обладал здравым рассудком, прекрасно понимал, над кем и над чем смеется непокорно-величавый минарет, а понимая, не в силах был подавить и собственную ехидную ухмылку. Значит, если он желает избавиться от преследующей его всюду злорадной усмешки, он должен первым долгом стереть с лица земли первопричину всех невзгод — минарет. Тогда сам по себе оборвется торжествующий смех толпы.

Но даже облегчения не успел почувствовать Повелитель от этой, казалось бы, спасительной мысли. Он тут же по-

думал, что, своей рукой разрушая минарет, он только подтвердит ужасную догадку, которая станет завтра в глазах толпы истиной, всегласно подтвержденной самим Повелителем.

Эта простая мысль так поразила его сейчас, что он в отчаянии схватился обеими руками за голову и, обессиленный, присел. Долго он так сидел, вконец убитый, раздавленный, и вдруг встрепенулся, вскочил, и хищный блеск появился в его потухших старческих глазах. Наконец-то... наконец-то он нашел, нашел верный, желанный способ подавления мерзкой сплетни, вот-вот готовой сорваться с поганых губ толпы, в самом зародыше! Да, да, это единственный и самый лучший, самый надежный способ! Значит, так... Все, что связано с голубым минаретом, до мельчайших подробностей известно лишь одному человеку — главному зодчему. Слухи, кривотолки могут исходить только от него. Следовательно, с него-то и нужно начинать. Все внимание настороженно молчащей толпы необходимо ловко обратить на главного зодчего. Ведь, надо полагать, голубой минарет постоянно вызывает в его душе неприязнь и зависть. Уж кто-кто, а Повелитель совершенно точно знает, какой он, главный зодчий, завистник и как он ненавидит каждого, кто превосходит его талантом и мастерством. Значит, его и следует натравить на молодого соперника. Ему только намекни, и он один с кайлом в руке, как безумный, кинется на минарет. Вот тут-то его и поймают на месте преступления. Услужливые холуи тут же распустят слух: «Главный зодчий в приступе черной зависти пытался разрушить голубой минарет. Он же тайком оклеветал юношу перед Повелителем, и по его вине молодой мастер понес незаслуженную кару». Потом Повелитель сам объявит народу о преступных помыслах и поступках главного зодчего и приговорит его к жестокому, но в высшей мере справедливому наказанию. Шумливая и доверчивая толпа будет на все лады склонять слух о соперничестве и взаимной неприязни двух талантливых ханских зодчих, и тогда сами по себе отомрут и забудутся все сплетни о мнимых прегрешениях юной ханши. А краса и гордость его столицы — минарет останется неприкосновенным.

Желание Повелителя расторопный начальник тайной службы исполнил за два дня.

Главного зодчего, закованного в кандалы, Повелитель даже не стал допрашивать. Только пристально и долго посмотрел на него, поседевшего и осунувшегося за одну

ночь, и когда тот пытался было что-то сказать, приказал стражнику:

— Отрежьте поганый язык злому наветчику и заточите в подземелье. Пусть там сгинет!

На невинную жертву он глянул вслед с брезгливостью. Много предательств и коварства перевидел и пережил Повелитель на своему веку и поэтому особенно презирал людей лживых, мелких и завистливых. Но в начальники он неизменно выбирал таких. Особенно над людьми искусства, над одаренными ремесленниками-мастерами, ювелирами, зодчими он непременно ставил человека грубого, вздорного, нетерпимого и завистливого. И в этом у Повелителя был свой тайный и верный расчет. Он ведь хотел, чтобы его столица была самой красивой и величественной. Для этой цели он собирал именитых, прославленных мастеров со всего света. А степень одаренности мастера точнее всего определяет не добрый, душевный человек, а злой завистник с мелкой душонкой. Значит, в этом случае разумно прислушиваться не к хвале доброго приятеля, а к хуле недоброжелателя. Ибо так уж устроен мир, что самый зоркий, меткий глаз у завистника, у неудачника. У них поразительно чуткий нюх на талант. С таким же рвением и усердием они преследуют и чернят каждого, кто их превосходит хоть на золотник. Благодаря главному зодчему — тощему, пронырливому, плаксивому и занудливому мужичонке с прищуренными, бегающими глазками, с оттопыренными, каждый слух ловящими ушами — Повелителю удалось разыскать и подобрать дивных умельцев-чудодеев. Сам же главный зодчий ничего путного не совершил, ничего примечательного не построил, кроме мрачной и сырой тюрьмы под дворцом правителя. Над входом в подземелье Повелитель приказал выбить на камне надпись: «Рано или поздно все равно очутишься под землей!» Пусть этот наветчик и завистник убедится в справедливости ханских слов и заживо сгинет в им же построенной тюрьме.

И оттого, что заточил в подземелье этого холуя с завистливой душонкой, Повелитель испытал большее удовлетворение, нежели от недавнего наказания молодого зодчего.

4

Весть о том, что главный зодчий брошен в подземелье, всколыхнула столичный город, но тут же забылась. Так от случайной искры ярко вспыхивает и тут же пре-

вращается в пепел ворох сухого сена. Обрадовавшиеся было доносчики и соглядатаи вновь понуро опустили головы.

Из дворца Старшей Ханши не поступало никаких слухов. Повелитель хмуро вглядывался в каждого, кто переступал порог его тронного зала, подозрительно следил за каждым шагом и жестом приближенных, допытывался, у кого что на душе. Всюду ему чудились подвохи, намеки, иносказания. Он выискивал их в яствах на низеньком круглом столике, в постели, которую слуги меняли каждый день, в одежде. Однако ничего достойного внимания не замечал. Все чинно, благопристойно, добропорядочно. И уже мерещилось ему, что все слуги, вся дворцовая челядь не только догадывались о самой затаенной его тайне, но и знали все, что творилось у него в душе, и теперь только и заботились о том, чтобы ненароком не возбуждать в нем новых подозрений и сомнений. И даже доносчики, целыми днями, точно псы, рыскающие по городу, наверняка щадили его и скрывали всячески правду, утешая его, как неразумное дитя, лживыми льстивыми словами. И ведь в самом деле, разве осмелятся они сказать подлинную правду в глаза Повелителю? Разве страх за собственную шкуру не сковывает их язык? Значит, нужно полагать, все, что мелют они здесь, валяясь у его ног, не что иное, как наглая, трусливая ложь.

Жители столичного города давно уже поняли тайну голубого минарета. И толковали ее на всякие лады. Они, конечно, хорошо знают, почему подвергнут жестокому наказанию юноша-мастер и по какой причине вдруг заточен в тюрьму главный зодчий. Более того, им ведомо, с какой стати, вернувшись из похода, Повелитель не отлучается из дворца юной ханши. Он ведь вышел из того возраста, когда никак не могут насытиться ласками жены. И, наконец, надо полагать, не любовью занят стареющий властелин. А не показывается он на глаза людей потому, что гложет его стыд и нечистая совесть.

От этих откровенных, уничижительных дум Повелителю становится не по себе. Он вскакивает, точно кто-то больно ущипнул его. Часами бродит он, сутулясь, по залу, потом отправляется в сад. Но и в безлюдном саду он не находит себе места. Тысячи глаз неотступно преследуют его, злорадно улыбаются из-за кустов. Неуютно на сердце, тягостно. Он поспешно возвращается домой. А что — дом? Четыре безмолвные стены. Будто кто-то силком загнал его сюда. Не дворец — тюрьма. Без засова и замка. И не Повелитель он — узник. Без оков и кандалов. И вся его остатная жизнь, весь

мир вокруг — неволя, заточение. Даже самая малость, доступная последнему смертному,— видимость личной свободы — ему, Повелителю, неизвестна. Каждый шаг на виду, каждое слово на счету. Простые человеческие желания, прихоти и страсти ему чужды. Что бы он ни делал, он непременно должен удивлять и поражать людей. Если он будет делать и говорить то, что делает и говорит простой люд, он мгновенно окажется посмешищем в глазах праздной толпы. Те, кто его так усердно возвеличивал, возносил до небес и падал перед ним ниц прахом, не простят ему развенчания ими же созданной легенды и начнут злорадствовать над ним и проклинать его с пеной у рта. Ибо черный сброд, именуемый народом, не желает признаваться в своей глупости и нещадно мстит кумирам, не оправдавшим его доверия. Толпа издревле нуждалась в идоле. И вера ее — идолопоклонство.

И кто знает: не клянут ли его люди уже теперь, не злословит ли над ним уже сейчас каждый встречный-поперечный?! Может, уже хохочут до колик в животе над грозным Повелителем, который еще недавно молнией поражал иноземных правителей, сотрясал короны и свергал троны, а теперь, состарившись, не может, да-да, просто не может справиться с молодой бабенкой, изнывающей от низменной похоти, жаждущей крепких мужских объятий, не в силах унять зуд вожделения в ее чреслах и потому забился в угол, словно трусливый, шелудивый пес. Разве болтливая толпа удержится от соблазна позлословить над всемогущим властелином, который, вместо того чтобы, подобно настоящему мужчине, открыто схлестнуться с удачливым соперником и отомстить обидчику, прибегает к подлым приемам и тайным козням? Вот уж почешет языки черный люд по поводу того, что-де после бога самый великий среди бессмертных оказался самым ничтожным среди смертных. Э, услышать бы только собственными ушами эту подлую болтовню. Увидеть бы собственными глазами, как, рассказывая о нем, веселятся, ерничают, по ляжкам себя похлопывают неуемные трепачи. Увидеть и услышать, как и что о тебе говорят, проще и легче, чем терзаться собственными сомнениями. Чем больше он старается заткнуть глотку праздной толпе, тем заметнее разрастается грязная сплетня о нем. Выходит, хорониться от чужих глаз, забиваться трусливо в свой дворец — просто бессмысленно и глупо.

Да, да, совершенно очевидно: лежать в сумрачном зале, подобно старому медведю в берлоге, не делает Повелителю чести. Нужно во что бы то ни стало вырваться из са-

мовольного заточения, разорвав гнилые путы сомнения и подозрения. И пусть толпа говорит о нем, что и как ей заблагорассудится. Бывая на людях, он хотя бы по глазам их определит то, что они не посмеют высказать словами.

Возвратились бы сейчас старые добрые времена! О, он закатил бы пир назло глумливой толпе. Напоил бы всех до умопомрачения, развязал бы языки, вдоволь наслушался бы пьяной болтовни. Но сейчас нет никакого основания для такого торжества. Повелителю неизвестно настроение не только жителей его столицы, но даже единокровных сородичей и предводителей войска, правителей-эмиров. Кто знает, что у них на душе? А не зная этого, разумно ли собирать всех на пир?

Поразительно несуразно все получилось. Построенный в его честь голубой минарет обернулся для него злом. Связал его по рукам-ногам, сковал волю. Но почему Повелитель сам себя так изводит? Разве он не грозный владыка, железной рукой взнуздавший мир? Что ему стоит собрать всех, кого он считает нужным, и прямо заглянуть им в глаза?! Нельзя же до скончания дней отсиживаться за каменной стеной. Пора ведь взять себя в руки, встряхнуться назло Младшей Ханше, этой гадюке, пригревшейся на его груди, назло Старшей Жене и ее чванливой свите, не спускающим с нее глаз. Ему, Повелителю, ведь под силу неожиданным поступком своим еще раз удивить и черный люд, и спесивую знать, привыкших с разинутыми ртами ловить каждое его слово. По крайней мере, он узнает все, о чем говорят и что думают разномастные холуи, толпами увивающиеся вокруг.

На другой день Повелитель вызвал старшего визиря. Тот боязливо протиснулся в дверь, не отрывая от пола огромных выпуклых глаз, способных одним взглядом охватить все. С подчеркнутой учтивостью выслушал старший визирь наказ Повелителя и, низко поклонившись, выскользнул из зала. Трусливая повадка старой лисы насторажи вала. Неужели оправдываются его подозрения? Неужели и впрямь все придворные догадываются о том, что творится в душе Повелителя? Почему пройдоха визирь прячет глаза и норовит скорее удалиться? Отчего тень ужаса на холеном лоснящемся лице? Может, боится участи главного зодчего? Может, опасается расплаты за то, что осмелился построить в отсутствие властелина уродину башню? Не исключено! Ах, зря он его так скоро отпустил. Немногие способны устоять перед его молчаливым гневом. Немногие

выдерживают его испытующий взгляд. Повелителю захотелось вновь увидеть старшего визиря. Увидеть скорее и других придворных слуг, детей, наместников и военачальников. Интересно, как они себя поведут при встрече с глазу на глаз? Может, тоже начнут ерзать, отводить взгляд, юлить, прятать голову? Если так, значит, и они что-то знают, утаивают...

Еще несколько дней спустя великий Повелитель соизволил выехать на охоту. Целый караван — наездники-коневоды, лучники-охотники, барабанщики, повара, слуги, личная охрана, свита, конюшие, опытные псари с гончими, борзыми, волкодавами на сворках — медленно выступил из города и направился в сторону гор, смутно голубевших вдали в зыбком мареве. Лишь через день караван остановился на привал. Среди хребтов и зубчатых скал, на берегу бурлящей горной реки, в гулких, нетронутых зарослях дворцовая челядь быстро раскинула шатры для военачальников и правителей: здесь высоко в горах, в непроходимых лесах, богатых зверьем и дичью, предстояла пышная ханская охота.

Многолюдный красочный караван, поджарые легконогие скакуны, чинный торжественный ряд обвешанных всеми видами оружия охотников, сладкое предвкушение удачи и забавы — все это живо напомнило Повелителю былую безмятежную, полную соблазнов и очарования жизнь. Горы и заросли заметно гасили нещадный зной в долине.

В день прибытия затеяли грандиозный пир. Вино лилось рекой. Все были возбуждены, говорили и кричали наперебой, но чуткий слух Повелителя не уловил ничего крамольного или примечательного. Все дружно и на все лады обсуждали предстоящую утеху. Хвалили лошадей. Хвалили собак. Хвалили ловчих птиц. Хвалили друг друга и самих себя. Рассказывали охотничьи байки. Выхвалялись смелостью, удачливостью, сметливостью. И, слушая эту привычную бестолковую болтовню, Повелитель даже не знал, радоваться ему или огорчаться. Казалось, все лукавят, разыгрывают его, ловко обводят вокруг пальца, и он поневоле опять насупил брови.

Ночь на привале он провел без сна. Вокруг, в шатрах, после вчерашней оргии спали беспробудным сном. Безмятежная тишь нависла над миром. Летняя ночь навевала сладостную дрему, Чистый горный воздух ласкал хмелем объятое тело. Где-то глубоко в сознании бодрствовало предчувствие радостной утренней предохотничьей суеты. Разве

может быть бóльшая услада для души? Из соседних шатров доносился причудливый храп.

Такая жизнь и вот такие ночи издавна особенно по душе Повелителю. Каждый из этих мужчин, с оружием в руках, покорно следующих за ним хоть на край света, возвращаясь в столичный город или в кишлаки, в приземистые глиняные домики на тесных пыльных улочках, превращается в опасность для него, в заурядного трепача, охотно распространяющего небылицы и сплетни о всесильном владыке. А в походе, когда они рядом с ним, каждый смотрит ему в рот, каждый послушен и покорен и старается непременно угодить. В такие мгновения ему чудится иногда, что все они — единокровные потомки: сыновья, дети, внуки и правнуки, будто бесчисленные ветви и побеги от одного могучего ствола. Стоит им только хоть на один шаг удалиться от мирной жизни, как они поневоле тянутся к нему, точно несмышленыши к родному отцу, ища у него опору и поддержку. Вот и сейчас, глубокой лунной ночью, среди хмурых скал, в окружении непролазных зарослей, они предаются безмятежному сну, словно сорванцы-внуки, доверчиво прильнувшие к доброму и надежному дедушке. Как бы желая перекрыть их дружный, многоголосый храп, громыхает, гудит, ворочает камни неровистая горная речка у подножия хребтов. Чуткий слух Повелителя улавливает каждый звук, каждый шорох за тонкой шелковой завесой шатра. Знакомые, приятные ночные картины. Ни одного резкого вскрика, ни чуждого вопля, от которых немеет душа. И все же не спится... Не идет сон, хоть плачь. Возле дальних шалашей беспокойно поскуливают гончие собаки: может, чуют звериные запахи? И за шатром кто-то едва слышно копошится, шебуршит; что-то вроде похрустывает, потрескивает. Должно быть, мелкая ползучая тварь приступила к своим ночным заботам. Вдалеке тонко вызванивают, стрекочут цикады. Все так просто, привычно, однако сколько причудливого, загадочного, непостижимого в этом мире!

Удушливый туман, словно чадом обложивший душу, несколько развеялся, поредел, но полная желанная ясность на сердце не наступала. Блаженная сонливость и тяжесть растекались по телу, но дух бодрствовал. Он испытывал странное желание незаметно раствориться в ночной мгле, слиться с разомлевшей тишью. Как хотелось ему сейчас разом забыть и про трон, и про корону, и про золотистый ханский шатер над головой и упасть в ласковые объятия природы. Если бы он мог, как эти невидимые мелкие твари

за шатром, жить в собственное удовольствие неприметной жизнью, лишенной суеты, обязательств и треволнений! Стать бы простым смертным, до которого никому нет дела, которому неведомы ни людская зависть, ни вражьи козни, или пусть даже — ничтожной тварью под ногами, лишь бы избавиться от необходимости быть постоянно на глазах, на виду у всех, точно бородавка на лице. Эх, выскользнуть бы сейчас незаметно из шатра и нырнуть в заросли! Какой бы завтра начался переполох, когда вдруг бесследно исчез бы Повелитель! Сколько бы родилось диковинных легенд о его таинственном исчезновении! А он, отсиживаясь в каком-нибудь укромном уголке, недоступном человеческому взору, усмехался бы в усы, злорадствуя над бездонной людской глупостью...

Повелитель понимал всю нелепость своих неосуществимых мечтаний, но все же ему было приятно об этом думать. Смешно... Многочисленные стражники, расставленные в два ряда вокруг шатра и всего лагеря, не то что хана муху мимо не пропустят.

Повелитель в который раз подумал о том, что им же насажденные железный порядок и традиции ременными путами связали его самого по рукам и ногам. И, вспомнив об этом, он почувствовал горький осадок в груди.

Вокруг стояла, однако, истомленная негой дивная ночь, сулившая отдохновение и усладу для души и тела, и Повелитель с досадой отмахнулся от недобрых предчувствий. Усилием воли он вновь направил разладившийся было настрой измученной души по едва заметной тропинке, обещавшей впереди желанное пристанище, похожее на райский уголок. Эта тропинка незаметно уводила его все дальше и дальше от безмятежно храпевшей перед завтрашней охотой свиты, от суетной земной жизни, где происходит вечная борьба между добром и злом, отчаянием и надеждой. И казалось, дух его отдаляется от грешной земли, от опостылевшей возни среди людишек и никогда, никогда уже не будет возврата.

Уже далеко позади остался проклятый край, край вечной печали и скорби, и Повелитель, освобожденный от тяжести власти, от пышных, золотом вышитых одежд, испытывал удивительную легкость. Даже почудилось ему, что он одет в ихрам — два куска несшитой белой ткани,— в котором истые правоверные совершают паломничество в священную Мекку. Вот он идет, шлепая босыми ногами по белесому пухляку. Вокруг простирается незнакомая мест-

ность. Среди древних, скудных гор, разрушенных зноем и ветрами, виднеется небольшой городок. К нему со всех сторон длинной вереницей тянутся, стекаются паломники. За ними, еле волоча ноги, плетется и он. От бесконечного выкрикивания каких-то молитвенных слов в горле его пересохло. Он давно охрип и, как бы ни надрывался, не слышит собственного голоса. Только губами пересохшими шевелит. Впереди возвышается длинный бурый увал. Толпа устремляется к нему. Лишь после полудня удалось одолеть его склоны. На вершину увала поднялся на поджаром скаковом арабском верблюде, покрытом дорогим ковром, старец в огромной белой чалме. Восседая в пышном седле, он раскрыл лежавшую на коленях тяжелую книгу и начал читать врастяжку величаво скорбным голосом. Изредка голос его обрывался, и тогда короткую тишину оглашали нестройные вопли пилигримов:

— О, всеблагой, всемогущий! Покоряемся воле твоей. Припадаем ниц к стопам твоим!

И при этом паломники приподнимали край ихрама и потряхивали им. Бесчисленное число раз слышал Повелитель эту смиренную мольбу из уст других, но сам никогда не произносил подобных слов. Он с трудом ворочал языком, долго шевелил губами, приноравливаясь к хору страждущих, по лицам которых текли слезы. Повелитель при всем своем старании так и не сумел выжать ни одной слезинки. Лицо его оставалось суровым и непроницаемым. Чтобы никто из усердно вопящих вокруг не обратил на него внимания, он также гнусаво выпевал молитвенные слова и, смежив веки, низко опустил голову. Старец на верблюде закрыл священную книгу и благоговейно сложил ладони перед лицом. Паломники опустились на колени. Потом, когда благословение было окончено и многоголосое протяжное «ам-и-и-нь» прокатилось по увалу, бесчисленная толпа ринулась в долину. И Повелитель послушно потрусил вниз. Дыхание теснило грудь, сердце трепетало, пот струился с него ручьями, но он старался изо всех сил, чтобы не отстать от других. Там, у подножия увала, их оглушили протяжные гнусавые звуки, будто вразнобой затрубили медные трубы. На небе ярко вспыхивали огни. Еще днем, поднимаясь на вершину увала, Повелитель увидел в долине множество деревянных минаретов. Теперь они разом запылали точно гигантские свечи. По ущельям, излучинам между островерхими холмами и курганами замелькали-заплясали багровые языки пламени. Разноцветные шатры,

тесно расположившиеся на равнине, отбрасывали при ночном зареве жутковатый отблеск.

И вот старец на белом скаковом верблюде вновь начал молитву. И, сотворив утренний намаз на вершине увала, паломники опять спустились в долину. На пути их, прямо посередь дороги, встретился черный каменный столб, в который каждый швырнул семь черных камушков величиной с зерно кукурузы. В центре плоской равнины возвышался еще один каменный столб. В него тоже кинули по семь маленьких камушков. Наконец толпа наткнулась на глухую стену, сложенную из грубых булыжников. И еще раз по семь камушков бросили в нее паломники. Теперь они направились к продолговатым земляным печкам, над которыми громоздились огромные котлы. Возле котлов озабоченно суетились мясники и, сверкая длинными острыми ножами, разделывали туши жертвенного скота. Здесь же — неизвестно откуда взялись — толпились наглые попрошайки, назойливые побирушки, страшные нищие в лохмотьях. Паломники, одетые в священный ихрам, отошли в сторонку. Здесь на их склоненные головы какие-то люди лили теплую воду из высоких кувшинов с узким гнутым горлышком. Повелитель тоже припал на колени, покорно опустил голову. Он чувствовал, как от теплой водички кожа на макушке стала мягкой, податливой. Чернявый, сухопарый мужчина ловко вытащил из ножен стальное лезвие и привычными заученными движениями в два счета обрил его, потом принялся стричь ногти на руках и ногах. Закончив свое дело, чернявый связал в отдельные узелочки волосы и ногти и закопал их в одну ямку.

С земляных печей сняли казаны. Перед паломниками, усевшимися в длинные, тесные ряды, поставили большие деревянные подносы с кусками дымящегося мяса. После обильной трапезы паломники весь день отдыхали в своих шатрах. А потом направились в священный город, лежавший в долине. Перед ними находилась Кааба — мусульманский храм, в стену которого был вделан черный камень, задернутый новым черным покрывалом из Египта. Паломники остановились возле Каабы. Служитель храма с треском разорвал старое черное покрывало на клочья и роздал их паломникам как священный талисман, приносящий праведникам радость и благо. Чуть вдали белело мраморное возвышение-минбар, с которого мусульманский проповедник-кади наставляет правоверных на путь истины. Над источником зам-зам возвышался небольшой купол. Как и все,

Повелитель сложил ладони перед лицом и помолился. Потом со всеми вместе подошел к черному камню. От прикосновения губ и рук паломников поверхность его казалась отполированной. Нижняя же часть была еще шершавой, со множеством красных крапинок. Паломники один за другим благоговейно целовали священный камень, но стоило Повелителю наклониться к нему, как камень, точно живой, отстранялся от него, ускользал то в одну, то в другую сторону. Тогда Повелитель протянул к нему руки, но опять не дотянулся. Огромная толпа, выстроившаяся за ним, в нетерпении оттеснила его от камня. Повелитель повел-дернул плечами и мелкой трусцой, как это предусматривается ритуалом, трижды обежал Каабу. После каждого круга он наклонялся к камню, чтобы прикоснуться к нему губами, но камень всякий раз ускользал от него. Повелитель, недоумевая, перешел на шаг, еще несколько раз обошел Каабу, каждый раз пытаясь поцеловать камень, но тщетно. Другие паломники или дотягивались до него губами, или прикасались хотя бы руками, а от Повелителя камень увертывался, как от прокаженного.

Вместе со всеми он поклонился могиле пророка Ибрагима, построившего священный храм — Каабу. Пил воду из священного источника зам-зам. Вода оказалась невкусной, солоноватой. От нее неприятно пощипывало в горле.

От Каабы толпа направилась к двум горам-близнецам, протянувшимся рядом,— Саф и Мару. Послушно семенил среди паломников и Повелитель. Как наваждение, преследовало его жуткое видение: ускользая, мельтешил перед глазами черный камень. С того дня как Повелитель впервые облачился в ихрам и посетил священные места пророка, он рьяно исполнял все предписания праведникам, отрекшимся от мирской суеты и житейских соблазнов. Он не пропускал ни одного намаза, вовремя совершал омовения, соблюдал пост, коротко стриг ногти и красил их хной, тело умащивал благовониями, истребляющими всякую нечисть сатаны греха Иблиса, на священный жертвенник привел белого верблюда. Вокруг Каабы захоронены останки более ста святых, и Повелитель поклонился каждой могиле, ни одного святого не обошел подаянием. Укрыв свое бренное тело ихрамом, он не осквернил уста плодом с кроваво-багровым соком, не глядел на свое отражение, отрекся от мирских забот, не позволял себе думать о греховном, подавлял желания грешной плоти, не вступал в преступную связь с женщиной не только наяву, но и во сне. И теперь,

когда он надеялся за все свои благочестивые деяния удостоиться желанного имени хаджи и покрыть голову высокой белоснежной чалмой, священный камень Каабы упорно отворачивался от него. За какие грехи выпало на его долю такое унижение? Разве не говаривали, что тому, кто хоть раз ступил босыми ногами на священную землю пророка, прошел через все испытания плоти и очистил душу, припав губами к черному камню Каабы, прощаются навсегда все большие и малые прегрешения? Почему божественная вода зам-зам обжигает ему пищевод, будто щелочь?

Идет-бредет толпа паломников, шлепая босыми ступнями по пухлой пыли. Задыхаясь и обливаясь потом, спешит за ней Повелитель. А перед глазами неотступно стоит черный камень Каабы. Не стоит даже, а крутится, вращается, будто гончарный круг, катится перед ним. И как бы ни старался Повелитель — догнать не может.

Паломники добрели до низины между горами Саф и Мару, которые когда то жена Ибрагима Агора обежала семь раз в поисках воды для единственного сына Исмаила. Бежит, бежит трусцой вконец обессиленный Повелитель, вопит, выкрикивает молитвенные слова: «О, всеблагой, всемогущий! Готов исполнить любую твою волю. Только не откажи в своей милости. Будь так же великодушен ко мне как и к другим верным твоим рабам...» Впервые в жизни срываются с его губ такие жалостливые, покаянные слова. Но, видно, не доходит его жаркая молитва до всевышнего. Крутится, катится впереди священный камень Каабы, и нет никакой мочи догнать его. Напрягая горло, он кричит протяжно, долго, в отчаянии: «О аллах!.. Внемли мольбе раба своего! О алла-а-ах!..»

Повелитель проснулся. В ушах еще отдаленно звенел надсадный крик. Сквозь шелковый шатер проникал бледный свет. Видно, заря занялась уже давно. Снаружи доносились приглушенные голоса. Повелитель звякнул колокольчиком. В шатер тотчас вошел слуга, держа на вытянутых руках легкую охотничью одежду. Повелитель быстро оделся, вышел. Солнце уже поднялось на длину конских пут. Лошади были оседланы. Гончие, борзые, волкодавы нетерпеливо поскуливали, прыгали на сворках. На кожаных рукавицах сокольников, нахохлившись, сидели в колпаках ловчие птицы — беркуты, соколы, ястребы пустельги. Их звонкий, резкий клекот вспарывал утреннюю тишь. Вдали в прозрачной сини ослепительно сверкали снежные вершины гор. Внизу, у подножия, монотонно рокотала речка. Без умол

ку щебетали, заливались на все лады бесчисленные птахи на деревьях, словно понимая, что им-то не представляют никакой опасности эти вооруженные люди с собаками и хищными прирученными птицами. А вот зверь в лесу будто затаился, ушел куда-то. Повелитель скосил взгляд на свиту, выстроившуюся рядком поодаль. Она мгновенно согнулась в учтивом поклоне. Повелитель сдержанно кивнул в ответ и сел на коня, которого держали под уздцы с двух сторон два коневода. Набросил на плечо лук, приторочил колчан со стрелами. И свита, и челядь поспешно взобрались в седла. Оглушительный, грубый рык карная разом разорвал в клочья прозрачную утреннюю тишину, дремуче нависшую над горами.

Первыми выступили выжлятники и доезжачие с карнаями и барабанами. Разделившись на группы, они направились к оврагам, буеракам и ущельям, утонувшим в густых зарослях. Они должны вспугнуть зверье, выгнать его из засады на простор, на открытую поляну, туда, где томятся в предвкушении забавы Повелитель и его свита. Поодаль от них плотным кругом расположились охранники, оберегающие Повелителя от случайной напасти.

На месте стоянки остались слуги и несколько охранников, прочие отправились на охоту. Выжлятники едва ли не с вершин, откуда начинались ущелья и ложбины, травили зверя, выгоняя его из зарослей в открытую долину, где устроила засаду знатная свита Повелителя. Повара между тем с раннего утра копали продолговатые ямы, сооружали земляные печи, устанавливали котлы, заготавливали впрок топливо.

Повелитель хмуро молчал. Ни словом не обмолвилась и свита. Раньше Повелителю нравилось, когда все вокруг угодливо пожирали его глазами, предугадывая каждое его желание, каждый каприз. А сейчас любой случайный взгляд впивался в него колючкой. Уж не жалость ли сквозит в этих скользких взглядах? И не унизительна ли эта жалость для всемогущего Повелителя? Отчего все вокруг так серьезны и молчаливы? Неужели все понимают, какой червь гложет его сердце? Бывало, прежде на охоте всех охватывало такое возбуждение, что на месте не могли стоять. А теперь все непроницаемо спокойны, точно истуканы. Да что там раньше Вчера, да, да, вчера еще горланили, шумели за дастарханом. Сегодня же затаились, языки прикусили, выжидают Может, услышали, как он кричал-вопил во сне? Если так, то они, разумеется, догадываются о его состоянии. Любо-

пытно, как они объясняют горячую мольбу своего Повелителя, униженно взывавшего во сне к аллаху? Должно быть, сейчас все только и думают о том, какая же душевная боль заставила Повелителя выказать тайну во сне, которую он так тщательно скрывает наяву? Возможно, они радуются про себя, считая, что их давнишние смутные подозрения оправдались? Если бы до этого они пребывали в полном неведении, то они вели бы себя сейчас совсем по-иному. Они просто не заметили бы каких-то перемен в душевном настрое своего господина или не придавали бы им значения. Исподтишка пытливо вглядывался Повелитель в своих нукеров, однако ничего, кроме крайней осторожности, желания незаметно улизнуть и фальшивого подобострастия, он не прочел в их окаменевших лицах. Иные чутко прислушивались к порсканию выжлятников, доносившемуся из дальних ущелий и буераков.

Когда Повелитель со свитой спустились в открытую долину, высоко в горах затрубили карнаи, дробно забили охотничьи барабаны. Могучее эхо прокатилось по ущельям. С грохотом посыпались камни, гулко зацокали копыта. Все разволновались, насторожились. Один Повелитель не шелохнулся. Лай собак стремительно приближался. Нукеры, обеспокоенно взглядывая на своего господина, с трудом сдерживали возбужденных коней. Повелитель и бровью не повел. Лишь когда гул, треск, грохот докатились до прибрежных зарослей, он едва заметно кивнул старшему визирю.

Многочисленная свита, отъехав на почтительное расстояние от Повелителя, вдруг завопила во всю мощь глоток и с улюлюканьем поскакала к оврагу. За нею стремглав понеслись дворцовые охотники. Еще несколько десятков всадников в одно мгновение нырнуло в дикие заросли по обе стороны горной реки. Избавившись от тягостной опеки свиты и дворовой челяди, Повелитель свернул к маленькому, незаметному притоку на дне каменистого оврага. Здесь была укромная излучина, заросшая осокой и камышом. У ручья Повелитель спешился. Подошел к серому валуну у родника. Сел. Наклонившись, зачерпнул ладонью прозрачной студеной водицы, ополоснул руки, лицо. Потом снял с плеч лук, положил рядом. Расслабил пояс, прилег. Давно уже, находясь за пределами дворца, он не оставался наедине с самим собой. С утра сегодня никого не хотелось ему видеть. Пусть эти словоблуды болтают о нем за глаза что хотят, лишь бы не толпились рядом и не смотрели ему угодливо в рот.

В густом разнотравье утонула окрестность. Утренняя роса на верхушках осоки не успела еще высохнуть. Зубчатые вершины скал, видневшиеся из-за камыша, сверкали свежестью, словно чья-то колдовская рука омыла их ночью. Из-за мыса подул прохладный ветерок. Однако он не мог развеять тягостную духоту в груди. Вновь вспомнился предутренний сон. Здешние суровые снежные вершины совсем не походили на невзрачные, точно выжженные холмистые горы Арафа и Муздалиф, Саф и Мару, а сочные травянистые луга между ущельями, где в этот миг толпы охотников неистово гнались за зверем,— на пыльную, опаленную Минскую пустыню, по которой он с паломниками бродил во сне. Но и нещадный зной пустыни, и удушливая пыль, прогорклый запах гари, приснившиеся сегодня на заре, преследовали его и наяву. Он поражался тому, как живо запечатлелся в сознании неведомый ему далекий край. Или, может, в нем ожили воспоминания его деда, не однажды совершавшего паломничества в священную Мекку? С какой стати приснилась ему вообще обитель пророка за тридевять земель? А-а, возможно, то дух предков наставляет его исподволь на путь истины? Может, и впрямь совершить ему хадж? Разве мало было на свете владык, раскаявшихся к концу жизни? Они отправлялись в Мекку, губами прикасались к священному камню Каабы, меняли корону на простую чалму, а золотой скипетр — на суковатый посох и нищими дервишами скитались по земле. Что их заставило отрекаться от былой славы и могущества? Может, те же душевые муки, терзания и сомнения? Но почему во сне священный черный камень не подпустил его к себе? Неужели из живущих на земле у него, Повелителя, больше всего грехов? Неужели он единственный не достоин прощения? Но разве не в священных писаниях говорится, что коронованные владыки — золотая опора всевышнего на земле? Неужели всевышний способен обрушить гнев свой на свою же золотую опору? Или он просто дал знак, что не место ему, Повелителю, среди толпы паломников и всякого нищего сброда? В таком случае почему он уготовил ему судьбу, достойную каждого встречного-поперечного? Почему обрек на душевные терзания и муки, как простого смертного? Разве есть на свете большее унижение, нежели коварство блудливой женщины? Много гонений и тяжких испытаний пришлось ему изведать на своем пути, не однажды находился на грани отчаяния и корчился от боли, будто испил отравы, но никогда так не ныла измытарен-

ная душа, как сейчас. То были испытания судьбы, когда жизнь мужчины висит на волоске, но всегда есть шанс отстоять свою честь с острым клинком в руке. А теперь оказалась посрамленной честь, и верный клинок тут бессилен. Так зачем всевышний навлек на его голову такой позор? Чем уж он так провинился перед ним? Разве тем, что так усердно оберегал достоинство трона и короны, которым облагодетельствовал его сам всевышний? Или виноват он в том, что безжалостно карал погрязших в блуде и грехе и с помощью огня и меча водрузил над иноверцами зеленое знамя пророка? Разве не во имя аллаха творил он жестокость? Разве не во имя черной толпы проявлял он твердость духа, поражая своими деяниями ее темное сознание, дабы она всегда помнила о величии аллаха, его сподвижников и о собственном ничтожестве? Он ведь всю жизнь избегал легких понятий, упрощенных определений, приблизительных, зыбких измерений, столь приятных и удобных для ничтожной толпы, для рабов похоти и подлых страстишек. А может, в этом и заключается его вина — в том, что он всегда стремился думать о том, что не приходило даже на ум другим, и делать то, что не под силу остальным. Может, это кощунство? Возможно! Но его высокие порывы и благие намерения никак не могут быть отнесены к низменным прегрешениям, доступным любому презренному ничтожеству. Так ли... Разве и в основе кощунства не лежат корысть и алчность, побуждающие к распутству? Не только безграничная власть, излишняя жестокость, но и неуместная доброта и щедрость — грех. А отец любого греха — чрезмерное вожделение, родная мать — ненасытная страсть. У тщеславия, сладострастия, властолюбия один и тот же корень. В сущности, отчаянный конокрад мало чем отличается от заурядной грязной шлюхи, чья постель никогда не пустует. Так же, как и упивающийся своей неограниченной властью владыка — от знатной куртизанки, блюдущей выгоду в соблазнах своих пышных чресел.

Приходится признать горькую истину: его всемогущество, безраздельная власть, слава и честь так же призрачны, мимолетны и обманчивы, как и румянец на лице смазливой и похотливой бабенки или как добро купчишки-крохобора. Это, конечно, так. Но вот что вызывает недоумение: священный камень Каабы, приснившийся ему во сне, не шелохнулся, когда касались его губами отъявленные грешники, на совести которых не одна подлость, а его, Повелителя, верного слугу аллаха, черный камень упорно не подпускал к себе. Может, зоркий глаз всевышнего подметил

высокомерие и чванливость, укоренившиеся в душе Повелителя? Может, проявление надменности к себе подобным и есть тот грех, который всеблагой ему не прощает? Значит, в том, что священный камень Каабы не подпускает его к себе, скрывается злорадный намек: мол, коли ты, коронованный всемогущий владыка, настолько вознесся и возгордился, что не желаешь признать даже своего зачатия в грехе и рождения от длиннополой, низкородной бабы, как и все двуногие на земле, то какого дьявола ты притащился сюда, в обитель святого духа, где грешникам, осознавшим сердцем и умом свой грех, предоставляется возможность для покаяния?! В таком случае какое утешение для души находят былые всесильные владыки, сменяющие на старости лет по собственной воле золотой трон на лохмотья бродяги-дервиша? Видимо, они заботятся не столько об отпущении грехов, как все остальные обыкновенные смертные, сколько о том, чтобы не стать посмешищем в глазах толпы, когда былая сила оборачивается старческой немощью, а грозные речи — жалким лепетом. Ведь, как известно, грехи ничтожного смертного одинаково охотно прощают и те, кто стоит выше, и те, кто находится ниже. Если ты стоишь чуть выше, он припадает к твоим ногам, целует подол твоего чапана и угодливо бормочет: «Слушаю, мой господин!» Если же вдруг, наказанный судьбой, ты оказываешься ниже его, он непременно проявит тошнотворное милосердие: «Несчастный! Горемыка! До чего он докатился?!» Не дай бог быть с простым смертным на равных. Этого он не простит. И, должно быть, всемогущие владыки, хорошо знающие повадки толпы, чувствуя, что судьба отворачивается от них, поспешно облачаются в рвань дервиша вовсе не потому, что в них вдруг проснулись раскаяние и потребность замолить грехи, а потому, что таким образом надеются спастись от злорадствующего взора. В самом деле, есть, вероятно, только один путь избавления от осуждающего, презирающего, унижающего и злорадствующего взора черной толпы, которой еще никогда и никому не удалось угодить,— отречься от короны и трона, совершить паломничество в святую Мекку, изнурять плоть и дух и с посохом в руке, с котомкой за плечами в бродяжничестве провести остаток бренной жизни. Только тогда злорадство и месть, годами накопившиеся в черной утробе толпы, обернутся неожиданно жалостью, а во взгляде, недобром, подозрительном, мелькнет сострадание. И это означает, что ты стал неприметным беднягой, не вызывающим ни у кого зависти и злорадства.

И душа твоя уже не корчится от обиды, унижения, от боли, от того,что какой-то смазливый сопляк осрамил твое достоинство и честь. Да и нет отныне никому дела до того, что творится в твоем сердце и какой чадный огонь опаляет твою душу.

Повелитель почувствовал зависть к тем, кто может себе позволить жить незаметной, неприметной жизнью. Сон, который приснился ему на заре, был наверняка знамением судьбы, зовом духа предков. Он вспомнил: нынче ночью зародился двенадцатый месяц лунного календаря — зуль-хиддже — пора ежегодных празднеств в священной Мекке. Повелителю не терпелось скорее встретиться с сеидом, чтобы тот растолковал ему зоревой сон. Надо немедля возвратиться в столицу. Сейчас, как только выберется из буерака, он прикажет карнайщику протрубить отход. Он лишь теперь почувствовал, что больно отлежал бок на корявом камне, и хотел было повернуться на другую сторону, как из густых камышовых зарослей — почти рядом — донесся треск: кто-то двигался, безжалостно сминая камыш и валежник. Повелитель чуть пошевельнулся, и треск в зарослях оборвался мгновенно. Повелитель насторожился, встал. Ему почудилось что-то огромное, полосатое в камышах. В тот же миг оно, уже не таясь, медленно и неумолимо двинулось навстречу. Тигр!.. Подкрадывался упруго, по-кошачьи, пружиня огромное, ловкое тело. Странно, страха не было. Рука даже не потянулась к луку, лежащему рядом.

Промелькнуло: ах, вон оно что означал его предутренний сон! Вот почему, оказывается, священный черный камень увертывался от него! Просто это был знак скорой гибели. То-то же! Не должен же он, Повелитель, избранник и баловень судьбы, умереть заурядной смертью, как все ничтожные людишки на земле. Бог милостив: хану — ханская смерть.

Тигр был близок. Повелитель с тайной радостью и нетерпением ждал свою счастливую смерть, избавляющую его разом от всех душевных мук и глухой, безнадежной тоски. Сейчас... сейчас... вот в следующий миг он, наконец, навсегда, навсегда избавится от удушливой горечи, железным обручем сковавшей ему сердце. И никогда, никогда нигде уже не будут преследовать его жадные, любопытные, осуждающие, трусливые и одновременно злорадные взоры презренной толпы. И заткнутся песком вонючие рты, охотно извергающие грязные сплетни. А черная толпа, всю жизнь не спускавшая с него глаз, подхватывавшая и распространявшая каждое его слово, начнет складывать легенды, со-

чинять на разные лады нелепейшие небылицы о его мужественной и мученической смерти и передавать их из уст в уста, из поколения в поколение.

Тигр прижал уши, напружинился, выгнул хребет. «Готовится к прыжку»,— мелькнуло в голове Повелителя. Вон эти когти, острые, как ножи, сейчас вонзятся ему в глотку, а хищно белеющие клыки мгновенно раскроят череп. Крупная дрожь вдруг прокралась по хребту зверя. Голова тяжело повернулась вправо.

Оказалось, кто-то из нукеров вышел на мысок и, заметив тигра, застыл как вкопанный. Однако уже через мгновение опомнился и схватился за лук. Повелитель тоже взял лук в руки.

Джигит из свиты увидел, как смерть в облике полосатого хищника метнулась на него, но тут же словно застыла в прыжке и рухнула наземь. Повелитель спокойно и деловито повесил лук на плечо.

Так же неторопливо Повелитель подошел к поверженному зверю. Стрела точно угодила в сердце, и тигр, не успев развернуться в прыжке, судорожно корчился на земле. Повелитель, глядя на предсмертную агонию хищника, вздохнул: то ли подосадовал, что не суждено было осуществиться его жутким грезам, то ли просто пожалел издыхающего в муках царя камышовых зарослей. А потом, должно быть неожиданно для самого себя, едко усмехнулся. Видно, почувствовал Повелитель тайную гордость от того, что раньше своего телохранителя сразил зверя, иначе завтра ротозей слуга начал бы корчить из себя спасителя своего господина и при каждом случае возвеличивать свои заслуги.

Повелитель вышел из буерака. Коневоды бросились к мысу, полюбовались могучим красавцем, распластавшимся на камыше, и, колгоча, принялись сдирать с него шкуру.

В тот день в долине между гор только и говорили о неожиданном происшествии. О Повелителе, о тигре-людоеде красочно рассказывали охотники друг другу, возвращаясь по неожиданному велению в город. Один Повелитель сурово молчал. Невеселые думы вновь настигли его. В столицу вернулись на другой день к вечеру. И всю ночь в опочивальне ханского дворца не сомкнул глаз Повелитель. Сон, приснившийся там, на привале, и неожиданная встреча с тигром, угрожавшим гибелью, еще больше разволновали и без того смятенную душу и сделали его существование еще более сложным, непонятным и тягостным.

Видимо, настала пора твердых решений. Судя по тому,

как сам всевышний спас его от неминуемой смерти, от него ждут решительного поступка даже там, на небесах. Только в чем заключается этот поступок? Где и какое оно, решение? Такое, как приснилось во сне: сменить золотую корону на благочестивую чалму? Как бы там ни было, томиться в опостылевшем ханском дворце становится невмоготу. Необходимо встретиться с сеидом, рассказать ему о сне. Давно уже не виделись. Может, святой старец на него в обиде?

На следующий день по холодку Повелитель поехал в повозке к сумрачным и голым холмам, тянувшимся к юго-востоку от ханской столицы. Эти места очень напоминали выжженный зноем и ветрами священный край, приснившийся во сне. Склоны сопок казались опаленными. Земля потрескалась, верхний слой почвы обуглился, будто здесь недавно прокатился степной пал. Чудилось, будто пахло горелым. Посреди диковинного нагромождения шершавых валунов и меловых — в причудливых трещинах — увалов возвышалась на черном, почти недоступном крутояре скала с пещерой, обращенной к кибле — стороне, куда поворачиваются лицом правоверные во время молитвы. У входа в пещеру что-то смутно белело. Потом, с приближением повозки, Повелитель узнал древнего старца в высокой белой чалме. Старец наверняка видел с высоты крутояра пышную ханскую повозку, запряженную цугом; слышал, вероятно, и переливчатый звон серебряных колокольчиков, однако не шелохнулся, продолжал сидеть, скрестив ноги и вперив взгляд в сторону священной обители пророка.

Повозка подкатила к подножию крутояра. Повелитель вышел и, как всегда, оставив здесь свиту, один поднялся на кручу. В какие бы дальние походы ни отправлялся Повелитель, на чью бы страну ни готовил поход, на чей бы трон и корону ни нацеливался, он сначала неизменно приходил сюда, к духовному отцу, святому отшельнику, и поднимался по едва различимой тропинке, вьющейся долго по песчанику, потом круто взбирающейся по глинистому обрыву. Перед решительной схваткой с врагом он должен был прикоснуться к редкой бороденке тщедушного, высохшего старца, получить его благословение. После него он отправлялся по обыкновению в самую большую мечеть своей столицы, чтобы отслужить намаз. Только потом он считал возможным выступить в поход. Но самый опасный, тяжкий и дальний поход не изнурял его тело и душу так, как этот крутой глинистый склон, по которому пролегала тропинка к святому отшельнику на вершине кручи. Стран-

ники, приходившие на поклон к старцу, так утоптали бурый склон, что он, казалось, лоснился на солнце. И раньше, бывало, Повелитель с большим трудом взбирался к пещере в скале, а сегодня ноги подкашивались уже с первых шагов. Оступаясь и скользя, упорно карабкался он вверх, но был вынужден часто останавливаться, чтобы перевести дыхание и унять заколотившееся сердце. Те, что остались у подножия, с недоумением взирали на Повелителя, поражаясь, зачем он обрекает себя на такие муки ради какого-то иссохшего старичишки, которого не стоит труда сдуть с вершины его добровольного заточения.

Крохотный старичок, сгорбившийся у входа в пещеру, между тем, казалось, не замечал великого Повелителя, который, задыхаясь и обливаясь потом, поднимался к нему. Святой отрешенно смотрел в сторону божественной Мекки. На маленькую голову его была накручена огромная белая чалма. Редкая белая бороденка, точно приклеенная к сморщенному пепельно-серому личику, придавала ему аскетически-суровое выражение. Маленькие блестящие глазки, обычно пытливо и пронизывающе глядевшие из-под насупленных, кустистых бровей, были на этот раз плотно зажмурены. Старик не шелохнулся и тогда, когда Повелитель, взобравшись, наконец, на кучу, откашлялся, чтобы привлечь к себе внимание. Подол ветхого выцветшего чапана на старике был изорван в клочья. Из-под рваных широких штанин высовывались голые лиловые ступни. Пятки потрескались. Руки, иссохшие, землистые, с набрякшими синими жилами, крепко обхватили гладкий, потемневший от времени посох. Сенд был весь во власти дум.

Повелитель опустился перед ним на колени, сложил на груди руки, склонил голову. Только тогда старец, похожий на дремавшего одряхлевшего беркута, приподнял веко, повел зрачком. Потом он, точно очнувшись, выпрямился, поднял голову, старческим, надтреснутым голосом проговорил слова вежливости. Повелитель коротко и откровенно, как на исповеди, поведал ему обо всем. Старец выслушал его не перебивая, не шелохнувшись, с нескрываемым холодком. В уголках тонких лиловых дряблых губ под крупным хрящеватым носом с вывернутыми ноздрями несколько раз едва заметно пробегала язвительная ухмылка. И каждый раз, уловив ее, Повелитель прерывал свой горестный рассказ, и тогда мудрец шире открывал по-старчески мутные, бесцветные глаза, в глубине которых мерцал тусклый свет, похожий на блики луны в стылой лужице. По-

велитель рассказал про недавний свой сон и неожиданную встречу с тигром во время охоты и умолк в ожидании ответа святого сеида. Старец молчал, думал, скашивал пытливый взгляд на Повелителя. После долгой паузы прошамкал:

— Всемогущий создатель, священные духи и святые заступники не выказывают открыто своих желаний. Они лишь сочувствуют, сострадают, сожалеют верным и покорным рабам своим. И намеками наставляют заблудших на путь праведный. И знак их — что посох в руках слепца. Должно быть, сын мой, отпугнул ты духов, прогневил святых заступников. Подумай!..

И больше не проронил ни слова. Раза два ткнул острием посоха в рыхлую супесь, вытянул тонкую морщинистую шею, устремил мутный взор к закату. Намек был ясен: святой старец сказал все, что посчитал нужным, а остальное пусть решает сам Повелитель. Сеид всегда был немногословен и суров, но сегодня от него повеяло еще холодным высокомерием. Это настораживало. Каждый его жест, каждый взгляд больно отзывался в душе Повелителя. Но он старался скрыть душевное смятение, сдержанно поклонился и направился к тропинке. Сеид не поглядел даже вслед. Вновь погрузился в свои думы. И советом не поделился, и благословения не дал. Раньше, случалось, он сочувствовал ему, жалел, по-отцовски проводил ладонью по лбу. На этот раз на лице сеида он заметил только надменность, неприступность и старческую сварливость.

Спуск по крутому склону показался сегодня трудным как никогда. Повелитель торопился покинуть эту суровую, сумрачную горную обитель. Дойдя до подножия, он оглянулся и увидел черную мрачную скалу, которая как бы замкнулась, затаилась под его взором. Он сел в повозку и до самого дворца старался ничего вокруг не замечать.

И дома, в ханском дворце, он долго не мог прийти в себя. Непонятное раздражение и досада душили его. У него даже не было сил ходить взад-вперед из угла в угол по просторному пустынному залу. Ноги, натруженные от подъема на кручу, будто онемели. Сидеть он тоже не мог: толстый пестрый ковер под ногами казался убогим пустырем, усеянным колючками и крапивой. Всю жизнь он придерживался непреложного правила: «Избегай тупика, из которого нет выхода. На всякий случай всегда оставляй лазейку!» А теперь даже оно обернулось кощунством. Он, златокоронный властелин, поработивший тьму тем народов, оказался в растерянности, точно неверная жена, которую муж застал наедине с

с любовником, или как вор, пойманный на месте преступления. И нет никого, кто бы мог помочь добрым советом. Даже тоску свою высказать некому. Если всерьез подумать, и у юноши-слепца, доживающего свой куцый собачий век где-то в грязных кишлаках за городом и у томящегося в подземелье главного зодчего, и у Младшей Ханши, чья молодость и краса вянут в ханских покоях, все же более завидная участь. Ведь у них на худой конец есть возможность рассказать кому-то о своем несчастье. Или хотя бы обижаться на кого-то. А кого он, Повелитель обвинит в своих бедах? На кого ему обижаться? Златокоронный властелин может пожаловаться только на самого создателя. Но разве до него дойдут жалобы? Не то что создатель, даже сморчок-старичок, стерегущий святую пещеру на скале, и тот не желает иметь с ним дело. Сколько надменности было давеча в нем, будто это он своим посохом подпирает небо. Ведь, в сущности, он даже не удостоил его взглядом. Не дай бог быть кому-то обязанным на этом свете! Нет ничего более унизительного, чем зависимость. И Повелитель понял это еще в далекой юности. Не потому ли с молодых лет он и боролся за власть не щадя живота? Не потому ли он предпочитал рабской покорности добровольное изгнание? Не потому ли он не однажды оказывался на узкой меже между жизнью и смертью? Да-а, тех лишений и унижений он не забыл до сих пор. И теперь еще, вспоминая порой о них, он чувствует, как ноет старая зарубцевавшаяся рана, как пронизывает все кости тупая памятная боль. Однако, всей душой ненавидя зависимость и рабство, он разве потом, познав власть, пытался проникнуться сочувствием к тем, кто стоял перед ним коленопреклоненным? Кого из робких он поддержал, кого из сирых искренне пожалел? На гордые головы он неизменно обрушивал гнев и ярость; на тех, кто униженно припадал к его ногам, он смотрел с брезгливой жалостью. Это верно: иногда он позволял себе проявление жалости к каким-нибудь нищим бродягам. Но это не было потребностью души, а, скорее, подачкой, которую небрежно швыряют калекам и нищим, чтобы только не видеть их гнусное обличье и не слышать смрад и зловоние, исходящие от них. Может, сварливый старец хотел ему просто преподать урок — показать унизительность зависимости? Или намекал на то, что и всесильного подстережет напасть? Но разве нельзя было это сказать просто и смиренно, без отчуждения и вызывающей надменности? Ведь раньше по какому бы путаному и тяжкому делу ни приходил он к нему, старец, не роняя своей

благочестивости, вел с ним пространную, задушевную беседу. А теперь обидную, уничижительную ухмылку, которая в последнее время и без того мерещится ему всюду, и откровенное злорадство, пристойное разве лишь кровному, извечному врагу, ему довелось увидеть на лице сеида, издавна считаемого — после, конечно, создателя — самой надежной опорой и верным заступником. Да, да, истинно так: ядовитую усмешку, которую зловредная чернь тщательно скрывала от Повелителя, боясь его гнева и кары, этот тщедушный старец и не пытался даже погасить на своих дряблых губах. И сказал-то он ведь совершенно откровенно: «Должно быть, отпугнул ты духов, прогневал своих заступников». Неужели отпугнул он духов тем, что сделал вид, будто не придает значения сплетням о Младшей Ханше? Неужели духовник считает, что Повелитель скрывает грех сжигаемой похотью бабы? И вместо того чтобы кинжалом решительно вырезать грязное клеймо блуда на супружеском ложе, он, таясь от всевидящего людского взора, прикрывает его собственной ладонью? Как же, по мнению сеида, он еще должен поступить? Выгнать Младшую Ханшу как неверную жену? Но на такой позор не решался во все времена еще ни один властелин! Как он может всенародно признаться в том, что какой-то низкородный бродяга, пришелец посягнул на ханскую честь? И не только посягнул, а совратил его богоданную жену! Как может святой отец журить его за то, что он неспособен решиться на поступок, достойный самого ничтожного врага?! Ведь в таком случае и слепцу видно, что он наказывает не грешницу-ханшу и не ее дерзкого любовника, а прежде всего самого себя. Выходит, сеид печется вовсе не об осуждении подлинных грешников, а хочет, чтобы злые языки трепали честное имя Повелителя? Это же невозможно! Этого может ему пожелать только Старшая Ханша, открыто ненавидящая свою соперницу и ради ее посрамления готовая жертвовать даже честью супруга. Но святой сеид, знавший с малых лет не только Повелителя, но и его отца, не может... да, да... не может и не должен с именем аллаха на устах и священным посохом в руках разделять и одобрять слепую ненависть и злобу долгополой бабы, у которой от ревности помутился рассудок. Какой же он святой, если он не может быть выше низменных страстишек презренной половины человечества?! Конечно, сам сеид оказался в плену сплетен, дошедших до него из дворца Старшей Ханши. Более того, злорадная усмешка, так явственно обозначившаяся на его старческих лиловых губах, прилипла к нему от подлых и проныр-

ливых сплетников, которыми кишмя кишит обиталище Старшей Жены. Таинственная и злая сила сплетни сумела смутить душу святого праведника. Колдовство ползущих слухов оказалось сильнее мудрости и святости живого пророка.

В горькой усмешке искривились губы Повелителя. Он даже почувствовал нечто похожее на снисходительную жалость к святому старцу, которого так ловко опутали прожженные пройдохи и коварные потаскухи. И в самом деле, разве можно обижаться на беспомощного старичишку, сбитого с толку бесконечными слухами и подлыми дворцовыми интригами? Конечно, старец достоин жалости. В этом лживом и продажном мире, где на каждом шагу твоей чести и достоинству угрожают позор и унижение, немудрено сбиться с пути истины и свихнуться с ума не только дряхлому старику-отшельнику, но и самому всемогущему творцу, из недоступной дали взирающему равнодушно на презренный человеческий род. Конечно, если сотворить мир сплошь из неуемных, необоримых страстей и страстишек, разве можно не предаваться вожделению и греху?! Человек рождается от греха. От него же находит свою гибель. Если всякая страсть в конечном счете — грех, а грех — неизменный спутник всякого смертного, то, надо полагать, и святой отец — всего лишь один из двуногих грешников на земле. Его набожность, его отрешенность от всех соблазнов души и тела во имя всевышнего нужны ему только для того, чтобы возвысить себя в глазах черной толпы. Он действительно от многого на этом свете отрекся и отказался, но все же... не от всего, нет, нет, не от всего. Тщеславия он все-таки из себя не вытравил. И он отнюдь не прочь сохранить влияние на темный люд. Ему приятно, что его почитают, что припадают к его ногам. Он необычайно гордится тем, что к нему приходит и опускается перед ним на колени сам златокоронный владыка. А разве гордость, кичливость — не та же страсть?! Все неумеренное, преувеличенное — кощунство. А оно неизбежно приводит к греху. Выходит, святой отец и великий Повелитель грешны в совершенно равной степени. Верно: Повелитель властолюбив, крутоправ. А разве святой отец уступает ему в этом? Разве то, что он проявил высокомерие и надменность к нему, Повелителю, облагодетельствованному самим создателем, не свидетельствует о том, что святой сеид по пояс погряз в кощунстве и грехе? За искусителем — Азазелем, как известно, покорно следуют лишь духовные слепцы, одурманенные чадом житейской суеты. Выходит, и святой отец не избежал этой участи.

И поэтому нет ничего удивительного в том, что он оказался в сетях лжи и подлости, расставленных услужливыми холуями Старшей Ханши. Лишь извечной человеческой греховностью можно объяснить поведение старца, оказавшегося под влиянием жены Повелителя, которая конечно же обеспокоена почтенным возрастом грозного супруга, судьбой трона и его наследников. Значит, святой сеид печется о сохранении не только нынешней своей влиятельности, но и об обеспеченном завтрашнем дне. И его легко понять, если исходить из того, что он не столько святой, сколько обыкновенный человек. Но почему он, будучи сам не без греха, так строго осуждает его, Повелителя, за человеческую слабость? Ведь совершенно определенно говорится об этом в коране: «Человеку необходимо знать: аллах един, нет у него товарищей, не породил он никого и никем не порожден, нет равного ему, он не брал себе ни товарища, ни дитяти, и нет у него соправителей в царстве его. Он первый, который извечно был, и он последний, который никогда не избудет. Он властен над всем и ни в чем не нуждается. Пожелает он что-либо, он говорит: «Будь!» — и это станет. Нет божества, кроме него, вечно живого; ни сон его не одолевает, ни дремота; он дарует пищу, но сам в ней не нуждается. Он один, пока чувствует себя одиноким, и нет у него друзей. Годы и время не старят его. Да и как могут они его изменить, когда он сам сотворил и годы и время, и день и ночь, и свет и тьму, небо и землю, и всех родов тварей, что на ней; сушу и воды, и все, что в них, и всякую вещь — живую, мертвую и постоянную. Он единственный в своем роде, и нет при нем ничего, он существует вне пространства, он создал все посредством своей силы. Он создал престол, хотя он ему и не нужен, и он восседает на нем, как пожелает, но не для того, чтобы предаться покою, как существа человеческие. Он правит небом и землею и правит тем, что на них есть, и тем, что живет на суше и в воде, и нет правителя, кроме него, и нет иного защитника, кроме него. Он содержит людей, делает их больными и исцеляет их, заставляет их умирать и дарует им жизнь. Но слабы его создания — ангелы и посланники, и пророки, и все прочие твари. Он всемогущ своею силою и всеведущ знанием своим. Вечен он и непостижим».

Значит, это вовсе не в воле Повелителя — добиться полного согласия в мире, который сам создатель сотворил с изъяном. Если сам всевышний, создавая свой огромный мир, наделил каждую тварь разными недостатками и слабостью, дабы ему сподручнее было удерживать их всех в своей власти,

то почему возбраняется земным владыкам точно таким же образом держать в узде чернь? Зачем осуждать смертного за то, что он лишь повторяет ошибки творца? И если создатель в душе опасается кое-кого из нечестивцев, которых сам же и расплодил, то почему бы Повелителю не испытывать подозрения к подлому человеческому роду? А может, деяния и отношения всевышнего к единичным избранникам судьбы не распространяются на всех бесчисленных представителей бедного человеческого племени? Может, создатель искренне убежден, что только ему позволительно творить чудеса, проявлять неслыханное великодушие или ниспосылать страшную кару, а всем остальным подобные поступки просто непосильны и недоступны? В таком случае истинная суть таких пугающих понятий, как грех и преступление,— всего лишь ревнивое малодушие всемогущего творца, больше всего обеспокоенного тем, чтобы — не дай бог! — кто-то дерзнул повторить его дивные деяния или постичь глубины его мудрости. Не для того ли и продуман в Священном писании всемирный потоп, как самая страшная угроза человеческому роду, догадавшемуся о немощи создателя? Ну, а коли сам всевышний так страшится выказывать свою слабость, то почему бы не опасаться этого Повелителю, рожденному, как все смертные, обыкновенной долгополой бабой? Следовательно, предложение святого сеида прежде всего разрушить до основания свидетельство греха — голубой минарет и тем самым всенародно признать свое посрамление — нелепейший вздор, противный не только человеческому естеству, но и божественному духу.

Даже святые заступники, благодетели-хизры, не смогли подсказать Повелителю благую весть. Сон, приснившийся в канун охоты, явился знамением предстоявших мытарств. И то, что священный камень Каабы упорно ускользал от него во сне, было не чем иным, как смятением, как отчаянием души в безысходности, в тупике. В самом деле, разве не в силках бессилия бьется его воля? Если бы всемогущий создатель обрушил свою страшную кару на столицу, которой Повелитель всю жизнь дорожил пуще зеницы ока, и одним махом стер бы ее с лица земли. Он бы — видит аллах! — ничуть не расстроился, не огорчился. Более того — обрадовался бы. Ведь тогда он бы избавился от мозолившего глаза голубого минарета. А вместе с презренным людом, точно мухи подыхающим от мора, навсегда погасла бы и мерзкая сплетня. Конечно всеобщая погибель захлестнула бы и его, Повелителя, ну и пусть, пусть, пусть. Он

бы и себя не пожалел. Вместе с ним погибла бы и гнусная молва о нем. Погибла бы гадкая легенда. Но нет.. всемилостивейший создатель, всегда благоволивший к нему и исполнявший все его желания, на этот раз проявил вдруг неслыханную скупость, оставаясь совершенно равнодушным к его горячей мольбе.

Сейчас он, пожалуй, впервые за всю свою жизнь от кровенно пожалел о том, что судьба уготовила ему такую участь — быть самым сильным, самым могущественным владыкой на земле. Ведь разве не прискорбно, что поблизости не оказалось ни одного достойного врага, который дерзнул бы разрушить дотла этот до несуразности огромный город, населенный гнусным сбродом продажных, лживых, злобствующих нечестивцев?! Только кровавая бойня избавит презренную чернь от гнусных помыслов и низменных вожделений, охвативших их грязные души И пусть эта бойня не угодна сейчас ни богу, ни врагам, он, Повелитель, за тетет ее сам. Вонючеустую толпу, которую немыслимо перебить в одиночку, он толкнет в кровавое побоище и истребит тысячами. Тем, кто останется в живых, будет уже не до сплетен, не до праздной молвы о Повелителе, его Молодой Ханше и дерзком зодчем. За то, что уцелели в кровавой сече, они станут благодарить не бога, а своего Повелителя и падать перед ним ниц в прах и восхвалять его в легендах.

Повелитель приказал немедленно выступить в поход.

6

Великая река осталась позади. Понемногу удалялась и черная толпа на берегу, с нескрываемым любопытством взиравшая на бесчисленное ханское войско. Впереди начиналась пустыня, безлюдная, бескрайняя, пепельно-бурая, удручающе однообразная. Раскаленный ветер пустыни зло и колко бил в лицо. Войско брело, увязая в сыпучем песке. Даже куцую тень всадников выжгло полуденное солнце Оно казалось, намеревалось испепелить самих верховых.

Зной становился невыносимым Упругой, обжигающей волной врывался он в ханскую повозку Все тяжелее было дышать. Задыхаясь, Повелитель судорожно отодвигал шелковую занавеску, выглядывал из крытой повозки и с досадой откидывался на ковровые подушки. Все та же бурая пустыня простиралась вокруг. Угрюмо-молчаливые дюны, казалось, свинцово плавились под немилосердными лучами. Кони понуро волочили ноги. Какая-то одинокая птаха, спасаясь

от зноя, подпрыгивала, трепетала слабыми крылышками в крохотной, с ладонь, тени от повозки.

Щурясь, с жалостью и тоской смотрел Повелитель на малую птаху — единственное, что привлекало взор в нескончаемой пустыне. Как в предсмертной агонии, мечется бедняжка. Горлышко ее трепещет. Птаха отчаянно цепляется за свою крохотную жизнь, ищет спасения от раскаленного до сизости дыхания пустыни. И нет у нее сейчас другой цели, другого стремления. Она вся во власти зова жизни. И только. Однако сколько в этом смысла! Любой другой порыв, любая другая цель в сравнении с этим — бессмысленны и ничтожны. Должно быть, любая неумеренность рождает зло. Ну, вот... хотя бы этот зной пустыни. Разве он не родился от нежного, ласкающего, как шелк, ветерка? Сначала ветерок дул в утеху усталым путникам, взбадривал их свежестью и стремился очистить мир от пыли и сора, но, постепенно распаляясь, почувствовав силу и упоение властью, он разбушевался, осатанел и поскакал-понесся огненным смерчем, сметая все и вся на своем пути. Вон, будто раскаленный уголь, обжигает коготки и опаляет крылышки жалкой птахи, обессиленной в неравной борьбе с настигавшей ее бедой. Не желая видеть предсмертное мучение крохотного существа. Повелитель отвернулся и плотно закрыл глаза.

Опаленной шкуркой съежилась пустыня под нещадным солнцем. Зной проникал всюду, душил, сковывал, обжигал. Сознание мутилось. Казалось, на крытую повозку навалилась тысяча палачей, а сотня ангелов смерти в исступлении увивалась вокруг, возжаждав души Повелителя. Видно, неспроста соскользнул на реке перстень. То был знак надвигающейся смерти... К тому же дурная примета — встретить перед дальней дорогой неприятного для тебя человека.

Молодой слепец неотступно стоял перед глазами Повелителя. Казалось, тот оставил свою двуколку, запряженную ишаком, на берегу реки и каким-то чудом пересел в ханскую повозку прямо перед ним. Лишившись лучистых глаз, он лишился и нежного, доброго выражения на лице. От учтивости и благонамеренности, столь украшающих юношей, не осталось и следа. В черных провалах глаз будто затаилась смерть. Тонкая жилистая шея несуразно вытянулась, ноздри напряженно раздулись. Страшный лик его вдруг будто выплыл из пустынного марева и стремительно надвинулся на Повелителя. Ни один мускул не дрогнул на изнуренном, словно пеплом покрытом лице. Не страшны слепцу ни сам великий Повелитель, ни его бесчисленное войско.

Корявые, узловатые пальцы, точно когти, хищно потянулись к ханскому горлу.

— Не бойся,— раздался хриплый голос,— все равно очутишься под землей.

Глаза Повелителя застыли от ужаса. Что это? Разве не отрезали зодчему язык? Разве еще тогда не выпал он окровавленным кусочком из-под ножа палача на каменный пол? Тогда откуда этот голос? Или... отрубить язык еще не значит сделать человека немым?!

В смятении он выкатил безумные глаза на страшный лик слепца и увидел в уголке его бескровных губ ядовитую усмешку. Отодвигаясь, Повелитель всем телом вжался в ковровые подушки сиденья. Он чувствовал, как покидают его остатние силы, как руки-ноги, словно немея, не подчиняются его воле. Страшная немощь сковала его, и под ним разверзлась черная пучина...

Он не помнил, когда очнулся. Медленно открыл глаза. В крытой повозке было все так же нестерпимо душно. Мягкая перина и пуховые подстилки под ним скомкались и только усугубляли его страдания. Он с усилием приподнялся, скосил взгляд на дверцу и никого не увидел. Бритоголовый слепец исчез, точно растаял в знойном мареве пустыни. Повелитель понимал, что сознание мутилось, все вокруг воспринималось как в зыбком тумане и что страшный слепец ему всего-навсего померещился, что все это бред... Да, да, бред бесконечно уставшего, больного человека, почувствовавшего роковой страх. В нем еще тлела свеча здравого рассудка, но сомнения и страх все решительней захватывали все его существо, растекались по всем жилам, и он подспудно понимал, что именно в них заключена его погибель.

Он вновь провалился в забытье. Вокруг от горизонта до горизонта во все стороны растянулась удручающе унылая пустыня. Угрюмые барханы казались испещренными таинственными знаками и причудливой вязью. Он, напрягая зрение, силился разглядеть их, прочесть загадочную надпись. Но рябило, мельтешило в глазах, и мрак суживался, заливал слабеющий рассудок, и все же через некоторое время с большим трудом удалось ему прочитать одну-единственную фразу: «Рано или поздно все равно очутишься под землей!»

Повелитель приоткрыл отяжелевшие веки. Прямо над его головой нависло что-то непомерно огромное, темно-бурое. Он уже неясно представлял себе, где находится сейчас, то ли в своей привычной повозке с позолоченным атласным верхом, то ли в сыром и мрачном подземелье под ханским дворцом.

1974

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Мартовский снег. *Перевод Г. Бельгера* 4
Дом на окраине. *Перевод Г. Бельгера*. 64
Купы джиды. *Перевод Г. Бельгера*. 123
Встречный-поперечный. *Перевод Г. Бельгера*. 204
Соломинка удачи. *Перевод Г. Бельгера*. 230
Баллада забытых лет. *Перевод В. Кардина*. 259
Хатынгольская баллада. *Перевод В. Белова и Г. Бельгера*. 320
Колодец. *Перевод В. Панкиной*. 361

КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ. Роман. *Перевод Г. Бельгера* . . 400

Абиш Кекильбаев

МАРТОВСКИЙ СНЕГ

Художник Е. Р. Скакальский

Редактор *Н. И. Голосовская*
Художественный редактор *Ф. С. Меркуров*
Технические редакторы *З. Б. Хамидулина и П. Б. Панфилова*
Корректор *И. Н. Голубева*

ИБ № 6451

Сдано в набор 06.01.88. Подписано к печати 04.08.88. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 31,92. Уч.-изд. л. 36,49. Тираж 100 000 экз. Заказ № 9. Цена 2 р. 50 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109.

Кекильбаев А.
К 33 Мартовский снег: Роман, повести, рассказы. Пер. с каз.— М.: Советский писатель, 1988.— 608 с.

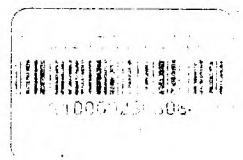
ISBN 5—265—00124—7

Абиш Кекильбаев — известный казахский писатель. Его прозу отличают особая образность и знание исторического прошлого родной земли. Об этом его роман «Конец легенды», уводящий нас в давние времена, в жизнь степняков-кочевников; в нем естественно слиты реальные исторические события и преданья старины.

Герои повестей А. Кекильбаева, также включенных в сборник «Мартовский снег»,— наши современники, люди, прошедшие войну, и молодежь, только начинающая свой путь.

К $\frac{4702250201—337}{083(02)—88}$ 308—88

ББК 84 Каз 7



2 р. 50 к.

